



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

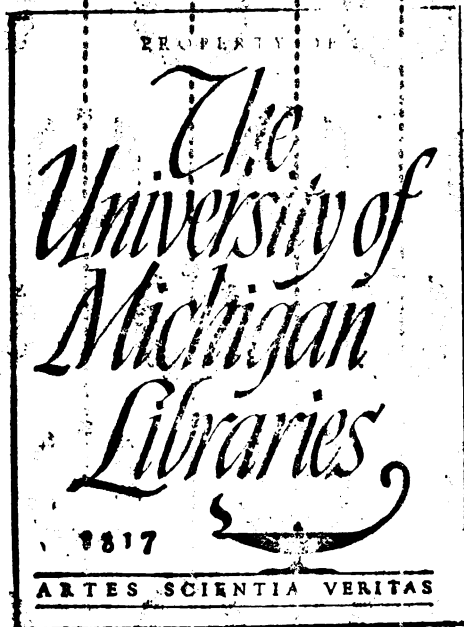
A 470863

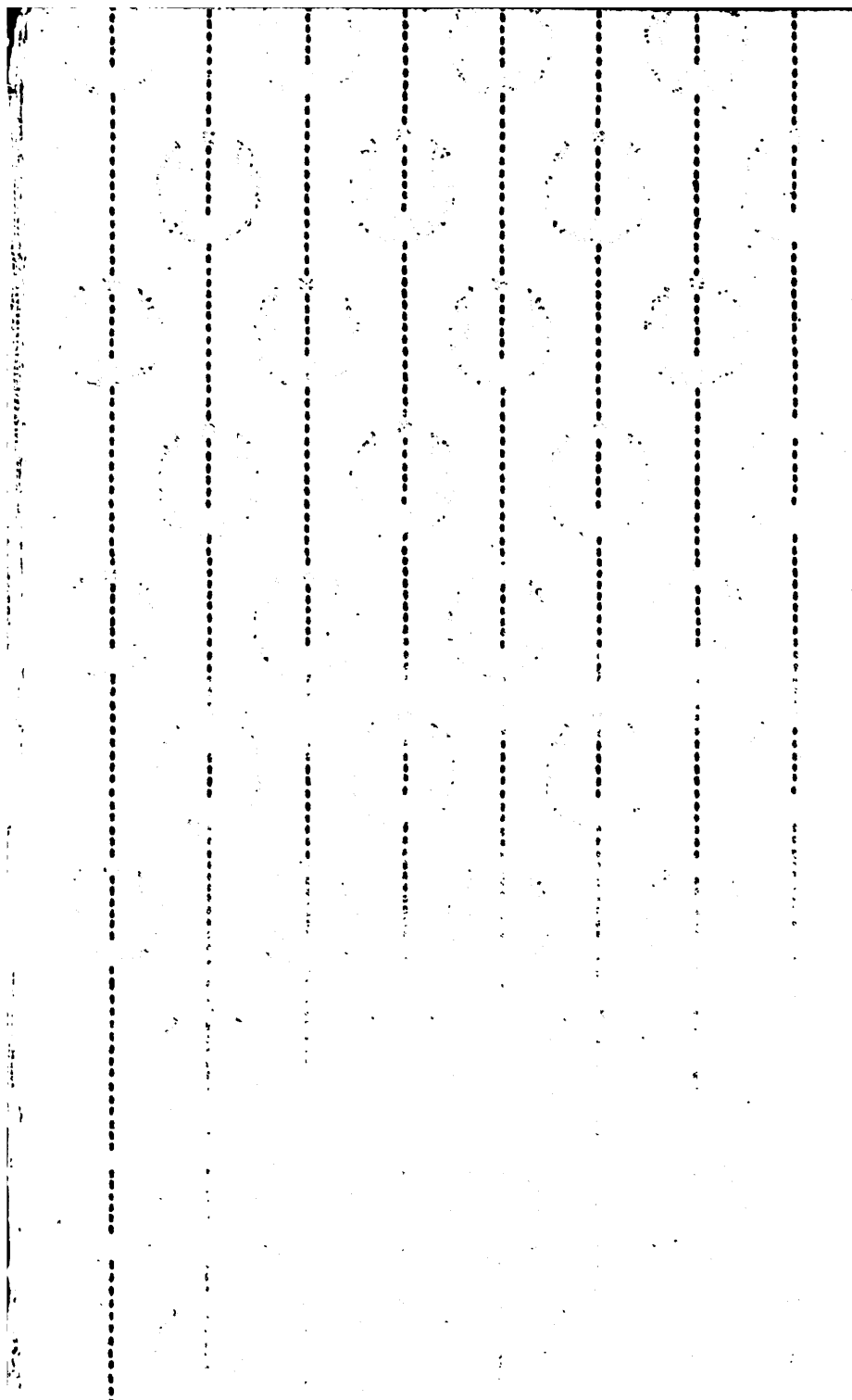


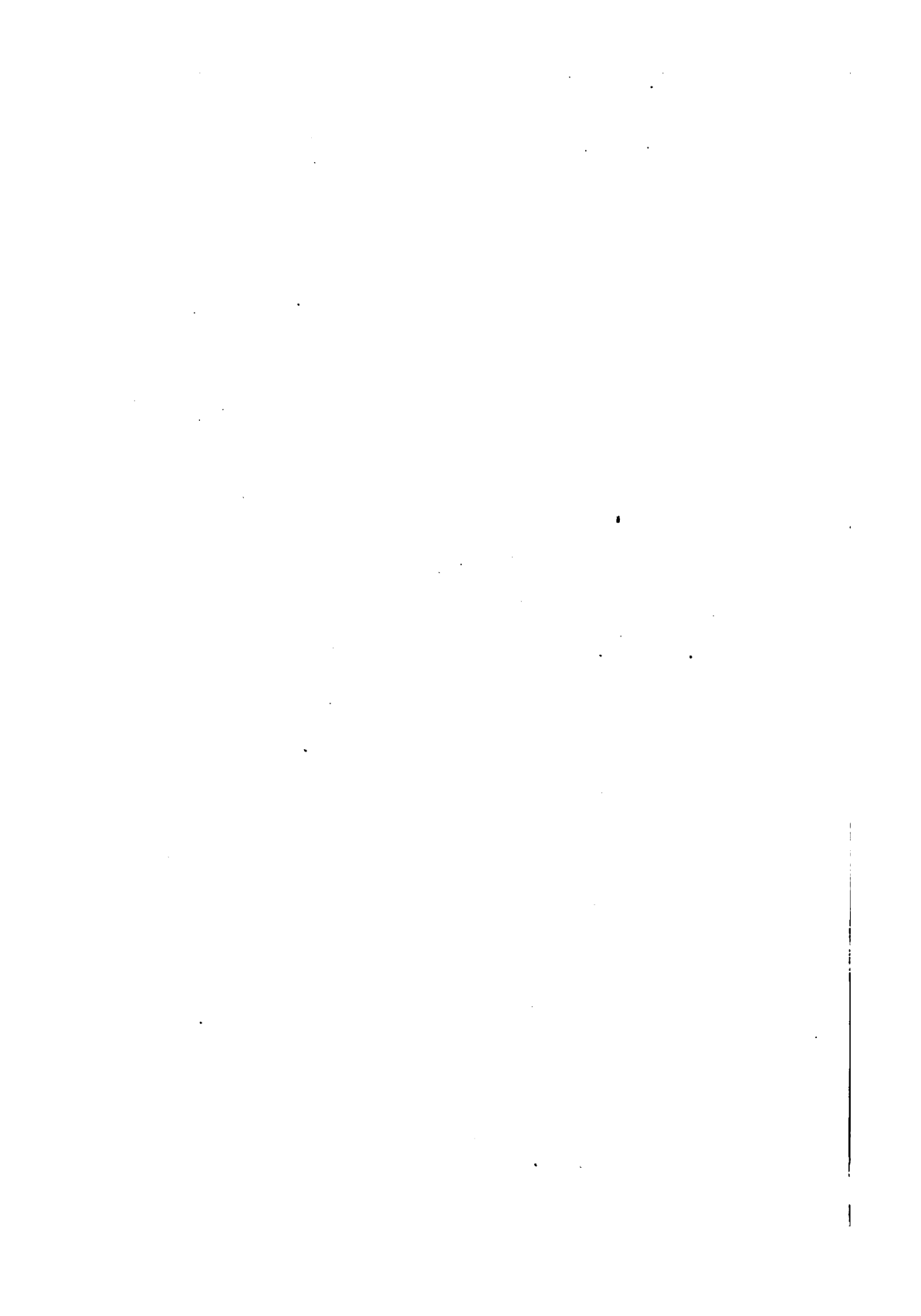
ВОСПОМНЕНИЯ
Т. Л. ПАССЕКЪ
(1872-1958)



Издана Т. Л. П. Пасекъ (1958)







ВОСПОМИНАНІЯ Т. П. ПАССЕКЪ.

T



Арт. зав. А. Ф. МАРКА, Измалл. пр., № 23.



Passek, Tat'iana Petrovna

ВОСПОМИНАНІЯ
Т. П. ПАССЕКЪ

„ИЗЪ ДАЛЬНИХЪ ЛѢТЪ“.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.

ТОМЪ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.78

P2870

A3

1905

v.2.

1052-272802



Вадимъ Васильевичъ Лассекъ
(род. 1808 г. 20 июня, ум. 1842 г. 25 октября.)

ГЛАВА XXV.

Qual cuor tradisti.

1833—1834.

1833 года совѣтовали мнѣ, для поправленія здоровья, провести лѣто въ деревнѣ, мы рѣшили ѣхать въ Васильевское, такъ какъ владѣли тамъ небольшою частицею земли. Не имѣя въ Васильевскомъ своего дома, располагали нанять получше крестьянскую избу, но Луиза Ивановна уговорила Ивана Алексѣевича предоставить намъ помѣститься въ ихъ деревенскомъ домѣ, — тѣмъ больше, что самимъ имъ это лѣто нельзя было жить въ деревнѣ, по случаю выпускного экзамена Саши.

Въ іюль 1833 года Саша держалъ въ университетѣ экзаменъ и выдержалъ на кандидата. Онъ писалъ намъ въ Васильевское, что это событіе было возвѣщено на актѣ при звукахъ трубъ и литавръ и торжественномъ собраніи знаменитостей Москвы, въ тридцать градусовъ жары, но что онъ лично при торжествѣ не присутствовалъ, потому что ему, вмѣсто ожидаемой имъ золотой медали за сочиненіе, дали серебряную. Профессоръ Перевощиковъ, задававшій тему, нашелъ въ сочиненіи Саши слишкомъ много философіи и слишкомъ мало формулъ. Золотую медаль получилъ студентъ, который, говорили тогда, выписалъ свою диссертацию изъ астрономіи Бю и растянулъ на листахъ формулы.

Темой сочиненія было историческое развитіе Коперниковой системы; тутъ было можно раз-

вернуться. Саша взял Птолемею альмагесту, Коперника и астрономію Балли. Ему ярко представилась послѣдовательность развитія астрономіи отъ безсвязныхъ отдѣльныхъ замѣчаній египтянъ до ея высокаго состоянія, въ которомъ она является въ рукахъ Ньютона, и показалъ, какъ отдѣльныя свѣдѣнія и наблюденія, являясь изъ разныхъ началъ, умножаясь, соединились въ альмагестъ, этомъ первомъ опытѣ, какъ науки, и образовали изъ нея систематическій сборникъ. Потомъ, еще не касаясь Коперника, онъ представилъ общее направленіе мысли въ его великомъ вѣкѣ; высшія требованія на науку, нежели во времена Птолемея; несостоятельность астрономіи относительно этихъ требованій и гениальное провидѣніе Коперника. Но, чтобы дать понятіе, какъ уничтожилось древнее воззрѣніе и какъ дало начало истинному гениальное слово Коперника, и оцѣнить величіе его дѣла, недостаточно было только указать на него, надобно было прослѣдить самое это развитіе; то Саша, доведя исторію астрономіи до теоріи тяготѣнія, изложилъ всю важность Коперниковой системы, показалъ необходимость Коперника именно въ ту эпоху, въ которую онъ жилъ; затѣмъ, показавши требованія XVI вѣка на науку,—старался раскрыть, насколько имъ отвѣтила астрономія Ньютономъ и, наконецъ, Лапласомъ, и доказать, что наука развивается по законамъ въ уровень съ человѣчествомъ и по однимъ и тѣмъ же законамъ, какъ и мышленіе.

«Когда окончился экзаменъ, — писалъ намъ Саша:— всѣ студенты одного со мною курса собрались въ небольшую кучку и ждали, не выйдетъ ли кто изъ совѣта, чтобы узнать свою участь, «быть или не быть». Несмотря на то, что я казался веселымъ, на душѣ было тревожно. Я слышалъ, что Павловъ, у котораго я ревностно занимался, поставилъ мнѣ 2 за то, что я разъ возмущилъ противъ него аудиторію и два раза уговорилъ студентовъ нейти къ нему на лекціи, потому что Павловъ, дѣлая выговоръ какому-то студенту, сказалъ: «столь и солдатъ у двери столько же меня понимаютъ, какъ и амфитеатръ». Изъ этого вышло дѣло, его разбиралъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ. Онъ вызвалъ къ себѣ вмѣстѣ Павлова и меня. Павловъ не могъ мнѣ этого простить. На вопросъ изъ динамики я дурно

отвѣчалъ, поэтому предполагалъ, что и Перевощиковъ, вѣрно, больше двухъ не поставитъ. Остальное шло превосходно.

«Когда вышелъ къ студентамъ Гейманъ, всѣ бросились къ нему. «Поздравляю васъ—вы кандидатъ»,—сказалъ онъ мнѣ.—«Еще кто? кто?»—«Такой-то и такой-то». Мнѣ разомъ сдѣлалось и весело, и грустно.

«Когда я по чугунной лѣстницѣ университета выходилъ кандидатомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ изъ школы на Божій свѣтъ, тогда иначе взглянулъ на все. Чувство самобытности и совершенностіи никогда не бываетъ такъ ярко, какъ въ минуту окончанія публичнаго воспитанія. Испанскіе башмаки, шнуровавшіе душу, лопаются, и фантазія гуляетъ на свободѣ. Нѣтъ болѣе ни правилъ, ни направленія извнѣ. Это медовый мѣсяцъ совершенностіи.

«Съ чувствомъ собственнаго достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятить Нептуну мокрое платье, въ которомъ плавалъ три года по схоластическому болоту на ловлю идей, то-есть, говоря презрѣнной прозой, подарилъ годовичнымъ студентамъ толстыя тетради лекцій, выучившія меня стенографіи и разучившія писать удобочитаемо.

Теперь уже ничто не мѣшало Сампѣ упиваться любовью къ своему ландышу и любоваться имъ. Любовь его была искренна, какъ и всѣ чувства юности. Онъ не дѣлалъ себѣ анализа, пока страсть брала верхъ надъ всѣмъ, предложилъ Маріи объявить семейству, что онъ проситъ ея руки и, какъ только позволятъ обстоятельства, на ней женится.

— Если я объявлю о твоёмъ предложеніи моему семейству—это тебя свяжетъ,—отвѣчала она:—я вѣрю твоему благородству и—твоей любви... если же измѣнишься... да нѣтъ, это невозможно... сердце, какъ твое, измѣнять не можетъ».

И онъ былъ увѣренъ въ неизмѣнности своихъ чувствъ. Когда же, сверхъ чаянія, сталъ охлаждать, то не могъ устоять и не воспользоваться свободой, предоставленной ему этой благородной дѣвушкой.

Спустя нѣсколько лѣтъ, анализируя это, уже угаснувшее чувство, онъ, какъ бы въ оправданіе передъ самимъ собою, говорилъ:

«Любовь моя была односторонняя и отчасти натянута, тогда я этого не замѣчалъ. Чиста была эта любовь, какъ майское ясное небо; свѣтлой рѣчкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодомъ человѣкѣ, бывшемъ женихѣ, и тѣмъ, что онъ скоро былъ забытъ. Я отыскивалъ въ своей душѣ давно забытыя страницы сентиментальности, принаряжалъ ими душу, отчасти это чувствовалъ и къ сентиментальности присоединялъ всѣ мои либеральныя мечтанія. Я говорилъ ей и говорилъ отъ души, что за осуществленіе моихъ политическихъ убѣжденій пожертвую моею любовью, пожертвую ею, и вполнѣ вѣрилъ въ истинность и неизмѣнность этихъ словъ, такъ, какъ и чувствовалъ».

Въ пламенныхъ словахъ онъ писалъ о ней къ Никѣ.

Саша точно чары набрасывалъ на Ника, и не только въ ихъ юности, но и во всю послѣдующую жизнь. Въ какое бы положеніе судьба ни ставила Александра, Никъ, какъ бы невольно, стремился стать точно въ такое же. Подъ вліяніемъ картины любви Саши, онъ сталъ искать существо, которому могъ бы также отдать первую любовь свою. Искать было недалеко. Въ домѣ ихъ жила милая молодая дѣвушка. Никъ почти не замѣчалъ ея, — читая письма Александра, онъ ее замѣтилъ, робко полюбилъ и въ страстныхъ выраженіяхъ говорилъ о ней своему другу. Судьба этой дѣвушки — созданія глубоко чувствовавшего, поэтическаго, — разыгралась самымъ плачевнымъ образомъ. Никъ не былъ виной ея несчастія. Напротивъ, онъ до конца ея разбитой, кратковременной жизни сохранилъ къ ней чувство дружбы и озарялъ ея печально догорающую жизнь своимъ сочувствіемъ.

Пока Саша готовился къ экзамену и держалъ его, я съ Вадимомъ и пятнадцатилѣтнимъ братомъ его Помпеемъ отправились въ Васильевское.

Мы приѣхали туда около сумерекъ и помѣстились въ барскомъ домѣ. Прелесть мѣста, глубокая тишина, воздухъ полей, возбудили въ насъ чувство безотчетнаго счастья. Отъ голубой ленты рѣки до луговъ, усыпанныхъ цвѣтами мая, все какъ бы улыбалось намъ, все манило насъ къ себѣ. Поручивши приѣхавшей съ нами горничной разобрать и размѣстить наши небольшіе по-

житки и книги, сами поспѣшили въ рощу и къ рѣкѣ. Тотъ же широкий камень лежалъ на берегу близъ воды; та же лодка слегка колыхалась, привязанная въ тростникѣ. Ею владѣлъ писарь Епифанычъ и, плывая въ ней, ловилъ рыбу. Солнце тихо закатывалось. Все агѣло. Жизнь раннихъ лѣтъ обступала меня. Я смотрѣла на все съ тѣмъ чувствомъ нѣжности и умиленія, съ которымъ смотримъ на портретъ милаго намъ младенца, напоминающій его ясный взглядъ и его голубую улыбку.

Когда Вадимъ и Помпей вывели изъ тростника лодку и придвинули къ берегу, въ нее мгновенно перемахнула Зюльма, собака польской породы, подаренная Вадиму моимъ братомъ, и сѣла на лавочку; за Зюльмой легко перепрыгнула въ лодку я и помѣстилась рядомъ съ нею; за нами Вадимъ съ Помпеемъ; они взяли весла, весла шумно разрѣзали воду, и лодка поплыла. Берега, лѣсъ, вечерняя заря опрокинулись въ рѣкѣ. Отъ времени до времени, въ глубокомъ пространствѣ съ легкимъ крикомъ проносились надъ нами въ одиночку бѣлыя чайки...

И громко пѣлъ во тмѣ вѣтвей
Печаль и счастье соловей.

Въ водѣ, въ воздухѣ, въ растеніяхъ чувствовался трепетъ жизни. Въ самой тишинѣ, окружавшей насъ, струилась жизнь.

Мы возвратились домой, когда наступилъ вечеръ, и принесли большіе букеты ландышей и бѣлыхъ ночныхъ фіалокъ, еще мокрые отъ росы. Фіалки тотчасъ разлили по комнатѣ свой упонительный запахъ. Въ столовой, на большомъ липовомъ столѣ, насъ ожидалъ чай. Мы раскрыли окно, въ него стала пробираться роса и изъ-за рва послышались голоса перепеловъ, перекликавшихся во ржи. Въ комнатѣ, гдѣ, бывало, ворчалъ кампринзый старикъ, раздавался веселый разговоръ и молодой, вольный смѣхъ...

Мы прожили въ Васильевскомъ до августа, не замѣчая жизни, мы жили и—только. Природа, прошедшее, настоящее, все какъ бы сосредоточилось въ одной живой точкѣ и билось однимъ пульсомъ жизни съ нами.

Вадимъ въ деревнѣ писалъ свои «Путевыя записки»; я переводила романъ Карра «*Sous les tilleuls*»; иногда мы читали другъ другу вслухъ.

Августъ наступилъ незамѣтно. Въ Васильевскомъ мы получили письмо отъ дяди Александра Ивановича изъ Чертовой. Онъ приглашалъ насъ къ себѣ. Мы приняли приглашеніе и въ первыхъ числахъ мѣсяца отправились къ нему съ присланными за нами въ коляскѣ старушкой Натальей Ивановной и Петромъ Семеновичемъ. Такъ же, какъ и въ первую мою поѣздку въ Чертовую, когда мы выѣхали, день былъ сѣренѣйшій, въ воздухѣ парило, пахло близкимъ дождемъ, въ лѣсу чувствовался смѣшанный запахъ лѣсныхъ травъ, деревьевъ, грибовъ. Вскорѣ сталъ накрапывать дождь, мало-по-малу дождь разошелся и превратился въ ливень. Петръ Семеновичъ раскинулъ поверхъ коляски кожу, застегнулъ кожей со стеклышками съ боковъ и превратилъ коляску въ карету. Сидя въ полусвѣтѣ, подъ шумъ дождя, скатывавшагося съ кожи экипажа на землю, мы вступили въ разговоръ съ Натальей Ивановной. Она намъ рассказала, что дядя съ кончины своей жены сталъ вести жизнь самую уединенную, даже по зимамъ пересталъ переселяться въ Тулу, какъ бывало прежде. Въ отъѣзжія поля съ сосѣдями уже не ѣздитъ, а охотится иногда одинъ съ своими псарями и собаками, большею же частью сидитъ дома, занимается хозяйствомъ, садомъ и оранжереей, да забавляется съ двумя дѣтьми-воспитанниками. При этомъ старушка намекнула, что мать этихъ дѣтей не чужда дядѣ.

— Да вы не извольте тревожиться, — добавила она, обращаясь ко мнѣ: — дяденька ей забываться не позволяетъ; у него «знай сверчокъ свой шестокъ». Кушанье ей идетъ со стола, чаю пей въ волю; разносчикъ заѣдетъ, выбирай любого ситца на платье, любой платокъ на шею, а мѣсто свое помни. Боже упаси! вѣдь знаете дяденьку — баринъ настоящій. Вы, чай, помните Дуньку Галкину — она и есть. Лицо конопатое, некрасивая, да простая такая, не то чтобы она ему понравилась, и нравиться-то нечему — мало ли у насъ дѣвокъ лучше ея, полна дѣвичья пляшищица, — ну, такъ у этой что ни годъ, то сынъ, вылитый баринъ, по дѣтямъ и мать хороша. Двое старшихъ померли — красавцы были, ужъ какъ онъ по нимъ убивался! — остались двое меньшихъ. Онъ-было ихъ въ воспитательный домъ отослалъ, а какъ старшихъ Господь прибралъ, то и приказалъ

взять обратно. Утѣшается ими, а баловать не балуетъ. Дѣти больше на моихъ рукахъ растутъ: она ничего не смыслитъ. Не сладко мнѣ все это, говоря по правдѣ,—добавила Наталья Ивановна, глубоко вздохнувши:—грѣха много, противъ закона Божія; лучше бы женился на ровнѣ, еще какія невѣсты-то знатныя шли за него! И теперь молодецъ изъ себя, ну, такъ слышать не хочеть. Ничего не подѣлаешь—его барская воля.

— Я помню Дуняшу,—сказала я:—она дѣвушка добрая, но недалекая, жила въ загонѣ. Какъ она держитъ себя теперь?

— Какъ?—отвѣтила Наталья Ивановна тономъ, въ которомъ слышалось пренебреженіе:—никакъ. Гдѣ ей, дурѣ, держать себя. Встанеть утромъ растрепанная, разстегнутая, сядетъ въ дѣвичьей на лавкѣ за самоваръ и пьетъ чай до пота лица, крѣпкій, какъ пиво, да все въ накладку. Потомъ нарядится въ пестрое платье, накинеть на плечи купавинскій платокъ, подвернетъ подъ него руки и пойдетъ ходить по двору, либо по дворовымъ, а то въ садъ отправится. Сталь-было баринъ ее грамотѣ учить—въ толкъ не взяла, такъ научилъ какіе-то стихи рассказывать, да на гитарѣ брянчать, по ней такоеское дѣло. Работать не умѣетъ, въ хозяйствѣ толку не знаетъ. Дѣло ея было извѣстное: чистить, мыть да полы подтирать. По Дунькѣ и роднымъ ея пошла честь и милость: отцу ея дяденька вагъ пожаловалъ лѣсу на новую избу; матери новую плахту и кичку хорошую. Отъ барщины отрѣшиль. Дядя проштрафился—просила, помиловалъ. А вѣдь знаете, у дяденьки расправа коротка, по-военному, позабудь шутить, по одной половицѣ ходи, на другую посматривай.

— А какъ прислуга на нее смотреть?

— Извѣстно какъ—ненавидить.

— Почитаеть ли она васъ, Наталья Ивановна?

— Не забывается. Да вѣдь меня и дяденька-то, дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать, уважаетъ. Помнить, что выкормила, вынянчила его и добро его сберегаю.

Такимъ образомъ, разговаривая да разсуждая, въ домѣ мы познакомились съ новымъ бытомъ дяди. Въ полдень останавливались кормить лошадей; съ вечера приотавали у знакомыхъ другого нашего спутника, Петра Семеновича, на ночлегъ. На третій день, на закатѣ

солнца, передъ нами засвѣтился между вербами прудъ сторожевой, поля сжатого хлѣба, по которымъ кое-гдѣ синѣлъ забытый серпомъ василекъ. Вскорѣ показался плетень нижняго сада, баня, бѣлый, съ красными полосами, флагъ на бельведерѣ дома—знакъ присутствія въ немъ помѣщика, наконецъ, и самъ дядя на крыльцѣ, въ бѣлой артиллерійской фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ. Онъ стоялъ одинъ. Завидя насъ еще издали, снялъ фуражку и замахалъ ею, въ знакъ привѣта.

Когда мы вошли въ залу, дядя благодарилъ насъ, что его навѣстили, и, показавши на рядъ парадныхъ комнатъ, радушно сказалъ:

— Вся эта половина въ вашемъ распоряженіи, прошу быть какъ дома и ничѣмъ не стѣсняйтесь, позвольте и мнѣ вести мой обычный образъ жизни.

Домъ дяди былъ деревянный, большой, какіе бывали у большей части помѣщиковъ того времени. Широкий коридоръ раздѣлялъ его на двѣ половины: на парадную и домашнюю. Къ одной стѣнѣ коридора придѣланы были шкапы, гдѣ хранились платья, дорогая парадная посуда, ненужныя вещи, старыя газеты. Парадная половина состояла изъ обширной залы, гостиной, спальни и небольшого кабинета, отворявшагося въ цвѣточную оранжерею. Стѣны этого кабинетика были обтянуты въ складку шелковой матеріей лимоннаго цвѣта, такой же матеріи драпировка затѣняла окно, у котораго стоялъ маленький письменный столикъ. Диванъ и кресла были обиты пунцовымъ казимиромъ. Вся эта половина дома окнами обращена была въ садъ. Въ гостиной между двухъ оконъ находилась стеклянная дверь, отворявшаяся на широкий балконъ съ колоннами и широкими ступенями, убранными цвѣтами. Песчаная дорожка отдѣляла балконъ отъ длинной грядки лиловыхъ ночныхъ фіолей, душистаго горошка и расписныхъ турецкихъ гвоздикъ, окаймлявшихъ зеленый лужокъ.

Дядя расположился въ половинѣ домашней, обращенной окнами во дворъ; на немъ виднѣлись: голубятня, скворечница, конура цѣпной собаки и качели. Половина эта состояла изъ передней, столовой, довольно просторнаго кабинета дяди, въ которомъ онъ проводилъ большую часть времени, маленькой спальни и галлерейки, ведущей въ обширную дѣвичью, съ дубовыми лавками

и громадной лежанкой. У оконъ дѣвичьей помѣщалось нѣсколько пялецъ. Коридоръ, начинавшійся отъ столовой, оканчивался комнатою, которую я занимала, бывши дѣвочкой. Я навѣстила ее. Тѣ же диваны огибали стѣны, тѣ же книги лежали въ шкапу; я ихъ пересмотрѣла и перенесла въ спальную «Дѣтей аббатства»; прибавился въ бывшей моей комнатѣ только садокъ съ канарейками, прикрѣпленный надъ дверью.

Къ обѣду прѣхалъ сосѣдъ, пріятель дяди, Никаноръ Ивановичъ Чалищевъ. Въ два часа старый буфетчикъ Антонъ, съ салфеткой, перекинутой черезъ руку, безстрастнымъ голосомъ провозгласилъ: «кушать готово» — и всѣ двинулись къ столу. За стуломъ каждого сѣвшаго за столъ сталъ слуга, держа лѣвой рукой у груди чистую тарелку, и немедленно замѣнялъ ею ту, съ которой было все съѣдено, затѣмъ снова вооружался чистой тарелкой. Обѣдъ дяди почти всегда состоялъ изъ пяти-шести блюдъ, превосходно изготовленныхъ поваромъ, учившимся стряпать въ англійскомъ клубѣ. Между жаркимъ и пирожнымъ подали шампанское. Когда пили за наше здоровье, поздравляя съ бракомъ, раздались выстрѣлы изъ пушекъ. У дяди вблизи дома стояло шесть пушекъ.

Послѣ обѣда въ гостиной подали кофе и десертъ изъ фруктовъ, между которыми находились тарелки съ горохомъ и бобами. Дядя хвалился передъ сосѣдомъ ананасами, дынями и разными сортами яблокъ и сливъ. Разрѣзая, объяснялъ достоинство, вкусъ и аромат каждого. На вечерней зарѣ мы съ Вадимомъ пошли съ удочками на прудъ, находившійся въ саду, половить карасей. Къ намъ подсѣлъ старикъ-садовникъ съ мальчикомъ-внукомъ и вступилъ въ разговоръ о рыбной ловлѣ. Рыба клевала отлично. Мы безпрестанно выдергивали удочки съ трепещущими карасями, блестящими золотистой чешуей, и сбрасывали ихъ въ ведро съ водою. За ужиномъ караси эти явились на сковородѣ жаренные въ сметанѣ съ лукомъ.

Земледѣліе, особенно садоводство, были любимыми предметами занятій дяди. Поселившись на житье въ Чертовой, онъ по своему плану разбилъ около дома сады, обнесъ ихъ живымъ ивовымъ плетнемъ, провелъ около плетня широкую липовую аллею и самъ образовывалъ садовниковъ. Кромѣ дорогихъ фруктовыхъ деревьевъ, въ

саду было пропасть цвѣтовъ и такое множество розановъ, что когда они осыпались, то листочки ихъ, разносимые вѣтромъ, розовымъ ковромъ устилали землю около кустовъ и ближайшихъ дорожекъ. Садъ былъ образцовый и давалъ хорошій доходъ.

Образъ жизни и система хозяйства помѣщиковъ того времени, сколько я могу себѣ представить, были выработаны въ опредѣленную форму и передавались преемственно. Въ домашнемъ хозяйствѣ все было свое, начиная съ прислуги: приказчики, конторщики, экономы, офиціанты, повара и всевозможные мастеровые; въ дѣвичьей: экономка, барскія барыни, фрейлины при барыняхъ и барышняхъ, горничныя, чистыя и черныя, кружевницы, плетеницы и проч. Такимъ образомъ, начиная отъ высшихъ до низшихъ должностей служителей, отъ мебели до тончайшихъ кружевъ, все было свое. Полевымъ и въ обширномъ объемѣ домашнимъ хозяйствомъ завѣдывалъ самъ помѣщикъ; внутреннее мелочное хозяйство и воспитаніе дѣтей было въ завѣдываніи помѣщицы. Когда дѣти подрастали, дѣвочекъ отдавали въ пансіоны и институты, мальчиковъ въ кадетскіе корпуса, въ инженерное училище; помѣщать въ гимназію считали унижительною. Большею же частью брали къ себѣ гувернеровъ и гувернантокъ и приготовляли дѣтей дома. Сыновья очень молодыми поступали въ полкъ, достаточные—въ кавалерію; въ полку кутили, на что старшіе смотрѣли довольно снисходительно, предполагая, что молодому человѣку надо «перебѣситься». Молодой человѣкъ, въ большинствѣ случаевъ, дослужившись до чина поручика, иногда до ротмистра, выходилъ въ отставку, поселялся у родителей, развѣзжалъ по сосѣдямъ, охотился съ собаками, ухаживалъ за барышнями, танцевалъ, влюблялся, женился, родители молодыхъ награждали, отдѣляли, и тѣ начинали жить съ небольшими противъ родителей измѣненіями, сообразно съ духомъ времени. Помѣщикамъ при крѣпостномъ правѣ трудно было представить себѣ возможность жить иначе; да и большая часть принадлежавшихъ имъ людей считали этотъ строй жизни правильнымъ, а власть помѣщиковъ надъ собой законной до того, что безъ протеста допускали себя бить и покорно ложились подъ розги за косою взглядъ, за собаку, и только развѣ въ утѣ-

шеніе себѣ высѣченный выругаетъ господъ за глаза. Вообще же, какъ владѣлецъ, такъ и принадлежавшіе ему люди были увѣрены, что все, что ни сдѣлаетъ баринъ, онъ знаетъ отлично, за что и зачѣмъ. Конечно, такой порядокъ вещей могъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока большинство тѣхъ и другихъ считали его законнымъ.

Дядя неизмѣнно держался этого же образа жизни и практическаго хозяйства безъ нововведеній, безъ риска и большихъ затратъ; по достаточнымъ средствамъ своимъ онъ не отказывалъ себѣ ни въ удовольствіи, ни въ нѣкоторой роскоши. Крестьяне у него работами не отягощались, но съ нихъ строго взыскивалось добросовѣстное исполненіе барщины. Равномѣрно взыскивалось исполненіе возложенныхъ обязанностей какъ съ дворовыхъ людей, такъ и съ комнатной прислуги. Дворовыхъ и комнатныхъ, состоявшихъ при различныхъ хозяйственныхъ должностяхъ, насчитывалось въ Чертовой болѣе полутора ста человѣкъ. При взрослой прислугѣ для посылокъ держались дѣвочки и мальчишки-казачки, которые воспитывались щелчками и подзатыльниками. Кромѣ народа при дѣлѣ, состояло до двадцати пяти человѣкъ при псовой охотѣ—утѣшеніи дяди. Со дня своего водворенія въ деревнѣ и до кончины, дядя ни на волосъ не измѣнилъ ни системы хозяйства, ни образа жизни: вставалъ онъ въ 6 час. утра, пилъ чай одинъ и въ это время читалъ газеты, затѣмъ ѣхалъ верхомъ осматривать полевые работы и другія хозяйственныя заведенія; возвратясь домой, осматривалъ садъ, оранжереи, парники, завтракалъ, гулялъ, велись разговоры, въ два часа обѣдъ, десертъ, затѣмъ ложились отдыхать, и по дому распространялась непробудная тишина. Отдохнувши, развлекались прогулкой, полдникомъ, разговорами; въ шесть часовъ чай, въ девять ужинъ, отдавался приказчику приказъ по хозяйству, и въ 10 часовъ весь домъ спалъ.

Эта жизнь не мѣшала имъ быть здоровыми и не рѣдко доживать до глубокой старости *).

*) Дядя скончался ста лѣтъ, сидя на подвижныхъ креслахъ, насвистывая маршъ. Отецъ его скончался 110 лѣтъ, прилегли на кровать, сложивши руки на крестное знаменіе,—оба безъ страданія.

Однообразная, неподвижная жизнь въ домѣ дяди была до того глубока, что втягивала въ себя все и каждого, кто къ ней ни соприкасался. Вещи многими годами стояли и лежали на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, прислуга ходила одними и тѣми же неслышными шагами, смотрѣла такъ же почтительно и такъ же подобострастно служила. Самое время въ Чертовой какъ бы остановилось на одномъ моментѣ и отмѣчало свое движеніе единственно измѣненіемъ чертъ лица ея жителей. Порой мы точно просыпались, чувствуя что-то похожее на упрекъ совѣсти—въ праздности и умственномъ застоѣ; но это скоро проходило.

Мирно потекли дни наши въ Чертовой. Какая-то нѣга праздности охватила насъ, отталкивала не только что отъ дѣла, но даже отъ серьезныхъ интересовъ. Мы цѣлые дни гуляли, ѣли, отдыхали, упивались въ оранжевъ запахомъ жасмина и гардений, забавлялись, какъ «не тронь меня» трепетно сжимается и быстро опускаетъ вѣтки отъ прикосновенія къ ней руки, какъ «мухоловка» удерживаетъ опускавшихся на нее насѣкомыхъ, и читали романы. Иногда послѣ обѣда, когда весь домъ ложился отдыхать, мы приходили въ комнату Натальи Ивановны и помѣщались тамъ на ея кровати; старушка придвигала свои глубокія кресла къ маленькому столику, стоявшему у ея постели, ставила на столикъ тарелочку съ прозрачнымъ желе, графинъ воды со льдомъ, садилась противъ насъ, и у насъ начинался разговоръ о бабушкахъ и прабабушкахъ, при которыхъ она служила съ дѣтскихъ лѣтъ въ различныхъ должностяхъ, или толковали сны и гадали на Мартынь Задекѣ.

Спустя дня три-четыре по пріѣздѣ нашемъ въ Чертовую, сидѣли мы однимъ вечеромъ съ дядей въ его кабинетѣ, на турецкомъ диванѣ, огибавшемъ три внутреннія стѣны, и, разговаривая о томъ, о семъ, склонили рѣчь на литературу. При этомъ дядя, какъ-то кстати, сказалъ, что одна изъ его горничныхъ дѣвушекъ имѣетъ большую наклонность къ поэзій и музыкѣ и, не зная грамоты, по слуху выучила нѣсколько балладъ Жуковского, да самоучкой играетъ недурно на гитарѣ и поетъ,—и предложилъ намъ ее послушать. Мы изъявили желаніе.

— Позвать Авдотью Васильевну,—крикнулъ дядя ка-

зачку, постоянно дремавшему за дверью его кабинета. Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла полная, бѣлокурая дѣвушка средняго роста, лѣтъ двадцати семи. Румяное лицо ея было осыпано веснушками, узкій лобъ показывалъ тѣсный умъ, маленькіе глаза смотрѣли простодушно. Она почтительно остановилась у двери, сложивши руки подъ большимъ купавинскимъ платкомъ, покрывавшимъ ея полныя плечи. Я знала эту дѣвушку съ моего дѣтства и въ прежнія времена часто сживалась съ нею на ступенькахъ задняго крыльца, смотрѣла, какъ она усердно чистила толченымъ кирпичомъ тазы и самовары и вела съ нею ребяческій разговоръ. Я ее любила за простоту и загнать. Всѣ домашніе иначе не называли ее, какъ «галка», а потомъ она стала Авдотьей Васильевной Галкиной.

— Садитесь, Дуняша, на диванъ,—сказала я ей шопотомъ.

— Какъ еще дяденька позволять, матушка Татьяна Петровна,—отвѣчала она въ полголоса.

Дядя приказалъ ей сѣсть, спросивши напередъ нашего позволенія. Она приткнулась на краешекъ дивана и, по приказанію дяди, поломавшись и краснѣя немного, стала говорить, и очень недурно, балладу Жуковскаго «Людмилу». Въ комнатѣ все притихло—слышался только робкій голосъ Дуняши. Какъ бы въ помощь ей, для усиленія производимаго ею впечатлѣнія, когда она говорила:

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой,
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ...

полный мѣсяцъ, перебѣгая изъ облака въ облако, отъ времени до времени заглядывалъ въ открытое окно кабинета.

Переставши говорить балладу, Дуняша взяла гитару, постоянно лежавшую на диванѣ, и, наклоняясь надъ нею, съ затрудненіемъ перебирая лады и струны, наладила пѣсню и запѣла:

Гусаръ, на саблю опираясь,
Въ глубокой горести стоялъ...

Дядя просвѣтлѣлъ, пріободрился и принялся ей подтигивать, входя въ роль гусара, отъѣзжающаго на войну.

Затѣмъ самъ взялъ гитару, заигралъ плясовую, дѣти пустились припрыгивать, какая-то душевная теплота распространилась между всѣми и вызвала на лицѣ дяди выраженіе признательности къ намъ, — что не чуждаемся близкихъ его сердцу и не затрудняемъ его привычной жизни.

И за что же бы иначе?

Отправивши на покой веселую компанію, дядя еще долго продержалъ насъ въ кабинетѣ, насвистывалъ марши, рассказывалъ о сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъ, объ Алексѣѣ Петровичѣ Ермоловѣ *). Между прочимъ, рассказалъ одно странное событіе, случившееся съ Алексѣемъ Петровичемъ въ его молодости, слышанное имъ отъ него самого. Если бы это рассказалъ не дядя, извѣстный своей правдивостью, я бы не повѣрила.

Какъ необъяснимую странность, вписываю этотъ рассказъ въ мои воспоминанія.

«Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, будучи только-что произведенъ въ офицеры, взялъ отпускъ и поѣхалъ въ деревню къ матери. Это было зимою. Ночью, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до своего имѣнія, онъ былъ застигнутъ такой сильной мятелью, что принужденъ былъ остановиться въ небольшой деревушкѣ. Въ крайней избѣ свѣтилъ огонекъ, они къ ней подѣхали и постучались въ окно, просясь переночевать. Спустя нѣсколько минутъ, имъ отворили ворота, и путники вѣхали въ крытый дворъ. Хозяинъ ввелъ ихъ въ избу. Изба была просторна и чиста. Передъ широкими, новыми лавками стоялъ липовый столъ; въ правомъ углу передъ образами, въ посеребренныхъ вѣнцахъ, теплилась лампадка, — на столѣ горѣла сальная свѣча въ желѣзномъ подсвѣчникѣ. Наружность хозяина поразила Алексѣя Петровича. Передъ нимъ стоялъ высокій, бодрый старикъ съ окладистой бородой и величавымъ видомъ. Въ голубыхъ глазахъ его свѣтился умъ и была какая-то влекущая сила. Денщикъ внесъ самоваръ, погребецъ съ чаемъ и ромъ; Алексѣй Петровичъ, раскутавшись,

*) А. П. Ермоловъ весьма любилъ и уважалъ моего дядю А. И. Кучина; это видно, между прочимъ, изъ писемъ къ нему Ермолова, напечатанныхъ въ «Русской Старинѣ».

расположился на лавкѣ, и когда самоваръ былъ готовъ, пригласилъ хозяина напиться вмѣстѣ чаю. Разговаривая съ хозяиномъ, Ермоловъ дивился его здравому уму и чарующему взгляду. Когда разговоръ коснулся таинственныхъ явленій, Алексѣй Петровичъ сказалъ, что ничему такому не вѣрить и что все можно объяснить просто; тогда хозяинъ предложилъ ему показать одно явленіе, которое онъ едва ли объяснить себѣ. Алексѣй Петровичъ согласился. Старикъ принесъ ведро воды, вылилъ ее въ котелокъ, зажегъ по его краямъ три восковыя свѣчки, проговорилъ надъ водой какія-то слова и велѣлъ Ермолову смотрѣть въ воду, думая о томъ, что желаетъ видѣть, самъ же сталъ спрашивать, что ему представляется.

— Вода мутится,—отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ:—точно облака ходятъ по ней; теперь вижу нашъ деревенскій домъ, комнату матери, мать лежитъ на кровати, на столикѣ горитъ свѣча, передъ матерью стоитъ горничная, повидимому, принимаетъ приказъ; горничная вышла, мать снимаетъ съ руки кольцо, кладетъ на столикъ.

— Хотите, чтобы это кольцо было у васъ?—спросилъ старикъ.

— Хочу.

Старикъ опустилъ руку въ котелъ, вода закипѣла, смутилась. Алексѣй Петровичъ почувствовалъ легкую дурноту. Старикъ подаль ему золотое кольцо, на которомъ было вырѣзано имя его отца, годъ и число брака.

На другой день Ермоловъ былъ уже дома; онъ нашелъ мать нездоровой и огорченной потерей своего вѣнчальнаго кольца.

— Вчера вечеромъ,—говорила она:—я велѣла подать себѣ воды вымыть руки, сняла кольцо и положила на столикъ, какъ почувствовала дурноту, и позабыла о немъ. Когда хватились, его уже не было и нигдѣ не могли отыскать.

Спустя нѣсколько часовъ, Алексѣй Петровичъ отдалъ кольцо матери, говоря, что нашелъ его въ спальной; о случившемся же никогда ей не сказывалъ».

Находясь въ прекрасномъ расположеніи духа, дядя разговаривался, удержалъ насъ въ кабинетѣ долѣе опре-

дѣленнаго для сна часа, рассказывалъ о своей военной жизни, о товарищахъ, сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъ, о битвѣ подъ Аустерлицемъ: говорилъ, что раны и теперь даютъ себя знать, особенно пуля въ ногѣ, и что лучше всѣхъ лѣкарствъ ему помогаетъ баня и березовые вѣники.

Мы пробыли у дяди до конца сентября. Передъ нашимъ отъѣздомъ онъ подарилъ Вадиму дорогую верховую лошадь, по имени Персикъ, богатое двухствольное ружье и молодого башмачника; мнѣ тысячу рублей серебромъ и двухъ дѣвушекъ, предложивши взять на выборъ изъ всей дворни. Всѣ дворовыя и горничныя дѣвушки были собраны въ мою комнату, иныхъ сопровождали матери съ умоляющими взорами и заплаканными глазами. Я всѣхъ ласкала, старалась успокоить родныхъ; однѣ были веселы и просили, чтобы я взяла ихъ себѣ; другія робко говорили: «воля ваша, матушка Татьяна Петровна, мы васъ знаемъ, у васъ обиды не будетъ, да со своими разстаться не хочется».

Дурная страница открывается въ моихъ воспоминаніяхъ, но и ее надобно внести въ нихъ. Въ этомъ сознаніи наказаніе и отрадное чувство примиренія съ собою черезъ покаяніе. Больше всѣхъ дѣвушекъ мнѣ понравилась единственная дочь у матери-вдовы, я указала на нее. Мать упала мнѣ въ ноги, дѣвушка рыдала. Я ихъ утѣшала, ласкала, дарила, общала, что ей у меня будетъ жить лучше, чѣмъ въ деревнѣ—и дѣвушку удержала, и это не казалось мнѣ безчеловѣчнымъ! Такъ крѣпостное право, забираясь въ сердца, портило чистѣйшія понятія, давая возможность удовлетворять прихоти.

Впослѣдствіи я эту дѣвушку возвратила матери, но слезы, пролитыя ими при разлукѣ, легли мнѣ на душу.—«Что ты, дура, плачешь,—утѣшали избранную домашніе.—Благовари Бога, да молись за молодую барыню—Москву посмотришь».

Было за что молиться обо мнѣ.

Вторая дѣвушка сама упросила меня взять ее.

На другой день нашего пріѣзда въ Москву, проходя гостиной, я увидала на полу раскрытое письмо, узнала почеркъ Саши и подняла его. Невольно взглянувши на написанное, я прочитала: «Ангель мой, вчера пріѣхали Вадимъ и Таня, будемъ осторожны» и проч. Я была

поражена, не стала читать дальше начала и отдала письмо Вадиму, чтобы онъ распорядился имъ, какъ найдеть удобнѣе. Отчужденіе Саши огорчило насъ. Почему это? за что?—а разгадка была не далеко: онъ начиналъ сознавать непрочность своихъ чувствъ и, помня нашъ разговоръ,—отъсвѣнялся.

Пока увлеченіе брало верхъ надъ всѣмъ, онъ не дѣлалъ себѣ анализа и не сомнѣвался въ своей вѣрности; когда же сверхъ чаянія замѣтилъ, что чего-то недостаетъ ему, то сталъ искать пополненія въ товарищахъ; это вызвало въ ней огорченіе, упреки, какъ онъ послѣ рассказывалъ, а въ немъ на нѣсколько градусовъ упадокъ чувства, затѣмъ—охлажденіе.

Спустя много лѣтъ, Саша, вспоминая объ этой любви, говорилъ, что она мила ему какъ память прогулки на берегу моря среди цвѣтовъ и гѣсенъ, какъ прекрасное сновидѣніе, исчезнувшее, какъ обыкновенно исчезаютъ сновидѣнія. Для него это былъ сонъ, для нея—жизнь. «Когда же ландыши зимуютъ»,—продолжалъ онъ, сравнивая любовь эту съ весенними цвѣтами. И точно, любовь эта отцвѣла для него такъ же скоротечно, какъ отцвѣтають ландыши, и даже скорѣе; но для него цвѣты весны замѣнялись цвѣтами лѣта и даже осени. А для нея чѣмъ замѣнились цвѣты весны? чѣмъ она жила въ то время, какъ онъ жилъ и сердцемъ, и дѣятельностью? Для нея съ его любовью, съ вѣрой въ него отцвѣло все!

Съ разбитой жизнью она тихо догорала, отдавшись одной религіи, а онъ говорилъ: «мнѣ было бы грустно, моя Гаэтана, если бы ты не съ той же ясной улыбкой вспоминала о нашей встрѣчѣ. Неужели что-нибудь горькое примѣшивается къ памяти обо мнѣ? мнѣ было бы это очень больно!»

Когда она узнала, что онъ женатъ, ни жалобы, ни укора не сорвалось съ ея устъ, только смертная блѣдность распространилась по лицу (это было при мнѣ): все горе, все страданье безмолвно замкнулось въ ея груди и—навсегда. Съ той минуты она и имени его не произносила, какъ будто его и не существовало никогда. Впослѣдствіи ей много представлялось хорошихъ партій—она всѣмъ отказала. Она осталась вѣрна воспоминанію, а можетъ, и чувству...

Qual cour tradisti!

Слова эти Сапа могъ бы уместнѣе сказать, вспоминая о ней, нежели, какъ онъ сказалъ ихъ, разорвавши кратковременное увлеченіе въ Вяткѣ, которое онъ называлъ искусомъ, къ одной замужней блондинкѣ.

«Прежде нежели,—говорилъ онъ спустя много лѣтъ:—я понялъ мои отношенія къ Р., меня ожидалъ искусь, который не прошелъ такой свѣтлой полоской, какъ встрѣча съ Гаэтаной, и стоилъ мнѣ много печали и внутренней борьбы».

Гаэтанѣ встрѣча съ нимъ не прошла свѣтлою полоской. Чего она стоила ей—онъ и умеръ не зная...

Зимой мы поѣхали погостить къ отцу въ Тверь. Однажды, на балѣ въ благородномъ собраніи, я замѣтила въ толпѣ человѣка невысокаго роста, съ игривыми чертами лица, выражавшими дѣтское простосердечіе и яркій юморъ. Небольшіе глаза его, смотрѣвшіе наблюдательно, какъ бы улыбались шутливо; надъ высокимъ лбомъ былъ приподнять вверхъ цѣлый лѣсъ волосъ съ просѣдью. Движенія его были торопливы и робки.

— Кто это такой?—спросила я одну даму, указывая на него.

— Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ, — отвѣчала она:—директоръ гимназіи, писатель.

— Авторъ «Послѣдняго Новика»?—поспѣшно прервала я ее.—Это нашъ первоклассный романистъ! Что за прелесть его «Новикъ»! Если вы знакомы съ нимъ, сдѣлайте одолженіе, представьте ему насъ.

Спустя нѣсколько минутъ, Лажечниковъ уже сидѣлъ между мною и Вадимомъ, и у насъ шелъ такой оживленный разговоръ, что мы не замѣчали, какъ мимо насъ мелькали танцующія пары, и не слышали, какъ гремѣлъ оркестръ музыки.

Съ перваго дня нашего знакомства съ Иваномъ Ивановичемъ, мы такъ сблизились, что въ продолженіе почти трехъ мѣсяцевъ, проведенныхъ нами въ Твери, рѣдкій день съ нимъ не видались. Въ этотъ-то періодъ времени Иванъ Ивановичъ писалъ свой романъ «Ледяной домъ» и читалъ намъ изъ него отрывки въ рукописи, входя такъ глубоко въ роли героевъ и въ событія, что чувства и мысли ихъ отражались въ чертахъ его лица, въ его голосѣ—и картины оживали. Ла-

жечниковъ чрезвычайно забавляли наши рассказы о странностяхъ, оригинальныхъ капризахъ и выходкахъ Ивана Алексѣевича. Его уединенный образъ жизни, три польскія собачки, постоянно находившіяся при немъ и, съ того времени, какъ Саша поступилъ въ университетъ, а я вышла замужъ, замѣнившія насъ; его поношенный халатъ на мерлушкахъ, красная шапочка съ лиловой кисточкой, мѣшанье въ печи дровъ, все это такъ нравилось Лажечникову, что онъ принарядилъ этими странностями своего добродушнаго чудака-совѣтника и при насъ же вмѣстилъ въ свой «Ледяной домъ».

Въ Твери къ небольшому числу посѣщавшихъ насъ знакомыхъ довольно часто присоединялся офицеръ стоявшаго тамъ кавалерійскаго полка князь Козловскій. Онъ любилъ литературу и писалъ порядочные стихи. Но никто такъ искренно и глубоко не привязался къ намъ, какъ Лажечниковъ. Почувствовавши къ кому-нибудь симпатію, онъ отдавался весь, пылко, искренно, какъ юноша. Онъ и былъ юноша, несмотря на свои сорокъ лѣтъ. По живости чувствъ и впечатлительности—казался ровесникомъ Вадима.

Онъ былъ юноша, изъ числа той фаланги юношей, которые названы Сашей героическими дѣтьми, выросшими на мрачной повѣи Жакъ-Жака, къ которымъ онъ причисляетъ всѣхъ дѣтей революціи и которые въ нашъ настоящій дѣловой вѣкъ встрѣчаются такъ рѣдко, такъ рѣдко, какъ южная птица у полюсовъ. Быть молодымъ еще не значитъ быть юнымъ. Можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Для одного юность—эпоха, для другого—цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не все. Юношескія грезы смѣшны и жалки въ человѣкѣ старомъ. До гроба должна сохраниться юношеская энергія, безпрерывно обновляющаяся, развивающаяся, почти не имѣющая способности старѣться, она по преимуществу—душа живая. Такова натура реальная, — сказано въ «Капризахъ и раздумьи». Таковъ былъ Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ.

Онъ женился на первой женѣ своей, будучи еще очень молодымъ, находясь адъютантомъ при генералѣ, не помню какомъ. Онъ увезъ ее изъ дѣвичьей, изъ-за

палецъ, какъ-то черезъ окно. Это была женщина разсудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, какъ нянька ребенка; но постояннымъ наблюдениемъ и замѣчаніями стѣсняла до того, что онъ робѣлъ передъ нею, былъ покоренъ, и, выкинувши какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, какъ напроказившее дитя. Мы нерѣдко проводили у нихъ цѣлые дни, еще чаще онъ проводилъ у насъ во флигелѣ вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали отъ сдерживающаго взора жены, онъ весь отдавался многостороннимъ интересамъ разговора; такъ свѣжо, сердечно хохоталъ иногда бездѣлицѣ, что заражалъ своей жизненностью все его окружающее, и самый воздухъ, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишкомъ поздно засидѣвшись, онъ вдругъ схватывался, какъ бы опомнясь отъ угара, улыбался улыбкой виноватаго, предчувствующаго наказаніе, и торопливо начиналъ собираться домой, часто говоря: «бѣда, какъ это всегда съ вами заговорись, Вадимъ Васильевичъ», и точно теперь вижу, какъ онъ, уже закутавшись въ шубу, лукаво выглядывая изъ-за мѣхового воротника, поднятаго выше ушей, иногда добавлялъ: «вы точно свѣтлая звѣздочка взошли на нашемъ тверскомъ горизонтѣ, такъ и тянетъ любоваться вами; не закатывайтесь отъ насъ подольше».

Вадимъ первому Лажечникову читалъ нѣкоторыя мѣста изъ своихъ «Путевыхъ записокъ», дѣлалъ поправки по его замѣчаніямъ, и былъ благословленъ имъ на путь серьезнаго историческаго труда, на который призывали Вадима богатые умственные способности и наклонность и по которому ему не привелось идти,—онъ едва ступилъ на этотъ путь, какъ и былъ сорванъ съ него безвременной кончиною. Видно, свыше было не суждено.

~~~~~

## ГЛАВА XXVI.

### Арестъ и симпатія.

Изъ кругъ разрозненный  
Становится тѣснѣй...

1834—1835.

Весной Вадимъ получилъ письмо отъ графа Александра Никитича Панина, которымъ онъ вызывалъ его для занятія въ харьковскомъ университетѣ катедры. Мы стали понемногу собираться въ этотъ дальнѣйшій путь.

Въ концѣ іюня было арестовано нѣсколько молодыхъ людей, по поводу пирушки, на которой пѣлись не дозволенные пѣсни. Изъ товарищей Вадима на этомъ праздникѣ не было никого, даже никто и знакомъ не былъ съ присутствовавшими тамъ, только нѣкоторые знали поэта Соколовскаго, въ томъ числѣ и Н. М. Сатинъ. Въ бумагахъ Соколовскаго нашла записка Сатина, въ бумагахъ Сатина письмо Ника—и оба были арестованы. Саша, огорченный, встревоженный, домогался повидаться съ Никомъ, и видѣлся. Иванъ Алексѣевичъ и сенаторъ сердились на Александра за арестъ Ника. У насъ всѣ находились въ томительномъ предчувствіи бѣды.

Занятая сборами къ отъѣзду и изданіемъ «Путевыхъ записокъ» Вадима, я относилась къ этимъ событіямъ спокойнѣе всѣхъ окружающихъ меня.

Въ это же время въ Москвѣ начались страшные пожары. Въ одно утро матушка подозвала меня къ окну и тревожнымъ голосомъ сказала:

— Посмотри-ка, Таня, какой ужасъ!

Я взглянула въ окно и обомлѣла. Вдали стояла огненная стѣна и разгоралась все шире и шире. Съ замирающимъ сердцемъ мы слѣдили за разстилавшимся пламенемъ и клубами сѣраго дыма, обнимающими полъ-неба. Отъ времени до времени сквозь дымъ сіяли, добѣла раскалившись, вновь загоравшіяся строения.

Горѣло Лефортово—и выгорѣло до тла.

Такъ начался рядъ зажигательствъ, продолжавшихся нѣсколько мѣсяцевъ. Полиція и жители отыскивали виновныхъ и не могли найти. Составилась комиссія для розыска поджигателей. Начался разборъ захваченныхъ людей. Однихъ отпускали, подозрительныхъ допрашивали, судили и ничего не открыли. Два человѣка были наказаны, но и тѣ оказались невинными. По распоряженію начальства они были награждены за каждый ударъ по 200 р. и паспортомъ съ свидѣтельствомъ ихъ невинности, несмотря на наложенное на нихъ клеймо преступниковъ.

Изъ денегъ, полученныхъ нами въ подарокъ отъ родныхъ, мы употребили часть на напечатаніе сочиненія Вадима, часть на покупку книгъ, посуды фарфоровой и хрустальной, чаю, сахару и восковыхъ свѣчей, не рассудивши, что все это можно было купить и въ Харьковѣ, не обременяя себя перевозкой. Остальные деньги отложили на путевыя издержки и на первое время въ Харьковѣ.

Дней за пять до нашего отъѣзда, Саша попросилъ меня придти къ нимъ обѣдать, а естати и проститься съ его отцомъ. Послѣ обѣда онъ позвалъ меня въ свою комнату и, взявши за руку, не твердымъ голосомъ сказалъ:

— Таня, ради Бога, скажи, что мнѣ дѣлать? я всёмъ теряюсь, Никъ взять, наши сердятся, съ Маріей не знаю какъ быть,—не знаю какъ развязаться.

Я была поражена. Я давно видѣла, что онъ сталъ къ ней холоднѣе, но чтобы охлажденіе дошло до такого градуса—не ожидала, и не знала, что сказать.

— Что же ты молчишь,—продолжалъ онъ:—дрожь пробѣгаетъ по мнѣ, когда представляю себѣ объясненія, укоры, слезы, что ты скажешь?

— Не знаю, Саша,—отвѣчала я, чувствуя страшное замираніе сердца. — Кажется, лучше всего поступить, какъ говоритъ совѣсть.

— Не могу думать. Спрашиваю тебя.

— Какъ далеко зашла ваша любовь?

— Въ чистотѣ нашихъ отношеній, конечно, не можешь сомнѣваться. Я предлагалъ ей жениться, она не

связала меня словомъ, дать ли ей счастье бракъ безъ любви?

— Твоя переѣнна убьетъ ее.

— Меня убьетъ цѣпь безъ чувства любви,—быстро возразилъ онъ:—вѣдь мнѣ только двадцать два года!

Онъ грустно задумался и спустя минуту пять сказалъ:

— Неужели я долженъ счастьемъ всей жизни заплатить за порывъ первой молодости?

— А ей можно? Кромѣ нашего личнаго счастья, есть счастье и другихъ. Въ правѣ ли мы имъ жертвовать ради своего удовольствія—пожалуй—даже счастья, жизнь ея будетъ разбита и навсегда. Не отзовется ли ея несчастье и на твоей жизни.

— Быть-можетъ, а ты думаешь, прибавить ей счастья, если женюсь изъ чувства долга. Притворяться—что любишь, да развѣ такое натянутое положеніе возможно. Боже мой, куда это я впутался!

— За что ты разлюбилъ ее?

— Почему я знаю. Логика любви коротка, — отвѣчалъ онъ раздражительно:—любишь потому, что любишь, не любишь потому, что не любишь. Легко любить ни за что и очень трудно за что-нибудь.

— Въ любви твоей ея жизнь. Неужели тебѣ не жаль ее.

— Прибавить ли ей жизни бракъ безъ любви. Я буду губить ее своимъ несчастіемъ. Быть близкимъ изъ состраданія одинъ изъ тягчайшихъ крестовъ. Мнѣ и такъ тяжело.

— Ты скоро утѣшишься, — она никогда; съ твоей угаснувшей любовью угаснетъ жизнь ея сердца.

— Да вѣдь и отношенія внѣ свободной любви не прочны, они или разрушаются, или разрушаютъ.

— По крайней мѣрѣ объяснись съ ней дружески, съ теплотой; простись съ любовью и благодарностью съ прошедшимъ. Слезъ, укоровъ не бойся—ихъ не будетъ. Я ее знаю. Такой разрывъ будетъ человѣчнѣе, онъ оставитъ хотя одну свѣтлую черточку въ душѣ.

— Едва ли. Не достанетъ силъ. Я усталъ отъ своей любви. Отдаюсь на волю судьбы.

Судьба рѣшила такими мѣрами, которыя ни мнѣ, ни ему даже и въ голову не приходили.

19-го іюля вся Москва ѣхала на скачку и гулянье, на Ходынское поле. Народъ, точно полипы всѣхъ видовъ, выползалъ изъ своихъ клѣточекъ на Ходынку. Отправился туда и Саша, потому что существующему человѣку надобно же быть гдѣ-нибудь. Занимала ли его скачка—можетъ судить всякій. Онъ стоялъ одиноко и смотрѣлъ на толпу, сѣвшую какъ туча саранчи на поле,—на кареты, которыя двигались между саранчи, какъ майскіе жуки, и былъ очень грустенъ. Встрѣчавшіеся знакомые толковали о скакунахъ и уходили. Онъ молилъ Бога ни съ кѣмъ ни встрѣтиться, отворачивался, и вдругъ увидалъ въ каретѣ Марью Степановну и Наташу. Онъ звалъ его. Когда онъ подошелъ, Наташа съ участіемъ сказала ему въ полголоса: «что вашъ другъ?» Саша былъ радъ, что его видимое разстройство духа она отнесла къ безпокойству о Никѣ—и сочувственно взглянулъ на нее. Ему показалось въ ея взорѣ что-то примиряющее. Онъ зналъ Наташу съ ея поступленія въ домъ княгини, звалъ кузиной, но близокъ не былъ никогда; напротивъ, больше удалялся, находилъ ее безжизненной, холодной, а теперь вдругъ показалось ему, что онъ ея истинный другъ.

«Я прежде судилъ о ней,—говаривалъ впослѣдствіи Александръ:—не понимая ея; огромное разстояніе дѣлило меня, студента-карбонара, отъ нея, религіозной, а между тѣмъ, мы шли безсознательно къ одному и тому же міру, только съ разныхъ сторонъ. Религія чувствомъ поднимаетъ до созерцанія тѣхъ истинъ, до которыхъ разумъ доходитъ труднымъ путемъ,—сверхъ того, она кладетъ печать божественности на чело и не допускаетъ короткости. Наташа мало знала свѣтъ и высшей цѣлью жизни ставила стѣны монастыря, чтобы, какъ стихъ псалма, какъ аккордъ ораторіи, горячей молитвой вознестись на небо».

«Я не могъ вполне оцѣнить ее прежде,—говорилъ онъ намъ иногда:—увлеченный, разсѣянный страстями, друзьями, науками, планами, ортіями, влюбленный. Въ этотъ же день, душа, взволнованная несчастіемъ, взглянула другимъ взглядомъ—взглядомъ магнетизма».

Скачка кончилась. Они шли пѣшкомъ къ кладбищу. Первое, что открылось, былъ позлащенный шпигъ высо-

кой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Саши вылилась чернымъ словомъ.

— И эта колокольня ничего не говоритъ больше вашему сердцу? посмотрите, куда она указываетъ,—сказала Наташа:—тамъ утѣнаться всѣ скорби!

— Тамъ,—отвѣчалъ Саша:—а здѣсь имѣть душу, полную силъ, желаній добра, и быть не въ состояніи что-нибудь выполнить!

— Развѣ въ этомъ *Ею* вина. Отъ этого душа его не менѣе передъ Богомъ. Кто живетъ въ Богѣ, того оковать нельзя, сказалъ великій страдалецъ, снесшій голову на плаху—апостоль Павель.

Въ другое время Саша улыбнулся бы, а тутъ онъ не улыбнулся, однако, возразилъ:

— Вы все ссылаетесь на тотъ свѣтъ, а здѣсь, мой другъ за любовь къ людямъ гибнетъ неоцѣненный, неузнанный. Апостоль Павелъ снесъ голову на плаху тогда, когда обратилъ цѣлыя страны въ вѣру Христа.

— Неужели вы это говорите о рукоплесканіяхъ? Сейчас мы видѣли, какъ ихъ расточаютъ лошадамъ. Одни поденщики требуютъ награды.

Александру показалось, что ему сдѣлалось совѣстно, когда онъ вымѣрилъ разстояніе ея воззрѣнія отъ своего.

Они вошли на ниву Божію. Человѣку бываетъ всегда не по себѣ при видѣ крестовъ, холодныхъ памятниковъ. Въ церкви стоялъ покойникъ. «Для него нѣтъ больше ни страстей, ни тайны, тѣло не дѣлать его отъ Бога»,—сказала Наташа. На Сашу покойникъ сдѣлалъ тяжелое впечатлѣніе, онъ опустилъ глаза и содрогнулся, думая, какъ и у него рука, живая, теплая, когда-нибудь скрестится съ другой рукой на груди, и онъ уже не почувствуетъ этого. На палерти стояли нищія старухи въ лохмотьяхъ, усердно молились Богу и клали земные поклоны.

— Посмотрите,—сказалъ Саша, улыбаясь раздражительно:—вотъ настоящая вѣра: эти старушки дожили до 70-ти лѣтъ и не теряютъ надежды, что ихъ молитвы услышатся.

— И вамъ смѣшно это довѣріе къ Богу? Все отрадное для простого народа—въ молитвѣ, ею онъ отрывается отъ гнетущей жизни, сама молитва ему наградой, а вы смѣетесь. Вѣроятно, отъ того это, что вы оди-

ноки теперь. Ахъ, если бы я могла хоть сколько-нибудь замѣнить вамъ его! Но какая разница онъ и я.

«Гдѣ же эта холодность,—думалъ Сапа:—она не приближалась ко мнѣ, пока считала себя ненужною, а теперь, видя меня страдающимъ, протянула мнѣ руку. Она поняла, какъ это мнѣ необходимо, и облегчила своимъ участіемъ мое горе.

— Молитесь ли вы когда Богу?—спросила Наташа.

— Не умѣю,—отвѣчалъ Александръ.

— Молитесь, и ему будетъ легче, и ваша душа успокоится, и я буду молиться утромъ и вечеромъ.

— Одинъ найду ли молитву въ груди? Я завидую вамъ, жалокъ, малъ кажусь я самъ себѣ, а давно ли съ самодовольствомъ студента блисталъ я...

На этомъ словѣ рѣчь его была прервана Марьей Степановной; она сказала, что время ѣхать домой.

Въ ночь на 20-е іюля Сапа былъ арестованъ полицмейстеромъ Миллеромъ. Испуганная прислуга разбудила Ивана Алексѣевича и Луизу Ивановну. Въ дверяхъ, между залой и другими комнатами, стояли казаки. Входъ въ комнату Саши велъ изъ залы. Отца и мать Миллеръ велѣлъ выпустить; и разругалъ казака, который хотѣлъ ихъ остановить. Луиза Ивановна была почти безъ чувствъ. Иванъ Алексѣевичъ говорилъ съ полицмейстеромъ безразличныя вещи. Прощаясь, Сапа сталъ передъ отцомъ на колѣни. Старикъ поднялъ его, обнялъ и надѣлъ образокъ, говоря: «этимъ образомъ благословилъ меня отецъ, умирая», голосъ его дрожалъ, по лицу катились слезы. На образкѣ, изъ финифти, изображена была отсѣченная глава Іоанна Предтечи на блудѣ.

Вся прислуга и дворовые проводили его со слезами до дрожжекъ полицмейстера. Проходя передней, онъ успѣлъ шепнуть комнатному мальчику, чтобы онъ бѣжалъ къ намъ и сказалъ объ этомъ. Оторопѣвшій мальчикъ бросился къ намъ со всѣхъ ногъ, перебудилъ и перепугалъ у насъ весь домъ. Слыша шумъ и движеніе, у насъ вообразили, что забрались воры, поднялась тревога; когда же узнали, въ чемъ дѣло, встревожились еще больше.

Разсвѣтало. Спать никто не ложился. Въ нашей комнатѣ затопили печь, и мы сожгли всѣ письма Саши и



Ника къ Вадиму и Саши ко мнѣ, писанныя съ его восьмилѣтняго возраста и до моего замужества. Писемъ Сашиныхъ ко мнѣ сгорѣло болѣе двухъ сотъ—содержанія самаго невиннаго. Это дѣла «изъ дальнихъ лѣтъ, изъ жизни ранней».

Изъ этого круга молодыхъ людей остались не арестованными только двое: Н. Х. Кетчеръ, бывший тогда уѣзднымъ медикомъ, и Вадимъ. Вадима спасла женитьба и безпрестанныя отлучки изъ Москвы.

25-го іюля, день моего рожденія, мы были съ Вадимомъ на дорогѣ въ Харьковъ. По пути заѣзжали на нѣсколько дней въ Чертовую къ дядѣ.

По дорогѣ у насъ отрѣзали привязанные позади коляски ящики съ фарфоромъ, чаемъ и сахаромъ. Восковыя свѣчи, прикрѣпленные къ передку, уцѣлѣли. Такимъ образомъ мы явились въ Харьковъ съ однѣми восковыми свѣчами и остановились въ гостиницѣ противъ площади. Вадимъ, отдохнувши, переодѣлся и отправился къ графу Панину. Графъ съ глубокимъ прискорбіемъ сообщилъ ему, что изъ Москвы получена бумага, въ которой сказано, чтобы не допускать Вадима Пассека до чтенія лекцій, вслѣдствіе его близкихъ отношеній съ арестованными молодыми людьми, а если уже читаетъ, то учредить строгій надзоръ. Вадимъ возвратился смущенный.

Въ комиссіи, учрежденной по дѣлу арестованныхъ молодыхъ людей, въ бумагахъ Саши попалась записка Вадима.

— Кто это Вадимъ,—спросилъ одинъ изъ членовъ комиссіи, предположивши, что подъ именемъ Вадима таится что-нибудь подразумеваемое.

— Вадимъ—человѣкъ,—отвѣчалъ Саша.

— Да такого и имени нѣтъ,—сказалъ членъ комиссіи.

— Посмотрите въ кievскихъ святцахъ,—9-го апрѣля именинникъ.

— Гдѣ же этотъ Вадимъ?

— Уѣхалъ въ Харьковъ.

— Зачѣмъ?

— Читать лекціи русской исторіи въ университетѣ.

Въ Харьковъ полетѣла бумага, чтобы не допускать Вадима до каеэдръ.

Боясь огорчить меня, Вадимъ сказалъ, что опредѣле-

ніе его въ университетъ можетъ состояться только тогда, когда придутъ изъ-за границы молодые профессора, которыхъ уже ожидали, и что онъ намѣренъ пока выправить свою диссертацию на магистра и защитить ее.

И вотъ мы, забравшись въ Харьковъ, издержавши большую часть своихъ денегъ, остались при однѣхъ восковыхъ свѣчахъ. Намъ не оставалось ничего больше, какъ ѣхать въ деревню.

Потуживши, да потѣшившись изъ оконъ, какъ перекупки съ лотками сливъ и крыжовника лаются другъ съ другомъ и дерутся лотками—выѣхали въ село Спасское, отстоящее отъ Харькова, сколько помнится, верстахъ въ шестидесяти.

Село Спасское, Пассековка тожъ, стоитъ при небольшой рѣчкѣ, впадающей въ Донецъ. Въ полуверстѣ отъ села, на берегу Донца, находилась въ то время барская усадьба, состоявшая изъ надворныхъ строеній и стараго прадѣдовскаго дома, длиннаго, низенькаго, крытаго очеретомъ,—выстроеннаго покоемъ, раздѣленнаго широкими стѣнами на двѣ равныя половины. Снаружи и внутри домъ былъ обмазанъ глиной и выбѣленъ мѣломъ. Въ иныхъ комнатахъ полы были покороблены; окна такъ низки, что изъ нихъ легко было вылѣзть въ столѣтній садъ, окружавшій домъ съ трехъ сторонъ. Сквозъ вѣтви длинной липовой аллеи, изъ дома видѣлся Донецъ, а въ густотѣ листьевъ ворковали горлицы. Къ стекламъ нѣкоторыхъ оконъ прижимались дикоразросшіеся кустарники; когда мы окна раскрывали—вѣтки врывались въ нихъ и трепетно склонялись на подоконники. Въ этихъ кустахъ шуршили мелкія пташки, весной заплѣли соловьи.

По той сторонѣ Донца, на которой была усадьба, стлались поля пшеницы, проса и разсыпались серебристымъ пескомъ степи.

Молодость полна вѣры и надежды. Оставшись одни, совсѣмъ одни, вдали всего намъ близкаго, не зная, чѣмъ рѣшится наша судьба, мы не упали духомъ, весело прикатили въ деревню и къ вечеру совсѣмъ устроились на половинѣ, обращенной къ Донцу. Раскрыли всѣ окна, въ нихъ повѣяло запахомъ степей и вступила тихая украинская ночь, горя безчисленными звѣздами на яхонтовомъ небѣ...

Чтобы пополнить мои воспоминанія и помочь своей памяти, я часто прибѣгаю къ моему дневнику и ко множеству бумагъ, оставшихся послѣ Вадима. Между моимъ дневникомъ попадаются замѣтки и записки, набросанныя нѣкоторыми изъ нашихъ друзей, относящіяся къ періоду времени, о которомъ говорится въ моихъ воспоминаніяхъ, а такъ какъ онѣ пополняютъ ихъ, то я и приведу изъ нихъ выписки.

«...Часовъ въ 8,—сказано въ одномъ изъ этихъ рукописныхъ отрывковъ,—навѣстилъ меня нѣкогда бывшій мой законоучитель—отецъ Василій; онъ уже не одинъ разъ былъ у меня и бесѣда его всякій разъ оставляла въ моей душѣ свѣтлый слѣдъ. Я обнялъ почтеннаго пастыря. Когда онъ давалъ мнѣ уроки, я не умѣлъ вполне оцѣнить этого человѣка, съ его восторженной, чистой душой. Что-то безпредѣльно торжественное было въ бесѣдѣ нашей; плавнымъ, величественнымъ *maestoso* окончилась она: благословеніе пастыря, объятія друга напутствовали меня, слезы души любящей заключили ее. Въ эти минуты я былъ достоинъ принять высокія впечатлѣнія. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взоръ мой покоился на двери, въ которую вышелъ священникъ.

...Дверь снова растворилась. Видали ли вы на образахъ явленіе Дѣвы Маріи въ какой-нибудь бѣдной кельѣ изнеможенному старцу-монаху, во всемъ блескѣ просвѣтленнаго образа человѣческаго, въ которомъ отъ плоти едва осталось очертаніе, а духъ божественности просвѣчиваетъ въ своей безтѣлесности? видали-ль взоръ любви и кротости, обращенный на поверженнаго въ прахъ угодника? и его взоръ, свѣтящійся восторгомъ и благоговѣйнымъ трепетомъ? Я былъ тотъ, которому явилась Дѣва... молча протянула она мнѣ руку, я быстро схватилъ ее...

...Не такъ ли умираетъ человѣкъ? посланникъ Божій, свѣтлый, улыбающійся, подойдетъ къ страдальцу, протянетъ руку, и тѣло мертво, а душа родилась въ царство духа и свободы. Какъ ясно стало въ душѣ моей, когда я держалъ ея руку; казалось, не о чемъ было и говорить, а когда стали говорить, говорили такъ, ничтожныя вещи. Разлука укрѣпила нашу симпатію, дала возможность придти въ себя, въ сознаніе, превратиться

въ сущность жизни, въ самую жизнь. Только тогда пало нѣсколько сильныхъ словъ, которыя носить въ зародышѣ міръ чувствованій, мыслей, дѣлъ.—«Братъ,—сказала она прощаясь:—въ дальнемъ краѣ помни, что твоя память о ней ей такъ необходима, какъ жизнь».

...Мы простились. Время опустило мечъ свой...

...Я остался съ (моимъ сторожемъ) Терентьичемъ. Ветеранъ мой часто рассказывалъ мнѣ о своихъ походахъ и жизни за границей: «тамъ вѣдь,—говорилъ онъ:—не то, что у насъ: города такъ застроены, что никакого пространства нѣтъ (увѣряю васъ, что не выдумываю) и дома всѣ на одинъ ладъ; если номеръ дома забылъ, то и проищешь дѣя два». Въ лингвистикѣ онъ тоже былъ силенъ. Есть о чемъ поговорить съ бывалымъ чело-вѣкомъ, нечего сказать.

...Иногда въ праздничные дни Терентьичъ подгуля-етъ; онъ отъ этого ничего не терялъ, напротивъ, при-обрѣталъ сильный запахъ сивухи, и тутъ-то мой ве-теранъ былъ удивительно гениаленъ. Во всѣ праздни-чные дни Терентьичъ получалъ порцію, да не пьетъ ее, а въ стѣлянку,—сами разсудите, стоитъ ли изъ-за полу-стакана ротъ марать. Набравши пять, шесть порцій, онъ ихъ употреблялъ въ прикуску съ чернымъ хлѣбомъ. Такъ принятыя пять порцій отвѣтствуютъ 55-ти. Послѣ этого *déjeuner sans fourchette*, усачъ принимался за трубку. Чубукъ въ полъ-вершка, трубка величиной съ горшокъ для грешневой каши, а табакъ онъ покупалъ листьями и мбирку, т.е. венгерскій, фунтъ пять ко-пеекъ, и самъ крошилъ. Вино и табакъ возбуждали въ немъ лиризмъ, и онъ затягивалъ свою любимую пѣсню:

Сватался за дѣвушку саратовскій купецъ,  
Говорилъ житя-бытя дѣнадцать кораблейъ,  
Думаю, подумаю, не выйду за него....

...Между прочими достоинствами моего воина, надобно упомянуть о патентѣ на рядъ крестовъ и медалей, ви-сѣвшихъ на его молодецкой груди. Этотъ патентъ, не такъ какъ мой, на титулярнаго совѣтника, не на те-лячьей кожѣ былъ выпечатанъ, а на его собственной, прекрупнымъ пиццери сабельныхъ ударовъ, а знаки пре-пинанія были поставлены свинцовыми точками.

Peg me si va nella citto dolente.  
(Надпись по дорогѣ въ адъ).

И колокольчикъ, даръ Вадаа,  
Гудеть уныло подъ дугой.

...10-го апрѣля, въ 8 часовъ утра, явился ко мнѣ дежурный офицеръ и объявилъ, что черезъ часъ я долженъ отправиться въ путь. Онъ меня засталъ въ сильномъ раздумьи и въ сильномъ волненіи, но ни того, ни другого я описать не могу. Въ душѣ было что-то торжественное,—правда, грустное, очень грустное,—но не отчаянное, напротивъ, грусть была проникнута сильной вѣрой въ будущее. Чувства, колыхавшіяся, какъ волны морскія, въ моемъ сердцѣ, были не по груди человѣческой, казалось, онѣ разобьютъ ее. Я, по словамъ офицера, какъ по лѣстницѣ, началъ опускаться на землю, и былъ радъ этому, мнѣ становилось тяжело въ этомъ состояніи, такъ физически неестественно человеку дышать на высокой горѣ, несмотря на то, что тамъ воздухъ составленъ въ 10 разъ чище изъ своихъ 29 долей жизни и 71 доли смерти, нежели въ низменныхъ мѣстахъ. Вчера вечеромъ я мало и смутно чувствовалъ, но когда я легъ часа въ два на постель и потушилъ свѣчу, явилась бездна чувствъ и мыслей. Не знаю, какъ съ другими, а со мною всегда первое впечатлѣніе слабѣе, нежели отчетъ въ этомъ впечатлѣніи. Погода немного, всякое ощущеніе является ярче. У меня сердце, какъ болонскій камень, покуда лежитъ на солнцѣ, не свѣтитъ, солнце сѣло, ночь пришла—горить камень.

...Предъ отъѣздомъ, я зашелъ проститься съ соседомъ; я никогда не былъ прежде съ нимъ въ короткихъ отношеніяхъ, но тутъ мнѣ и съ нимъ разстаться было жаль: съ нимъ можно было вспомнить былую жизнь, а вскорѣ меня окружаютъ чужіе люди, съ которыми у меня ничего общаго нѣтъ. Потомъ я взялъ локутокъ бумаги и написалъ Natalie: «За нѣсколько часовъ до отъѣзда, я еще пишу, и пишу къ тебѣ; къ тебѣ будетъ послѣдній звукъ отъѣзжающаго; вчерашнее посвященіе растопило каменное направленіе, въ которомъ я хотѣлъ ѣхать. Нѣтъ, я не камень—мнѣ было грустно ночью, очень грустно! Natalie, Natalie, я много теряю въ Москвѣ, все, что у меня есть, и когда увидимся? гдѣ?

Все темно, но ярко воспоминаніе твоей дружбы. Не забуду никогда своей прелестной кузины.

....Терентичъ проводилъ меня за ворота. Я обнялъ его; у старика навернулись слезы. Я обнялъ его еще—отъ души. «Неси, братъ, простую душу твою туда, гдѣ въ одну шеренгу поставятъ и тебя, и фельдмаршала Сакена; мало тебѣ было дано, мало съ тебя и спросится на инспекторскомъ смотрѣ того свѣта. Инвалидный домъ тамъ свѣтѣль, обширенъ и тепелъ, мѣста и про тебя будетъ, а о тѣлесныхъ наказаніяхъ и думать нечего, ты тѣла туда съ собой не возьмешь...»

...Дежурный сѣлъ со мной на извозчика, и мы поѣхали къ генералъ-губернатору. На лѣстницѣ встрѣтился съ Лахтинымъ, ему назначено было ѣхать завтра. Онъ хлопоталъ объ отсрочкѣ и былъ очень сконфуженъ. Въ комнатѣ наверху я нашелъ моихъ родныхъ. Жалѣя ихъ, я скрылъ, какъ тяжело было мнѣ.

...У подъѣзда стояла дорожная коляска и мой чело-вѣкъ суетился около чемодана, подпоясанный по-дорожному. Одинъ я не собирался, а ѣхалъ. Наконецъ, я въ коляскѣ, за заставой—не было силъ еще разъ вы-глянуть на Москву, да и Богъ съ ней... Колокольчику отвязали язычокъ—мы ѣдемъ. Вдругъ провожатый, спо-койно курившій трубку, привсталъ на козлахъ, снялъ фуражку и сталъ креститься, говоря моему камерди-неру: «креститесь, почему знать, увидимъ ли Кремль и Ивана Великаго». Фу! я бросилъ извозчику четвер-такъ, чтобы онъ поскорѣе ѣхалъ, и ямщикъ поскакалъ вѣтеръ-буря! На другой день я съ любопытствомъ смо-трѣлъ на губернской городъ. Воспитанный во всѣхъ предразсудкахъ столицы, я былъ увѣренъ, что за сто верстъ отъ Москвы и отъ Петербурга Варварійскія сте-пи, Несторово Лукоморье, и—крайне удивился, что гу-бернская городъ похожъ на дальній кварталъ Москвы.

...Вскорѣ очутились мы на берегахъ Оки. Она была въ разливѣ; день былъ ясный, поверхность рѣки стла-лась свѣтло и гладко на нѣсколько верстъ. Кузя си-гару, я стоялъ, облокотясь на жердочку периль, и смо-трѣлъ, какъ московскій берегъ отодвигался все далѣе и далѣе; глубь, вода, пространство отдѣляли меня бо-лѣе и болѣе, а тотъ берегъ—чуждый, изъ темно-синей полосы превращался въ поля и деревни, становился все

ближе и ближе, а между тѣмъ у меня на московскомъ берегу—все. Ярче разлуки я никогда не чувствовалъ. Тихое, покойное движеніе по водѣ наводило само собою грусть. Слезы навернулись на глазахъ и канули въ голубую рѣку, вздохъ вырвался и исчезъ въ голубомъ небѣ. «Дай-ка фляжку съ ромомъ»,—сказалъ я чело-вѣку, проглотилъ два-три глотка и продолжалъ курить сигару; признаться, тяжелое дѣло спрягаться страда-тельно, какъ отлагательные глаголы латинской грамма-тики. На одной станціи я стоялъ у окна и смотрѣлъ, какъ закладывали коляску, не знаю, какъ глаза мои по-пали на оконницу, на ней было написано: N O-ff, exilé de Moscou le 9 avril 1835, я подписалъ подъ нимъ свое имя и два стиха изъ Данта.

Per me si va nella citta dolente  
Per me si va nel cherno dolore.

Да ею идутъ въ страну бѣдствій, и я задумался о всѣхъ вдохахъ, поглощенныхъ этимъ воздухомъ. Вдали отъ станціи стоялъ этапъ.

....Въ Чебоксарахъ я вымѣрилъ всю даль отъ Москвы. Тутъ толпы чувашей и татаръ напоминали близость Азии. На Волгѣ я чуть не утонулъ. Рѣка была въ разливѣ, переправа верстъ двадцать. Цѣлая станція. Татаринъ поднималъ парусъ и при сильномъ вѣтрѣ не могъ сладить съ дощаникомъ, наѣхалъ на бревно, вода по-лилась изъ пробитаго мѣста и минуты двѣ-три я не видѣлъ ни малѣйшей возможности спастись,—верстъ пять отъ одного берега, верстъ десять отъ другого,—татаринъ сталъ читать молитвы, мой человѣкъ плакалъ. Въ первую минуту я испугался, но не надолго. Вдругъ увѣренность въ будущность и какая-то непреложная вѣра побѣдила страхъ, и я спокойно ожидалъ развязки. Купеческая баржа шла недалеко отъ насъ, мы всѣ стали просить помощи: «есть намъ когда возиться съ вами», отвѣчали съ барки, и она проплыла. Потомъ мужикъ въ коломѣтѣ подѣхалъ, между тѣмъ паромъ всталъ на мель и мы были почти спасены. Мужикъ придумы-валъ, какъ исправить паромъ. Его исправили и мы поѣхали. Несмотря на сильную бурю съ проливнымъ дождемъ, мы доѣхали до Казани, гдѣ первымъ дѣй-ствіемъ моимъ, какъ только сталъ на берегъ, было от-править провожатаго за сивухой. Больше двухъ часовъ

стоялъ я въ водѣ вершка на три, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, и передрогъ, какъ собака.

....Холодный утренний вѣтеръ дулъ со стороны Уральскаго хребта. Разсвѣтало. Я крѣпко спалъ въ коляскѣ, какъ вдругъ меня разбудилъ шумъ и звукъ цѣпей. Открываю глаза, — многочисленная партія арестантовъ, полуобритыхъ, окружила коляску. Башкирецъ съ сплюснутой рожей, съ крошечными щелками вмѣсто глазъ, нагайкой погонялъ отсталыхъ. Дѣти, женщины, сѣдые старики на телѣгахъ, и рѣзкій вѣтеръ, и утро раннее — я отвернулся; на дорогѣ стоялъ столбъ, на столбѣ медвѣдь, на медвѣдѣ евангеліе и крестъ.

Вскорѣ быстрая Кама, которая, пѣнясь, несла льдины, была уже за мною, и я очутился черезъ день въ Перми.

....Въ Перми я пробылъ около мѣсяца, все это время было употреблено на приведеніе себя въ какой-нибудь уровень съ окружающимъ, на опредѣленіе своихъ отношеній съ обстоятельствами и лицами, наконецъ, на какое-то глупое бездѣйствіе.

Я началъ разглядывать пустоту жизни, въ которую попалъ. Никогда не выѣзжая изъ Москвы, да и въ самой Москвѣ не выдавъ жизни чиновниковъ, я теперь съ большимъ любопытствомъ разсматривалъ міръ для меня новый. Губернаторъ былъ настолько великодушенъ, *c'est le terme*, что не далъ мнѣ почувствовать тяжесть моего положенія. Онъ поручилъ мнѣ дѣла статистическаго комитета и оставилъ въ покоѣ. Пермь для меня была *ad lectorum*, настоящій текстъ — въ Вяткѣ. Не думая, не гадая, я уѣхалъ изъ Перми, дней черезъ двадцать. Коляска моя была сломана, я выхлопоталъ право остаться еще на два дня въ Перми, и черезъ пять съ половиною сутокъ вялая волна Вятки подвигала мой дощаникъ къ крутому берегу, на которомъ красовалось желтое, длинное, неуклюжее зданіе губернскаго правленія. Опять *factum!* А я грустно подвигался къ Вяткѣ, душа предчувствовала много ударовъ, паденій, грязи, мелочей, пыли — это было въ 1835 г. 20-го мая вечеромъ . . . . .

Прочитавши этотъ отрывокъ, возвратитесь въ Москву, въ Украину, въ село Спасское, гдѣ мы совершенно основались съ Вадимомъ и принялись за свои занятія.



Вадимъ кончилъ свою диссертацию, въ ожиданіи каяе-дры былъ причисленъ къ статистическому комитету и собиралъ свѣдѣнія о Харьковской губерніи,—ему было поручено составить ея описаніе въ отношеніи статистическомъ; вмѣстѣ съ этимъ изучалъ природу Украины, нравы и обычаи ея жителей—и готовился къ изданію «Очерковъ Россіи».

Въ Москвѣ, по отбытіи Саши, домъ Ивана Алексѣевича затворился для всѣхъ, кромѣ близкихъ родныхъ. На другой день скачки на Ходынскѣ, пришедъ въ домъ Яковлевыхъ товарищъ Саши — Николай Ивановичъ Астраковъ. (Онъ познакомился и сблизился съ его кругомъ черезъ Н. М. Сатина, которому давалъ уроки математики). Спрашиваетъ: «дома ли Александръ Ивановичъ?»

— Дома нѣтъ-съ,—отвѣчаетъ человѣкъ.

— Гдѣ же онъ?

— Куда-то вышли.

— Когда?

— Сегодня-съ.

— Да ты правду ли говоришь?

— Сушю правду-съ.

Вечеромъ Астраковъ пошелъ снова туда же и получилъ тотъ же отвѣтъ. Впослѣдствіи узнали, что Иванъ Алексѣевичъ запретилъ говорить правду кому бы то ни было.

Что же въ это время дѣлалъ Саша въ своемъ невольномъ уединеніи? Подъ вліяніемъ религіознаго настроенія Наташи, съ которой онъ еще разъ видѣлся, Саша сталъ изучать Четив-миней и перелагалъ на литературный языкъ житія нѣкоторыхъ святыхъ, которыя посвящали своей двоюродной сестрѣ Натальѣ Александровнѣ Захарьиной.

Я читала нѣкоторыя изъ нихъ. Описанный имъ «Мартилогъ святой Теодоры», находящійся въ житіи святыхъ за сентябрь, такъ ярко остался у меня въ памяти, что отрывки изъ него въ 1840-хъ годахъ я вписала въ мои замѣтки.

#### Мартилогъ святой Теодоры.

Это было въ то время, когда Александрія, уже христіанская, придавала чистой религіи свои неоплатони-

ческіе оттѣнки и мистическую теургію Прокла и Аполлонія.

Храмъ Сераписа, этотъ Кельнскій соборъ міра языческаго, съ своими сводами, галлереями, портиками, безчисленными колоннадами, мраморными стѣнами, покрытыми золотомъ, давно былъ разрушенъ и колоссальная статуя Сераписа, на челѣ которой останавливался лучъ солнечный, не смѣя миновать его, была разбита и превращена въ пепелъ.

Въ это время изъ воротъ Александріи вышелъ юноша въ простой одеждѣ, ни на что не обращающій вниманія. Сильныя страсти боролись на его лицѣ. Онъ былъ блѣденъ, слезы тихо катились по лицу нѣжному, какъ у дѣвы, ослѣпленному кудрями. Въ темныхъ глазахъ виднѣлась грусть и что-то восторженно-религіозное.

«Я не гражданинъ твой больше»,—говорилъ онъ, прощаясь съ Александріей.

Обратясь къ востоку, онъ упалъ на колѣни съ молитвой и слезами раскаянія. Сильна и пламенная молитва кающагося, и не для грѣшниковъ ли создана молитва? Праведному—гимнъ!

Вечеромъ на другой день юноша приходитъ въ пустынный мѣста, къ оградѣ монастыря, стучится и проситъ доложить о себѣ игумену. Юноша отрѣшился отъ міра земного, онъ слышитъ голосъ Спасителя, призывающій его въ обитель любви и надежды, туда, гдѣ поютъ Бога чистые ангелы, гдѣ душа праведника его видитъ, гдѣ между ними парятъ архангелы. Юноша, сидя на камнѣ у воротъ монастырскихъ, склонивъ на руки голову, прождалъ отвѣта до утра. Привратникъ ночью входитъ въ бѣдную келью игумена. Игуменъ, при свѣтѣ лампадки, въ восторгѣ читаетъ свитокъ Августина. Привратникъ прерываетъ его чтеніе, говоря, что у воротъ стоитъ юноша, который проситъ принять его въ монастырь и ждетъ отвѣта.

Игуменъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, съ лицомъ, выражавшимъ душу страстную. За строгими чертами виднѣлось возвышенное, теплое сердце. Онъ взросъ сиротою. Узы родства, привязывающія множествомъ цѣпей къ домашней жизни и маленькому кружку дѣйствій,—ему были неизвѣстны. Онъ искалъ симпатіи и не находилъ. Христіанство открыло ему міръ новый. Сильная

вѣра наполнила пустоту его души; дѣятельность христіанъ открывала возможность для развитія его идеи; безпредѣльное вѣрованіе и чистое, святое самоотверженіе—поразили его. Это было время великой борьбы аріанизма. Рвеніе христіанскаго ученія было самое обширное. Весь міръ участвовалъ въ спорахъ, гонцы спѣшили во всѣ стороны передавать ученіе Августина. Эта дѣятельность съ колоссальной цѣлью пересоздать общество человѣческое, опираемое на божественное основаніе Евангелія, волновали его юную душу, — онъ увидѣлъ, что напелъ свое призваніе, поклялся сдѣлать изъ души своей храмъ Христу, то-есть храмъ человѣчеству, участвовать въ апостольскомъ посланіи христіанъ, и сдержалъ его. Съ негодованіемъ и ужасомъ онъ увидѣлъ въ Византіи, что христіанство тамъ ограничивается одними преніями безъ вѣры. Пороки Византіи ужаснули его, онъ оставилъ ее и удалился въ пустыню Оивандскую, чтобы забыть все, кромѣ Христа. Онъ роздалъ свое богатство и вступилъ въ Октодекадскій монастырь. Братья избрали его игуменомъ. Онъ былъ строгъ и поучалъ примѣромъ.

Этотъ-то игумень приказалъ сторожу лечь спать и до утра не давать отвѣта пришельцу, для испытанія его смиренія.

Оставшись одинъ, игумень думалъ о юношѣ и горячо желалъ, чтобы онъ оставался вѣренъ избранному имъ пути. «Тогда онъ сдѣлается другомъ моимъ», — говорилъ самъ съ собою игумень. Но прежде приготовилъ юношѣ рядъ испытаній въ трудѣ и униженіи. Юноша выдержалъ искусь. Старецъ радовался, найдя въ немъ чловѣка, который вполнѣ понималъ его, и открывалъ ему всю жизнь и всѣ надежды свои, ходя съ нимъ по платановой аллеѣ среди пальмъ, алоевъ, лимоновъ, магнолій.

— Всѣхъ земная падаетъ, всѣхъ небесная создается, — говорилъ игумень юношѣ: — что за торжественный день былъ для міра, когда онъ огласился въ первый разъ Евангеліемъ! Міръ, истерзаннй войною — услышалъ слово мира, міръ попраннй — слово свободы; міръ ненависти — слово любви; міръ невѣрія — слово вѣры! Всѣмъ говорило Евангеліе. Исчезли племена и состоянія. Всѣхъ оно манило въ лоно Божіе, всѣхъ въ объятія братства.

Юноша слушалъ его съ изумленіемъ и благодарностью.

Старецъ продолжалъ:

— Римъ потрясенъ силою Евангелія, и—кто же потрясъ его? Эти гонимые, униженные, скитающіеся въ то время, какъ о силу его раздроблялись народы земли. Отчего же это? Оттого, что голосъ ихъ былъ голосъ истины, голосъ Бога и человѣчества.

Когда игумень съ ужасомъ и презрѣніемъ выразился о женщинахъ, Теодоръ огорчился и подумалъ: «а Сирахъ называетъ женщину добродѣтельную—солнцемъ, восходящимъ на небѣ Господнемъ. Дѣва рождаетъ Христа. А кто остался при крестѣ и кто распялъ его? О! Ты одинъ справедливъ, Сынъ Божій!»

За нѣсколько лѣтъ передъ этимъ, въ Александрію былъ богатый гражданинъ, женатый на прелестной египтянкѣ, которую страстно любилъ, и она страстно любила его, какъ вдругъ пріѣзжаетъ въ Александрію греческій вельможа и съ нимъ юноша-сынъ, красавецъ, съ изящнымъ образованіемъ и нравами языческаго міра—жаждущаго чувствъ.

Египтянка влюбилась въ него и измѣнила мужу. Увлеченіе ея было кратковременно; въ ней пробудилось раскаяніе—оно терзало ее. Она сдѣлалась грустна, не могла смотрѣть на обманутаго мужа и скрылась потихоньку.

Мужъ тщетно искалъ ее,—о ней не было вѣсти; пышный домъ опустѣлъ, тоска сидѣла несчастнаго. Онъ не зналъ объ измѣнѣ и не понималъ причины бѣгства жены.

Разъ снится ему сонъ—будто ангелъ съ улыбкой летитъ къ нему съ неба, остановилъ надъ нимъ полетъ свой, качается на своихъ дивныхъ крыльяхъ и говоритъ ему: «у храма Петра» и летитъ въ высоту. Онъ одѣлся и пошелъ къ храму св. Петра. Раннею зарею онъ былъ на его ступеняхъ, подъ колоннадами, и осматривалъ каждого человѣка. Люди различныхъ сословій проходили мимо, толпы двигались по площади, никто не обратилъ на него вниманія. Онъ увидалъ, что къ храму подѣхалъ на ослѣ монахъ и былъ какъ бы пораженъ при видѣ сидѣвшаго. Дрожащимъ голосомъ онъ сказалъ ему: «добрый день, господинъ»; сидѣвшій не обратилъ

на него вниманія, и онъ второй разъ потерялъ жену. Когда солнце закатилось—онъ тихо побрелъ домой.

Сбиралась гроза, Теодоръ, взволнованный встрѣчей, садясь на осла, своротилъ въ монастырь Энать, находившійся близъ Александріи, и вошелъ въ церковь. Шла вечерня. Близъ углубленія, гдѣ стоялъ Теодоръ, стояла прелестная молодая женщина и, не спуская глазъ, смотрѣла на молящагося юношу—онъ казался ей архангеломъ.

По окончаніи моленія, Теодоръ просилъ позволенія переночевать въ монастырѣ. Игуменъ повелъ его въ свою келью, тамъ онъ увидалъ женщину, стоявшую близъ него въ церкви. Это была дочь игумена. Когда Теодоръ остался одинъ въ кельѣ, къ нему вошла старуха и пригласила его идти за собою. Во дворѣ старуха исчезла. Нѣжная рука повела его въ темнотѣ дальше, по небольшому переулку. Отворилась дверь и при свѣтѣ лампы онъ узнаетъ дочь игумена, едва прикрытую легкой одеждой. Она стоитъ съ потупленнымъ взоромъ, по лицу ея катятся слезы. Она говоритъ ему о любви своей и проситъ любви. Теодоръ тихо, спокойно напоминаетъ ей долгъ ея. Она умоляетъ, она ревнуетъ, она молить о минутѣ наслажденія. Онъ тихъ и спокоенъ. Внѣ себя, она бросаетъ на полъ лампу, душистое масло льется по ковру, свѣтильня вспыхиваетъ и дымится. Рука судорожно обвивается вокругъ Теодора и горящія уста коснулись устъ его. Онъ тщетно хочетъ вырваться изъ ея объятій,—«нѣтъ, нѣтъ, ты мой», говоритъ она.

Ясно было утро, когда Теодоръ подѣзжалъ къ Отодекадскому монастырю, везя елей для храма. На лицѣ его виднѣлось спокойствіе, молитва была во взорѣ и на устахъ. Привратникъ ему отворилъ ворота и онъ въѣхалъ на безмолвный, покрытый травой дворъ.

Разъ повелъ его къ себѣ игуменъ и показалъ поясъ, присланный ему изъ того монастыря, гдѣ ночевалъ Теодоръ, и спросилъ его: «твой ли это поясъ?»—«Мой», отвѣчалъ Теодоръ.—«Гдѣ ты потерялъ его?»—«Не помню»,—отвѣчалъ Теодоръ:—я хватился его, возвращаясь изъ Александріи домой».—«Это поясъ женскій»,—прибавилъ игуменъ, разсматривая его:—я такъ и зналъ, что это клевета. Богъ не дастъ такой души порочному». Теодоръ рыдалъ.

Черезъ нѣсколько времени явились энатскіе монахи. Они принесли младенца и бросили его посреди двора, говоря:

— Братія! ваше дѣло вскормить чадо вашей порочной жизни,—и называли Θεодора. Никто не вѣрилъ. Игумень ждалъ, что юный другъ его оправдается, но Θεодоръ, склонивъ колѣно, сказалъ:

— Прости меня, отецъ святой, я обманулъ тебя.

Горько пораженъ былъ игумень.

Θеодора прогнали изъ монастыря, осыпая побоями и ругательствами. Люди, встрѣчавшіеся Θεодору, ругались надъ нимъ. Ему грозила бѣдность, голодъ. Никто, никто не подавалъ ему милостыню. На послѣднія деньги онъ покупалъ младенцу молока, а самъ питался раковинами.

Такъ описываетъ его жизнь Мартилогъ.

По кончинѣ Θεодора, грустно сидѣлъ подлѣ его гроба игумень и александріецъ, ждавшій жену у храма св. Петра. Входитъ энатскій игумень, съ монахомъ, котораго посылалъ обвинять Θεодора. Игумень Октодекадскаго монастыря открываетъ лицо усопшаго, и спрашиваетъ собрата своего: «это ли Θεодоръ?»—«Онъ самый,—отвѣчаетъ тотъ:—обезчестившій у насъ дѣвицу». Игумень съ горькой улыбкой снялъ покровъ съ груди усопшей, и увидали, что это—женщина.

— Это жена его,—сказалъ игумень, указывая на александрійца, и, заливаясь слезами, склонилъ къ ней голову.

---

## ГЛАВА XXVII.

### Вятна.

Отъ 9-го апрѣля 1835 года до 1838 года.

Potentes Romanorum hic nos relegnovit.

(Напись, сдѣланная римлянами  
каменъ въ базиликѣ).

Товарищескій кругъ Вадима распадался. Одни отправлены были на службу въ дальніе города Россіи; чело-

вѣка два осталось въ Москвѣ. Никъ уѣхалъ въ пензенское имѣніе къ отцу, Сатинъ въ Симбирскъ, Александръ весной—въ Вятку. Въ это же время Зонненбергъ собирался на ирбитскую ярмарку; Иванъ Алексѣевичъ предложилъ ему проводить Сашу до Вятки,—это ему было по пути,—водворить его на новомъ мѣстѣ жительства, какъ нѣкогда водворилъ въ университетѣ, монтировать его домъ и прожить съ нимъ, пока тотъ осмотрится и привыкнетъ. Устроиться комфортабельно было не трудно: съ Александромъ была отпущена значительная сумма денегъ, кромѣ того, множество книгъ, платья, разныхъ вещей, даже ящики съ лучшими винами и холодные пастеты. Все это отдано было подъ сохраненіе Петра Федоровича, того самаго, который охранялъ самого Сашу въ продолженіе его университетскаго курса, сидя въ университетскихъ сѣняхъ, пока онъ слушалъ лекціи, и на козлахъ съ кучеромъ, когда возвращался съ лекцій домой.

Саша часто переписывался съ родителями, а еще чаще съ Наташей.

Монтируя домъ Сашы, какъ выражался обыкновенно Иванъ Алексѣевичъ, Зонненбергъ накупилъ множество ненужныхъ вещей, между тѣмъ, для поддержанія блеска дома, вмѣсто одной необходимой лошади, купилъ трехъ. Кромѣ блеска, онъ сильно рассчитывалъ на эту тройку лично для себя, надѣясь, что она придастъ ему много вѣса въ глазахъ жившихъ противъ нихъ барышень,—Зонненбергъ былъ страшный волокита и пріятно увѣренъ, что ни одна женщина не устоитъ противъ него.

Въ саду, принадлежавшемъ къ дому, занимаемому Сашей съ Зонненбергомъ, находился еще домъ, у котораго ставни были закрыты. Въ одно утро ставни растворились и они узнали, что домъ этотъ занялъ пріѣзжій чиновникъ, старый и больной, съ молодой, образованной женой, интересной блондинкой и съ дѣтьми.

Саша съ ними познакомился, увлекся молодой женщиной, и съ мѣсяцъ продолжался залой любви. Потому на него стали находить минуты тоски, онъ искалъ разсѣянія. Въ письмахъ къ Наташѣ, среди словъ дружбы, проявлялась досада на себя. Ея писемъ онъ ждалъ, какъ отрады. Любовь къ блондинкѣ откипала.

«Эта любовь, — говорилъ намъ Саша впоследствии,

разсказывая о жизни своей въ Вяткѣ: — уяснила мнѣ мои чувства къ Наталѣ. Образъ отсутствующей вступилъ въ борьбу съ настоящей, и она стала ревновать, стала искать вокругъ себя, кто ея соперница. Нѣсколько времени думала на живую, молоденькую нѣмку, которую я любилъ, какъ прелестное дитя, и съ ней отдыхать. Положеніе мое усложнялось; я малодушно ждалъ переменъ отъ времени и обстоятельствъ, страдалъ, страданія мои были такъ жгучи, такъ ядовиты, душа порой падала съ своего рая, оскорбленная, обиженная, мнѣ хотѣлось передать стонъ свой и нѣмую боль разлуки и мысль свою,—для этого надобенъ былъ человѣкъ-другъ. Господи! какъ я искалъ такого человѣка. Есть люди, у которыхъ мысль такъ сильна, что они въ своей внутренней жизни находятъ удовлетвореніе, мнѣ же природа не дала столько созерцательности. Я привыкъ къ людямъ, я любилъ ихъ».

Долго не находилъ въ Вяткѣ Александръ симпатичнаго себѣ человѣка, какъ 23-го ноября 1835 г. на одномъ вечерѣ встрѣтился съ только-что прибывшимъ въ Вятку Александромъ Лаврентьевичемъ Витбергомъ. Сапа снова услышалъ давно отвыкнувшимъ ухомъ святыя слова: изящное, поэзія; понялъ гениальнаго человѣка, полюбилъ его—и они сблизились. Несмотря на то, что Витбергъ былъ много старше Сапы, художникъ былъ радъ найти человѣка, съ которымъ могъ говорить объ искусствѣ. Такъ какъ семейство Витберга еще не пріѣзжало, то онъ и поселился въ одномъ домѣ съ Сапеей. Зонненберга уже не было и они вдвоемъ устроили какую-то артистическую жизнь; что-то строгое, монастырское парило въ ихъ квартирѣ. Цѣлые дни они проводили въ оживленныхъ, нескончаемыхъ бесѣдахъ, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, повѣряя другъ другу думы свои; въ Витбергѣ было высокое религіозное образованіе.

«Она, — говорилъ потомъ Сапа, вспоминая о Наталѣ: —едва указала мнѣ Бога и я сталъ вѣровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась въ темномъ, но величественномъ мистицизмѣ, и я нашелъ въ мистицизмѣ больше жизни и поэзіи, нежели въ философіи. Благословляю то время!»

Когда пріѣхало семейство Витберга, артистъ долженъ



былъ низойти съ поднебесья и хлопотать о нуждахъ будничной жизни. Бесѣды его съ Александромъ сдѣлались рѣже и короче.

«Странно,—замѣчалъ Саша:—что нѣтъ перехода между новымъ поколѣніемъ и старымъ. Объ искусствахъ, о наукахъ мы никогда не спорили другъ съ другомъ, понимали другъ друга, тутъ былъ артистъ; но какъ скоро доходило до жизни—оврагъ насъ дѣлилъ, и я съ прискорбіемъ пряталъ свою тайну въ душу свою, боясь его полезнаго, опытнаго мнѣнія».

Тысячу разъ вертѣлось у Саши на языкѣ высказать Витбергу о томъ, что наполняло и что тяготило его; но страшная мысль, что услышать въ отвѣтъ: «а думали ли вы о препятствіяхъ и въполнѣ ли убѣдились, что это не мечта?»—зажимала ротъ. А онъ бы, можетъ, и не сказалъ этого никогда, вся вина его была — зачѣмъ онъ могъ предполагать, что тотъ это скажетъ. Онъ молчалъ, жалѣя разрушить ихъ дружбу и находилъ, что съ одной стороны одиночество его продолжается.

Около того времени Саша познакомился съ семействомъ одного аптекаря. Аптекарь звалъ его много разъ. Въ одинъ вечеръ, не зная, что дѣлать, онъ отправился къ нему. Его встрѣтилъ самый теплый пріемъ. Черезъ часъ онъ былъ пріятель, черезъ два—короткій знакомый. Саша любилъ всегда нѣмцевъ, любилъ ихъ некрасивую радость, ихъ простодушный разговоръ. Аптекарь былъ цѣликомъ изъ комедіи Коцебу. Его рассказы о Греціи, о Египтѣ, вѣчный разговоръ объ экономіи чрезвычайно напоминали насмѣшки надъ нѣмецкой расчетливостью и страсть къ политикѣ, къ чалмѣ съ удивительными именами Али-паши, Инсиланты, Мехметъ-Али. Давно уже дѣла Греціи были сданы въ архивъ, а нѣмцы все еще продолжали говорить объ Инсарѣ, Хіосѣ, Бонаррисѣ. За то, что Саша удовлетворялъ его вопросы, онъ впадалъ въ удивленіе къ его талантамъ, и часто говорилъ: «Es ist doch schändlich, der Freiherr so viel studirt, und sind noch so jung», несмотря на то, что я почти ничему не учился и вовсе не былъ freiherr, говорилъ Саша. «Нѣмецъ—это вещь технологическая,—замѣчалъ онъ:—нѣмка—или кухарка, или существо идеальное». Жена аптекаря не была кухарка—блѣдная, болѣзненная, она напоминала чистѣйшее германское племя,

какое только живетъ въ Остзейскихъ провинціяхъ. Внутреннее сознаніе неизлѣчимой болѣзни развивало въ ней, какъ и вообще въ каждомъ человѣкѣ неизлѣчимо больномъ,—особую меланхолію. Александръ заставлялъ ее всегда молчащую и нерѣдко со слезами на глазахъ. Мужъ не понималъ ее. У нихъ жила молодая дѣвушка, пріѣхавшая изъ Ревеля въ эту даль, въ эту глушь, изъ пламенной дружбы къ Луизѣ. Такое пожертвованіе было чистымъ героизмомъ. Семейство это прибыло въ Вятку не задолго до пріѣзда Александра и съ восхищеніемъ слушало нѣмецкій языкъ на чужой сторонѣ.

Сашѣ у нихъ было пріятно. Онъ началъ ходить къ нимъ иногда. Молодая дѣвушка, прелестная собой, огненная, живая, наивная, какъ дитя, не знала свѣта, не знала людей и съ ребяческимъ удивленіемъ смотрѣла на нихъ, живя безотчетно, какъ ласточка въ небѣ, какъ роза на вѣткѣ.

Глядя на нее, онъ думалъ, что общество, въ которое она, Полина, попадетъ, обидитъ, убьетъ ея нѣжную душу,—ему стало жаль ее и онъ сблизился съ нею. Они сблизились шутя. Она откровенно радовалась его приходу, и едва узнала его, какъ отгадала священную мистерию его души и указала на нее полуребяческимъ перстомъ. Она больше поняла—нежели могла высказать. И вотъ для Саши открылось море симпатіи и дружбы. Онъ подаль руку Полину, такъ звали эту дѣвушку, рассказалъ ей свою повѣсть и назвалъ другомъ, сестрою.

Возможность этого мудрено понять тому человѣку, котораго обстоятельства не отдаляли отъ всего родного, не забрасывали въ чужой край, къ чужимъ людямъ; мудрено понять и всю отраду симпатіи, весь отдыхъ отъ страданія, который содержится въ глубокомъ, сердечномъ участіи. Кто испыталъ, тотъ знаетъ, тотъ пойметъ.

Дѣвушка эта принесла съ собою изъ своей Германіи пламенную, мечтательную душу, взлелѣянную нѣжнымъ эстетическимъ воспитаніемъ.

«Какъ мило развѣтывался этотъ цвѣтокъ передъ моими глазами,—вспоминалъ о ней Саша.—Мнѣ становилось грустно безъ нея. Я любилъ смотрѣть на ея огненные глаза, на ея темныя кудри, любилъ смотрѣть на ея шалости. Я рассказывалъ ей нашу встрѣчу, разлуку, переводилъ ей письма. Она еще никогда не встрѣ-

чала эти бурныя бытія, эти schwankende Gestalten, и робко повѣряла мнѣ свою мысль—мысль съ улыбкой и слезой, и я берегъ эту мысль, напоминавшую мнѣ ее. Она все больше привыкала ко мнѣ, все больше и больше дѣлалась мнѣ сестрой. Сначала я боялся испугать ее пространнымъ, безграничнымъ міромъ фантазіи; я переводилъ его на ея языкъ и онъ легко на немъ выражался; къ языку порядочныхъ людей я никакъ бы его не приладилъ. Ежели вы не понимаете—почему я, отданный навѣкъ одной, вдругъ такъ сдвинулъ мое существованіе съ этой дѣвушкой, я не берусь объяснять».

Итакъ, maestro при своемъ обширномъ умѣ, по мнѣнію Саши, не могъ понять, а эта дѣвушка поняла, и поняла потому, что смотрѣла просто глазами природы.

Часто утомленный, недовольный собою, Александръ приходилъ къ ней и отводилъ душу свою; она его, грустнаго, развлекала пѣснями Шиллера, пѣла ему «Das Mädchen aus der Fremde» и баркароллу изъ «Фенеллы», и молитву изъ «Фра-Діавола», и много разъ вылъчивала его: волненіе души утихало и онъ спокойнѣе приходилъ домой. Въ другія минуты прибѣгалъ дѣлиться съ ней счастьемъ, рассказать мечты свои, и она ее—незнаемую—любила.

Когда Саша оставилъ Вятку, то не разъ обращалъ къ ней печальные взоры.

А она? Она молила ему счастья съ другой и плакала, плакала долго.

Несмотря на симпатическія отношенія Александра къ Полинѣ, душевныя бесѣды его съ Витбергомъ не только что не охладѣвали, напротивъ, становились все жарче и душевнѣе и, наконецъ, отразились на религиозныхъ убѣжденіяхъ Саши. Строгая догматическая рѣчь художника увлекала и покоряла своему вліянію молодого человѣка. Какъ сильно было это вліяніе, можно лучше всего видѣть изъ переписки знаменитаго художника съ его молодымъ другомъ, когда тотъ оставилъ Вятку. Письма эти любопытны не богатствомъ и разнообразіемъ содержанія, но какъ непреложное свидѣтельство нравственной силы Витберга.

Эти письма относятся ко многимъ подробностямъ жизни Витберга и могутъ служить значительнымъ истори-

ческимъ документомъ къ жизни и нравственному облику великаго художника.

Въ исходѣ 1837 года Саша былъ переведенъ изъ Вятки во Владимірѣ, на службу въ канцелярію владимірскаго губернатора Куруты—превосходнаго человѣка.

29 декабря въ сумерки Саша выѣхалъ изъ Вятки. Семейство Витберга провожало его. Туманъ пороховымъ дымомъ завѣшивалъ все, вѣтеръ дулъ съ запада, Сашу провожали до Бахты и простились.

Еще съ дороги у Саши началась правильная переписка съ друзьями, оставшимися въ Вяткѣ, гдѣ, сколько можно судить по нѣкоторымъ мѣстамъ изъ его писемъ, ему жилось далеко не дурно.

Первое письмо А. Л. Витбергъ получилъ отъ своего друга изъ Полянъ, находящихся въ 46 верстахъ отъ Нижняго-Новгорода. Онъ писалъ:

«Сюда пріѣхалъ я въ первомъ часу. Итакъ, обнимаюсь, Александръ Лаврентьевичъ и всѣ ваши! Вотъ вы всѣ передъ глазами. А Эрнъ отдалъ ли яблоки пуще всего? Я сижу въ пресквернѣйшей избѣ, наполненной тараканами, до которыхъ m-me Medwedeff небольшая охотница, и пью шампанское, до котораго m-r Widberg не охотникъ. Оно не замерзло и я имѣлъ терпѣніе везти его отъ Бахты, а дуракъ станціонный смотритель спрашивалъ: «виноградное, что ли-съ?»,—Нѣтъ, изъ клюквы! сказалъ я ему,—и онъ будетъ увѣрять въ этомъ проѣзжихъ. Изъ Нижняго буду писать comme il faut, а здѣсь ни пера, ничего, зато дружбы къ вамъ много, много. Передъ вами вспомнилъ только кого?

Sapienti sat. Александръ».

1-го января 1838 года. Нижній-Новгородъ.

«Еще разъ поздравляю васъ, Александръ Лаврентьевичъ, съ новымъ годомъ; какъ-то вы провожаете его? Я живу одиноко въ гостиницѣ съ вѣчной одной мечтой и временами съ вами, заливая виномъ слезу горячую. Наша встрѣча была важна. Вы, какъ Виргилій, взявшійся вести Данта, сбившагося съ дороги; жаль, что вы поступили не совсѣмъ такъ, какъ Виргилій,—онъ довелъ Данта до Беатричи, а вы должны были покинуть меня на Бахтѣ. Извините, что кончилъ глупостью.

Вы понимаете, — ну, стало, довольно. Прочтите мое письмо къ Эрну — оно напомнитъ вамъ меня... Прощайте!»

3-го января, Владимиръ.

«Такъ какъ христiанинъ останавливается въ благоговѣйномъ трепетѣ, не входя въ храмъ, на паперти, такъ и я остановился передъ Москвою. Еще нога пилигрима не такъ чиста, чтобы коснуться святого града. Москва! Москва!

«А какъ все перемѣнилось!! здѣсь на каждомъ шагѣ виднѣется Москва; *entre nous soit dit*, теперь только я понялъ, что въ смыслѣ внѣшней жизни Вятка лишена всѣхъ гражданскихъ удобствъ и что мы только прижились. Зато славные люди тамъ».

5-го января. «О порядкѣ моей жизни обязуюсь рапортовать нижеслѣдующее: отвыкъ обѣдать, ѣмъ ужасно мало, кофе пью еще больше, совершенное ниспроверженiе гражданскихъ обыкновений! Сегодня для курьеза буду обѣдать въ 7 часовъ, а вчера совсѣмъ не обѣдать. Прошу въ отвѣтъ писать о всемъ вышемъ.

Александръ».

~~~~~

ГЛАВА XXVIII.

Домъ Ивана Алексѣевича Яновлева.

1834—1840.

Въ дому нигдѣ не шелохнетъ—
И время крадется впередъ.

Въ 1830 г. Иванъ Алексѣевичъ купилъ домъ съ мебелью и большимъ тѣнистымъ садомъ, вблизи того дома, въ которомъ жилъ самъ, принадлежавшій женѣ знаменитаго Федора Васильевича Ростопчина. Домъ былъ старинный, большой, съ стеклянной террасой, выходившей въ садъ. Вскорѣ онъ купилъ еще смежный съ нимъ домъ Тучкова, небольшой, съ тѣснымъ дворомъ, почти вдвинутымъ во дворъ Ростопчинскаго дома. Всѣ три дома

соединялись дворами. Опасаясь пожара, Иванъ Алексѣевичъ купленныхъ домовъ не отдавалъ внаймы, несмотря на то, что они были застрахованы. Онъ ихъ заперъ и три года оставлялъ безъ всякой поддержки; когда же они стали приходить въ упадокъ, изъ стараго дома перебрался въ Ростопчинскій, поправивши его предварительно. Старый домъ заперъ; ворота его замкнулись засовомъ и замкомъ, ходъ черезъ дворъ прекратился и онъ поросъ травой. Акаціи, окружавшія на-
лисадники, забытыя ножницами, раскинули вѣтки и при-
крывали своей тѣнью цвѣтники, проросшіе высокой тра-
вой. Штукатурка на домѣ трескалась, обваливалась; на-
дворная строенія упали; два душистые тополя у окна
чайной комнаты и одинъ подъ окномъ комнаты Але-
ксандра поднялись до бель-этажа и пышными вѣтками
прижались къ ихъ стекламъ. Когда покинутый домъ
освѣщало солнце или мѣсяцъ, листочки тополей, ко-
леблемые вѣтромъ, трепетно рисовались на полу,—это
было единственнымъ признакомъ жизни въ опустѣвшемъ
жилищѣ. Зимой все заносилось снѣгомъ, котораго не
нарушали ничьи шаги, ни самая узенькая тропинка.

И долго послѣ грустный домъ,
Между людскими и сараемъ,
До оконъ снѣгомъ занесенъ,
Стоялъ въ забвеніи глухомъ.
Лишь мѣсяцъ, по небу гуляя,
Сквозь сучья голые блеснувъ,
И робко въ окна заглянувъ,
Лучомъ по комнатамъ блуждая,
Бросалъ безмолвно мертвый свѣтъ

Часы молчатъ
. и дверь замкнута,
Въ дому нигдѣ не шелохнетъ—
И время крадется впередъ.

Домъ Ростопчинскій, какъ называли новое помѣще-
ніе всѣ домашніе, несмотря на то, что былъ гораздо
больше и лучше стараго, имѣлъ въ себѣ что-то мрачное
и печальное. Въ обширныхъ парадныхъ комнатахъ, съ
высокими окнами, въ которыя не заглядывало солнце, съ
тяжелой мебелью цѣльнаго краснаго дерева, крытою што-
фомъ, и такими же штофными занавѣсами на окнахъ и
дверяхъ—вѣяло тоской.

Иванъ Алексѣевичъ, какъ бы въ тонъ окружающаго

его дѣлаго, постарался устроить себѣ въ новомъ мѣстѣ образъ жизни уединеннѣе и скучнѣе прежняго. Мертвая тишина въ домѣ изрѣдка прерывалась осторожными шагами прислуги, робкимъ шопотомъ, да недовольнымъ голосомъ самого Ивана Алексѣевича. Домашніе, прислуга, самыя стѣны—все смотрѣло угрюмо, съ неудовольствіемъ; на всемъ лежала печать подавленности и страха. Всѣхъ недовольнѣе казался самъ Иванъ Алексѣевичъ. Характеръ его становился день ото дня раздражительнѣй, угрюмѣй и язвительнѣй. Онъ все больше и больше дѣлался страннымъ и отчуждался отъ общества.

Изъ прежнихъ посѣтителей — одни, видя его постоянно недовольнымъ, стали являться рѣже и рѣже; другихъ не было въ Москвѣ, какъ-то: профессора химіи Ювскаго, сослуживцевъ и пріятелей Ивана Алексѣевича двухъ братьевъ Бахметевыхъ, Алексѣя и Николая Алексѣевичей, Дмитрія Николаевича Болховского, Платонъ Богдановичъ Огаревъ лежалъ больной въ своемъ имѣніи; племянникъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, занятый службой, сталъ посѣщать рѣдко; братъ его, Николай Павловичъ, совсѣмъ пересталъ бывать, разсорившись съ дядей по случаю покупки у него села Васильевского, за которое не могъ доплатить ему 110.000 руб. *). Только наивный старичокъ, Дмитрій Ивановичъ Пименовъ, котораго каждое слово Ивана Алексѣевича смѣшило чуть не до истерики, продолжалъ приходить по воскресеньямъ къ обѣду; но и онъ, смотря на мрачнаго, безмолвнаго старика, не покатывался, какъ бывало, отъ смѣха, а только, широко раскрывъ глаза, поглядить на него съ изумленіемъ, порывисто захохочеть, да вспохватившись, начнетъ робко озираться,—и, отобѣдавши, спѣшитъ уйти домой. Кромѣ Пименова, бывали еще Григорій Ивановичъ Ключаревъ, занимавшійся дѣлами Ива-

*) Сообщено Е. И. Герценомъ, при которомъ происходила покупка Васильевского. Въ «Русскомъ Архивѣ», 1876 г., кн. 2, стр. 234, замѣчено, что изъ купчей этого не видать; вѣроятно, въ купчей показана продажа дешевле стоимости или, не желая сдѣлать гласнымъ семейнаго дѣла, когда Николай Павловичъ объявилъ, что не можетъ доплатить 110.000 руб., и они поссорились, то Иванъ Алексѣевичъ сказалъ, что эти недоплаченные деньги предоставляеть въ пользу дѣтей Николая Павловича и ничего имъ послѣ себя не оставить; можетъ, потому въ купчей и поставлено, что уплачено все.

на Алексѣевича, и его душеприказчика, да спасенный отъ потопленія Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ.

Зонненбергъ, окончившій карьеру педагога при Никѣ, занялся торговлей. Никъ далъ ему около своего помѣщенія двѣ комнаты, выходившія въ сѣни, въ которыхъ онъ открылъ магазинъ галантерейныхъ вещей и всякой всячины. Покупателей было мало, и то большей частью изъ семейства Яковлевыхъ, да Ника съ товарищами, которымъ онъ поставлялъ курительный табакъ, чернила, перья и писчую бумагу. Торговля Карлу Ивановичу въ руки не шла, онъ вскорѣ прекратилъ ее съ почетнымъ титуломъ ревельскаго негоціанта, не имѣя угла, куда преклонить голову. Въ это-то время Иванъ Алексѣевичъ и предложилъ ему занять одну изъ комнатъ нижняго этажа въ покинутомъ домѣ и исполнять при немъ должность чиновника особыхъ порученій. Онъ пріютилъ Карла Ивановича не потому, чтобы дѣйствительно нуждался въ немъ, а въ силу того, что тотъ занималъ мѣсто воспитанника при сынѣ его родственника и открывалъ магазинъ — стало-быть, приобрѣлъ толкъ въ покупкахъ.

Разъ попавши въ нижній этажъ стараго дома, Карлъ Ивановичъ до конца дней своихъ сдѣлался участникомъ жизни семейства Яковлевыхъ.

Порядокъ образа жизни Ивана Алексѣевича на новомъ мѣстѣ продолжался прежній. Въ десять часовъ утра Вѣра Артамоновна подавала барину кофе, только онъ пилъ его уже одинъ въ своемъ кабинетѣ и въ это время читалъ газеты. Затѣмъ являлся поваръ Спиридонъ съ купленной провизіей въ рѣшетѣ и съ запиской, почему что куплено, и каждый разъ баринъ, посмотрѣвши записку, замѣчалъ: «У! у! какъ дорого! подвоза, что ли, нѣтъ?» — «Точно такъ-съ», — постоянно отвѣчалъ поваръ. «Ну, такъ будемъ покупать поменьше, пока подвезутъ», и поваръ отпускался. За нимъ являлся чиновникъ особыхъ порученій за приказаніями. При этомъ каждый разъ повторялась одна и та же продѣлка. Карлъ Ивановичъ развязно кланялся, Иванъ Алексѣевичъ дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ его, да вдругъ, какъ бы нечаянно увидѣвши — кланялся, и, въ видѣ развлеченія, открывалъ противъ него военныя дѣйствія: нападалъ на его золотистую накладку волосъ, на духи, которыми

тотъ всегда былъ обрызганъ и щеголялъ; говорилъ, что ему дѣлается дурно отъ запаха этихъ духовъ, что у него заболѣла голова, и требовалъ одеколону. Если Карлъ Ивановичъ ловко бросался за одеколономъ и подавалъ ему, онъ просилъ его, ради Бога, не подходить близко, что отъ запаха его духовъ онъ упадетъ въ обморокъ. Натѣшившись, отпускалъ своего чиновника порученій, большею частью ничего не поручивши, или поручивши какой-нибудь вздоръ, какъ-то: посмотрѣть продающійся по газетамъ экипажъ, который и не думалъ покупать, или купить скляночку одеколону, мятной воды, магнези. Карлъ Ивановичъ, пріятно расшаркавшись, уходилъ до обѣда, довольный, что отдѣлался.

Я останавливаюсь на характерѣ и нѣкоторыхъ мелочахъ жизни Ивана Алексѣевича, такъ какъ онъ, при замѣчательномъ умѣ, оригинальностью своею выступаетъ изъ ряда лицъ обыкновенныхъ и можетъ служить типомъ такого рода личностей, которыя въ настоящее время уже немыслимы въ русскомъ обществѣ.

Нерѣдко Иванъ Алексѣевичъ открывалъ походъ противъ Егора Ивановича, къ которому всегда былъ холоденъ и часто несправедливъ до глубокаго оскорбленія; Егоръ Ивановичъ съ рѣдкимъ терпѣніемъ переносилъ свою безотрадную долю.

— Что это, — сказалъ однажды Иванъ Алексѣевичъ: — все, что ни подарю Егоринькѣ, сейчасъ сбудетъ. Далъ платочекъ, смотрю — лакею отдалъ. Такъ и все, что ни дамъ ему, все вижу на прислугѣ.

— Видѣть вы этого не могли, — возразилъ Егоръ Ивановичъ, выведенный изъ терпѣнія несправедливостью упрека: — всѣ ваши подарки какъ уложили получивши, такъ и теперь лежатъ. Вамъ, вѣрно, кто-нибудь наговариваетъ на меня.

— Что ты, что ты, — сказалъ Иванъ Алексѣевичъ: — никто не наговариваетъ.

— Откуда же вы все это взяли?

— Виновать, совралъ, — безстрастнымъ голосомъ отвѣтилъ старикъ. И въ насмѣшку, низко поклонясь, коснулся рукой пола.

Съ того времени, какъ Александръ кончилъ курсъ въ университетѣ, Иванъ Алексѣевичъ сталъ выдавать ему по три тысячи рублей ассигнаціями въ годъ на одѣ-

ванье и прочіе расходы его, и говорилъ Егору Ивановичу, что когда онъ поступитъ на дѣйствительную службу, то и ему будетъ давать постольку же. Вскорѣ Егоръ Ивановичъ поступилъ на дѣйствительную службу архивариусомъ кремлевской экспедиціи и перебрался на казенную квартиру за Красныя ворота, въ Запасный дворецъ, гдѣ находился архивъ. При первомъ свиданіи Иванъ Алексѣевичъ поздравилъ его съ новой должностью и сказалъ:

— Я обѣщалъ тебѣ давать по три тысячи, когда поступишь на дѣйствительную службу, но буду давать только по двѣ.

Егоръ Ивановичъ молча поклонился. Проходили недѣли, мѣсяцы, объ обѣщанныхъ двухъ тысячахъ не было и помина, до тѣхъ поръ, пока Луиза Ивановна не вступилась въ это дѣло; она же настояла со временемъ, чтобы оба сына получали поровну. Выдавая Егору Ивановичу деньги, всегда пропустивши сроки, Иванъ Алексѣевичъ сердился и жестоко упрекалъ его, зачѣмъ онъ ему не напоминаетъ, жаловался, что онъ весь боленъ, что у него совсѣмъ нѣтъ памяти, что онъ все перепуталъ и, отдавая деньги, по нѣскольку рублей учитывалъ.

Егоръ Ивановичъ говорилъ, что лучше останется безъ копейки, нежели когда-нибудь напомнить отцу о жалованьи, такъ оно тяжело доставалось.

Чтобы имѣть право на владѣніе имѣніемъ, Егору Ивановичу надо было получить орденъ. Отецъ часто говорилъ ему, что когда онъ получитъ крестъ, то отдастъ ему одну изъ своихъ деревень. Получивши Станислава, Егоръ Ивановичъ, съ орденомъ на груди, явился къ отцу, и только что хотѣлъ, по обыкновенію, поздороваться, какъ Иванъ Алексѣевичъ отстранилъ его рукою, говоря:

— Постой, постой, я прежде встану съ дивана,—и упираясь обѣими руками о диванъ, сталъ съ трудомъ съ него приподниматься. Поднявшись совсѣмъ, поздравилъ Егора Ивановича съ царскою милостью, облобызалъ обѣими щеками и сказалъ:

— Я обѣщалъ тебѣ, когда получишь право на владѣніе имѣніемъ, дать деревню, однако же, деревни не дамъ, даже совѣтую не покупать имѣнія и тогда, когда будешь

имѣть для этого средства: ты можешь умереть не распорядившись — и тогда все, что послѣ тебя останется, возьметъ казна.

— Что же это,—замѣтилъ Егоръ Ивановичъ:—въ насмѣшку, что ли, мнѣ Богъ устроить все такимъ образомъ....

— Что ты, что ты! — благоговѣнно прервалъ его Иванъ Алексѣевичъ:—можетъ ли Богъ дѣлать что-нибудь въ насмѣшку; я говорю только, что хотя и общалъ дать тебѣ деревню, но не даю и совѣтую никогда не покупать деревень. Какое же дѣло Богу до моихъ распоряженій и моихъ деревень?

Такими и подобными этому выходками, исполненными каприза и произвола, Иванъ Алексѣевичъ все чаще и чаще сталъ развлекать себя въ уединеніи новаго дома, все больше и больше тяготѣть надо всѣми. Онъ продолжалъ это занятіе до тѣхъ поръ, пока одинъ случай заставилъ его если не совсѣмъ прекратить, то значительно умѣрить такого рода увеселенія.

Разъ, при мнѣ, во время обѣда, проходившаго во всеобщемъ молчаніи, Иванъ Алексѣевичъ былъ въ особенно язвительномъ настроеніи духа и, не находя предмета, на который приходилось бы кстати излить его, прикинулся несчастнымъ, сталъ жаловаться на свою участь, недуги, беспомощность и сиротливость.

— И вотъ,—повершилъ онъ свои жалобы, на которыя никто не отзывался ни однимъ словомъ:—вотъ, живу совсѣмъ одинокъ, а повидимому—съ семействомъ, живеть у меня барышня съ своимъ сыномъ, воспитанникъ—наградила имъ сестрица княгиня...

Александръ не далъ ему докончить этой рѣчи. Внѣ себя, блѣдный, онъ всталъ изъ-за стола и дрожащимъ голосомъ сказалъ:

— Далѣе выносить вашихъ оскорбленій я не могу позволить ни себѣ, ни моей матери. При вашемъ взглядѣ на наши отношенія между нами ничего не можетъ быть общаго. Позвольте намъ сейчасъ же оставить вашъ домъ.

Старикъ былъ пораженъ и опомнился.

— Полно, помилуй,—заговорилъ онъ тихимъ, испуганнымъ голосомъ:—что ты, зачѣмъ, я такъ, ты понимаешь, ты знаешь меня, успокойся...

— Вы насъ притѣсняете, оскорбляете, — говорилъ

Александръ въ сильномъ волненіи:—упрекаете въ чемъ... чья вина?... наша, что ли?—нѣтъ, переносить эту уни-
зительную жизнь долѣе нельзя... не должно... Боже мой!

— Полно, оставь, успокойся... прости меня,—сказалъ старикъ прерывающимся голосомъ и зарыдалъ.

Александръ закрылъ лицо руками.

Всѣ, страшно встревоженные, встали изъ-за стола.

Старикъ, охая и сгорбившись вдвое противъ обыкновеннаго, увелъ Александра къ себѣ въ кабинетъ. Спустя часть времени, Саша вышелъ изъ кабинета мрачный, разстроенный. Иванъ Алексѣевичъ смиренно лежалъ на диванѣ, голова его была обвязана батистовымъ платкомъ, намоченнымъ одеколономъ.

Съ этого времени старикъ сдѣлался сдержаннѣе и съ Сашей сталъ обращаться съ нѣкоторымъ уваженіемъ; даже безпріютнаго Карла Ивановича шпынялъ гораздо меньше; но, несмотря на такое улучшеніе, умѣлъ придать столько горечи всѣмъ отношеніямъ и даже, повидимому, самой простой должности чиновника особыхъ порученій—безъ порученій, что и тотъ не могъ постоянно выносить этой жизни, терялъ терпѣніе, съ раздраженіемъ говорилъ: «это совсѣмъ несносно», накупалъ разныхъ бездѣлицъ, лошадь, таратайку, укладывался въ путь и отправлялся торговать то на Донъ, то на Кавказъ. Къ несчастію, неудачи преслѣдовали его повсюду, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ являлся къ Ивану Алексѣевичу, снова поступалъ на свою должность и поселялся въ нижнемъ этажѣ стараго дома.

Вскорѣ послѣ того, какъ Егоръ Ивановичъ перебрался на казенную квартиру, Саша, въ сопровожденіи Карла Ивановича, уѣхалъ въ Вятку и домъ Ивана Алексѣевича сдѣлался еще скучнѣе и уединеннѣе. Суровая тишина охватила его совершенно; только на половинѣ Луизы Ивановны чувствовались еще признаки живой души. Самые слуги, на звонъ призывного колокольчика, входили на цыпочкахъ, какъ бы боясь пробудить тишину.

Здоровье Ивана Алексѣевича стало видимо разрушаться, но нравственныя силы оставались тѣ же; та же была твердая память, тотъ же замѣчательный колкій умъ, тотъ же увлекательный разговоръ, когда онъ этого хотѣлъ, но онъ этого почти никогда не хотѣлъ, а, на-

противъ, хотѣлъ тѣснить всѣхъ капризами и мелочами больше чѣмъ когда-нибудь. Изъ всего этого, мало-помалу, соткалась цѣлая жизнь этого дома.

И потянулись долгіе дни до вечера; въ четыре часа былъ обѣдъ, мелкія заботы утихали, наступалъ вечеръ...

Въ столовой пусто; втихомолку
Блуждаютъ лампы тощій свѣтъ,
Часы стѣнные безъ умолку
Сноотворно стучають: да—нѣтъ...
Въ гостиной пусто и печально;
Передъ диваномъ столъ овальный;
Горятъ двѣ свѣчки на столѣ;
Уныло кресла въ полумгнѣ,
Пустыя ручки простирая,
Кругомъ стоять.

Въ этой гостиной, осенними и зимними вечерами, Луиза Ивановна, сидя на диванѣ у стола, вязала чулокъ, а Иванъ Алексѣевичъ медленно ходилъ вдоль амфилады растворенныхъ комнатъ...

Блуждая, точно духъ пустынный
Въ тиши обители старинной,
И вторилъ шороху шаговъ
Глухое стуканье часовъ.

Наконецъ, цѣль жизни и труда свелась на одно накопленіе капитала. вмѣстѣ съ Григоріемъ Ивановичемъ Ключаревымъ, старикъ повѣрялъ приходы и расходы, продавалъ родовыя имѣнія, превращалъ деньги въ банковые билеты и складывалъ ихъ вмѣстѣ съ деньгами и дѣловыми бумагами въ желѣзный сундукъ, стоявшій въ его спальнѣ.

Каждый день, послѣ вечерняго чая, онъ садился за свой небольшой письменный столъ и погружался въ расчеты...

Предъ нимъ бумаги листъ, кругомъ
Исписанный и разграфленный,
Слѣдить за цифрой зоркій взглядъ,
По счетамъ пальцами худыми,
Рука, скользя изъ ряда въ рядъ,
Стучить кружками костяными.
Хотя-бъ одинъ сторонній звукъ!
И слышно въ тишинѣ суровой
Все только счетовъ бѣглый стукъ,
Да ровный ходъ часовъ въ столовой—
И время крадется впередъ.

Рука притихла, смолкли счеты,
Часы въ столовой, изъ дремоты
Съ внезапнымъ шипомъ пробудясь,
Пробили звонко девять разъ.

Въ девять часовъ Иванъ Алексѣевичъ вставалъ изъ-за письменнаго стола, переносилъ свѣчу, съ шелковымъ зеленымъ зонтикомъ, на ночной столикъ, ложился на кровать, читалъ нѣсколько времени—мемуары, путешествія или медицинскія книги; отдохнувши, вставалъ и

Опять по комнатамъ старикъ
Идетъ бродить, какъ духъ пустынный
Въ тиши обители старинной,
И снова шарканье шаговъ,
И снова стуканье часовъ,
И въ вечеръ зимній, вечеръ длинный,
Васъ такъ и давить и гнететь
Глухое чувство тайной муки,
Тоски подавленной и скуки—
И время крадется впередъ.
А на дворъ свое молчанье:
На небѣ мѣсяцъ и свѣтло,
По свѣгу робкое мерцанье,
Морозно, пусто и бѣло.
Въ саду деревья пусты, голы,
Стоять недвижно ихъ стволы,
Всѣ сучья кверху устремивъ,
Какъ будто и у нихъ порывъ
Какой-то былъ, покуда жили,
Да тутъ же навѣкъ и застыли.

.

Когда часовая стрѣлка вмѣстѣ съ минутной касались XII—и часы стѣнные, столовые, карманные, послѣдовательно одни за другими, начинали звонить на разные тоны, Иванъ Алексѣевичъ останавливался, осматривалъ всѣ часы, прощался съ Луизой Ивановной, и они расходились по своимъ комнатамъ.

Такимъ образомъ жизнь этого дома тянулась около трехъ лѣтъ. Только когда получались письма отъ Александра, проявлялось нѣкоторое одушевление. Разъ Саша писалъ отцу, что онъ очень сблизился съ однимъ молодымъ человекомъ, чиновникомъ губернатора, уроженцемъ Сибири, Гавриломъ Каспаровичемъ Эрнъ, живущимъ въ Вяткѣ съ матерью Прасковей Андреевной, женщиной умной, самостоятельной, и съ 12-ти-лѣтней сестрой Машей; что онъ не только радушно принять у

нихъ въ домѣ, но во время его сильной болѣзни Праксовья Андреевна ухаживала за нимъ, какъ за сыномъ, и онъ, съ своей стороны, желалъ бы оказать имъ услугу, устроивши Машу въ пансіонъ въ Москвѣ, такъ какъ въ Вяткѣ учебнаго заведенія для дѣвочекъ нѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ счелъ долгомъ отплатить за вниманіе къ Сашѣ участіемъ въ Машѣ; когда она съ матерью пріѣхала въ Москву, онъ предложилъ имъ остановиться у него въ низу стараго дома, на свой счетъ помѣстивъ Машу въ пансіонъ и по праздникамъ сталъ брать ее къ себѣ. Присутствіе ребенка оживило нѣсколько пустоту и однообразіе его дома.

По выходѣ изъ пансіона, Маша осталась въ домѣ Ивана Алексѣевича и сдѣлалась участницей жизни этого семейства. Въ 1847 году она уѣхала съ семействомъ Александра за границу, тамъ вышла замужъ за профессора музыки Рейхеля, пріятеля Прудона и Б—на, и до настоящаго времени находится въ дружескихъ отношеніяхъ съ дѣтьми Александра.

Отъ Маши я узнала, что она услышала въ первый разъ объ Александрѣ отъ своего брата, по пріѣздѣ въ Вятку. Онъ рассказывалъ о немъ, какъ о замѣчательномъ, живомъ лицѣ, заинтересовавшемъ собой весь городъ. «Когда Александръ пришелъ къ намъ,—говорила Маша:—я увидала очень молодого человѣка, художавого, бѣлокурога, живого, остроумнаго, съ огромнымъ бантомъ на галстукѣ. Братъ мой былъ съ нимъ близко знакомъ и увлекался имъ, какъ и другіе, да и могло ли быть иначе,—добавила она:—закупающая личность Александра заполняла: даже и меня—ребенка онъ сильно занялъ». Александръ бывалъ у Эрнэ часто, интересовался занятіями Маши и самъ поправлялъ ея переводы съ французскаго языка. По его совѣту и старанію Машу отвезли въ Москву и отдали въ пансіонъ.

«Я вошла въ домъ Ивана Алексѣевича,—говорила Маша:—въ первый разъ вечеромъ. Меня встрѣтилъ полусвѣтъ, тишина и чинность.

«Иванъ Алексѣевичъ—серьезный, мрачный старикъ, въ сѣромъ халатѣ и темно-фіолетовой бархатной шапочкѣ (въ новомъ домѣ онъ перемѣнилъ полосатый халатъ на сѣрый, а красную суконную шапочку—на бархатную фіолетовую), окруженный молчаніемъ и покор-

ностью, принялъ меня благосклонно. Постоянно молчаливый, онъ иногда обращался ко мнѣ съ какимъ-нибудь вопросомъ или шуточкой, никогда не измѣняя лица. Въ продолженіе безмолвнаго обѣда онъ только со мною говорилъ иногда нѣсколько словъ и, когда меня отвозили въ пансіонъ, давалъ мнѣ маленькую монетку, позволяя на нее купить деревню. Мало-по-малу, старикъ привыкъ ко мнѣ, и если я попадалась ему на глаза при посѣтителѣ, то представлялъ меня, какъ свою воспитанницу. Но, несмотря ни на что, я, какъ и всѣ въ домѣ, боялась его и отъ него пряталась».

Добродушная, кроткая Луиза Ивановна приняла Машу подъ свое покровительство, приглубила ее, и дѣвочка привязалась къ ней всей душой, не оставляла ее до своего замужества и до послѣднихъ дней жизни Луизы Ивановны сохранила къ ней эти чувства.

Къ этой-то Машѣ, бывшей уже замужемъ и жившей въ Парижѣ, въ 1857 году Луиза Ивановна поѣхала погостить вмѣстѣ съ меньшимъ сыномъ Александра—Колей, любимцемъ ея и Маши, съ его гувернеромъ Шпильманомъ, своей племянницей—молодой, красивой дѣвушкой и съ горничной. Уѣзжая отъ Маши обратно въ Ниццу, гдѣ Луиза Ивановна жила съ семействомъ сына, она, Коля и Шпильманъ 15-го ноября потонули въ Средиземномъ морѣ. Пароходъ, на которомъ они плыли, между островомъ Іеръ и материкомъ столкнулся съ другимъ пароходомъ во время сильнаго тумана и пошелъ ко дну. Племянница и горничная спаслись.

Въ декабрѣ 1839 года Александръ пріѣхалъ къ отцу въ Москву. Наташа съ маленькимъ сыномъ осталась во Владимірѣ. Иванъ Алексѣевичъ, желая передать Сашѣ имѣніе, отправилъ его въ Петербургъ хлопотать въ герольдіи объ утвержденіи его въ чинѣ, который давалъ ему право на владѣніе имѣніемъ, а вмѣстѣ съ этимъ представиться графу Сергѣю Григорьевичу Строганову, хотѣвшему опредѣлить Сашу въ свою канцелярію. Саша въ три недѣли все окончилъ, возвратился во Владиміръ и вмѣстѣ съ семействомъ переселился въ Москву. «Мы съ сожалѣніемъ покидали нашъ маленький городъ,—говорилъ намъ Саша:—душа предчувствовала, что не будетъ больше той простоты, внутренней жизни, которой мы жили во Владимірѣ». Тутъ оканчивается

лирический отдѣлъ его жизни, чисто личной. «Далѣе,— говоритъ онъ:— трудъ, успѣхи, встрѣчи, дѣятельность, широкій кругъ, далекій путь, инныя мѣста, перевороты, исторія... далѣе—дѣти, заботы, борьба... еще далѣе— все гибнетъ... съ одной стороны—могила, съ другой— одиночество и чужбина».

Съ прїѣздомъ Саши, въ домѣ Ивана Алексѣевича пробудилась жизнь: явилось движеніе, новые интересы, почувствовалось присутствіе милой молодой женщины и свѣтлая улыбка ребенка. Мнѣ не разъ приходилось видѣть, какъ старикъ рукой, привыкшей считать деньги и билеты, ласкалъ бѣлокурую головку ребенка и въ задумчивомъ взорѣ его проявлялось что-то трогательное.

Въ это же время явился съ Ирбитской ярмарки Карлъ Ивановичъ, и Егоръ Ивановичъ, всегда принимавшій горячее участіе въ дѣтяхъ Александра Алексѣевича Яковлева, выписалъ изъ Шацка меньшую сестру Наташи—Катю, шестнадцатилѣтнюю прелестную брюнетку, которую Луиза Ивановна такъ же, какъ Машу, приняла подъ свое покровительство.

Свѣжая, молодая жизнь со всѣхъ сторонъ хлынула къ пустынному дому. Сосредоточивалась она вся въ небольшомъ Тучковскомъ домѣ, который Иванъ Алексѣевичъ предложилъ занять Александру. Изъ этого средоточія лучи кипучей жизни простирались до уединеннаго жилища и озаряли его своимъ животворнымъ свѣтомъ.

Никъ былъ уже въ Москвѣ. Онъ нѣсколькими мѣсяцами прежде Саши прїѣхалъ туда изъ деревни и былъ окруженъ новыми товарищами; изъ прежнихъ друзей находилось только двое. Симпатичная, поэтическая натура Ника влекла къ себѣ каждого. Онъ былъ изъ числа тѣхъ личностей, которыя соединяютъ, грѣютъ, возста новляютъ силы: при нихъ успокаиваются и отдыхаютъ. Въ этотъ кругъ вступилъ и Саша. Это былъ не прежній ихъ кругъ: тонъ, интересы, занятія — все было другое. Люди, къ которымъ примкнули Никъ и Саша, были людьми кружка Станкевича. На первомъ планѣ стояли Б* и Бѣлинскій, каждый съ томомъ Гегеля въ рукахъ, какъ выразился Саша, говоря объ этомъ періодѣ времени. Убѣжденія были страстны, нетерпимость—юношеская.

Въ 1826 году кафедра философіи была закрыта; про-

фессоръ Павловъ, читая физику и сельское хозяйство, знакомилъ съ природой, излагая ученіе Шеллинга и Окена. Станкевичъ, лучший ученикъ Павлова, одаренный большими способностями, изучалъ нѣмецкую философію и завершилъ дѣло Павлова Гегелемъ. Онъ былъ первымъ послѣдователемъ его и увлекъ много молодыхъ людей къ изученію любимаго предмета его занятій. Изъ этого круга вышло много людей ученыхъ, литераторовъ, профессоровъ—изъ этого круга вышелъ и Бѣлинскій.

Когда Александръ пріѣхалъ въ Москву, Станкевича тамъ уже не было—онъ 27-ми лѣтъ угадалъ въ Италіи.

«Меня приняли въ этотъ кругъ,—разсказывалъ намъ Саша:—съ почетнымъ снисхожденіемъ, какъ прошедшее, съ требованіемъ безусловнаго принятія феноменологіи духа и логики Гегеля по ихъ изъясненію. Объ этомъ толковали на-пролетъ ночи, отчаянно спорили и расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіяхъ, принимая за обиду разногласіе въ мнѣніяхъ. Всѣ сочиненія по философіи, даже самыя ничтожныя, выходившія въ Германіи, выписывались и зачитывались до дыръ. Самый языкъ они приняли условный, къ которому надобно было имѣть ключъ, какъ къ шифрованнымъ письмамъ. Къ жизни дѣйствительной относились какъ-то книжно и наивно. Самыя простыя чувства возводили въ отвлеченную категорію; даже слезу, блеснувшую на глазахъ,—говорилъ Александръ:—относили къ своему порядку—къ трагическому въ сердцѣ. То же было и въ искусствѣ: надъ каждымъ аккордомъ Бетховена производили философское слѣдствіе; Шуберта уважали за то, что бралъ философскія темы для своихъ нагѣвовъ. Моцарта только терпѣли. Итальянская музыка была въ опалѣ, ее дѣлило съ ней все французское и политическое».

Въ началѣ сороковыхъ годовъ не было еще и мысли возставать противъ духа и вступаться за жизнь.

Вопросы болѣе страстные не замедлили явиться.

Первый бой—отчаянный—закипѣлъ между Александромъ и Бѣлинскимъ, когда тотъ прочиталъ ему свою статью по поводу «Бородинской годовщины», соч. Ѳ. Н. Глинки. Они перессорились, размолвка ихъ по-

вліяла на другихъ и кругъ этотъ сталъ распадаться. Бѣлинскій уѣхалъ въ Петербургъ.

Въ 1840 году, спустя нѣсколько времени по отъѣздѣ Бѣлинскаго, пришла бумага о переводѣ Саши на службу къ графу Строганову; онъ вмѣстѣ съ женой и сыномъ переехалъ въ Петербургъ и тамъ тѣснѣе прежняго сошелся съ Бѣлинскимъ.

Сближеніе Вадима съ кругомъ А. Ѳ. Вельмана отчасти разъединяло его съ кругомъ, въ который попалъ Александръ, но взаимное уваженіе сохранилось. Занятая дѣтьми и домашними заботами, я не обращала ни малѣйшаго вниманія на всѣ эти партіи и нисколько не удивлялась тому, что мы рѣдко видались съ Сашей и его семействомъ, а когда видались, то попрежнему дружески. Въ эти рѣдкія свиданія мы узнали отъ Александра и Наташи обо всемъ, что было съ нимъ въ продолженіе нашей разлуки, и о литературныхъ трудахъ Саши. Кромѣ нѣсколькихъ легендъ изъ Четіи-Миней, переведенныхъ имъ на литературный языкъ, онъ читалъ намъ нѣкоторыя статьи свои изъ «Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», которыхъ онъ былъ редакторомъ, отрывки изъ «Записокъ одного молодого человѣка» и написанныя во Владимірѣ сцены изъ римской жизни. Во всѣхъ его произведеніяхъ того времени видно, что онъ былъ подъ религіознымъ вліяніемъ Наташи и Витберга. Въ Москвѣ, подъ вліяніемъ философіи Гегеля и новаго кружка, религіозное настроеніе его измѣнило свою форму. О духѣ религіознаго направленія въ Вяткѣ и Владимірѣ можно видѣть изъ его писемъ къ Витбергу *), изъ легенды о жизни святой Θεодоры, помѣщенной выше въ моихъ воспоминаніяхъ, и изъ слѣдующаго, сохранившагося у меня отрывка изъ римскихъ сценъ:

Изъ римскихъ сценъ.

Однимъ сентябрьскимъ днемъ грустныя думы рядомъ съ туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтобъ разсѣяться, я задумалъ читать, но книга выпадала изъ рукъ на второй страницѣ... перебралъ нѣсколько, мнѣ попалась, наконецъ, такая, которая поглотила меня до глубокой ночи—то былъ Тацитъ. За-

*) См. «Русская Старина» 1876 г., т. XVII, стр. 274—296.

дыхаясь, съ холоднымъ потомъ на челѣ, читалъ я страшную повѣсть—какъ отходилъ въ корчахъ, судорогахъ, съ рвѣчью предсмертнаго бреда вѣчный городъ. Не личность цезарей, не личность ихъ окружавшихъ клеветовъ поражала меня,—страшная личность народа римскаго далеко покрывала ихъ собой. Мелькомъ и съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ говорить Тацитъ о гоненіи христіанъ, на которыхъ Неронъ сложилъ извѣстный пожаръ. До того назареевъ даже не гнали. Я зналъ, что въ то время апостолъ Павелъ былъ въ Римѣ; это дало мнѣ поводъ раскрыть Апостольскія Дѣянія, и рядомъ съ мрачнымъ, окровавленнымъ, развратнымъ, снѣдаемымъ страстями Римомъ предстала мнѣ эта бѣдная община гонимыхъ, угнетенныхъ проповѣдниковъ Евангелія, сознавая, что ей вручено пересозданіе міра; рядомъ съ распадающеюся весью, которой все достоиніе въ воспоминаніи, въ прошедшемъ, — святая хранилищница благой вѣсти, вѣры и надежды въ грядущее. Я долго думалъ о времени, предварившемъ ихъ встрѣчу. Есть особое состояніе трепета и безпокойства, мучительнаго стремленія и боязни, когда будущее, чреватое пѣлымъ міромъ, хочетъ разверзнуться, отрѣзать все бывшее, но еще не разверзлось, когда сильная гроза предвидится, когда ея неотразимость очевидна, но еще царитъ тишина; настоящее тягостно въ такіа мгновенія, ужасъ и стремленіе наполняютъ душу, трудно поднимается грудь, и сердце, полное тоски и ожиданія, бьется сильнѣе. Этотъ трепетъ передъ будущимъ неизвѣстнымъ, но близкимъ, это отрицаніе всѣхъ узъ, которыми сросся человѣкъ съ былымъ и существующимъ, это мученіе неизвѣстности, мученіе предчувствія и необладанія хотѣлось мнѣ уловить въ тогдашнемъ состояніи умовъ. Не страданіе города, а отчаянный крикъ человѣка—и врачеваніе его словомъ Евангелія. Здѣсь предлагается отрывокъ изъ тогда написанныхъ сценъ. Лициній—мой герой, онъ еще не имѣетъ понятія объ ученіи Христовомъ, но вѣяніе духа современности раскрыло въ немъ вопросы, на которые, кромѣ Евангелія, не было отвѣта. Отсутствие религіи, неудовлетворительность философіи, наконецъ, очевидное разрушеніе Рима сложили его для того, чтобъ онъ воскресъ новымъ человекомъ. Мевій—благородная, прекрасная, античная на-

тура, но не принадлежавшая къ тѣмъ организаціямъ, которыя шагаютъ за предѣлы понятій своего вѣка. Въ Липиніи предсуществуетъ романтическое воззрѣніе, Мевій—классикъ со всѣмъ реализмомъ древняго міра.

«Ну посмотри, посмотри, Липиній, около себя, — сказалъ юный философъ Мевій другу своему, указывая на видъ съ холма:—неужели ты не чувствуешь теплое, живое дыханіе природы и неужели это дыханіе матери не согрѣваетъ тебя. О, космосъ! мое сочувствіе къ тебѣ велико, я поклоняюсь тебѣ потому, что ты не хочешь поклоненія; ты все содержишь и все свободно въ тебѣ. Птица, червякъ, звѣрь—каждый воленъ, каждый чувствуетъ себя дома, на мѣстѣ, всѣмъ хорошо. Какое блаженство существовать, существовать и понимать, что существуешь—въ этомъ безконечное наслажденіе; существовать, любить—два великія начала и два великія окончанія природы, положивъ въ основу ей Венеру. Но послушай, Липиній, ни одной морщины не свелъ съ твоего чела этотъ видъ; что за странная грусть поселилась въ тебѣ, давно ли въ твоей груди обитали свѣтлые образы, я перестая узнавать тебя. Теперь даже, когда вся природа около насъ дышитъ нѣгой, когда все живое радостно припадаетъ къ лучамъ солнца, чтобы сосать изъ нихъ огонь, ты одинъ, какъ чужой, какъ пасынокъ въ родительской храминѣ, стоишь мрачный и сосредоточенный въ себѣ».

Противоположность двухъ друзей была разительна. Одушевленные черты Мевія, распростертыя руки, какъ бы раскрывшія объятія всему, и свѣтлое чело, и ясный взглядъ, разливавшійся на все окружающее, дѣлали его похожимъ на греческаго бога; полнота и гармонія, юность и избытокъ жизни громко говорили его чертами. О такомъ лицѣ думалъ Платонъ, когда сказалъ, что есть нѣчто изящнѣе тверди небесной, усыпанной звѣздами,—очи, рассматривающія эту твердь. Блѣдное, нѣжное и худое лицо Липинія, болѣзненно-страдальческое выраженіе, скрещенныя на груди руки и глаза, свѣтящіеся какъ-то лихорадочно и независимо отъ окружающаго, однимъ своимъ свѣтомъ говорили совсѣмъ иное; казалось, душа, смотрящая такъ—бездонная пропасть, въ которую утягивается вся природа и пропадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его

носило клеймо думъ тягостныхъ, безотходныхъ и мучений нестерпимыхъ. Онъ отвѣчалъ Мевію: «Я не виновать, что природа на меня не такъ дѣйствуетъ, какъ на тебя; я завидую тебѣ, но перенять не могу: такъ, со слезою на глазахъ я смотрю на дѣтскія игры; ихъ безотчетная радость, звонкій смѣхъ, совершенное поглощеніе игрой понятно, но оно не возможно, когда выйдешь изъ того возраста. Я съ своей стороны дивлюсь тебѣ, какъ такой дешевой цѣной ты сыскалъ миръ душѣ и наслажденіе; что птицѣ, червяку хорошо—не спорю, животныя—дѣти, у которыхъ нѣтъ совершеннотѣтя, нѣтъ ума, нѣтъ вопросовъ; бѣдныя, обманутыя, они беззаботно живутъ, не подозревая, что вмѣстѣ съ груднымъ молокомъ сосутъ отраву. Но на этомъ дѣтскомъ праздникѣ Изиды человѣкъ—чужой. Сверхъ этихъ глазъ, есть у него другіе, и они видятъ—чего бы не надобно видѣть, и въ душѣ тѣсняются вопросы, на которые плохо отвѣтили мудрецы всѣхъ вѣковъ; я изучилъ ихъ и бросилъ; одни слова и уловки. Скажи мнѣ, объяснили ли они цѣль человѣка, для чего онъ? что послѣ? что прежде?»

Мевій. Цѣль, да жизнь, — вотъ и цѣль, мнѣ это ясно; ты ищешь какой-то другой цѣли, вѣдъ человѣка, вѣдъ природы. По какому праву?

Лициній. Оно законно. Я выстрадалъ себѣ это право, оно запечатлѣно морщинами на моемъ челѣ. Ты легко удовлетворяешься, мой другъ, но такое примиреніе не для всѣхъ: у иныхъ въ груди зарождается демонъ, котораго не убаюкаешь эпикурейскою пѣснью. Жизнь—цѣль жизни! Да чтѣ мнѣ въ ней? Я принимаю только тѣ дары, которыхъ требую. Жизни я не просилъ... Я вдругъ проснулся изъ небытія; кто разбудилъ меня—не знаю, но моей воли не было. Мнѣ втѣснено тяжелое бремя жизни—этой странной борьбы, не имѣющей конца, борьбы непрерывной, утомительной. Въ груди лежитъ сознаніе моей нравственной свободы, моей безконечности, а я со всѣхъ сторонъ ограниченъ, униженъ тѣломъ. Я иногда возвращаюсь къ религиознымъ вымысламъ и вѣрю, что людей создалъ возмущившійся дерзкій Титанъ. Онъ затѣялъ беззаконное смѣшеніе вещества и ума, а мы страдаемъ, искушая нелѣпость, невозможность такого смѣшенія. Именно нелѣпость—она

очевидна: вложить духъ, разумъ въ безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной, чтобъ вся жизнь была страданіе отъ двухъ противоположныхъ влеченій, одного, не имѣющаго силы поднять на небо, другого—не имѣющаго силы стянуть на землю. Это аристофановская пронія!

Мевій. Одно слово. Зачѣмъ ты такъ дѣлишь духъ отъ тѣла, и точно ли они непримиримые враги, и мѣшаетъ ли тѣло духу, не оно ли чрево, изъ котораго духъ развился?

Лициній. Какъ не мѣшаетъ? да кто же меня приковалъ ко времени и пространству, къ этимъ двумъ цѣлямъ, ежеминутно бряцающимъ на моихъ рукахъ и ногахъ? Мой духъ хотѣлъ бы обнять всю вселенную, разлиться по ней безпредѣльнымъ и вольнымъ, а онъ сидитъ въ этихъ костяхъ, въ этой оболочкѣ мяса. Я колодникъ, котораго пересылаютъ куда-то, не сказавши ему за что, время влечитъ скованнаго съ свирѣпой быстротой и само, кажется, не вѣдаетъ куда, не внемлетъ слезамъ, стенанью, не даетъ остановиться, кто на дорогѣ упасть, того трупъ хищнымъ птицамъ—и мимо. Духъ, оскорбленный, униженный, борется, но тѣлу дана сила грубая и дикая, которую не сломишь. Духъ понимаетъ свою свободу отъ временнаго, да время не понимаетъ ея. Оно идетъ безотвѣтно, тупо, однообразно. Могу ли я продолжить мигъ восторга? Могу ли сжать мигъ горести? нѣтъ. У кого во власти Кленсидра? у случая, у судьбы. Судьба—слово безъ смысла. И чтобъ эта жизнь была цѣль. — Коли она цѣль, за ней ничего, понимаешь ли—ничего! Я сдѣлаюсь прошедшее, жизнь промчится по моимъ костямъ, раздавить ихъ и я не почувствую боли. Лучшее царство Плутона, чтобъ я исчезъ, какъ звукъ лиры въ безконечномъ пространствѣ, если я не вѣченъ, Мевій; такъ и міръ умретъ когда-нибудь, одряхлѣвши, истощивъ свои силы, и не оставитъ слѣда и будетъ—ничего. Памяти не оставить по себѣ, потому что некому будетъ помнить.

Мевій. Въ этомъ можешь быть обезпеченъ; для вселенной нѣтъ смерти. Космосъ есть—ты понимаешь ли, что въ этомъ смыслѣ заключена вѣчность? Это значитъ: міръ былъ и будетъ, потому что онъ есть. Онъ живетъ, обновляясь поколѣніями.

Лициній. Да, онъ, какъ Хроносъ, пожираетъ своихъ дѣтей, бросая обглоданныя кости, чтобъ мы могли угадать свою судьбу. Когда я былъ въ Египтѣ, я посѣтилъ Оивы, этотъ стовратый городъ Гомера. Дворцы, столбы, аллеи сфинксовъ, грифы стоятъ, на скалахъ сидятъ страшные Мемноны, обелиски, испещренные дѣльными рѣчами гіероглифовъ, стерегутъ ворота, въ которыя никто не входитъ, и говорятъ что-то каменной рѣчью, которую никто не слушаетъ и никто не понимаетъ теперь. Тишина страшная—ни одного человѣка и пустыя зданія, формы безсмысленныя, оттого, что содержаніе выдохлось, черепы чего-то умершаго! Куда ушелъ народъ, толпившійся тутъ, работавшій? ушелъ—да куда? Гдѣ этотъ Пантеонъ или та Сіоса maxima, куда стекается прошедшее—люди, царства, звѣри, мысли, дѣянія? Хроносъ съ ненасытной жадностью безпрестанно ѣстъ, но у него нѣтъ внутренностей, все, что онъ проглотитъ, исчезаетъ и оттого онъ не сытъ и безпрестанно гложетъ.

Мевій. Ты послѣ спросишь, зачѣмъ сегодня волна нанесла кучу песку на берегъ, а завтра смываетъ его и какъ его отыскать въ морѣ. Все существующее существуетъ во времени, въ этомъ надо убѣдиться однажды навсегда. Одна жизнь вѣчна. Когда ты бродилъ по Оивамъ, зачѣмъ не взглянулъ вверхъ, ты увидѣлъ бы прекраснаго пестраго орикса; зачѣмъ ты не видалъ ни одного изъ красивыхъ цвѣтовъ, качавшихъ яркими и благоухающими вѣнчиками изъ-за трещинъ колоннъ и упавшихъ капителей, между которыми ползла, извиваясь и блестя чешуей, змѣя? Гдѣ тутъ запахъ смерти, пустоты: жизнь человѣческая перешла, жизнь природы, разлитая повсюду, осталась. Царства, дѣла рукъ человѣческихъ—падутъ; жизнь вѣчно юная цвѣтетъ на ихъ развалинахъ. Что за дѣло, куда ушли египтяне, чего жалѣть ихъ? Развѣ они въ продолженіе своей жизни не наслаждались по-своему, не имѣли минутъ блаженства и сильныхъ ощущеній, развѣ они не любили, не трепетали отъ радости, развѣ жизнь не подносила свой кубокъ наслажденія и къ ихъ устамъ?

Лициній. А несчастные, задавленные обломками, присутствовавшіе при гибели родины—тѣмъ много ли отпущено было наслажденій?

Мевіі. Ихъ участь была горька, но тутъ ненавистная тебѣ смерть явилась благодѣтельнымъ гениемъ, успокоила ихъ въ могилѣ, замѣнивши новыми поколѣніями такъ, какъ замѣняетъ траву, скошенную на лугу. Ты слишкомъ много придаешь важности человѣку, это нравится гордости: онъ не больше, какъ листъ на деревѣ, какъ песчинка въ горѣ.

Лициній. Счастливъ ты, удовлетворяющійся такими объясненіями. Нѣтъ, я считаю жизнь каждаго человѣка важнѣе всей природы. Человѣкъ—носитель безсмертнаго духа, къ которому природа только рвется. Каждая слеза, каждое страданіе человѣка отзывается въ моемъ сердцѣ. Безчувственно жертвовать какому-то отвлеченному понятію о жизни людьми, не жалѣя ихъ. Варвары, приносящіе на жертву людей, закаляютъ ихъ, по крайней мѣрѣ, своимъ богамъ... Я съ нѣкотораго времени боюсь произносить это слово, оно утратило великій смыслъ свой въ нашихъ устахъ. Для насъ боги—какой-то сонъ, облакающій въ образы идеи и мысли. А чтѣ прежде была религія? Зачѣмъ я не могу дѣтски вѣровать, зачѣмъ я родился въ развратный вѣкъ, вѣрующій въ одно сомнѣніе? Чтѣ мнѣ дали философы? Ни одного полнаго рѣшенія, ни одной достовѣрности. Они лишили только покоя мою душу, привели ее въ вѣчное колебаніе. Фетишизмъ давалъ больше положительнаго, нежели развѣдающій духъ нашихъ учителей. Подкопавшись подъ пьедесталы боговъ, свергнувъ, осмѣявъ ихъ, чтѣ они поставили на эти пьедесталы? Скептическій взглядъ и удостовѣреніе, что мы ничего не знаемъ? Нѣтъ, еще, кое-что: стоическую нравственность и ясный взглядъ.

Мевіі. Ты всегда вдаешься въ крайности и требуешь несправедливаго. Чтѣ они поставили на пьедесталы, съ которыхъ сняли Олимпійцевъ—помилуй—они поставили Нусъ, великій законъ, великую энергію всего развитія, они поставили живую душу міра, многіе—хотя и не понимаю для чего—доказывали бытіе боговъ.

Лициній. И въ томъ числѣ нашъ Цицеронъ. И нечего сказать, хорошо написалъ онъ въ ихъ пользу, не хуже, какъ за Архіа поэта. И я такъ же, какъ ты, не могу понять, для чего они доказывали, для изощренія въ діалектикѣ, вѣроятно. Доказывать можно только

то, въ чемъ можно сомнѣваться. Неужели голосъ мощный, звучащій въ груди, не говоритъ громче всѣхъ философовъ? Что вышло изъ философскихъ доказательствъ? Холодный, безчувственный деизмъ, съ ихъ богами мы чужіе, нѣтъ связи между нами; одинъ Платонъ изъ всѣхъ предвидѣлъ, какъ мало удовлетворяетъ такое признаніе боговъ. Я чувствую, что человѣкъ долженъ быть связанъ съ божествомъ, въ немъ усновоюется, любовью возносится къ нему. Какъ? — не знаю, не понимаю какъ, оттого-то я и страдаю; я ищу, жажду и—все камень, все слова, все мертвое, до чего ни коснусь. У одного Платона и его учениковъ есть что-то, намекъ, приводящій въ трепетъ всю душу. Думалъ ли ты когда-нибудь, что значить Логось? Тайна, тайна, и мы умремъ, не разгадавъ ее. Пусть явится, кто-бъ онъ ни былъ, и откроетъ мнѣ эту тайну—я обниму его ноги, облобызаю прахъ его сандалій. Предчувствіе мое меня мучитъ, знать, что не знаешь — ужасно. Логось, Логось-профорикось, въ этомъ словѣ для меня заключено все — идея, событіе, гіероглифъ, связь міра и бога—и не могу понять. (Молчитъ).

Послушай, Мевій, что-то великое совершается. Этимъ путемъ міръ дальше идти не можетъ: онъ своими когтями разорвалъ свою грудь и пожираетъ свои внутренности; на такой пищѣ долго не проживешь. Бродятъ вопросы, нигдѣ не являвшіеся прежде. Если бы можно было приподнять завѣсу—хоть для того, чтобъ взглянуть и умереть. (Задумывается и молчитъ).

Мевій. Мечтатель, милый мечтатель, люблю слушать его рѣчь; она имѣетъ какую-то магическую силу, какъ музыка, какъ лунный свѣтъ.

(Лиціній садится на холмъ и не принимаетъ, повидимому, никакого участія въ разговорѣ Мевія съ подошедшимъ патриціемъ).

Патрицій. Я сейчасъ отъ Пизона.

Мевій. Много было?

Патрицій. Да всѣ наши.

Мевій. Эпихарисъ была?

Патрицій. Была и говорила, какъ вдохновенная богами пиеія. Великая женщина! Имя ея пойдетъ до позднѣйшаго потомства, окруженное лучами славы. Странно, женскую руку избрали боги участвовать въ ве-

ликомъ дѣлѣ, для котораго такъ долго не находилось достаточно крѣпкихъ рукъ мужчины.

Мевій. Что новаго о цезарѣ?

Патрицій. Каждое дыханіе Нерона—злѣдѣйство. На-дняхъ рабы убили какого-то сенатора. Отцы прису-дили всѣхъ рабовъ его, жившихъ у него въ домѣ и внѣ дома, казнить. Ты знаешь, на это есть прямой за-конъ. Неронъ, когда ему подали дѣло *), сказалъ: «без-умно нѣсколько сотъ человѣкъ казнить въ то время, какъ подозрѣніе падаетъ на двухъ-трехъ изъ окружа-вшихъ». — Императоръ, — вскричало нѣсколько голо-совъ:—законъ требуетъ ихъ казни». — «А я, — возразилъ Неронъ:—требую казни этого закона, потому что онъ безсмысленъ». — Видишь ли, какъ онъ пренебрегаетъ за-кономъ и какъ льститъ подлымъ рабамъ. И сенатъ под-дался, но ропталъ больше, нежели когда-либо.

Мевій. Онъ безпрестанно ищетъ случая унизить па-триція и отцовъ. Давеча я встрѣтилъ недалеко отъ вновь строящагося дворца похороны. Чьи, ты думаешь? Тигръ околѣлъ у него въ звѣринцѣ, онъ велѣлъ его хо-ронить, какъ сенатора, завернувши въ латиклаву. Пле-беи толпами шли за трупомъ гадкой кошки съ руко-плесканіями и хохотомъ; тутъ какой-то ободранный раз-бойникъ взлѣзъ на камень и кричалъ: «божественный цезарь, доверши благое дѣло; ты посадилъ тигра въ сенатъ, посади же отцовъ въ звѣринецъ». — Толпа съ восторгомъ слушала эти нечестивыя рѣчи.

Патрицій. Подлое отродье подлыхъ корней. Пле-беи никогда не былъ римляниномъ,—это ложныя дѣти Италіи. Мевій, сегодня приходи непременно къ Лате-рину, у него совѣщаніе; всѣ поняли, что пора присту-пить къ дѣлу, еще нѣсколько дней—и заговоръ непре-мѣнно будетъ открытъ. Отъ быстроты зависить успѣхъ. Мы утромъ для того сходились, но было какъ-то смутно и безтолково. Латеринъ поссорился съ Пизономъ. Ты знаешь его—воплощенный Брутъ, а Пизонъ туда же ме-титъ въ цезари. Луканъ, который въ Неронѣ ненавидитъ соперника-поэта больше, нежели тирана, хотѣлъ выпить чашу вина за здоровье новаго цезаря, Латеринъ и Эпи-харисъ чуть не растерзали его. Пизонъ надулся; тутъ,

*) Историческій фактъ.

какъ на смѣхъ, Сульпицій-Асперъ сталъ требовать въ раздачу тѣмъ преторіанскимъ когортамъ, которыя пристанутъ къ намъ, какихъ-то полей близъ Рима. Пизонъ испугался за земли, находящіяся вѣка во владѣніи Калпурніевъ безъ всякихъ правъ, надулся вдвое и уѣхалъ къ себѣ на дачу, а Луканъ на него сочинилъ уморительное двустипіе,—однако, у Латерина будутъ всѣ.

Мевій. Латеринъ—великій гражданинъ. Когда я смотрю на его открытое чело, на его спокойный, величественный и грустный видъ, онъ мнѣ представляется однимъ изъ полководцевъ временъ нашей славы. Римъ не погибъ, если могъ создать еще такого гражданина. Ну, а что касается до Пизона и...

Патрицій. Всякій знаетъ, да они намъ нужны. Что мы сдѣлаемъ безъ Пизоновыхъ сестерцій? А, сверхъ денегъ, его происхожденіе глубоко оцѣнено даже плебеями. Онъ—имя. Да кстати, я было забылъ сказать, не знаю почему, пало подозрѣніе на старика пафлагонца—раба Пизона, знаешь, что игралъ на флейтѣ—будто онъ доноситъ. Пизонъ велѣлъ его отравить и еще двухъ.

Мевій. Что-жъ, онъ узналъ, навѣрное?

Патрицій. Эти вещи доказывать и узнавать мучрено. Онъ предупредилъ... если они не успѣли донести что-нибудь важное, и лишилъ себя трехъ рабовъ безъ пользы, если они уже сдѣлали доносъ. Это обстоятельство заставляетъ еще болѣе торопиться. Мнѣ есть еще дѣла; итакъ, сегодня ночью у Латерина.

Мевій. За мной дѣло не станетъ, моя жизнь принадлежитъ Риму, я буду умѣть принести ее на жертву; а странно на душѣ: вѣра и недовѣріе, страхъ и надежда. Да неужели это не сонъ, что разъ, два сядетъ солнце и въ третій взойдетъ надъ освобожденнымъ Римомъ, и онъ, какъ фениксъ, воскреснетъ въ лучахъ прежней славы, пробудится отъ тяжелаго лихорадочнаго сна, въ которомъ грезилъ чудовищныя событія? И такъ скоро?

Лициній (встаетъ и подходитъ къ нимъ). Сонъ! И я скажу теперь—мечты! Домъ падаетъ, столбы покачнулись, скоро рухнутъ, а вы хотите поддержать его, чѣмъ? руками?—васъ раздавить, а зданіе все-таки упадетъ. Убить Нерона—дѣло возможное, ножомъ легко

перевѣзать нить жизни; но трудно вызвать изъ могилы мертвѣго. Я участвовалъ въ заговорѣ, вы знаете, и пойду сегодня и буду дѣлать, что другіе хотятъ; но вѣра моя остыла. Римъ кончилъ свое бытіе, убійствомъ его воскресить нельзя: явится другой Неронъ. И вотъ уже есть желающій, Пизонъ—этотъ ограниченный человѣкъ, сильный только деньгами и предками, протягиваетъ дерзкую руку. Мнѣ жаль Латерина, жаль васъ, жаль эту голубицу *), назначенную летать по поднебесью въ Элладѣ и залетѣвшую въ горящій домъ. Не то жаль, что вы погибнете, а жаль, что вы втунѣ употребляете вашу вѣру... Что хотите? Воскресить Римъ? Зачѣмъ? Онъ былъ нелѣпъ, римляне были хороши. Не законъ, начертанный на доскахъ, покорилъ ему міръ, а другой законъ, который онъ сосалъ съ молокомъ. Истинный Римъ былъ построенъ не изъ камня, онъ былъ въ груди гражданъ, въ ихъ сердцахъ; а теперь его нѣтъ, остался его остовъ, каменные стѣны, каменные учрежденія. И въ этомъ трупѣ, уже загнившемъ, тлѣетъ какая-то болѣзненная, лихорадочная, упорная искра жизни. Одряхлѣвшій Римъ одинъ ходить не можетъ, а вы, добрые люди, хотите отнять вожака у калѣки, чтобъ онъ упалъ въ первую канаву. Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеевъ, что ли? Да они васъ ненавидятъ. Было время, плебей считалъ патриція за отца. Хорошо воспиталъ отецъ сына: онъ его ограбилъ, замучилъ на тяжелой работѣ, прогналъ изъ дома, раба принялъ на его мѣсто, рѣзалъ мясо его на куски за долги, морилъ въ тюрьмѣ, ругаясь надъ нимъ, спрашивалъ, глядя на закорузлую руку—не четвероногій ли онъ? **). Онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался звѣремъ. Посмотрите вы на кровожаднаго барса, выходящаго иногда погулять на площади, послушайте его ревъ; цезари поняли его характеръ, они ему, голодному, вмѣсто хлѣба, бросаютъ трупы гладиаторовъ и звѣрь, упоенный зрѣлищемъ крови, рукоплещетъ. При первомъ шагѣ онъ васъ растерзаетъ на части, и нечему дивиться. Вы сейчасъ бранили плебеевъ за то, что они ругались надъ сенатомъ, а сенатъ развѣ нѣсколько столѣтій не ру-

*) Эпихарисъ.

**) Острота Сципіона Африканскаго.

гался надъ ними? На плебеевъ обопрется цезарь,—не вы; а вы обопретесь, можетъ, на патриціатъ. Хорошъ и этотъ крокодилъ, не имѣющій зубовъ, снѣдаемый нечистыми страстями, умирающій въ рукахъ рабовъ, египетскихъ поваровъ и нагихъ невольницъ! Въ основѣ своей Римъ носилъ зародышъ гибели. Время казни настало. Онъ богами посвященъ! Ремъ, облитый кровью, всталъ, онъ требуетъ наслѣдія, отчета; онъ не забылъ, что его зарѣзалъ родной братъ изъ корысти. Онъ одичалъ въ преисподней, безумье блещетъ въ его глазахъ, лишенныхъ свѣта нѣсколько вѣковъ, у него въ груди одно чувство—мсть! Онъ, какъ Протей, является въ тысячѣ формъ: онъ Калигула, онъ Клавдій, онъ Неронъ, онъ нѣкогда кололъ булавкой въ языкъ Цицерона и таскалъ его окровавленную голову по площади, онъ былъ Катиллина, онъ выводитъ теперь сенаторовъ на арену и заставляетъ бороться съ подлыми гладиаторами и онъ же чернь, рукоплескающая около арены... Онъ—огонь, прокравшійся всюду и сожигающій со всѣхъ сторонъ ветхое зданіе, воздвигнутое на его разможенномъ черепѣ... Когда-нибудь пожаръ кончится, тогда тишина наляжетъ на эту полосу, будутъ объ Римѣ говорить, какъ о Картегенѣ, о Вавилонѣ. Звѣри поселятся, имъ ловко норы устраивать въ развалинахъ, стаи хищныхъ птицъ прилетятъ доѣдать несъѣденное Хроносомъ. Поторжествуютъ животныя паденіе человѣка; нѣтъ, еще хуже, они будутъ жить, какъ дома, въ берлогахъ своихъ на великомъ римскомъ форумѣ.

Мевій. Остановись, наконецъ, дерзновенный! что за ужасное воображеніе — слѣдъ беззаконныхъ, преступныхъ мечтаній. Римлянинъ не долженъ слушать такую рѣчь, полную отравы. Погибнуть лучше съ вѣрою въ Римъ, нежели дать мѣсто въ груди ядовитымъ пѣснямъ фурій.

Лициній. Мнѣ самому досадно: больше сказалось, нежели я хотѣлъ. Я, видишь ли, долго молчалъ; грудь отъ этого стала полна, ей надобень былъ истокъ, она не могла дольше хранить жгучія истины; мнѣ горько, Мевій, что я дерзкой рукой тронулъ твое сердце гражданина. Но не брани меня, плачь обо мнѣ; потерявши многое, у васъ осталась вѣра въ Римъ, для меня и Римъ пересталъ быть святымъ. А я люблю его, но не могу

не видѣть, что стою у изголовья умирающаго. Если-бъ можно было создать новый Римъ—прочную, обширную храмину изъ незагнившихъ остатковъ! Но кто мощный, великій, который волеетъ новую кровь въ наши жилы, юную и алую, который огнемъ своего генія сплавить въ одну семью патриціатъ и плебеевъ, согрѣетъ ихъ своей любовью, очиститъ своей молитвой и, наполнивъ своимъ духомъ, всѣхъ гордою стопой поведетъ въ грядущіе вѣка? Но и Зевсъ, сойдя на землю, не сдѣлаетъ этого.

Мевіѣ. Другъ, такія слова еще ужаснѣе; бѣшенныя звуки твоей флиппики возбудили гнѣвъ... а эти слова—послушай (съ отчаяніемъ): скажи, что намъ дѣлать, что намъ дѣлать?

Лициній. Наконецъ-то ты увидѣлъ весь ужасъ настоящаго... что дѣлать? Въ этомъ-то вся задача сфинксовъ. Во всѣ времена, отъ троглодитовъ до прошлаго поколѣнія, можно было что-нибудь дѣлать. Теперь дѣлать нечего. Да, нечего, и это худшая кара, которая можетъ пасть на людей, хуже Сизифовой, хуже Танталовой. Бѣдныя, несчастныя! Фатумъ призвалъ насъ быть страдательными свидѣтелями позорной смерти нашего отца и не далъ никакихъ средствъ помочь умирающему, даже отнять уваженіе къ развратному старику. А, между тѣмъ, въ груди бьется сердце, жадное дѣяній и полное любви. Ни Эскилу, ни Софоклу не приходило въ голову такого трагическаго положенія. Можетъ, придутъ другія поколѣнія, будетъ у нихъ вѣра, будетъ надежда, свѣтло имъ будетъ, зацвѣтетъ счастье, можетъ. Но мы—промежуточное кольцо, вышедшее изъ былого, недошедшее до грядущаго. Для насъ темная ночь—ночь, потерявшая послѣдніе лучи заходящаго солнца и не нашедшая алой полосы на востокѣ. Счастливые потомки, вы не поймете нашихъ страданій, не поймете, что нѣтъ тягости работы, нѣтъ злѣйшаго страданія, какъ ничего не дѣлать!—Душно!

(Лициній закрываетъ руками лицо. Мевіѣ, глубоко взволнованный, молчитъ).

Forum Apri.

Кружокъ обдерганныхъ плебеевъ окружаетъ какую-то женщину; ее поставили на возвышеніе.

Голоса. Сама, сама ты видѣла?

Женщина. Братья мои, свидѣтельствуюсь богами— видѣла; святого-то мужа, какъ преступника, вели въ цѣпяхъ, поселяне его провожали. А онъ кротко, спокойно, просто все поучалъ своей вѣрѣ.

Голоса. Чтѣ-жъ онъ говорилъ, чтѣ?

Женщина. Онъ такъ утѣшительно говорилъ, такъ хорошо, не могу всего пересказать. Говорилъ онъ, что пора каяться, что новая жизнь началась, что Богъ послалъ Сына своего спасти міръ, спасти притѣсненныхъ и бѣдныхъ. Мы плакали, слушая его. Потомъ онъ взялъ моего маленькаго, посмотрѣлъ на него ласково и сказалъ: «Ты увидишь уже сильнымъ Царство Христово».

Голоса. Слышите! слышите! говорить, и слѣпые стали видѣть и мертвые воскресаютъ!

1838 г. Владиміръ на Клязьмѣ.

ГЛАВА XXIX.

Реклама.

1834—1840.

О жизни Саши во Владиміръ и по возвращеніи его въ Москву я узнала много подробностей изъ находящихся у меня нѣкоторыхъ записокъ, въ томъ числѣ и изъ записокъ лучшаго друга Наташи Т. А. А—ой. Она была близкой участницей ихъ жизни почти съ самаго пріѣзда Саши во Владиміръ и до ихъ отъѣзда за границу. Изъ-за границы Наташа до своей кончины вела съ ней постоянную переписку. Съ какой любовью этотъ другъ былъ преданъ Наташѣ и какъ понималъ ее, можно видѣть изъ выписокъ, сдѣланныхъ мною изъ ея воспоминаній, замѣчательныхъ чувствомъ правды. Читая ихъ, можно быть иногда несогласнымъ съ взглядомъ автора относительно нѣкоторыхъ лицъ и событій, смотрѣть на нихъ съ другой точки зрѣнія, но нельзя от-

казать въ искренности и стремленіи безпощадно обнаруживать истину.

Лѣтомъ 1834 года родственникъ Т. А.—ны, Николай Ивановичъ А.—въ, въ послѣдствіи ея мужъ, читала я въ запискахъ Т. А. А.—ой, съ которымъ она всегда была очень дружна, сказала ей, что на другой день скачки на Ходынскомъ полѣ встрѣтился онъ съ квартальнымъ надзирателемъ Яворовскимъ (Александръ называлъ его всегда: «Я—воровской»), который сказалъ ему, что у него отъ бессонницы голова трещить. «Это отчего вы не спали?»—спросилъ его Николай:—гдѣ же вы были ночь?»—«На ловлѣ, батюшка,—отвѣчалъ Яворовскій:—сынка Яковлева съарканили.—«Какого Яковлева?» спросилъ Николай, стараясь казаться равнодушнымъ. «Что на Сивцевомъ вражѣ живетъ». У меня позеленѣло въ глазахъ, говорилъ Николай, я поторопился провѣрить сказанное квартальнымъ и пошелъ къ дому, гдѣ живетъ Александръ. Слуга на вопросъ мой: дома ли Александръ, отвѣчалъ: «дома нѣтъ, куда-то вышли». Николай пришелъ вторично и получилъ тотъ же отвѣтъ. Въ послѣдствіи онъ узналъ, что Иванъ Алексѣевичъ запретилъ сказывать правду. Гдѣ же онъ теперь? спросила жена Николая. Тамъ же, гдѣ и другіе—въ частномъ домѣ. Что же съ ними будетъ? Будутъ судить. Она заплакала, хотя и не знала никого изъ нихъ лично. Николай отвернулся и, кажется, заплакалъ самъ. Горе ея было искренно. Николай навѣщалъ ихъ, отъ него она знала все, что съ ними происходило.

Однажды Николай принесъ стихи Сатина, написанные имъ къ сестрѣ своей, вотъ они:

ANASTASIE.

Изъ тѣсной кельи заключенъ
Зачѣмъ ты требуешь стиховъ?
Тамъ тухнуть искры вдохновенія,
Гдѣ нѣтъ поэзіи прѣтовъ!
А здѣсь ихъ нѣтъ: больныхъ стѣнанье
Оружя стукъ, да шумъ солдатъ
Души высокой наліянья
Хоть въ комъ внезапно прекратятъ.
Но, можетъ-быть, мечта святая
И здѣсь зажжетъ восторга пылъ,
И а, какъ фениксъ, воскресая,

Еще исполнюсь новыхъ силъ!
Быть-можетъ... сладко упованье,
Но нѣтъ, боюсь встревожить я
На мигъ замокнушее призванье
Къ иному міру бытія..
Боюсь души здѣсь пробужденія,—
Какъ знать—могучее вспорхнетъ,
А гдѣ предѣлъ ея стремленія,
Какъ укротить ея полетъ!
Такъ замолчи, мечта святая,
Въ груди огня не раздувай,
Дай срокъ расти и, созрѣвая,
Пока души не обнажай.
А ты, сестра, возьми терпѣнья
И не ищи восторга слѣдъ
Въ моемъ отрывкѣ вдохновенія:
Я узникъ здѣсь, а не поэтъ!

1885 года
1-е января.

Н. Сатинъ.

Николай Ивановичъ А—въ, кандидатъ математическаго отдѣленія, давалъ уроки математики Сатину и у него познакомился съ Александромъ. Молодые люди того времени сближались скорѣе и тѣснѣе, чѣмъ нынѣшніе. У нихъ былъ общій интересъ научный и одинъ нравственный.

По отъѣздѣ изъ Москвы товарищей, Николай дома ходилъ точно въ воду опущенный, потомъ развлекся приготовленіемъ къ защитѣ диссертациі на магистра. Получивши званіе магистра, женился. Далѣе заботы домашнія, непріятности такъ поглотили ихъ, что они едва вспоминали объ удаленныхъ и уже спустя довольно долгое время узнали, что Александръ переведенъ во Владиміръ, а о Никѣ и Сатинѣ хотятъ просить. Однажды, весной 1888 года мужъ,—пишетъ Т. А—на,—сказалъ мнѣ, что Александръ собирается жениться на воспитанницѣ княгини Хованской—Натальѣ, о которой я не имѣла и понятія, а 18 апрѣля ночью кто-то постучался къ намъ въ ворота, — дождь лилъ страшный, въ домѣ всѣ уже спали. Братъ моего мужа, спавшій въ мезонинѣ, открылъ окно и спросилъ: кто стучится? ему отвѣчали: поручикъ Богдановъ. Николай, услыхавши это, вскочилъ съ постели, наскоро одѣлся, говоря мнѣ: «это прѣхалъ Александръ, одѣнься и приходи къ намъ въ кабинетъ». Я слышала отъ Николая, что это личность чрезвычайно замѣчательная и интересовалась его видѣть.

Когда Николай представил насъ другъ другу, Александръ какъ-то такъ просто, дружески подавъ мнѣ руку, что съ перваго взгляда привлекъ къ себѣ.

— Я очень радъ,—сказалъ онъ, пожавши мнѣ руку:—счастью Николая и пріѣхалъ сюда просить васъ помочъ мнѣ быть такъ же счастливымъ.

Онъ говорилъ живо, иногда съ чувствомъ, иногда съ юморомъ и все, что ни говорилъ, было чрезвычайно увлекательно. Между прочимъ, онъ сказалъ, что пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы во что ни стало увезти Наташу, такъ какъ онъ слышалъ, что лѣтомъ ее хотятъ везти въ деревню и тамъ выдать замужъ, слѣдовательно, время дорого и откладывать нельзя.

— Скажи, пожалуйста, — спросилъ его Николай: — какъ же это ты уѣхалъ изъ Владиміра и прибылъ сюда?

— Курута *) — добрыйшій человекъ и жена его знаютъ о моемъ намѣреніи жениться и готовы помогать мнѣ. А такъ какъ я имѣю право быть возлѣ столицы, только не въѣзжать въ нее, то и попросилъ себѣ отпускъ на Воробьевы горы. Курута догадался въ чемъ дѣло, улыбнулся, далъ отпускъ и посоветовалъ осторожность. Я взялъ видъ поручика Богданова и въѣхалъ съ нимъ въ заставу.

Я ушла спать уже поздно, а Николай съ Александромъ проговорили въ кабинетѣ чуть не всю ночь. Рано утромъ они поѣхали къ Н. И. Сазонову, а отъ него къ Н. Х. Кетчеру и вмѣстѣ съ Кетчеромъ возвратились къ намъ.

— Не смѣшно ли вамъ покажется, — сказалъ Александръ, обращаясь ко мнѣ:—что я, видя васъ въ первый разъ, хочу просить васъ пожертвовать для моего счастья, конечно, не жизнью, чего не позволилъ бы вамъ вашъ мужъ, а вашимъ спокойствіемъ. Возьметесь ли вы съѣздить съ порученіемъ къ Наташѣ?

Николай объяснилъ мнѣ, что я должна была ѣхать къ княгинѣ, съ ливрейнымъ лакеемъ (это для шика, говорилъ Кетчеръ), спросить прислугу, уже предупрежденную, о Наташѣ и тогда меня проведутъ прямо къ ней. Наташѣ я должна была сказать, что я близко знакомая ея брата, Алексѣя Александровича Яковлева, который,

*) Губернаторъ владимірскій.

узнавши, что я ѣду въ Петербургъ, поручилъ мнѣ привезти ее къ нему. Въ случаѣ же, что княгиня не согласится отпустить Наташу со мной на слово, передать ей письмо отъ Алексѣя Александровича, которое мнѣ и вручили. Они рассчитывали, что княгиня, прочитавши это письмо, смѣло и даже дерзко написанное, рассердится и выгонитъ Наташу вонъ, а этого только и желали.

Выслушавши инструкцію, я отправилась, а они остались ждать результата своей выдумки.

Мало бывая въ обществѣ, я ѣхала со страхомъ и въ продолженіе пути обдумывала, какъ я явлюсь къ княгинѣ и что буду говорить.

Только-что я вышла изъ экипажа, какъ слуга торопливо повелъ меня дворомъ на заднее крыльцо, прямо въ дѣвичью; тамъ встрѣтила меня молоденькая дѣвушка и проводила наверхъ къ Наташѣ. Наверху на меня бросилась съ страшнымъ лаемъ собаченка, и изъ-за двери выглянула старуха въ огромномъ чепцѣ. Наташа, увидавши меня, бросилась мнѣ на шею, сказавши «избавительница», и залилась слезами. Я заглядѣлась на ея милое личико, на ея глубокіе глаза и полюбила ее, полюбила навсегда. Ее нельзя было назвать красавицей, въ строгомъ смыслѣ этого слова, но она была до того симпатична, что всѣ увлекались ею. Красота ея заключалась въ выраженіи прекрасныхъ синихъ глазъ и всѣхъ чертъ ея лица.

Я рассказала Наташѣ, зачѣмъ меня прислалъ къ ней Александръ, отдала ей письмо, объяснила его значеніе. Наташа удивилась и сказала:

— Какой Александръ чужахъ! да развѣ можно, чтобы княгиня согласилась отпустить меня съ незнакомою дамой, письмо же можетъ только повредить мнѣ.

— Что дѣлать?—спросила я ее.

Наташа не успѣла еще отвѣтить, какъ вбѣжала дѣвушка и торопливо проговорила:

— Наталья Александровна, пожалуйста поскорѣй къ княгинѣ.

— Что-то будетъ!—сказала Наташа:—можетъ, вамъ придется явиться къ княгинѣ, какъ же быть? я боюсь за васъ.

— Не бойтесь, идите, я готова на все,—отвѣчала я.

Когда дверь за Наташей затворилась и я осталась одна въ ея комнатѣ, невольный страхъ охватилъ меня: ну, если Наташу запрутъ внизу, а меня оставить тутъ безъ отвѣта, что тогда дѣлать? Минуты казались мнѣ часами. Въ комнату вошла какая-то старушка съ желтыми лентами на чепцѣ, посмотрѣла на меня, взяла полотенце и вышла. Походивши по комнатѣ, я отворила дверь, собаченка опять съ лаемъ бросилась на меня. На лай вбѣжала дѣвушка.

— Гдѣ Наталья Александровна?—спросила я.

— У княгини,—отвѣчала она и ушла.

Наконецъ, меня пригласили къ ея сіятельству. Сердце у меня сильно дрогнуло. Вхожу въ кабинетъ. Княгиня сидитъ на большомъ креслѣ у окна, передъ столикомъ, въ чепцѣ съ лиловыми лентами. Подлѣ нея стоитъ Наташа блѣдная, какъ полотно. Я поклонилась. Княгиня кивнула мнѣ головой и строгимъ голосомъ спросила:

— Вы отъ кого?

Неприглашенная сѣсть, я оглянулась, гдѣ бы усѣсться; но въ комнатѣ не оказалось никакой мебели (послѣ я узнала, что мебель нарочно велѣли вынести), и я осталась передъ княгиней стоя. Это окончательно раздражило меня, и я полунасмѣшливо, полугрубо отвѣчала ей:

— Я отъ брата Натальи Александровны; Алексѣй Александровичъ просилъ меня привезти ее къ нему въ Петербургъ.

— Какъ же онъ смѣлъ прислать за нею, не спросясь меня? еще позволю ли я?—и съ какой стати вы изволили ко мнѣ пріѣхать?

— Я и не думала пріѣзжать къ вамъ,—отвѣчала я:—и если бы мнѣ не сказали, что Наталья Александровна у васъ, то я не пришла бы теперь къ вамъ.

— Это я знаю! И знаю,—едва владѣя собой, возразила княгиня:—что все это штуки того негодяя, ссыльнаго (и еще какъ-то обозвала его), но этого не будетъ, я не отпущу ее!

— Я васъ и не спрашиваю,—сказала я:—Наталья Александровна въ такомъ возрастѣ, что можетъ сама рѣшить этотъ вопросъ, а до васъ мнѣ нѣтъ никакого дѣла.

И, обратясь къ Наташѣ, сказала:

— Что же—ѣдете вы къ брату?

Наташѣ было не до отвѣта, она дрожала и лицо ея приняло такое страдальческое выраженіе, что я испугалась, взяла ее за руку и, не глядя на княгиню, вышла съ ней въ залу, гдѣ едва успѣла спросить ее: «какъ же?» а она отвѣтила: «такъ нельзя, будетъ хуже»,—какъ раздался грозный голосъ: «Наташа!»—и она убѣжала.

Возвратясь домой, я съ жаромъ разсказала все, какъ было и разбранила всѣхъ, зачѣмъ они все это затѣяли и только надѣлали еще больше горя Наташѣ. Они согласились со мной. Но, несмотря ни на что, Александръ былъ въ восторгѣ и находилъ, что я вела себя отлично.

— Одно досадно, — прибавилъ онъ: — зачѣмъ вы не увезли Наташу—такъ-таки и увезли бы.

— Я дивлюсь,—сказалъ Кетчеръ:—не тому, что вы не увезли ее, а какъ не догадалась княгиня велѣть лакеямъ вытолкать васъ за дерзости вонъ. А если бы Наталья Александровна уѣхала, тогда, навѣрно, явились бы здѣсь жандармы, и тогда—увы!

Александръ расхохотался. Затѣмъ началось совѣщаніе, чтѣ дѣлать. Не долго думая, рѣшили Наташу увезти. Александру сейчасъ ѣхать во Владиміръ, просить у Куруты позволенія жениться, найти священника, который взялся бы ихъ обвинять и, устроивши все, пріѣзжать за Наташей.

Александръ уѣхалъ. Вскорѣ они получили отъ него письмо съ жалобой, что священникъ берется его обвинять только съ дозволенія начальства; а невѣста, хотя и совершеннолѣтняя, должна представить метрическое свидѣтельство, а гдѣ его взять? оно должно находиться у княгини.

Одинъ изъ знакомыхъ надоумилъ, чтобы Наташа подала просьбу въ консисторію о выдачѣ ей новаго свидѣтельства, объявивши, что старое она неизвѣстно куда потеряла. На это надобны были деньги, надобны были деньги и на то, чтобы сдѣлать Наташѣ бѣлье и платье и все это какъ можно скорѣе, пока княгиня не уѣхала въ деревню. Просить у Ивана Алексѣевича было невозможно, онъ также былъ противъ этого брака. Передъ поѣздкой Т—ны А—ны къ княгинѣ, Кетчеръ пробовалъ склонить Ивана Алексѣевича на бракъ Александра, пред-

ставляя ему, что Александръ отъ огорченія можетъ заболѣть и умереть. Иванъ Алексѣевичъ такъ колюю шутить надъ любовью Александра и Кетчеромъ, что тотъ ушелъ отъ него взбѣшенный и въ послѣдствіи прятался отъ старика.

Всѣ они были люди безденежные и жили однимъ жалованьемъ. Одинъ Сазоновъ имѣлъ довольно большія средства, къ нему и обратились съ просьбой о деньгахъ. Онъ охотно согласился и выдалъ 400 рублей.

Деньги эти передали Эмилии, бывшей гувернанткѣ или, скорѣе, подругѣ Наташи. Черезъ Эмилию велась вся переписка, черезъ нее же подана была просьба о метрикѣ. Два раза просьба съ подписью Наташи была неудачна; въ третій разъ за Наташу подписалась Т—на А—на и дѣло закинуло. 400 руб. оказалось далеко недостаточно; Сазоновъ обѣщалъ дать больше, но не давалъ еще. Деньги были необходимы на многое, между прочимъ, на подарки и угощенія. Наташа томилась подъ непріятностями. Александръ приходилъ въ отчаяніе и писалъ письмо за письмомъ, укоряя друзей въ медлительности; онъ и знать не хотѣлъ, кто въ этомъ виновать.

Два раза назначили Наташѣ быть готовой, уйти изъ дома и пріѣхать прежде всего къ А—мъ, и опять откладывали. Ожиданія до того измучили ее, что она писала Т—нѣ А—нѣ: «Ради Бога, Т. А., скажите, чтѣ у васъ дѣлается. Эмилия третій день нѣтъ дома, я ничего не знаю. Сегодня было назначено навѣрное уѣхать. Я буду ждать вашего отвѣта, какъ смертнаго приговора. Наташа».

Наконецъ, Николаю удалось залучить къ себѣ Сазонова; онъ разсказалъ ему, что за нимъ дѣло стоитъ и можетъ не хорошо кончиться. На слѣдующій день Сазоновъ прислалъ деньги; по сдѣланному расчету, оказался недостатокъ еще въ 150 рубляхъ. Николай добавилъ ихъ изъ своего жалованья, взявши его впередъ. Къ 7-му мая все было готово, ждали Александра въ Москву.

Княгиня, будучи въ неудовольствіи на Наташу, запретила ей сходить съ антресолей; это затрудняло побѣгъ. По счастью, сенаторъ, братъ княгини, Левъ Алексѣевичъ, уговорилъ ее простить Наташу и позволить

ей идти вниз. Катерина отговорила. Если Александре что-нибудь случится, Катерину из незнакомых кинутых родственников и знакомых ей знакомых запросто могут выгнать и погнать.

Когда же была вечер, удалось узнать Катерину в домик. Девушка была в своем обличии. Катерина еще была в том же платье, в котором пришла к ней с своей конюшней. Марья Степановна велела приготовить и Наталью. На другой день утром Марья Степановна сообщила Катерине, что у Натальи сильная головная боль и она не может идти к обеду. Как только она ушла, Катерина вышла из дому и села в заутреннюю одежду, бегом пошла к дому; ей было сообщено, что Катерина пришла к ней в комнату и остановится у нее, а Катерина придет по противоположному тротуару и пойдет ей навстречу.

Между тем у нас в доме, — говорит Т-на А. из, обиделись Александр, Эмилия, Кетчер. Было много чужих у нас. Николай торопил Кетчера и они ушли. Мы остались втроем. Вдруг Николай возвратился и сказал нам: дай твою турецкую шаль, а то ведь она вылезет безъ ничего, — я подала ему шаль.

Мы же были страшно взволнованы. Александр хотел что-то сказать, но ему не удалось, я думаю, из-за развѣ въ жизни. Эмилия, сентиментальная нѣмка, плакала и хныкала. Это намъ надобно и мы вышли въ залу. Вдругъ раздался крикъ Эмили:

Ахъ! — кричала она: — я чувствую, чувствую — ее унесли... ахъ! ахъ! мнѣ дурно!

Мы брѣхались къ ней, схватили стаканъ воды, одеколонъ, гофманскія капли — ничего не помогало. Александръ вышелъ изъ тергѣнія и сказалъ:

Да развѣ вамъ хотѣлось, чтобы помѣшали Натальѣ уѣхать и мы были бы несчастны?

Нѣтъ, ахъ, нѣтъ, — говорила Эмилия: — но мнѣ отравно.

Мы съ Александромъ взглянули другъ на друга и поняли, что вѣдь и намъ страшно.

Наконецъ, явился Николай, объявилъ, что все окончено благополучно. Наташа уѣхала съ Н. Х. Кетчеромъ и находится въ Перовомъ трактирѣ, гдѣ ожи-

даютъ Александра. Александръ немедленно туда отправился.

Николай наскоро разсказалъ намъ, что они до дома княгини перемѣнили двухъ извозчиковъ (пролетовъ тогда не было, а были маленькія дрожки); по условію, Кетчеръ проѣхалъ мимо дома и остановился у воротъ, а Николай, проходя противоположнымъ тротуаромъ, замѣтилъ въ угловомъ окнѣ старушку, безучастно смотрѣвшую на улицу. (Наташа сказала намъ послѣ, что это была тетка М. Н. Каткова, Вѣра Акимовна, очень добрая старушка, часто гостившая у княгини). Николай нѣсколько испугался, но пошелъ дальше, въ крайнемъ углу къ воротамъ сидѣла она. Николай махнулъ ей платкомъ и видѣлъ, какъ она вскочила и побѣжала. Онъ перешелъ къ Кетчеру, накинулъ на нее мою паль, усадилъ на дрожки, пожалъ ей руку и тихо пошелъ обратнымъ путемъ. Старушка попрежнему спокойно сидѣла подѣ окномъ и смотрѣла на улицу.

Александръ поѣхалъ въ одномъ сюртукѣ, на простомъ извозчикѣ, какъ бы для прогулки за заставу. Слѣдомъ за нимъ надобно было отправить его камердинера Матвѣя съ вещами; ихъ набралось цѣлый возъ, послали Матвѣя за извозчикомъ, громоздкія вещи оставались у насъ. Мы не поѣхали провожать Александра, думая, что, можетъ, сдѣлаютъ у насъ обыскъ, то быть бы на лицо къ отвѣту. Только-что вещи были уложены на возъ, какъ пришелъ Голубевъ. Николай наскоро сдалъ Голубеву вещи и просилъ его отправиться вмѣстѣ съ нимъ и Матвѣемъ къ Александру, а на заставѣ сказать, что онъ перѣзжаетъ на дачу. Такимъ образомъ, и Голубеву (впослѣдствіи женатому на дочери А. Л. Витберга) пришлось проводить нашихъ милыхъ бѣглецовъ.

Александръ и Наташа пріѣхали во Владиміръ около вечера. Александръ завезъ Наташу въ домъ къ одному чиновнику, гдѣ она должна была переодѣться въ вѣнчальное платье, потомъ отправились въ церковь вѣнчаться.

Вскорѣ мы всѣ получили отъ Александра письма, проникнутыя блаженствомъ и благодарностью. Вслѣдъ затѣмъ я получила письмо отъ Наташи, въ которомъ она просила меня прислать ей какое-нибудь платье, при-

личное для выезда. Эмилия, сдѣлавши ей бѣлье, домашнія платья и вѣнчальное, для выезда не сдѣлала никакого. Денегъ у нихъ больше не было и сдѣлать еще платью не на что. Я послала Наташѣ мой шелковый голубой каготъ съ вышитой тюлевой юбкой и шелковое нарядное платье. Въ этихъ платьяхъ она и посѣщала владимірскихъ знакомыхъ. Только къ концу лѣта они сбились деньгами, да заняли у Егора Ивановича Герцена и поручили намъ купить разныхъ мелочей для туалета Наташи; но по молодости позабыли запастись шубой на приближавшіеся холода. Когда пришла зима, я послала Наташѣ мою вторую шубу.

Александръ сообщилъ отцу о своей женитьбѣ; между прочимъ, писалъ, что Богъ соединилъ его съ Наташей, на что Иванъ Алексѣевичъ отвѣчалъ ему: «Я волѣ Божіей не перечу, но такъ какъ ты не нашелъ нужнымъ сообразоваться съ моею волей, а деньги мои, то къ выдаваемому мною тебѣ жалованью ничего не прибавлю».

Отношенія ихъ все больше и больше расширялись. Наташа, слыша, что здоровье Николая разстраивается писала Т—нѣ А—нѣ самыя сочувственныя письма; они облегчали ея горе.

1839 года 18-го апрѣля они получили изъ Владиміра слѣдующее письмо:

«Т. А., вы понимаете ли, что это значить 18-е апрѣля; вѣдь это день нашей встрѣчи, день, въ который въ мои святцы вписаны два новыхъ угодника:

Рабъ божій Николай } Иже за освобожденіе мученицы На-
Рабъ божья Т—на } талии въ Цареградѣ пострадавшихъ.

18-го апрѣля передъ обѣдомъ явился я къ вамъ печальный, смущенный, во фракѣ Сазонова. Вотъ мы поѣхали къ княгинѣ, а я жду... Кажется, вы года полтора ѣздили, а воротились все-таки 18-го апрѣля.

18-го апрѣля я, грустный еще больше, безъ положительныхъ надеждъ и безъ фрака Сазонова, поѣхалъ... динь, динь...

Вспомнили ли вы? А мы вспомнили!

Да и каковы бы мы были, если бы не вспомнили. Еще разъ благодарю васъ дружески, братски и до тѣхъ поръ мнѣ не надоѣстъ благодарить, покуда Богу не надоѣстъ повторять 18-е апрѣля; а это, спросите у Ни-

колая, такъ тѣсно связано съ путемъ солнца (которое не двигается ни съ мѣста), благосостояніемъ земного шара и разной планиды небесной, что никакой надежды нѣтъ къ прекращенію 18-го апрѣля.

Какъ я взгляну назадъ и припомню все, что было между этой парой 18-хъ апрѣля, то ей-Богу готовъ броситься на колѣни и молиться, и молиться со слезами восторга: все было несбыточно,—все сбылось, все было черно,—все сдѣлалось свѣтло и дивно свѣтло, и я сжился со свѣтомъ. Право, въ этотъ годъ мой путь я не промѣняю на путь Сатурна, несмотря на то, что онъ, какъ паяцъ въ конной комедіи, летить съ обручемъ ежегодно верстъ 10000000000000 (добро бы куда-нибудь, а то, такъ себѣ, просто летить). Ну, и ты, рабъ Божій Николай, дай руку; да, братъ, дай право еще разъ сказать тебѣ спасибо и не сердись, вѣдь слово это истаскано: черезъ чьи губы оно не цѣдилось, по чьему языку не сползало въ воздухъ, да я смыслъ ему придаю поважнѣе. И у меня оно вовсе теперь не съ языка ползетъ (ибо я всегда пишу, закрывши ротъ, чтобъ какъ-нибудь муха не залетѣла), а течетъ съ пера прямымъ трактомъ изъ сердца, не даромъ я Г-нъ.

PS. Соприкосновенному къ 18-му апрѣлю К. поклонъ. Скажите ему, что Голубевъ былъ, благодарю его очень за книги. Только онъ велитъ скоро ихъ прислать. Ну, пусть самъ разсудитъ, ежели литература вздоръ—можно пробѣжать быстро, но 6 томовъ (нѣмецкой работы) Раумеровой исторіи не берусь отчитать ближе мѣсяца. Пожалуйста, скажи ему и особенно благодари его за Раумера. К. должно не придется къ тебѣ, тѣмъ лучше,—это выиграетъ срокъ на чтеніе. Не собирается ли онъ ко мнѣ?

Между владимірскими новостями тебя всего болѣе тронетъ вѣсть о кончинѣ кн. Одоевскаго, особенно когда ты узнаешь, что онъ лѣтъ семьдесятъ какъ родился и, слѣдовательно, получилъ понятіе, зачѣмъ онъ существовалъ. *Memento mori.* Александръ».

«Вотъ скоро и часть тотъ придетъ, когда вы вошли въ темницу страдальцы; меня тогда жизненные силы оставляли, я, кажется, лежала со стукомъ въ груди, который не многіе испытали, навѣрное, да и не дай Богъ! Помните, какъ я бросилась вамъ на шею, крѣпко дер-

жала за руку, какъ мнѣ страшно было послѣ оставить васъ,—и этому уже годъ!

«Довольно, довольно словъ, чувство такъ громко и ясно говорить, что вѣрно слышите ихъ безъ помощи бумаги, несмотря на разстояніе. Наташа».

Пока Александръ и Наташа жили во Владимірѣ, они часто переписывались съ друзьями. Изъ ихъ писемъ было видно, что счастье ихъ невозмутимо, жизнь полна взаимнаго уваженія и любви. Александръ много учился, читалъ безъ конца и самъ писалъ, и все, что онъ дѣлалъ, дѣлалъ съ энергіей, съ увлеченіемъ, съ страстностью. Онъ часто дѣлился съ Николаемъ научными интересами, письма его были имъ наслажденіемъ, Николаю—отдыхомъ отъ учительской каеедры и перевода ученыхъ статей въ журналъ профессора Павлова къ сроку. Я помогала мужу въ этомъ трудѣ, — говоритъ Т. А. — Однажды Николай на упрекъ Павлова, что онъ долго не приноситъ статью съ таблицами, сказалъ: невозможно скорѣе, жена моя и такъ сидитъ съ утра до ночи за этими таблицами. Павловъ перепугался и отвѣчалъ: помилуйте, она можетъ все испортить, перепутать; но дня черезъ два, получивши статью и провѣривши таблицы, удивился ихъ вѣрности и пріѣхалъ къ намъ лично поблагодарить меня. Александръ, узнавши это, говорилъ: «Повѣрьте, Павловъ сдѣлалъ это не изъ вѣжливости, а изъ любопытства: ему, вѣрно, представилось, что у васъ двѣ головы и двѣ пары рукъ. По его понятію о женщинѣ, онъ не могъ повѣрить, чтобы женщина, да еще жена учителя, сумѣла написать таблицы. Онъ не догадался, что природа снабдила васъ математической смѣлкой, иначе вы не вышли бы замужъ за математика. Вонъ посмотрите на Наташу, она вышла за меня, челоная,—ей и горя мало, что я математики ни въ зубъ».

Александръ не могъ вести даже серьезнаго разговора, чтобы не сострить.

Изъ писемъ Александра было видно, что они жили всѣмъ существомъ своимъ. Даровитая натура его ни на минуту не могла оставаться въ бездѣйствіи. Наташа ни на шагъ не отставала отъ него, училась у него иностраннымъ языкамъ, наукамъ. Хозяйство у нихъ было маленькое, короткое, главное вниманіе было обращено

на опрятность и изящество въ пищѣ и одеждѣ. Предоставленные почти исключительно себѣ самимъ, имъ удобно было вмѣстѣ заниматься. Читая и разсуждая о прочитанномъ, они многому научились. Съ своей стороны, деликатность и мягкость характера Наташи вліяли на Александра благотворно, помогая ему выйти изъ студенческой дикости. Это дѣлалось безъ упрековъ, безъ поученій—безсознательно. Среди научнаго міра и личнаго счастья, они не очерствѣли въ эгоизмъ; небольшое число знакомыхъ любили ихъ и едва узнавали Александра. Онъ, пожалуй, былъ тотъ же живой, пылкій, страстный, но все это явилось смягченнымъ, опоэтизированнымъ. Его прежнее я уже не бросалось ярко въ глаза, а какъ бы слилось съ другимъ, ему дорогимъ я и сдѣлалось мягче, уступчивѣе. Его уже не тянуло кутить съ друзьями. Скромная, любящая, благоразумная Наташа не сочувствовала кутежамъ, не осуждая ихъ рѣзко, не оскорбляя замѣчаніями. Только въ общихъ разговорахъ высказывала, что не понимаетъ, какъ можно тратить время и силы на чувственныя удовольствія.

Когда они узнали, что у нихъ будетъ ребенокъ, восторгамъ ихъ не было конца. Не оставляя прежнихъ занятій, Наташа стала читать книги о воспитаніи дѣтей; когда же родился ихъ первый сынъ, Саша, то всѣ заботы ея сосредоточились на ребенкѣ. Жизнь стала еще полнѣе. Александръ, желая помочь Наташѣ въ ухаживаньи за ребенкомъ, не умѣлъ взяться за это: брался ли отыскать одѣяльце—приносилъ тряпку, хотѣлъ ли подать молока—обливалъ имъ себя. Иногда Наташа, смотря на его неловкость, смѣялась до слезъ, а онъ терялся, конфузился и даже сердился.

Иванъ Алексѣвичъ, узнавши, что у Александра родился ребенокъ, не желая показатъ ему своего снисхожденія, сталъ высылатъ деньги для маленькаго Шушки, приказывая, чтобы ребенокъ ни въ чемъ не нуждался, писалъ наставленія, какъ ухаживать за малюткой, беречь, не простудить. Доходъ ихъ увеличился настолько, что они могли уплатить сдѣланные ими долги и возвратить взятые вещи.

Наконецъ, повѣяло вѣстями, что скоро всѣ съѣдутся въ Москву. Сатинъ писалъ изъ Симбирска, что о немъ хлопочетъ сестра, но онъ боится еще надѣяться. Жена

Ника, женившася въ Тамбовѣ *), Марья Львовна, ѣздила въ Петербургъ просить за мужа и заранѣе извѣстила друзей его, что ѣдетъ и хочетъ со всѣми познакомиться. Въ тотъ день, въ который она должна была пріѣхать, всѣ поѣхали встрѣчать ее, въ томъ числѣ и Николай. Поздно вечеромъ онъ возвратился домой въ какомъ-то угарѣ,—говорить Т—на А—на, и рассказывать, что Марья Львовна верхъ совершенства, умна, мила, проста до того, что всѣ они въ одну минуту стали съ ней на дружескую ногу. Что она общала побывать у всѣхъ друзей Ника, холостые они или женатые—ей все равно; общала пріѣхать къ намъ и насказала Николаю пропасть любезностей. «Когда она пріѣдетъ къ намъ,—добавилъ Николай къ своимъ рассказамъ,—ты, пожалуйста, будь съ нею полюбезнѣе и поразвязнѣе, вѣдь надобно же чѣмъ-нибудь замѣнить незнаніе французскаго языка!» — Я промолчала, но подумала: такъ вотъ откуда повѣяло несчастьемъ! не видя ничего, Николай, кажется, начинаетъ стыдиться меня... Молодость, конечно.

Пріѣхалъ Н. Х. Кетчеръ и еще кто-то, и тѣ также сходили съ ума отъ Марьи Львовны, такъ что заинтересовали этой личностью и меня, я стала ее ждать съ нетерпѣніемъ. Наконецъ, она извѣстила моего мужа, что въ такой-то день пріѣдетъ къ намъ вечеромъ. Николай очень хлопоталъ, чтобы я не забыла чего эффектнаго въ сервировкѣ чая.

Марья Львовна явилась пышная, блестящая. Костю мировка ея была проста, изящна и цѣнна. Она пожала Николаю руку и, не дожидаясь рекомендаціи, обѣими руками сжала мнѣ руку и всѣхъ насъ осыпала комплиментами, мѣшая русскую рѣчь съ французскими фразами. Я слушала, молчала, не знала чтѣ сказать и рада была, когда возвѣстили, что въ залѣ готовъ самоваръ. Я встала. «Вы сами разливаете чай,—сказала восторженно Марья Львовна,—какъ это мило, вы, вѣрно, отличная хозяйка,—да?» Николай смотрѣлъ мрачно и кусалъ губы—я поскорѣе ушла. На мое счастье, пришли два товарища Николая. Поздоровавшись съ нимъ и погля

*) Марья Львовна Рославлева, племянница тамбовскаго губернатора Панчулидзева. Я ее совсѣмъ не знала. Т. Пассекъ.

дѣвши на Марью Львовну, они вышли ко мнѣ. Одинъ изъ нихъ сказалъ: «Это не нашего поля ягода, на что она вамъ?»

Марья Львовна попросила себѣ чаю въ гостиную, сказавши, что она имѣетъ надобность о чемъ-то переговорить съ Николаемъ.

Все это мнѣ не нравилось и вертѣлось въ головѣ: что-то изъ всего этого выйдетъ, когда Никъ съ женой переѣдутъ въ Москву. Чтобы не входить въ гостиную, я нарочно дольше обыкновеннаго сидѣла за чаемъ. Когда мужъ объявилъ мнѣ, что Марья Львовна уѣзжаетъ, я не пошевелилась; она выбѣжала изъ гостиной, протянула мнѣ руку, говоря, какъ она рада, какъ счастлива, что познакомилась со мною, что, переѣхавши совсѣмъ въ Москву, надѣется приобрѣсти мою дружбу. Я, молча, холодно пожала ей руку и сѣла на свое мѣсто. Она уѣхала. Николай, проводивши ее, вернулся недовольный мною и высказалъ это.

Одинъ изъ товарищей замѣтилъ Николаю, что и безъ ея комплиментовъ намъ извѣстно, что мы люди хорошіе, а на замѣчаніе Николая, что эта женщина замѣчательно умная и развитая, сказалъ: «Ты, братъ, вижу, мелко плаваешь и вовсе не умѣешь различать въ женщинѣ умъ отъ свѣтскаго лоска».

Долго еще говорили на эту тему. Я молчала. Николай обидѣлъ меня, это было въ первый разъ. Мало-помалу все смягчилось и стало забываться, какъ вдругъ получили письма отъ Александра и Наташи, въ которыхъ они съ восторгомъ описывали свою встрѣчу съ Никомъ и его женой. «Мы, какъ дѣти, всѣ четверо плакали навзрыдъ. Когда они вошли—сами не знаемъ, какъ очутились въ объятіяхъ другъ друга».

«Я полюбила сразу мою сестру Marie, это ангелъ,— писала Наташа:—и еще больше полюбила за то, что она сумѣла оцѣнить тебя: сколько въ ней ума, скромности, граціи, говорила она, я любовалась ими обоими—это ея слова».

Александръ, между тѣмъ, писалъ:

«Друзья, мы безконечно счастливы! Насъ четверо—и что это за женщина Марья Львовна, она выше всякой похвалы. Никъ счастливъ, что нашелъ такую подругу.

«У меня сохранилось распятіе, которое далъ мнѣ

Никъ при разлукѣ. И вотъ, мы вчетверомъ бросились на колѣни передъ Божественнымъ Страдальцемъ, молились, благодарили Его за то счастье, которое Онъ ниспослалъ намъ послѣ столькихъ лѣтъ страданій и разлуки. Мы цѣловали Его пригвожденные ноги, цѣловались сами, говоря: «Христосъ воскресъ!»

Читая эти письма, Николай замѣтилъ мнѣ: «Видишь, какая это женщина, а ты не сумѣла сойтись съ нею».—«И не сойдусь, теперь больше, чѣмъ когда-нибудь».—«Это отъ чего?»—«Я думала, она только свѣтская женщина, а теперь вижу, что она лицемерна. За чѣмъ она наговорила Наташѣ столько неправды обо мнѣ,—и когда же?—въ святые, чудные минуты перваго свиданія друзей; вѣдь мужъ ея, Александръ и Наташа, конечно, отъ чистаго сердца радовались, молились, плакали, а она?—нѣтъ, это нехорошо».—«Ты предубѣждена»,—сказалъ Николай:—«когда они пріѣдутъ въ Москву, надѣюсь, вы сойдетесь».

Я промолчала.

Отъ Марьи Львовны всѣ теряли голову, всѣ чуть не молились на нее. Разочарованіе было горькое.

Мало-по-малу разрозненные друзья стали собираться. Первый пріѣхалъ Никъ съ женой—прямо на дачу въ паркъ. Поздно осенью—Александръ съ Наташей и поселились въ маленькомъ домѣ Тучковскомъ, который Иванъ Алексѣевичъ, кажется, для нихъ купилъ и отдалъ. Я бывала у Наташи безпрестанно,—говорить Т—на А—на,—мужъ мой приходилъ къ нимъ, какъ только имѣлъ свободное время. Такъ хорошо было у нихъ, что мало-по-малу весь товарищескій кругъ сталъ поздно вечеромъ собираться въ ихъ домѣ, такъ какъ до девяти часовъ Александръ долженъ былъ оставаться у отца. Онъ говаривалъ: «вотъ жизни! и вечеръ придетъ, когда вечеръ пройдетъ! Принимать друзей, безъ которыхъ онъ не могъ жить, чуть не украдкой, урывками было для него пыткой. Повидимому, старикъ не любилъ и ни во что не ставилъ товарищей сына. Александръ покорялся волѣ отца не изъ одного расчета, онъ цѣнилъ въ старикѣ умъ, любовь къ себѣ и къ своему маленькому сыну, не смотря на то, что все это у Ивана Алексѣевича выражалось по-своему.

На зиму Никъ нанялъ дорогую квартиру на Арбатѣ,

въ трехъ шагахъ отъ Александра. Марья Львовна стала устраиваться со всевозможнымъ комфортомъ. На меня всѣ нападали за нее, а Наташа даже огорчалась. Весь кругъ ихъ сталъ собираться и у Ника. Александръ не могъ проглотить, что я тамъ не присутствовала и приставалъ ко мнѣ, чтобы я съѣздила къ нимъ, такъ какъ визитъ оставался за мной. Я согласилась. Наташа радостно говорила: «Увидишь, какъ она обрадуется, что ты приѣхала, и выбѣжить навстрѣчу». Я поѣхала. Парадный входъ, передняя, зала были завалены рабочими инструментами и разными вещами; какъ видно, перебивали и чистили мебель. Я просила слугу доложить обо мнѣ. Не зная, куда пройти, я стояла среди хлама и рабочихъ и ждала. Минуть черезъ пять, слуга объявилъ, что Марья Львовна принять не можетъ, что она не одѣта (было два часа пополудни). Я просила передать ей, что мнѣ все равно, въ чемъ бы она ни была, я желаю только повидаться съ ней; отвѣтъ былъ тотъ же—что не можетъ принять. Изъ кабинета слышался говоръ нѣсколькихъ голосовъ и хохотъ.

Раздосадованная на себя и на всѣхъ, зачѣмъ ихъ послушала, я приѣхала къ Александру. Увидѣвши меня, онъ крикнулъ: «Наташа! Наташа! здѣсь Т. А., а мы только-что хотѣли посылать за вами, у насъ сегодня мороженое; да что вы такія, точно сердитыя?» Наташа прибѣжала и тоже замѣтила мнѣ. Я поблагодарила ихъ за удовольствіе, которое привелось испытать мнѣ по ихъ совѣту и рассказала пріемъ. Александръ взбѣсилъ: «Мелко, дико,—говорилъ онъ:—мѣщанство!»

Черезъ часъ явился Кетчеръ и, обратясь ко мнѣ, сказалъ: «Ну, что, хорошо приняли? Подѣломъ—очень нужно было ѣхать къ...—онъ не договорилъ.—Да вы же всѣ восхищались. Да-съ, другая роль игралась. Маска сброшена. Я давно говорю—дрянь, а Никъ—тряпка; они вотъ не вѣрятъ». Наташа была поражена и сказала: «Это было бы очень горько и за себя, и за Ника. Неужели мы обманулись?»

Кетчеръ первый сталъ разочаровываться. Наперекоръ урокамъ Марьи Львовны, держать себя приличнѣе, сорилъ курительнымъ табакомъ въ ея великодушныхъ комнатахъ, мялъ подушки, ковры, даже ломалъ мебель, говорилъ при ней Нику, что онъ дѣлаетъ глупость, давая

волю женѣ, что онъ тряпка, что глупо корчить изъ себя что-то.

Никъ смѣялся и мирилъ его съ женой, говоря, что оба они люди славные, только во вкусахъ не сходятся.

Марья Львовна во многомъ уступала и была любезна со всѣми товарищами мужа, но внутри у нея кипѣло и она возстановлялась противъ нихъ. Все, видимо, клонилось къ разрыву.

Устроивши блестящимъ образомъ свой домъ, Марья Львовна стала дѣлать парадные визиты знакомымъ и роднымъ изъ аристократическаго круга. Никъ отказался ей сопутствовать, это раздражало ее и было началомъ внутренняго распадѣнія. Никъ не любилъ большого свѣта, стѣснялся имъ, началъ кутить и почти не бывалъ дома; я его постоянно встрѣчала у Александра. Онъ былъ простъ, милъ, кротокъ, деликатенъ и, повидимому, тяжелый камень лежалъ у него на сердцѣ.

Между прочими визитами, Марья Львовна заѣхала и ко мнѣ. Я ее не приняла.

Вскорѣ Никъ съ женой собрался за границу; кончивши свѣтскіе прощальные визиты, часовъ въ 8 вечера они, какъ были въ парадѣ—Никъ во фракѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ—пріѣхали къ Александру. Насъ было много; увидя меня, Марья Львовна, обратясь ко мнѣ, сказала: «Вы не хотѣли принять меня».—«Я не могла васъ принять»,—отвѣтила Т—на А—на:—я была не одѣта». Марья Львовна замолчала.

Спустя полчаса, они уѣхали. Завязался разговоръ о томъ, какъ Никъ ошибся въ своей женитьбѣ. Александръ былъ мраченъ, ему обидно было за друга. Выслушавши общее сужденіе, онъ сказалъ:

— Виновать ли Никъ, что женился на женщинѣ, не узнавши ее хорошо. Онъ былъ стѣсненъ со всѣхъ сторонъ. Отецъ не позволялъ ему сближаться съ молодыми людьми, переписка съ нами была запрещена, душа и сердце его искали выхода, симпатіи — и симпатія явилась ему въ лицѣ Марьи Львовны. Да и всѣ мы увлекались ею.

— Ну, а теперь,—замѣтилъ Кетчеръ:—не увлекаемся больше и самъ Никъ видитъ что она; чего же, дуракъ, ее слушаетъ,—прихвостень.

— Никъ, братъ,—возразилъ на это Александръ:—не

намъ чета, это—душа нѣжная, любящая. Онъ полюбить ее и еще любить. На выходы ея смотреть, какъ на дѣтскую шалость. Ихъ разногласіе въ пониманіи вещей такого рода, что или миръ, или разводъ. Никъ, конечно, предпочтетъ первое. Второе онъ не захочетъ даже изъ-за того, чтобы не бросить порицанія на репутацію женщины, которую любилъ и любить еще. Онъ скорѣе пожертвуетъ собой, чѣмъ кѣмъ бы то ни было.

Наташа, въ свою очередь, горячо заступилась за Ника. Всѣ же вообще чувствовали, что онъ несчастенъ и молчить.

Разговоръ въ этомъ родѣ продолжался бы еще долго, какъ вдругъ вбѣжала Марья Каспаровна съ крикомъ: «Иванъ Алексѣвичъ! Иванъ Алексѣвичъ!» Все встрепнулось и вдругъ смолкло. Александръ засуетился и пошелъ навстрѣчу отцу. Наташа сконфузилась, Катя бросилась спрятаться на мезонинъ, туда же убѣжалъ Кетчеръ. У стола, вокругъ котораго всѣ сидѣли въ диванной, осталась только Луиза Ивановна, Наташа, Марья Каспаровна и Т—на А—на. Мужчины скрылись въ кабинетъ Александра. Когда вошелъ Иванъ Алексѣвичъ, сказано у Т. А., я увидала худого, средняго роста старика съ строгимъ, умнымъ лицомъ, съ гордо-самостоятельнымъ выраженіемъ во всѣхъ чертахъ. Никому не кланяясь, онъ осмотрѣлъ насъ всѣхъ съ головы до ногъ. Всѣ встали. Видя его невѣжливость, я осталась на мѣстѣ. Онъ началъ все оглядывать и, ни къ кому не обращаясь, спросилъ:

— А гдѣ же маленькій Шушка?

— Онъ уже спитъ,—робко отвѣтила Наташа и покраснѣла.

— А кто же у него?

— Няня-съ.

Старикъ обошелъ всѣ окна, прикладывалъ руку, не дуетъ ли гдѣ, потомъ, обратясь къ Александру, указалъ на тѣ мѣста, гдѣ въ окнахъ вдвигались болты, которыми снаружи охватывались ставни, пропускались въ комнаты сквозь стѣны и тутъ припирались.

— Это никуда не годится. Въ эти дыры можетъ дуть днемъ, и ребенокъ простудится.

— У насъ онѣ закладываются,—сказалъ Александръ и почтительно показалъ сдѣланныя для этого затычки.

— Это все пустяки,—возразилъ старикъ:—ребенокъ, шала, можетъ ихъ вытанцить.

Мнѣ надоѣло все это слушать, я вышла въ гостиную, куда перешли Луиза Ивановна и Марья Каспаровна. Онѣ сидѣли тихо и робко; перекинувшись съ ними двумя-тремя словами шопотомъ, я пошла наверхъ, на силу взобравшись туда по темной лѣстницѣ. Наверху была та же темнота. Кетчеръ, съ трубкою въ зубахъ, на цыпочкахъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, Катенька ахала и уговаривала Кетчера не ходить, что шаги его слышать. Я сѣла и всѣ мы говорили шопотомъ.

— Отчего вы сидите въ потемкахъ? — спросила я ихъ:—снизу огня не видать.

— Когда Иванъ Алексѣвичъ пойдетъ по двору, то можетъ увидать огонь, а онъ запретилъ жить наверху.

— Ну, какъ старикъ вздумаетъ придти сюда,—шутила я:—куда вы дѣнетесь?

— Не пойдетъ, лѣстница безпокойна.

— Вы-то, Кетчеръ, отчего спрятались? — остальные внизу.

— Оттого,—сказалъ Кетчеръ:—что, во-первыхъ, я его терпѣть не могу и онъ меня терпѣть не можетъ. Это все съ тѣхъ поръ, какъ я уговаривалъ его согласиться на женитьбу Александра. Пожалуй, онъ скажетъ мнѣ дерзость, а я не смолчу,—Александръ выйдетъ неприятность.

— А васъ-то за что преслѣдуютъ?—спросила я Катеньку.

— Кто его знаетъ. Узнавъ, что меня привезли сюда, сказалъ, что не потерпитъ у себя всей родни Наташиной. Я живу здѣсь у Луизы Ивановны и прячусь отъ него.

«Ну, старикъ!—подумала я.—Ищеть возбудить къ себѣ страхъ, а не любовь».

Наконецъ, наверхъ вбѣжала Марья Каспаровна со свѣчой въ рукахъ и, смѣясь, говорила:

— Ну, узники, васъ просятъ внизъ, бѣда миновала. Иванъ Алексѣвичъ благополучно достигъ своихъ апар-

таментовъ. А ужъ какъ онъ зорко оглядывалъ весь домъ, точно зналъ, что вы тутъ спрятались.

По счастью, старикъ рѣдко дѣлалъ такія нашествія. Уходя, онъ увелъ Александра съ собою и продержалъ 40 минутъ, не обращая вниманія на то, что у него были гости. Когда Александръ возвратился, бесѣда ожи-вилась, онъ острилъ надъ собою, надъ отцомъ, надъ Кетчеромъ. Говорилъ, что отецъ наказуетъ его за прош-лые грѣхи; что онъ учится у отца быть отцомъ своего сына; жалѣлъ, что Кетчеръ не состязался съ Иваномъ Алексѣвичемъ, что это оживило бы всю публику и вы-звало бы изъ той испуганной молчаливости, которая обуяла всѣхъ при появленіи владыки дома и сына.

Намонецъ, Никъ съ женой уѣхалъ за границу, Але-ксандръ съ семействомъ сталъ собираться въ Петербургъ; отецъ его желалъ, чтобы онъ тамъ служилъ. Т. А. жалъ было, что они уѣзжали, она начинала любить Наташу все сильнѣе и сильнѣе. Ея горячая, самоотверженная любовь къ мужу и ребенку, не мѣшавшая ей прини-мать участіе въ другихъ, жалѣть, помогать, оплакивать другихъ, были ей чрезвычайно симпатичны—ей, какъ будто, мало было своей семьи. Сравнивая Александра съ Наташей, который для себя, для жены и сына едва ли бы задумался пожертвовать другими, которому, когда самому было хорошо, то—до другихъ дѣла мало, она ставила ее гораздо выше мужа. Наташа съ горечью ука-зывала Александру на эту черту, извиняя средой, испол-ненной себялюбія и деспотизма, въ которой онъ росъ, всеобщей заботой о немъ, всеобщимъ лелѣніемъ и ба-ловствомъ. Подъ вліяніемъ Наташи онъ старался отно-ситься къ людямъ,—не то что къ массѣ людей, къ чело-вѣчеству, но въ частности къ человѣку,—съ большимъ сочувствіемъ, и иногда забывалъ свое я. Александръ, съ своей стороны, имѣлъ благоприятное дѣйствіе на На-ташу, просвѣщая и развивая ея умъ знаніями.

Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, прожитыхъ семействомъ Александра въ Москвѣ, въ числѣ многихъ лицъ, бывалъ у нихъ и М. А. Б—нъ, съ которымъ всѣ говорили какъ-то робко, тономъ ниже, иные находили въ его фигурѣ что-то дерзкое, вызывающее; лицо ма-товой бѣлизны непріятно порожало при короткихъ, кур-чавыхъ, черныхъ волосахъ. «Да вы, вѣроятно, не раз-

глядѣли этого человѣка,—замѣчалъ Александръ тѣмъ, которые находили его антипатичнымъ:—плохо слушали, что онъ говоритъ».—Саша увлекался его диалектикой.

Въ 1840 году, Александръ съ семействомъ уѣхалъ въ Петербургъ...

Съ отъѣздомъ Саши и его семейства изъ Москвы, домъ Ивана Алексѣевича сталъ погружаться въ прежнюю безпѣвную тишину; но какъ закатившееся солнце отблескомъ лучей своихъ еще играетъ нѣсколько времени въ облакахъ, задержавшихся на горизонтѣ, такъ и юная жизнь, весело кивѣвшая въ Тучковскомъ домѣ, отлетѣвши отъ него, еще отзывалась нѣсколько времени въ мрачной жизни дома Ростопчинскаго; мало-помалу одушевленіе, возбужденное интересами юности, стало истощаться, ослабѣвать, и, наконецъ, замѣнилось привычнымъ холоднымъ безучастіемъ ко всему, кромѣ дохода и расхода. Прежняя подавленность, стѣсненіе, недовольство и тоска снова налегли на все и на всѣхъ, какъ темная туча.

Одинъ Зонненбергъ избѣжалъ этого гнетущаго вліянія; напротивъ того, онъ сдѣлался развязнѣе, веселѣе и самодовольнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Это произошло отъ измѣненія его финансовыхъ дѣлъ. Въ воображеніи Карла Ивановича рисовались планы, исполненные розовыхъ надеждъ, на возможность блестящихъ результатовъ въ его торговыхъ оборотахъ, поѣздки на Ирбитскую, Коренную и другія ярмарки, торговля модными товарами. Улучшеніе положенія и бодрое состояніе его духа произошло совершенно случайно.

Въ исходѣ тридцатыхъ годовъ, Карлу Ивановичу удалось выгодно распродать на Кавказѣ ленты, духи, помаду, мыло душистое, перчатки, сережки, браслеты; на вырученные деньги онъ накупилъ живыхъ фазановъ и персидскаго порошка. Все это привезъ въ Москву и помѣстилъ вмѣстѣ съ собой въ старомъ домѣ Ивана Алексѣевича.

Фазановъ онъ распродалъ очень выгодно, пиретрумъ же не шелъ съ рукъ, несмотря на то, что онъ роздалъ его по всѣмъ москательнымъ лавкамъ, а главный запасъ помѣстилъ въ кондитерской Пера (сколько помнится, на Тверской), возлагая надежду на многочисленныхъ посѣтителей; но и это не помогло, пиретрумъ распро-

вался плохо. Такая неудача сильно огорчила Карла Ивановича. Въ это время пріѣхалъ изъ Владиміра въ Москву въ первый разъ Саша, и еще одинъ. При видѣ его, у Зонненберга родилась блестящая мысль, попросить Сашу написать какъ можно позавлекательнѣе объявленіе о продажѣ персидскаго порошка и помѣстить его въ какіхъ-нибудь газетахъ.

Однажды вечеромъ была я у Ивана Алексѣевича, онъ отдыхалъ, а мы всѣ сидѣли въ комнатѣ Луизы Ивановны. Карлъ Ивановичъ горько жаловался на неудачу съ пиретрумъ, и вдругъ, обратясь къ Сашѣ, сказалъ съ упрекомъ въ голосъ:

— Вотъ, вы, Александръ Ивановичъ, все пишете разныя статейки въ журналы, а нѣтъ того, чтобы написать объявленіе о продажѣ моего персидскаго порошка.

— Помилуйте, — отвѣчалъ Саша, ошеломленный такимъ неожиданнымъ упрекомъ:—мнѣ и въ голову не приходило писать объявленія о продажахъ.

— То-то и есть,—продолжалъ упрекать Карлъ Ивановичъ:—что вамъ даже и не подумалось помочь мнѣ.

— Да вѣдь объявленія писать не штука, любой грамотный мальчикъ напишетъ, что то-то, тамъ-то продается,—отвѣчалъ Саша.

— Тамъ-то, то-то, конечно, да не въ томъ дѣло, — настаивалъ Карлъ Ивановичъ:—это ни къ чему не поведетъ, а вы сочините объявленіе какъ-нибудь такъ, чтобы оно заманило покупателей. Вамъ писать ничего не стоитъ.

— Право, я готовъ, только не знаю, съ какой стороны и какъ за такое дѣло взяться; никогда не предполагалъ, что придется писать объявленія о продажахъ. Впрочемъ, я не отказываюсь,—я только изумленъ, такая неожиданность, согласитесь сами, хоть его поставить въ тупикъ.

Сказавши это, Саша задумался и вдругъ, лукаво улыбнувшись, весело сказалъ:

— Извольте, Карлъ Ивановичъ, я напишу вамъ объявленіе о продажѣ вашего пиретрумъ.

Говоря это, онъ поспѣшно взялъ бумагу, перо и черезъ часъ о продажѣ персидскаго порошка въ кондитерской Пера было готово слѣдующее объявленіе:

РЕКЛАМА.

Истинная и послѣдняя эманципация рода человѣческаго
отъ злѣйшихъ враговъ его.

Книгопечатаніе, открытіе новаго свѣта, желѣзныя дороги и пароходы сдѣлали все, что только можно было, для безпокойства рода человѣческаго. Пора что-нибудь сдѣлать для спокойствія людей, пора ихъ приблизить къ величавому отдохновенію на лаврахъ.

Но можно ли при современномъ состояніи цивилизаціи отдыхать на лаврахъ или на миртахъ—все равно?

Цѣлый міръ небольшихъ враговъ вездѣ ждетъ человѣка и дѣлаетъ ему большія непріятности, отравляетъ его существованіе, наводитъ на меланхоличныя мысли, мѣшаетъ философствовать и смотрѣть сновидѣнія до конца; эти ожесточенные враги обрекли себя съ постоянствомъ, достойнѣйшимъ лучшей цѣли, на непрерывное, многостороннее огорченіе человѣка.

Доселѣ историки мало цѣнили важное вліяніе тайныхъ враговъ на событія; многое казалось необъяснимымъ въ біографіяхъ великихъ людей отъ опущенія такого важнаго элемента.

Цицеронъ послѣ своего знаменитаго «они жили», сталъ жаловаться непрерывно на блохъ, которыя мѣшали ему спать, и бранился съ своей женой и дочерью, къ которымъ писалъ такіа скучныя письма изъ Брундазіума. Вотъ причина, отчего онъ такъ вяло рассуждалъ о натурѣ боговъ и такъ сквозь сонъ разбиралъ академиківъ.

Но оставимъ исторію и обратимся къ частной жизни нашей.

Сколько скрежета зубовъ, сколько взглядовъ отчаянія, сколько стону вызываютъ свирѣпыя враги! Этотъ скрежетъ, этотъ вопль никто не слыхалъ: они раздавались во тьмѣ ночной, и неизвѣстно было, отчего на другой день рушились браки, брались рѣшительныя стороны для другихъ—словомъ, перемѣнялась жизнь.

Кто не былъ самъ униженъ среди гордыхъ помысловъ сильными, жгучими страданіями отъ сихъ враговъ? Гдѣ средство спасенія? «Коня мнѣ, коня, полцарства за коня!» Но гдѣ этотъ конь?

Осмѣлюсь ли я дерзкимъ перомъ дотронуться еще до

свѣжихъ ранъ вашего сердца и напомнить грозное явленіе маленькихъ враговъ.

Вы, котораго я такъ уважаю, вы пишете стихи къ ней, восторгъ въ вашихъ очахъ, стихъ льется плавно, огонь и запахъ розы; но вотъ вамъ на носъ сѣла муха и прогуливается по немъ, вы ее согнали—она на лбу, вы ее согнали—она въ ухѣ, вы ее согнали—она опять на носу и сучить ногами, и вотъ вы бросаете перо, и у васъ завязывается упорный и отчаянный бой, можетъ-быть, вы и побѣдите, но—увы!—гдѣ вашъ восторгъ, гдѣ вѣчное слово любви, о которомъ вы писали? Все вяло, не клеится, вы въ аніатіи отъ того, что всѣ силы души употребили на борьбу съ... мухой.

Вы смертельно устали съ дороги, вы десять верстъ мечтали подъ дождемъ о ночлегѣ, добрались, слава Богу, тепло и, кажется, довольно чисто, вы бросаетесь на постель, сонъ уже смыкаетъ глаза... а тутъ маленькая компанія черныхъ акробатовъ дѣлаетъ уже въ тиши *salti mortali* и торопится обидѣть васъ и, что хуже обиды, лишитъ покоя и, что хуже безпокойства и обиды, уничтожитъ ваше человѣческое достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вѣроятно, имѣете. Извините, эти акробаты принимаютъ васъ за съѣстной припасъ, для нихъ вы огромное блюдо, въ превосходствѣ котораго они не сомнѣваются, но все же блюдо. Счастье ваше, ежели въ это время ваша память такъ занята, что вы забыли микроскопическое изображеніе блохи, выставленное для поученія дѣтей въ книжной лавкѣ, этотъ страшный хоботъ, выходящій изъ-подъ чернаго шлема, лоснящагося, какъ сапогъ. Можетъ-быть, вы и поймаете одну-двѣ *et ils créveront comme des hérétiques*, но что значить двѣ-три, когда ихъ сотни... и вотъ вмѣсто восстановительнаго сна, вы вертитесь со стороны на сторону, а на той сторонѣ встрѣчается смиренный и нескатущій товарищъ акробатовъ, съ задумчивымъ и благочестивымъ видомъ квакера и съ небольшой семьей, которую онъ любитъ отъ души и которую привелъ изъ-подъ подушки поподчивать вами; если вы прибавите духъ, въ которомъ воспитаны эти квакеры, то картина готова. Данте не зналъ этого мученія, а то не могъ бы пропустить его. Вы въ досадѣ, въ бѣшенствѣ зажигаете свѣчу... только того и недоставало: тараканы вообра-

зли, что вы имъ даёте иллюминацію и пошли изъ щелей по столу, а черезъ столъ къ вамъ на подушку, русскіе тараканы, капитальные, основательные мирно и тихо идутъ, а за ними и жалкіе прусаки, рыженькіе, бѣгутъ со всѣхъ сторонъ. Конечно, они не такъ вредны, какъ *boa constictor*, но та только практически вредна, а тараканы обижаютъ взглядъ, наводятъ уныніе. Наконецъ, свѣтъ подтверждаетъ вамъ горестную истину, что ночь прошла, что черезъ часъ придетъ вашъ слуга будить, на заспанные глаза котораго вы бросите взглядъ шакала. Но, можетъ-быть, вы еще уснете, я, ей-Богу, буду очень радъ. При разсвѣтѣ тараканы пойдутъ по щелямъ, они, какъ ночные извозчики въ Петербургѣ, тогда только и видны, когда ничего не видать; будьте увѣрены, они уйдутъ въ самое то время, какъ батальонъ мухъ, отдохавшій всю ночь, отправится по всѣмъ направлѣніямъ, а между ними есть съ какими-то шилами между глазъ. Я не оканчиваю страшную картину.

А послѣ ваши друзья удивляются на досугъ, отчего вы воротились грустны, исчезли свѣтлыя надежды, привѣтливость, etc.

Но, утѣштесь, великое совершено:

На высотахъ Кавказа, воалъ самой Персіи, растетъ одинъ цвѣтокъ, происхожденіе котораго никому неизвѣстно, кромѣ меня—а я вамъ расскажу его.

Однажды въ Персіи было очень много блохъ, Камбизъ не могъ спать да и только; много переказали онъ людей, призванныхъ въ совѣтъ о предохраненіи сына солнца отъ дочерей блохъ,—ничего не помогало. Онъ разсердился и пошелъ разорять Египетъ. Счастіе ему улыбалось; однажды онъ, довольный, наѣвшисъ крокодиловыхъ янцъ въ смятку, курилъ пахитосъ въ Мемфисскомъ храмѣ, вдругъ его укусила блоха.

— Какъ,—вскричалъ уязвленный Камбизъ:—и здѣсь та же непокорность! Нѣтъ, этого не потерплю, клянусь Ормуздомъ и Зендавестой!

Онъ тутъ же отдалъ приказъ сломать до основанія храмъ, потому весь Мемфисъ; но, справедливо полагая, что этого будетъ недостаточно, онъ велѣлъ предать огню и мечу весь Египетъ по ту и по другую сторону Нила, даже, если найдется третья сторона, и ее разорить. Но передъ нимъ предсталъ мудрый жрецъ, его

все уважали; онъ до того былъ уменъ, что сорокъ лѣтъ молчалъ. Старикъ бросился къ ногамъ Камбиза и сказалъ:

«Сынъ солнца, гармонія мира, представитель Ормузда, братъ быка Алиса и близкій родственникъ фараоновой мыши, нареченный супругъ Ибиса etc. etc.»

Коротко сказать, онъ ему открылъ тайну, плодъ всей его жизни—растение, уничтожающее блохъ и всѣхъ ихъ пріятелей, и тутъ же поднесъ ему фунтъ порошка. Камбизъ сомнѣвался и велѣлъ при себѣ сдѣлать опытъ надъ тремя любимицами: собакой и двумя сатрапами. Сатрапы накрали поскорѣе у собаки блохъ, чтобъ оправдать довѣріе Ормуздова представителя, и,—о восторгъ!—опытъ удался. Камбизъ, пораженный, велѣлъ старика сковать и отослать въ Персію, чтобъ онъ посѣялъ Ругетрумъ. Тогда въ персидскихъ вѣдомостяхъ были помѣщены прекрасные стихи, воспѣвавшіе Ормуздову попечительность Камбиза.

Вся Персія плакала отъ умиленія и, освободившись отъ блохъ, никогда не хотѣла никакого другого освобожденія. Ей казалось этого довольно.

Вотъ какъ успокоительно дѣйствіе порошка!

Недавно второй Камбизъ изъ Ревеля К. И. Зонненбергъ нашелъ потерянное сокровище.

Лѣтъ десять онъ усиливался взойти на утесы Кавказа, нѣсколько разъ срывался, падалъ съ высоты 2.800 футовъ, тонулъ, замерзалъ, таялъ отъ жара, но любовь къ ближнему и высокая мысль эманципація все перевозмогли, онъ набралъ Ругетрумъ—и когда онъ сорвалъ первый цвѣтокъ, тѣнь молчаливаго старца явилась на небѣ и благословила его.

Спѣшите къ кондитеру Перу, тамъ есть еще нѣсколько картузовъ этой травы, поспѣйте ее вездѣ и скажите: теперь я свободенъ и да поблѣднѣютъ враги мои!

NB. Нѣкоторыя предосторожности необходимы при употребленіи порошка. Одинъ нашъ знакомый насыпалъ его по стѣнамъ и окнамъ и заперъ комнату; на другой день, представьте его удивленіе: онъ не могъ найти № «Москвитянина», оставленный имъ по небрежности въ той комнатѣ.

Для черезъ три эта реклама явилась, кажется, въ «Инвалидѣ», потомъ была перепечатана въ «Пчелѣ». Она

привлекла къ Перу множество покупателей. При порошкѣ показывался и самъ Карлъ Ивановичъ, съ золотистой накладкой на головѣ, обрызганный духами *à la violette*, тѣми самыми, которыя Иванъ Алексѣевичъ, желая огорчить его и поколебать его самодовольный видъ, находилъ пахнувшими тѣмъ-то тяжелымъ, тѣмъ тѣла бальзамируютъ.

Въ кондитерской Пера, Карлъ Ивановичъ, пріятно рисуясь и улыбаясь посѣтителемъ, самъ отвѣшивалъ фунтами персидскій порошокъ, и въ короткое время распродалъ на значительную сумму весь находившійся у него большой запасъ эмансипирующаго растенія.

ГЛАВА XXX.

Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ,

строитель храма Христа Спасителя въ Москвѣ (род. 1787 † 1855).

Не зданіе хотѣлъ онъ воздвигнуть, а молитву Богу.

Шведскій дворянинъ Лаврентій Самойловичъ Витбергъ въ 1779 году съ женой своей выѣхалъ изъ Швеціи въ Россію и поселился въ Ревелѣ. Спустя нѣсколько времени, онъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ 15-го января 1787 года у него родился сынъ Карлъ, впоследствии знаменитый художникъ Александръ Витбергъ. Рожденный въ протестантской религіи, онъ получилъ первое религіозное направленіе отъ своего отца, а тотъ, въ свою очередь, заимствовалъ его отъ своего родителя, чело­вѣка глубоко религіознаго и строга нравственной жизни. Все это отразилось въ жизни и Александра Лаврентьевича. На религіозное настроеніе его дѣда имѣлъ большое вліяніе слѣдующій случай. У него была дуэль, на которой онъ убилъ своего противника. Подъ впечатлѣніемъ чувства раскаянія въ немъ росла духовная жизнь и укрѣпилась еще больше разъ явившимся ему видѣніемъ: однажды ночью онъ былъ пробужденъ звуками



А. Л. Витбергъ,
Академикъ, строитель храма Спасителя въ Москвѣ.
1787—1855 г.
Гравир. Герасимовъ.

восхитительной музыки; желая увѣриться, что это не сонъ, онъ открылъ глаза и былъ пораженъ необыкновеннымъ свѣтомъ, распространеннымъ въ комнатѣ. Лаврентій Самойловичъ привсталъ, сѣлъ на кровать и увидалъ у себя на колѣняхъ раскрытую книгу; онъ сталъ читать ее и въ концѣ второй страницы прочиталъ на шведскомъ языкѣ слѣдующіе стихи, которые отецъ его потомъ перевелъ на нѣмецкій языкъ:

Bleib nun fest und glaub an Gott
Halt dich an sein heiligen Geboth,
Ich will dich in Freuden führen
Um dein Gebeth in Gnaden pöhren.

Когда онъ хотѣлъ перевернуть листъ — все исчезло. Можно понять, въ какомъ духѣ онъ воспитывалъ сына. Сверхъ того, шведы спокойные, твердые, съ достоинствомъ, по природѣ своей наклонны къ религіозности и таинственному.

Въ Петербургѣ Александра Лаврентьевича опредѣлили въ горный корпусъ, гдѣ, по слабому здоровью, онъ не могъ продолжать своихъ занятій и былъ взятъ домой. Когда же поправился, его помѣстили въ Анненскую школу, гдѣ впервые проявился въ немъ талантъ къ живописи. Родители готовили его въ медики; къ медицинѣ онъ чувствовалъ отвращеніе и сознавалъ, что призваніе его — изящныя искусства. Онъ объявилъ это отцу, отецъ не препятствовалъ его склонности и предоставилъ ему полную волю. Молодой Витбергъ поступилъ въ академію художествъ. Графъ Строгановъ, бывшій тогда президентомъ академіи художествъ, узнавши о талантливости Витберга, доставилъ ему возможность быть принятымъ въ академію на казенный счетъ. Онъ поступилъ въ четвертый возрастъ, по исторической живописи и на всѣ ежемѣсячные экзамены представлялъ эскизы на задаваемые темы такъ успѣшно, что получилъ за нихъ нѣсколько наградъ. За рисунки съ натуры ему дана была первая серебряная медаль; за картину «Три отрока» (изъ библіи) — большая золотая, аттестатъ 1-й степени, чинъ 14-го класса и былъ оставленъ при академіи пансіонеромъ съ правомъ на путешествіе за границу. За картину «Русская Правда» ему дана была медаль золотая. Въ 1809 году академія художествъ присудила ему большую золотую медаль за картину «Ан-

дромаха оплакиваетъ Гектора» и назначила помощникомъ къ профессору Угрюмову для обученія воспитанниковъ натурнаго класса академіи.

Въ это время Александръ Лаврентьевичъ случайно приобрѣлъ расположеніе извѣстнаго мистика, конференцъ-секретаря академіи художествъ Лабзина.

Воспитанники академіи, съ разрѣшенія президента, устроили театръ. Въ пьесѣ Коцебу «Сынъ любви» Лабзинъ былъ такъ восхищенъ игрой Витберга, что пригласилъ его участвовать въ театрѣ одного изъ своихъ друзей; это ихъ сблизило и онъ сталъ чаще и чаще бывать на христіанскихъ бесѣдахъ умнаго, пылкаго издателя «Сіонскаго Вѣстника», переводчика религіозныхъ сочиненій Штиллинга, Экартсгаузена и многихъ другихъ въ этомъ родѣ. Обладая широкимъ взглядомъ и даромъ слова, Лабзинъ одушевлялъ бесѣды и сильно дѣйствовалъ на религіозное настроеніе молодого чело-вѣка. Къ сожалѣнію, несмотря на умъ и добродушіе Лабзина, излишнее самолюбіе дѣлало его иногда тяжелымъ, раздражительнымъ и рѣзкимъ до того, что разъ при президентѣ Оленинѣ недержанность навлекла на него гнѣвъ государя.

Въ одномъ изъ общихъ собраній академіи, президентъ предложилъ выбаллотировать въ почетные члены-любители академіи—Арачьева, Гурьева и Кочубея. На вопросъ конференцъ-секретаря, что отличнаго въ этихъ лицахъ и чѣмъ они могутъ быть полезны академіи и искусствамъ, представилъ на видъ, что по положенію только такіе баллотировуются въ почетные члены, которые имѣютъ или музеи, или извѣстны особенной любовью къ искусствамъ. Президентъ отвѣчалъ, что это люди, близкіе къ государю.

— А когда такъ, то всѣхъ ближе къ государю Илья кучеръ, да и сидитъ къ его величеству спиной.

Президентъ, мимо министра просвѣщенія, донесъ чрезъ Арачьева объ этомъ государю, пользуясь случаемъ избавиться отъ Лабзина.

Лабзина удалили въ Симбирскъ. Онъ не могъ перенести ссылки, впалъ въ чахотку и вскорѣ умеръ.

Черезъ Лабзина Александръ Лаврентьевичъ познакомился съ Державинымъ, съ которымъ Лабзинъ былъ такъ близокъ, что держалъ корректуру его стихотвореній

и въ обществѣ «Русскаго Слова» читалъ за него его сочиненія. Витбергъ былъ хорошо принятъ Державинымъ, нерѣдко посѣщалъ его и нарисовалъ двѣ виньетки къ его лирическимъ сочиненіямъ. Домъ поэта находился на Фонтанкѣ, у Обухова моста, внутри былъ извѣстно расположенъ, снаружи въ колонадахъ. Приѣмъ у Державина былъ чрезвычайно пріятливъ, разговоръ одушевленъ. Поэтъ почти всѣхъ посѣтителей принималъ въ тепломъ халатѣ, какъ ходилъ дома, и постоянно держалъ за пазухой маленькую собачку.

Дѣтей у Лабзина не было, а была сирота-воспитанница Софья, которую онъ и жена его желали выдать за человѣка богатого, но такихъ жениховъ не являлось. Когда Витбергъ сталъ бывать у нихъ въ домѣ, Софья было 14 лѣтъ, она ему понравилась. Чтобы поближе узнать характеръ этой дѣвушки, онъ предложилъ давать ей уроки рисованія; это принято было съ благодарностью. Повидимому, Лабзинъ и жена его имѣли на Витберга виды относительно Софьи.

Въ это же время богатый помѣщикъ Артемьевъ привезъ въ Петербургъ своего сына для помѣщенія на службу и ввѣрилъ его Лабзину. Вскорѣ Витбергъ замѣтилъ, что у Лабзина родился планъ женить Артемьева на своей воспитанницѣ, несмотря на строптивый, тяжелый характеръ этого молодого человѣка. Богатство давало ему преимущество надъ Витбергомъ, втораго также не теряли изъ вида; это оскорбляло Александра Лаврентьевича и онъ отклонился отъ Софьи. Когда же въ 1809 году пріѣхало въ Петербургъ семейство Артемьевыхъ, то и совсѣмъ охладѣлъ къ ней. Меньшая дочь Артемьевыхъ, Елизавета Васильевна, сдѣлала на него сильное впечатлѣніе и сама увлеклась имъ. Они объяснились во взаимныхъ чувствахъ, но рѣшили до времени хранить это въ тайнѣ. Зная гордость ея родителей, они боялись затрудненій и непріятностей, несмотря на то, что тѣ были хорошо расположены къ Витбергу и по отъѣздѣ вступили съ нимъ въ переписку.

Во время войны переписка ихъ прервалась. Помѣстье Артемьевыхъ находилось на Смоленской дорогѣ и было занято непріателемъ. Сами они бѣжали въ Нижній-Новгородъ. Когда молодой Артемьевъ, получивши чинъ коллежскаго асессора, вышелъ въ отставку и собрался въ

деревню къ отцу, то, уѣзжая, открылся Лабзину въ любви къ его воспитанницѣ и просилъ руки ея. Ему дали согласіе съ великой радостью. Ко всеобщему удивленію, по пріѣздѣ въ семейство, Артемьевъ съ первой же почтой писалъ Лабзину, что онъ отказывается отъ руки Софьи и даже отъ переписки и знакомства съ нимъ. Лабзинъ оставилъ это дѣло съ презрѣніемъ. Видя его снова обратились на Витберга, на новую привязанность котораго онъ смотрѣлъ съ неудовольствіемъ и старался отклонить его отъ нея. Повидимому, это было поводомъ къ ихъ внутреннему разрыву.

Между тѣмъ, по окончаніи войны, 1812 года 25-го декабря императоръ Александръ Благословенный въ Вильнѣ издалъ манифестъ, въ которомъ возвышалъ своему народу, что онъ желаетъ воздвигнуть храмъ во имя Христа Спасителя, какъ памятникъ славы Россіи, какъ молитву и благодареніе искупителю рода человѣческаго за искупленіе Россіи.

Государь хотѣлъ храмомъ возблагодарить Бога и Ему отдать свои побѣды.

Конкурсъ о храмѣ Спасителя былъ напечатанъ и заявленъ даже за границей. А. Л. Витбергъ былъ восхищенъ идеей посвященія храма Спасителю. Идея новая, обширная! Храмъ Христу — это храмъ христіанству, храмъ—человѣчеству. Художникъ какъ бы читалъ въ душѣ государя и въ немъ родилось пламенное желаніе, чтобы храмъ этотъ, удовлетворяя требованію царя, былъ бы достоинъ и народа; онъ хотѣлъ, чтобы храмъ во имя Христа былъ величествененъ и колоссаленъ, чтобы онъ перевѣсилъ славу храма Петра въ Римѣ, чтобы каждый камень его и всѣ выѣсты были не произвольными формами архитектуры, не мертвой массой камней, но выразили бы собою духовную идею живого храма Божія—человѣка: по тѣлу, душѣ и духу, слѣдуя изреченію Христа: «не вѣдаете бо, что храмъ Божій есте, и духъ святой въ васъ обитаетъ». Сверхъ всего, онъ хотѣлъ, чтобы, независимо отъ главной идеи, храмъ Спасителю былъ и памятникомъ доблестныхъ подвиговъ изъ исторіи своего времени.

Мысль эта долго жила въ душѣ Александра Лаврентьевича, но, никогда не занимаясь архитектурой, онъ считалъ невозможнымъ ея осуществленіе. Между

тѣмъ многіе уже трудились надъ составленіемъ проектовъ, которые должны были быть внесены на Высочайшее усмотрѣніе. Разсматривая проекты своихъ товарищей по академіи, Витбергъ во многихъ находилъ талантливость, но ни въ одномъ не находилъ одушевлявшей его идеи и невольно приводилъ ее въ самомъ себѣ все въ болѣшую и болѣшую ясность.

Лѣтомъ 1813 года Витбергъ взялъ отпускъ отъ академіи и первый разъ въ жизни поѣхалъ въ Москву; давно желалъ онъ видѣть первопрестольный городъ Россіи. Онъ увидалъ его сожженный, обгорѣлый, пустой и надъ развалинами его Кремль, одинъ уцѣлѣвшій отъ погребели. Лабзинъ далъ ему порученіе къ гр. Ростопчину, котораго онъ не могъ исполнить въ скорости. Это раздражило Лабзина и онъ въ письмѣ къ почтъ-директору Дмитрію Павловичу Руничу осыпалъ Витберга укоризнами. Александръ Лаврентьевичъ написалъ Лабзину, что письмо его къ Руничу глубоко огорчило и оскорбило его. Лабзинъ отвѣтилъ холоднымъ извиненіемъ, Витбергъ также холодно извѣстилъ Лабзина, что порученіе его исполнилъ. Этими, повидимому, какъ переписка ихъ, такъ и близкія отношенія прекратились.

Витбергъ былъ знакомъ съ Ростопчинымъ еще и въ Петербургѣ *) и очень интересовался имъ, какъ человѣкомъ гениальнымъ, принимавшимъ важное участіе въ послѣднихъ обстоятельствахъ Россіи. Ростопчинъ принялъ Александра Лаврентьевича чрезвычайно привѣтливо, пригласилъ поселиться у него въ домѣ и заняться виньетками и картинами къ предполагаемому имъ описанію патріотическихъ подвиговъ отечественной войны**). Витбергъ отказался отъ житья у Ростопчина и предпочелъ предложенную ему квартиру у Рунича въ почтамтѣ.

Однажды Витбергъ, гуляя съ Руничемъ въ Кремлѣ, восхищенный величественнымъ видомъ открывавшагося полгорода, высказалъ свою мысль о храмѣ. Одушевленный этимъ рассказомъ, Руничъ просилъ его неотступно набросать главный очеркъ его идеи. Витбергъ отвѣчалъ,

*) Графъ Ростопчинъ увидалъ у конференцъ-секретаря Лабзина картину Витберга «Марфа Посадница», которая чрезвычайно понравилась ему. Витбергъ картину поднесъ Ростопчину.

**) Осталось некаданнымъ.

что, не зная архитектуры, трудно исполнить его просьбу; но внутренне влекся къ ея осуществленію и рѣшился приняться за дѣло.

На другой день онъ началъ означать чертежами свои идеи, взялся за архитектурныя книги, чтобы идеи подчинить правиламъ науки и сталъ изучать древности и сочиненія знаменитѣйшихъ писателей. Слишкомъ два года провелъ онъ въ непрерывныхъ трудахъ. Всѣмъ пожертвовалъ онъ для этого дѣла, даже и академіей, со всѣми соединенными съ ней выгодами, общавшими блестящую будущность. Идеаль прояснялся, принималъ опредѣленную форму. Наконецъ, художникъ почувствовалъ, что онъ сталъ на настоящую дорогу, что основаніе готово, надобно только усовершеншать.

Усиленные труды доводили иногда Витберга до изнеможенія, его поддерживали въ Москвѣ архіепископъ Августинъ съ находившимся при немъ духовенствомъ, бывшій министръ юстиціи поэтъ Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ; въ Петербургѣ графъ А. К. Разумовскій и синодальный оберъ-прокуроръ князь А. Н. Голицынъ.

Занимаясь проектомъ, Витбергъ не забывалъ и любимой имъ дѣвушки. Онъ ждалъ все семейство на зиму въ Москву, но о нихъ полтора года не было ни слуху, ни духу. Считая это волею Провидѣнія, онъ рѣшился по окончаніи работъ ѣхать въ Петербургъ, но прежде отъѣзда желалъ слышать сужденіе о своемъ проектѣ людей истинно просвѣщенныхъ. Отъ многихъ вельможъ, съ которыми его познакомилъ графъ Ростопчинъ, онъ слышалъ безплодныя, ни на чемъ не основанныя похвалы и искалъ большихъ авторитетовъ; этому помогла встрѣча съ Матвѣемъ Яковлевичемъ Мудровымъ. Однажды Мудровъ предложилъ Александру Лаврентьевичу ѣхать съ нимъ въ деревню къ Николаю Ивановичу Новикову; Витбергъ принялъ предложеніе съ восторгомъ. Они поѣхали.

Верстахъ въ 60-ти отъ Москвы, по бронницкой дорогѣ, открылась имъ небольшая деревушка съ ветхой барской усадьбой и запущеннымъ садомъ. Ихъ встрѣтилъ чрезвычайно радушно старичокъ блѣдный, болѣзненный, со взоромъ, исполненнымъ ума, огня и жизни. Это былъ Николай Ивановичъ Новиковъ, гениальный дѣятель, развивавшій въ Россіи свѣтъ Европы.

«Чего я долженъ ждать,—думалъ Витбергъ, глядя на старца:—отъ взгляда на храмъ, воздвигаемый Россіей, такого человѣка, который всю жизнь свою воздвигалъ въ Россіи храмъ иной—колоссальный, великій».

Новиковъ жилъ отшельникомъ въ своей деревушкѣ—единственнымъ достояніемъ, съ однимъ изъ оставшихся друзей и сотрудникомъ—Гамалеемъ.

Когда вошелъ Гамалей, о которомъ Витбергъ слышалъ, какъ о человѣкѣ строгомъ, неприступномъ, то крайне удивился, увидавъ старичка, исполненнаго привѣтливости и любви, но нѣсколько рѣзкаго и молчаливаго. Новиковъ же, напротивъ, говорилъ много, голосъ его былъ пріятенъ и рѣчь до крайности увлекательна. Витбергъ сказалъ Новикову о цѣли своего пріѣзда. Новиковъ говорилъ, что онъ уже много слышалъ о его проектѣ, благодарилъ, что онъ вздумалъ навѣстить стараго страдальца-отшельника и пожелалъ видѣть проектъ. Витбергъ развернулъ проектъ и сталъ объяснять его, сколько можно, строже. Новиковъ слушалъ внимательно, горячо, какъ любитель прекраснаго. Кончивши, Витбергъ просилъ ихъ сужденія.

Гамалей сказалъ:

— Лучше всего то, что вы расположили храмъ свой въ тройственномъ видѣ; если вамъ удастся это выработать какъ слѣдуетъ,—это будетъ хорошо.

Новиковъ хвалилъ идею, совѣтовалъ откинуть нѣкоторыя подробности, чтобы чище оставалась главная идея и добавилъ:

— Очень радъ, что вы посвящали свой талантъ на предметъ столь достойный и предвижу успѣхъ. Если люди воздвигаютъ себѣ памятники и дворцы, то какой же наружный храмъ надобно воздвигнуть Богу живому? Конечно, надобно, чтобы онъ не ограничивался красотою формы, въ каждую форму долженъ глубоко врѣзаться внутренній смыслъ.

Старики полюбили художника; онъ провелъ у нихъ нѣсколько дней, послѣ не разъ пріѣзжалъ къ нимъ въ деревню и всегда подолгу бесѣдовалъ съ ними. Во время этихъ бесѣдъ Новиковъ разсказалъ ему, какъ онъ старался познакомить Россію съ лучшими литературными произведеніями Европы; какъ на сильный призывъ его стекались друзья во имя общей пользы и любви къ про-

свѣщенію, чтобы совокупно работать; какъ онъ завелъ книжную лавку и огромную типографію, превзошедшую всѣ, заведенныя правительствомъ; издавалъ литературный журналъ «Живописецъ»; какъ на образованіе множества молодыхъ людей, на путешествія ихъ по Европѣ онъ и друзья его отдавали всѣ свои средства, пропагандируя просвѣщеніе. Результаты были блестящіе. Рассказывалъ, какъ успѣхъ его типографіи возбудилъ вниманіе, потомъ зависть и, наконецъ, опасенія насчетъ огромной типографіи въ рукахъ частнаго человѣка. Этотъ взглядъ поддержали подозрѣніемъ насчетъ избранія цесаревича Павла Петровича протекторомъ, и какъ, несмотря на то, что Новиковъ былъ далеко политическихъ замысловъ, онъ былъ схваченъ, посаженъ въ Шлиссельбургскую крѣпость, просидѣлъ тамъ семь лѣтъ, и только при воцареніи императора Павла его освободили; но семь лѣтъ тюрьмы разрушили его здоровье. По освобожденіи, онъ удалился въ свою разстроенную деревушку, гдѣ и жилъ въ глубокомъ уединеніи.

Витбергъ засталъ обоихъ старцевъ за литературными занятіями. Они показали ему свою бібліотеку, въ которой находилось до 50-ти книгъ, переведенныхъ Новиковымъ, при чемъ онъ сказалъ:

— Съ искренней скорбью вижу, что столько труда пропадаетъ даромъ; некому завѣстить все это, некому передать мысли для продолженія начатаго.

Въ числѣ множества разговоровъ Витберга съ обоими друзьями, неоднократно шла рѣчь о снахъ и видѣніяхъ вообще и о пророческихъ снахъ, видѣнныхъ Витбергомъ въ его юности.

Въ одно изъ своихъ посѣщеній Витбергъ просилъ позволенія снять портреты съ Новикова и Гамалея. Новиковъ согласился, Гамалея—уговорить не могли.

Когда проектъ былъ готовъ окончательно, Витбергъ сталъ думать о поѣздѣ въ Петербургъ, какъ совсѣмъ неожиданно пріѣхалъ къ нему молодой Артемьевъ; онъ почевалъ у него и взялъ съ него слово съ нимъ переписываться. Съ первой же почтой Артемьевъ писалъ ему, что домашніе бранили его, затѣмъ онъ не привезъ съ собой стараго друга и приглашали его къ себѣ. Витбергъ принялъ приглашеніе и вскорѣ поѣхалъ въ ихъ селеніе Величево. На селеніи и на барской усадьбѣ ле-

жали еще слѣды непріятельскаго посѣщенія. Витбергъ вступилъ въ домъ Артемьевыхъ въ большомъ волненіи. Онъ чувствовалъ, что здѣсь судьба его рѣшится. Спустя нѣсколько времени онъ сдѣлалъ предложеніе Елизаветѣ Васильевнѣ и получилъ согласіе какъ молодой дѣвушки, такъ и ея родителей.

Ихъ помолвили.

Витбергъ уѣхалъ въ Петербургъ женихомъ, располагая черезъ шесть мѣсяцевъ возвратиться и обвѣнчаться, но вмѣсто шести мѣсяцевъ прошло около года, самыхъ тяжелыхъ. Бездна дѣла, непріятности въ академіи, неудовольствія родныхъ и невѣсты за долгое отсутствіе и рѣдкія письма, даже подозрѣніе, что съ перемѣной обстоятельствъ перемѣнились и чувства, все это вмѣстѣ огорчало и тяготило его.

20-го іюля 1816 года Витбергъ обвѣнчался съ Елизаветой Васильевной Артемьевой въ деревянной церкви села Царево-Займищево *), мѣсто, гдѣ Кутузовъ принялъ начальство надъ войскомъ.

Наконецъ, проекты по строенію храма Спасителя, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ извѣстнѣйшихъ архитекторовъ, были готовы и повергнуты на высочайшее разсмотрѣніе императора Александра I.

На проектъ Витберга императоръ обратилъ особенное вниманіе и, выслушивавши его объясненіе идеи храма, прослезился и при князѣ Голицынѣ сказалъ ему:

— Вы угадали мои мысли, мои желанія. Я хранилъ ихъ въ себѣ, не думая, чтобы архитекторы удовлетворили меня. Вы заставили камни говорить.

Избранъ былъ проектъ Витберга.

Вмѣстѣ съ этимъ онъ былъ причисленъ къ вѣдомству кабинета его величества съ годовымъ окладомъ трехъ тысячъ рублей и съ выдачей въ разныя времена до двѣнадцати тысячъ.

Слезы, скатившіяся по лицу государя, были высшею наградою художнику.

Онъ былъ осыпанъ вниманіемъ всей царской фамилии, изустной похвалою короля прусскаго и прусскаго наслѣднаго принца, въ бытность его величества въ Мо-

*) Въ трехъ верстахъ отъ имѣнія Артемьевыхъ.

скѣ *). Принцъ Оранскій посѣтилъ его чертежную **). Онъ наперерывъ получалъ похвалы отъ полномочныхъ представителей почти всѣхъ европейскихъ державъ, многихъ знаменитыхъ путешественниковъ и замѣчательныхъ соотечественниковъ. Проектъ этотъ называли «архитектурною поэзіею и поэмою храма». Графъ Воронцовъ желалъ способствовать къ изданію проекта въ свѣтъ и переводу его на греческій языкъ. Извѣстный мюнхенскій инженеръ Бибекингъ въ изданіи своемъ «Исторія архитектуры» писалъ о заложенномъ на Воробьевыхъ горахъ храмѣ, какъ о величайшемъ зодческомъ произведеніи новѣйшихъ временъ по смѣлости и колоссальности идеи.

Императорская академія художествъ въ отчетѣ своемъ за 1835 годъ назвала проектъ этотъ трудомъ, достойнымъ своего назначенія. Столько наградъ впередъ выкупаетъ много несчастій и гоненій.

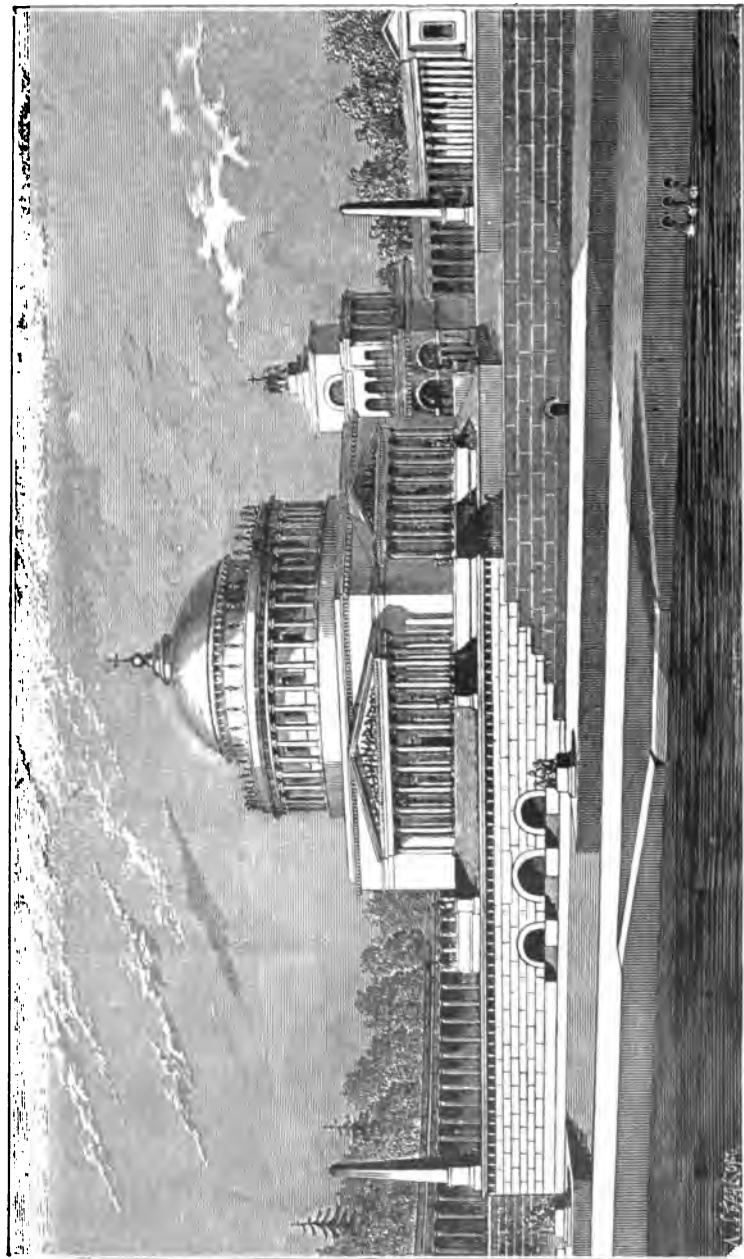
Наружный видъ плана храма Спасителя—тройственный, крестообразный. Какъ въ цѣломъ, такъ и каждая часть его выражаютъ внутренній смыслъ. Тройственность эта соотвѣтствуетъ человѣку, который, по словамъ священнаго писанія, есть «храмъ духа святого», состоящій изъ трехъ началъ: тѣла, души и духа. Такая же тройственность обозначаетъ и три періода жизни Спасителя: воплощеніе, преображеніе и воскресеніе.

Первый храмъ — нижній, храмъ тѣлесный, тремя сторонами вдается въ гору; свѣтъ проникаетъ въ него съ четвертой стороны—восточной. Алтарь освѣщаютъ огромныя стекла съ изображеніемъ Рождества Христова. Сводъ поддерживается столбами изъ гранита. Стѣны украшены чернымъ, бѣлымъ и сѣрымъ мраморомъ. Барельефы изображаютъ исторію и смерть Спасителя и апостоловъ. Въ углубленіи катакомбы въ память всѣхъ воиновъ, павшихъ за отечество. Сводъ образуетъ фундаментъ второго храма и завершается катакомбой, въ которой должны быть положены воины, павшіе за отечество въ 1812 году. Внутреннія лѣстницы соединяють нижній храмъ со вторымъ.

Второй храмъ, храмъ душевный, начинается на

*) Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV.

**) Король нидерландскій Вильгельмъ II.



Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ.
(Проектъ академика Витберга)
1817 г.

поверхности горы. Форма второго храма—пересѣченіе двухъ линій—крестъ. Свѣтъ въ полутонахъ сообщается ему отъ верхняго храма изъ оконъ, размѣщенныхъ невидимо. Алтарь освѣщенъ образомъ Преображенія. Барельефы изображаютъ жизнь и дѣянія Христа и апостоловъ. Внутреннія лѣстницы ведутъ въ храмъ третій.

Храмъ духовный представляетъ собою слѣдствіе креста—кругъ, выражающій безначальность и безконечность духа. Плафонъ въ куполѣ верхняго храма изображаетъ отверстое небо, ярко освѣщенное искусственнымъ свѣтомъ. Алтарь озаряетъ воскресеніе Спасителя. Барельефы представляютъ исторію Спасителя по Его воскресенію и Его вознесенію отъ этого міра.

Главный входъ въ храмъ ведетъ лѣстница на первую площадь; лѣстница эта раздѣляетъ большую террасу на двѣ половины, съ которой идетъ входъ въ храмъ нижній. Съ обѣихъ сторонъ террасы поднимаются уступы на верхнюю площадь ко второму храму. Главный куполъ храма поддерживается сквозной чугунной колоннадой, съ каждой стороны колоннады помѣщается кольцеобразно по пяти статуй главныхъ добродѣтелей. Съ одной стороны—ветхаго завѣта, съ другой—новаго съ текстами священнаго писанія.

Наружный обходъ второго храма украшаютъ изображенія пророковъ.

Верхнюю часть третьяго храма окружаютъ ангелы. Стилъ всего храма въ греческомъ характерѣ, — поражаетъ правильностью, изяществомъ и величественной красотой.

Не зданіе хотѣлъ воздвигнуть художникъ, а молитву Богу!

1817 года 12-го октября на Воробьевыхъ горахъ, между дорогами смоленской и калужской, въ то самое число и на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ аріергардъ французскій имѣлъ послѣдній ночлегъ, торжественно и всенародно, въ присутствіи государя и духовенства совершена была закладка храма Спасителя. Первый камень положилъ императоръ, второй — художникъ-строитель храма Витбергъ. Изъ Тарутина былъ доставленъ военный понтонъ, служившій императору Александру въ по-

ходѣ 1812 года. Онъ былъ накинута на Москву-рѣку, и государь переѣхалъ на немъ къ мѣсту своего обѣта.

При избраніи Воробьевыхъ горъ принято было въ соображеніе не только красота мѣстности и историческіе факты, соотвѣтствующіе значенію отечественнаго памятника, но и экономическій расчетъ: тутъ находилось достаточно матеріала для кирпича.

Въ день закладки храма Витбергъ былъ произведенъ въ коллежскіе ассессоры. Когда онъ явился къ князю Голицыну съ благодареніемъ, князь объявилъ ему по порученію государя, что государь, хотя и не находитъ надобности въ его присоединеніи къ православію, но что при настоящихъ обстоятельствахъ видить въ этомъ необходимость для народа и желаетъ этого, если это согласно и съ его желаніемъ.

Предметы религіозные всегда сильно занимали Витберга. Вслѣдствіе же близкаго знакомства съ Лабзиннымъ и бесѣды съ нимъ онъ уже давно находилъ въ обрядахъ греко-россійской церкви глубокія указанія. Сверхъ того, Августинъ постоянно склонялъ его присоединиться къ православію, и Витбергъ былъ близокъ къ этому, но не видѣлъ еще надобности; теперь же, сообразуясь съ указаніемъ государя,—согласился.

Государь изъявилъ желаніе быть его воспріемникомъ и далъ ему свое имя «Александръ».

1817 года 24 декабря, въ сочельникъ, въ домовоѣ церкви архіепископа Витбергъ былъ присоединенъ къ православноѣ церкви при священнодѣйствіи Августина. Отъ имени государя находился князь А. Н. Голицынъ. При обрядѣ присутствовали только: жена Витберга съ его сыномъ, двое друзей его, священникъ изъ кадетскаго корпуса и докторъ Мудровъ.

Затѣмъ Витбергъ сдѣланъ былъ потомственнымъ дворяниномъ, о чемъ тогда же были разосланы печатные указы.

На другой день обряда князь Голицынъ, вмѣстѣ съ поздравленіемъ отъ государя, объявилъ Витбергу высочайшую волю, чтобы онъ въ наискорѣйшемъ времени занялся составленіемъ «проекта коммисіи» сооруженія храма Спасителя, дабы народъ не думалъ, что государь ограничился одной закладкой, и ему желательно бы было, чтобы къ его отъѣзду все было готово.

На закладѣ храма Витбергъ сильно простудился и былъ тяжело боленъ. Это замедлило дѣло.

Уѣзжая въ Петербургъ, государь предоставилъ Александру Лаврентьевичу вплоть веденіе дѣла, а въ случаѣ надобности лично явиться въ Петербургъ.

Оправившись отъ болѣзни, Витбергъ тотчасъ занялся изложеніемъ общей мысли учрежденія комиссіи. Вездѣ онъ отрывался отъ формъ, утомляющихъ силы, сковывающихъ дѣйствія и только въ необходимыхъ случаяхъ жертвовалъ рутинѣ и обыкновеннымъ затрудненіямъ.

Чтобы ближе познакомиться съ чуждой ему частью хозяйственной, Витбергъ совѣтовался съ опытными людьми, вдумывался, трудился. Наконецъ, проектъ былъ готовъ.

Экономическая цѣль проекта состояла въ томъ, чтобы умѣренными средствами совершить это великое дѣло; сколько можно, избѣгать разорительныхъ порядковъ и не зависѣть отъ неограниченной, корыстной воли подрядчиковъ, въ случаѣ войны или другихъ затрудненій въ финансахъ не могло бы быть остановки въ работахъ храма отъ неотпуска суммы.

По волѣ государя, проектъ комиссіи поступилъ на разсмотрѣніе министра финансовъ Д. Л. Гурьева.

Гурьевъ проектъ одобрилъ.

Затѣмъ послѣдовало высочайшее одобреніе, и Витбергъ, съ причисленными къ нему чиновниками, былъ откомандированъ приступить къ отысканію строительнаго матеріала и пріобрѣтенію работниковъ.

Онъ открылъ много мѣстъ, изобилующихъ хорошимъ камнемъ, съ возможностью доставки по Москвѣ-рѣкѣ вплоть до Воробьевыхъ горъ, сдѣлавши рѣку судоходною. Съ тѣмъ вмѣстѣ отыскалъ нѣсколько помѣщичьихъ имѣній по назначенной имъ умѣренной цѣнѣ, нѣкоторые даже съ пониженіемъ противъ цѣнъ, высочайше утвержденныхъ.

Въ 1820 году Витбергъ отправился въ Петербургъ для донесенія о благополучномъ успѣхѣ возложенныхъ на него порученій. Онъ явился къ князю Голицыну, который объявилъ ему, что министръ финансовъ подалъ формальное опроверженіе его экономического проекта.

На слѣдующій день, по волѣ государя, мнѣніе мини-

стра финансовъ передано было Витбергу съ тѣмъ, чтобы онъ сдѣлалъ на него объясненія.

Витбергъ написалъ возраженіе. Государь остался имъ доволенъ и утвердилъ проектъ комиссіи съ экономической частью.

7-го іюля 1820 года составилъ слѣдующій рескриптъ на имя князя А. Н. Голицына:

«Князь Александръ Николаевичъ! Манифестомъ, даннымъ въ Вильнѣ въ 25-й день декабря 1812 года, возвѣстилъ Я намѣреніе соорудить въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ храмъ во имя Христа Спасителя, вслѣдствіе чего и заложилъ сей храмъ октября 12-го дня 1817 года на Воробьевыхъ горахъ по утвержденному Мною плану академика, коллежскаго асессора Витберга. Нынѣ, для производства строенія по сему плану и для распоряженія назначаемыми къ тому денежными и другими пособиями, призналъ Я за нужное учредить комиссію изъ двухъ первенствующихъ и двухъ непремѣнныхъ членовъ; первенствующими членами сей комиссіи повѣлѣваю быть митрополиту московскому Серафиму и московскому военному генералъ-губернатору князю Голицыну; непремѣнными—коллежскому асессору Витбергу, въ званіи директора строенія и экономической части, и одному совѣтнику, который отъ меня впредь назначенъ будетъ.

Я поручаю вамъ привести сіе въ исполненіе и объявить о семъ первенствующимъ членамъ комиссіи.

Пребываю къ вамъ всегда благосклонный

Александръ».

Въ концѣ 1820 года комиссія для сооруженія храма была открыта. Кромѣ упомянутыхъ лицъ, находились два совѣтника; для практической искусственной части въ штатѣ архитекторъ съ помощниками, каменный мастеръ, инженеръ-механикъ и чиновники по канцеляріи.

Комиссія состояла подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ государя. О дѣлахъ комиссіи государю докладывалъ министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія князь А. Н. Голицынъ.

Успѣхъ въ исполненіи экономического проекта превосходилъ ожиданія. Въ 1824 году комиссія имѣла до 24.000 душъ крестьянъ и приступила къ землянымъ

работамъ. Для хозяйственныхъ строеній, плотинъ, постройки барожъ, дамбы, набережной и проч. приобрѣтено было большое количество матеріала. Все съ значительнымъ пониженіемъ справочныхъ цѣнъ. Построена была и водоподъемная машина—первая въ Россіи. Оставалось только совершенствовать и исполнять.

Но высокая мысль и чистое стремленіе часто встрѣчаютъ противодѣйствіе. По отбытіи въ Петербургъ пресвященнаго Серафима, нѣкоторые изъ лицъ комиссіи задались нечистою цѣлю и увлекли за собою незлославленныхъ, но слабыхъ. Витбергъ необходимо сталъ въ оппозицію съ комиссіей. Съ точнымъ исполненіемъ проекта соединена была его слава, его существованіе. Другіе же искали только своихъ выгодъ и не останавливались ни за ложью, ни за клеветой. Первымъ поводомъ къ такого рода дѣйствіямъ былъ разладъ графа Аракчеева съ княземъ Голицынымъ по поводу строенія храма. Чтобы дать иной ходъ этому дѣлу, органомъ своего желанія графъ сдѣлалъ сенатора Кушнина, только что поступившаго въ комиссію. Не разсмотрѣвши дѣла, Кушнинъ поѣхалъ въ Петербургъ и подалъ государю записку, въ которой представилъ въ опороченномъ видѣ всѣ дѣйствія экономической и хозяйственной части, бывшія до его поступленія. Содержаніе этой обвинительной записки было до того ничтожно, что государь оставилъ ее въ безгласности. Витбергъ узналъ о ея содержаніи спустя много времени, при чтеніи изъ нея экстракта въ уголовной палатѣ. Въ это же время занялъ въ комиссіи вакансію совѣтникъ Масловъ, съ тайнымъ предписаніемъ дѣйствовать къ поддержанію записки Кушнина. Въ 1824 году Кушнинъ исходатайствовалъ нѣкоторыя постановленія, измѣнявшія коренное учрежденіе комиссіи. Вскорѣ князь Голицынъ былъ замѣненъ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ княземъ Мещерскимъ, и комиссія лишилась своего сильнаго представителя.

Такими смутными обстоятельствами воспользовался чиновникъ особыхъ порученій при Витбергѣ Балкашинъ. Онъ сталъ принимать на себя подряды подъ чужимъ именемъ. Затѣмъ сблизился съ Масловымъ, посредствомъ котораго увлекъ въ свою пользу первенствующихъ членовъ до того, что они произвольно замѣнили прежнее экономическое положеніе новымъ, которымъ предоста-

вляли себѣ непосредственное распоряженіе по заготовленію матеріала, и привели его въ дѣйствіе, не выжидая высочайшаго утвержденія.

Въ бытность Витберга въ Петербургѣ, казенныя барки съ камнемъ, сдѣлавшія въ одно лѣто четыре слага, были отняты отъ завѣдывавшаго ими и переданы Балкашину. Въ послѣдующее лѣто барки ни разу не были сплавлены, а затѣмъ злонамѣренно потоплены.

Такія же злоупотребленія были и со складами камня, съ известью, съ подводами, съ лошадьми, съ подрядами на камень.

Окончательно же возстановились противъ Витберга заинтересованные въ этихъ дѣлахъ тѣмъ, что онъ не допустилъ состояться подряду по однимъ торгамъ на доставку камня, послѣдняя цѣна на который осталась за повѣреннымъ Ѳедоровымъ по 44 руб. съ кубической сажени; первенствующие члены соглашались утвердить, со вѣтникомъ сгѣшши скрѣпить журналъ, Витбергъ удержалъ его руку и замѣтилъ, что цѣну можно понизить слишкомъ на 100 тысячъ. Сдѣлали переторжку: разницы вышло противъ первой цѣны въ пользу казны 390.000 руб.

За это, въ отмщеніе Витбергу, стали прибѣгать не только что къ ложнымъ доносамъ и клеветѣ, но вооружили противъ него первенствующихъ членовъ и увлекли ихъ въ пользу неправой стороны. Тогда Витбергъ открыто объявилъ въ комиссіи о беззаконныхъ дѣйствіяхъ Балкашина, который по вреднымъ связямъ своимъ съ совѣтниками употребляетъ во зло довѣренность первенствующихъ членовъ, вовлекая ихъ подписывать фальшивые доклады и неправильныя опредѣленія, и добавилъ, что такъ какъ ихъ подрядные виды угрожаютъ ввергнуть въ отвѣтственность всю комиссію, то онъ считаетъ себя обязаннымъ довести обо всемъ до свѣдѣнія государя. Въ заключеніе предложилъ первенствующимъ членамъ пріостановиться дѣйствіями комиссіи до высочайшаго разрѣшенія о должномъ направленіи дѣлъ. Князь Дмитрій Владиміровичъ сказалъ, что, дѣйствительно, лучше пріостановиться дѣйствіями комиссіи, чѣмъ отвѣчать за чьи-нибудь дурныя дѣла, но не устоялъ въ этомъ намѣреніи и во время отсутствія Витберга не только что подписывалъ съ прочими членами

все, что ему представляли совѣтники, но еще въ томъ числѣ выдать Балкашину 115.000 р. за противозаконно выломанный имъ камень въ чужомъ имѣніи и на освобожденіе его залоговъ по каменномолвному подряду.

Въ Петербургѣ Витбергъ подалъ государю письмо, въ которомъ объяснялъ все дѣло комиссіи и что онъ не въ силахъ противоборствовать. Государь собирался въ Таганрогъ. Передъ отъѣздомъ своимъ назначилъ ему вечеръ для личнаго объясненія, но, задержанный прощальными свиданіями, поручилъ ему объяснить все дѣло графу Аракчееву, къ которому поступили и всѣ бумаги по комиссіи.

Изъ свиданія съ Аракчеевымъ Витбергъ замѣтилъ, что ему хорошо извѣстны дѣла комиссіи и правильность его дѣйствій; мѣры Кушнинава онъ называлъ опрометчивыми, а относительно непріятностей, вынесенныхъ Витбергомъ, сказалъ ему: «Ну, ужъ что дѣлать, за то, вѣрно, государь императоръ наградить васъ». Такимъ образомъ, графъ, завязавшій интригу, хотѣлъ развязать ее наилучшимъ образомъ въ пользу великаго памятника Россіи. Но онъ вскорѣ заболѣлъ и былъ отстраненъ отъ дѣлъ. Черезъ два мѣсяца императоръ кончилъ жизнь. Воцарившемуся государю были неизвѣстны дѣла комиссіи, и Витбергъ остался одинъ противъ нѣсколькихъ лицъ съ сильными связями, неутомимо стремившимися къ его гибели.

Комиссія вошла къ императору Николаю Павловичу съ докладомъ, въ которомъ повторила обвиненія строителя храма; государь поручилъ статсъ-секретарю Николаю Назаровичу Муравьеву отобрать отъ Витберга объясненія. Муравьевымъ на поднесенное отъ комиссіи обвиненіе представленъ былъ слѣдующій докладъ:

«Сооружаемаго въ Москвѣ храма директоръ и экономической комиссія членъ, коллежскій совѣтникъ Витбергъ съ полной обстоятельностью отразилъ всѣ обвиненія комиссіи, при чемъ изложилъ сущность той экономической системы построенія, которою онъ руководствовался, и то зло и тѣ убытки для казны, какіе происходили отъ «подрядной системы», которой упорно держался его сочлены по комиссіи».

1826 года съ ноября мѣсяца, по высочайшему повелѣнію, приказано было генераль-адъютанту Стрекалову

изслѣдовать весь ходъ дѣла комиссіи по построенію храма, вслѣдствіе жалобы отставного капитана гвардіи Ивана Алексѣевича Яковлева, состоявшей въ томъ, что каменоломный подрядчикъ Балкашинъ самовольно открылъ ломку камня въ его имѣніи, селѣ Васильевскомъ, при Москвѣ-рѣкѣ, взорвалъ порохоми находящіеся въ Васильевскомъ горы камня и мрамора, завалилъ обломками на большое пространство поле и берегъ рѣки, чѣмъ нанесъ ему большой вредъ.

Витбергъ принужденъ былъ давать формальные отвѣты и показанія на запросы слѣдователя.

Слѣдователь былъ весь на сторонѣ противниковъ художника. Ревизія Стрекалова продолжалась два мѣсяца, самъ онъ лично былъ только одинъ разъ въ комиссіи. Дѣломъ занимался его секретарь съ совѣтниками безъ присутствія Витберга.

Объясненіе совѣтниковъ пущено было въ ходъ, Витбергово задержано; онъ препроводилъ куда слѣдуетъ съ него копію, это послужило къ правильному разсмотрѣнію дѣла и рѣшеніемъ сената подверглись судимости не только совѣтники, но и первостепенные члены, которые избавлены были отъ оной только по званію своему, а за ними проскользнули и дѣйствительные виновники.

Для разсмотрѣнія ревизіи Стрекалова былъ высочайше учрежденъ комитетъ. Результатомъ комитета было высочайшее повелѣніе 1827 года 16-го апрѣля о закрытіи комиссіи сооруженія храма и отдача членовъ комиссіи подъ судъ московской уголовной палаты.

Присланные изъ Петербурга чиновники контроля, больше по догадкамъ и соображеніямъ, какъ писалъ объ этомъ Руничъ, насчитали до 900 тысячъ разнаго рода растраты и передать во вредъ казны.

Дѣйствительные же выгоды, какъ-то: при покупкахъ имѣній, заготовленіи лѣса, строеніи барокъ и проч. были скрыты.

Ревизія была представлена на высочайшее вниманіе государя, помимо мнѣнія государственнаго контролера, и передана сенату.

Дѣло это тянулось около десяти лѣтъ и окончено въ 1835 году. Всѣ лица, бывшія подъ судомъ, въ томъ числѣ и Витбергъ, признаны виновными «въ злоупо-

гребленіяхъ и противозаконныхъ дѣйствіяхъ въ ущербъ казнѣ.

Въ вознагражденіе таковыхъ ущербовъ, исчисленныхъ до 580.000 руб., описаны были имѣнія подсудимыхъ *); Витбергъ въ томъ же 1835 году былъ сосланъ въ Вятку.

Рѣшеніе дѣла было для Витберга страшнымъ ударомъ,—онъ не ожидалъ его. Великій художникъ былъ увѣренъ, что будетъ оправданъ и даже вознагражденъ.

Исторія построенія храма Витбергомъ и все теченіе этого дѣла соединены, хотя не ясно, съ воспоминаніями моего отрочества и юности, объ этомъ дѣлѣ я слыжала частые, горячіе разговоры въ домѣ Ивана Алексѣевича, особенно съ того времени, какъ замѣшались въ него его личные интересы, вслѣдствіе взрыва порохомъ мраморныхъ горъ и камня въ Васильевскомъ. Взрывъ, разсказывали, былъ неожиданъ и такъ ужасенъ, что на селѣ у крестьянъ и въ барскомъ домѣ вылетѣли изъ оконъ стекла и пошатнулись нѣкоторые изъ старыхъ построекъ. Громадныя глыбы камня и мрамора версты на двѣ завалили поле и берега Москвы-рѣки. Живши въ Васильевскомъ, мы иногда ходили среди этихъ развалинъ, дивились ихъ величію, и каждый разъ при этомъ приходилось слушать повтореніе печальной исторіи постройки храма Спасителя на Воробьевыхъ горахъ. Чтеніе записокъ Витберга, соединившись съ моими воспоминаніями, вызвало у меня желаніе попространнѣе поговорить объ этомъ времени, объ этомъ замѣчательномъ обѣтѣ императора Александра Павловича и о величественномъ планѣ храма Спасителя, возникшемъ въ религиозной душѣ художника, такъ дивно совпавшемъ съ идеаломъ храма, жившимъ въ душѣ государя.

Сверхъ того, вполнѣдствіи съ художникомъ-страдальцемъ судьба сплела довольно тѣсно судьбу товарища и друга моихъ дальнихъ лѣтъ—Саши, что можно видѣть изъ приложенныхъ здѣсь нѣсколькихъ писемъ его къ Витбергу.



*) Находились подъ секвестромъ.

ГЛАВА XXXI.

Переписка.

1835—1838.

.....Письмо твое
Пахнуло жизнью благодатной,
Сердечный голосъ пѣсни внятной
Смягчилъ страданіе мое.

За три года до своего осужденія Витбергъ лишился отца и любимой жены. Онъ сильно тосковалъ, дѣти оставались безъ присмотра, онъ женился вновь на бѣдной дѣвушкѣ Авдотѣ Викторовнѣ Пузыревской и вскорѣ послѣ женитьбы былъ высланъ на жительство въ Вятку. Собравшись наскоро, захвативъ съ собою свой проектъ, свои бумаги, онъ отправился въ ссылку одинъ; семейство его, состоявшее изъ жены, двухъ дочерей и двухъ сыновей, пріѣхало къ нему спустя нѣсколько мѣсяцевъ.

1835 года въ ноябрѣ мѣсяцѣ бывшій строитель храма Христа Спасителя прибылъ на мѣсто своей ссылки.

Пріѣздъ Витберга въ Вятку произвелъ тамъ сильное впечатлѣніе. Когда онъ появлялся на улицахъ, прохожіе останавливались и съ любопытствомъ осматривали его. Купцы-сидѣльцы бросали лавки и выбѣгали посмотреть на знаменитаго ссылнаго.

Въ Вяткѣ Витбергъ повелъ жизнь самую уединенную, терпѣлъ сильную нужду, никому не жаловался на свою участь, долго не терялъ надежды оправдаться и возстановить свое честное имя, даже надѣялся со временемъ видѣть свой проектъ осуществленнымъ и съ неостывшей любовью продолжалъ заниматься его обработкой.

Душевное состояніе его неожиданно нашло поддержку въ дружбѣ Александра, случайно попавшаго въ Вятку.

Въ 1835 году осенью они встрѣтились на одномъ вечерѣ и сблизились.

Въ 1837 году Сапа былъ переведенъ во Владиміръ.

По пріѣздѣ во Владиміръ, онъ писалъ Витбергу:

«Покорнѣйше прошу всѣхъ съѣсть кругомъ, а читать заставить Вѣру Александровну *).

*) Старшая дочь Витберга.

Я понемногу начинаю привыкать къ совершенно одинокой жизни, начинаю отвыкать отъ людей и съ тѣмъ вмѣстѣ отъ шума; мысль, чувство не испаряются словомъ, а кристаллизуются глубоко въ душѣ. Довольно мнѣ люди послѣдовательно передавали все, что у нихъ есть. Сначала матеріальное существованіе, потомъ одною рукою симпатію и дружбу, другою — гнѣтъ и ненависть; одной рукою подали Библію, а другою — Фоблаза; больше нечего мнѣ получить. Мысль славы, и тобою я жертвую. Вы ее называли ребяческою въ одномъ изъ послѣднихъ разговоровъ и были неправы; мысль дѣятельности — прощай и ты! И мнѣ жаль ихъ такъ, какъ жаль вятскихъ друзей и друзей московскихъ; но дѣлать нечего, — я не вашъ, такъ какъ монахъ, не принадлежу свѣту, а принадлежу вселенной. Недавно сладко и изящно мечталъ я о смерти, она мнѣ являлась съ чертами ангела и, скрестивъ руки на груди, я смотрѣлъ вверхъ. Эти дни моя душа не болѣла такъ судорожно, не рвалась такъ на клочки, какъ прежде — и вотъ гармонія разлилась по ней. Часто обертываюсь и смотрю на это прожитое пространство, и оно выходитъ изъ гроба, и я, какъ «покойный императоръ» Жуковскаго, дѣлаю смотръ: вотъ оргіи, въ которыхъ, все-таки, нѣтъ того вреда, который вы предполагаете, вотъ смѣхъ, вотъ слеза, слезы, — я не отворачиваюсь ни отъ чего. Душа моя — *ohne Tafel*. Да, я извѣдалъ жизнь не такъ, какъ поэты нашего вѣка, а свинцомъ и зажженной свѣрой. Святого искалъ я и нашелъ, наконецъ, святое, а въ немъ, какъ въ бѣломъ лучѣ солнца, соединено и изящное, и великое.

Моя владимірская жизнь, повторяю, это сорокъ дней въ пустынѣ, это крестъ на паперти.

Вы не узнали бы меня, нѣтъ, вы-то бы, кажется, узнали, а многіе, любившіе во мнѣ не мое — разгулъ, не узнали бы теперь. Дай Богъ силъ совершить начатое; но Онъ и даетъ силы, Онъ самъ своей десницею подноситъ къ устамъ моимъ чашу небеснаго, святого питья. Александръ Лаврентьевичъ, высока жизнь и на землѣ для того, кто умѣетъ ее постигнуть.

Теперь ко вздору, т.е. къ подробностямъ обо мнѣ. Головная боль *sui generis* продолжается, т.е. не боль, а сильные приливы; совсѣмъ напротивъ, кажется, что

надзоръ не продолжается, но я еще ничего не предпринимаю.

Далѣе, я совершенно отвыкъ ѣсть; доселѣ и копченая телятина, и рябчики, и все цѣло; тутъ еще изъ Москвы наслади всякой всячины и мнѣ смѣшно смотрѣть на заботу объ ѣдѣ. Что на это скажетъ Эрнъ?

Квартира довольно велика и удобна, но нечиста до безконечности; я тутъ не останусь, хочу имѣть un joli chez soi un chez soi comfortable, а дорого—25 руб. въ мѣсяцъ. Здѣсь на все дороговизна непомѣрная. А, можетъ, скоро и не надобно во Владимірѣ chez soi, — я солнцемъ *) буду намѣчать эту мысль.

Но, въ самомъ дѣлѣ, я эгоистъ, говорю все о себѣ, итакъ, симъ оканчиваю ячество.

Что, вы долго ли грустили обо мнѣ и какъ теперь? Пожалуйста, подробнѣе пишите: и дымъ Вятки Г—ну сладокъ и пріятенъ; извините, что не сказалъ отечества, отечество мое—Москва.

Какъ теперь, вижу—вотъ Вѣра Александровна разливаетъ чай, дежурная идетъ за Прасковьей Петровной **), а вы ходите по комнатамъ съ Авдотьей Витерной. Когда-то увидимся? ежели и никогда, не ужасайтесь: души наши увидятся; гдѣ бы ни былъ пилигримъ, онъ благословитъ дубъ, подъ сѣнью котораго отдыхалъ (въ альбомѣ у Вѣры Александровны), онъ не забудетъ родительскій домъ въ чужомъ домѣ.

Бога ради, Прасковья Петровна, берегите ваше здоровье. Вы не можете о жизни говорить такъ, какъ я: ваша жизнь имѣетъ опредѣленную, святую цѣль, и эта цѣль требуетъ не токмо жизни, но и здоровья. Взгляните на этихъ милыхъ, прелестныхъ херувимчиковъ и не negliжируйте.

Ахъ, какъ хорошо провели мы время въ одинъ изъ послѣднихъ вечеровъ, когда съ Полиной перечитывали «Дѣву Орлеанскую»; помните, Вѣра Александровна? Но передъ тѣмъ какъ вы пѣли «Матушка, голова болитъ», какъ конуатицію Дѣвѣ Орлеанской, у которой часто болѣла душа. Опять началъ вздоръ говорить; прощайте, прощайте.

*) Въ подлинникѣ нарисовано солнце.

**) Вдова Медвѣдева, другъ Витберговъ, жившая вмѣстѣ съ ними.

24-го февраля 1834 г.

«Письмо ваше, Александръ Лаврентьевичъ, отъ 15-го, получилъ и вотъ отвѣтъ; сперва о васъ, потомъ о себѣ *)... Я вамъ пишу, какъ сынъ, какъ близкій родственникъ, смѣло говорю вамъ, на меня считайте. Благодарю васъ за письмо и возвращаю его (но съ тѣмъ вмѣстѣ рѣшительно прошу васъ съ моего письма снимка не посылать, я говорю съ вами). Я прочелъ это письмо, Александръ Лаврентьевичъ! Ваша душа—храмъ одной мысли, чистая и высокая—очень довѣрчива; я мало вѣрю словамъ, можете, потому, что самъ бросалъ ихъ направо и налево, теперь обращаюсь къ себѣ и вотъ вамъ полная исповѣдь, судите сами:

Половина тягостнаго положенія, въ которомъ я писалъ къ Эрну, снята. «Le grand secret de révolution, говаривалъ знатокъ въ этихъ дѣлахъ Saint Juste, c'est d'oser».

Eh bien, j'ai osé, j'ai écrit à mon père une lettre feu et flamme, on y voyait le fils prosterné devant son père et l'homme résolu. La lettre était vraiment belle, mais âcre en divers point. Les vexations qu'elle souffre étaient la cause de ces âcretés.

Ну, слушайте же: получаю отвѣтъ, какъ обыкновенно, безъ удивленія, довольно холодный; потомъ другое письмо, въ немъ прямо и ясно сказано: «однажды и навсегда благословляю тебя на жизнь твою и слѣдственно на всѣ предпріятія. Но такъ какъ ты придумалъ самъ, то самъ и дѣлай, какъ хочешь, я увѣряю въ одномъ, что мѣшать не стану».

Carisco, carisco, какъ говорятъ итальянцы: carisco, caro Padre! мѣшать не стану—значить въ переводѣ: «я знаю, что ты не можешь обойтись безъ моей помощи»; ну, признаюсь, у меня все было готово въ случаѣ отказа, двадцать членовъ просили быть помощниками, но это полудозволеніе все остановило и я хочу попробовать тихо кончить и, ежели можно, нынѣшнимъ лѣтомъ; да, непременно нынѣшнимъ лѣтомъ, ибо вы не

*) Вятскій другъ пишетъ Витбергу о растратѣ его имущества, извѣрнаго въ Москвѣ одному родственнику жены Александра Лаврентьевича. Всѣ подробности здѣсь опущены.

можете себя представить, что дѣлаетъ княгиня. Я готовъ отложить, потребую формальнаго обрученія. Вотъ и все. Перестрадать я въ это время ужасно много, нѣсколько разъ блѣдный и отчаянный обращалъ я взоръ къ небу и молился. Теперь лучше и я спокойнѣе жду, какъ судьба развяжетъ узелъ, завязанный рукою Бога?

Вотъ вамъ довольно странный случай. Въ Москвѣ простой народъ говорилъ: «горе работникамъ, которые коснутся до Алексѣвскаго монастыря»,—и что же? въ первый день при огромной толпѣ работниковъ, снимая крестъ, сорвался и расшибся вдребезги!

Вы угадали—Жуковский вымаралъ пять послѣднихъ строкъ въ S. Maestri...

PS. Вчера обѣдалъ я у проживавшаго здѣсь сенатора Озерова; я завелъ рѣчь о васъ pour epier, und manches möchte ich schreiben er hat eine wichtige Stelle bei der neuen Commission.

Вина не пью, сижу все еще безвыходно дома, пишу новую повѣсть и, кажется, удачно заглавіе: «Его превосходительство».

7-го апрѣля 1838 г.

«Ежели вы прочли письмо къ Эрну, то не для чего писать о томъ же, Александръ Лаврентьевичъ, да и у меня на душѣ разсказать вамъ три восторга, три вдохновенія. Господь очищаетъ мою душу, слава Ему, слава!

Я говѣлъ, холодно пришелъ на исповѣдь; священникъ-поэтъ увлекъ меня, мы разстались тронутыми, я каялся, обличалъ себя и клялся исправиться; онъ молился обо мнѣ и не для формы. Вотъ первая минута. Въ молитвѣ провелъ я время до причастія; прихожу я въ церковь, подхожу къ дарамъ, въ то же самое время женщина подняла маленькаго ребенка и священникъ сказалъ: «причащается рабъ божій Александръ», и прибавилъ: «и раба божія Наталія». Вы это понимаете, толковать нечего—это вторая минута. Третья—обѣдня въ праздникъ, архіерейская служба. Да, греческая литургія—поэма, это мистерія и драма высочайшая. Вотъ идутъ четыре дьякона на четыре конца міра проповѣдывать евангеліе, вотъ Его намѣстникъ въ прахѣ молить Бога благословить жертвоприношеніе. Но прежде онъ у ногъ клира, который цѣлуетъ руку его, потомъ у ногъ народа—чистымъ идетъ къ престолу. Это высоко!

Маститый старецъ выходитъ изъ алтаря, т.-е. съ востока, какъ Гесперь, и говоритъ западу: «Христось воскресе!» тысячью голосовъ подтверждаетъ западъ, говоритъ югу, сѣверу — и сѣверъ и югъ подтверждаютъ. Тогда старецъ обнимаетъ и цѣлуетъ клиръ, цѣлуетъ всѣхъ и всѣ цѣлуются, все ликуеть. Искупленіе міра совершилось! Повѣрите ли, что я совершенно увлекся поэзіей литургіи и такъ отъ души цѣловался со священниками, какъ сынъ съ отцомъ. О, вотъ какимъ хотѣлъ Христось человѣчество, чтобы весь родъ человѣческій обнялся и прижался бы къ его неизмѣримому сердцу! Весь родъ человѣческій долженъ любить другъ друга, какъ я и Наташа любимъ *).

А что они сдѣлали, люди?—снисхожденіе! они еще поправятся, они дѣти, будутъ взрослые.

Ну, еще новость. Изъ прошлаго письма вы могли догадаться, что я видѣлся съ Наташей; это было въ седьмомъ часу утра, на полчаса. Она требовала, чтобы седьмой часъ каждаго дня былъ посвященъ молитвѣ. Я и исполнилъ волю посланницы божіей—и, повѣрите ли, никогда не просплю седьмого часа и теперь такъ привыкъ, что, какъ проснусь, рука поневолѣ складываетъ крестъ и уста поневолѣ начинаютъ молитву. Моя молитва проста, одна благодарность за то, что существуетъ Ангель—больше ничего. Потомъ часто опять засыпаю.

О, какое необъятное разстояніе между моею вятской жизнью и здѣшней. И сухая мысль о славѣ падаетъ, и все, все обращается въ одну свѣтлую область любви.

Мы умремъ отъ любви.

Желалъ бы умереть въ самое то время, когда кончится вѣнчаніе, тутъ въ церкви, предъ престоломъ,—или нѣтъ, выйти на воздухъ. Природа та же церковъ, но зодчій—Богъ. Моя фантазія дѣлается шире, а умъ—глупѣе. Хорошій признакъ. Обнимаю васъ, какъ сынъ».

*) Вліяніе мистицизма Витберга было такъ сильно на его «вятскаго друга», что въ это время Г...енъ написалъ историческія сцены въ соціально-религіозномъ духѣ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ представилъ борьбу древняго міра съ христіанствомъ; тутъ апостолъ Павелъ, входя въ Римъ, воскресилъ мертваго юношу къ новой жизни. Одна изъ этихъ римскихъ сценъ помѣщена въ XXX гл. «Изъ дальнихъ лѣтъ».

11-го мая 1838 г. Владиміръ.

«Александръ Лаврентьевичъ, не ждите ни разсказа, ни отчета, ничего; довольно, ежели скажу, что 9-го мая я вѣнчался во Владимірѣ. Слишкомъ свѣтло, слишкомъ свято, чтобъ переносить на бумагу. Наконецъ, гармонія замѣнить судорожное развитіе. Какъ и что, напишу послѣ, гораздо послѣ... довольно—я ее увезъ, прямо въ церковь и съ благословенія архіерея, съ соблюденіемъ всѣхъ формъ обвѣнчался. Счастливъ ли я? ну, тутъ нечего говорить, пусть скажетъ это M-me H...en сама.

Поручаю аих *bonnes grâces* вашихъ моему жену. Прощайте.

По вашему наставленію, Наташино кольцо серебряное. Александръ».

...«Нѣтъ мѣры, нѣтъ предѣловъ нашему блаженству... Но мысль, что эти строки наведутъ улыбку на ваше сердце, на ваши уста... Великій! расширяетъ его еще больше! Наконецъ, совершилось то, къ чему я шла со дня моего появленія въ міръ. И какъ все было живо, торжественно! Я увѣрена, что и въ Вяткѣ 9-го мая небо было яснѣе. Вы благословили Александра на пути терновомъ, благословите теперь сына и дочь на пути, усѣянномъ цвѣтами дая, любимыми цвѣтами Бога! Наташа.

Сообщите всѣмъ любящимъ и помнящимъ меня о 9-мъ маѣ. Всѣмъ, всѣмъ. Александръ».

3-го іюня 1838 г. Владиміръ.

«Съ искреннимъ и живымъ восторгомъ прочли мы, почтеннѣйшій, любезнѣйшій Александръ Лаврентьевичъ, ваше письмо отъ 24-го. И вы не хотѣли тогда дать мнѣ поцѣловать вашу руку, я цѣлую ее теперь. О, я умѣю чувствовать эту струю теплоты, умѣю понимать слова съ устъ вашихъ!

Вы ближайшій мнѣ родственникъ. Боже мой, какъ я богатъ, какъ счастливъ, и любовь, и симпатія вѣнчаютъ меня. Дайте остановиться, волнуется сердце. О, какъ бы я прижалъ васъ къ груди моей, какъ пролилъ бы вѣстѣ слезу! Вѣдь тогда, въ 1835 г., я слабый, неокрѣпнувшій, увлеченный, въ вашемъ объятіи нашелъ опору отца, я былъ еще неустроенъ, а теперь этотъ

юноша, этотъ сынъ... нѣтъ, нѣтъ, не словомъ, не звуками, а слезой и взоромъ я бы сказалъ вамъ, что я теперь.

Какъ было, какія послѣдствія — вотъ нѣсколько словъ, но ужъ лично подробности; я вѣрю, что мнѣ еще суждено видѣть семью родныхъ. Паленька объявилъ полное прощенье, амнистію и въ доказательство приложилъ государственными ассигнаціями; первое я сохранилъ навѣки въ сердцѣ, второе—на два дня въ шкапулкѣ. Теперь исторія. Я прискакалъ за Наташей, взялъ ее въ коляску, въ чужомъ платкѣ, въ чужомъ салонѣ 8-го мая въ обѣдъ и поскакалъ назадъ. Тутъ все было готово. Смутно было по дорогѣ, и опасенія, и необъятность счастья, словомъ—ни я, ни она не поняли, что мы ѣдемъ вмѣстѣ. Минутно вспыхивала душа, но постоянно была оглушена счастьемъ. Ночью мы проѣзжали маленькій городокъ; было темно, городъ спалъ, но въ часовнѣ теплилась лампада, а свѣтъ ея, обращенный туда, къ Дѣвѣ чистѣйшей, затрепеталъ на лицѣ моей Наташи: тутъ я проснулся, сказалъ ей: «молись» и самъ молился; потомъ опять дорога, хлопоты, «пожалуйте на водку» и т. д. Въ пять часовъ послѣ обѣда мы пріѣхали. Все было готово, но что всего лучше, и души наши изготовились. Когда я подаль руку ей, чтобъ вести въ церковь, тогда душа полнымъ размахомъ взлетѣла. О, тогда мы были изящны, а пышное солнце на закатѣ насъ освѣщало, провожало! Въ церкви почти никого не было; рука-объ-руку вошелъ я съ нею. Вы знаете, что я уже понимаю теперь важность таинства, что я понимаю «любите другъ друга, зане повелѣваетъ Богъ». О это было торжественно и величественно! И священникъ дивный, ну все, все, даже «многая лѣта» на концѣ гремѣло торжественнѣе обыкновеннаго. Нѣсколько дней послѣ мы дивились другъ на друга, какъ это случилось, спрашивали другъ друга; а когда настало гармоническое, спокойное чувство, когда мы развернули наши письма, когда вмѣстѣ стали читать отрывки этой поэмы, которая поднимала насъ къ небу, и потомъ бросились другъ другу на шею,—ну, опять граница. Языкъ малъ, бѣденъ, недостаточенъ (и притомъ говорю я, а вы знаете мою способность языческую). И какъ для меня ново это гармоническое бытіе послѣ судорожной юности; я чувствую, что становлюсь сильнѣе—да, имѣя такой залогъ

отъ Бога. Однако, пора изъ вашего кабинета идти, прощайте. Да я не со двора, а въ ту комнату, т.-е. къ Авдотѣ Викторовнѣ.

Да, сестра, ангела, ангела дивнаго послало мнѣ небо. Ежели ему довольно любви пламенной, безпредѣльной, любви души широкой, ежели достаточно, то эта душа, алкавшая и славы, и шума, и поприща, и власти, вмѣсто всего смиренно обратилась къ подножію его, то она счастлива. А вы знаете любовь ея ко мнѣ...

Вѣрите ли, что я далъ бы теперь половину, что у меня есть, чтобъ провести недѣлю съ Наташей въ дальней, холодной Вяткѣ. Богу угодно было соединить, переплестъ жизнь Витберговъ съ жизнью Г...иныхъ. Да исполнится воля Его.

Ну, позвольте теперь поговорить о вздорѣ, неизлѣчимъ—грѣшный человѣкъ: ну, представьте вы себѣ меня женатымъ, комфортабельнымъ человѣкомъ; воля ваша, а это смѣшно. Ну, мы сущія дѣти, маленькія дѣти, и я и Natalie шалимъ, учимся. Впрочемъ, по хозяйственному отношенію, я занимаюсь много, а именно съ султанскою настойчивостью требую, чтобы madame-дита ходила затянута и одѣтая, *car tel est le bon plaisir de monsieur-дита*.

А получили ли вы канву? я съ тѣхъ поръ, какъ женатъ, сдѣлался вотъ какъ аккуратенъ. А на душѣ свѣтло, свѣтло!

Гдѣ Вѣра Александровна, меньшая сестра, въ саду или дорисовываетъ розанъ, начатый лѣта 1673, ну, тотъ, что Александръ Лаврентьевичъ смылъ? все равно, гдѣ бы она ни была, она мнѣ дастъ руку, а я ее сожму крѣпко, отъ души...

Черезъ мѣсяцъ ваше рожденіе,—поздравляю. Какой дивный былъ вечеръ въ 1836 году—помните?

PS. Да, я забылъ-было: 1) бракъ былъ съ благословенія архіерея, 2) всѣ денежные издержки фурнированы были благороднымъ Косьмой Васильевичемъ Бѣляевымъ; мнѣ приятно упомянуть объ этомъ, тѣмъ болѣе, что все это требовало довольно значительной суммы.

Спустя нѣсколько времени, Витбергъ получилъ отъ того же счастливаго друга слѣдующее письмо:

«Вамъ, вѣрно, будетъ очень приятно узнать, Александръ Лаврентьевичъ, какъ высокія души симпатизи-

рують. Васи́лій Андре́евич Жуко́вскій не забы́ть встрѣчи съ вами; онъ говоритъ въ Москвѣ вездѣ, что жалѣеть, зачѣмъ храмъ будетъ не вашъ, предлагалъ даже спросить вашего мнѣнія о новомъ проектѣ и вообще отзывался, какъ поэтъ Жуковский.

Что касается до моего дѣла, болѣе перевода во Владимиръ ничего нельзя было сдѣлать. Государь сказалъ: «Я для нихъ назначилъ срокъ». Но теперь что же мнѣ Владимиръ—уголъ рая, и ежели человѣку надобна земная опора, не все ли равно гдѣ она—на Клязьмѣ или на Эльбѣ. Я до того счастливъ, что мнѣ иногда становится страшно. За что же Провидѣніе меня такъ наградило? Неужели за мои мелкія страданія? Въ самомъ дѣлѣ, какъ необъятно наше блаженство, даже всѣ эти непреодолимые препятствія исчезли, растаяли отъ чистаго огня любви чистой. Папенька и Левъ Алексѣевичъ съ первой же почтой писали миръ и поздравленіе и хотя, кажется, папенька хочеть немножко меня потѣснить матеріальными средствами, но это больше отцовское наказаніе, временное, нежели сердце. Еще разъ прощайте. Цѣлую и обнимаю васъ».

Іюля 14-го 1838 г. Владимиръ.

«Почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ! Васъ удивятъ приложенные 1.000 рублей; итакъ, съ нихъ начну рѣчь. Вамъ деньги нужны, вотъ 1.000 рублей, когда будутъ не нужны, вы ихъ пришлете и дѣло съ концомъ. Деньги эти не мои, онѣ принадлежать одному человѣку, душою преданному вамъ и который, имѣя деньги въ рукахъ, могъ, нисколько не стѣсняя себя, дать взаймы 1.000 рублей. Для васъ все это загадка, и вы ее не отгадаете, только вѣрьте, что мое только трудъ и больше ничего. Ежели вы откажетесь отъ нихъ, вы оскорбите меня самымъ горькимъ образомъ, и развѣ возможно христіанину отвергнуть руку брата?..

Читали ли вы рѣчь Филарета при перенесеніи закладки храма? Ну, человѣкъ, нечего сказать, великій! («Московскія Вѣдомости» за 1838 г. іюля 2-го № 53).

Ну, что я вамъ скажу о себѣ? Счастливъ, сколько можетъ человѣкъ быть счастливъ на землѣ, сколько можетъ быть счастливъ человѣкъ, имѣющій душу рас-

крытую и свѣтлому, и высокому и симпатичную къ страданію другихъ.

Наташа—поэтъ безумный, неземной, въ ней все необыкновенно: она дика, боится толпы, но со мною висока и изящна. Кстати, я хотѣлъ вамъ написать, она, тоже какъ вы, не любитъ смѣхъ, никогда не произносить напрасно имя Бога и не любитъ Гогартовыхъ карикатуръ. Это напомнить вамъ нашу жизнь совокупную. А я думаю, подчасъ вамъ сладко вспомнить мрачные 1836 и 1837 годы: и въ дальней Вяткѣ вы нашли человѣка, душевно преданнаго, съ пламенной любовью къ вамъ.

Я воображаю, что въ Вяткѣ скука ужасная

Что новый губернаторъ? что Величко, съ которымъ, мнѣ казалось, я былъ довольно знакомъ? Разумѣется, что здѣсь лучше жить, здѣсь Европа (вчера) и за то европейская дороговизна. Прощайте, душой любящій васъ А. Г.»

10-го августа 1838 г. Владиміръ.

«Часа два тому назадъ пріѣхалъ я во Владиміръ изъ деревни и, найдши письмо ваше, тотчасъ принялся отвѣчать вамъ. Мнѣ было необходимо писать къ вамъ, сообщить толпу думъ и чувствъ, наполнявшихъ меня на мѣстѣ святомъ для насъ. Путь мой лежалъ около Москвы, онъ меня привелъ на Воробьевы горы. Душа стѣснилась, когда я издали увидѣлъ лѣстницу. Тутъ я—ребенокъ—въ какомъ-то восторгѣ понялъ высокую душу Ника, тутъ заходящее солнце благословило нашу дружбу; съ тѣхъ поръ Воробьевы горы для насъ святыня. Потомъ я узналъ васъ, мы сдвинулись и снова Воробьевы горы стали святы. И вотъ этотъ двукратно святой холмъ явился, но не тѣмъ торжественнымъ, какъ прежде; дождь лился, сырой вѣтеръ дулъ. Я велѣлъ ямщику остановиться и пошелъ съ Наташей по ужасной грязи на мѣсто закладки. Мѣсто закладки, какъ открытая могила, приводило въ трепетъ; камни разбросаны, я прислонился къ барьеру, смотрѣлъ вдаль, одна сѣрая масса паровъ и больше ничего. Я думалъ о дальнемъ другѣ, о братѣ Николаѣ и слеза наливалась на глаза мои и ея, я думалъ потомъ объ васъ: вотъ на этомъ мѣстѣ, можетъ, стояли вы съ широкой душой, и опять слеза навернулась. Мы молились объ васъ. А сырой вѣ-

теръ вылъ, растрепывалъ деревья, было страшно; я взялъ два камешка — ихъ сохранию въ память торжественной минуты. Когда я ѣхалъ обратно, была ночь и Воробьевы горы едва видѣлись. Итакъ, паль туманъ на нихъ. Онѣ подернулись флеромъ, крепомъ.

Послѣ четырехъ лѣтъ я увидѣлся въ деревнѣ со всѣми своими. У насъ совершенный миръ.

Вы ошиблись, думая, что присланные деньги Наташины. Повторяю вамъ — онѣ принадлежатъ человѣку благородному душою но который не желаетъ, чтобъ вы знали — кто онъ.

Въ газетахъ помѣщена новая рѣчь Филарета. Вашъ Александръ».

«Нѣтъ сомнѣнья, почтенный другъ нашъ, что вы слышите, чувствуете, когда мы говоримъ о васъ; а это бываетъ такъ часто, такъ долго — о! — я увѣрена, душа ваша видитъ и тотъ жаръ, тотъ восторгъ, съ которымъ рассказываетъ о васъ Александръ и то умиленіе, благоговѣніе, съ которымъ я слушаю его.

Я не умѣю выразить вамъ, чтѣ наполняло мою душу, когда онъ со слезами говорилъ мнѣ о вашемъ дивномъ проектѣ, какъ пламенно хотѣлось мнѣ взглянуть хоть на то мѣсто (я никогда не бывала на Воробьевыхъ горахъ), помолиться хоть у колыбели храма. Совершилось желаніе. Несмотря на ужаснѣйшую погоду, мы стояли тамъ долго, долго, молча... колыбель и могила! Великій страдалецъ! Тотъ, кто ниспосылаетъ тебѣ такіа испытанія, да вознаградитъ тебя здѣсь и тамъ! молитва моя искренна и пламенна, онъ слышитъ ее... Ваша Наташа».

Съ отъѣздомъ Александра, художникъ значительно упалъ духомъ. Вынесенныя имъ душевныя страданія, при отсутствіи лица его поддерживавшаго и ободрявшаго, стали дѣйствовать на здоровье Витберга: у него появились припадки падучей болѣзни, сначала рѣдкіе и слабые, потомъ стали повторяться чаще и чаще и все сильнѣе потрясали и безъ того ослабѣвшій организмъ. Медленно, день за днемъ тянулась для него скучная жизнь, безъ дѣла, безъ цѣли, безъ одушевленія, въ тяжкомъ раздумьи...

Въ 1838 году Витбергу представился случай опять посвятить себя своимъ любимымъ архитектурнымъ занятіямъ.

8-го октября 1824 года, императоръ Александръ I, на возвратномъ пути изъ Пермской губерніи, посѣтилъ Вятку *). Вятчане, никогда еще не видавшіе въ своемъ городѣ ни одного вѣнценосца, тотчасъ по отѣздѣ государя, рѣшили ознаменовать это посѣщеніе какимъ-нибудь памятникомъ. Тогдашній городской голова предложилъ построить храмъ во имя Александра Невского. Общество одобрило эту мысль, и дѣло пущено было въ ходъ. Тянулось оно чрезвычайно медленно. Комитетъ министровъ, на разсмотрѣніе котораго представлено было желаніе вятчанъ, съ высочайшаго соизволенія, далъ свое согласіе, о чемъ и было объявлено вятскому городскому обществу только 8-го іюня 1838 года. Тогда городской голова Аршауновъ предложилъ обществу сдѣланный карандашомъ, въ миниатюрѣ, новый проектъ храма. Разумѣется, общество не могло не придти въ восторгъ отъ эскиза—творцомъ его былъ знаменитый Витбергъ—и приговоромъ 7-го октября 1838 года постановило: просить г. Витберга составить по этому эскизу планъ и чертежъ для проектируемаго храма, о чемъ и обратились къ нему съ официальнымъ письмомъ.

И вотъ опять наступили для Витберга снова счастливыя минуты труда и вдохновенія; на этотъ второй проектъ онъ перенесъ всю свою любовь, съ какою смотрѣлъ на своего первенца, тѣмъ болѣе, что въ это время отъ знаменитаго храма Христа Спасителя и слѣдовъ не осталось. Около этого же времени учреждена была новая комиссія для приведенія въ исполненіе даннаго императоромъ Александромъ обѣта; избранъ былъ планъ другого архитектора, академика Тона, и самая постройка перенесена на другое мѣсто. Другъ Витберга съ горестью поспѣшилъ его увѣдомить объ этомъ и послать ему фасадъ тоновскаго храма. Переписка съ Сашей продолжалась Витбергомъ довольно оживленно.

1-го октября 1838 г. Владиміръ.

«... Видѣли ли вы памятникъ Сусанину (картинка въ журналѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, слѣдова-

*) Объ этомъ посѣщеніи см. въ «Воспоминаніяхъ почетнаго лейбъ-хирурга Д. К. Тарасова» («Русская Старина» изд. 1872 г., томъ V, стр. 373—374).

тельно въ канцеляріи губернатора), мнѣ правится. Работникъ упалъ въ самомъ дѣлѣ съ Алексѣевского монастыря. Я писалъ, что вы не поняли тонъ, въ которомъ я разсказалъ это происшествіе...

Я пишу стихи—вотъ новость...»

24-го ноября 1838 г. Владиміръ.

«Давно, почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ, вы не писали ко мнѣ. Получили ли вы посланный мною фасадъ Тонова храма?...

Что вы подѣлаете? Вятка, вѣроятно, съ каждымъ часомъ дѣлается скучнѣе. Я занимаюсь, иду съ человѣчествомъ, сколько могу и понимаю. Нынѣшняя нѣмецкая философія (Гегель) очень утѣшительная, это слитіе мысли и откровенія, воззрѣнія идеализма и воззрѣнія теологическаго. На-дняхъ я перечитывалъ извѣстныя вамъ тетради, которыя мы мѣстѣ писали. Полна была жизнь ваша и совершила высокое предназначеніе жизни. Я возвращаюсь къ мысли, которую имѣлъ очень давно: сознаніе всѣхъ трудовъ, совершенныхъ вами, сознаніе, что жизнь не тщетно была прожита, должно служить опорой теперь и съ этой опорой не тяжело настоящее. Оно тяжело мелочами, реальностью, но не душѣ; душа взмахнетъ крылами и исчезаетъ болотистый, грязный міръ реальнаго.

А ужасную пыль наноситъ на душу суета и хлопоты домашняго, я ихъ отталкиваю «обѣма руками», и какъ ничтожны онѣ, почти стоятъ на одной доскѣ съ сплетнями и пересудами, отъ которыхъ въ провинціяхъ почти никто неизбѣтъ...

Вспомнили ли вы меня 23-го—день, въ который въ 1835 г. я первый разъ слушалъ ваши морали, Александръ Лаврентьевичъ?... Душою преданный NN.»

Проектъ Тонова храма Витбергу не понравился; онъ назвалъ его «простой деревенской церковью».

Декабря 8-го 1838 г. Владиміръ.

«... Итакъ, артистическій инстинктъ мой былъ вѣренъ касательно Тонова проекта. Боюсь сомнѣваться, что вы исполните ваше обѣщаніе, но прошу, ежели можно, не долго томить—пришлите обѣщанное. Это одно изъ давнихъ, заповѣдныхъ желаній имѣть вашъ проектъ и при-

томъ именно въ византійско-тевтонскомъ стилѣ. Здѣсь, во Владимірѣ, есть древній соборъ, строенный при в. к. Всеволодѣ; онъ не великъ, но масса его очень хороша: въ немъ есть что-то стройное, конченное и, признаюсь, онъ для меня въ 10 разъ лучше тоновскаго. Между прочимъ, какъ нелѣпо огромное окно надъ дверями. Можетъ, тевтонская розетка не шла, но ужъ и это pseudo-венеціанское очень нелѣпо. Да и вообще масса ничтожна, — подобныхъ соборовъ въ Кіевѣ, Москвѣ и проч. много, Тонъ прибавилъ только мамонтовскій размѣръ. Я желалъ бы вамъ прислать фасадъ нашего Дмитровскаго собора: онъ одноглавый, четырехугольный, но чрезвычайно гармоничны части. Строенъ изъ дикаго камня, весь покрытъ барельефами (нынѣ поправленными!) и, конечно, строилъ какой-нибудь греческій зодчій. Другой соборъ, Успенскій, тоже четырехугольный, нелѣпъ. А вѣдь византійское зодчество, т.-е. зодчество съ *plein cintre*, куполомъ, переходами и проч. имѣетъ, мнѣ кажется, большую будущность. Древнее греческое окончено, оно же сводится на нѣсколько типовъ; тевтонское богаче, но что воздвигать послѣ соборовъ въ Реймсѣ, Парижѣ, Кёльнѣ, Миланѣ? Но византійскій стиль, рожденный у гроба Господня, сроднившійся съ покойной, созерцательной идеей Востока, — ему будущность большая, которую Тонъ не понималъ. Слышали ли вы, что Кёльнскій соборъ достраивается совершенно по первоначальному чертежу? Душевно радъ, что вы заняты. Я занятъ очень много и, разумѣется, не службой: много читаю, пишу и доволенъ собою. Мнѣ такъ страшна эта жизнь постоянного, безмятежнаго счастья, этой полной симпатіи между мною и Наташей. Нѣтъ мысли, нѣтъ мечты, нѣтъ идеи, которая не находила бы больше, нежели отзывъ въ ея душѣ; развитіе поэтическое, высокое. Александръ Лаврентьевичъ, помните, вы говаривали, что я паду; я вамъ всегда отвѣчалъ: Провидѣніе поддержитъ. Ужели вы не увѣрены теперь, что я не паду? Но душа моя все та же бурная, порывистая, еще больше она поюнкѣла, весь прежній пылъ, всѣ надежды возвратились. Небо дало залогъ, съ нимъ я окрѣпъ, съ нимъ силенъ! Прощайте, къ новому году пришлю дѣтямъ книгъ. А скоро и 29-е декабря — вспомните меня, я васъ вспомню, годъ тому: Addio, Бахта, проводы... прощайте. Весь вашъ».

8-го декабря.

«Теперь я къ вамъ, Александръ Лаврентьевичъ, съ весьма важной просьбой. У Наташи есть меньшой братъ, несчастный юноша, совершенно всѣми оставленный. Этотъ молодой человѣкъ, не имѣвши возможности образоваться, самъ собою немного выучился рисовать и пламенно желаетъ быть живописцемъ. Я придумалъ обратиться къ вамъ съ всепокорной просьбой. Такъ какъ онъ вовсе безпріютенъ, то я бы прислалъ его въ Вятку, буде возможно, къ вамъ, въ противномъ случаѣ къ Скворцову, съ тѣмъ только, чтобъ онъ могъ пользоваться вашими совѣтами. Si cela est faisable, вы меня обяжете чрезвычайно и спасете молодого человѣка; само собою разумѣется, что вы намъ позволите ежегодно за него, по возможности, платить, vu les circonstances dans lesquelles vous êtes à présent. Буде же вы не сочтете это за возможное, то напишите, что намъ съ нимъ дѣлать...

Боже мой, какъ дорого выкупаетъ нашъ вѣкъ порочную нравственность прошлаго, вотъ еще бѣдная жертва. А сколько ихъ! И у него есть родной братъ, у котораго 500 душъ etc. etc. Но Богъ съ ними, надобно какъ-нибудь помочь... Пожалуйста, поспѣшите отвѣтомъ. Юноша ждетъ и такъ онъ много потерялъ, ему 18-й годъ...

Прасковья Петровна посылаетъ отрывокъ изъ моей поэмы, которая сама есть отрывокъ изъ меня самого, а я отрывокъ человѣчества, а человѣчество — вселенной. Прасковья Петровна совѣтую его раза два прочитать и потомъ въ торжественное собраніе, въ новый годъ прочитать, буде позволено, вслухъ...

Людинькѣ, Любинькѣ, Соничкѣ, Николинкѣ посылаются книги; да простятъ мнѣ, что не всѣ новыя; то значить, что онѣ были въ рукахъ у одного ребенка, а cet enfant c'est moi».

10-го января 1838 г. Владиміръ.

«Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ «Живописнаго Обзорнія» находится политипажная картинка, представляющая вашъ храмъ. Я очень этому удивился; кто его далъ въ редакцію и кто писалъ всю статью. Вроде, это недурно: пусть сличать, чувство изящнаго

принадлежит не однимъ артистамъ, всякій, имѣющій очи, увидить *).

На-дняхъ день вашего рожденія. Поздравляю съ этимъ днемъ академію художествъ и вообще зодчество. Подвигъ вашъ не останется втунѣ, нѣтъ, человѣчество имѣетъ свою мѣрку великому и ваше мѣсто въ исторіи искусства занято. Вспомните, какъ въ 1837 г. я былъ Дантомъ, этотъ вечеръ отмѣченъ въ моей памяти свѣтлой чертой. Вы были тронуты тогда и ваша слеза принадлежала отчасти мнѣ.

Какъ встрѣтили вы новый годъ? Отчасти грустно, но въ вашей душѣ награда за все. Эрнъ писалъ мнѣ, что въ праздникъ (25-го декабря) онъ обѣдалъ у васъ, много было говорено обо мнѣ. Меня обрадовала эта вѣсть, не изъ суетнаго самолюбія, а изъ той симпатіи глубокой и сердечной, которая соединила насъ въ горькую эпоху жизни.

Читали ли вы посланный отрывокъ изъ моей поэмы. Впрочемъ, по немъ нельзя судить обо всемъ. Когда угодно прочесть все, то попросите у Скворцова; я ему посылаю черновой, измаранный...»

11-го января.

«Новый годъ я встрѣтилъ у постели больной Наташи, которой, впрочемъ, теперь лучше. Однако, васъ не забыли, а въ 12 часовъ безъ вина поздравилъ васъ. «Благословеніе друзьямъ въ Вяткѣ»—сказалъ я и сдѣлалъ крестъ рукою. Другимъ хиротонисали меня. и она даетъ право благословлять.

Вы, кажется, хороши съ губернаторомъ. Это меня удивляетъ, потому что я объ немъ со всѣхъ сторонъ слышу пакости.

Я еще не чиновникъ особыхъ порученій, понеже это будетъ зависѣть отъ министра внутреннихъ дѣлъ, ну, да впрочемъ, я иначе теперь помышляю о службѣ: лишь бы ассессорскій чинъ, а съ нимъ въ отставку. Теперь я все еще редакторъ газеты, и она идетъ, кажется, недурно. Ежели министръ утвердитъ, то буду получать

*) «Живописное Обозрѣніе» изд. Авг. Семена. М. 1838 г. ч. IV, стр. 177. Политипажъ исполненъ плохо, вслѣдъ за нимъ помѣщенъ рисунокъ храма по проекту Тона. Въ жиденькой замѣткѣ авторъ глухо и сбивчиво говоритъ о первомъ, т. е. Витберга проектѣ и восхищается созданіемъ Тона.

1.200 р. жалованья, да 500 за редакцію (потому такъ мало, что я требовалъ помощника), да домашнія стипендіи и все это вмѣстѣ мнѣ далеко не хватаетъ, ибо здѣсь дороговизна ужасная.

Въ томъ письмѣ, которое пропало, я спрашивалъ васъ, не обяжете ли вы насъ тѣмъ, что возьмете en pension Наташинова меньшого брата, который мечтаетъ быть живописцемъ. Но теперь, кажется, его опредѣляютъ въ медико-хирургическую академію».

17-го января.

«...Наташа вообще получила отъ природы въ обратной пропорціи души и тѣла. Сколько здорова и тверда душа, столько утло и хрупко тѣло...

...Я, кажется, догадывалось, съ какою цѣлью Прасковья Петровна не читала вамъ отрывка, она его берегла къ 15-му. Итакъ, чтобы не отстать, посылаю я вамъ отрывочекъ, судите и пишите ваше мнѣніе».

23-го марта 1839 г.

«Вчера въ ночь уѣхалъ Эрнъ, пробывшій двое сутокъ. Съ жадностью разспрашивалъ я обо всемъ касающемся до васъ и много разныхъ чувствъ волновалось. Наша встрѣча—важнѣйшее событіе въ моей вятской жизни. То безпредѣльное чувство любви и уваженія къ вамъ и къ вашимъ страданіямъ, которое заставило меня на Бахтѣ схватить вашу руку, съ тѣмъ, чтобъ прижать ее къ устамъ,—это чувство живо во всей полнотѣ.

...Всего болѣе радуется меня, что вы заняты *); сверхъ того, что это отвлекаетъ васъ отъ ряда мыслей очень черныхъ,—высшій законъ творчества требуетъ не разрывать таланта, а особенно таланта, столь мощнаго, какъ вашъ. Я видѣлъ слезы на глазахъ одного священника, разсматривавшаго проектъ въ «Живописномъ Обзорѣніи» (а проросъ, вы мнѣ объяснили, кто напечаталъ его?). Итакъ, да благословятся ваши труды, творите вопреки толпы, вопреки цѣпи... Не ждете ли вы чего при предстоящемъ бракосочетаніи? Мое дѣло идетъ забавно: въ февралѣ мѣсяцѣ писалъ гр. Б., что

*) Занятія Витберга состояли въ изготовленіи плана, фасада и разрывовъ Александро-Невскаго собора въ Вяткѣ. Послѣ четырехмѣсячнаго безвозмезднаго труда, проектъ этотъ былъ готовъ.

не находить удобнымъ снятіе надзора (послѣ 5-ти лѣтъ) и, слѣдственно, я еще поживу здѣсь.

Счастье мое такъ безпредѣльно, что подчасъ кружится голова отъ мысли: заслужилъ ли я хоть долю того, что имѣю или не есть ли это испытаніе? Преданность Провидѣнію безгранична тоже. Я чувствую огромную перемену, душа становится шире; чистота первобытная и утраченная юношескимъ разгуломъ возникаетъ и хотя налетаютъ минуты горькаго сомнѣнія въ себѣ, минуты, въ которыя я кажусь себѣ ничтожнымъ карлой...

Одного не доставало въ моей жизни—это свиданія съ тѣмъ дивнымъ другомъ, котораго портретъ висѣлъ у меня въ комнатѣ. Сбылось и это. Онъ и она были, и мы четверо стали на колѣни передъ распятіемъ и молились съ горячими слезами и благодарили Провидѣніе. Больше счастья не можетъ помѣститься въ груди. Теперь въ путь—трудиться... чтобъ заработать столько блаженства, даннаго Богомъ.

Ваше замѣчаніе насчетъ лица апостола Павла въ Лидиніи принять я никакъ не могу. Во-первыхъ, области искусства принадлежить вся вселенная, вся исторія и всѣ лица. Почему Рафаэлева кисть не задрожала отъ мысли писать Мадонну и еще больше, придавая ей черты Форнарины. Почему рѣзецъ Бонаротти не остановился, изображая Моисея. Во-вторыхъ,—въ мистеріяхъ, разыгрываемыхъ въ среднія времена, выводится на сцену Иисусъ. Ваше выраженіе «вольная поэзія» я не понимаю. Поэзія есть одна. Перенесите вашъ широкій взглядъ на зодчество къ поэзіи и вы увидите, что я правъ. Хорошо ли я представилъ апостола—это будетъ другой вопросъ. Сворцовъ имѣетъ черновую тетрадку, попросите у него «Intermezzo», гдѣ и является апостолъ. Именно въ томъ-то и вопросъ нашего вѣка — помирить религію съ жизнью откровеніе — съ мыслью... Salut et amitié».

Le 18 Avril 1839 г. Wladimir.

... «Ma veine poétique ne s'épuise pas, il y a une nouvelle poème commencée, Villiame Penn, c'est à dire non le christianisme en germe, le christianisme—religion mystique, poétique, orientale, comme il paraît avec l'apotre Paul à Rome (Лидиніѣ), mais le christianisme

religion sociale, progressive, le Quakerisme enfin. Mais je n'ai pas le temps. Adieu—salut et amitié...

18-го мая 1839 г. Владимиръ.

«Вотъ, Александръ Лаврентьевичъ, нѣсколько строкъ, писанныя вамъ человѣкомъ, котораго вы только знаете черезъ меня,—Ог. Онъ былъ въ восторгѣ отъ мысли вашего храма и просилъ, чтобъ я ему списалъ изъ вашихъ записокъ о проектѣ; но я не смѣлъ этого сдѣлать, потому онъ и проситъ васъ. Напишите ему хотя строчку, это человѣкъ дивной чистоты душевной, любите его—онъ васъ любить.

Вамъ предстоитъ разлука съ Прасковьей Петровной, одиночество ваше еще увеличится. Гдѣ то время, когда я иногда служилъ вамъ отдохновеніемъ (ибо въ вашей любви я не сомнѣваюсь); зачѣмъ это было тогда, а не теперь, теперь я больше чистъ, теперь я достойнѣе вашей дружбы.

Прежде нежели вы получите это письмо, Наташа будетъ матерью. Какое великое дѣло—воспитаніе раскрывается передъ нами, на нашу отвѣтственность Богъ даетъ существо—человѣка. Господи! дай же силу вести его по закону Твоему. Помолитесь о насъ, помолитесь и о малюткѣ...

...Пришлите мнѣ, пожалуйста, съ Прасковьей Петровной одинъ изъ вашихъ проектовъ (большого храма) въ тевтоно-готическомъ стилѣ; это будетъ священный залогъ вашего вниманія ко мнѣ. Прощайте. Вашъ другъ до гроба.

Наташа жметъ вашу руку. 9-го мая мы торжественно прочитали ваше поздравительное письмо, 1838 г. въ маѣ писанное. Оно такъ тепло, такъ дышитъ любовью, что безъ слезъ не можемъ перечитывать...

7-го іюня 1839 г. Владимиръ.

«Любезнѣйшій и почтеннѣйшій другъ Александръ Лаврентьевичъ! Многое совершилось съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ къ вамъ, но третьяго Г—на нѣтъ; неопытность наша ошиблась цѣлымъ мѣсяцемъ, впрочемъ, ждемъ съ часу на часъ. Богъ да благословитъ новое существо, назначенное представителемъ его славы на землѣ!—Но что же это многое? О—въ прощеньѣ высочайшимъ повелѣніемъ въ концѣ мая, и теперь ждутъ многіе того же,

и я въ томъ числѣ; все это по случаю свадьбы великой княжны. Онъ скоро поѣдетъ въ Москву, и тогда я ему передамъ вашъ привѣтъ, и онъ его приметъ со слезою. Не обижайтесь нескромностью, какъ вы пишете, его выраженій; онъ былъ такъ увлеченъ разсказомъ о вашемъ великомъ созданіи, такъ увлеченъ разсказомъ жизни, которая почти съ первой юности посвящалась во славу и православіе Бога и перешла все земное—отъ кабинета артиста, черезъ кабинетъ императора, до кабинета, засыпаннаго снѣгомъ въ Вяткѣ, и что non obstant всего этого, твореніе росло, идея выражалась яснѣе, идеалъ не померкнулъ. (Онъ говоритъ, что надобно его воздвигнуть въ Англіи, тамъ не пожалѣютъ денегъ). Вотъ отчего съ такимъ восторгомъ писалъ онъ къ вамъ, и да будетъ и это доказательствомъ, что есть люди, вполне понявшіе величіе вашего идеала и у которыхъ ни годы, ни разстоянія не охлаждаютъ любви къ художнику, творцу идеала.

Ежели придетъ моя индульгенція, то я уѣду на августъ и сентябрь въ отпускъ, потомъ возвращусь сюда прослужить до ноября. Въ ноябрѣ пойдетъ обо мнѣ представленіе въ чинъ асессора и тогда я тотчасъ переѣду въ Москву. Балюшка купилъ для насъ новый домъ, рядомъ съ своимъ (принадлежавшій генералу Тучкову); намѣренъ потомъ въ видѣ прогулки съѣздить въ Петербургъ. Только не на службу... О, нѣтъ, пока довольно! Мнѣ кажется, если-бъ въ ваши желанія входило возвращеніе въ Москву, то это не совсѣмъ трудное дѣло теперь. Но что вамъ Москва съ своей дороговизной?...

...Александръ Лаврентьевичъ, пришлите же большой проектъ въ византійскомъ стилѣ. Наташа—одна изъ самыхъ фантастическихъ поклонницъ вашихъ — жметъ вамъ руку дружески, крѣпко. Любите насъ, любите и не забывайте NN.»

8 іюня.

«Моя поэма «Вильямъ Пеннъ» идетъ очень успѣшно. Сообщите, пожалуйста, Скворцову пріятную вѣсть объ От...»

14-го іюня 1839 г.

«Вчера въ 12 утра явился на свѣтъ Сампа. Все до сихъ поръ чрезвычайно легко и благополучно.

Вы знаете очень хорошо чувства, которыя волнуютъ

отца при рожденіи, особенно первенца. Я плакалъ, я стоялъ на колѣняхъ передъ распятіемъ, я дрожалъ отъ страха и этотъ страхъ происходилъ не отъ одного вида ея страданій, а отъ огромности дѣла отцовскаго. Мой сынъ относится ко мнѣ такъ, какъ новое поколѣніе къ старому, moi je donnerai la première impulsion его вѣрованіямъ, его убѣжденіямъ, я устремлю его къ тому или другому и, слѣдственно, часть судьбы его зависить отъ меня. Какая отвѣтственность, но у него есть еще мать съ душою ангела,—ей предстоитъ религіозно-эстетическая часть.

Господи, помоги намъ исполнить великое дѣло воспитанія, помоги поставить его на путь правдивый (хотя бы съ этимъ и были сопряжены тяжелыя несчастія земной жизни)! Молю тебя!

Сообщите эту радостную вѣсть для насъ Авдотѣ Викторовнѣ, Прасковѣ Петровнѣ, буде ее письмо мое застанетъ (вѣроятно, она получила посланные ей 500 р.), Вѣрѣ Александровнѣ...

Обнимаю вашихъ малютокъ. Да будетъ надъ ними благословеніе неба. Проектъ-то пришлите, сдѣлайте одолженіе, и—довольно. Другъ вашъ.

15-го іюня, одиннадцатый часъ. Все пока, благодареніе Богу, хорошо. Помолитесь же о малютокъ и о матери».

11-го іюля.

«... Читая ваши строки къ Нику, написанныя со всей поэзіей и огнемъ юности, я еще болѣе удовольствился въ истинѣ словъ Жанъ-Поля, что душа высокая юнѣетъ, очищается съ каждымъ годомъ. Въ началѣ августа онъ пройдетъ здѣсь и тогда я ему вручу. Вы совершили вашъ храмъ, видите ли, какой энтузіазмъ производитъ одинъ рассказъ. Толпа не восхищается, что за дѣло, ей надобно отлить мысль въ камень, чтобъ заставить понять. Но есть люди, умѣющие постигать великое въ идеѣ. Вашъ храмъ будетъ и изъ камня, вы оставляете богатое наслѣдіе дѣтямъ, благословите ихъ въ зодіе и велите идти строить тамъ, гдѣ укажетъ Богъ. Вотъ мой совѣтъ!

Все время послѣ нашей разлуки я очень много занимался, особенно исторіей и философійю; между прочимъ, я принялся за диссертацию, которой тема «какое

звено между прошедшимъ и будущимъ напѣ вѣкъ?» Вопросъ важный, я обработалъ очень много. Вдругъ вижу, что-то подобное напечатано въ Берлинѣ, Prolegamina zur Historiographie выписываю, и представьте мою радость, что во всемъ главномъ я сошелся съ авторомъ до удивительной степени. Значить, мои положенія вѣрны и я еще больше примусь за обработку ея. Поэма «Вильямъ Пеннъ» почти окончена. Видите ли, что и я не поджавъ руки сижу».

«28-го іюля. Высочайшимъ повелѣніемъ 20-го іюля я прощенъ. Сегодня ѣду въ Москву на нѣсколько дней».

Спустя мѣсяцъ и для Витберга насталъ день великой радости. 28-го августа 1839 года онъ былъ официально извѣщенъ объ утвержденіи въ Петербургѣ проекта Александро-Невскаго собора въ Вяткѣ.

30-го августа 1839 года произведена была закладка храма въ присутствіи академика Витберга. Во все время церемоніи закладки художникъ рыдалъ, какъ дитя... Кто объяснить глубокое, горькое значеніе этихъ слезъ? Что совершалось съ Витбергомъ въ это мгновеніе? Передъ очами души его не проносила ли другая закладка, при иной обстановкѣ, въ присутствіи царя и царственныхъ особъ, передъ лицомъ всей Москвы, передъ лицомъ лучшихъ представителей войскъ, едва возвратившихся съ пути міровыхъ побѣдъ; не вспоминался ли ему тотъ свѣтлый ореолъ, которымъ его окружала слава, та безвозвратно прожитая жизнь безъ счастья видѣть олицетвореніе своей лучшей идеи, которое осталось бы достойнымъ памятникомъ грядущимъ поколѣніямъ, обезсмертило бы и его имя.

Изъ письма его друга, писаннаго изъ Москвы 13-го сентября 1839 года, видно, что грусть и меланхолія вновь овладѣли Витбергомъ.

«...Послѣднее письмо ваше,—писалъ Витбергу Александръ:—я получилъ въ Москвѣ, гдѣ проживу весь сентябрь... Что сказать вамъ о продолжительномъ свиданіи моемъ съ Москвою? Москва похожа на тѣхъ добрыхъ людей, о которыхъ часто поминаешь въ разлукѣ и до которыхъ дѣла нѣтъ, когда они налицо. Москва скучна, несмотря на то, что теперь шумъ, бѣготня, трескъ. Именно эта суета суетствій наводитъ подъ часъ грусть. Я видѣлся здѣсь съ Жуковскимъ, но особенно

замѣчательнаго сказать не могу. Въ публикѣ васъ часто поминають, особенно теперь, когда новая закладка *sur le tapis*, и знаете ли, что большая часть за васъ проесть, кромѣ аристократовъ. Есть даже громогласные партизаны и въ томъ числѣ архитекторъ Мирановскій и друг...

Прасковья Петровна передала мнѣ все, что вы ей поручили,—рядъ грустныхъ обстоятельствъ наводитъ на вашу душу меланхолическіе мысли; ежели вы вызовете изъ прошедшаго все мое поведеніе относительно васъ и вашего семейства, то ясно увидите всю дружбу мою, всю преданность. А что не было отвѣта на письмо вашей супруги, то совѣстью клянусь вамъ, что я вовсе этого не помню и совсѣмъ не знаю, о какомъ письмѣ идетъ рѣчь. Скорцовъ пишетъ на три письма отъ меня одну записку, и я, право, не сомнѣвался въ его дружбѣ. Конечно, я съ вами болѣе сблизился, нежели съ Авдотьей Виторовной, что же изъ этого? Между мною и вами больше общаго, симпатическаго (хотя я не скажу, чтобъ была полная гармонія). Отвергните ли вы дружбу искреннюю, примите ли ее какъ прежде принимали, это не измѣнить ни моего уваженія, ни моей любви къ вамъ, *et cela sera le dernier mot de ma lettre. Salut et amitié...*

Государь и иностранные принцы еще здѣсь. 12-го была новая закладка».

Изъ Москвы Витбергъ получилъ еще письмо отъ своего друга отъ 18-го сентября 1839 г. Онъ писалъ:

«... Съ восхищеніемъ читалъ я (въ письмѣ вашемъ) о 30-мъ августѣ, я понялъ все, что вы должны были чувствовать при закладкѣ (собора св. Александра Невского въ г. Вяткѣ). Это росинка благодати на вашей больное сердце. Молю Бога, да благословитъ онъ новое начинаніе во славу его, во славу вашего благодѣтеля, во славу вашу»...

1-го октября 1839 г.

«... Я утвержденъ министромъ чиновникомъ особыхъ порученій,—писалъ Витбергу его другъ.—Въ январѣ поѣду въ Петербургъ. Паленька желаетъ, чтобы я тамъ служилъ. Москву увижу только проездомъ; я часто скучалъ въ Москвѣ, а жаль разставаться было съ нею. Таковъ человекъ!»

Этот, кажется, решительно начинался у О...ва. Въ Москвѣ видѣлся съ Владиміромъ Машковцевымъ, вятскимъ ренегатомъ. У меня все еще бьется сердце горячѣе, когда вижу вятскихъ, когда могу говорить о васъ, о Смирновѣ. Черные годы провелъ я тамъ, но полные многого, полные поэзіи, мощной поэзіи жизни. Видѣлся я съ Жуковскимъ, но какъ-то въ шумѣ, въ вихрѣ, когда все въ Москвѣ торопилось, суетилось, и Василій Александръ.

15-го октября 1839 года Витбергъ, среди непрестанныхъ и попрежнему безвозмездныхъ трудовъ по наблюденію за постройкою вятскаго храма, получилъ высочайшее разрѣшеніе вернуться изъ ссылки. Другъ его, вѣроятно, слышавшій объ этомъ отъ самого Витберга, какъ видно изъ дошедшихъ документовъ, говоритъ, что проектъ вятскаго собора былъ, тамъ сказать, представленъ у царскаго престола за художника. Высочайшимъ повелѣніемъ Витбергу было разрѣшено жить въ Россіи гдѣ пожелаетъ, это объявлено было 19-го сентября 1839 года Бенкендорфомъ. 28-го сентября министръ юстиціи Блудовъ объявилъ это повелѣніе сенату, который послалъ о томъ 4-го октября указъ вятскому губернскому правленію. Вѣсть объ освобожденіи произвела живѣйшій восторгъ въ семьѣ Витберга и съ такимъ же восторгомъ принята его друзьями.

1-го ноября 1839 г. Владиміръ.

«Душевно и искренно порадовались мы, любезнѣйшій и почтеннѣйшій другъ Александръ Лаврентьевичъ, получивши ваше письмо, въ которомъ извѣщаете о повелѣніи, полученномъ 15-го октября. Конечно, это только начало, но, стало, вы прошли Culminationpunktъ гонимій, и день послѣ тяжелой полярной ночи возвращается. Пусть вы и не скоро оставите Вятку, но великое дѣло — сознаніе права. Не думаете ли вы теперь занять мѣсто въ академіи художествъ? Я думаю, на это есть прямые права у васъ и тогда мы увидимся въ Петербургѣ.

А какъ же безъ васъ пойдетъ храмъ вятскій, памятники вашихъ страданій, лѣтъ изгнанія? Онъ будетъ ваша Divina Comedia, какъ же его оставить неисполнен-

нымъ? Зачѣмъ вы поспешили сообщить о духѣ и содержаніи полученной бумаги?

Итакъ, мы увидимся! Я сожму опять руку вашу, вы обнимете Наташу и слезою радости смоемъ прошедшее. Не могу безъ восторга вздумать о нашей встрѣчѣ. Вы найдете во мнѣ перемѣны: я больше развился, скажу съ гордостью, я выросъ духомъ съ 1837 года. Я много занимался, много думалъ съ тѣхъ поръ и все это оставило слѣды, развило новыя стороны духа, характера. О, пріѣзжайте, пріѣзжайте!

Наташа бредитъ скорымъ свиданіемъ съ вами, она теперь едва оправляется послѣ горячки. Вѣсть о счастливой перемѣнѣ вашего положенія была радостною вѣстью, выкупившей горькія недѣли болѣзни.

Вотъ вамъ программа, гдѣ (буде ничего особеннаго не случится) меня искать: до половины января (1840 г.) я рѣшительно во Владимірѣ, на Дворянской улицѣ, въ домѣ Рагозиной. Въ половинѣ января думаю ѣхать одинъ въ Петербургъ; на случай, ежели васъ туда прямо призовутъ дѣла, то вотъ адресъ: на Невскомъ проспектѣ, домъ Петиліа (съ Адмиралтейской площади 2-й домъ), спросить Сергѣя Львовича Лъвицкаго (sic); его же можно найти въ канцеляріи министерства внутреннихъ дѣлъ,—это мой двоюродный братъ. Ну въ Москвѣ вы знаете, какъ меня открыть.

Теперь къ вамъ, Авдотья Викторовна, обращаю мое поздравленіе; дайте руку поцѣловать, вы знаете, что я безъ важныхъ okazji не цѣлую дамскихъ рукъ; и вашу руку, Вѣра Александровна. Не вините меня насчетъ Медвѣдовой, вина ея,—она рѣшительно не имѣетъ таланта пользоваться настоящимъ. Такъ, въ Москвѣ она пропустила ужъ одно мѣсто. Готовъ все дѣлать для нея, но je m'en lave les mains pour les suites et résultats. «Самъ возрастъ имашь», какъ вы говорите. Прощайте.

(Рукою Натальи Гер...нъ). «Не стану описывать вамъ, почтеннѣйшій другъ Александръ Лаврентьевичъ, радости, которую принесло послѣднее ваше письмо. Итакъ, есть надежда, что я васъ увижу!... Да пошлетъ вамъ всѣмъ Господь неистощимыя блага! А у меня въ глазахъ потемнѣло отъ этихъ немногихъ строкъ.

Прощайте, ваша всею душою—Н. Г.»

23-го ноября, друзья Витберга письмомъ поздравили его съ помолвкой его дочери Вѣры Александровны съ Яковомъ Ивановичемъ Голубевымъ, другомъ Николая Михайловича Сатина, служившимъ чиновникомъ въ канцеляріи вятскаго губернатора Хомутова.

3-го января 1840 г. Владиміръ.

«Только-что пріѣхалъ и спѣшу увѣдомить васъ, что я въ Петербургѣ видѣлся съ В. А. Жуковскимъ, который принимаетъ въ васъ участіе художника и поэта. Я говорилъ ему насчетъ вашихъ финансовъ и онъ поручилъ написать вамъ слѣдующее: напишите къ нему письмо, извѣстите, что получили право выѣзда и что не ѣдете оттого, что нѣтъ средствъ. Онъ въ большой силѣ. Адресуйте просто В. А. Жуковскому, въ Шепелевскомъ отдѣленіи императорскаго Зимняго дворца.

Меня, кажется, скоро переведутъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

Поздравляю васъ и съ новымъ годомъ, и съ будущимъ днемъ рожденія; три года, какъ я представлялъ Даята, богатые и полные жизни три года для меня; чего-чего не было пережито въ нихъ.

...Въ Петербургѣ я слышалъ отъ бывшаго вашего слуги Лукьяна, который теперь у двоюроднаго брата моего, что вы тотчасъ послѣ свадьбы будете въ Петербургѣ. Правда ли это? Въ такомъ случаѣ мы ждемъ васъ во Владиміръ, гдѣ пробудемъ, навѣрное, до половины марта. Въ Петербургъ я поѣду не прежде конца апрѣля»...

7-го марта 1840 г.

«Истинно уважаемый нашъ другъ, Александръ Лаврентьевичъ! Наконецъ-то я получилъ отъ васъ письмо, успокоившее меня; не могли понять мы, отчего вы вдругъ замолкли. Поздравляю васъ со свадьбой, поздравляю съ рожденіемъ Софіи; кажется, въ искреннѣйшемъ участіи вамъ сомнѣваться нельзя.

Порученіе Жуковскаго вовсе не было сдѣлано какъ тайна,—даже по тому можете заключить, что онъ просилъ меня написать по почтѣ изъ Питера. Я полагаю, что нѣтъ сомнѣнія въ необходимости поѣздки вашей въ Петербургъ. Ежели бы вы были къ концу апрѣля въ

Москвѣ, я предложилъ бы вамъ мѣсто въ своемъ дѣлѣ-жансѣ.

На Владиміръ больше не адресуйте ко мнѣ писемъ, я жду окончательной бумаги отъ министра внутреннихъ дѣлъ (формуляръ и прочее уже потребовали) и тотчасъ по полученіи поѣду въ Москву; тамъ предполагаю пребыть до 9-иной и, слѣд., къ 1-му мая—въ Петербургъ. Письма туда адресуйте, просто на канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ.

Я знаю, что вы уже говорили о моемъ «легкомысліи, вѣтренности». Призму, сквозь которую вы смотрите на людей, Александръ Лаврентьевичъ, я имѣлъ случай узнать; знаю особенность вашего взгляда, и потому не требую исключенія для себя; я въ самомъ этомъ умѣю цѣнить высокую чистоту вашей души. Душой преданный Александръ».

«Вотъ и мы оставляемъ нашъ мирный уголокъ, въ которомъ два года жизнь наша текла такъ свѣтло, такъ счастливо, такъ свято. Благословите насъ на путь... Всей душой преданная вамъ Наташа».

Когда Александръ оставлялъ свой мирный уголокъ, художникъ оставлялъ Вятку и не воспользовался предложеніемъ писать о денежномъ пособіи къ Жуковскому. Онъ, продолжая трудиться для вятскаго общества, составивши для города, кромѣ проекта собора, еще проектъ рѣшетки общественнаго сада и публичной библиотеки, не имѣлъ, какъ говорится, гроша въ карманѣ. Только въ концѣ 1840 года ему сдѣлана ссуда комитетомъ по сооруженію храма въ 285 руб., «скинутая въ 1843 году за дальнѣйшіе труды Витберга со счетовъ», и съ этими деньгами художникъ отправился въ Петербургъ.

Въ 1840 году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, Витбергъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Прежде всего онъ принялся хлопотать о пересмотрѣ дѣла по сооруженію храма Спасителя въ Москвѣ. По старой памяти, онъ обратился за ходатайствомъ къ князю А. Н. Голицыну; но князь прямо объявилъ ему, что уже ничего нельзя сдѣлать, дѣло проиграно и возобновить его невозможно. Витбергъ остался почти безъ всякихъ средствъ къ существованію съ многочисленнымъ семействомъ.

Въ это время открылось мѣсто архитектора въ вѣ-

домствѣ нутей сообщенія, которымъ управлялъ Клейнмихель. Витбергъ пожелалъ занять его и отправился къ Клейнмихелю. Клейнмихель принялъ его чрезвычайно сухо и не предложилъ даже стула. Витбергъ дождался приглашенія сѣсть, но, не получая его, самъ взялъ стулъ и сѣлъ, сказавши: «извините, ваше пр-ство, что я сажусь, я старъ и боленъ, да и не привыкъ стоять». Клейнмихель растерялся и поспѣшилъ извиниться. Такое начало не предвѣщало успѣха, и дѣйствительно, Витбергъ не получилъ мѣста. Принужденный крайностью, онъ прибѣгъ къ помощи сестры своей Христины Лаврентьевны Гельнъ, со всей семьей своей поселился въ ея скромной квартирѣ на Пескахъ и сталъ жить чрезвычайно тихо. Изрѣдка посѣщали его кой-кто изъ московскихъ знакомыхъ; а самъ онъ почти не выходилъ изъ дому и бывалъ только въ семействѣ президента медико-хирургической академіи Дубовицкаго. Изъ числа немногихъ друзей, посѣщавшихъ Витберга, были: А. И. Г., Николай Степановичъ Кожуховъ, Дмитрій Павловичъ Руничъ, Капитонъ Павловичъ Ренненкампфъ. Самымъ же частымъ собесѣдникомъ Витберга былъ его ученикъ, вывезенный имъ изъ Вятки, Дмитрій Яковлевичъ Чарушинъ.

Между тѣмъ Саша внезапно переведенъ былъ изъ Петербурга на службу въ Новгородъ; это до того огорчило Александра Лаврентьевича, что съ нимъ сдѣлался сильнѣйшій припадокъ падучей болѣзни; съ этого времени припадки стали все сильнѣе и сильнѣе и здоровье видимо разрушалось.

Вскорѣ онъ получилъ отъ друга своего слѣдующее письмо:

2-го августа 1841 г.—Новгородъ.

«Нужно ли говорить, съ какимъ чувствомъ глубокой горести читали мы ваше письмо; несчастный случай, бывшій съ вами и поводомъ которому, хотя косвенно, былъ нашъ отъѣздъ—сильно огорчилъ насъ.

Кажется, тяжесть креста иногда бываетъ несоразмѣрна съ силою плечъ человѣческихъ.

Позвольте мнѣ вамъ дать совѣтъ побывать у доктора Пирогова (онъ живетъ на Гагаринской пристани, въ домѣ Косаковского); это человѣкъ, стяжавшій европейскую славу, глубоко ученый врачъ; полагаю, что онъ вамъ дастъ хорошій совѣтъ.

Что касается до нашей жизни, то она идет здѣсь уединенно и тихо. Не могу ровно сказать ничего хорошего и ничего худого объ ней. Александръ».

«Любезнѣйшая Авдотья Викторовна! Сколько грустнаго, сколько грустнаго принесло ваше письмо. Истинно васъ должно ожидать въ будущемъ счастье и наслажденіе, въ награду за претерпѣнное. И вы со мною согласитесь, что въ самомъ сознаніи въ себѣ силы нести такой тяжкій крестъ есть уже наслажденіе. Какъ бы хотѣлось о васъ знать часто и подробно.

... Вы, вѣрно, хотите знать о насъ—не много интереснаго и хорошаго теперь найдется сказать. Александръ каждый день въ 11 часовъ отправляется въ губернское правленіе и остается тамъ до 4-хъ. Должность трудная, отвѣтственность большая,—здѣсь же все партіи, не мудрено попасть въ бѣду. Я цѣлый мѣсяцъ сидѣла дома. Квартире мы наняли далеко, въ глуши, съ огромнымъ садомъ, мимо и проѣзда почти нѣтъ и не ходитъ никто, точно деревня; передъ глазами Волховъ—грязный, желтый; но, наконецъ, была у здѣшней вице-губернаторши и познакомились съ семействомъ Рейхеля, который былъ нѣкогда товарищемъ Александра Лаврентьевича и сохранилъ къ нему донинѣ большое уваженіе. Это человѣкъ необыкновенно образованный, проводившій 25 лѣтъ въ чужихъ краяхъ. Остальные визиты думаю отложить до пріѣзда изъ Москвы, а туда мы думаемъ ѣхать въ концѣ этого мѣсяца. Графъ Строгановъ прислалъ уже отпускъ. Не забывайте истинно васъ любящую. Н а т а ш у».

Витбергъ не послушался совѣта друга и обратился за совѣтомъ не къ Пирогову, а къ доктору Маркетти; лѣченье успѣха не имѣло. Живя въ большой крайности, Александръ Лаврентьевичъ вынужденъ былъ содержать семью помощью друзей. Больше всѣхъ помогалъ ему Федоръ Ивановичъ Прянишниковъ, бывшій впослѣдствіи петербургскимъ почтъ-директоромъ; по щекотливости Витберга, пособіе дѣлалось чрезвычайно осторожно; преимущественно же старались доставлять ему работу.

12-го ноября 1841 года Наташа писала Витбергу изъ Новгорода:

«Милые и дорогіе друзья наши! Здоровы ли вы? Что подѣлываете въ вашей пышной, шумной столицѣ? Вспом-

ните ли о погрязнувшихъ въ болотѣ? Мы провели въ Москвѣ цѣлый мѣсяцъ и, разумѣется, приятно и весело; время мчалось незамѣтно, и вотъ мы опять въ нашемъ тихомъ, уединенномъ уголкѣ, все идетъ прежнимъ порядкомъ. Александръ отъ 11-ти до 4-хъ часовъ въ правленіи, я съ Сашей дома, ни кругъ знакомства, ни кругъ разсѣянности не увеличился, и такъ время идетъ, идетъ... скоро и новый годъ. Лѣтомъ, Богъ дастъ, поѣдемъ въ деревню, а тамъ—куда? Богъ знаетъ.

Ваша Наташа».

9-го февраля 1842 г.—Новгородъ.

«Встрѣчая въ прошедшемъ 1841 году новый годъ, я думалъ въ 1842 году быть уже не въ Новгородѣ, почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ, но Богу угодно было иначе. Я не ропщу, впрочемъ, хочется переимѣнить родъ службы и избрать климатъ получше, для Наташи, которой здоровье плохо. Вѣроятно, вы уже слышали о томъ, что мы имѣли несчастье лишиться новорожденной. Пора отдохнуть отъ всѣхъ ударовъ, хочется спокойствія...

Дай-то Богъ вамъ силы нести вашъ крестъ.

Дайте намъ вѣсточку о себѣ, не мстите за наше молчаніе тѣмъ же...

Передайте усердный поклонъ Авдотѣ Викторовнѣ и поцѣлуйте дѣтокъ. Душевно преданный вамъ

Александръ».

«Милые и любезные друзья наши! Вѣрно, вы на насъ сердитесь за долгое, долгое молчаніе и приписываете его Богъ знаетъ чему,—что мы васъ и забыли, и разлюбили. Сердиться имѣете право, а догадки несправедливы. Я думаю, отъ Якова Ивановича вы знаете все, что съ нами было; ужъ много времени прошло съ тѣхъ поръ, а все грустно, и физическія силы плохо возвращаются...

Мы все еще сидимъ въ нашемъ болотѣ и не знаемъ, когда выйдетъ на свѣтъ Божій. Александръ не очень здоровъ и не бываетъ въ присутствіи съ начала моей болѣзни. Попрежнему, жизнь наша течетъ тихо, уединенно. Я до сихъ поръ никуда не выѣзжала, бываетъ у насъ почти одинъ Рейхель, знакомый Александръ Лаврентьевича. Какъ ни ясенъ, какъ ни богатъ внутрен-

ній міръ души, наружное все же имѣетъ вліяніе, и часть такъ кажется темно.

Хотѣлось бы знать о вашихъ; обстоятельства, время и пространство не кладутъ преградъ искреннему участию; да хранить васъ Всевышній. Ваша Наташа».

10-го іюля 1842 г.—Новгородъ.

«Почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ! Тѣмъ пріятнѣе мнѣ отвѣчать на ваше письмо, что я начну съ доброй вѣсти: доля нашихъ молитвъ сбылась, и я ѣду на-дняхъ въ Москву. Это было всего необходимѣе для разстроеннаго здоровья жены, необходимо также въ финансовомъ отношеніи. Это счастливое улучшение моей судьбы случилось очень недавно, и я усердно молю Бога ниспослать все благое виновникамъ благополучнаго оборота дѣла. Признаюсь, я въ послѣднее время ужъ начиналъ грустить не на шутку. Я ѣду въ воскресенье или въ понедѣльникъ, и изъ Москвы буду писать къ вамъ обстоятельнѣе. Теперь у насъ разгромъ, укладка и проч. Душевно преданный вамъ Александръ».

9-го апрѣля 1843 г.—Москва.

«Почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ! Письмо ваше отъ 24-го марта мы получили, какъ всегда, съ искреннимъ удовольствіемъ. Мы рѣдко переписываемся, и я первый слагаю вину на себя, но что дѣлать—я отвыкъ писать, или, лучше, отучилъ себя намѣренно. Тѣмъ полнѣе бываютъ минуты наслажденія, читая письма.

Благодарю за память дня моего рожденія и жму вашу руку. Да, и въ Вяткѣ мы проводили хорошіе дни; не внѣшняя обстановка, а внутреннія событія души опредѣляютъ свѣтъ и темноту въ жизни.

Послѣдняя вѣсть, которую я имѣлъ о васъ отъ очевидца, была отъ Зонненберга; онъ сообщилъ мнѣ подробности о вашей болѣзни. Дай Богъ, чтобы магнетизмъ помогъ. Что касается до насъ, мы проводимъ здѣсь время и хорошо, и нѣтъ. Почему хорошо—предоставляю вамъ рѣшить, а почему нѣтъ—самъ скажу. Здоровье жены худо поправляется. Надобно ѣхать непременно въ Италію, хлопочу, и не знаю, какъ сдѣлать. Это влечетъ темную нить въ нашу жизнь, остальное хорошо.

Саха растётъ, уменъ, живъ, быстръ—въ меня. Занятія идутъ своимъ чередомъ. Лѣтомъ я непременно уѣду, самъ не знаю еще куда, но уѣду. Приближаются праздники, желаю отъ всей души, чтобы вы ихъ провели покойно и безболѣзненно. Мое желаніе очень ограничено, но я знаю, остальное—въ васъ. Душевно любящій васъ Александръ».

Р. С. «Апрѣля 9-го 1835 г. я уѣхалъ изъ Москвы!»

Москва 7-го января 1844 г.

«Письмо ваше, въ ноябрѣ, я черезъ Григорія Ивановича получилъ съ искренней радостью. Благодарю васъ за память, хоть, впрочемъ, я увѣренъ, что люди, такъ душевно встрѣтившіеся на несчастной полосѣ жизни для обоихъ, не могутъ охладѣть.

Сообщу вамъ важную новость для меня. Вы помните несчастныя разрѣшенія моей жены, разстраивавшія ее и физически, и морально, а потому можете себѣ представить всю радость нашу, когда 30-го декабря родился сынъ совершенно здоровый, котораго вчера и крестили Николаемъ. Болѣе о себѣ ничего не могу сказать. Лѣто я жилъ въ деревнѣ и опять собираюсь съ мая мѣсяца.

О вашихъ дѣлахъ справляюсь иногда у Григорія Ивановича. Въ досужую минуту напишите строчку. Душевно любящій васъ Александръ».

Въ 1844 г. Витбергу удалось выхлопотать себѣ пенсію въ 400 р. въ годъ. Онъ переѣхалъ отъ своей сестры на отдѣльную квартиру на Пескахъ. Усилившаяся болѣзнь заставила его серьезно подумать о своемъ лѣченіи. Врачи посылали его за границу, для этого у него не было средствъ. Жизнь Витберга проходила чрезвычайно однообразно. Въ домѣ все дѣлалось по заведенному порядку, и всякое нарушеніе его вывело Витберга изъ себя; онъ горячился, и вслѣдъ за этимъ съ нимъ дѣлался припадокъ падучей болѣзни, послѣ котораго онъ становился мраченъ, сердитъ; раздраженіе его доходило до такой степени, что съ нимъ нельзя было слова сказать. Съ дѣтьми онъ обращался чрезвычайно строго; они его боялись, старались не показываться ему на глаза и сидѣли большею частью въ заднихъ комнатахъ. Вставалъ Витбергъ обыкновенно рано и тотчасъ заправлялся въ своемъ кабинетѣ. Тамъ онъ читалъ, пре-

имущественно книги духовнаго содержанія, или рисовалъ, чертилъ. Изъ дома выходилъ разъ или два въ мѣсяцъ. У него бывали посѣтители весьма рѣдко, да и то онъ никогда не выходилъ къ гостямъ, или выходилъ хмурый, сердитый.

Переписка съ Александромъ сдѣлалась вяла. Витбергъ—угасалъ.

Въ 1846 году онъ получилъ отъ него письмо, въ которомъ тотъ подаетъ надежду на скорое свиданіе.

«Ваше письмо, почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ, обрадовало меня безмѣрно. Отчего я молчалъ такъ давно, отчего вы—сначала такъ, а потомъ потому, что молчали. Vous avez brisé la glace и вамъ честь за то, что вы напомнили мнѣ и долгъ, и собственное желаніе. Послѣдній разъ я писалъ къ вамъ съ Юріемъ Федоровичемъ Самаринымъ. Вы не пишете, получили ли это письмо?..

О себѣ не много могу вамъ сообщить. Живу въ Москвѣ, почти исключительно занимаюсь естествоислѣдіемъ, не совершенно безплодно. Это вы можете видѣть по нѣкоторымъ статьямъ въ журналахъ. Въ семейномъ кругу я также счастливъ, какъ былъ въ первый день послѣ свадьбы; дѣтей у насъ теперь трое; здоровье жены хотя далеко отъ крѣпости, но, по крайней мѣрѣ, не хуже. Теперь важное дѣло предстоитъ въ воспитаніи Саши (ему около 6-ти лѣтъ), жизнью, опытомъ. Я думаю, возрѣніе мое на этотъ предметъ не будетъ совершенно совпадать съ вашимъ. Можетъ-быть, я самъ побываю въ Петербургѣ до осени... До свиданія, весь вамъ Александръ».

Скучная жизнь Витберга оживилась-было въ 1846 году съ прїѣздомъ въ Петербургъ Саши. Встрѣча была самая радушная, оба нашли другъ въ другѣ много перемѣнъ. Витбергъ постарѣлъ, опустился; другъ его возмужалъ. Они видались часто. Извѣстный уже писатель посѣщалъ художника и опять начались у нихъ долгіе, задушевные разговоры, но это были не прежнія вятскія бесѣды. Передъ Сашей былъ уже не мощный умъ, который нѣкогда былъ ему опорой, а обремененный нуждой и болѣзнями старецъ, схоронившій всѣ свои надежды, всѣми забытый, ничего впереди отъ жизни не ожидавшій. «Если бы не семья, не дѣти,—говорилъ Вит-

бергъ другу въ минуты горести:—я вырвался бы изъ Россіи и пошелъ бы по-міру съ моимъ Владимірскимъ крестомъ на шеѣ, спокойно протягивалъ бы я прохожимъ руку, которую жалъ императоръ Александръ Павловичъ, и рассказывалъ бы мой проектъ и судьбу художника». Онъ гибнулъ, самый гнѣвъ его противъ враговъ своихъ, который такъ любилъ его другъ-юноша, сталъ потухать; надеждъ у него больше не было, онъ ничего не дѣлалъ, чтобы выйти изъ своего положенія и ровное отчаяніе доканчивало его, существованіе сложилось,—онъ ждалъ смерти.

Александръ вскорѣ уѣхалъ съ семействомъ за границу.—и объ Александрѣ Лаврентьевичѣ уже ничего не зналъ, а художникъ прожилъ еще восемь лѣтъ и, кромѣ рисунковъ для иконостаса вятскаго собора, составилъ еще одинъ проектъ.

Въ 1847 году пріѣхалъ въ Петербургъ съ Кавказа какой-то казакскій полеовникъ. Неизвѣстно какъ, онъ познакомился съ Витбергомъ, часто бывалъ у него, и, наконецъ, предложилъ ему составить проектъ храма, который тогда предполагали построить на Кавказѣ. Витбергъ согласился, проектъ скоро былъ готовъ и по этому проекту въ Тифлисѣ построенъ Георгіевскій соборъ.

Между тѣмъ, болѣзнь Витберга усиливалась, припадки повторялись чаще и чаще.

Въ 1848 году Федоръ Ивановичъ Прянишниковъ сталъ доставлять Витбергу работу — составлять рисунки для корзинъ, въ которыхъ онъ подносилъ высокопоставленнымъ лицамъ въ новый годъ заграничные журналы и кидсеки.

Въ то же время Витбергъ брался составлять по заказу памятники и монументы. Въ его положеніи это была единственная, доступная для него работа. Заняться чѣмъ-нибудь болѣе важнымъ ему не приходилось, да онъ едва ли бы и могъ: болѣзнь окончательно его одолевала.

Когда кому-то вздумалось устроить въ Петербургѣ сообщенія въ общественныхъ каретахъ и понадобился для этого рода экипажей рисунокъ, то заказъ былъ сдѣланъ Витбергу, и онъ его исполнилъ.

Въ 1851 году скончалась вторая супруга Витберга.

Утрата ея была для него новымъ и послѣднимъ ударомъ, за которымъ послѣдовалъ параличъ.

Въ 1854 году на него обрушилось еще несчастіе—пожаръ, въ которомъ онъ едва не погибъ; его спасъ бывшій его ученикъ Чарушинъ, жившій въ его семействѣ. Въ этомъ пожарѣ погибли почти всѣ рисунки и чертежи многолѣтнихъ трудовъ Витберга; затѣмъ, что было спасено, погибло въ семействѣ, послѣ его кончины, также въ пожарѣ.

12-го января 1855 г. Витберга не стало. Онъ кончилъ жизнь 68-ми лѣтъ отъ роду и похороненъ на Волковомъ кладбищѣ. При послѣднихъ минутахъ художника присутствовалъ его любимый ученикъ изъ Вятки Д. Я. Чарушинъ; похоронилъ его на свой счетъ П. И. Гепинъ, членъ комитета по сооруженію Александро-Невскаго собора въ Вяткѣ.

Витбергъ извѣдалъ всѣ муки, которыя могутъ быть знакомы только людямъ, обладающимъ даромъ творчества: чувствовать, что могъ бы привести въ восторгъ всѣхъ красотою своихъ созданій, величіемъ и блескомъ идей, воплощенныхъ въ прекрасныя формы, и въ то же время ограничиваться изображеніемъ ихъ на бумагѣ, зная, что никогда онѣ не воплотятся въ тѣ формы, которыя увѣковѣчили бы ихъ для потомства. Тѣмъ не менѣе, имя Александра Лаврентьевича Витберга навсегда принадлежитъ исторіи искусствъ. Справедливость этой мысли провидѣлъ вятскій другъ художника и, вспоминая о его гениальномъ проектѣ храма Христа Спасителя въ Москвѣ, съ полнымъ убѣжденіемъ писалъ ему: «людовигъ вашъ не останется втунѣ, нѣтъ, человечество имѣетъ свою мѣрку великому, и ваше мѣсто въ исторіи искусства занято».

ГЛАВА XXXII.

Украина.

1834 — 1836.

«Украина, чистое произведение Малороссіи, слита съ нею: климатомъ, мѣстностію, произведеніями».

Вадимъ Пассекъ. Путев. замѣтки.

Воскрешая въ памяти нашу жизнь въ Украинѣ, мнѣ показалось, что прежде, чѣмъ говорить о томъ, какъ мы жили въ Украинѣ, слѣдуетъ сдѣлать краткое извлеченіе изъ путевыхъ записокъ Вадима о томъ, что такое Украина.

«Украина,—сказано у Вадима:—есть чистое произведение Малороссіи, той страны, гдѣ возникли первые элементы нашего отечества, откуда разлитъ въ немъ свѣтъ христіанства, гдѣ возникъ и развился нашъ удѣлизмъ!» и продолжаетъ, указывая на историческое значеніе этой страны:

«Кто первый изъ насъ вошелъ въ связи съ европейскими державами? Кто остановилъ гибельный потокъ первыхъ татарскихъ ордъ, и такъ сильно, такъ пламенно воспылѣлъ битвы съ кочевыми половецами?

— Малороссіяне!

Какой народъ безъ твердыхъ постоянныхъ предѣловъ, которые могли бы его защитить отъ воинственныхъ сосѣдей, безъ неприступныхъ горъ, которыя могли бы спасти его независимость, умѣлъ быть страшнымъ для своихъ враговъ, успѣлъ развить свою національность и удержать ее въ пять вѣковъ насилія татарскаго, литовскаго и польскаго? Какой народъ въ пять вѣковъ неволи, когда пепелили его города, мучили за преданность религіи, умѣлъ ее сохранить, въ это время былъ не разъ грозою своимъ притѣснителямъ, и среди этихъ пытокъ созидалъ училища для образованія юношества? Этотъ народъ былъ—малороссіяне! Греческая религія впервые принята—Малороссіей. Въ побѣдныхъ походахъ

Святослава—были толпы малороссіянъ. Воспоминаніе о пѣсняхъ бояновъ и теперь навѣваетъ мечтой и переносить въ минувшее—бояны были поэты Малороссіи. Безсмертное слово о походѣ Игоря есть произведеніе Малороссіи; воспѣтыя въ немъ дѣла свершены малороссіянами. Они бились съ половцами и печенѣгами; они пробудили жизнь на сѣверѣ Россіи и перенесли сюда всѣ зачатки государства, перенесли у дѣлизмъ, самыя названія своихъ южныхъ рѣкъ и городовъ, даже самый вѣсъ и монеты перешли къ намъ не изъ сосѣдственнаго, самобытнаго Новгорода, но изъ Кіева.

Что же виною такой сильной дѣятельности души народа? Неужели такія великія событія—дѣло случая? Или народы не имѣютъ отличительнаго характера и жизнь ихъ можно выразить одною формулою? О! дайте мѣсто народности для каждаго племени,—не отнимайте его величія, стертаго бѣдствіями и вѣками, смытаго кровью!

Но гдѣ же искать источника, изъ котораго льются всѣ законы жизни, начала, по которымъ существуютъ всѣ племена и народы? Гдѣ найти первый гармоническій звукъ, по которому располагаются всѣ событія и стройно слѣдуютъ одно изъ другого?

Этотъ источникъ, это начало—въ душѣ человѣка, условія—во внѣшней природѣ.

Природа Малороссіи имѣетъ свою собственную характеристику въ климатѣ, почвѣ, положеніи земли, въ системѣ рѣкъ; почва ея земли тучна, пажити обширны, воздухъ благорастворенный. Чистое, свѣтлое небо, цвѣтуція поля, луга просвѣтляютъ характеръ жителей, непосредственно сближаютъ съ міромъ внѣшнимъ, съ сосѣдними державами и предрасполагаютъ къ жизни общественной болѣе, нежели природа странъ сѣверныхъ и палящаго юга».

Въ пословицѣ: «что деревня, то обычай», Вадимъ видитъ глубокий смыслъ, и говоритъ: «знаю, что это различіе часто видоизмѣняется отъ политическихъ направленій, не вездѣ рѣзки его оттѣнки, не для всѣхъ оно замѣтно, не можетъ быть изслѣдовано силами одного человѣка; но оно есть и сильно проявляется въ жизни русскихъ и малороссовъ — этихъ двухъ родственныхъ народовъ».

Указавши, какое вліяніе имѣетъ на народность среда, въ которой народъ возникаетъ, Вадимъ переходитъ къ его обычаямъ и указываетъ на удѣлизмъ.

«Удѣлизмъ, — сказано въ путевыхъ запискахъ: — по характеру своему возникъ и долженъ былъ возникнуть изъ духа южныхъ славянъ, изъ самаго быта малороссійскаго народа и погибнуть на сѣверѣ».

Взглядъ этотъ Вадимъ основываетъ на семейномъ раздѣлѣ у малороссіянъ и на цѣлости и единоначалии у великороссовъ; затѣмъ указываетъ на нѣкоторые обычаи, подтверждающіе этотъ взглядъ. «Сѣверная Россія имѣла также свою удѣльную систему, — говоритъ онъ: — но она носила въ самой себѣ всѣ начала единодержавія. Она не была дѣйствіемъ семейнаго отдѣла; она была раздѣломъ отцовскаго наслѣдства, съ соблюденіемъ семейнаго старшинства. И самое названіе великаго князя въ Кіевѣ пріобрѣло значительность только во Владимірѣ и Москвѣ».

Далѣе, указывая слегка на многія событія, которыя объясняютъ преимущественно различіе характеристики и быта обоихъ племенъ, переходитъ къ борьбѣ рода Мономаховичей съ родомъ Ольговичей, и кончаетъ тѣмъ, какъ борьба эта была подавлена гнетомъ татаръ, доломавшимъ нашъ, въ самомъ себѣ угасавшій, удѣлизмъ и остановлена завоеваніемъ Малороссіи Литвою и Польшей.

«Подъ властью Польши, — продолжаетъ онъ: — Малороссія испила до конца всѣ бѣдствія! Дворянство не пользовалось польскими вольностями; крестьяне были истощены работами, стѣснены на каждомъ шагу. Все было оскорблено, угнетено, и для малороссіянина не оставалось ни наслажденія, ни безопасности въ домѣ, ни правъ въ государствѣ, оставалось одно прибѣжище — быть казацкій, быть полный дикой поэзіи. Польша хотѣла истребить въ малороссіянахъ самую мысль отторженія, хотѣла привязать къ себѣ всѣми отношеніями гражданства и религіи. Борьба религіозныхъ понятій больше всего ожесточила народъ малороссійскій; и чѣмъ сильнѣе становились дѣйствія Польши, чѣмъ тягостнѣе ея власть, тѣмъ быстрѣе переходила Малороссія изъ быта гражданскаго въ бытъ казацкій. «Воинства

же казацкаго,—говорить лѣтописецъ:—никто изчести не можетъ, столько-бо конныхъ, столько и пѣшихъ, и сколько на Украинѣ и Малороссіи людей, столько и казаковъ, не треба нуждою собираться, якъ по иныхъ, чужеземныхъ странахъ творять; не треба великаго найму обѣщевати; речеть старѣйшій слово, абіе войско числомъ, аки трава будетъ»... Такъ легко обращало угнетеніе каждаго гражданина въ война, и быть гражданскій въ быть казацкій!

Казаки стали страшны для Польши; Польша задумала объ ихъ истребленіи. Малороссіяне схватились за мечъ!

Тяжелъ былъ полякамъ мечъ казацкій!

Когда Малороссія отдыхала временно, поляки обѣщали ей льготы, обѣщали всѣ права своего отечества, и снова начинались угнетенія—и снова битвы.

Притѣсненія Польши послѣдователей православія сильно обнаружили ея неприязнь къ Малороссіи, показали, какъ различны ихъ народности и сблизили въ политическомъ отношеніи южную Россію съ сѣверной—родственную ей по религій.

Замученные малороссіяне—одни бѣжали къ своимъ землякамъ, въ страну Приднѣпровскую—къ переселившимся туда ихъ соотечественникамъ еще во времена тяжкаго владычества татаръ. Тамъ, скрывшись среди неприступныхъ скалъ, огражденные глубиной и быстрой рѣки и лабиринтомъ острововъ, образовали общину, подвластную одному атаману, и стали громить своихъ враговъ на сушѣ и на моряхъ.

Они разгуливали по морямъ въ бѣдныхъ челнахъ, бока которыхъ обшивались тростникомъ, безъ пушекъ, съ одними саблями и пищалями.

Сухопутные набѣги ихъ были столь же неожиданнымъ, бурны, дикі и разгульны.

Ни Крымъ, ни малоазійскіе города, ни самыя окрестности Константинополя не имѣли отъ нихъ покоя, и не разъ турки падали подъ ихъ ударами у самыхъ стѣнъ Константинополя.

Сколько разъ Сагайдачный опустошалъ берега Чернаго моря и бился подъ Хотиномъ и этотъ же буйный казакъ строить церкви и училища, отдастъ все состояніе въ пользу учащихъся, а самъ поступаетъ въ монахи и ведетъ тихую, смиренную жизнь.

Таковы были запорожцы!

Другая половина малороссіянъ въ первой половинѣ XVII столѣтія переселилась на берега Ворсклы, Сулы, Харькова, Донца и образовала русскую Украину.

Они нашли тамъ природу обильную многими произведеніями, готовую воздавать десятирицею за трудъ человека. Лѣса и степи были полны птицъ и звѣрей; рѣки кипѣли рыбою, въ озерахъ она часто задыхалась отъ чрезмѣрнаго размноженія.

Здѣсь было привольно жить первымъ выходцамъ, но какая судьба предстояла имъ? Они не имѣли за себя ни Днѣпровскихъ пороговъ, ни отдаленія отъ сильныхъ государствъ, они поселились вблизи польскихъ владѣній, сопредѣльныхъ съ Россіей, на самомъ перепутьи татаръ.

Чувствуя эти невзгоды, казаки при самомъ началѣ своего переселенія стали искать подданства Россіи. Этимъ средствомъ надѣялись вѣрнѣе защититься отъ насилія и за подданство просили только безпрепятственнаго пользованія хозяйственными заведеніями и промыслами, изъ которыхъ главнымъ было—винокуреніе.

Государи російскіе были довольны водвореніемъ воинственныхъ малороссіянъ на опасномъ перепутьи изъ Крыма въ Россію.

Много терпѣла едва родившаяся Украина отъ крымскихъ татаръ. Набѣги ихъ были жестоки. Почти цѣлое столѣтіе жизнь переселенцевъ была непрестанною войною съ крымцами. Они осуждены были выдерживать весь жаръ перваго гибельнаго удара. Не прошло еще ста лѣтъ, какъ орда крымскихъ татаръ врывалась въ Украину со всѣми ужасами опустошенія. Страна, гдѣ теперь университетъ и десятки учебныхъ заведеній, гдѣ наготовѣ стоитъ цѣлый корпусъ войска—была границей Россіи, и не по одному только имени была Украиной. За этою Украиной тянулись пустынные степи.

Подверженные безпрестаннымъ набѣгамъ татаръ, въ сосѣдствѣ съ Малороссіей, кипѣвшей войною, украинцы жили точно въ военномъ станѣ; самые земледѣльцы ходили не безоружные за своимъ плугомъ. Малая обезпеченность собственности и неизвѣстность въ наслажденіи жизни заставили ихъ укрѣпить свои слободы, преобразовать ихъ въ города, сдѣлать вокругъ нихъ на-

сыпи, иныя обвести стѣнами, и составить изъ себя постоянное войско.

Первыя изъ этихъ укрѣпленныхъ слободъ были Харьковъ, Ахтырка и Сумы; къ нимъ причислены остальные села, мѣстечки и деревни. По этимъ тремъ открывшимся городамъ названы три слободскіе полка: харьковскій, ахтырскій, сумскій.

Вскорѣ харьковскій полковникъ Г. Донецъ построилъ Изюмъ.

Такъ возникли первые города Украины съ ихъ военнымъ устройствомъ.

Всѣ жители этой страны раздѣлились на полки, вся земля, ими занимаемая, со всѣми селеніями, мѣстечками и деревнями, была приписана къ четыремъ полковымъ городамъ: Харькову, Сумамъ, Изюму и Ахтыркѣ.

Главою каждого полка былъ полковникъ, избирался старшинами и чиновниками всего полка. Въ полковники могли быть избраны и изъ рода простыхъ казаковъ; но замѣтно, что выборъ падалъ больше на фамиліи дворянскія, вышедшія изъ Польши: такъ, въ изюмскомъ были почтены выборомъ фамиліи Кондратьевыхъ и Захаржевскихъ, въ харьковскомъ: Квигокъ и Куликовскихъ.

Власть полковника была такъ велика, что онъ жаловалъ землями и могъ наказывать преступниковъ смертію. Каждый полкъ дѣлился на сотни.

Сотнями распоряжались сотники. Въ ихъ власти были сотенные атаманы, асауды (должность полкового адъютанта), хорунжіи (охраняли полковые значки) и писаря. Въ полковыхъ городахъ были пушки, къ нимъ опредѣлялись: пушари.

Таково было военное устройство Украины. Оно возникло изъ самыхъ обстоятельствъ и носило на себѣ отпечатокъ простоты и бурной военной жизни.

Привольно жили слободскіе поселенцы, охраняемые военнымъ устройствомъ. До нихъ не доходило угнетеніе поляковъ, ихъ не касалось насиліе самихъ начальниковъ, потому что и земледѣлецъ и полковникъ равно были необходимы другъ для друга: опасность, защита, довольство были для нихъ общими. И простой казакъ, и полковые чиновники почти ничѣмъ не различались. Кто былъ сегодня казакомъ, тотъ завтра могъ сдѣлаться асауломъ

и даже сотникомъ. Сегодня онъ пахалъ землю, а завтра распоряжался войскомъ, и для него были готовы сотни земледѣльческихъ рукъ. Все зависѣло отъ личныхъ достоинствъ, обстоятельствъ и службы.

Богатство страны доставляло всѣ средства обезпеченія.

Различные промыслы, торговля, винокурение—все отправлялось свободно, безпошлинно. А полки изюмскій и харьковскій, пользуясь мѣстоположеніемъ, по волѣ занимали южныя пустыя степи, распространяли на нихъ скотоводство, пахали, косили и безпрепятственно употребляли земли подъ хозяйственные заведенія.

Только съ 1732 года проведена Украинская линія отъ устья Ореви до Сѣвернаго Донца, и по ней поставлены укрѣпленія, населенныя великороссійскими жителями: это обозначило границы слободскихъ полковъ.

Еще больше опредѣлились ихъ владѣнія на правомъ берегу Донца поселеніемъ колоніи сербовъ, вышедшихъ въ 1752 году изъ Австрійской имперіи подъ начальствомъ Шевича и Депрерадовича.

Въ 1669 году царь Алексѣй Михайловичъ оставилъ прежнія права за казаками. Петръ Великій подтвердилъ привилегіи казаковъ.

Выѣстъ съ тѣмъ всеизмѣняющій геній Петра коснулся и нѣкоторыхъ изъ ихъ преимуществъ. Онъ потребовалъ отъ казаковъ опредѣленности въ ихъ военномъ устройствѣ.

Вскорѣ избраніе полковниковъ стало зависѣть отъ утвержденія государей; всѣ полки были отданы въ распоряженіе генерала; всѣ гражданскія дѣла поступили въ вѣдомство бѣлгородской провинціальной канцеляріи.

Послѣ полтавской битвы Петръ оставилъ въ Украинѣ 15 полковъ подъ начальствомъ князя Репнина и назначилъ украинскимъ дивизіоннымъ генераломъ Петра Матвѣевича Апраксина. Ему были поручены и слободскіе полки».

Этотъ періодъ времени Вадимъ считаетъ началомъ поселенія въ Украинѣ русскихъ крестьянъ, такъ какъ нѣкоторые изъ дивизіонныхъ слободскихъ начальниковъ, получивши въ Украинѣ деревни, поселяли здѣсь своихъ великороссійскихъ крестьянъ. Такъ, фамилія Апракси-

ныхъ владѣла Нижнимъ Салтовымъ и нѣкоторыми деревнями, изъ которыхъ были и русскія.

Впослѣдствіи времени переселились сюда изъ Венгріи фамилія Хорватовъ, изъ Россіи фамилія Пассекъ, изъ Валахіи—Кантемиры и Куликовскіе *).

Большая же часть переселенія произошла при совершенномъ присоединеніи Украины къ Россіи.

Постановленія при императрицахъ Екатеринѣ I и Аннѣ Іоанновнѣ коснулись всѣхъ сословій и всей жизни украинцевъ и съ каждымъ годомъ сливали Украину съ Россіей. Императрица Елизавета Петровна увеличила комплектъ рядовыхъ и позволила недовольнымъ на рѣшенія полковыхъ канцелярій жаловаться въ Бѣлгородскія губерніи, въ Юстицъ-коллегію и переносить апелляціи въ Сенатъ.

Обрадованные этою грамотою, полковые начальники дополнили каждый полкъ назначеннымъ числомъ рядовыхъ, и, по собственному желанію, учредили для каждого полка особенный мундиръ. Этимъ нововведеніемъ сдѣлали шагъ къ наружному сближенію казаковъ съ велико-россійскими войсками и обозначили, что Украина уже носила въ себѣ самой сѣмя своего измѣненія.

Затѣмъ постепенно смѣнялись разныя привилегіи и повелѣно было набрать изъ казачьихъ семействъ слободскій гусарскій полкъ.

Все предвѣщало, что рѣшительный шагъ преобразованія Украины—близожъ.

При Екатеринѣ II слободскіе полки переименованы въ гусарскіе.

Съ этого времени вся Украина, какъ живая, неотъ-

*) Хорватъ въ первой половинѣ XVIII столѣтія вышелъ изъ Венгріи и привезъ съ собой венгерскихъ выходцевъ. Богданъ Ивановичъ Пассекъ, бывшій бѣлгородскимъ губернаторомъ, купилъ слободу Спасскую и селцо Нитайково, что въ Волчанскомъ уѣздѣ. Куликовскіе вышли вмѣстѣ съ Кантемиромъ изъ Валахіи. Въ семейной лѣтописи Кантоковъ подъ 1711 годомъ есть любопытное мѣсто — именно, что князь Кантемиръ просилъ себѣ у государя всю Украину во владѣніе; сно сей край, — продолжаетъ лѣтописецъ, — долженъ благодарить князя А. Д. Меншикова за предстательство, — онъ внушилъ государю каково есть волошскихъ начальниковъ правленіе надъ подданными сурово, малоумно и деспотично, а потому это не сбылось...

емлемая часть организма цѣлаго государства, привитая къ нему устройствомъ военнымъ и гражданскимъ, должна была сочувствовать его жизни и подвергаться его общимъ измѣненіямъ.

«Чтобы глубже вникнуть въ жизнь Украины,—говоритъ Вадимъ:—надобно прослѣдить ее въ самомъ ея источникѣ, въ племени малороссійскомъ», и—съ любовью обращается къ Малороссіи, какъ это можно видѣть изъ начала главы и изъ краткаго извлеченія, сдѣланнаго мною изъ его «Путевыхъ Записокъ», для того, чтобы, указавши его взглядъ на Малороссію, перейти къ протекшей и настоящей жизни Украины, куда судьба привела насъ съ Вадимомъ въ 1834 году.

Еще во вторую поѣздку свою въ Украину, по дѣламъ семейства, Вадимъ въ нѣсколькихъ письмахъ познакомилъ меня съ этой страной. Въ послѣдствіи эти письма частію вошли въ составъ его «Путевыхъ Записокъ».

ПИСЬМО I.

«Какія мечты пробуждаетъ во мнѣ Украина!—писалъ мнѣ Вадимъ изъ села Спасскаго, въ 1833 году:—какъ сильно сочувствуетъ душа моя ея бурной, измѣнчивой судьбѣ, ея безмолвнымъ курганамъ, ея неразгаданнымъ изваяніямъ! И весь я влекусь думами къ ея минувшей жизни, къ ея воинственнымъ ордамъ и раздолью природы. Мнѣ кажется, передо мной еще прежнія широкія равнины и степи отъ возвышеннаго берега Дняца черезъ Днѣпръ идутъ къ берегамъ моря Каспійскаго; по нимъ едва катятся чистыя воды ихъ рѣкъ; поля застланы зелеными коврами, оживлены разсыпанными по нимъ табунами; темные лѣса и рощи тянутся широкой полосой къ полтавской границѣ. Почва этихъ степей песчана, вкуса морской воды, усѣяна солончаками и раковинами. Это обратило вниманіе натуралистовъ; Турнефортъ первый замѣтилъ, что было время, когда проливъ Константинопольскій не существовалъ, море Черное не соединялось съ Средиземнымъ и земля разорвалась отъ землетрясенія или отъ сильнаго напора воды.

Почти спустя столѣтіе послѣ Турнефорта, нашъ Палласъ подтвердилъ его догадку доказательствами. Кто не задумается, бродя по этимъ безбрежнымъ для взора сте-

пямъ, зная, что онѣ были нѣкогда дномъ обширнаго моря; что здѣсь беззаботно покоились морскія чудовища, а тамъ, въ высотѣ, гдѣ вѣетъ теперь жаворонокъ, сыпая на землю звонкія пѣсни, тамъ завывала буря, вздымала волны и погибавшіе пловцы страшились упасть на эти роскошныя равнины.

Это море захватывало часть нынѣшней Украины

Ты не можешь себѣ представить, Таня, того впечатлѣнія, которое произвелъ на меня дивный видъ съ горы Нижняго Салтова; подъ горой Донецъ, равнины и степи, съ разбросанными деревнями, тонуть въ вишневыхъ садахъ, а мнѣ, полному думъ прошедшаго, казалось, я стою на высокомъ утесѣ: равнины — море, деревни — суда! на морѣ штиль, ничего не трогается; порой на горизонтѣ безмѣрнаго пространства, какъ бы всплывавшая тѣлѣга казалась чудовищемъ; разсыпанныя стада — морскими птицами.

Да, украинскія степи казались мнѣ затихнувшимъ моремъ!

Море это извергало тысячи чудовищъ на берегъ нашего отечества — извергало набѣги половецкіе.

Половцы врывались въ наши предѣлы, пепелили города и селенія, уничтожали лѣса, брали плѣнныхъ, которыхъ рѣдко обращали въ рабство, а больше мѣняли на золото; но завоевать Россіи не могли: это было противно элементу ихъ кочевой жизни.

Когда исчезло племя половцевъ, украинскія степи запустѣли, только половецкіе кумиры *), покинутые своими поклонниками, стояли одинокіе, забытые; ихъ заносило снѣгомъ, они заросли травой, мѣстами курганы, какъ часовые, стерегли свое пустынное жилище; порой крымцы дѣлали набѣги черезъ обезлюдившія равнины; орелъ, въ высотѣ, сливая кругъ за кругомъ, ширился надъ стадомъ дроздовъ и гусей; да пустынный вѣтеръ шумѣлъ и волновалъ песчаное море.

Украина запустѣла!

Пусто бывало въ Украинѣ, когда покидали ее половцы;

*) Кумиры половецкіе теперь стоятъ по степямъ и курганамъ въ Украинѣ, колоссальныя, грубо высѣченныя изъ камня. Въ Украинѣ ихъ называютъ «бабами». Въ 1830 годахъ Вадимъ доставилъ въ московскій музей двѣ каменные бабы изъ Харьковской губерніи.

пусто бывало, когда татары, разсѣявши половцевъ, привольно гуляли по обширному пепелищу; но никогда не бывало въ Украинѣ такого запустѣнія, какъ во времена владычества Польши надъ Южною Россіей. Тогда Украина обезлюдила, и рѣдко заходилъ сюда человѣкъ.

Кто же первый рѣшился основать здѣсь постоянное жилище? Чтѣ привело въ пустынную, дальнюю страну, беззащитную отъ набѣговъ крымцевъ и ногайцевъ?

Привели—угнетенія».

ПИСЬМО II.

«Украина—чистое произведеніе Малороссіи—до сихъ поръ удержала характеристику своего происхожденія.

И теперь въ Украинѣ существуетъ отдѣлъ въ семействахъ, и теперь языкъ сохранилъ свою національность, даже вліяніе чужеземнаго Запада. Слова: крейда, шмакъ, шляхъ, шмальць и проч. отзываются вліяніемъ Польши и Германіи.

Въ плясѣ кадансъ и выкрутасы подходятъ къ польскому краковяку. Гопакъ, мятелица, журавель—танцы малороссійскіе. Козачекъ—пляска собственно украинцевъ. Пѣсни разнообразны и дышатъ простосердечіемъ. Въ нихъ сохранились воспоминанія историческія. Многія думы еще не забыты и исполнены мысли и чувства. Думы и пѣсни—это поэтическія лѣтописи. Въ Малороссіи не было лица, ознаменовавшаго чѣмъ-нибудь свою жизнь, которое не почтили бы думою или пѣснію, и могло ли быть иначе? Въ каждомъ событіи участвовалъ послѣдній казакъ, послѣдній крестьянинъ; отъ этого-то и теперь не забыты имена: Палія, Дорошенки, Свирговскаго, Серпяги, Хмѣльницкаго и др., отъ того-то и теперь простыя пѣсни и сказки доставляютъ пищу разгульнымъ бандуристамъ и бѣднымъ старикамъ.

Характеръ Малороссіи и вліяніе природы отпечатлѣваются въ самой постройкѣ домовъ: хата почти всегда сдѣлана изъ нѣсколькихъ бревенъ, кольевъ, даже прутьевъ, не ровно сложенныхъ, крѣико и гладко замазанныхъ глиною, выбѣленныхъ мѣломъ. Издали деревня похожа на рядъ палатокъ, разбросанныхъ между фрук-

товыхъ садиловъ. Хатки эти малы, въ нихъ живутъ только мужъ съ женою, да неженатые и незамужніе еще дѣти. Дворъ огороженъ плетнемъ, покровъ его небо; для каждой хозяйственной потребности отдѣльная постройка. Все это указываетъ на то, что народъ надѣленъ дарами природы, мало страдаетъ отъ жестокости климата и не привыкъ жить только жизнію своей хаты и своего двора. Это по преимуществу замѣтно въ Украинѣ.

Украина, родная Малороссіи по происхожденію, военное поселеніе отъ XVII до XVIII вѣка—не могла привыкнуть къ хозяйству, — безпечность образовалась однимъ изъ отличительныхъ признаковъ ея жизни въ низшемъ классѣ.

Самое переселеніе въ Украинѣ не встрѣчаетъ такого затрудненія, какъ у другихъ народовъ. Рѣдко услышите ропотъ переселенныхъ.

Легкія хатки перевозятся, лѣпятся снова, замазываются глиной и бѣлятся мѣломъ *). Дѣло другое, если разлучаютъ съ родными, или украинецъ сочтетъ себя обиженнымъ, стѣсненнымъ, тогда онъ — утечетъ на Донъ или въ степи. Онъ легко покидаетъ свою хату, къ которой не привязанъ ни большою семьей, ни хозяйствомъ.

Раздѣлъ семейный вредитъ хозяйственной части; но обычай силенъ. Украинецъ говорить: «хоть гйрши, да йнши».

Разгулъ и безпечность жизни украинцовъ больше слѣдствіе, нежели причина ихъ историческаго быта и свойствъ страны.

Еще бывши казаками, когда собственность ихъ была не обезпечена, жизнь измѣрялась битвами, а счастье жизни рѣшалось мечомъ, они привыкли къ бездомовой жизни, пріучились жить какъ бы на одинъ день, и желали только скорѣе насладиться невѣрною жизнію—это поселило въ ихъ характеръ стремленіе пользоваться настоящимъ.

Съ какой безпечностью думаетъ малороссіянъ о по-

*) Такъ, въ три господскіе дня перевезена была графомъ О. И. Генриковымъ обширная деревня Лиманская. Въ понедѣльникъ перевезли хаты, во вторникъ сложили, въ среду замазали глиной. Остальные три дня работали на себя. Въ воскресенье выбили стѣны—и—деревня готова.

левой работѣ: ему ненадобно возить на поля удобренія, ненадобно управлять сохою. Онъ запрягаетъ въ плугъ воловъ, и они, привыкнувши къ дѣлу, вѣрно ходятъ взадъ и впередъ, и плугъ самъ, безъ управленія, рѣжетъ борозду за бороздою, и тучная земля разверзаетъ свое лоно. Крестьянинъ идетъ только возлѣ плуга, да какой-нибудь мальчикъ погоняетъ переднихъ воловъ, и за малый трудъ получается богатый урожай.

Иногда, возвратясь съ работы, неутомленный, идетъ съ своею жинкою и дочкою ловить бреднемъ раковъ. Вотъ они подошли къ рѣкѣ, женщины отправляются въ воду, бродятъ тамъ часто по грудь, а чилловикъ сидитъ на берегу, выбравши получше мѣсто, куритъ люльку и, скрививши свою казацкую смушковую шапку, поглядываетъ на всѣ стороны, любитъ ловомъ и спокойно идетъ домой; за то жинка не знаетъ, какъ покупать наряды: ея чилловикъ привозитъ ей и запаску, и плахту, и очипокъ, и даже чоботы на высокихъ подборахъ».

ПИСЬМО III.

.....
«Загляни въ хату украинца.

Вотъ она: бѣдная, безъ крытаго двора. Но какъ она чиста и бѣла! какъ убрана и вымазана ея заваленка! какъ вымыты слѣпленные окна. У воротъ лежитъ груда хвороста и щепокъ: это украинскіе дрова; плетень обросъ крапивою и шиповникомъ. Навстрѣчу хозяину идетъ дворовая собака, высокая, поджарая, съ широкой головою и продолговатой мордою: это порода собакъ крымскихъ; она напоминаетъ набѣги, времена военной смуты. Вы подымаетесь на крыльцо... надъ вами висятъ длинныя вязанки яблоковъ, пачки табаку—важного условія для малороссіянина—и капустныя листья, на которыхъ пекутъ хлѣбы. Въ хатѣ нѣтъ палатей, никогда она не бываетъ курною, земляной полъ ея, вымазанный глиной, чистъ, выметенъ, пересыпанъ пескомъ, пища хозяевъ бѣдна, но борщъ ихъ вкусенъ, хлѣбъ бѣлъ, все чисто и опрятно. Разговоры ихъ вертятся около предметовъ, близкихъ съ крестьянскимъ бытомъ: то вдаются въ воспоминанія о пережитыхъ бѣдахъ, то переходятъ къ знахарству какой-нибудь старухи или къ

надеждамъ на борщъ съ хорошей свиной, на вареники и галушки со сметаной или къ сладкой мечтѣ прогулять въ первый праздникъ послѣдніе гроши, которые еще надѣется получить за мѣшокъ пшена или гречихи. Временемъ вспоминають о предстоящей работѣ; но мысль, что имъ достане хлѣба до новаго, утѣшаетъ ихъ безпечность. Временемъ полушьяный члвчкъ бранить свою жинку, а жинка сидитъ, отвернувшись къ окну, поколачиваетъ коваными чоботами и грозитъ ему худыми пальницами и борщомъ безъ сала, или сердится и бранить своихъ ребятъ бисовыми дѣтьми.

Но есть время, когда живая душа малороссіянина разыгрывается въ веселыхъ пѣсняхъ какого-нибудь парубка, или заслушивается сказокъ и думъ какого-нибудь старика о дѣлахъ минувшихъ, временахъ казацкихъ, когда жили Пали и Дорошенко, Хмѣльницкій и Сагайдачный, когда татарская орда впала въ изюмскій полкъ и много шкеры сробила, щобъ ей, поганой, борщу у глаза не видати.

Иногда собирается толпа вѣчно кочующихъ чумаковъ. Поразгулявшись, они садятся около огня, разложеннаго среди разбросанныхъ телѣтъ и рассыпавшихся воловъ, и напѣвають свои дико-унылыя пѣсни; временемъ звучитъ торбанъ, сыло напѣваетъ скрипка, и подъ эту музыку и пѣсни слышенъ топотъ гопака или живая мятелица. Это время народной поэзіи.

ПИСЬМО IV.

«Дворянское сословіе въ Украинѣ, какъ и вездѣ, высшее по образованію. Оно волей-неволей подвергается вліянію времени и, часто безотчетно, движется поступательно.

Еще до сихъ поръ осталось въ памяти народной, какъ богатые помѣщики рѣшали свои распри однимъ оружіемъ. Вывозили на поле брани пушки, и послѣ гибели нѣсколькихъ крестьянъ все оканчивалось веселой, роскошной пирушкой помѣщиковъ-феодаловъ.

Въ ихъ дѣлахъ и словахъ мы узнаемъ чуждыя для насъ понятія: «свое мое,—говорилъ старый хорватъ:—свое мое, земля моя, небо мое, воды мои и черти,

що у блатахъ—све мое!»... и онъ на самомъ дѣлѣ исполнялъ это правило жизни.

Однажды съ многочисленной свитой поѣхалъ онъ въ отъѣзжее поле черезъ деревню Т. Его собака зашла во дворъ къ крестьянину; онъ хотѣлъ ее выпнать, собака укусила его, а крестьянинъ какъ-то неосторожно ударилъ собаку и перешибъ ей ногу; грозному Хорвату недостаточно было наказать своимъ судомъ чужого крестьянина. Нѣтъ, онъ велѣлъ своимъ охотникамъ обнести всю деревню соломой и спалить ее до послѣдняго двора.

Однажды испугались чего-то его лошади подъ двѣнадцатю венгерскими гусарами. Хорватъ велѣлъ на мѣстѣ же всѣхъ ихъ перестрѣлять, чтобъ не подумали, что у стараго Хорвата лошади могутъ чего-нибудь бояться.

Однажды онъ пріѣхалъ на землю своего сосѣда Пассека, съ ватагою вооруженныхъ людей и велѣлъ имъ насильно свозить къ себѣ чужой хлѣбъ. Пассекъ, не имѣя возможности противиться, упрашивалъ Хорвата, чтобы онъ изъ дружбы остановилъ насилие. Но Хорватъ, не ссорясь, отвѣчалъ: «коли маешь силу озьми све мое». Дѣлать было нечего. Пассекъ въ разговорѣ отвлекъ Хорвата отъ его толпы вооруженныхъ людей, выхватилъ изъ кобура пистолетъ, приставилъ его къ груди стараго Хорвата и сказалъ: «выбирай—смерть—или весь хлѣбъ вези ко мнѣ на дворъ».

Неожиданность смутила Хорвата, и онъ согласился на требованія противника. «Этого мало,—прибавилъ Пассекъ:—цѣлуй землю и клянись, что ты не будешь мнѣ мстить и мы останемся друзьями». Хорватъ цѣловалъ землю, какъ благородный рыцарь, позвалъ къ себѣ на пирушку храбраго сосѣда и дружно запилъ съ нимъ минутную обиду.

Все это было за 70 или 80 лѣтъ.

Еще и теперъ видны въ нѣкоторыхъ имѣньяхъ остатки земляныхъ крѣпостей, нѣкогда защищенныхъ пушками.

Эти насыпи, вмѣстѣ съ заржавленными пушками, съ остатками многихъ редутовъ и крѣпостей, которыя нѣкогда противопоставляли ордынскимъ набѣгамъ, вмѣстѣ съ неразгаданными изваяніями, разбросанными по пу-

стыннымъ степямъ,—все это безъ словъ еще долго будетъ говорить о судьбѣ Украины *).

Дворянство мелкопомѣстное посвящаетъ себя болѣе хозяйственнымъ занятіямъ и службѣ по выборамъ. Послуживши, устраиваютъ свой хуторъ, прикупаютъ къ нему землю и крестьянъ, разводятъ хорошія груши и дули, дѣлаютъ наливки, ѣздятъ на охоту и на ярмарки.

Если есть дочь, она лѣтъ до 12—14 учится грамотѣ, потомъ хозяйничаетъ, занимается уѣздными модами, танцуетъ, влюбляется, вздыхаетъ и выходитъ замужъ.

Сынъ лѣтъ до 10 ничему не учится. Потомъ ходитъ къ нему дьячокъ или пономарь, и его отправляютъ въ уѣздное училище, оттуда, полегчавши на хуторѣ, отдають въ военную службу—узнать житье-бытье; корнемъ онъ пріѣзжаетъ въ отпускъ, вскорѣ выходитъ въ отставку, выбираетъ невѣсту, женится и живетъ на хуторѣ.

Но и онъ, и дѣти его, и все движется впередъ, не столько воспитаніемъ, сколько неумолимымъ духомъ времени.

Внуки высшаго сословія уже не рѣшаютъ спорныхъ дѣлъ пушками и саблями. Въ кругу ихъ найдете людей съ новыми понятіями. Большая часть изъ нихъ воспитывается за границей или съ помощью гувернеровъ и учителей. Многіе образуются въ университетѣ, институтѣ и пансіонахъ, устроенныхъ въ этой губерніи.

Въ душѣ моей я воскрешалъ минувшіе вѣка Украины, видѣлъ, какъ измѣнялось бытіе народа, какъ возникали и гибли воинственные племена, чувствовалъ ихъ жизнь и прожилъ съ ними столѣтія.

*) Деспотизмъ, проявившійся въ грандіозныхъ формахъ старины, отзывался еще и въ ихъ потомкахъ, выродившихся въ уродливое колобродство и тиранію, и давалъ себя чувствовать гораздо ближе къ нашему времени, какъ это можно видѣть изъ одного очень оригинальнаго наказанія провинившихся, бывшаго въ употребленіи у одного изъ украинскихъ помѣщиковъ, передъ самымъ освобожденіемъ крестьянъ. Виноватому связывали руки и ноги, завязывали его въ мѣшокъ изъ рѣсна, клали на землю и засыпали пшеницей, оставляя отверстіе для дыханія. Затѣмъ пригоняли стадо индюшекъ, индѣйки принимались клевать пшеницу. Когда пшеница была склевана, наказаннаго освобождали изъ мѣшка, онъ оказывался весь ископаннымъ, въ синякахъ и едва могъ держаться на ногахъ.

Зачѣмъ измѣрять эту жизнь короткими годами, жалкими удачами и мелочными несчастіями? Зачѣмъ бѣжать въ толпу? Бѣгите въ свою душу—неизмѣримую, какъ вселенная. Вадимъ».

ГЛАВА XXXIII.

Вадимъ Васильевичъ Пассенъ.

1834—1836.

Половина дома, которую мы заняли, состояла изъ трехъ комнатъ, одной стороною обращенныхъ во дворъ, остальными въ садъ; сквозь столѣтнія деревья свѣтились Донецъ, за нимъ бѣлѣли мѣловыя горы, на нихъ Верхній Салтовъ въ вишневыхъ садикахъ,—по нижней сторонѣ Донца степь, поля проса и пшеницы. По совѣту приказчика нашего Петра, изъ двухъ разобранныхъ хатъ, хвороста и хранившихся въ экономіи досокъ пристроили мы къ нашей половинѣ спальню и дѣвичью съ обширными хворостяными стѣнами, выходящими въ садъ, а на берегу Донца, подъ кленами, устроили бесѣдку, замѣнявшую кабинетъ, и тамъ въ жаркіе дни читали и писали. Умственные занятія Вадима разнообразились хозяйствомъ, рыбными ловлями и охотой. Вадимъ любилъ охоту съ ружьемъ, иногда на охоту и меня бралъ съ собой. Въ легкой телѣжкѣ, въ одну лошадку, съ Зюльмой и винтовой онъ ѣздилъ въ степь за драхвами и стрепетами; съ ружьемъ ходилъ на озеро за утками. На озерѣ, въ густыхъ, высокихъ очеретахъ, утокъ водилось такое множество, что онъ подъ выстрѣлами шумной тучей поднимались надъ водою, и Зюльма едва успѣвала приносить намъ подстрѣленную птицу.

Въ темные вечера мы вмѣстѣ съ рыбаками, въ лодкѣ съ подсвѣтомъ, ловили на Донцѣ рыбу. Въ праздничные дни закидывали неводъ и вытаскивали множество различной рыбы; лучшую пускали въ садокъ, остальную дѣлили между рыбаками и дворовыми людьми.

Жизнь наша текла, какъ тихая рѣка, наружно—неподвижная, внутренно—полная содержанія.

Ясное состояніе духа нашего возмущалось только страхомъ ареста. Едва слышался звонъ колокольчика и показывалась повозка съ чиновникомъ въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ, какъ я блѣднѣла, и у меня занимался духъ, до тѣхъ поръ, пока грохотъ колесъ замолкалъ вдалекѣ. Когда же мы увидѣли, что Вадима не только что никто не арестуетъ, но даже никто и не навѣщаетъ, то страхъ нашъ заступило такое глубокое душевное спокойствіе, что скрыло отъ насъ весь міръ, кромѣ маленькаго уголка земли, занимаемаго нами.

Въ это-то время Вадимъ внимательно изучалъ Украину и Малороссію, живописные очерки которыхъ впослѣдствіи появились въ «Очеркахъ Россіи», написалъ диссертацию на магистра и небольшую статью подъ названіемъ «Странное желаніе», выразившую настроеніе его духа. Защищать диссертацию ему не привелось. Вслѣдствіе его близкихъ отношеній съ арестованными молодыми людьми, въ каедрѣ ему было отказано. По приѣздѣ изъ-за границы молодыхъ профессоровъ, каедрѣ, которая была назначена Вадиму, занялъ въ харьковскомъ университетѣ профессоръ исторіи — Лунигъ. Статья «Странное желаніе» пролежала восемь лѣтъ въ портфель Вадима и была напечатана по кончинѣ его, въ малоизвѣстномъ, а въ настоящее время и совсѣмъ исчезнувшемъ, небольшомъ сборникѣ, изданномъ въ память его близкими знавшими его литераторами, подъ названіемъ «Литературный вечеръ». Редакцію «Литературнаго вечера» хотѣлъ взять за себя Саша, но ее удержалъ за собою Вельмангъ, вѣроятно, сколько по расположенію къ Вадиму, столько и по общему съ нимъ направленію, склонявшемуся къ дѣлу славянъ. Сашѣ это было такъ непріятно, что онъ не помѣстилъ ни одной статьи своей въ «Литературномъ вечерѣ». Все это дѣлалось помимо меня. Мнѣ тогда было ни до чего.

Чтобы спасти статью Вадима-юноши отъ забвенія, я помѣстила ее въ моихъ воспоминаніяхъ.

Странное желаніе.

«Кругомъ меня раскинулись цвѣтуція степи и, синѣя, сливаются съ далекимъ небосклономъ. На нихъ, вечерами, какъ звѣзды, мерцаютъ огни, подлѣ которыхъ любить отдыхать украинецъ, тамъ и тамъ блѣбютъ чистыя

хаты, обсаженные вербами, потонувшія въ зелени фруктовыхъ садовъ. Надъ ними подымается бѣловатый дымъ, сливается въ вышинѣ въ неподвижную полосу, а за нею дотораеъ заря майскаго вечера.

Глубока синева украинскаго неба, жарко обнимающаго землю! тихо въ вышинѣ! ничто не пролетитъ, не прошумитъ, и ни одно облачко не затѣняетъ лазурнаго свода. Тихо на землѣ, люди, отдыхая, собираютъ силы для житейскихъ заботъ. Только звучное стрекотаніе кузнечиковъ сливается въ какой-то металлическій говоръ, и вы слышите его по желанію. Оно не нарушаетъ тишины, оно наводитъ какъ бы полусонъ, и всѣ нервы, всѣ жилы бьются медленно, стройно, и тѣло предается отрадному покою вмѣстѣ съ его родной землею, а душа тихо-тихо оставляетъ его и несется въ міръ духа и разливается по вселенной. Если бы человѣкъ могъ бесѣдовать лицомъ къ лицу съ Создателемъ — не было бы въ его жизни минуты болѣе невинной, болѣе чистой.

Такъ прелестна вокругъ меня природа, такъ много пробуждаетъ свѣтлыхъ чувствъ!

А я? кто повѣритъ? я часто желалъ бы снова перенестись на мой родной Иртышъ, или въ глубину лѣсовъ, непробужденныхъ отъ вѣка ни сѣкирою, ни голосомъ людей. Но отдайте мнѣ мои родные лѣса, отдайте мои поля и горы, и опять мнѣ будетъ жаль моей Украины и станетъ грустно по ней! Такъ бываетъ мнѣ грустно и по тебѣ, родная Москва; по тебѣ часто болитъ мое сердце, тобой часто оно радуется. Чтѣ же приковало къ тебѣ мою душу? твои ли вѣковыя страданья? или твоя слава, твой завѣтный Кремль съ его святыми храмами, или люди съ чистой, высокой душою? Нѣтъ! оставьте меня въ пустынѣ, гдѣ отъ созданія міра не было слѣда человѣческаго, и перенесите изъ нея въ родную семью, я не забуду моей пустыни, она моя, она изумляла меня своимъ величіемъ, пугала дикостью, я съ нею бесѣдовалъ и переживалъ много думъ и чувствованій, я люблю ее, люблю, какъ любимъ мы предметъ воспоминаній, и не забываемъ, чтѣ насъ волновало.

Я люблю всѣ мѣста, всю землю, мнѣ тѣсно одно избранное мѣсто, мнѣ жаль, что я не живу вездѣ, гдѣ живутъ или могутъ жить люди! Зачѣмъ я не въ колыбели рода человѣческаго! зачѣмъ надо мной не раска-

ленное небо Индіи, зачѣмъ не благоухаютъ дѣйственные лѣса, не льются зачѣмъ воды, не возносятся отъ земли исполинскіе храмы, гдѣ за тысячелѣтія до насъ человѣкъ падалъ въ прахъ, полный благоговѣнія къ своему Создателю? Зачѣмъ я не въ песчаныхъ степяхъ Аравіи? Какъ быстро понесся бы въ безпредметную даль, какъ летѣлъ бы вихремъ мой степной конь, и занималось бы дыханье, и было бы чудно весело! Для чего я не среди океана, не въ самомъ отдаленномъ изъ всѣхъ краевъ міра, откуда по волѣ могъ бы нестись къ любой странѣ? Мнѣ бы хотѣлось въ одно время нѣги и роскоши въ странахъ юга и на самомъ краю сѣвера любоваться ночными сіяньями и запустѣніемъ природы, скитаться въ пустыняхъ и искать пути въ дремучихъ лѣсахъ! хотѣлось бы въ одно время быть среди всѣхъ племенъ и всѣхъ народовъ, пережить вмѣстѣ съ ними всю грусть и всѣ радости земной жизни.

Странное желаніе! Оно недостижимо, но живетъ въ душѣ моей и жаждетъ удовлетворенія. Что же оно? Не мечта ли, не игра ли болѣзненнаго воображенія?

Нѣтъ! это жажда, дѣйствительная потребность духа человѣческаго. Человѣкъ наслаждается каждымъ мѣстомъ и въ каждой странѣ, но и мѣсто, и страна слишкомъ тѣсны, чтобы заключить духъ его въ своихъ предѣлахъ. Для духа нѣтъ исключительнаго пространства, онъ жаждетъ знанія и наслажденія всѣхъ мѣстъ, всей земли, всей природы, и еще въ земномъ покровѣ стремится слиться со всею вселенной.

Духъ вѣченъ и нѣтъ для него избраннаго времени, человѣкъ не весь приковать къ настоящему: онъ любитъ воскрешать минувшіе вѣка, углубляться до дня созданія, въ безконечность времени и уноситься думой въ будущее.

Оттого-то и мнѣ хотѣлось бы всюду жить въ каждое мгновеніе времени, во всѣ возрасты человѣчества и природы; хотѣлось бы присутствовать при всѣхъ переворотахъ земли, взгромоздившихъ горы и разъединившихъ всѣ ея части, когда еще кипѣли рѣки металловъ и раскаленная атмосфера неразлучно носилась съ земнымъ шаромъ! Хотѣлось бы взглянуть, какъ послѣ стихійнаго состоянія отдѣлились воды, заструились рѣки, зацвѣли первыми цвѣтами поля и послышалось первое пѣніе

птицъ. Хотѣлось бы видѣть, какъ прибавлялись къ созданіямъ новыя созданья и устроилась и дышала жизнью вся земля, какъ бы въ ожиданіи лучшаго гостя. Желалъ бы перечувствовать всѣ чувства, всѣ впечатлѣнія перваго человѣка, переходить съ нимъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, отъ состоянія невиннаго до дня паденія, когда, одичавшій, онъ вступилъ въ борьбу съ природою, съ ея непроходимыми лѣсами, съ водами и страшными жителями этихъ лѣсовъ и водъ! Потомъ развиваться, искать лучшаго, снова жаждать Бога и падать, и снова приближаться къ Нему, доколѣ не услышалъ міръ святого слова откровенія! Зачѣмъ я не слыхалъ этого слова изъ божественныхъ устъ Спасителя міра? Зачѣмъ не могъ коснуться края ризъ Его? Какъ связанъ чело-вѣкъ мѣстомъ и временемъ!

Не истинна ли, не врожденна ли эта жажда всемістной и всевременной жизни? Не самъ ли онъ, облеченный въ земную персть, стремится къ вѣчности и вездѣприсутствію и томится желаніемъ быть во всѣхъ мѣстахъ и во всѣ вѣка?

И что мнѣ жизнь, если я не составляю живой части цѣлаго міра, что мои бѣдные дни, если они не сливаются съ вѣчностью!

Страшно быть отторгнутымъ отъ общества людей, невыразимо страшнѣй быть отторженнымъ бытіемъ отъ вселенной и жизнью отъ вѣчности. Я теряюсь, гибну при одной мысли объ этомъ отчужденіи, оно роняетъ чело-вѣка ниже ничтожества.

Не оттого ли мы нерѣдко томимся желаніемъ представить всю минувшую жизнь вселенной, узнать ея настоящее и разгадать будущее.

Но человѣку не воскресить прошедшаго, не удовлетвориться и разгадкой будущаго! Гдѣ же полное удовлетвореніе жизни? Гдѣ найду наслажденіе жизни всевременной и вездѣприсутствующей?

Въ святой и жаркой вѣрѣ на землѣ —
И тамъ, гдѣ нѣтъ уже земныхъ преградъ.

Тогда, тогда душа моя
Постигнетъ тайну бытія,
И вся, какъ часть души одной,
Сольется съ вѣчною душою.

Вадимъ Пассекъ.

Мы прожили въ Спасскомъ до глубокой осени, спокойно, тихо, безъ всякихъ бурь, кромѣ бурь небесныхъ. Грозы небесныя бывали у насъ нерѣдко; одна изъ нихъ осталась у меня въ памяти.

Разъ, въ душный полдень, на жаркое небо надвинулись густыя облака и заволокли солнце; мы замѣтили ихъ только тогда, когда солнце выглянуло изъ нихъ, освѣтило страшную тучу и скрылось въ нее. Деревья зашумѣли и стихли. Загремѣлъ громъ и разразилась страшная буря.

Вадимъ любилъ грозу, онъ вышелъ во дворъ. Въ то же мгновеніе съ страшнымъ трескомъ пробѣжала по небу зигзагомъ огненная стрѣла, ударила въ стоявшій посреди двора столѣтній дубъ, расщепила дубъ надвое и зажгла его.

Внѣ себя отъ ужаса, я выбѣжала къ Вадиму.

Дубъ пылалъ.

Мы вошли въ комнаты, и когда гроза стала утихать, сѣли у раскрытаго окна. Темныя тучи, надвигаясь одна подъ другими, торжественно опускались за Донецъ, то освѣщая рѣку и садъ широкими молніями, то снова покрывая ихъ мракомъ, подъ которымъ краски цвѣтовъ и деревьевъ выступали ярче обыкновеннаго.

Эта сильная гроза вызвала въ Вадимѣ воспоминанія о лѣтнихъ буряхъ и зимнихъ буранахъ въ Сибири, о его дѣтствѣ и первой юности, проведенныхъ въ Тобольскѣ.

Разсказы Вадима были до того живы, что уносили всю душу мою въ ту дальнюю жизнь, въ тотъ невѣдомый мнѣ край, въ которомъ онъ родился и выросъ.

Вадимъ родился въ Тобольскѣ 20-го іюня 1808 года. Въ это время, по проискамъ враговъ отца его, находившихся въ Петербургѣ, тобольскій губернаторъ фонъ-Бринъ жестоко тѣснилъ и гналъ семейство Пассекъ и въ глубокую, холодную осень вытѣснилъ, съ малолѣтними дѣтьми, за двадцать верстъ отъ Тобольска, въ селеніе Абалатъ *).

*) Селеніе Абалатъ находится вблизи Абалатскаго монастыря, основаннаго въ XVII вѣкѣ, во имя явленной иконы Богоматери, названнаго Абалатской. 20 іюня совершается ежегодно великогѣпный крестный ходъ по Иртышу изъ монастыря въ Тобольскъ и обратно съ явленнымъ образомъ.

Инспекторъ медицинской управы, Иванъ Христофоровичъ Кернъ, и жена его, люди добрые, благонамѣренные, бывшіе въ дружескихъ отношеніяхъ съ Пассеками, желая облегчить ихъ тяжелое положеніе, предложили оставить у нихъ маленькаго Вадима; родители согласились, сознавая, что при такихъ условіяхъ ребенокъ вѣрнѣе сохранится у Керновъ, нежели у нихъ, и передали имъ его, съ остальными же дѣтьми переселились въ Абалатъ. Въ Абалатѣ они были лишены всѣхъ удобствъ жизни до того, что даже за съѣстными припасами матушка принуждена была каждую недѣлю ѣздить сама въ Тобольскъ. Поѣздки эти были утомительны и опасны. По пути подкупленные убійцы не разъ хотѣли убить ее; преданность и находчивость крестьянина, съ которымъ она постоянно ѣздила, спасали ее. Заслышавши за собой погоню, они вѣзжали въ лѣсъ и тамъ прятались. Тобольскій полиціймейстеръ Кривоноговъ, преданный Брину, по предписанію его, держалъ въ своемъ распоряженіи двухъ человѣкъ изъ приговоренныхъ къ каторжной работѣ, и случалось, что изъ числа пріѣзжавшихъ въ Тобольскъ благонамѣренныхъ молодыхъ людей для слѣдствія, иные внезапно исчезали, другихъ находили какъ бы замерзшими на льду, или убитыми въ лѣсу съ пистолетомъ въ рукѣ.

Спустя нѣсколько времени, стараніемъ и хлопотами батюшки *), имъ разрѣшили возвратиться въ Тобольскъ, гдѣ они и устроились въ собственномъ домѣ, который подарилъ имъ кто-то изъ старинныхъ зажиточныхъ сибиряковъ. Домъ этотъ находился на горной части Тобольска, на большой улицѣ, былъ просторенъ, съ двумя садами и большимъ огородомъ. По возвращеніи въ Тобольскъ, родители Вадима просили Керновъ возвратить имъ его, но Керны, не имѣя своихъ дѣтей, такъ привязались къ ребенку, что пожелали оставить его у себя, по крайней мѣрѣ, до его поступленія въ училище, и такъ горячо упрашивали, что родители Вадима не имѣли духа отказать, тѣмъ болѣе, что считали себя имъ обязанными, только просили по воскресеньямъ и праздникамъ отпускать его къ нимъ поиграть съ братьями и сестрами. Когда Вадимъ подросъ, то Кернъ нашелъ не-

*) Василій Васильевичъ Пассекъ—отецъ Вадима Васильевича.

обходимымъ приглашать и къ себѣ въ домъ для него товарищей; но, любя покой и строгій порядокъ, боялся звать его братьевъ-шалуновъ, а временами бралъ тихую сестру его Олинку. Это связало дѣтей взаимной привязанностью и довѣріемъ. Вадимъ былъ ребенокъ кроткій, умный и впечатлительный. Онъ рано сталъ задумываться надъ своимъ положеніемъ и соображать, почему братья и сестры его живутъ съ родителями, а онъ одинъ отчужденъ отъ нихъ. Недоумѣніе свое онъ высказывалъ товарищу дѣтскихъ игръ своихъ—Олинкѣ, которая была годомъ или двумя его моложе, и они не разъ, втихомолку, бесѣдовали объ этомъ, горевали, но объяснить другъ другу, почему это такъ—не могли.

Когда Вадиму минуло десять лѣтъ, докторъ Кернъ скончался, и его возвратили родителямъ.

Несмотря на грусть объ отчужденіи, Вадимъ долго и глубоко тосковалъ о прежней жизни своей, и часто съ вечера, когда лежалъ въ своей кровати, слышны были его сдержанные рыданья, и не разъ видали слѣды пролитыхъ имъ горькихъ слезъ.

Въ своемъ семействѣ Вадиму пришлось испытывать лишенія, о которыхъ онъ прежде не имѣлъ и понятія.

Первое время по пріѣздѣ Пассековъ въ Тобольскъ высылали имъ изъ ихъ харьковскаго имѣнія—села Спаскаго—ту часть дохода, которая приходилась на долю двоихъ сыновей, рожденных до ссылки, взятыхъ ими съ собою въ Сибирь, но мало-по-малу высылка сокращалась все больше и больше, а наконецъ и совсѣмъ кончилась. Между тѣмъ семейство съ каждымъ годомъ умножалось, вмѣстѣ съ этимъ увеличивались и расходы, далѣе наступила нужда, затѣмъ крайность, временами доходившая до жестокихъ размѣровъ; но, несмотря на то, всѣ были сильны духомъ, дѣятельны, увѣрены въ себѣ. Такого рода всеобщее настроеніе истекало изъ воспитанія, основаннаго на свободномъ, самобытномъ развитіи, искренности, семейной любви и взаимномъ несчастіи. Вадимъ скоро впалъ въ тонъ своего семейства, вполне сродный его открытой, благородной натурѣ, несмотря на то, что въ домѣ доктора приучали его къ формальности и къ выдержкѣ; особенно этой системы воспитанія держались двѣ племянницы Ивана Христофоровича, которымъ былъ переданъ на руки ребенокъ

по кончинѣ жены доктора. Племянницы были дѣвушки въ лѣтахъ, добрыя, благонамѣренныя, но, по ограниченности образованія, многое понимали по-своему, вслѣдствіе чего поступки ихъ иногда противорѣчили ихъ наставленіямъ. Ребенокъ скоро это замѣтилъ, но такъ какъ былъ еще не въ состояніи отличать правильныя дѣйствія отъ ложныхъ, то, случалось, и самъ поступалъ не по тому, что слышалъ, а по образцу, который видѣлъ. Такъ, однажды, зимою, рассказывалъ мнѣ Вадимъ, когда ему было около семи лѣтъ, во время рекрутскаго набора, онъ замѣтилъ, что воспитательницы его иногда тихонько отъ дяди, съ задняго крыльца — принимаютъ отъ крестьянъ приношенія, а прислуга, украдкою отъ господъ, беретъ съ нихъ гроши и пятаки. Это возбудило въ ребенкѣ желаніе и самому попользоваться чѣмъ-нибудь отъ добровольныхъ дателей и также ото всѣхъ украдкою. Составивши планъ, какъ достигнуть своей цѣли, онъ рано утромъ, пока въ домѣ всѣ еще спали, всталъ съ постели, одѣлся, но, не находя своихъ ботинокъ, натянулъ на босыя ножки лежавшія въ комнатѣ теплыя рукавички доктора и на цыпочкахъ, едва касаясь рукавичками снѣга, подбѣжалъ къ воротамъ, у которыхъ уже стояла многочисленная толпа крестьянъ. Отворивши калитку, Вадимъ сказалъ имъ:

— Что же вы мнѣ ничего не даете, вѣдь я сыночекъ доктора, вы всѣмъ даете, надобно и мнѣ дать что-нибудь.

Крестьяне радушно дали ребенку нѣсколько мѣдныхъ денегъ, которыя, конечно, ему ни на что были ненадобны, и онъ не зналъ, что съ ними дѣлать.

Благородная натура Вадима, честныя правила доктора Керна, добродушіе его племянницъ и высокое настроеніе родного семейства не допустили зарониться въ его душу ничему порочному, и онъ уже въ отроческомъ возрастѣ, по врожденной тонкости, не только что чувствовать, но частью и сознавалъ истинное въ мірѣ нравственномъ, строго слѣдилъ за собою и учился съ любовью и увлеченіемъ. Отецъ самъ занимался съ дѣтьми естественными науками. Вадимъ внимательно слушалъ его уроки о тайнахъ и законахъ природы, которые онъ объяснялъ имъ не столько по книгамъ, сколько по живымъ явленіямъ, а міръ минераловъ по богатому минералогиче-

своему кабинету, собранному имъ самимъ въ Сибири, который расположенъ былъ у него на полкахъ, вокругъ всѣхъ стѣнъ ихъ довольно большой залы *).

Наклонный къ внутренней жизни, Вадимъ, всегда тихій, всегда задумчивый, рано сталъ чувствовать и красоты природы. Еще ребенкомъ онъ любилъ приходить одинъ на берегъ Иртыша и засматривался на раскинувшіеся за рѣкой луга, на синѣвшій боръ и низменный Сузунъ, испещренный деревьями, на темныя воды Тобола, впадающія въ Иртышъ, и на Лиловую гору, виднѣвшуюся изъ-за девяноста верстъ; засматривался, какъ небо отражается въ водѣ, какъ всполоснется рыбка, вода задрожитъ, разбѣжится кругами и все затихнетъ. Больше же всего онъ любилъ слушать рассказы о жизни народовъ, о минувшихъ вѣкахъ, и въ душѣ его росло стремленіе знать жизнь всего человѣчества, вездѣ быть, все видѣть, все перечувствовать.

Изъ братьевъ онъ дружило всѣхъ былъ съ Діомидомъ, подходившимъ къ нему и по возрасту, и по душевнымъ свойствамъ. Они вмѣстѣ учились, вмѣстѣ играли, въ жаркіе дни вмѣстѣ купались въ Иртышѣ. Иногда, купаясь, выплывали къ крутой горѣ, на которой стоялъ обгорѣлый домъ бывшихъ сибирскихъ воеводъ, взлѣзали на гору, карабкались на окна и сквозь ихъ желѣзныя рѣшетки съ любопытствомъ разсматривали связи старинныхъ ружей и сабель, или бросали камни въ огромный барабанъ, обтянутый мѣдью, и прислушивались, какъ онъ издаетъ звукъ, похожій на стонъ. Вслушиваясь въ этотъ звукъ, Вадимъ думалъ о разсказахъ, какъ этотъ барабанъ своимъ страшнымъ голосомъ сзывалъ дружину Ермака, замѣняя вѣстовую пушку, за недостаткомъ пороха. Иногда онъ разсуждалъ съ братомъ про гибель Ермака—героя Сибири, о жизни и смерти котораго они часто слыхали такіе дивные, со-

*) Выѣзжая изъ Сибири, они не могли взять съ собою этого богатаго собранія минераловъ — по недостатку средствъ, и оставили ихъ въ Тобольскѣ, уложивши въ нѣсколько большихъ ящиковъ, гдѣ они и теперь находятся, если еще цѣлы. Василий Васильевичъ Пассекъ взялъ съ собой только нѣсколько дорогихъ камней, изъ числа которыхъ замѣчательнъ былъ величинной рубинъ; къ сожалѣнію, на немъ была трещина, что лишило его настоящей цѣнности.

чувственные тому времени рассказы, что рассказывавшие, какъ будто, и сами жили съ Ермакомъ въ одно время, вмѣстѣ переходили Уралъ и присутствовали при его гибели.

Въ Тобольскѣ, въ саду, гдѣ были нѣкогда развалины какого-то театра, стояло деревянное изваяніе Ермака: онъ былъ представленъ въ полукафтанѣ, перетянутомъ ремнемъ; на плечахъ накинута мантия, на головѣ чернѣйшій шишахъ, лицо смуглое, продолговатое, надъ глазами нависли густыя брови, въ рукѣ держитъ длинное копьё. Разсматривая этотъ памятникъ, Вадимъ задумывался о судьбѣ и подвигахъ героя и проситъ показать ему Кучуново городище. Ему его показали,—онъ увидалъ разметанные кирпичи, глубокіе колодцы, обросшіе травой, отрывки земляныхъ валовъ и надъ Иртышомъ, на высокомъ утесѣ, только бѣдныя развалины бывшаго Искера. Утесъ временами трескается, шумитъ и съ остатками зданій катится въ Иртышъ,—вѣроятно, рѣка скоро поглотитъ и послѣдніе слѣды его. Эти картины, эти рассказы волновали душу отрока и пробуждали его историческія способности.

Не разъ, слушая рассказы Вадима о жизни ихъ въ Сибири, мнѣ казалось, я не слушаю, а переживаю эту жизнь вмѣстѣ съ ними; вижу и широкія рѣки, и высокія горы, и дремучіе лѣса, и какъ въ этихъ лѣсахъ Вадимъ и братья его, съ ружьями за плечами, пробираются по темной чащѣ, надъ ними шумятъ вѣковыя деревья, въ чащѣ раздаются ихъ выстрѣлы, повторяются эхомъ, умолкаютъ, въ лѣсу тишина, и юные охотники возвращаются домой съ ягташами, полными дичи. Охотой они помогали содержанію своего многочисленнаго семейства. То видѣлось мнѣ, какъ матушка рано утромъ будитъ меньшихъ дѣтей своихъ, кормитъ ихъ и отправляетъ на горы собирать травы, которыя за деньги составлялись въ аптеку; видѣлось, какъ дѣти весело взбираются на высокую гору и скрываются, а матушка задумчиво идетъ къ своимъ дневнымъ заботамъ, тревожно думаетъ весь день о дѣтяхъ и въ сумерки, когда всѣ дѣла покончены, выходитъ за ворота, садится на лавочку и устремляетъ печальный взоръ на горы. Вечерняя заря джогораеть; вдругъ лицо матушки озарила радостная улыбка, на горѣ показались малютки, обвѣшан-

ныя связками травъ и цвѣтовъ, изъ-за которыхъ едва виднѣются ихъ милыя личики.

Въ первой юности Вадима однимъ изъ его наслажденій было слѣдить взорами за птицами, когда онѣ отлетаютъ на югъ, и самому мнѣ, говорилъ онъ, хотѣлось летѣть за ними въ невѣдомыя страны, недоступныя для насъ, и онъ писалъ:

«Казалось мнѣ, видѣть я край тотъ далекий,
О которомъ лишь дивныя рѣчи слыжать».

«Кто не мечтаетъ о томъ, чего его лишаютъ, кто не живетъ надеждой, отъ всего все отнято въ настоящемъ и кто лучше насъ изучилъ и прочувствовалъ это состояніе!»—добавлялъ онъ грустно.

«Нѣтъ словъ высказать то, что чувствуется въ первые дни свободы,—говорилъ Вадимъ.—День, въ который было объявлено намъ освобожденіе, никогда не забудется въ семействѣ Пассекъ».

Съ молитвами и слезами они покидали Тобольскъ, въ которомъ вынесли столько страданій, пережили столько печалей и надеждъ; онъ казался имъ мраченъ, какъ темница—онъ и былъ ихъ темницею—и они спѣшили оставить его. Кромѣ родителей, ѣхало четыре сына взрослыхъ и четыре младшихъ, еще въ дѣтскомъ возрастѣ, да пять дочерей, изъ которыхъ старшей было не больше четырнадцати лѣтъ, а меньшую еще кормила кормилица, рѣшившаяся ѣхать вмѣстѣ съ ними. Путешественники отправлялись на трехъ тройкахъ. Молодые люди были обвѣшаны оружіемъ. Только-что они размѣстились по повозкамъ и лошади готовы были тронуться съ мѣста, какъ явился полицейскій чиновникъ и остановилъ ихъ. Всѣ были поражены ужасомъ. Балтошка вышелъ изъ повозки и отправился къ полиціймейстеру, возвращенія его ожидали въ страшномъ волненіи,—думали, что ихъ снова хотятъ задержать въ Сибири—такъ они были напуганы и замучены произволомъ и притѣсненіями. Внутри Россіи у Пассекъ были враги, въ интересахъ которыхъ было не выпускать ихъ изъ Тобольска; но все обошлось благополучно, балтошка возвратился вмѣстѣ съ полиціймейстеромъ; полиціймейстеръ пожелалъ имъ счастливаго пути — и тройки тронулись.

Первое время свободы наполняетъ такой радостью.

которой захватывается духъ, говорилъ глубоко тронутый этими воспоминаіями Вадимъ. Чувство это можетъ понять только тотъ, кто не могъ жить тамъ, гдѣ хотѣлось, не могъ ѣхать туда, куда желалось, кто перенесъ тысячи бѣдъ, оскорбленій и страданій.

Мысль, что и они недоступны насилію, отрадно отзывалась въ сердцахъ освобожденныхъ.

Разъ, по дорогѣ, ночью, на нихъ едва не напали разбойники, незадолго передъ этимъ разграбившіе обозъ, но, увидя вооруженныхъ людей, удалились—только лѣсъ затрещалъ и затихнулъ.

Въ лѣтній день, на закатѣ солнца, они приблизились къ селенію Ключи. Передъ ними высилась сопка, на вершинѣ ея видѣлся крестъ, подлѣ креста сосна, а на соснѣ орелъ. Путешественники стали подниматься на сопку. Орелъ, испуганный приходомъ многочисленной толпы, поднялся и улетѣлъ. Передъ ними открылся Уральскій хребетъ, поросшій лѣсами и мохомъ, мѣстами видѣлись гранитныя скалы съ полуживыми соснами. Подъ ними разстилалась широкая долина, по долинѣ струилась быстрая рѣка и толпилось множество народа,—былъ какой-то праздникъ. Народъ веселился, пѣніе разсыпалось по скатамъ горъ. Когда закатилось солнце, вся эта картина скрылась подъ густымъ туманомъ, изъ-за котораго выглядывали только косматыя сопки, какъ бы склоняясь другъ къ другу головами.

Съ Суксунской горы, послѣдней на пути изъ Сибири въ Россію, начался спускъ въ Европейскую Россію. На вершинѣ Суксуна они остановились,—передъ ними были обѣ половины Россіи съ ихъ народами и судьбою. Они бросили послѣдній взглядъ на Сибирь—тамъ всходило солнце; посмотрѣли на западъ и стали спускаться съ Урала. Покатость Урала шла до Вятской губерніи дремучими лѣсами, среди которыхъ встрѣчались деревни вотяковъ и черемисовъ. Вадимъ съ любопытствомъ всматривался въ образъ жизни, черты лица, одежду и кереметы этихъ народовъ. Его уже и тогда занимали нравы и обычаи народные.

Въ Казани прежде и больше всего привлекутъ вниманіе молодыхъ людей—университетъ и возбудилъ въ нихъ пропасть плановъ и желаній. Они осмотрѣли также каменныя стѣны казанской крѣпости, полуразрушенный

дворецъ татарскихъ хановъ и памятникъ надъ павшими русскими воинами при взятіи Казани.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ они попали въ разгаръ ярмарки, были изумлены лѣсомъ матчъ на Волгѣ и пестрыми толпами разныхъ народовъ. «Все это я видѣлъ, всему дивился—какъ полу-ребенокъ, — говорилъ Вадимъ: — теперь остались одни отрывочныя воспоминанія—они слились въ какой-то улетѣвшій сонъ... Много лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ видѣлся мнѣ этотъ сонъ! Много пережили въ это время народы! Много смѣнилось въ душѣ моей желаній! Одно осталось неизмѣннымъ, одна жажда все знать, все видѣть, все пережить». Наконецъ, передъ несчастливцами раскрылось широкое поле, блеснули главы церквей, и открылась Москва.

Въ Москвѣ имъ все было чуждо.

Двадцать лѣтъ ссылки прервали почти всѣ прежде бывшія связи батюшки въ Россіи. Въ Москвѣ ихъ встрѣтила крайность. Думая, къ кому бы на первыхъ порахъ обратиться за совѣтомъ и помощью, батюшка прежде всѣхъ обратился къ графу Александру Никитичу Панину. Графъ едва только узналъ о возвращеніи пострадавшаго семейства, какъ поспѣшилъ съ ними видѣться—и съ своей обычной добротой, деликатностью и тактомъ напомнилъ имъ свои родственныя съ ними связи и первый предложилъ услуги и помощь. Затѣмъ приняли въ нихъ участіе: родственница батюшки — Вязмитинова; Левъ Николаевичъ Энгельгардтъ; князь Е. А. Баратовъ; Иванъ Николаевичъ Корсаковъ предложилъ имъ квартиру въ своемъ домѣ, на Тверскомъ бульварѣ. Впослѣдствіи дружеское участіе приняла въ нихъ Варвара Андреевна Новосильцева *) и сохранила близкія отношенія съ семействомъ Пассекъ до своей кончины. Съ большою теплотой и дружбой отнеслось къ нимъ семейство Алябьевыхъ **).

«Я помню,—писала мнѣ нѣсколько времени тому назадъ изъ Флоренціи Александра Васильевна Кирѣева:—

*) Внучка ея — Надежда Владиміровна Новосильцева была замужемъ за Дмитріемъ Павловичемъ Голохвастовымъ.

**) Родители Александры Васильевны Кирѣевой, урожденной Алябьевой, матери Николая Алексѣевича Кирѣева, павшаго въ 1876 году въ Сербіи за освобожденіе христіанъ.

когда Василий Васильевич навѣстилъ насъ въ первый разъ въ Москвѣ. Все его прошедшее, о которомъ рассказывалъ мой отецъ *), живо представилось мнѣ, и я полюбила его до того, что высказывала ему всѣ свои задушевные полудѣтскія понятія. Онъ меня, четырнадцатилѣтнюю дѣвочку, не только что выслушивалъ съ удивительной добротой и терпѣніемъ, но разсуждалъ со мною, давалъ читать избранныхъ имъ писателей и объяснялъ рождавшіеся во мнѣ вопросы. Разговоръ его и обращеніе были чрезвычайно увлекательны.

«Съ возвращеніемъ свободы, Василию Васильевичу не возвратили правъ дворянства. Я помню, какъ во время коронаціи императора Николая Павловича, когда государь, желая почтить своимъ присутствіемъ обѣдъ, который давался солдатамъ въ экзерсисъ-гаузѣ, подѣлалъ къ нему, то всѣ дѣти Василия Васильевича, отъ старшихъ сыновей до двухлѣтней дочери, дожидавшіяся государя у дверей экзерсисъ-гауза, опустились на колѣни и подали императору прошеніе о возвращеніи принадлежащихъ имъ правъ.

«Дворянство имъ было возвращено спустя нѣсколько лѣтъ послѣ этого.

«Василій Васильевичъ провелъ послѣдніе годы своей жизни въ непрерывныхъ хлопотахъ и заботахъ о семейныхъ дѣлахъ и въ 1830 году окончилъ жизнь, какъ истинный христіанинъ, въ присутствіи моего отца, очень любившаго его. Несмотря на направленіе, по тогдашнему времени называемое либеральнымъ, Василій Васильевичъ былъ чистосердечно религіозенъ. А. Кирѣевъ».

Когда мы жили въ селѣ Спасскомъ, Вадимъ иногда, рассказывая мнѣ о ихъ жизни въ Сибири, рассказы объ отцѣ пополнялъ чтеніемъ его записокъ. Слышанное мною отъ Вадима о балюшкѣ и часть уцѣлѣвшихъ у меня его записокъ помѣстятся въ слѣдующихъ главахъ моихъ

*) Въ то время, какъ Василій Васильевичъ Пассекъ находился въ Тобольскѣ, дѣдъ Александры Васильевны Алябевой, Иванъ Осиповичъ Селифонтовъ, былъ генералъ-губернаторомъ Сибири. Онъ радушно принималъ у себя сосланныхъ изъ своей среды и особенно отличалъ между ними Василя Васильевича Пассека. Дочь Ивана Осиповича, по мужу Алябева, крестила у Пассека одного изъ сыновей — и оба семейства находились въ дружескихъ отношеніяхъ, которыя продолжались и по пріѣздѣ Пассекова въ Москву.

воспоминаний, а пока перейду опять къ нашей уединенной жизни въ селѣ Спасскомъ.

Мы не замѣтили, какъ наступила осень. . .

Осенью сталъ навѣщать насъ сосѣдъ нашъ, двоюродный братъ Ника, жандармскій полковникъ Григорій Дмитриевичъ Колокольцевъ *). Это былъ человекъ лѣтъ тридцати пяти, роста средняго, стройный, умный, образованный, онъ скоро сблизился съ Вадимомъ и проводилъ у насъ цѣлые дни въ жаркихъ, многостороннихъ разговорахъ. Однажды Колокольцевъ увидалъ у насъ висѣвшій на стѣнѣ портретъ Карла Занда и, смотря на него, сказалъ:

— Вы бы, Вадимъ Васильевичъ, портретъ-то этотъ припрятали куда-нибудь. Что за удовольствіе смотрѣть на убійцу.

— Помилуйте, Григорій Дмитриевичъ,—возразилъ Вадимъ:—какой же это убійца, вѣдь вы понимаете, что тутъ была идея, жребій, жертва,—что это юноша...

— Все это прекрасно, — прервалъ его Колокольцевъ:—жертва, судьба; но, несмотря на это, вы сдѣлаете лучше, если уберете этотъ портретъ подальше.

При этомъ совѣтѣ Колокольцевъ довѣрилъ намъ, что у него есть предписаніе имѣть надзоръ надъ Вадимомъ и ежемѣсячно доносить о его образѣ жизни, занятіяхъ, знакомствахъ, нравственности и что онъ уже отпразднвалъ одинъ отчетъ.

Мы оцѣненъли отъ изумленія и испуга. Широко раскрывъ глаза, я нѣсколько минутъ смотрѣла на него съ недоумѣніемъ и ужасомъ.

— Что же вы донесли о Вадимѣ?—спросила его я, ошумяся, прерывающимся голосомъ.

— Я писалъ,—отвѣчалъ Колокольцевъ, улыбаясь нашему смущенію:—что Вадимъ Васильевичъ живетъ тихо, скромно въ своемъ имѣніи, занимается хозяйствомъ, знакомъ только съ исправникомъ Артюшковымъ.

*) Женатъ былъ въ первомъ бракѣ на графинѣ Гендриковой; въ преклонныхъ лѣтахъ вступилъ во второй бракъ со вдовой Леониды Васильевны Пассека, Прасковей Станиславовны, урожденной Вишневецкой. Нѣсколько времени Григорій Дмитриевичъ былъ губернаторомъ въ Вильнѣ послѣ Лизова.

Дѣйствительно, мы одинъ разъ были у нашего сосѣда, старичка Артюшкова и—больше ни у кого.

— Какъ же вы это узнали, Григорій Дмитріевичъ?—спросила его я съ изумленіемъ.

— Слухомъ земля полнится,—отвѣчалъ Колокольцевъ серьезно.

— Стало-быть, я у васъ подъ надзоромъ,—замѣтилъ Вадимъ еще серьезнѣе.

— Нисколько,—съ видимымъ участіемъ сказалъ Колокольцевъ. — Повѣрьте, Вадимъ Васильевичъ, я бываю у васъ совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы слѣдить за вами, а изъ искренняго расположенія къ вамъ и желанія насладиться вашей бесѣдой. Люди такіе, какъ вы, встрѣчаются рѣдко вездѣ, а здѣсь и подавно.

Осенью мы переѣхали въ Харьковъ, Григорій Дмитріевичъ также переселился туда, попрежнему часто посѣщалъ насъ и постоянно относился къ намъ дружески.

Въ Харьковѣ мы получили отъ Ивана Ивановича Лажечникова слѣдующее письмо:

Тверь, 26-го ноября 1834 г.

«Знаю, что добрый, милый Вадимъ Васильевичъ не причтетъ моего молчанія къ забвенію: сойдясь разъ душою съ человѣкомъ, не могу его разлюбить. Къ такому человѣку хотѣлось бы писать въ часы, когда грудь не отягчена заботами ежедневной прозы, мысли не съжились отъ форменныхъ бумагъ и приличій свѣта, сердце просить бесѣды съ другимъ сердцемъ. Улуча такія минуты, пишу къ вамъ.

Читалъ я ваши записки, и сколько въ нихъ поэзіи души юной, кипящей любовью къ родинѣ и благу чело-вѣчества! Много въ нихъ и свѣтлыхъ, зоркихъ наблюденій, свѣтлыхъ идей! Видно только, что все это высыпано въ беспорядкѣ изъ груди, которая не могла долѣе носить ихъ въ себѣ, что это эскизъ великолѣпныхъ зданій,—части, отрывки прекрасны, но нѣтъ цѣлаго. Между тѣмъ любуетесь и недоконченнымъ твореніемъ; оно обѣщаетъ истиннаго художника.

Плюньте на судъ Брамбеуса и его шайки, нападающей на все прекрасное, старающейся вырвать или истоптать цвѣтъ, обѣщающій плѣнить насъ. Я напередъ скажу: буду гордиться, если баронъ побранитъ мой лич-

ный трудъ. Пишите только, но дайте вашимъ творениямъ, какъ зовутъ французы, plus de consistance, сплавляйте ихъ въ нѣчто великое цѣлое. Больше всего, не спѣшите издавать. Я самъ боюсь за Ледяной домъ, который, сверхъ того, что пишется за деньги—и это ужъ отрываетъ крылья у вдохновенія—будетъ скороспѣлкой. Знаю, что идея хороша, но врядъ ли исполненіе будетъ ей соответствовать.

Пришлите мнѣ переводъ Татьяны Петровны (Повѣстей Фoa); постараюсь продать книгопродавцамъ.

Какъ жаль, что васъ нѣтъ здѣсь!.. Хотѣлъ бы бесѣды вашей, чистой, первородной—въ ней черпалъ бы я новое вдохновеніе и силы жить въ свѣтѣ... Люблю васъ, думаю, что и вы меня любите; продолжайте меня любить попрежнему, пишите ко мнѣ, когда можно, обо всемъ, что вы дѣлаете, о вашей природѣ, но больше всего о себѣ: въ васъ обоихъ прекрасный храмъ ея, не оскверненный ни однимъ изъ тѣхъ позлащенныхъ идоловъ, которые большой свѣтъ называютъ умѣньемъ жить и которые мы называемъ пороками.

Да будетъ надъ вами благословеніе Аполлона! Да хранитъ самъ Богъ васъ, милыхъ друзей моихъ, которыхъ люблю воображать парюю горлицъ среди украинскихъ черемухъ! Воркуйте намъ про свое родимое гнѣздышко, про тайны вашей души и про небо, подъ которымъ вы любите летать неразлучно! Не забывайте и про тверскія рощи, которыя посѣщались мимолетными гостями. Зачѣмъ мы не могли подрѣзать вамъ обоихъ крылушки?

Дуняша обнимаетъ отъ души Татьяну Петровну; я цѣлую ея ручки, навѣрное, закапанные чернилами, и не менѣе того, прекрасныя. Вашъ вѣрный другъ П. Лажечниковъ».

Въ «Библіотекѣ для чтенія» было сказано, что, вѣроятно, авторъ «Путевыхъ Записокъ» путешествовалъ въ воображеніи, сидя спокойно на диванѣ въ своемъ кабинетѣ, и больше по протекшимъ вѣкамъ.

Замѣчаніе «Библіотеки для чтенія» было частью вѣрно.

Въ «Путевыхъ Запискахъ», этомъ первомъ опытѣ Вадима на литературномъ поприщѣ, почти ничего не говорится о предметахъ, встрѣчавшихся по пути. Онѣ по преимуществу выразили собою историческія наклон-

ности еще юнаго писателя, душа котораго переполнена знаніями, чувствами, мечтами, любовью къ родной сторонѣ и къ человѣчеству.

Выѣзжая изъ Москвы въ Украину, авторъ «Путевыхъ Записокъ» прощается съ Кремлемъ. Видъ Кремля будить въ немъ воспоминанія о татарахъ, литовцахъ, полякахъ, разрушавшихъ его, и о событіяхъ, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ.

Вдали отъ Кремля новыя картины не вытѣсняють воспоминаній, съ которыми авторъ оставилъ Москву, они отнимають у него отъ настоящаго и слухъ, и зрѣніе, и чувство; передъ его внутреннимъ взоромъ рисуется картина постепеннаго освобожденія Россіи отъ притѣснявшихъ ее народовъ. Онъ воспоминаетъ имена ея освободителей и когда называетъ Петра—Россія передъ нимъ колоссально поднимается до запада, и авторъ говоритъ: «Гряди же, о моя родина! къ развитію всѣхъ силъ своихъ!»

Далѣе Вадимъ разсуждаетъ о памятникахъ, о зодчествѣ Россіи, о религіи и характерѣ славянъ—вообще.

Отличительной чертой всѣхъ славянскихъ народовъ онъ находитъ перевѣсъ внутренней жизни надъ внѣшней; тишины, спокойствія надъ дѣятельностью; вслѣдствіе чего считаетъ ихъ всѣхъ предрасположенными къ принятію греческой религіи, имѣющей много общаго съ ихъ характеромъ. Даже и тѣ славянскія племена, которыя приняли католицизмъ, по его мнѣнію, не выразили ни его силы, ни его фантазіи, и какъ на одинъ изъ наиболѣе яркихъ примѣровъ указываетъ на Богемію.

«Богемія, — говоритъ Вадимъ: — страна славянская, первая обратила критическій взглядъ на свою религію, меньше всѣхъ увлеклась блескомъ католицизма и первая водрузила знамя реформаци. Возстаніемъ Гусса она доказала, что ищетъ въ религіи не посредничества папъ, не блеска, не внѣшней торжественности, но истины, идеи и прямого созерцанія. Она дѣломъ доказала, какъ ей близка религія греческая и какъ она близка всѣмъ славянскимъ племенамъ, и всѣ они усвоили бы ее, если бы Западъ не распространялъ съ такой силой и быстротою своего ученія. Богемія, принявши католицизмъ, никогда не дѣйствовала вполне въ его характерѣ; принявши его формы, присвоивши многія изъ его понятій,

не сдѣлалась вполне католической *). Вадимъ находить, что вообще перевѣсъ внутренней жизни надъ внѣшнею во всѣхъ славянахъ проявляется одинаково: въ невѣжественномъ народѣ—безпечною; въ простомъ воинѣ—равнодушіемъ въ опасностяхъ и увѣренностью въ судьбѣ; въ несчастіи—непостижимымъ терпѣніемъ; въ ученой дѣятельности—созерцательностью ума. «Какая преданность судьбѣ, какая наклонность жить внутреннею жизнью! Какое терпѣніе!—говоритъ онъ:—но когда переполняется чаша его страданій, когда испытаны всѣ оскорбленія, всѣ бѣдствія, когда наступаетъ великій часъ его дѣятельности,—съ какою силою онъ встаетъ противъ враговъ своихъ! Кажется, вся сила, сохранившаяся въ вѣка тишины и внутренней жизни, разомъ облекается во внѣшнюю дѣятельность; но послѣ великихъ переворотовъ всю славу успѣховъ отдаетъ Богу, и вновь наступаетъ тишина и внутренняя жизнь».

Указавши на факты, подтверждающіе этотъ взглядъ на славянъ, Вадимъ говоритъ, что жизнь народовъ надобно изслѣдовать, кромѣ лѣтописей и памятниковъ, въ бытѣ и характерѣ живущихъ поколѣній и въ вліяніи на нее внѣшней природы; но и изслѣдованіе, — добавляетъ онъ, —тогда только будетъ точно и ясно, когда найдется элементъ, который, какъ главный дѣятель, движетъ всѣми событіями, по которымъ развивается ткань жизни того народа, который хотятъ не описать, а воссоздать.

Тотъ не понимаетъ исторіи народа, кто не объемлетъ умомъ, не сочувствуетъ сердцемъ всѣмъ движеніямъ его внутренней жизни, кто думаетъ воссоздать жизнь только по лѣтописямъ и остаткамъ искусствъ; кто не видитъ основныхъ началъ, по которымъ дѣйствовало минувшее и станетъ дѣйствовать грядущее. Чтобы понять настоящее народа, надобно быть среди него, видѣть его подъ

*) Въ Чехіи исповѣданіе католическо-протестантское. Въ протестантизмѣ чехи примкнули къ тому его исповѣданію, которое меньше отзывается германизмомъ и имѣетъ больше общаго съ воззрѣніями чешско-братскаго исповѣданія—къ католицизму. Теперь вновь возносится въ Прагѣ православный славянскій храмъ, посмотримъ, не оживятъ ли онъ въ Чехіи преданія ихъ собственной древней независимой церкви.

всѣми измѣненіями и впечатлѣніями обстоятельствъ и подѣ условіями внѣшней природы.

Для этого надобно путешествовать.

Съ чего начать?

Вопросъ этотъ разрѣшаетъ исторія государства, — говоритъ Вадимъ.

Государство имѣетъ свои центры, изъ которыхъ развивается и складывается его жизнь. Центры заключаются въ опредѣленной мѣстности и характеристикѣ извѣстнаго племени и разливаютъ на жизнь государства свои отгѣнки.

Въ исторіи Россіи Вадимъ указываетъ на три главные центра:

Первымъ центромъ народности онъ полагаетъ Новгородъ съ губерніями: С.-Петербургской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, Пермской, Вятской — гдѣ главный городъ населенъ изъ Новгорода.

Вторымъ центромъ — Кіевъ съ областями: Новгородъ-Сѣверской, частью Подоліи, Волынью, Запорожьемъ и Украиной.

Къ третьему центру относитъ губерніи: Московскую, Ярославскую, Владимірскую, Рязанскую, Тверскую, Костромскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую и даже Курскую.

Въ изученіи третьяго центра онъ видитъ одинъ изъ важнѣйшихъ историческихъ вопросовъ.

Остальные части Россіи съ Крымомъ, Сибирью, Остзейскими губерніями, Кавказомъ, частями Польши и Швеціи, считаетъ вопросомъ второстепеннымъ, что они хотя и не безъ вліянія на Россію, но не составляютъ центровъ, а стоятъ на окружности.

«Изучать Россію по ея центрамъ завѣтная цѣль моя, — говоритъ Вадимъ. — Какъ радостно оживаетъ душа, когда только воображаю всѣ начала историческихъ событій живыми, въ живыхъ племенахъ, изслѣдуя эти начала въ умѣ, сердцѣ, въ самыхъ заблужденіяхъ настоящихъ поколѣній, и переживаю всѣ вѣка и всѣ переливы жизни».

Не знаю, передала ли я въ своемъ сжатомъ очеркѣ хотя немного историческія воззрѣнія Вадима, широко, отчетливо выступающія въ его путевыхъ запискахъ.

«Да и возможно ли это?» — самъ авторъ сомнѣвается.

«Нѣтъ,—говорить Вадимъ, заканчивая свои «Путевыя Записки»:—не во власти автора передать вполнѣ свои думы, свои чувствованія, онъ долженъ искать для нихъ слова, краски, кисти, рѣзца; и слова, и кисть, и рѣзецъ стѣсняють душу автора.

ГЛАВА XXXIV.

1834—1835.

Въ Харьковѣ.

Мы наняли небольшую квартиру за Лопанью, въ домѣ Филоновыхъ, и повели такую же уединенную жизнь, какъ и въ деревнѣ. Но этотъ образъ жизни вскорѣ измѣнился. Прежде всего съ нами познакомилась хозяйка дома, милая, умная молодая женщина; она стала довольно часто бывать у насъ и насъ къ себѣ нерѣдко приглашала. У насъ познакомились съ двумя братьями Задорожными, старшими малороссами, съ отбѣнкомъ быта казачка. Они глубоко любили и понимали свой народъ и были связаны внутренно со всѣмъ прошедшимъ настоящимъ бытомъ Украины. Старшій изъ братьевъ, Кириллъ Семеновичъ, служившій секретаремъ въ гражданской палатѣ, часто говорилъ намъ, что какъ только выйдетъ въ отставку, поселится въ своей деревнѣ, отроститъ бороду, сидеть на пасѣку стеречь пчелъ и рон огребать. Впоследствии онъ почти такъ и сдѣлалъ: засѣлъ въ деревенское хозяйство и слился всей жизнью съ роднымъ его душѣ народомъ. Другой Задорожный, —Тихонъ Семеновичъ, скромный, сосредоточенный въ самомъ себѣ, художникъ-живописецъ—мечталъ объ Италіи. Оба брата были симпатичны Вадиму; особенно близко онъ сошелся съ Кирилломъ Семеновичемъ. Въ оживленныхъ разговорахъ они проводили цѣлыя вечера, засиживались порой до глубокой ночи, и такъ все время нашего житія въ Украинѣ. Кириллъ Семеновичъ былъ ума глубокаго, наблюдательнаго, сколько помнится, онъ кончилъ курсъ въ харьковскомъ

университетѣ, любилъ исторію, особенно исторію своего народа, и не только сочувствовалъ народу, но и вполне понималъ народъ и много помогалъ Вадиму въ его историческихъ и бытовыхъ изслѣдованіяхъ Малороссіи. Тихонъ Семеновичъ, большей частью молчаливый, уклонявшійся отъ общества, также сошелся по душѣ съ Вадимомъ и провелъ часть лѣта у насъ въ деревнѣ, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ снималъ виды по Донцу и виды степей, народныя группы, жилища, одежду, хозяйственныя принадлежности, даже цвѣты и растенія, исключительно принадлежащія природѣ Украины. Осенью Тихонъ Семеновичъ уѣхалъ въ Римъ, тамъ устроилъ студию и съ жаромъ отдался живописи; но, къ сожалѣнію, не долго, онъ заразился горячкою Понтійскихъ болотъ и умеръ на чужбинѣ, тамъ, куда много лѣтъ стремились всѣ его желанія.

Задорожные познакомили съ нами двоюроднаго брата своего, студента медицинскаго факультета Константина Ивановича Сокологорскаго — красиваго юношу, со взоромъ, выражавшимъ чистую душу. Кроткій, спокойный, религіозный — таковъ онъ былъ въ то время, такимъ онъ и остался до сихъ поръ. Изъ оскрѣщенной христіанской религіи истекла вся жизнь его, исполненная безконечной любви къ ближнему и тишины духа. Для продолженія житья нашего на Украинѣ, онъ окончилъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ и съ рекомендательнымъ письмомъ отъ Вадима къ другу нашему, Ѳеодору Ивановичу Иноземцеву, уѣхалъ въ Москву. Иноземцевъ былъ человѣкъ замѣчательнаго ума и рѣдко-добраго, благороднаго сердца. Изъ множества молодыхъ медиковъ, которымъ онъ открылъ дорогу, нѣкоторые отплачивали неблагодарностью; Ѳеодоръ Ивановичъ не возмущался этимъ, онъ не искалъ благодарности, онъ былъ счастливъ сдѣланнымъ добромъ. Константинъ Ивановичъ былъ не изъ этого числа. Спустя немного времени, Иноземцевъ доставилъ ему частное мѣсто въ Вологодской губерніи, тамъ онъ женился и уѣхалъ съ женой за границу — слушать лекціи лучшихъ профессоровъ медицины. Въ Германіи и Франціи онъ неутомимо отдавался занятіямъ, исключительнымъ предметомъ которыхъ была гігіена, сближался съ кругомъ умнѣйшихъ людей и вездѣ оставался тѣмъ же кроткимъ,

скромнымъ, какимъ мы знали его студентомъ въ Харьковѣ. За границей онъ пробылъ семь лѣтъ, возвратясь въ Россію, думалъ занять катедру гігіены,—въ нашихъ университетахъ такой катедры не оказалось, поэтому принужденъ былъ ограничиться частной практикой въ Москвѣ, гдѣ и до сихъ поръ живетъ, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ и извѣстностью знающаго, добросовѣстнаго врача и истиннаго христіанина.

Съ перваго дня нашего знакомства съ Константиномъ Ивановичемъ въ Харьковѣ, за Лопанью, онъ такъ привязался къ Вадиму, соотвѣтствовавшему его свѣтлой душѣ по своему характеру и правиламъ, что почти каждый день съ лекціи приходилъ къ намъ, незамѣтно пробираясь въ кабинетъ Вадима, и былъ ли, не былъ ли Вадимъ дома, помѣщался тамъ на диванѣ, читалъ или чистилъ ружья, приготовляя ихъ къ охотѣ, на которую онъ и оба брата Задорожные часто отправлялись съ Вадимомъ. Они всѣ трое были такіе же страстные ружейные охотники, какъ и Вадимъ, знали мѣста, гдѣ водилось больше дичи, гдѣ были перелеты дупелей и вальдшнеповъ, и нерѣдко возвращались съ охоты прямо къ намъ, съ ягташами, полными дичи, которая и подавалась имъ жареною за обѣдомъ или ужиномъ.

Въ мартѣ мы ожидали наше первое дитя; онъ былъ уже тутъ, хотя его еще и не было; его еще не знали, но уже страстно любили и страстно желали; для пріема котораго была готова и колыбель съ бѣлыми кисейными занавѣсками, и тонкія рубашечки, и теплыя одѣяльцы, и какъ снѣгъ чистыя пеленки.

Весна наступала ранняя, трава, едва зеленѣя, красноватыми стебельками осыпала землю, въ лѣсу изъ-подъ опавшихъ осеннихъ листьевъ вылѣзали синенькія пролѣски, на деревьяхъ наливались почки. Все пробуждалось въ жизни, къ свѣту, къ любви. Солнце обливало землю ослѣпительнымъ блескомъ и живило теплотой. У насъ уже подавали за столомъ шпинатъ, щавель, салатъ, редиску, спаржу, свѣжіе огурцы. Во всей природѣ чувствовался какой-то радостный трепетъ, и я радовалась веснѣ и радостно ждала милаго гостя. 10-го марта у насъ родилась дочь—мертвая. Я едва осталась жива. Медики нашли, что сильное нервное потрясеніе и долгая

душевная тревога, во время страданій, произвели судороги, которые и удушили нашего младенца.

Когда я опомнилась—мнѣ показалось, что я вдругъ откуда-то очутилась въ нашей комнатѣ, и съ безотчетнымъ удивленіемъ осматривалась,—тишина глубокая, горятъ свѣчи,—въ отдаленіи Вадимъ съ акушеркой и няней хлопочутъ у корыта; что же это неслышно дѣтскаго голоса,—думаю я,—и зачѣмъ свѣчи? вечеръ это, что ли? Помню ночь, страшную ночь, помню долгій-долгій день—и больше не помню ничего. Должно-быть, есть дитя. Спрашиваю тихонько: «родился кто-нибудь?» — «Дочь», — отвѣчаютъ мнѣ. «Дайте сюда». — «Послѣ, лежите спокойно». Лежу—смотрю... Что-то вынули изъ корыта, завернули въ пеленку и унесли. Тишина непробудная! Ко мнѣ подошелъ Вадимъ. «Неживая»,—говорить... Слушаю равнодушно, дивлюсь его грустному голосу,—мнѣ не грустно и не весело. Спустя немного времени прошу показать мнѣ дочь. Подали спеленатую неподвижную дѣвочку, положили подлѣ меня. Я прошу всѣхъ выйти вонъ. Оставшись одна,—распеленываю мое дитя, разсматриваю ея ручки, ножки, цѣлую ихъ—холодныя-холодныя; цѣлую ея личико—холодное; задумываюсь, что-то сказалось въ душѣ, что-то больно стѣснилось. Я наклонилась къ ребенку, приподняла его, прижала къ груди—не согрѣю ли, и—зарыдала. Ее унесли отъ меня.

Понемногу я оправилась, встала. Вотъ и колыбель съ бѣленькой занавѣсочкой и рубашечки, и пеленки, и ни кого не ждутъ онѣ, тѣ же, да не тѣ, точно жизнь отлетѣла отъ нихъ,—не надобны, вотъ и все. И такъ тихо! и какъ пусто! и какое солнце! такъ и обливаетъ и блескомъ и тепломъ. Небо глубокое, темно-голубое—подъ нимъ восхитительно бѣлѣютъ и розовѣютъ точно отъ зари осыпанныя цвѣтами яблони и вишни. А какая тоска въ душѣ! Куда же ты дѣвалась, радость—солнце души! Должно-быть, подъ иной точкой зрѣнія освѣщало ты мнѣ жизнь! Да, освѣщало ты и для меня чистыя, святыя минуты! Благодареніе же Создателю за то, что онѣ были. Духъ любви и примиренія,—молилась я,—озари больную душу мою!

Не только душой, я болѣла и тѣломъ. У меня открылась сильная боль въ груди и каплея опаснаго харак-

тера. Вадимъ встревожился, рѣшился обратиться къ медикамъ, но не зная, которому лучше довериться, одни указывали на однихъ, другіе на другихъ.

Весной познакомился съ нами профессоръ естественныхъ наукъ харьковскаго университета, Криницкій, та- кой же страстный охотникъ съ ружьемъ, какъ и Вадимъ,—наука и охота ихъ сблизили. Съ особеннымъ интересомъ онъ изучалъ пауковидныхъ и имѣлъ ихъ большую коллекцію въ спирту, въ стеклянныхъ банкахъ. Бывая у Криницкихъ, мы видали у него въ садикѣ, съ книгой или тетрадкой въ рукахъ, небольшого роста молодого человѣка, съ истомленнымъ, умнымъ лицомъ; замѣтивши насъ, онъ обыкновенно сейчасъ же робко удалялся изъ садика. Это былъ кончавшій курсъ студентъ медицинскаго факультета, занимавшій маленькую комнату во флигелѣ у Криницкихъ. Профессоръ относился о немъ, какъ о человѣкѣ очень даровитомъ и трудолюбивомъ. Когда Вадимъ обратился къ Криницкому за совѣтомъ, кого бы пригласить къ намъ изъ извѣстныхъ медиковъ, Криницкій отвѣчалъ: «не обращайтесь вы къ этимъ разнымъ знаменитостямъ, а пригласите молодого медика, только-что кончившаго курсъ, котораго вы видали у насъ. Онъ знаетъ дѣло и добросовѣстенъ, повѣрьте мнѣ, со временемъ онъ приобрететъ большую извѣстность—увидите». Вадимъ согласился.

Въ одно послѣ-обѣда ко мнѣ въ комнату робко вошелъ рекомендованный молодой человѣкъ; несмотря на застѣчивость, во взорѣ его виднѣлась проникаемость, въ пріемахъ—тактъ. Разспросивши меня, что чувствую, онъ посоветовалъ мнѣ, пока мы въ городѣ, пить парное молоко съ сахаромъ исландскаго моха, а когда переѣдемъ въ деревню,—кобылье молоко, начиная со стакана и до шести въ день, и такъ же постепенно убавлять. Лошадь, опредѣленную для моего лѣченья, пасти въ степи, гдѣ больше душистыхъ травъ и цвѣтовъ. Провожая медика, я подала ему руку и, вмѣстѣ съ этимъ, вложила ему въ руку полуимперіалъ; почувствовавши въ рукѣ монету, онъ до того растерялся, что выронилъ ее, и золотой, звеня, покатился по полу. Я растерялась не меньше его, однако подняла полуимперіалъ и, подавая его ему, попросила принять, говоря, что онъ принесетъ ему счастье въ практикѣ. Съ моей легкой руки—практика его

расцвѣла великолѣпно и быстро. Этотъ молодой человекъ былъ Иванъ Осиповичъ Каленчинко, въ настоящее время знаменитый медикъ Харькова, обладающій огромными средствами *).

Въ іюні мы переѣхали въ село Спасское. Я въ точности исполняла предписаніе И. О. Каленчинки и—здоровье мое стало поправляться.

Жизнь наша въ деревнѣ была уже не та, что въ прошедшее лѣто. Въ Спасскомъ насъ стали навѣщать близкіе сосѣди: владѣлецъ Нижняго Салтова, Левъ Дмитріевичъ Хорватъ, графъ Ивличъ, женатый на сестрѣ Хорвата, Григорій Дмитріевичъ Колокольниковъ бывалъ чаще прежняго и оставался у насъ цѣлые дни. Сверхъ того, стали появляться владѣльцы хуторовъ и жители Сороковки. По рассказамъ я знала, что Сороковкой называется селеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ хуторовъ, устроенное на землѣ, данной правительствомъ сорочка военнымъ офицерамъ, выслужившимся изъ нижнихъ чиновъ. Нѣкоторые изъ поселившихся семействъ на отдѣленной имъ землѣ еще земли прикупали, строили себѣ порядочные домики, заводились хозяйствомъ и обрабатывали свою землю съ помощью нанятыхъ работниковъ, участвуя и сами въ этихъ работахъ. Менѣе достаточные довольствовались отведеннымъ имъ небольшимъ участкомъ, быстро строили на малороссійскій ладъ хату, обмазывали глиной, бѣлили мѣломъ, обводили карнизы изъ желтой охры — и новоселье готово. Затѣмъ являлись также несложно необходимыя хозяйственныя принадлежности.

Такимъ образомъ эти соединенныя хуторки образовали довольно большое селеніе, съ фруктовыми садами, съ пестрѣвшими макомъ и подсолнечниками огородами, бакчами золотистыхъ дынь, арбузовъ и лохматой кукурузы, съ раскинутыми кругомъ полями пшеницы, жита, овса, проса и ячменя.

Сколько помню, въ Сороковкѣ была и своя церковь и свое училище, бывали свои увеселенія, вечеринки, со скрипкой и танцами; сверхъ того, постоянные споры и тяжбы дѣла.

Сосѣди изъ Сороковки пріѣзжали на нашу мельницу,

*) Недавно кончилъ жизнь. Осталось семейство.

построенную на Донцѣ, чтобы смолоть мѣшокъ жита, пшеницы, или ободрать ячменя на крупу, съ мельницы завертывали къ нашему писарю Тузу закусить и выпить вкусной, гранатнаго цвѣта, барской терновки. Когда сороковцы узнали о нашемъ приѣздѣ въ деревню, то съ мельницы стали завертывать къ намъ. Побесѣдовавши, выпрашивали себѣ бутылочку наливки, раковъ, мѣшокъ гороху, крутъ, словомъ, что случалось въ то время года или попадалось на глаза. Если кто-нибудь изъ сороковцевъ набѣгалъ въ своей телѣжкѣ въ то время, какъ у насъ ловили въ Донцѣ неводомъ рыбу, то посѣтитель тотчасъ присоединялся къ рыбакамъ, сбросивши верхнее платье, влѣзалъ по воротъ въ воду, тянулъ съ рыбаками неводъ, кричалъ, хлопоталъ, вываливалъ на берегъ тоню, сортировалъ рыбу, дѣлилъ, отобравши лучшую для насъ, остальную отдавалъ, часть на застольную, часть рыбакамъ. Затѣмъ изъ отобранной намъ выпрашивалъ себѣ линьковъ, окуньковъ, щучку покрупнѣе и проч. Мы всегда, чѣмъ могли, дѣлились съ сосѣдами и радушно приглашали къ чаю или отобѣдать. При отѣздѣ укладывали въ телѣжку и рыбу, и наливку, и крупы, когда поспѣвали дыни—и дынь, если попадалась чудовищной величины тыква—вваливали и тыкву. Чаше всѣхъ насъ навѣщалъ изъ Сороковки—лысый, кругловатый, небольшой старичокъ, Андрей Ивановичъ Нестеровъ, участвовавшій когда-то въ опекуновствѣ надъ Спасскимъ. Онъ являлся обыкновенно, исключая самыхъ знойныхъ дней, въ заячьей шубкѣ, покрытой нанкой цвѣта незрѣлаго лимона, по которой подпоясывался полотенцемъ, и проходилъ всегда прямо въ кабинетъ Вадима; если мнѣ случалось войти туда, то каждый разъ онъ извинялся, говоря, что приѣхалъ съ мельницы и не можетъ снять шубку, потому что подъ ней ничего нѣтъ, кромѣ бѣлья. Бывалъ еще изъ Сороковки майоръ, тотъ всегда въ сѣняхъ переодѣвался въ мундиръ и вступалъ въ комнаты съ воинственными приемами.

Кромѣ сороковцевъ, приѣзжали помѣщики и большихъ хуторовъ, нѣкоторые изъ нихъ заявляли претензіи на образованность и остроу. Такъ, одинъ изъ достаточныхъ хуторянъ, приѣхавши къ намъ въ первый разъ, рекомендуясь мнѣ, сказалъ свое имя и отчество, «а фамилія моя,—добавилъ онъ:—извольте догадаться сами—

это имѣется у васъ на мельницѣ». Думала я, думала— что у насъ водится на мельницѣ:—мука, крупа, колеса, плотина—не могу догадаться. Остроумный помѣщикъ отъ души радовался, что задасть мнѣ трудную задачу, и, наконецъ, сказалъ: «извольте, признаюсь, кто я, если прикажете наловить къ обѣду раковъ которыхъ я люблю безъ памяти, и наградите мѣшкомъ раковъ домой».— «Съ большимъ удовольствіемъ»,—отвѣчала я и немедленно распорядилась насчетъ ловли раковъ. «Теперь я помогу вамъ отгадать мою фамилію»,—сказалъ помѣщикъ.—Какъ зовутъ на мельницѣ мельниковъ, знаете?»— «Мельниками»,—отвѣчала я.—«Совсѣмъ нѣтъ, здѣсь зовутъ ихъ «мирошники»—а я Мирошниченко выхожу».

Этого Мирошниченку едва не задушилъ, шутки ради, другой помѣщикъ-хуторянинъ. Мирошниченко разъ ночевалъ у какаго-то сосѣда; въ ночь прикатилъ туда же другой хуторянинъ-забавникъ и вздумалъ напугать спавшаго Мирошниченку; завернутый въ медвѣжью шубу, онъ навалился на соннаго, входя въ роль медвѣдя, заревѣлъ по-медвѣжьи и началъ душить соннаго, да такъ усердно, что тотъ едва отдышался.

Кромѣ помѣщиковъ, стали навѣщать насъ и служащіе изъ Волчанска, знавшіе Вадима въ его первые пріѣзды въ Украину по раздѣлу имѣнія. Многие изъ посѣщавшихъ насъ, желая похвалить Вадима, съ лукавой улыбкой говорили: гусарь! настоящій гусарь! хотя въ Вадимѣ не только того гусара, котораго они подразумѣвали и высоко ставили, т.е. гусара-молодца, кутили, шалуна, забіяки, и тѣни не было, но даже и вида воинственнаго онъ не имѣлъ; имъ до этого дѣла не было,—они желали его похвалить и выше этой похвалы ничего не находили. Пріемы и воззрѣнія большинства еще сильно отзывались простотой времени казачества и слободскихъ полковъ. Когда я ближе всмотрѣлась въ жизнь украинцевъ, мнѣ, какъ и Вадиму, многое пришлось по душѣ.

Къ концу лѣта здоровье мое совсѣмъ поправилось; я уже не такъ сильно тосковала объ утраченной малюткѣ, но, по нѣкоторымъ слыханнымъ мною замѣчаніямъ, во мнѣ родился страхъ, что и будущихъ дѣтей моихъ ожидаетъ такая же несчастная участь, какъ и перваго ребенка. На этомъ опасеніи стали сосредоточиваться всѣ

чувства мои и выразились нервнымъ страданіемъ и частыми слезами. Чтобы развлечь меня, Вадимъ старался заинтересовать различными занятіями: давать мнѣ рисовать гуашью снятые имъ виды, переписывать сдѣланные имъ наблюденія, читать вмѣстѣ со мною и временами рассказывать объ его прежней жизни и о жизни и страданіяхъ своего отца, которые пополнялъ чтеніемъ его записокъ. Записокъ батюшки Вадимъ нашелъ въ Спасскомъ нѣсколько тетрадокъ и разрозненныхъ листковъ между хранившимися тамъ бумагами; онъ привелъ ихъ въ систематическій порядокъ и въслѣдствіи хотѣлъ помѣщать въ своемъ обширномъ трудѣ «Очеркахъ Россіи», но успѣлъ напечатать только одинъ отрывокъ, подъ названіемъ: «Записки моего отца: Картины Сибири, 1804—1808 года».

Одна тетрадка изъ записокъ покойнаго Василя Васильевича Пассека начинается эпиграфией, написанной имъ самому себѣ, стихами, на французскомъ языкѣ, въ Петербургѣ, 15-го августа 1794 г., и другими стихами, по-русски, на Василя Степановича Попова, также 1794 г. 26-го апрѣля. Стихи такъ стерлись отъ времени, что возстановить ихъ нельзя, видно только, что они писаны подъ арестомъ, въ сильномъ негодованіи на Попова, притѣснявшаго Василя Васильевича ради того, чтобы выручить своего пріятеля, екатеринославскаго губернатора Каховскаго, и угодить Петру Богдановичу Пассеку. Въ этомъ листочкѣ сказано: «Съ 10-го апрѣля по 15-ое августа содержался подъ стражею у Попова, потомъ переведенъ былъ къ г-ну прокурору Самойлову». О Самойловѣ Василій Васильевичъ говоритъ съ признательностью и уваженіемъ, и написано нѣсколько строкъ стихами къ нему, которыя начинаются такъ:

«Разрушены страхъ и стонанья

Подъ покровительствомъ правдивымъ твоимъ».

Далѣе, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ листкахъ, говорится о родителяхъ В. В. Пассека, его дѣтствѣ, юности, службѣ, огорченіяхъ, притѣсненіяхъ дяди Петра Богдановича. Изъ всего этого видно, что Василій Васильевичъ Пассекъ родился въ Слободско-Украинской губерніи, Волчанскаго округа, въ слободѣ Спасской, отъ подполковника Василя Богдановича Пассека, отличившагося въ семилѣтнюю войну, и отъ двоюродной сестры

его, Елизаветы Ильинишны Обруцкой, которую Василий Богданович украдкой увезъ изъ родительскаго дома. Гостивши у дяди своего Обруцкаго, въ Смоленской губерніи, въ имѣніи его жены, онъ увлекся ихъ четырнадцатилѣтней дочерью; но такъ какъ постановленія нашей церкви не дозволяютъ брака съ двоюродной сестрою, то, въ отсутствіи дяди, онъ уговорилъ ее скрыться. По совѣту Василія Богдановича, Елизавета Ильинишна, купаясь въ рѣкѣ, оставила на берегу свое платье, переоделась въ другое и была отправлена имъ въ Спасское подъ именемъ Надежды Петровны. Самъ же Василій Богдановичъ, чтобы отклонить отъ себя подозрѣніе, прожилъ еще нѣсколько недѣль у дяди, утѣшалъ ихъ въ утратѣ дочери, которую родные считали утонувшей и горько оплакали. Желая окончательно скрыть свой поступокъ, Василій Богдановичъ, отправляясь черезъ Москву въ свое имѣніе, пригласилъ съ собой брата Елизаветы Ильинишны, продержалъ его въ селѣ Спасскомъ довольно долго, но сестры ему не показалъ.

По отъѣздѣ брата Василій Богдановичъ обвинчался съ своей двоюродной сестрой въ церкви села Спасскаго, въ присутствіи родного брата своего Петра Богдановича Пассека, котораго очень любилъ и заступалъ ему мѣсто отца. Въ запискахъ Василія Васильевича сказано: «сколько мнѣ извѣстно, покойный мой отецъ былъ сопряженъ тайнымъ бракомъ съ двоюродной сестрой своей Обруцкой».

Вспоминая о своемъ дѣтствѣ, Василій Васильевичъ говорить: «За нѣсколько времени передъ смертью моего родителя, препорученъ я былъ въ заѣщаніи графу Ивану Семеновичу Гендрикову и родному дядѣ моему Петру Богдановичу Пассеку, такъ же, какъ и имѣніе, кое по возрастѣ моему, сказано было, мнѣ возвратить».

Графъ Гендриковъ скончался вскорѣ послѣ Пассека, и Петръ Богдановичъ остался единственнымъ опекуномъ своего пятилѣтняго племянника. Приѣхавши въ село Спасское, онъ то ласками, то угрозами старался принудить жену брата своего не отыскивать законныхъ правъ своихъ, повиниться во всемъ родителямъ и просить прощенія, въ достиженіи котораго общалъ ей содѣйствовать, а такъ какъ родные, считая ее умершею,

слѣдовавшую ей часть имѣнія между собой раздѣлили, то выдавать ей по 500 руб. ежегодно и провизію. Если же она станетъ отыскивать утвержденіе своего брака, грозили, что онъ отъ нея откажется такъ же, какъ и ея родные, которые на ея бракъ всегда будутъ смотрѣть, какъ на грѣхъ и преступленіе, и желаемыхъ правъ она никогда не отыщетъ.

Пока шли переговоры, опекунъ распоряжался всѣмъ въ домѣ своего племянника; забралъ на нѣсколько тысячъ рублей разныхъ вещей, принадлежавшихъ его брату, и отправилъ въ смоленское имѣніе Марьѣ Сергѣевнѣ Салтыковой. Чтобы избѣжать притязаній и исковъ со стороны невестки, а, можетъ, и родныхъ ея, оставалось отдѣлаться отъ нея. Онъ прибѣгнулъ къ самому простому средству. Однажды Елизавета Ильинишна поѣхала навѣстить кого-то изъ сосѣдей. Пользуясь ея отсутствіемъ, Петръ Богдановичъ приказалъ, когда она возвратится, не впускать ее въ домъ. Ее и не пустили. На другой день съ служившей при ней горничной отосланы были ей ея вещи и нѣсколько десятковъ рублей. Такимъ образомъ, волею, а вдвое того неволею, Елизавета Ильинишна возвратилась къ своимъ роднымъ. Петръ Богдановичъ, оставшись одинъ въ Спасскомъ, пересмотрѣлъ всѣ уголки, перерылъ всѣ сундуки, отыскивая спрятанныхъ сокровищъ, и, уѣзжая изъ Спасскаго, взялъ съ собою своего племянника. Въ Петербургѣ онъ отдалъ его въ пансіонъ Масона въ 1781 году, а въ 1785 взялъ изъ пансіона, несмотря на просьбы племянника оставить его тамъ продолжать свои занятія, и записалъ въ вологодскій мушкетерскій полкъ, не взирая на то, что Василій Васильевичъ уже былъ записанъ въ гвардію.

Въ гвардію Петръ Богдановичъ записалъ племянника подъ именемъ Пасскова и говорилъ однимъ, что это его племянникъ, другимъ — приемышъ, самому же Василію Васильевичу сказалъ, что онъ переименованъ изъ Пассековъ въ Пасскова ошибкой писаря военной коллегии, и общалъ, по приѣздѣ въ Петербургъ, ошибку эту исправить, въ удостовѣреніе чего отправилъ его съ поручительными письмами, въ которыхъ называлъ его Пассекомъ.

«Въ 1787 году, — сказано въ запискахъ Василія Васильевича: — вышущень я, по именному ея величества

указу, изъ конной гвардіи въ рижскій карабинерный полкъ ротмистромъ и правилъ эскадрономъ, расположеннымъ на рубежахъ Польши, за проѣздъ его свѣтлости князя Александра Григорьевича Потемкина. До того и предъ тѣмъ беспокоилъ я дядюшку объ увольненіи меня въ войско, дѣйствующее противъ непріятеля подъ предводительствомъ князя Потемкина, что и впоследствии довало. Его свѣтлостью опредѣленъ я въ сумскій легкоконный полкъ, въ коемъ обрѣтался противъ непріятеля подъ Каушанами, при обозрѣніи Бендеръ, гдѣ его свѣтлости угодно было взять меня къ себѣ въ дежурство. Съ тѣхъ поръ я и находился при князѣ Потемкинѣ безотлучно вездѣ и былъ, между прочимъ, охотникомъ.

«Съ дозволенія фельдмаршала, я былъ во всю осаду и при приступѣ къ крѣпости Измаила, за что произведенъ ея императорскимъ величествомъ въ майоры, пожалованъ похвальнымъ листомъ и знакомъ отличія.

«По пріятельской связи Петра Богдановича съ Василиемъ Степановичемъ Поповымъ, былъ исключенъ изъ числа произведенныхъ, состоявшихъ въ дежурствѣ при князѣ».

Въ 1787 году Петръ Богдановичъ продалъ вдовѣ Александра Михайловича Салтыкова — Марьѣ Сергѣевнѣ Салтыковой, урожденной Волчковой, смоленское имѣніе своего племянника, какъ бы принадлежащее ему, упростивъ между тѣмъ Анну Родіоновну Чернышеву отправить на это время Василя Васильевича за границу къ графу Ивану Григорьевичу Чернышеву. Василій Васильевичъ пробылъ за границей до 1792 года. Когда онъ возвратился въ Москву, графиня Чернышева предложила ему жениться на очень богатой дѣвушкѣ и взять въ управленіе ея венделевское имѣніе съ тѣмъ, чтобы доходъ дѣлить пополамъ. Василій Васильевичъ отказался. Онъ предполагалъ ѣхать въ Лозанну, поступить тамъ въ университетъ и, по окончаніи курса, продолжать служить. Графиня назначала ему 2.700 руб. ежегоднаго пособія и при этомъ сказала: «Все, что я ни сдѣлаю для тебя, ничего не будетъ значить сравнительно съ тѣмъ, что отецъ твой дѣлалъ для меня. Онъ былъ мой опекунъ и второй отецъ».

Поступленіе въ лозанскій университетъ не состоялось,

графъ Александръ Васильевичъ Суворовъ посовѣтовалъ Василию Васильевичу, прежде Лозанни, съѣздить въ Дубосары, куда отправлялся его дядя для разнѣна посланиковъ, повидаться съ нимъ и постараться устроить свои дѣла. Василий Васильевичъ послушался Суворова. Дядя принялъ его ласково, объявилъ, что по кратковременности своего пребыванія въ Петербургѣ не успѣлъ исправить ошибки въ его фамиліи, но по возвращеніи непременно это сдѣлаетъ. Когда разнѣнъ нословъ былъ оконченъ, Василий Васильевичъ подалъ дядѣ письмо, въ которомъ просилъ его объявить ему, какъ велико наследство, оставшееся ему послѣ отца, и когда онъ можетъ получить его. Дядя отвѣчалъ, что до расчета дастъ ему украинское имѣніе съ условіемъ не продавать, не закладывать, не дарить, въ случаѣ его смерти—безъ законныхъ наслѣдниковъ, оставить это имѣніе сыну его Петру Петровичу. Сдѣлку эту представить на утвержденіе императрицы. Василий Васильевичъ отъ такой сдѣлки отказался. Тогда Петръ Богдановичъ предложилъ ему вмѣстѣ съ имѣніемъ принять на себя 28.000 его долга, или взять вексель, соотвѣтственный цѣности имѣнія. Василий Васильевичъ на это не согласился. Насчетъ послѣдняго предложенія сказалъ дядѣ, что его вексель равняется пустой бумагѣ, такъ какъ на немъ больше 100.000 долта, а имѣнія проиграны.

Съ этого времени начались на Василю Васильевича гоненія дяди и его несчастія.

Правитель Екатеринославской губерніи, Каховскій, передавшій Василию Васильевичу назначенную ему въ награду землю на Очаковской степи, написалъ Петру Богдановичу, что племянникъ его сблизился съ подозрительными людьми. Вмѣстѣ съ этимъ, на всѣхъ имъ подозрѣваемыхъ послалъ донесеніе государынѣ, какъ на людей опасныхъ отечеству *).

*) Когда В. В. Пасека освободили изъ Динамидской крѣпости, то онъ узналъ, что заключенъ былъ безъ суда на 4 года и 3 мѣсяца за то, что будто бы давалъ офицерамъ своего полка читать запрещенныя книги, изъ службы же исключенъ не былъ, вслѣдствіе чего, по освобожденіи, ему выдано было жалованье за 4 мѣсяца и былъ объявленъ невинно пострадавшимъ. Содержась въ крѣпости, Василий Васильевичъ написалъ нѣсколько интересныхъ

были задержаны. Василия Васильевича заранее предупредили. Опасаясь мщенія и вліянія дяди, онъ бѣжалъ въ Яссы, чтобы тамъ, подъ защитою нашего генеральнаго консула Сиверса, ждать суда. Вмѣстѣ съ собой онъ увезъ изъ-подъ ареста одного изъ обвиненныхъ. Въ Яссахъ ихъ ожидалъ курьеръ изъ Петербурга. Ихъ арестовали и привезли въ Петербургъ.

«Сорокъ два часа были на моихъ ногахъ цѣпи»,—говорить въ запискахъ В. В. Пассекъ. Графъ Александръ Михайловичъ Самойловъ, въ вѣдѣніи котораго состояла тайная экспедиція, принялъ его отечески и общалъ защиту; но прежде чѣмъ Самойловъ взялъ съ него объясненіе, Пассека допрашивалъ Василій Степановичъ Поповъ. Повидимому, Поповъ старался выпытать отъ него признаніе—притѣсненіями и оскорбленіями, что и вызвало жалобы В. В. на него и стихи, о которыхъ сказано выше. Вмѣстѣ съ допросами, по доносу Каховскаго, Пассека обвиняли въ написаніи акростиха на императрицу Екатерину II.

Передъ отъѣздомъ Василия Васильевича въ Яссы, столоначальникъ могилевской казенной палаты, Симоновичъ, назначенный Петромъ Богдановичемъ въ помощники племяннику, по дѣламъ графини Чернышевой, далъ ему прочитатъ своего сочиненія акростихъ на государыню. Въ тревогѣ отъѣзда Пассекъ забылъ его возвратить Симоновичу, при задержаніи его въ Яссахъ, акростихъ найденъ былъ между его бумагами. Страшась погубить семейнаго человѣка черезъ свою небрежность и совѣстясь нарушить сдѣланную ему довѣренность, на допросъ Попова Пассекъ сказалъ, что этотъ акростихъ купленъ имъ на рынкѣ у неизвѣстнаго человѣка вмѣстѣ съ другими бумагами и не былъ имъ замѣченъ. Когда же его сталъ допрашивать графъ Самойловъ, то, тронутый его лаской и участіемъ, Василій Васильевичъ объявилъ себя авторомъ этихъ стиховъ. Графъ Самойловъ,

статей: 1) Какимъ образомъ завести лучшаго разбора скотъ, такъ, чтобы это ничего не стоило казнѣ и обывателямъ; 2) Правила народнаго просвѣщенія; 3) Улучшенія воспитательныхъ домовъ, больницъ, смиренныхъ домовъ и институтовъ; 4) Улучшеніе земской полиціи для произведенія дешевизны безъ угнетенія кого-либо; 5) Нѣсколько статей по отношенію къ преступникамъ. Четыре изъ этихъ статей Каховскій сжегъ.

сличая письма Симоновича съ почеркомъ акростиха, сказалъ, что они писаны одной рукой; Василій Васильевичъ отвѣчалъ, что Симоновичъ ихъ только переписалъ. Тогда графъ велѣлъ Пассеку написать что-нибудь стихами и, найдя написанное имъ ни въ чемъ не согласующимся съ акростихомъ, проникнулъ его цѣль. Желая спасти Василія Васильевича, графъ благосклонно принялъ его просьбу о прощеніи, и спустя нѣсколько дней онъ получилъ свободу.

«Дядя и опекунъ мой,—сказано въ запискахъ Василія Васильевича Пассека,—въ теченіе шести мѣсяцевъ заключенія моего не просилъ обо мнѣ императрицу, а узнавъ, что я наканунѣ освобожденія своего, прибѣгнулъ къ ней, яко любящій племянника своего дядя; великодушная императрица благоволила рѣшить судьбу мою сими словами:

«Я представляю времени уничтожить сіи акростихи. Отъ него зависить остаться въ военной службѣ или перейти въ иную».

«Всѣ обвиненные со мною, разосланные по губерніямъ, признаны невинными. Содержась по сему дѣлу подъ стражею, не могъ я открыть императрицѣ дядю и опекуна моего, ухищреніями желавшаго и поднесъ желающаго погубить меня. Въ бытность свою генералъ-адъютантомъ, каждый день могъ онъ испросить князю Кантеміру помилованіе, но въ заключеніи родныхъ племянниковъ своихъ видѣлъ онъ утвержденіе за собою имѣній напихъ. Я не могъ, повторяю, открыть императрицѣ о справедливомъ моемъ правѣ на имя и наслѣдство родителя моего, опасаясь, что тѣми же ухищреніями дядя перехватить мое прошеніе и погубить меня совершенно, поэтому рѣшился молчать до удобнаго времени. Но дядя и опекунъ мой, будучи неутомимъ въ проискахъ, представилъ монархинѣ меня шалуномъ и мотомъ, котораго необходимо обуздать запрещеніемъ вѣзжать въ столицы безъ дозволенія генералъ-прокурора. Сіе было утверждено, и меня на сей конецъ обязали подписью.

«Удаленіемъ отъ столицы ослабилъ дядя и опекунъ мой дѣятельность мою въ полученіи моихъ правъ и родительскаго наслѣдства. Графъ Самойловъ не только спасъ меня, но и ссудилъ деньгами на дорогу въ войско. Однако же государыня, изъ показаній моихъ проникнувъ

несправедливость дяди и опекуна моего, высочайше изволила повелѣть графу Самойлову посовѣтовать ему отъ себя быть снисходительнѣе со мною и снабдить меня нужнымъ. Графъ получилъ отъ него въ отвѣтъ, что онъ дастъ мнѣ недвижимое имѣніе родителя моего. А дабы не имѣть надобности выполнить обѣщаннаго графу и держать слово, не разъ и мнѣ данное, въ возвращеніи наслѣдства, то спустя мѣсяцъ послѣ прибытія въ войско снова предпріялъ онъ меня чернить. Одна изъ подпоръ его, или обманутая наружностью и представленіями его обо мнѣ особа, пріѣхала въ Гродно и извергнула на меня клеветы начальствующему тогда войскомъ князю Николаю Васильевичу Рѣпинну, который, къ счастью моему, отнесся къ теперешнему статсъ-секретарю Ангелю, давшему моему пріятелю, сдѣлавшемуся благодѣтелемъ моимъ, снятіемъ съ дяди и опекуна моего—маски и возвращенія мнѣ благорасположенія князя Рѣпина.

«Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, князь Сергій Федоровичъ Голицынъ, у коего былъ я дежурнымъ, обратившійся со мною непріятнѣйшимъ образомъ, возвратясь изъ С.-Петербурга, гдѣ былъ дядя мой, къ корпусу, при которомъ я оставался, сдѣлался ко мнѣ чрезвычайно холодеѣть. Я объяснился, а онъ, прочитавши переписку мою съ дядею, общалъ все то сдѣлать, что можетъ облегчить мое положеніе. На мѣстѣ князя оставался тогда начальствующимъ генераль-маіоръ, что нынѣ генераль-отъ-кавалеріи, Обрѣсковъ, своякъ дяди и опекуна моего. Опасаясь быть имъ гонимымъ, такъ какъ находился я подъ присмотромъ въ войскѣ, выпросилъ у него дозволеніе съѣздить въ полкъ, куда послалъ онъ два повелѣнія, дабы я къ нему возвратился. На первое отозвался я болѣзнью, а на второе расположеніемъ служить въ рядахъ. Полку сказано было въ походъ; мы прибыли въ Вильно, гдѣ опять встрѣтила меня интрига дяди и опекуна моего. Притворяясь всегда быть ко мнѣ снисходительнымъ, но дѣйствуя противъ меня тайными пружинами, пронесъ черезъ одну изъ подпоръ своихъ слухи, будто бы я якобинецъ, прощенный императрицею по просьбѣ его. Въ Вильнѣ такъ хорошо онъ устроилъ орудія свои, что меня схватили, повлекли и безъ всякаго изслѣдованія и объявленія причины, по высочайшему повелѣнію въ декабрѣ 1796 года ввергнули въ одну

изъ динаминдскихъ тюремъ, гдѣ не имѣлъ я иногда первыхъ надобностей человѣку и томился неизвѣстностью, за что и надолго ли посаженъ.

«Въ теченіе заключенія моего, дядя мой, имѣя всѣ родителя моего наслѣдства въ рукахъ своихъ, не прислалъ мнѣ ни копейки, ему не можно отречься опасностью, развѣ не могъ онъ прислать денегъ черезъ десятныя руки. Пріятели мои и знакомые за нѣсколько сотъ верстъ навѣщали меня и доставляли помощь.

«Блаженной памяти императоръ Павелъ въ бытность свою въ Динаминдѣ въ 1797 году спросилъ у коменданта, гдѣ я и какъ себя веду? и, по одобренію, приказалъ у меня спросить, чего желаю я? Желаніе мое коменданту было извѣстно, я его приготовилъ на сей случай, и онъ отвѣчалъ: «чтобы быть судиму». Государь возразилъ: «Онъ молодъ, пускай еще посидитъ, сей урокъ пригодится ему для переду».

«Въ январѣ 1798 года получилъ я извѣстіе, что друзья мои Валуевы арестованы и увезены изъ полка въ бывшую тайную экспедицію. На нихъ и на меня донесъ поручикъ Высоцкій (съ которымъ я никогда сношенія не имѣлъ и въ жизнь мою не видалъ его), якобы мы имѣемъ важную переписку и умышляемъ на жизнь государя, и якобы сообщники мои ожидаютъ только его пріѣзда въ Гапсаль, гдѣ былъ тогда полкъ, въ коемъ я съ Валуевыми служилъ, чтобы исполнить свое намѣреніе. У меня не было ничего по сему доносу спрошено, а Валуевы оправдались, и ихъ произвели за невинное претерпѣніе, съ запрещеніемъ всякаго сношенія со мною. Комендантъ получилъ выговоръ за дозволеніе мнѣ писать, тогда онъ запретилъ мнѣ писать къ государю и отыскивать права мои на свободу и собственность. Я скрытно отправилъ письмо къ императору въ 1798 году и просилъ снова о судѣ, а также и о собственности моей, но не получилъ и въ вѣдомостяхъ отвѣта. Письмо это находится нынѣ въ архивѣ бывшей тайной экспедиціи, съ надписью: «оставить безъ уваженія и проч.». Зная цѣль, связующую живущихъ въ обществѣ, соблюдающую каждого и всѣхъ безопасность, спокойствіе и собственность, всегда къ ней имѣлъ благоговѣніе и бдѣлъ о сохраненіи каждого ея кольца; но быть играющимъ прихотей и ига—не могъ никогда. Не обрѣтая

суда, слѣдовательно, потерявъ надежду на справедливость, началъ изыскивать другія средства, сообразующіяся съ честью, для обрѣтенія свободы, бѣжать преслѣдуемому позволительно, но и я могъ, но не хотѣлъ. Мнѣ встрѣтилась счастливая мысль. Взявъ ее на вѣсы разсудка, рѣшился я привести ее въ дѣйствіе. Я былъ долженъ бѣжавшему изъ Риги казначею Шемилину. По желанію моему подано было ко взысканію. Лифляндскій гражданскій губернаторъ спросилъ у меня черезъ динаминдскаго коменданта въ ноябрѣ 1798 года: долженъ ли я Шемилину по роспискѣ, имѣю ли имѣніе и гдѣ, на удовлетвореніе. Мой отвѣтъ былъ: не только по роспискѣ долженъ семьсотъ сорокъ рублей, но и безъ письменнаго вида четыреста пятнадцать рублей; что имѣнія мои въ управленіи дяди моего, не возвращающаго оныхъ и не присылающаго мнѣ ни копейки изъ доходовъ. Въ отзывѣ своемъ назвалъ дядя меня пріемышемъ, не участвующимъ въ имѣніи Пассековъ, и что онъ не обязанъ платить за меня долги. Сей отзывъ его увеличилъ страданія мои. Гарнизонъ динаминдской крѣпости, не взирая, что я не просилъ ни у кого взаймы денегъ, началъ заподозрѣвать, будто я объявилъ себя имѣющимъ имѣніе, дабы обрѣсть ссуду. Съ другой же стороны, я былъ отзывомъ симъ доволенъ, ибо онъ подаль мнѣ надежду достигнуть до престола отыскиваніемъ собственности моей. Я подаль бумагу, въ коей сказалъ, что когда освобжусь, или приведено будетъ въ дѣйствіе сдѣланное мною въ 1796 году завѣщаніе, то обнаружатся мои права на имя и на имѣніе родителя моего, и просить истребовать исполненія. Дядя подаль объясненіе, содержаніе котораго будетъ далѣе изображено. Комендантъ, опасаясь навлечь себѣ непріятности моею перепискою, не дозволилъ мнѣ подаль опроверженіе; по настоянію пріятелей моихъ, сдѣлалъ онъ представленіе тогдашнему генералъ-прокурору князю Лопухину, испрашивая представленіе, можно ли мнѣ письменно защищать оспариваемую у меня дядею моимъ собственность мою. На докладъ, сдѣланный императору въ іюлѣ 1799 года, высочайше повелѣно дозволить мнѣ написать возраженіе, и если права мои доказаны будутъ, то взять имѣніе подъ казенный присмотръ, взыскать должныя мною Шемилину деньги и безъ особаго высочайшаго повелѣнія не

давать никому доходовъ. Объясненіе дяди моего и копія съ завіщанія отца моего, приложенная при ономъ, а также и мое объясненіе, въ коемъ предоставилъ я себѣ право представить доказательства, отправлены къ князю Лопухину.

«Я прислать былъ подь присмотръ впредь до повелѣнія; а меня съ самаго перваго дня стѣснили до того, что три года, до самой отставки коменданта Шилинга, не позволялось мнѣ выходить изъ моего гроба. Здоровье мое день отъ дня повреждалось болѣе и болѣе, а къ вящему разрушенію онаго инженерный полковникъ Смольяниновъ, не взирая на представленія мои, что отъ домовъ стараться надо отвлечь влагу, приказалъ обречь жилище мое рвомъ. Со всей почти крѣпости стекала въ оный дождевая вода и подходила подь полъ моей комнаты, изъ сухой и лѣтомъ она сдѣлалась очень сырою; болѣе нежели на аршинъ плѣсень покрывала стѣны внутри, а зимою ледъ и снѣгъ, и чадъ отъ того былъ почти непрестанно. Сердце мое обливается кровью при воспоминаніи ужасныхъ картинъ сихъ; у безгласныхъ дѣтей моихъ похищенъ бы былъ отецъ, если бы не поспѣшила рука императора Александра разрѣшить заклень мои. Свобода отверзла передо мною врата столицы. Я нашелъ ужасную и самую невинность въ содержание приводящую, тайную экспедицію навсегда уничтоженною—и воспріалъ новое бытіе. Дядя и опекунъ мой былъ уже въ С.-Петербургѣ. Онъ встрѣтилъ меня обѣщаніями возвратить мнѣ немедленно наслѣдство отца моего, совѣтуя ѣхать въ деревню для восстановления моего здоровья, и не взирая на то, что я предсталъ къ нему изъ заключенія полумертвый и въ ободранной сермягѣ, до котораго положенія доведенъ былъ великостью души его, изъ назначеннаго имъ содержанія, слѣдуемаго мнѣ съ января 1796 года по май 1801 года, съ великимъ трудомъ могъ я получить тысячу шестьсотъ пятьдесятъ рублей, вмѣсто шести тысячъ четырехсотъ рублей. Благотворный Александръ благоволилъ мнѣ на произволь — остаться въ военной службѣ или перейти въ другую, сообразную съ разстроеннымъ здоровьемъ моимъ, и именнымъ въ маѣ 1801 года указомъ объявилъ меня невинно-пострадавшимъ, и за мои страданія произвелъ въ надворные совѣтники».

Василій Васильевичъ избралъ для своей службы иностранную коллегію *). Онъ явился съ просьбой объ этомъ къ вице-канцлеру графу Никитѣ Петровичу Панину **). Панинъ принялъ его холодно, но вѣжливо, сказалъ, что въ иностранной коллегіи много сверхкомплектныхъ, и совѣтовалъ поступить на службу гдѣ-нибудь на югѣ, для возстановленія своего разстроеннаго здоровья.

Поступить въ иностранную коллегію Василія Васильевича не допустили. Въсто этого Петръ Богдановичъ предложилъ ему ѣхать съ графомъ Марковымъ въ Парижъ, въ качествѣ совѣтника посольства. Не довѣряя совѣтамъ дяди, Василій Васильевичъ отказался, сказалъ, что прежде всего желаетъ привести въ ясность и порядокъ свои дѣла по наслѣдству послѣ отца, и попросилъ дядю сдѣлать надпись на завѣщаніи: что Василій Васильевичъ дѣйствительно сынъ Василія Богдановича и наслѣдникъ, о которомъ сказано въ завѣщаніи. Дядя напелъ, что такое показаніе будетъ противорѣчить его прежнимъ показаніямъ, и сказалъ: «Я уже все приготовилъ для тебя, какъ второй отецъ, и хочу сдѣлать тебѣ сюрпризъ. Я подаю государю прошеніе; волею моею, въ ономъ изображеніи, ты будешь доволенъ». Василій Васильевичъ поклонился. Въствъ съ этимъ Петръ Богдановичъ предложилъ племяннику подписать составленную имъ домашнюю сдѣлку. Василій Васильевичъ отказался и пересталъ бывать у дяди. Нѣкоторые изъ вельможъ, какъ-то: графъ Самойловъ, сенаторъ Козодавлевъ, генералъ-маіоръ Чичеринъ, вице-президентъ военной академіи Ламбъ и другіе старались склонить Петра Богдановича раздѣлаться съ племянникомъ по-родственному, но—безуспѣшно.

Въ Петербургѣ Василій Васильевичъ узналъ, что въ архивѣ тайной экспедиціи находятся важныя бумаги на право полученія его собственности. Онъ попросилъ генералъ-прокурора Беклешова дать ему съ этихъ бумагъ копии со скрѣпою. Беклешевъ отказалъ. Василій

*) «Рус. Арх.» стр. 6797.

**) Сынъ Петра Ивановича Панина и Маріи Родіоновны Ведель, двоюродной сестры В. В. Пассека.

Васильевичъ настоялъ и получилъ. «Изъ этихъ бумагъ открылъ я,—говоритъ Василій Васильевичъ:—что докладъ императору Павлу I-му, по объясненію моему съ дядей, былъ сдѣланъ Беклешовымъ и единственно въ выгодахъ дяди. Мои доказательства были всѣ пропущены».

Императоръ Павелъ, повидимому, дѣло это потребовалъ къ себѣ, прочиталъ какъ дѣло, такъ и завѣщаніе, и 1-го августа 1799 года высочайшимъ повелѣніемъ приказалъ завѣщаніе Василя Богдановича утвердить, называя его завѣщаніемъ, а не письмомъ.

Получивши копію съ этого дѣла за скрѣпою и вмѣстѣ съ копіей завѣщаніе своего отца, Василій Васильевичъ сдѣлалъ изъ дѣла экстрактъ, представилъ его нѣсколькимъ особамъ, занимавшимъ первыя мѣста въ имперіи, и намѣревался просить Государя, чтобы онъ высочайше повелѣлъ повелѣніе своего родителя отослать въ правительствующій сенатъ для введенія его, вслѣдствіе онаго, во владѣніе всего родительскаго наслѣдства и во всѣ его права; такъ какъ императоръ Александръ I утверждалъ всѣ дѣла по имѣніямъ, оконченныя въ прошедшее царствованіе, то благоволилъ бы утвердить и повелѣніе его родителя, которымъ Василій Васильевичъ признанъ сыномъ своего отца, а завѣщаніе сего послѣдняго завѣщаніемъ, несмотря на выходки Петра Богдановича противъ акта, который онъ называлъ простымъ письмомъ и скрывалъ болѣе 20-ти лѣтъ.

Сверхъ этого за нимъ были и другія права: отецъ Василя Васильевича, скончавшійся въ 1778 году, оставилъ формальное завѣщаніе, въ которомъ сказано, что онъ всѣ имѣнія свои предоставляетъ своему сыну-наслѣднику, чего въ продолженіе двадцати лѣтъ ни родные братья, никто изъ родныхъ его отца не опровергалъ и ни спора, ни явокъ не подавалъ; въ 1787 году завѣщаніе это было узаконено, иски же, не оглашенные въ продолженіе десяти лѣтъ, считаются недействительными.

По вступленіи въ совершеннолѣтіе, десятилѣтней давности Василій Васильевичъ не пропустилъ.

По всѣмъ этимъ даннымъ Петръ Богдановичъ принужденъ бы былъ возвратитъ племяннику своему все его

имѣніе, но онъ нашель средство этого не допустить. При самомъ восшествіи на престолъ государя Александра Павловича, онъ подалъ всеподданнѣйшее прошеніе, которымъ просилъ дать Василю Васильевичу Пассеку, называя его Пассковымъ, воспитанникомъ его брата, гербъ и фамилію Пассековъ (тѣмъ Василій Васильевичъ и безъ того всегда пользовался), представляя его прощеннымъ и освобожденнымъ изъ динаминдской крѣпости и повергая прошеніе къ престолу монарха, просилъ объ утвержденіи за нимъ вмѣстѣ съ именемъ и гербомъ Пассековъ и принадлежащаго ему имѣнія въ Украинѣ, села Ниталково и слободы Спасской, составлявшихъ часть невозвращеннаго еще Василю Васильевичу имѣнія отца, какъ своего собственнаго. Вмѣстѣ съ этимъ возлагалъ на него обязанности, дѣлавшія его почти приказчикомъ этого имѣнія.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1801 года, на прошеніе, поданное Петромъ Богдановичемъ императору, послѣдовало утвержденіе, и Василій Васильевичъ поѣхалъ въ свое украинское имѣніе. Домъ онъ нашель въ ветхомъ положеніи, винокурню разрушенной, лучшій скотъ и конскій заводъ перегнаннымъ въ имѣніе дяди. Не нашлось ни мебели, ни библиотеки, ни серебра, ни посуды—все было увезено. Большая часть прислуги и дворовыхъ была переведена на Бугъ и на Маяцкую засѣку, въ домъ Петра Богдановича.

Василій Васильевичъ, по освобожденіи изъ крѣпости и по объявленіи его невинно пострадавшимъ, въ вознагражденіе за что былъ переименованъ изъ майоровъ въ надворные совѣтники, рѣшился доказать передъ государемъ императоромъ, что прошеніе Петра Богдановича противно истинѣ, противно совѣсти, законамъ и высочайшему повелѣнію 1799 года.

Петръ Богдановичъ, имѣя въ виду возможность такого протеста и понимая, что онъ приметъ свою силу и какія могутъ быть послѣдствія такого протеста, сталъ искать повода племянника погубить. Случай скоро представился. Вслѣдствіе невиннаго участія, принятаго Василіемъ Васильевичемъ въ судьбѣ дѣтей двоюроднаго брата его, князя Дмитрія Константиновича Кантеміра, онъ былъ сосланъ на поселеніе въ Тобольскъ, гдѣ и продержали его около двадцати лѣтъ.

Послѣ Василя Васильевича, кромѣ нѣсколькихъ записокъ изъ его жизни, осталась краткая выписка изъ его оправданій, подѣ которой имъ означено: Екатеринбургъ, 1825 годъ, Василій Пассекъ, возвращающійся на родину свою. Въ этой запискѣ онъ называетъ себя: Василій-Оливье Пассекъ.

ГЛАВА XXXV.

Въ селѣ Спасскомъ.

1836.

Привѣтствую тебя, смиренный уголокъ.

Въ глубокую осень мы переѣхали изъ деревни въ Харьковъ, въ домъ Ковалевского.

Мы ожидали въ скоромъ времени второго младенца. Вещи наши еще везли изъ Спасскаго; въ квартирѣ было пусто, не устроено, только въ кабинетѣ Вадима стоялъ небольшой столъ, диванъ и два стула, да на полу лежалъ напгъ пуховикъ съ подушками, одѣяломъ и простынями.

Я постоянно тревожилась, чтобы не повторилось прежнее несчастіе съ ожидаемымъ ребенкомъ, это разстраивало мнѣ нервы, и я каждую минуту готова была плакать. Въ тяжеломъ настроеніи духа я легла спать и въ слезахъ заснула. Къ утру мнѣ приснилось, будто я стою въ небольшой продолговатой бревенчатой комнатѣ, подлѣ изразцовой печи съ голубыми каемочками и такими же узорами, противъ меня, въ концѣ комнаты, у единственнаго окна стоитъ бѣлый сосновый столикъ, подлѣ него деревянный стулъ, а за нимъ небольшая затворенная дверь... Комната простотой и устройствомъ, какъ мнѣ казалось, походила на монашескую келью. Подъ вліяніемъ того же чувства, съ которымъ я заснула, и во снѣ, стоя у печки, я плакала, какъ, оглянувши комнату, увидала за стуломъ старца въ святительской

одеждѣ. Меня удивило, откуда онъ взялся, такъ какъ комната была пуста. Старецъ стоялъ, устремивъ на меня строгій, пронизательный взоръ, и сталъ медленно ко мнѣ приближаться. Я робко ожидала его. Подойдя ко мнѣ, онъ сказалъ тихимъ голосомъ, съ отъѣнкомъ упрека: «Въ тебѣ нѣтъ ни вѣры, ни упованія,—зачѣмъ такое отчаяніе,—ты родишь сына, Божія милость и мои молитвы будутъ надъ нимъ». Съ этими словами коснулся меня рукой. Въ то же мгновеніе тоски моей какъ не бывало, я счастливо улыбнулась—и пробудилась.

Было утро. Вадимъ, увидавши, что я не сплю, спросилъ меня: «Что съ тобой, чему ты во снѣ улыбаешься?» Я рассказала ему свой сонъ. «Не знаешь ли, кто это былъ?—сказалъ Вадимъ:—надобно бы отслужить ему молебень».—«Не знаю,—отвѣчала я:—такого лица не видала ни на одномъ образѣ».

На другой день привезли наши вещи, разобрали, разложили по мѣстамъ и всѣ комнаты привели въ порядокъ. Войдя въ залу, я увидала въ углу на стѣнѣ довольно большой образъ безъ ризы, на немъ былъ изображенъ старецъ въ святительской одеждѣ. Взглянувши на него, я вскрикнула: «Вадимъ! вотъ кого я видѣла во снѣ!» Вадимъ вышелъ изъ кабинета, говоря: «Что ты такъ кричишь?»—«Смотри, вотъ кого я видѣла во снѣ,—повторила я, указывая на образъ:—кто это?»—«Не знаю,—отвѣчалъ Вадимъ:—и откуда взялся этотъ образъ?»—Разспросивши прислугу, узнали, что это образъ святителя Митрофанія, привезенъ изъ Воронежа братомъ Евгеніемъ, стоялъ въ нежилой половинѣ деревенскаго дома, а они разсудили лучше привезти его къ намъ. Мы были поражены такимъ совпаденіемъ со сномъ. Объ открытіи мощей свят. Митрофанія мы знали, но мало интересовались этимъ. Быть-можетъ, незамѣтно что-нибудь и оставило во мнѣ впечатлѣніе.

28-го февраля 1836 года, въ 10 часовъ вечера, у насъ родился сынъ Александръ, здоровый, прелестный мальчикъ. Съ благодарной молитвой къ небу, съ слезами радости, я благословила новорожденного и поручила его молитвамъ свят. Митрофанія.

Никакая музыка не можетъ доставить того наслажденія, какое даетъ матери первый крикъ ея ребенка. Младенческій голосъ, вдругъ раздавшійся среди жизни и

смерти, отзываясь до глубины души ея и заставляя забыть все, кромѣ счастья, что она мать.

Тотъ пойметъ, что такое мать, кто видѣлъ первый, измученный взоръ матери, устремленный на новорожденного младенца; кто видѣлъ, какъ она слѣдитъ за первыми шагами его, какъ вслушивается въ первые слова его; какія страшныя минуты переживаетъ у его болѣзненной постели, какъ принимаетъ послѣдній вздохъ своего дитяти. Время горе отца лѣчить, — мать время не лѣчить. На матери остается навсегда слѣдъ чего-то неисправимо разбитого.

Любовь материнская рождается вдругъ во всей своей безконечности и переноситъ женщину за границы природы, превращая мученія въ радость, лишенія въ наслажденія. И это не случайно, не временно, а постоянно и безъ конца. Время этой любви не касается; оскорбленія не убиваютъ; старость не охлаждаетъ. Для этой любви нѣтъ ни прогресса, ни регресса. Она отъ перваго дня страданія матери и до ея послѣдняго дыханья — одна и та же. Материнская любовь женщину воспитываетъ и просвѣтляетъ. Любовь материнская — сердце всего человѣчества.

Наука доказала физическое вліяніе матери на ребенка, нравственная роль поднимаетъ ее еще выше. Во всѣ времена съ званіемъ матери женщины давалось больше правъ человѣческихъ, наконецъ, допустили ее участвовать въ воспитаніи и въ устройствѣ судьбы дѣтей ея, несмотря на то, что противъ воспитанія дѣтей матерями долго и сильно возставали.

Воспитаніе материнское доказало, что любовь помогаетъ понимать, въ чемъ состоитъ дѣйствительное воспитаніе.

Безкорыстная преданность матери стремится не подавить слабого, но сдѣлать его сильнымъ. Она, развивая въ немъ не только то, что ихъ сближаетъ, но и то, что ихъ различаетъ, инстинктивно хранить его своеобразность, вызывая къ жизни все, что природа дала ему на крестъ. Чужой пощадить ли то, что каждый приноситъ съ рожденіемъ, напротивъ, то, что дѣлаетъ человѣка не похожимъ на другихъ — колетъ глаза. Сохранить въ человѣкѣ святую искру своеобразно-

сти возможно только Богу и матери. Въ этомъ мать сливается съ Богомъ.

Когда дитя преждевременно разлучаютъ съ матерью, чтобы воспитывать вдали отъ нея, какъ она плачетъ! На это не смотреть. Въ этихъ слезахъ видятъ слабость—напрасно! Слезы эти показываютъ, что ребенокъ еще нуждается въ ней. Инстинктъ матери вѣренъ. Онъ заслуживаетъ уваженія.

Напрасно бояться, что сынъ, оставаясь долго при матери, сдѣлается женоподобенъ. Мать приноровляется къ сыну, обновляется въ этой новой для нея жизни. Факты показали, какъ правильно, слѣдовательно и законно, воспитаніе дѣтей матерью. Вотъ что сказалъ нашъ поэтъ, вспоминая мать свою:

«И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носилъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты—
О, мать моя! подвинуть я тобою!
Во мнѣ спасла живу ю душу ты...»

Великіе люди были воспитаны матерями.

Пусть не повторяютъ истертаго проклятiя ослѣпленiю материнской вѣжности! Ничто такъ не зорко, какъ любовь матери. Она видитъ недостатки, но молчитъ и старается исправить.

Пусть не говорятъ о материнской слабости! Матери слабой нѣтъ. Слабость тамъ, гдѣ чувство мѣшается съ тщеславіемъ.

Ребенокъ нуждается въ матери гораздо дольше, нежели думаютъ, и напрасно торопятся сокращать время отрочества и первой юности. Это лучшія эпохи жизни. Ребенокъ—свободный, подъ взоромъ матери — живетъ подъ благодатью. Духъ пробуетъ свои силы, купается въ любви и расправляетъ крылья для полета.

Опасно ввѣрять слабое, гибкое существо чуждому руководству. Лучшіе руководители, слишкомъ налегая, могутъ такъ согнуть его, что онъ никогда не выпрямится. Свѣтъ полонъ людей, на которыхъ неизгладимо легла печать рабства, отъ того, что несли тяжесть не по силамъ.

Приобрѣтеніе знаній не вознаграждаетъ утраченнаго;

отъ слишкомъ ранней массы внѣшняго приобрѣтенія—теряется внутреннее. Является математикъ, географъ, лингвистъ, а человѣкъ утрачивается.

Мать человѣкомъ-то и дорожить въ ребенкѣ.

Она какъ бы перестаетъ наблюдать и дѣйствовать, чтобы онъ дѣйствовалъ самостоятельно, а между тѣмъ невидимо окружаетъ его собой.

Опасность въ одномъ—дѣтскій эгоизмъ можетъ принять за должное безграничное самоотверженіе любви и дѣйствовать тѣмъ меньше, чѣмъ больше дѣйствуютъ за него. Опасность эту перевѣшиваетъ горячее желаніе пользы и славы своему ребенку. Мать возлагаетъ безконечныя надежды на свое дитя и стремится осуществить ихъ. Она готова разстаться съ любимымъ сыномъ для его счастья, а сама остается въ тоскѣ и безпокойствѣ.

Но вотъ онъ возвращается; какая переменѣна! Гдѣ юноша, съ которымъ она разсталась, рыдая? Передъ ней самостоятельный мужчина. Онъ ищетъ любви, спѣшитъ жениться. Въ періодъ страсти мать въ сердцѣ дѣтей занимаетъ едва замѣтное мѣсто. А для нея дитя ея все. Она любитъ то, что любитъ онъ, она счастлива его счастьемъ и хочетъ одного, чтобы не позабыли ее.

Вліяніе матери не прекращается, хотя, повидимому, она и въ сторонѣ. Все посѣянное ею въ душѣ человѣка проникаетъ цѣлую жизнь его и связываетъ съ нею неразрывно. Нерѣдко взрослый сынъ приходитъ искать отдыха въ тѣхъ же объятіяхъ, въ которыхъ покоилось его дѣтство. Рука матери ласкаетъ взрослое дитя съ той же нѣжностью, съ какой качала колыбель его. Успокаивая его, она говоритъ: «дитя мое»,—противоположность факта и слова глубоко трогательна. Мать возвращаетъ ему силу и бодрость, онъ идетъ отъ нея возрожденный.

Чѣмъ дальше человѣкъ поступаетъ въ жизнь, тѣмъ больше и больше выступаютъ передъ нимъ давно забытыя слова, нѣжныя совѣты, предупредительность. И какъ ни будутъ окружать человѣка: любовь, дружба, слава, восторги жизни, въ душѣ его съ каждымъ днемъ все живѣе и отраднѣе будетъ вставать образъ матери.

«Большое чувство! его до конца
Мы живо въ душѣ сохраняемъ,
Мы любимъ сестру, и жену, и отца,
Но въ мукамъ мы мать вспоминаемъ».

Цѣну матери выполнѣ чувствуютъ тогда, когда ее теряютъ.

У меня начиналась горячка, мнѣ совѣтовали взять къ ребенку кормилицу. Я согласилась. Для выбора кормилицы привезли изъ деревни нѣсколько женщинъ съ грудными дѣтьми. Онѣ по одиночкѣ робко входили ко мнѣ въ спальную, и на мой вопросъ, хочетъ ли она кормить мое дитя, каждая отвѣчала: «Это какъ вамъ угодно будетъ, пани, воля ваша, только въ дому у насъ некому ни за хозяйствомъ присмотрѣть, ни дитяну годоватъ». У меня родилось въ душѣ глубокое чувство жалости ко всѣмъ, у кого были дѣти, и я не взяла въ кормилицы ни одной изъ привезенныхъ женщинъ, ни одну не разлучила ни съ ея домомъ, ни съ ея малюткой. Всѣхъ отпустила съ Богомъ домой.

Вскорѣ нашла женщину, сама пожелавшая поступить къ намъ въ кормилицы. Это была молодая солдатка изъ нашего же села Спасскаго, куда она отдала свою дочь на грудь къ родной сестрѣ своей, у которой умеръ ребенокъ.

Въ девятый день по рожденіи моего Саши мы получили письмо отъ одной родственницы, только-что возвратившейся изъ Воронежа, и при письмѣ маленький образокъ св. Митрофанія для новорожденнаго.

Этотъ образокъ онъ всегда носилъ на шеѣ.

Когда, спустя много лѣтъ, тѣло моего Саши было привезено изъ-за границы въ Москву, — съ образомъ св. Митрофанія его встрѣтили на желѣзной дорогѣ, проводили въ Симоновъ монастырь — и оставили его тамъ при немъ въ церкви. Боже мой! какъ я сама не осталась тамъ же!

Недѣли черезъ двѣ по рожденіи Саши мы получили письма отъ родныхъ изъ Москвы, въ которыхъ они извѣщали насъ о возвращеніи правъ дворянства семейству Пассекъ и поздравляли съ этимъ.

«Поздравляю васъ, мои друзья, — писала матушка, — особенно моего Сашу. Богъ васъ, мои друзья, сохрани и благослови, васъ душевно любящая мать Екатерина Пассекъ».

«Милые друзья Таня и Вадимъ! Поздравляю васъ съ возвращеніемъ правъ дворянства нашему семейству и обнимаю васъ. Братъ вашъ Егоръ Пассекъ».

«Поздравляю васъ, друзья мои, съ общей нашей радостью. Поцѣлуйте за меня милаго Сашу и поздравьте отъ меня. Ваша сестра Ольга Пассекъ».

«Прошу съ нами не шутить, и мы теперь дворяне. Право, я за васъ не такъ рада, какъ за Сашу. Ваша сестра Людмила».

Возвращеніе правъ дворянства Пассекамъ совпало съ окончаніемъ процесса князей Шаховскихъ съ графиней Булгаріи. Князья Шаховскіе процессъ выиграли. Пользуясь возвращенными правами, одинъ изъ братьевъ Пассекъ—Василій Васильевичъ, по возрасту своему еще не утратившій права иска на кантеміровское имѣніе, какъ не пропустившій сроковъ, подалъ прошеніе, въ которомъ заявилъ свои права на выигранное князьями Шаховскими имѣніе и просилъ наложить на него запрещеніе. Вслѣдъ за Василиемъ Васильевичемъ подалъ такое же прошеніе и меньшей братъ его Вячеславъ Васильевичъ. Запрещеніе было наложено. Начался новый процессъ между князьями Шаховскими и Пассеками и продолжался около десяти лѣтъ.

Процессъ этотъ будетъ помѣщенъ сокращенно въ послѣдующихъ главахъ моихъ записокъ, а пока обращусь къ нашей жизни въ это лѣто въ селѣ Спасскомъ.

Лѣто стояло красное.

Каждое утро я съ кормилицей и Сашей отправлялась въ садъ, гдѣ было пропасть тѣни и прохлады. Кормилица везла въ повозочкѣ дитя; съ одной стороны повозки шла я, съ другой бѣжала Зюльма. Мы забирались въ густую группу кленовъ и тамъ, подъ завѣсой вѣтвей у скамеечки, останавливались.

Ребенокъ засыпалъ. Я съ книгой или работой помѣщалась на скамейкѣ; вѣрная Зюльма ложилась подлѣ повозочки и чутко стерегла дитя. Въ воздухѣ была такая тишина, что даже прозрачные, легкіе листочки кленовъ не трогались... Иногда послѣ полуденнаго зноя мы съ повозочкой выѣзжали изъ сада въ степь. Что за роскошь! Густая, высокая трава, подернутая миллионами цвѣтовъ; надъ нею свистить и трещить цѣлый міръ насѣкомыхъ; тамъ жаворонокъ взвился въ высоту; тутъ

луговка выпорхнула изъ травы, гдѣ у нея таятся гнѣздо, и старается отвлечь васъ отъ него, отдаляясь съ жалобнымъ крикомъ, перевертываясь въ воздухѣ. Вдали, среди посѣвовъ пшеницы и проса, чернѣетъ широкій шляхъ. Въ сторонѣ стелятся плетни арбузовъ, дынь, огурцовъ, тыквы на бакчѣ; изъ-за золотистыхъ подсолнечниковъ и мохнатой кукурузы виднѣется курень дида-сторожа; случалось, мы добирались до куреня—и отдыхали тамъ на заваленкѣ. Дидъ живетъ на бакчѣ одинъ-одинехонекъ съ собакой и самъ варить себѣ въ котелкѣ, укрѣпленномъ надъ небольшой ямой, замѣняющей печь,—галушки съ саломъ. За то онъ имѣетъ право и на зеленые огурцы, и на лучшій арбузъ, и на дыню. Мирный характеръ бакчи, огорода и пчельника рождаетъ во мнѣ самое спокойное настроеніе духа.

Когда передъ Ивановымъ днемъ загорѣлись ивановскіе червячки, мнѣ вспомнилось мое дѣтство и Карповка среди глухого бора; я попрежнему набрала свѣтящихся насѣкомыхъ, положила въ стеклянныя баночки и поставила въ комнатахъ. вмѣсто поисковъ таинственнаго цвѣтка папоротника, въ ночь на Ивановъ день мы ходили смотрѣть, какъ дѣвчата прыгаютъ черезъ огонь. Въ своихъ короткихъ запасахъ, босикомъ, въ густыхъ вѣнкахъ изъ длинныхъ, гибкихъ травъ, треплющихся по ихъ лицамъ, онѣ походили на русалокъ. Съ купальскими пѣснями, взявшись за руки, дѣвчата живо ходили кругомъ пылающаго костра соломы; кругъ разрывался, и одна за другой съ разбѣга прыгали черезъ огонь.

Во время сѣнокоса по вечерней зарѣ, косари перепѣвались. Изъ-за Донца пѣли куплеты парубки, имъ отвѣчали съ противоположнаго берега дѣвчата другимъ куплетомъ той же пѣсни. Мы заслушивались этихъ пѣсенъ.

Народная пѣсня близка сердцу не только того народа, изъ котораго она истекаетъ, но близка и понятна каждому человѣку; въ ней страна, климатъ, нравы, обычаи, исторія, умственный ростъ и духъ народа. Въ русской пѣснѣ—шумитъ дубрава зеленая, стелется раздолье широкое, у воротъ стоитъ дѣвко въ хороводѣ,—во чистомъ полѣ снѣга забѣлѣлись, летитъ тройка, ямщикъ поетъ—и родная пѣсня захватываетъ душу. Въ пѣснѣ швейцарца—горы, обрывы, мелькаетъ серна, звучитъ рожокъ пастуха, звенятъ колокольчики стада. Баркаролла

укачивается на волнахъ, скользить по водѣ гондола, ночь, луна, и льется пѣсня, полная тайны, нѣги и любви. Эти пѣсни уносятъ на родную сторону; а есть пѣсни, которые уносятъ въ даль исторіи.

Народная пѣсня — это исходная точка музыкальнаго свойства духа человѣческаго, это юность народовъ. Съ ростомъ народа растетъ и музыка, долго не утрачивая своей своеобразности. Поднявшись до полного развитія, она сливается въ одинъ божественный гимнъ всѣхъ народовъ. Эти пѣсни уносятъ въ небо.

Въ половинѣ лѣта Вадимъ уѣхалъ въ Кіевъ, желая видѣть Малороссію въ самомъ сердцѣ ея. Изъ его путевыхъ записокъ видно, какое чувство возбуждала въ немъ эта страна.

Въ очеркахъ Россіи явились его описанія Кіево-Печерской обители, Златые врата и другія, съ снятыми съ нихъ видами. Въ отсутствіе Вадима меня посѣтилъ старшій Нестеровъ изъ Сороковки съ двумя дочерьми и хвалился талантами старшей дочери — Гапочки: она смѣло правила лошадьми, ловко гребла въ лодкѣ веслами, играла на гитарѣ и пѣла. Послѣ обѣда Гапочка предложила пропѣть и сыграть на гитарѣ. Гитара нашлась у нашего писаря Григорія Туза; онъ дорожилъ гитарой и далъ неохотно.

Григорій Тузъ былъ романтикъ, лѣтъ 26, средняго роста, съ рѣдкими, длинными свѣтлорусыми волосами, весь въ веснушкахъ и до того худой, что нанковый сюртукъ, когда-то гороховаго цвѣта, болтался на немъ, какъ на вѣшалкѣ. Романтичность Туза выражалась туманнымъ, задумчивымъ взоромъ и страстью къ пѣнію и музыкѣ. Онъ каждый вечеръ садился на крылечкѣ конторы съ гитарой въ рукахъ, бралъ томные аккорды и когда впадалъ въ грустное настроеніе, то пѣвалъ:

«Вѣютъ вѣтры, вѣютъ буйны, ажъ деревья гнутся,
Ой какъ болитъ мое сердце, а слезы не льются...»

Или:

«Стоитъ яворъ надъ водою, въ воду похилився,
На казака невзгодонька, казакъ зажурился.»

Если слышалось:

«Солнце низенько, вечеръ близенько.
Выйде до мене, мое серденько.»

значило — Тузъ настроенъ чувствительно.

Въ индифферентномъ состояніи духа онъ небрежно садился на крыльцо, бойко брялчалъ на гитарѣ и развязно пѣлъ:

Удовіцію я любивъ,
Подарункъ ей носивъ,
Носивъ сало, носивъ свѣчки,
Носивъ мило, носивъ стрічки,
Носивъ просо, носивъ макъ,
Ось було якъ.

Носивъ жито і пшеницю,
Кукурузу, чачавіцю,
І качата, і курчата,
Індючата, поросята,
Носивъ таки грошенята
За чортові бровенята,
Ось було якъ.

А разъ таке теля приперъ,
Пока донісъ, трошки не вмеръ,
А вона-жъ мѣне зрадила
Тай паньча полюбила.
Ну, не хай бы было за що,
А то тамъ таке ледаще,
Що—тільки тѣфу!

О! теперъ я ходитиму
На все село гукатиму:
Виддай сало, виддай свѣчки,
Виддай мило, виддай стрічки,
Виддай просо, виддай макъ,
Ось тобі якъ.

Виддай жито і пшеницю,
Кукурузу, чачавіцю,
І качата, курчата,
Індючата, і поросята
І все та що ти поїла
Виддай мѣне усе ціло,
Ось тобі що!

Вадимъ возвратился въ августѣ—въ пору воробьиныхъ ночей.

Это грозы страшныя. Синеватыя молніи раскроютъ полнеба, да такъ и стоятъ нѣсколько минутъ, съ громомъ и проливнымъ дождемъ, а иногда и безъ грома—тогда еще страшнѣе.

Въ августѣ Луиза Ивановна писала мнѣ:

«Другъ мой Танхень! Вѣроятно, ты пожелаешь добра

намъ больше, чѣмъ другимъ наслѣдникамъ. Здоровье Ивана Алексѣевича замѣтно слабѣетъ, поэтому онъ желаетъ скорѣе продать Васильевское, чтобы вполнѣ обезпечить насъ, покупщики есть, только безъ принадлежащей тебѣ части никто не соглашается купить. Ты знаешь упорство деръ-гера—уступи ему твою часть за то, что онъ предложитъ. Конечно, настоящей цѣны онъ не дастъ. Мы даемъ тебѣ слово, какъ получимъ наслѣдство, доплатить тебѣ все, что по-настоящему слѣдуетъ за твою часть *). Луиза Гаагъ».

Въ отвѣтъ на это письмо я послала полную довѣренность на имя Григорія Ивановича Ключарева, на продажу моей части въ Васильевскомъ. Иванъ Алексѣевичъ далъ мнѣ за все 3.000 руб., втрое меньше стоимости, которые и были высланы мнѣ немедленно. Васильевское купилъ Николай Павловичъ Голохвастовъ за 400.000 асс., уплатилъ 290 тысячъ, а остальныхъ 110 тысячъ не могъ. Изъ-за этого у него вышла съ дядею неприятность, и они перестали видаться.

Такъ какъ Вадимъ, сверхъ своихъ научныхъ занятій, наблюдалъ и за хозяйствомъ, это задержало насъ въ деревнѣ чуть не до зимы. Изучая языкъ и жизнь народа, Вадимъ постоянно сближался съ нимъ по деревнямъ; записывалъ повѣрья, сказки, пѣсни; срисовывалъ виды, земледѣльческія орудія, домашнюю утварь, одежду; бывалъ на ихъ празднествахъ и сельскихъ ярмаркахъ, такъ любимыхъ малороссами. На эти ярмарки съѣзжаются не только что крестьяне, но поднимаются дворовые люди и хуторяне-помѣщики.

Въ осенніе вечера бывали мы на свадьбахъ и на вечерницахъ. На вечерницахъ сберутся въ одну хату дѣвчата съ гребнями, веретенами, съѣстными запасами, изъ которыхъ хозяйка дома стряпаетъ имъ ужинъ, — заляются пѣсни, напранутъ парубки съ музыкой, пойдеть

*) По полученіи наслѣдства, Егоръ Ивановичъ далъ мнѣ 1.000 р., а Луиза Ивановна 700. Она съ семействомъ уѣзжала за границу и обѣщала по возвращеніи въ Россію, что слѣдуетъ, мнѣ доплатить; но за границей кончила жизнь. Спустя нѣсколько лѣтъ я видѣла въ Англіи Саму; онъ далъ мнѣ 700 руб., которые я просила его одолжить мнѣ взаимы, и сказалъ, чтобы я дала 100 рублей Вѣрѣ Артамоновѣ, а 600 оставила въ счетъ слѣдующаго еще мнѣ за мою часть въ Васильевскомъ.

говоръ, смѣхъ, танцы, вихремъ несется мятелица, тѣсно въ хатѣ—во дворѣ; дробно выбираютъ ногами дивчата козачка; бойко стучать каблуками парубки гонакъ и, присѣдая, выкидываютъ ногами на вихрь разныя штуки, а въ печи пылаетъ солома, кипятъ борщъ и галушки, и пахнетъ въ хатѣ горячими паляницами.

— Нѣтъ,—говорили мнѣ бабуси *), слыша, что мы бывали на вечерницахъ,—нѣтъ, теперь не то, что въ наше время; что это за вечерницы, теперь и парубки не тѣ: бывало, идутъ парубки на вечернигу, ажъ хата трясется; дверь въ хату не отворять, а напрутъ плечомъ, такъ вонь и высадятъ. Теперь—лядащи.

Когда осыпались съ деревьевъ листья, пріѣхалъ въ Спасское братъ Егоръ Васильевичъ. Онъ прожилъ съ нами всю осень; ходилъ съ Вадимомъ на охоту и посѣщалъ Хорвата. Однажды, позднимъ вечеромъ, возвращаясь отъ Хорвата, они едва не погибли въ метели. Ожидая ихъ, я не отходила отъ окна. Ночь была мѣсячная. Смотря въ окно, я замѣтила, что легкій вѣтерокъ какъ бы подметаешь съ земли снѣговую пыль; пыль эта, подъ лучами мѣсяца, сверкая мельчайшими искрами, поднималась вверхъ и точно воздушной дымкой завѣшивала все пространство. Мало-по-малу вѣтерокъ превратился въ вѣтеръ, зашумѣлъ, засвисталъ, взметая массы крутящагося снѣга, проникалъ имъ алмазную завѣсу и скрылъ мѣсяцъ и всѣ предметы до того, что кромѣ блестящаго, густого бѣлаго пара ничего не было видно.

Съ любопытствомъ всматриваясь въ совершившееся передо мною, я не предполагала въ этомъ ничего опаснаго, какъ ко мнѣ вошелъ приказчикъ Петро и встревоженнымъ голосомъ сказалъ: «Заверюха началась, по нашему вьюга, у околицы не попадешь на дорогу, не прикажете ли послать панамъ навстрѣчу людей съ огнемъ?» Я перепугалась, хотя не понимала еще всей опасности метели, и заторопила сборами. Въ десять минутъ все было готово. Человѣкъ пятнадцать съ зажженными фонарями и лучинами, верхомъ на лошадяхъ, отправились по дорогѣ къ Салтову; дорогу замело, они ѣхали наудачу, не отдаляясь другъ отъ друга, выкликая

*) Бабушки.

по имени господъ и кучера, поѣхавшаго съ ними. Ихъ отыскали часа черезъ два, сбившихся съ пути верстахъ въ двухъ отъ Спасскаго, и всѣ вмѣстѣ добрались до дома.

Ожидая ихъ, я тревожно переходила отъ окна къ дверямъ, въ сѣни, на крыльцо, но, кромѣ непроницаемой снѣговой завѣсы, ничего не видя, съ замираніемъ сердца уходила въ комнаты и опять ждала, опять прислушивалась къ вѣтру, къ малѣйшему шороху. Услышавши звонъ колокольчика, сливавшійся съ свистомъ вѣтра, я выбѣжала на крыльцо въ ту минуту, какъ къ нему подкатили сани, окруженныя верховыми съ огнемъ, и изъ нихъ выбрались Жоржъ и Вадимъ, осыпанные снѣгомъ и морозной пылью.

ГЛАВА XXXVI.

Одесса.

1837—1838.

Тамъ долго ясны небеса,
Тамъ хлопотливо торгъ обильный
Свои подъемлетъ паруса;
Тамъ все Европой дышитъ, вѣетъ;
Все блещетъ югомъ и пестрѣетъ.

Переѣхавши въ Харьковъ, Вадимъ занялся окончательно собраніемъ статистическихъ свѣдѣній о Харьковской губерніи и привелъ ихъ въ систематическій порядокъ. Въ 1836 г., какъ Вадимъ, такъ и большая часть молодыхъ людей его круга, были причислены къ министерству внутреннихъ дѣлъ, въ статистическое отдѣленіе. Вадимъ считался откомандированнымъ въ Харьковскую губернію. Въ 1837 году онъ представилъ въ статистическое отдѣленіе министерства внутреннихъ дѣлъ сдѣланное имъ описаніе Харьковской губерніи съ планами и видами; оно было напечатано въ «Матеріа-

лахъ для статистики Россійской Имперіи». На югѣ вмѣстѣ съ статистикой Вадимъ занимался изслѣдованіемъ древностей, представилъ результатъ своихъ работъ Императорскому обществу исторіи и древностей, и былъ единогласно избранъ дѣйствительнымъ членомъ этого общества. Обозрѣвая и изслѣдуя городища и курганы, онъ осматрѣлъ большую часть укрѣпленій по рѣкамъ Дону, Удѣ, Можи, при вершинахъ Коломата и доставилъ въ Императорское общество исторіи и древностей Россіи отчетъ своихъ изслѣдованій вмѣстѣ съ составленными имъ картами расположенія насыпей и описаніемъ кургановъ и городищъ: Харьковскаго, Волковскаго и Ахтырскаго уѣздовъ. Кромѣ того, привезъ для московскаго университета три статуи или каменные бабы изъ степей Украины, замѣчательныя своей величиною и цѣлостью, съ какой сохранились до нашего времени.

По полученіи въ министерствѣ статистическихъ свѣдѣній о Харьковской губерніи, Вадиму дано было отъ министерства порученіе сдѣлать статистическое описаніе Таврической губерніи. Для этого необходимо было предварительно заняться въ Одессѣ разсматриваніемъ архива новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора, а затѣмъ уже приступить къ обозрѣнію и изслѣдованію самой губерніи.

Мы стали готовиться къ отъѣзду въ Одессу, но выбраться изъ Украины прежде лѣта не могли.

Зиму всю мы прожили въ Харьковѣ. Къ числу прежнихъ знакомыхъ нашихъ прибавилось знакомство съ Измаиломъ Ивановичемъ Срезневскимъ, занимавшимъ въ харьковскомъ университетѣ кафедру адъюнкта политической экономіи и статистики.

Несмотря на то, что Измаиль Ивановичъ былъ въ то время еще очень молодъ—онъ уже пользовался литературною извѣстностью по политической экономіи, статистикѣ, мѣстной старинѣ и народной словесности. Подъ его редакціей издавъ былъ: «Украинскій Альманахъ», гдѣ были помѣщены его два очень милыя стихотворенія: «Кленовый листокъ» и «Море»; имъ издавалась «Запорожская Старица», запорожскія пѣсни съ историческими примѣчаніями, малороссійскія пословицы и от-

рывки о малороссійскомъ народномъ философѣ старцѣ Григорѣ Савитѣ Сковродѣ.

Сходство научныхъ интересовъ скоро сблизило юнаго ученаго съ Вадимомъ, они стали видаться почти ежедневно, проводили цѣлые часы въ разговорѣ о предметахъ своихъ занятій, дѣлились впечатлѣніями, цѣлями и пріобрѣтенными ими свѣдѣніями.

Во время близкихъ отношеній съ Вадимомъ Измаиль Ивановичъ написалъ свой рассказъ «Маюръ, маїбрь», замѣштованный изъ жизни Сковроды, и читалъ намъ его еще въ рукописи. Къ намѣренію Вадима издавать очерки Россіи онъ отнесся съ самымъ жаркимъ сочувствіемъ и хотѣлъ быть постояннымъ сотрудникомъ. Въ очеркахъ Россіи была помѣщена его статья «О судѣ Любуши».

Обстоятельства, удалившія его изъ Харькова и изъ Россіи, помѣшали ему принять дѣятельное участіе въ изданіи Вадима, которое существовало только два года и прекратилось съ его кончиною.

При насъ Измаиль Ивановичъ написалъ диссертацию на степень доктора: «О содержаніи статистики и политической экономіи», въ которой проводилъ взглядъ, что статистика есть истинная наука, а политическая экономія—только собраніе знаній, не связанныхъ между собою никакой системой. Вслѣдствіе этого взгляда университетскій совѣтъ отказалъ ему въ публичной защитѣ его диссертациі. Тогда онъ уѣхалъ въ Петербургъ. Въ это время открывались въ нашихъ университетахъ кафедры исторіи и литературы славянскихъ нарѣчій; для приготовленія профессоровъ на эти кафедры, по распоряженію министерства народнаго просвѣщенія, отправлялись отъ университетовъ молодые люди за границу; въ числѣ ихъ, по распоряженію министра народнаго просвѣщенія, графа С. С. Уварова, отъ харьковскаго университета былъ отправленъ И. И. Срезневскій. Во время своего путешествія, которое молодой ученый совершалъ большею частью пѣшкомъ, онъ останавливался по преимуществу въ деревняхъ, чтобы быть ближе къ народу и такимъ образомъ ближе къ своей цѣли. Изучая народъ въ его образѣ жизни, онъ также изучалъ славянскія нарѣчія и литературу.

По возвращеніи изъ путешествія Измаиль Ивановичъ былъ назначенъ исправлять должность экстраординар-

наго профессора по кафедрѣ славянской филологіи въ харьковскомъ университетѣ, потомъ переведенъ въ петербургскій университетъ, гдѣ черезъ годъ занялъ ту же кафедру въ главномъ педагогическомъ институтѣ. Впослѣдствіи онъ достигъ званія ординарнаго академика, заслуженнаго профессора и сдѣлался извѣстенъ многими значительными статьями по предмету своихъ занятій. Въ настоящее время И. И. Срезневскій пользуется большою извѣстностью и уваженіемъ въ мірѣ наукъ и въ обществѣ.

Мы разстались съ Измаиломъ Ивановичемъ, всѣ еще юные, полные свѣжихъ, чистыхъ стремленій и надеждъ, и увидались спустя много лѣтъ въ Москвѣ, куда онъ пріѣхалъ къ намъ съ своей молоденькой дочерью. Затѣмъ, въ 1870 годахъ, встрѣтились въ вагонѣ на желѣзной дорогѣ, обнялись со слезами и вспоминали прошедшее. Ему одному удалось осуществить стремленія своей молодости.

Въ продолженіе этой зимы Вадимъ ѣздилъ въ Москву повидаться съ родными и писалъ мнѣ изъ Москвы почти каждый день. Между прочимъ, вотъ чтó онъ говорилъ о поѣздкахъ въ то время по Россіи:

«Рѣдкое время дорога отъ Харькова до Москвы бываетъ удобна, обыкновенно же или испорчена, или грязна до того, что лошади мѣстами тянутъ экипажъ шагъ за шагомъ. Зимой, пожалуй, и того хуже. Частыя метели заносятъ путь, обозы выбиваютъ такіе глубокіе, послѣдовательно идущіе ухабы, что поѣздка становится невыносима, медленна и утомительна до крайности. На станціяхъ безпрестанныя остановки, помѣщенія неудобны, верѣдко не достанешь куска порядочнаго хлѣба, необходимо торговаться за каждую чашку чая, за тарелку щей. На пріѣзжаго находитъ тоска, досада — рвется къ цѣли поѣздки и благословляетъ судьбу, достигнувъ домашняго пріюта. Какъ же при этихъ условіяхъ путешествовать по Россіи! Грустно! Ыдутъ по дѣламъ, ѣдутъ къ новой должности; въ лѣтніе мѣсяцы богатые семейства отправляются на Кавказъ, въ Одессу, купаться въ морѣ, къ минеральнымъ водамъ или для разсѣянія; ѣздить на богомолье въ монастыри и пустыни. Когда же составляются путешествія учеными обществами, то избранный путешественникъ пускается въ на-

значенныя мѣста, будто за тридевять земель, въ тридесѣтое царство, обставленныя придуманными пособіями на всевозможные случаи. Путешественники частные, единственно съ цѣлью путешествовать, чрезвычайно рѣдки.

«Не равнодушіе же это ко всему родному! Нельзя быть равнодушнымъ къ тому, что намъ мало извѣстно, когда не знаемъ, на что смотрѣть съ благоговѣніемъ, чему дивиться, чѣмъ гордиться, что любить. Конечно, эти страшно трудныя пути сообщенія большей частью виной недостаточности свѣдѣній о нашей народной жизни, о нашемъ отечествѣ, богатомъ и красотами, и разнообразіемъ природы, и народной славой, и народными бѣдствіями, обильномъ памятниками, полномъ своеобразной поэзіи... Вадимъ».

Въ этотъ годъ я первый разъ встрѣтила украинскую весну въ деревнѣ. Едва сталъ таять снѣгъ, изъ-подъ него полѣзли головки пролѣсокъ и распустились голубыми цвѣточками; какъ только снѣгъ сбѣжалъ, яркая зелень покрыла землю, по ней подернуло пунцовымъ воронцомъ, зацвѣли дикіе персики, яблони, вишни, груши осыпались такимъ множествомъ какъ снѣгъ бѣлыхъ цвѣтовъ, съ розоватымъ отливомъ зари, что между ними только кое-гдѣ виднѣлись крошечныя зеленые листочки. Нѣжный запахъ цвѣтущихъ деревьевъ сливался съ рѣзкимъ запахомъ чабреца, полыни и ароматомъ весеннихъ растеній степей. Садъ нашъ стоялъ весь пушистый отъ молоденькихъ листочковъ, изъ-за которыхъ, точно сквозь мелкую свѣтло-зеленую сѣтку, виднѣлись гибкія вѣтки деревьевъ. Воздухъ былъ полонъ пѣнія, свиста, чириканья, воркованья; соловьи пѣли день и ночь, чуть не въ комнатахъ,—не давали спать. Все это подъ глубокимъ, яхонтовымъ небомъ, днемъ ли, ночью ли, было Богъ знаетъ до чего хорошо. Въ эту же прелестную пору мы переѣхали опять въ Спасское, чтобы устроить разныя дѣла по хозяйству и пораньше отправиться въ Одессу. Подъ обаяніемъ окружавшей насъ красоты мы съ увлеченіемъ отдались жизни въ природѣ и съ сожалѣніемъ оставляли Спасское.

Незадолго до нашего отъѣзда, мы получили письмо отъ Саши. Онъ описывалъ намъ свой отъѣздъ изъ Москвы, впечатлѣнія по пути въ Вятку, новыя знаком-

ства и, между прочимъ, говорилъ, что передъ отъѣздомъ у него вышла непріятность съ нашимъ семействомъ, такъ глубоко огорчившая его, что онъ разорвалъ всѣ отношенія съ ними—и навсегда. Причины этой непріятности онъ не объяснялъ, жаловался на оскорбленія, полученные имъ въ лицѣ его матери; въ чемъ-то туманно оправдывался, чего мы вполнѣ не могли понять; говорилъ, что онъ находится въ глубокой тоскѣ, надѣется не жить долѣе тридцати лѣтъ, что порядочному человеку долѣе тридцати лѣтъ жить и не слѣдуетъ, и кончилъ тѣмъ, что такъ какъ мы непричастны его непріятностямъ съ нашими и если отъ него не отрекаемся,—то онъ попрежнему нашъ другъ.

Вадимъ отвѣчалъ Сашѣ, что мы ничего не слыхали о его непріятности съ нашими, просилъ объяснить, въ чемъ дѣло, что, можетъ, виной всего недоразумѣніе, и когда разъяснится, то не окажется и надобности прибѣгать къ такимъ крайнимъ, къ такимъ печальнымъ мѣрамъ.

Отвѣта на это письмо не было.

Вадимъ писалъ къ своимъ, спрашивалъ, какая это непріятная исторія была между ними и Александромъ.

Ему отвѣчали, что никакихъ исторій не было, была небольшая размолвка у Дюмида съ Луизой Ивановной, но она прошла безслѣдно, и они продолжали навѣщать Сашу до его отъѣзда изъ Москвы, проводили его и простились, какъ друзья.

Мы остались въ недоумѣніи,—подивились, да вскорѣ и думать перестали.

Съ этого времени отношенія Александра къ семейству Пассекъ, за исключеніемъ меня и Вадима, прекратились, и они уже никогда не видались больше.

Въ началѣ іюня мы отправили въ Одессу на своихъ лошадяхъ прислугу и вещи.

Вскорѣ поѣхали и сами, въ каретѣ, на почтовыхъ, съ нашимъ малюткой, его кормилицей и горничной дѣвушкой.

По пути отъ Харькова до Одессы мало встрѣчается селеній и еще меньше городовъ. Кругъ земли, чаша неба, вотъ и всѣ виды этихъ мѣстъ.

Зато отъ близости ли моря, отъ близости ли рѣкъ, или отъ стоячей въ ложбинахъ весенней воды, видѣли ми-

ражи. Вадимъ называлъ ихъ по-сибирски—марево. На закатѣ солнца глубокая тишина степи прерывалась шумными перелетами стрепетовъ, криками перепеловъ и дергачей. Заря охватываетъ весь просторъ, быстро гаснетъ, мгновенно наступаетъ ночь, и небо отъ краевъ земли до высшей глубины своей осыпается звѣздами.

Приближаясь къ Одессѣ, мы всматривались вдаль, отыскивая взорами Черное море, и видѣли только темно-синюю тучу на горизонтѣ, которая росла и росла, не измѣняя ни цвѣта, ни положенія, и слышался какой-то гулъ. «Это туча шумитъ,—говорили мы:—гроза будетъ съ градомъ. Туча страшная, не добратся намъ прежде грозы до моря, а тамъ недалеко и корчма, туча приближается». Разсуждая такимъ образомъ, Вадимъ опустилъ переднее окно кареты и спросилъ ямщика: «Скоро ли море?»—«А это что-жь?»—отвѣчалъ ямщикъ, указывая кнутомъ на тучу:—«это оно и есть!» Точно электрическая искра пробѣжала по насъ. Въ волненіи мы опустили окно со стороны моря и стали въ него жадно всматриваться: мы видѣли море въ первый разъ. Туча какъ бы дышала, то вздымалась, то опускалась, и доносился полный, глубокий шумъ волнъ. Шумъ увеличивался, становился яснѣе, отчетливѣе, туча оживала, ширилась, превращалась въ безграничное пространство воды, и—Черное море, едва колышась, открылось во всемъ величьи своемъ. Мы вышли изъ кареты у самой воды, на низкій, отлогій берегъ. Волны набѣгали на него, неся камешки и раковины, журча и шелестя ими, разсыпали ихъ у ногъ нашихъ, разбѣгались струями и катились обратно въ глубину. Море, небо—и только.

Мы стояли въ нѣмомъ восторгѣ. Передъ моремъ я показалась сама себѣ пылинкой, ничѣмъ; но только на мгновенье. Это море, это небо—я охватила духомъ своимъ, вмѣстила ихъ въ себѣ—и не они мною, а я радовалась и наслаждалась ими.

Съ правой стороны моря бѣлѣли на чистомъ небѣ, точно волшебствомъ слегка начерченные дома, дворцы, церкви. «Это Одесса»,—сказали намъ.

Она видѣлась вся воздушная.

Время клонилось къ вечеру.

Мы ночевали на станціи, въ еврейской корчмѣ. Ъли

первый разъ очень нѣжную морскую рыбу, отдохнули и проспали до поздняго утра.

На другой день около полудня мы вѣхали въ Одессу. Жаръ былъ палящій, пыль удушающая, городъ казался пустымъ. Высокіе дома изъ сѣраго камня, съ опущенными на окна зелеными жалюзи, произвели на меня непріятное впечатлѣніе. «Тутъ конецъ нашего странствованія, тутъ ждетъ насъ новая жизнь; здѣсь все намъ чуждо»,—думала я, проѣзжая по пыльнымъ улицамъ Одессы, и со дна души поднялась какая-то давящая грусть, которая росла, росла и превращалась въ робость, въ тоску.

— Куда прикажете вѣхать?—спросилъ ямщикъ.

— На площадь, гдѣ памятникъ Ришелье, тамъ въ гостиницу противъ бульвара, у моря,—отвѣчалъ Вадимъ.

Въ гостиницѣ намъ дали двѣ просторныя комнаты съ передней, роскошно мебелированныя; одними окнами онѣ выходили на площадь, другими на море. Разобравши вещи, уложивши спать Сашеньку въ отдѣльной комнатѣ, мы раскрыли окна на море, сѣли у окна—и не могли оторвать взоровъ отъ синѣвшаго, едва волнующагося моря.

Суда различной величины, дымящіеся пароходы неслись къ берегамъ Одессы и отплывали отъ нея; едва касаясь воды, рѣяли легкія лодочки рыбаковъ.

Изъ-подъ дальняго горизонта, прямо противъ окна, показалась темная точка, я стала въ нее всматриваться, точка увеличивалась, мѣняла форму и превратилась въ огромный фрегатъ; фрегатъ на всѣхъ парусахъ летѣлъ къ Одессѣ.

Спустя нѣсколько дней мы наняли довольно большой, отдѣльный домъ. Онъ принадлежалъ Е. П. Гардинскому, человѣку очень умному. Е. П. сблизился съ Вадимомъ и такъ заинтересовался приготовлявшимся изданіемъ «Очерковъ Россіи», что, располагая по дѣламъ своимъ переселиться въ Петербургъ, предложилъ Вадиму заняться тамъ печатаніемъ его изданія.

Вадимъ охотно согласился и сталъ еще съ большимъ увлеченіемъ готовить статьи и рисунки, которыхъ и безъ того было достаточно. Новыя статьи писались и получались отъ желавшихъ участвовать въ «Очеркахъ Россіи». Молодой человѣкъ изъ харьковскихъ мѣщанъ, при-

ѣхавшій съ нами въ Одессу, имѣя хорошій почеркъ, занялъ у Вадима должность писмоводителя.

Спустя нѣсколько дней по нашемъ устройствѣ на квартирѣ, прибыло шесть человѣкъ нашей прислуги, считая въ томъ числѣ и двухъ кучеровъ, управлявшихъ повозками; но едва только мы успѣли разобраться, какъ служившій при Вадимѣ восемнадцатилѣтній мальчикъ, ночью, укралъ у насъ всѣ деньги и скрылся. Въ то время Одесса была полна бѣглецами; они легко находили себѣ пристанище, особенно у которыхъ были деньги, и пріѣзжая прислуга нерѣдко, обокравши своихъ господъ—убѣгала. Ни бѣглецы, ни покража не отыскивались. Оставшись безъ гроша, мы продали повозки и лошадей. Старшій изъ кучеровъ сейчасъ же откупился на волю. Какой-то торговецъ внесъ за него небольшую плату, которую онъ долженъ былъ отжить. Младшій замѣнилъ мѣсто сбѣжавшаго.

Остальная прислуга была при насъ все время, пока мы жили въ Одессѣ; уѣзжая изъ Одессы, мы отправили всѣхъ обратно въ деревню, кромѣ горничной дѣвушки.

Тетушка моя Е. П. Смалланъ, узнавши о покражѣ, прислала намъ тысячу рублей серебромъ. Такимъ образомъ дѣла наши нѣсколько поправились и мы стали обжигаться на новомъ мѣстѣ.

Вадимъ представился князю М. С. Воронцову; князь принялъ его чрезвычайно привѣтливо, пригласилъ бывать у него, чѣмъ Вадимъ и воспользовался. Архивъ былъ открытъ ему немедленно. Вскорѣ пріѣхалъ въ Одессу братъ Егоръ Васильевичъ, у котораго въ шестидесяти верстахъ находилось имѣніе, и сталъ бывать у насъ почти каждый день.

Затѣмъ Вадимъ встрѣтилъ нѣсколько человѣкъ изъ своихъ товарищей по университету и сблизился съ кругомъ одесскихъ литераторовъ.

Изъ числа университетскихъ товарищей ближе всѣхъ съ нимъ былъ Александръ Алексѣевичъ Уманецъ, занимавшій въ Одессѣ, сколько помнится, должность директора карантина.

Лѣто стояло палящее. Солнце всходило и закатывалось на чистомъ небѣ и ни одно облачко не затѣняло его. Все жаждало дождя—дождя не было ни капли. Люди задыхались въ жгучемъ воздухѣ и отъ пыли. Бѣ-

лыя акаціі, распутившіяся пышными ароматными цвѣтами, не долго радовали взоры; покрытыя пылью вѣтки ихъ безсильно опускались, листья свертывались и опадали, трава и деревья сгорали и сохли. Въ довершеніе густая туча саранчи недѣли три летѣла Одессой и гдѣ только опускалась на деревья, тамъ и оставляла голые сучья.

При нашей квартирѣ чуть-чуть зеленѣлъ садикъ, мы уходили въ него отдохнуть отъ томившей атмосферы комнатъ, и не отдыhalось: тотъ же жгучій воздухъ, та же духота были повсюду. Освѣжались нѣсколько на берегу моря утромъ и вечеромъ, да въ самомъ морѣ. Вадимъ купался ежедневно, мнѣ рѣдко удавалось; кромѣ того, что море было не близко, въ іюлѣ у насъ родился второй сынъ—Вадимъ. Къ нему поступила въ кормилицы итальянка, долго служившая у извѣстной того времени примадонны Каталани; укачивая ребенка, она пѣла ему лучшія аріи изъ итальянскихъ оперъ. Голосъ у нея былъ сильный и пріятный. Мы слушали съ наслажденіемъ.

Одесса въ то время привлекала къ себѣ множество пріѣзжихъ блестящими магазинами съ дешевыми иностранными товарами, превосходной итальянской оперой, въ которой всѣхъ восхищала трогательной игрой и прелестнымъ голосомъ примадонна Та с и с т р а, и морскими купаньями.

На приморскомъ бульварѣ, рано утромъ, гуляли большей частью лѣжившіеся морскими ваннами; вечерами гремѣлъ на бульварѣ оркестръ музыки, гуляла толпа дамъ и мужчинъ, и взоры безпрестанно встрѣчали изящные, роскошные туалеты.

Я не болѣе двухъ разъ была на бульварѣ. По обыкновенію своему, соотвѣтственно нашимъ небольшимъ средствамъ, въ Одессѣ мы вели образъ жизни такой же тихій, какъ и вездѣ, и я ни съ кѣмъ не знакомилась.

Мы съ Вадимомъ любили раннимъ утромъ гулять одни на берегу моря, гдѣ мало встрѣчался кто-нибудь; тамъ садились на скамеечку и засматривались на волны, на несущіяся по волнамъ суда, иногда подходили къ пристани и съ только-что прибывшихъ кораблей тутъ же покупали фрукты, виноградъ, каштаны, устрицъ.

Иногда съ моря заходили въ кондитерскую выпить

чашку горячаго кофе или съѣсть порцію мороженаго и прочитать газеты.

Съ каждымъ часомъ дня улицы и площади все больше и больше пестрѣли экипажами, людьми дѣловыми и безъ дѣла,—слышались языки Греціи, Италіи, Франціи, движеніе, шумъ, жаръ, пыль.

Къ полудню жаръ и пыль становились невыносимы,—улицы пустѣли, жители скрывались въ дома, на окна спускались шторы и жалюзи—и такъ до вечера.

Съ закатомъ солнца балконы и окна растворялись,—лились звуки музыки, пѣніе, бульваръ и улицы закипали гуляющими; ложи въ оперѣ наполнялись посѣтителями,

— Затѣмъ вступаха
И бездыханна, и тепла
Нѣмая ночь. Луна взошла.
Прозрачно-легкая ^{завѣса}
Объемлетъ небо. Все молчитъ,
Лишь море черное шумитъ.

Осенью пыль заступала непролазная грязь.

Въ сентябрѣ, послѣ вознесенскихъ маневровъ, императоръ Николай Павловичъ съ наслѣдникомъ престола, съ нѣсколькими германскими принцами и другими высокими личностями прибыли въ Одессу, пробыли четыре дня и въ сопровожденіи князя М. С. Воронцова отправились въ Крымъ на пароходѣ «Сѣверная Звѣзда».

Спустя нѣсколько времени по отбытіи царской фамилии, по городу разнеслась страшная вѣсть, что въ карантинѣ появилась чума, проникла въ городъ и его предмѣстья и достигла до лагеря Житомирскаго полка, державшаго цѣпь вокругъ черты *porto franco*.

У насъ еще не знали о распространившемся слухѣ. Однажды утромъ, въ концѣ октября, мы съ Вадимомъ сидѣли въ его кабинетѣ и спокойно разговаривали, какъ въ комнату вошелъ нашъ письмоводитель весь блѣдный, перепуганный и встревоженнымъ голосомъ сказалъ:

— Вадимъ Васильевичъ, въ Одессѣ неблагополучно.

— Что такое?—довольно спокойно спросилъ Вадимъ.

— Чума,—робко отвѣчала письмоводитель.

— Можеть, пустой слухъ,—сказалъ Вадимъ:—гдѣ вы слышали?

— Во всемъ городѣ говорятъ.

Мы также встревожились, особенно я. Страшное слово «чума» весь домъ поразило ужасомъ. Вадимъ немедленно одѣлся и отправился разспросить, въ чемъ дѣло, Уманца, близкаго къ карантину.

Возвратясь часа черезъ два, которые я провела въ страхѣ и волненіи, Вадимъ сообщилъ, что чума дѣйствительно оказалась въ Одессѣ на Молдаванкѣ, что ее завезли на прибывшей къ одесскому порту 22-го сентября херсонской лодкѣ «Самсонъ». Когда къ лодкѣ подъѣхали карантинные чиновники для опроса, то управлявшій ею шкиперъ Алексѣевъ объявилъ, что недѣли двѣ тому назадъ они грузили дрова въ чумномъ турецкомъ мѣстечкѣ Исаѣи и общались съ тамошними жителями, вслѣдствіе чего внесена была къ нимъ зараза. Тотчасъ по отплытіи «Самсона» заболѣла Алексѣева жена, которая въ скоромъ времени умерла и уже семь дней лежитъ въ каютѣ. Тѣло умершей было освидѣтельствовано, на ней нашли пятна и полосы. Алексѣевъ сознался, что онъ сильно билъ жену, и знаки эти—слѣдствіе его побоевъ. Тогда родилась мысль, не выдумалъ ли Алексѣевъ исторію о чумѣ, опасаясь законнаго преслѣдованія за убійство жены; это предположеніе имѣло вліяніе на сужденіе медиковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на мѣры предосторожности, зависящія отъ карантиннаго правленія. Лодка «Самсонъ» была оставлена въ сомнительномъ положеніи и часть экипажа его стала перевозить грузъ въ одинъ изъ практическихъ дворишковъ.

6-го октября на «Самсонѣ» заболѣли три матроса, съ явными признаками чумы; заболѣвшихъ перевезли въ чумный кварталъ, а съ лодкой поступили по карантиннымъ законамъ. Недалеко отъ практическаго дворика жилъ унтеръ-офицеръ карантинной стражи Исаевъ, должность котораго состояла въ томъ, чтобы содержать въ порядкѣ казенное платьѣ, употребляемое при пересѣданіи пассажировъ и рабочихъ. По сдѣланнымъ изслѣдованіямъ узнали, что Исаевъ получилъ отъ зачумленнаго судна значительные подарки. 7-го октября за немогла жена Исаева и 10-го скончалась. Зараза проникла въ домъ священника Покровской церкви, хоронившаго жену Исаева, и къ нѣкоторымъ изъ его близкихъ знакомыхъ, съ которыми онъ подѣлился зачумленными подарками. 20-го числа умеръ самъ Исаевъ, у свя-

щенника умерла дочь, затѣмъ болѣзнь появилась въ предмѣстьяхъ города—Молдаванкѣ, Новой Слободкѣ и Раскидайловкѣ.

Это потребовало дѣятельныхъ мѣръ. 22-го октября городъ съ предмѣстьями былъ объявленъ «неблагополучнымъ» и оцѣпленъ двумя рядами военныхъ пикетовъ. Къ князю Воронцову посланъ былъ пароходъ въ Ялту; князь немедленно прибылъ въ Одессу и приступилъ къ самымъ энергическимъ мѣрамъ.

Городъ и предмѣстья были раздѣлены на кварталы, каждый кварталъ былъ ввѣренъ особому комиссару. Они обязаны были наблюдать за общественнымъ здоровьемъ и быть посредниками между начальствомъ и жителями. Черезъ нихъ обнародывались всѣ распоряженія, и о всякомъ смертномъ сомнительномъ случаѣ они извѣщали полицію или доносили главному начальству, сомнительные дома оцѣпляли. Зараженныхъ отправляли въ чумной кварталъ, умершихъ хоронили на карантинномъ кладбищѣ, пожитки ихъ сжигались или очищались по карантиннымъ правиламъ. Чумные дома послѣ очистки провѣтривались цѣлый мѣсяцъ. Для управленія медицинскими дѣлами былъ учрежденъ «медицинскій совѣтъ», медицинская коммиссія слѣдила за ходомъ болѣзни и доводила до свѣдѣнія начальства о ея развитіи.

Многочисленные сборища народа были запрещены, храмы, судебныя мѣста, училища, театральныя зрѣлища закрыты. Казенные дома и многіе изъ частныхъ, въ томъ числѣ и домъ князя Воронцова, по желанію владельцевъ, были оцѣплены. Письма и казенныя бумаги принимались черезъ окурку и съ извѣстными предосторожностями.

На площадяхъ у заставъ Таврической и Херсонской между двумя оградами были устроены передаточные базары. Продажа съѣстныхъ припасовъ начиналась съ восходомъ солнца и прекращалась въ десять часовъ утра. Въ продолженіе торгова внутренніе шлагбаумы рынка отпирались, а наружные были заперты. Когда торгъ кончался, внутренніе шлагбаумы запирали, а наружные отворяли и выпускали на рынокъ топливо, сѣно и разные товары, тѣхъ же, которые привозили ихъ, немедленно удаляли за черту оцѣпления. Пріѣзжавшіе изъ города до двухъ часовъ пополудни забирали, что кому надобно,

и затѣмъ такимъ же порядкомъ выпускались въ городъ безвозвратно транспорты съ пшеницею, саломъ и другими продуктами.

Надзоръ за передаточными базарами порученъ былъ довѣреннымъ людямъ.

За покупками на базаръ отправлялись отъ каждаго дома люди довѣренные.

Желавшіе выѣхать изъ Одессы выдерживали около заставы 14-ти-дневный карантинъ. О ходѣ заразы ежедневно выдавались жителямъ печатные бюллетени. Въ биржевой залѣ назначены были общія собранія, отдѣленные отъ публики барьеромъ. Туда каждый день въ 11 часовъ пріѣзжалъ и князь Воронцовъ. Толковали объ общихъ дѣлахъ, князь получалъ донесенія о ходѣ болѣзни и отдавалъ приказанія.

Вслѣдствіе быстро принятыхъ разумныхъ мѣръ княземъ Воронцовымъ, къ концу ноября зараза ослабѣла, а 4 декабря былъ послѣдній чумный случай. Тогда назначенъ былъ «обсерваціонный» карантинъ; вѣроятно, вслѣдствіе этого, въ продолженіе нѣкотораго времени всѣмъ было запрещено выходить изъ дома. Я помню, что довѣренный человѣкъ отъ нашего хозяина ходилъ для всего дома покупать провизію, а старая нѣмка-булочница подавала намъ хлѣбы въ форточку окна въ залѣ. Когда въ продолженіе сорока дней ни одного больного не оказалось, то послѣ 124 дней закрытія города всѣ пѣни были сняты и 28-го февраля 1838 года отслуженъ благодарственный молебенъ.

Всѣ вздохнули свободнѣе, городъ оживился. Мы стали думать о поѣздкѣ въ Крымъ. Вадимъ имѣлъ всѣ необходимыя свѣдѣнія, почерпнутыя какъ въ архивѣ, такъ и въ другихъ источникахъ.

Князь Воронцовъ, не рѣдко бесѣдуя съ Вадимомъ, такъ оцѣнилъ его умъ и способности, что предложилъ ему остаться при немъ, заняться изслѣдованіемъ Новороссійскаго края и представлять ему проекты, какіе найдетъ необходимыми для улучшенія подвѣдомственныхъ ему мѣстностей. При этомъ добавилъ, что при введеніи въ дѣйствіе его проектовъ, имя Вадима упоминаемо не будетъ; Вадимъ обѣщалъ подумать—подумать и отказался. Новороссійскій край ему не нравился, а условія не вполне соотвѣтствовали его взгляду на вещи.

Зима того года стояла жестокая, морозы доходили до двадцати пяти градусовъ, но, повидимому, холодъ не влиялъ нисколько на ослабленіе болѣзни; ее явно останавливали благоразумныя, энергическія мѣры. Кромѣ чумы, въ самый жестокий холодъ, мы пережили въ Одессѣ сильное землетрясеніе.

Наканунѣ 12-го января, около шести или семи часовъ вечера, въ ожиданіи чая, который готовили въ залѣ на столѣ, я въ кабинетѣ Вадима читала у печки подлѣ столика о землетрясеніяхъ въ Исландіи, Вадимъ недалеко отъ меня на диванѣ тоже читалъ какую-то книгу. Вдругъ какъ бы глухой ударъ грома прокатился подъ землей, или что-нибудь очень тяжелое пронеслось по улицѣ, затѣмъ ударъ повторился и былъ такъ чувствителенъ, что лежавшія въ стаканахъ серебряныя ложечки зазвенѣли о стекло; съ третьимъ ударомъ домъ закачался, какъ лодка на волнахъ.

— Землетрясеніе,—сказала я Вадиму, быстро вставая съ мѣста:—бѣжимъ скорѣй.

— Приморскіе города иногда проваливаются,—замѣтилъ Вадимъ.

И съ этими словами мы бросились изъ кабинета къ дѣтямъ; полъ сильно колебался, едва можно было удержаться, чтобы не падать. Огромный шкалъ съ книгами, мимо котораго я пробѣгала, такъ наклонился надо мной, что, я думала, онъ задавитъ меня. Въ залѣ всѣ стулья сдвинулись съ мѣстъ чуть не на середину комнаты.

Въ гостиной кормилица стояла по срединѣ комнаты, обнявши Сашу; чижики, летавшіе по волѣ, лежали на полу, распластавши крылья; въ диванной, гдѣ спалъ меньшой ребенокъ, на кровати лежала, прижавши его къ себѣ, Елена. Несмотря на то, что землетрясеніе кончилось, мы, ожидая повторенія, одѣлись въ шубы, закутали дѣтей и—стояли у дверей въ сѣни. Оставивши всѣхъ наготовѣ, Вадимъ со мною вышелъ во дворъ посмотреть, что тамъ творится. Тишина глубокая, ни звука, ни движенія—морозъ въ двадцать пять градусовъ, ночь ясная, полный мѣсяцъ, да безчисленныя звѣзды горятъ въ чистомъ, глубокомъ небѣ. Возвратясь въ комнату, велѣли всѣмъ ложиться спать, не раздѣваясь. Ночь прошла спокойно, день проснулся блестящій, превосходный. Землетрясеніе много домовъ повредило, у насъ

надъ окнами надтреснули стѣны, несмотря на то, что домъ былъ старинный, изъ дикаго камня; на соборѣ сломало колокольню и попортило самую церковь. Многія изъ судовъ, стоявшихъ въ гавани, пострадали отъ сильнаго волненія на морѣ.

Впечатлѣніе, сдѣланное на меня землетрясеніемъ, было такъ глубоко, что я долго не могла слышать никакого грохота безъ замиранія сердца.

Въ мартѣ Е. П. Гардинскій уѣхалъ въ Петербургъ и взялъ съ собою статьи и рисунки для двухъ первыхъ книгъ «Очерковъ Россіи» и объявленіе о ихъ выходѣ.

Приближалась весна.

Въ апрѣлѣ уѣхалъ въ Крымъ А. А. Уманецъ, тамъ у него были родные, имѣніе, невѣста—молоденькая, прелестная англичанка Матильда, изъ дома Башмаковой. Уманецъ поѣхалъ жениться, звалъ насъ на свадьбу въ ихъ имѣніе, лежащее въ Салтирской долинѣ, верстахъ въ десяти или двѣнадцати отъ Симферополя.

Въ началѣ мая мы поѣхали въ Крымъ и не пожалѣли объ Одессѣ.

ГЛАВА XXXVII.

Таврида.

1838.

Волшебный край...

Мы оставили Одессу въ ясное утро. Я помѣстилась въ нашей каретѣ съ двумя маленькими сыновьями, ихъ кормилицами и горничной дѣвушкой; Вадимъ съ слугой въ коляскѣ. Къ вечеру прибыли въ деревню къ брату Егору Васильевичу Пассекъ, пробыли у него дня три и отправились дальше.

Путь отъ Николаева до Херсона представляетъ равнину. До половины пути почти нѣтъ селеній. Земля да небо—вотъ и все. Зато дивные миражи. Одно утро, ѣдую станцію въ тридцать верстъ мнѣ казалось, мы ѣдемъ берегомъ широкой рѣки, мѣстами за рѣкой вид-

нѣлся зеленый лѣсъ. Я спросила Вадима, что это за рѣка, берегомъ которой мы ѣхали; онъ отвѣчалъ, что по этой дорогѣ нѣтъ никакой рѣки, а то, что я видѣла—миражъ. На станціи я попросила воды, мнѣ сказали, что за водой поѣхали, вода далеко. «Какъ далеко,—возразила я:—вотъ изъ окна видно огромное озеро, вода такъ и колышется въ немъ».—«Озеро-то это мы всегда видимъ,—отвѣчали мнѣ:—да воды тамъ нѣтъ; это только такъ кажется, оно не озеро, а облака туманомъ взялись». Болѣе я и не спрашивала, что за рѣка, что за острова, бурьяны, что за лѣсъ, и дошла до того, что настоящую рѣку стала принимать за марево—такъ живы были эти миражи.

Послѣ пустынь и видѣній, Приднѣпровье кажется чѣмъ-то волшебнымъ. Рѣка широкая, глубокая, могучая пробивается каменныя стѣны и вѣетъ прохладой; по ней раскинуты острова съ садами, лѣсами и свѣжей зеленью. На нѣкоторыхъ изъ этихъ острововъ находятся заводы для соленья, вяленья и сушенья рыбы. Противъ Бреславля мы стали спускаться съ высокой горы къ Днѣпру. Шелъ сильный дождь, дулъ вѣтеръ; скользя по мокрой глинѣ, лошади понесли-было насъ прямо въ рѣку; Вадимъ бросился впередъ лошадей, остановилъ ихъ, поворотилъ къ перевозу и ввелъ на паромъ. На паромѣ мы вышли изъ кареты и помѣстились на широкой лавкѣ; Вадимъ былъ блѣденъ и взволнованъ. Паромъ двинулся и поплылъ по рѣкѣ, такъ широко разлившейся, что и берега было не видно. По этому пути, отъ ранней весны до поздней осени, бываетъ притокъ чумаковъ изъ западныхъ губерній и Украины.

Проѣзжая изъ Бреславля въ Каховку, мы видѣли до тысячи чумаковъ въ одномъ становищѣ. Десятки таборовъ собирались вмѣстѣ и ждали переправы. Кто хочетъ видѣть чумачество во всемъ его разгулѣ, а чумака во всей его красѣ, тотъ увидитъ все это здѣсь. Что за ростъ! Что за стройность въ движеніи! Что за сила! И въ то же время спокойствіе и что-то въ родѣ достоинства въ большей части чумаковъ. На головѣ черная смушковая шапка, изъ-подъ нея чубъ около уха. А пѣсни? Раздолье! Онѣ несутся до васъ изъ-за пяти верстъ. Если на закатѣ солнца вы взойдете на уступъ праваго берега Днѣпра, посмотрите на рѣку и за рѣку

Бреславль.

на степь, тамъ увидите по луговой сторонѣ Днѣпра сотни горящихъ костровъ; далѣе огни становятся рѣже, свѣтятся меньше, наконецъ, виднѣются, какъ огненные шары, и исчезаютъ; а у ногъ вашихъ на пять верстъ Днѣпръ то съ шумомъ несется, то течетъ, не шелохнется. Мимо васъ летятъ на парусахъ суда, лодки безъ парусовъ и парусныя, легкіе челноки, по-здѣшнему душегубки, рѣютъ взадъ и впередъ, какъ ласточки, едва касаясь воды; тяжелые паромы съ помощью шестовъ, веселъ и десятковъ рувъ тянутся отъ одного берега къ другому. Говоръ, движеніе, продажа разныхъ мелочей, стаи крикливыхъ птицъ и вереницы чаекъ. А у ногъ вашихъ по песку щегольски прохаживаются морскія сойки на длинхъ ножкахъ. Изъ воды, изъ камышей выплываютъ гоголи и лыски. Ястреба и коршуны, распластавъ въ воздухѣ крылья, точно остановились надъ водой и ждутъ добычи. Комиссаръ хлопочетъ около проѣзжающихъ, а стародневный Днѣпръ течетъ себѣ въ вѣчность, и солнышко обливаетъ все свѣтомъ такъ же, какъ и за тысячу лѣтъ, когда не было еще и чумаковъ на свѣтѣ.

За Перекопомъ степи становились цвѣтистѣй; высокая, густая трава какъ бы заткана голубыми вѣтреницами, тюльпанами, шалфеємъ, божьимъ деревомъ, дикимъ льномъ, медвѣжьимъ ушкомъ, розовой и бѣлой кашкой.

Верстахъ въ 30-ти отъ Перекопа мы остановились ночевать среди степей на станціи. Станція эта была хата, до половины врытая въ землю; кровля, покрытая дерномъ, придавала ей видъ холма. Ночью въ этой землянкѣ было до того душно, что ни я, ни Вадимъ, не могли спать, вышли на воздухъ и увидали себя среди ароматнаго океана цвѣтовъ и звѣздъ, какъ бы затихнушаго подъ лучами мѣсяца, высоко горѣвшаго въ яхонтовомъ небѣ. Мы онѣмѣли отъ восторга и отъ того чувства счастья, смиренія и величія, которое охватываетъ душу при первомъ взглядѣ на безграничное море и на горы, теряющіяся въ лазурномъ пространствѣ.

Далеко не доѣзжая Симферополя, на горизонтѣ слегка очертились Чатырдагъ и Яйла. Мы приняли ихъ сначала за облака; но чѣмъ ближе подвигались къ Симферополю, тѣмъ горы вырѣзывались яснѣе, тѣмъ чаще стали по-

падаться селенія, сады, рощи, пирамидальные тополи. Мы остановились въ имѣніи Уманецъ — Темиръ-Ага. Александра Алексѣевича не было дома. Намъ тотчасъ открыли комнаты. Пообѣдавши, мы легли отдохнуть въ диванной; насъ разбудилъ дружескій голосъ Уманца и его молоденькой жены, въ которую онъ былъ страстно влюбленъ. Они прожили вмѣстѣ съ нами около двухъ недѣль, увѣзжая, уговорили насъ остаться въ Темиръ-Ага и оттуда дѣлать поѣздки по Крыму.

Передъ отъѣздомъ, Уманецъ, по случаю своей женитьбы, сдѣлалъ праздникъ прилежащимъ къ его имѣнію татарамъ. На этотъ праздникъ приглашены были родственники и близкіе знакомые Уманца, въ числѣ которыхъ находилась и В. А. Башмакова съ дѣтьми.

Довольно обширный дворъ, обсаженный раннами, съ утра наполнился татарами и ихъ музыкантами; они расположились группами по травѣ съ поджатыми подъ себя ногами передъ дымящимися котлами съ пилавомъ и громадными плачинами. За воротами, на пылавшихъ кострахъ, жарились цѣлые бараны. Послѣ обѣда раздалась дикая музыка и начались еще болѣе дикіе танцы татаръ, разгоряченныхъ угощеніемъ и бузою. Все это подъ палящимъ солнцемъ юга. Около сумерекъ, которыя такъ кратки на югѣ и такъ продолжительны, такъ полны задумчивости и тишины на сѣверѣ, началась джигитовка въ степи, сейчасъ за дворомъ. Какъ только гости вышли за ворота и расположились на вынесенныхъ стульяхъ, молодые татары стали садиться верхомъ на лошадей и понеслись степью; они обгоняли другъ друга, подвертывались подъ лошадей, на всемъ скаку поднимали съ земли брошенный платокъ; въ движеніяхъ ихъ видѣлась привычка, легкость, смѣлость, удалство. Въ джигитовкѣ отличался ловкостью четырнадцатилѣтній братъ Уманца, Игнаша, пріятель татаръ. Толпа стоявшихъ татаръ смотрѣла на скачку и возбуждала состязавшихся дикими криками. Одного молодого татарина лошадь понесла, онъ не могъ удержать ее и влетѣлъ въ толпу гостей. Раздался крикъ ужаса, всѣ бросились въ разныя стороны; бѣшеная лошадь стрѣлой пронеслась дальше, татары перехватили ее на скаку, скрутили, сняли съ нея сѣдока, увели его далеко за строенія и тамъ выпоролли розгами.

По отъѣздѣ Уманца мы остались въ Темиръ-Ага полными хозяевами; отецъ его жилъ въ городѣ и рѣдко прїѣзжалъ въ деревню. По берегу Салгира, узенькой прозрачной рѣчки, быстро катящейся по каменистому дну, мы осматривали долину Салгира, а съ балкона въ домѣ любовались синѣвшимъ вдали Чатырдагомъ и Демерджи, оюясанными облаками; на закатѣ солнца они вспыхивали то золотомъ, то румянцемъ, то лиловымъ отливомъ. Въ Симферополѣ я познакомилась съ женой извѣстнаго Палласа и много слышала отъ нея о ея знаменитомъ супругѣ. Она была уже въ преклонныхъ лѣтахъ, жила уединенно и не богато.

Однажды, въ праздничный день, которые всегда проводилъ съ нами въ деревнѣ Игнаша, Вадимъ поѣхалъ верхомъ въ Симферополь. День былъ душный, по небу ходили сизыя облака, передъ вечеромъ облака превратились въ грозную тучу, вдали сверкала молнія безъ грома. Я беспокоилась о Вадимѣ и съ балкона наблюдала теченіе тучи. Гроза близилась—Вадима не было. Игнаша старался успокоить меня, предложилъ ѣхать самому къ Вадиму навстрѣчу и даже въ Симферополь, чтобы, въ случаѣ сильной бури, уговорить его тамъ остаться на ночь. Пока мы толковали и Игнаша сбирался, синяя туча надвинулась, подъ ней тянулась туча сѣдая, а изъ-за нея кралась почти бѣлая, роняя крупные капли дождя. Вскорѣ дождь полилъ, какъ изъ ведра—Салгиръ взволновался, выступалъ изъ береговъ и превращался въ широкую рѣку. Игнаша встревожился. Вадиму приходилось перебираться черезъ Салгиръ. Когда Салгиръ разливается, переправа черезъ него опасна—надобно знать извѣстныя мѣста и извѣстный прїемъ. Игнаша поскакалъ подъ громомъ и дождемъ. Онъ увидалъ Вадима, только-что подѣхавшаго къ Салгиру; широко разлившаяся рѣка несла сорванные мосты, стога сѣна, барановъ, разрушенныя строенія, ворочая со дна огромные камни. Игнаша крикнулъ Вадиму, чтобы онъ остановился, замѣчая, что тотъ намѣревается пуститься вплавъ; самъ переплылъ къ нему, провелъ его извѣстнымъ туземцамъ путемъ и вмѣстѣ принеслись во дворъ, облитые дождемъ, насквозь промокшіе въ рѣкѣ. Гроза разыгрывалась, буря завывала и слилась съ ночью. Огненные стрѣлы сыпались съ неба, райны при-

гибались до земли. Все превратилось въ свистъ, въ стонъ, блескъ, грохотъ, въ хаосъ; сорвало часть крыши съ дома, потокъ дождя хлынулъ сквозь потолокъ, обрушая на полъ пласты штукатурки. Такъ страшны бури въ Тавридѣ! Къ утру все стихло; яркое солнце освѣтило еще бушевавшій Салгиръ, поломанныя деревья, оборванный цвѣтъ и завязи фруктовыхъ деревьевъ, потопленные поля, разрушенныя мельницы, сорванные плотины.

Въ іюлѣ мы поѣхали въ Бахчисарай черезъ Альмскую долину; какъ мила эта долина! Что за прозрачная ледяная вода въ Альмѣ! Что за роскошная растительность! Солнце закатывалось, когда намъ открылся Бахчисарай съ разбросанными по косогорамъ домиками въ садахъ, фонтанами, минаретами. Спускаясь съ высокой горы, мы медленно приблизились къ ханскому дворцу. Лавки, расположенныя по обѣимъ сторонамъ улицъ, однѣ закрывались, въ другихъ еще сидѣли татары, торговали, занимались ремеслами, курили трубки. Караимы собирались въ свой Чуфутъ-Кале. Въ лавкахъ пестрѣли разноцвѣтные мечеты, украшенныя трубки, блестѣли кинжалы, тутъ же висѣли баранина, нитки краснаго стручковаго перца, медъ, черешня, свѣчи, сахаръ, табакъ. По улицамъ тянулись на верблюдахъ скрипучія арбы, встрѣчались пѣшеходы. Все было пестро, странно, нечисто, все влекло вниманіе новостью картинъ. Когда мы добрались до дворца, становилось темно, едва можно было рассмотреть дворъ, окруженный зданіями, оградами, въ деревьяхъ и цвѣтахъ.

Намъ назначена была квартира во дворцѣ, но такъ какъ ожидали князя Воронцова со свитой, то комнаты во дворцѣ приготавливались для нихъ. Почтенный старикъ, смотритель дворца, Булатовъ, предложилъ намъ занять три комнаты въ его отдѣленіи. Утомленные поѣздкой и жаромъ, мы приняли его предложеніе съ благодарностью. Въ отведенныхъ намъ комнатахъ расположились на широкихъ турецкихъ диванахъ и раскрыли окна, затѣнныя южными растеніями, въ нихъ повѣяло вечерней прохладой и запахомъ розъ; меня удивило, что, несмотря на совсѣмъ ясное небо, слышалось немолчаемое паденіе дождя. Мнѣ сказали, что это льютсѣ въ саду и во дворѣ фонтаны.

По утру мы увидали громаду зданій въ восточномъ вкусѣ, съ легкими кровлями, рѣшетками, башнями, террасами, разноцвѣтными стеклами; все это, облитое яркимъ солнцемъ, казалось еще пестрѣе, еще блестяще. Направо отъ дворца виднѣлся памятникъ Дильара, надъ нимъ крестъ, освѣщенный луной. Дильара значитъ утѣшеніе сердца. Она же названа поэтомъ Пушкинымъ Маріей. Кто была Дильара—никому неизвѣстно, одни говорили—грузинка, другіе—полька. Ходила она всегда подъ покрываломъ, какой была вѣры—никто не зналъ.

Среди двора за рѣшеткой росли шелковица и кусты или, скорѣе, деревья розановъ, осыпанныхъ бѣлыми, желтыми, красными розами, отъ блѣдно-розовыхъ до темно-пунцовыхъ. Недалеко отъ памятника Дильара неумолкаемо струился фонтанъ, наполняя широкій мраморный бассейнъ водой холодной, чистой, здоровой. У этого бассейна мы умывались каждое утро и каждый вечеръ. Осмотрѣвши дворъ, мы вошли въ мечеть; она довольно велика, освѣщена окнами въ два свѣта съ разноцвѣтными стеклами. Внутри рѣзная каедре для муллы, съ небольшимъ углубленіемъ вмѣсто алтаря, передъ нимъ теплились желтыя и зеленыя восковыя свѣчи; лѣстница ведетъ на хоры, стѣны покрываютъ надписи изъ Корана. Около мечети ханское кладбище, тамъ вокругъ часовень, среди деревьевъ, цвѣтовъ и грядокъ съ огурцами, горохомъ и капустинами разбросаны памятники хановъ и знаменитыхъ мусульманъ. На кладбищѣ неугасимо горитъ подлѣ Алкорана восковая свѣча и дервишъ читаетъ молитвы.

Параднымъ входомъ съ украшеніями, надписями и съ двуглавымъ орломъ мы вошли въ стѣны дворца. Изъ стѣней широкая лѣстница ведетъ въ верхнія комнаты. Прямо фонтанъ Капланъ-Гирея, налѣво слышалось, какъ фонтанъ слезъ роняетъ каплями воду въ бѣлую мраморную чашу, изъ чаши потокомъ льется на полъ, скрывается подъ него и выбѣгаетъ струями изъ другихъ водометовъ, освѣжаетъ душныя комнаты, кропитъ цвѣты и снова убѣгаетъ подъ землю. Изъ стѣней входъ въ комнату государственнаго совѣта, тамъ ханъ за рѣшеткой невидимо присутствовалъ при рѣшеніи дѣлъ его сановниками. Однажды я срисовывала внутренность комнаты совѣта, какъ увидала за своимъ стуломъ высокаго

бѣлокураго молодого человѣка, который, смотря на мой рисунокъ, указалъ мнѣ его недостатки. Это былъ Айвазовскій. Онъ пріѣхалъ въ Бахчисарай съ двумя сестрами и съ старушкой-матерью, за которой ухаживалъ съ трогательной нѣжностью. Они заняли комнаты во дворцѣ, рядомъ съ нами, познакомились съ Вахимомъ, и пока были въ Бахчисараѣ, видались съ нами каждый день. Я помню, какъ юный художникъ, утрами, выносилъ на террасу большое кресло, усаживалъ въ него свою старушку-мать, ставилъ у ея ногъ скамеечку и садился на нее, а сестры распоряжались на террасѣ чаемъ.

Ко дворцу присоединяется нѣсколько дворишковъ, цвѣтниковъ и сады, въ которыхъ зеленѣютъ шелковицы, осыпанныя бѣлыми, розовыми и черными ягодами, деревья грецкихъ орѣховъ, яворы, вишни, персики, тополи, винныя ягоды, пропасть розъ, плетется виноградъ, слышится шумъ фонтановъ и льется вода. Здѣсь вы на Востокѣ: самый воздухъ навѣваетъ нѣгу и располагаетъ къ бездѣйствію.

Въ верхнемъ этажѣ дворца находится много комнатъ: вездѣ въ нихъ позолота, рѣзьба, мраморъ, на стѣнахъ виды Константинополя, альфреско и безъ перспективы. Зеркала и ткани, болѣе новыя, привезены изъ Стамбула въ послѣдній пріѣздъ царской фамиліи въ столицу Крыма. Среди европейской мебели хранится кровать императрицы Екатерины II. Золотая комната и спальня хана остались безъ перемѣны. На нѣкоторыхъ стѣнахъ видны надписи изъ персидскихъ поэтовъ.

Гаремъ соединяется съ дворцомъ переходами. Огромная терраса съ рѣшетчатыми стѣнами и нѣсколько небольшихъ комнатъ въ два свѣта — вотъ и весь гаремъ. Въ немъ уцѣлѣли вдѣланные въ стѣнахъ шкапы, гдѣ хранились наряды ханскихъ женъ. Гаремъ и принадлежащій къ нему небольшой садъ окружены каменной оградой. Посреди сада фонтанъ, тутъ въ былыя времена ханскія жены:

«Безпечно ожидая хана,
Вокругъ игриваго фонтана,
На шелковыхъ коврахъ...
Топкою рѣзвою сидѣли
И съ дѣтской радостью глядѣли,
Какъ рыба въ ясной глубинѣ
На мраморномъ ходила днѣ.

Нарочно къ ней на дно нина
Роняли серьги золотныя.
Кругомъ невольницы межъ тѣмъ
Шербетъ носили ароматный
И пѣсню звонкой и пріятной
Вдругъ оглашали весь гаремъ».

Теперь около этого фонтана и вѣтеръ не шелохнетъ.

Мы провели въ Бахчисараѣ почти мѣсяцъ лучшаго времени года. Въ небольшомъ кругу христіанъ нашли людей образованныхъ.

Увижу-ль когда опять тебя, Таврида? твои моря, твои долины, твои заоблачныя горы? увижу-ль тебя, покинутый дворецъ Бахчисарая? Часто задумывалась я подъ шумъ твоихъ водометовъ, часто бродили мы по твоимъ заламъ, гдѣ недавно кипѣли жизнь и страсти. Иногда мы находили во дворцѣ стараго Эфеида и ученаго Османа; они важно, неподвижно сидѣли на диванахъ въ пунцовыхъ бархатныхъ шубахъ и бѣлыхъ чалмахъ и съ благоговѣніемъ списывали надписи со стѣнъ. Я любила оставаться въ это время въ той же комнатѣ и читать книгу. Со мною всегда былъ мой малютка-сынъ—тихий, задумчивый ребенокъ, онъ молча смотрѣлъ на нихъ и иногда въ этой тишинѣ засыпалъ, склонясь ко мнѣ на колѣни. Окончивши свое занятіе, ученые обращались къ намъ съ благодарной улыбкой за уваженіе къ ихъ занятію и награждали моего малютку большимъ огурцомъ или букетомъ цвѣтовъ.

Желая познакомиться съ образомъ жизни татаръ, я пригласила къ себѣ жену Османа и чрезвычайно удивилась, увидавши толпу закутанныхъ въ покрывала татарокъ, разряженныхъ татаръ, дѣтей и множество оборванной прислуги. Вся толпа шумно поднялась на террасу и ввалила въ комнаты. Это былъ татарскій набѣгъ. Отъ переводчицы я узнала, что если приглашаютъ татарку, то она является со всей родней и прислугой.

Татарская княгиня Канкалова, узнавши, что меня интересуетъ образъ жизни татаръ, пригласила меня къ себѣ на вечеръ. Я отправилась къ княгинѣ пѣшкомъ, съ обоими дѣтьми, кормилицами и переводчицей. Войдя во дворъ, окруженный высокими стѣнами, я увидала множество татарокъ въ блестящихъ нарядахъ. Княгиня, съ семнадцатилѣтней дочерью, встрѣтила меня на крыльцѣ

съ восточными привѣтствіями. Обѣ одѣты были просто, только планжевыя рубашки, въ родѣ нашихъ русскихъ, изъ тонкой сырцовой матеріи, застегивались дорогими изумрудными запонками, да широкій, низко спущенный поясъ горѣлъ золотыми бляхами рельефной работы. Длинные, черные волосы княжны были заплетены въ двѣ косы, спускавшіяся чуть не до колѣнъ, въ нихъ вплетены были золотые талисманы, привезенные изъ Мекки деревишемъ, на головѣ ея надѣта была маленькая шапочка пунцоваго бархата. Въ ушахъ висѣли серьги съ длинными жемчужными подвѣсками.

Одежда другихъ женщинъ отличалась болѣе или менѣе пестротою и богатствомъ.

По приглашенію княгини, мы вошли въ гаремъ, за нами всѣ татарки. Это была довольно большая комната, раздѣленная на двѣ неравныя половины легкими колоннами. Окна были въ мелкихъ переплетахъ съ цвѣтными стеклами. Въ болѣе половинѣ комнаты помѣстилась на широкомъ диванѣ княгиня, княжна, ея кормилица, я съ дѣтьми и мамками да переводчица. Въ другой половинѣ расположились на полу татарки. Княгинѣ подали трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ, — предложили и мнѣ, я отказалась.

Когда подъ окномъ раздались звуки скрипокъ, дудочекъ и бубенъ, по знаку княгини двѣ дѣвушки потѣловали руку княгини, княжны и у меня, потупили глаза, вышли на средину комнаты, стали другъ передъ другомъ и, медленно переступая, стали дѣлать руками тихія движенія. Когда музыка заиграла веселѣе, пляска оживилась и перешла въ быструю и страстную. Музыка гремѣла, всѣ татарки составили полукругъ и начали извѣстный въ Крыму греческій танецъ; держась за платки, онѣ дѣлали разныя фигуры и заплелись плетнемъ. Въ комнатахъ становилось душно, раскрыли окна, передъ окнами брызнулъ и заструился фонтанъ. Вошли служанки съ большими серебряными подносами, на нихъ стояли хрустальныя графины съ чистой, ледяной водою, стаканы и множество блюдецъ серебряныхъ и золотыхъ съ вареньями и фруктами. Тутъ были розы въ сахарѣ, недозрѣлыя грецкіе орѣхи, айва, кизиль и бѣлыя лиліи. Когда всѣхъ обнесли угощеньемъ, подносы поставили на низенькіе татарскіе столики — вблизи меня.

Княгиня, черезъ переводчицу, разспрашивала меня, зачѣмъ мы въ Крыму и долго ли пробудемъ, сообщила, что дочь ея выходитъ замужъ, а сынъ-гвардеецъ—женится, и приглашала на обѣ свадьбы; я пожалѣла, что не могла этимъ воспользоваться.

Музыканты заиграли французскую кадрили, дѣвушки пробовали ее танцевать, дѣло не ладилось—всѣ перемѣшались, столпились, и вдругъ нѣсколько пріятныхъ голосовъ заѣли татарскую пѣсню, имъ вторила одна скрипка. Пропѣвши первый куплетъ, онѣ умолкли. Изъ-за оконъ имъ отвѣчали музыканты вторымъ куплетомъ—всѣмъ хоромъ съ бубнами и флейтами. Музыканты кончили, въ комнатахъ снова раздались женскіе голоса.

Въ это время подали въ фарфоровыхъ чашкахъ прекрасный чай со сливками, лимономъ, печеньями. Княжна меня усердно потчивала. Она говорила довольно хорошо по-русски и подарила мнѣ стихи своего сочиненія на татарскомъ языкѣ.

Между всѣми посѣтительницами отличалась миловидностью и красотой четырнадцатилѣтняя дочь кадія Сіаде. Княгиня, узнавши, что Сіаде мнѣ понравилась, велѣла ей сѣсть на скамеечкѣ у моихъ ногъ.

Наступили сумерки. Въ комнатѣ становилось темно. Музыканты, по приказанію княгини, поднялись на террасу, загремѣли въ бубны и начали хоромъ воспѣвать славные подвиги хановъ и знаменитыхъ родовъ, воспѣли княгиню, княжну Салтанету и ея жениха. Салтанета сидѣла на диванѣ, облокотясь на столикъ, отдѣланный перламутромъ, на которомъ горѣли двѣ свѣчи въ серебряныхъ подсвѣчникахъ. Косы ея спускались до пола. Она была какъ-то странно хороша.

Татарки собирались домой, накидывали на себя бѣлые кисейныя покрывала. Княгиня спросила меня, не прикажу ли я что-нибудь пропѣть музыкантамъ. Я слышала любимую народомъ пѣсню «Чипеймъ» — голосъ пѣсни живой и пріятный—и назвала Чипеймъ. На лицѣ княгини выразилось неудовольствіе. Оказалось, что Чипеймъ была извѣстная красавица, разошлась съ мужемъ и не славилась скромностью жизни, а потому и избѣгали говорить о ней въ почетномъ домѣ. Я просила объяснить княгинѣ, что все это мнѣ было неизвѣстно.

Княгиня успокоилась, улыбнулась и весело крикнула музыкантамъ: «Чипеимъ». Въ минуту комната огласилась живой, веселой пѣснью. Татарки пересмѣивались, княгиня улыбалась. Прощаясь, княгиня звала меня къ себѣ обѣдать и ужинать и вмѣстѣ съ княжной проводила въ сѣни. Кормилицы несли на рукахъ полусонныхъ дѣтей. Передъ нами и за нами мелькали въ темнотѣ закутанныя въ покрывала татарки. Накрапывалъ крупный дождь; осторожно ступая по мокрымъ камнямъ неровной мостовой, мы пробирались во дворецъ. Мимо насъ пронеслась на татарскихъ лошадяхъ кавалькада путешественниковъ съ накинутыми на плеча бурками и дамъ, завернутыхъ въ мантильи.

Во дворѣ дворца вываживали лошадей, на террасѣ сидѣло много путешественниковъ и пили чай. Продрогнувъ и промокнувъ, мы пробрались въ свое отдѣленіе; тамъ насъ давно ожидали за чайнымъ столомъ и засыпали вопросами. Самоваръ кипѣлъ, душистый чай лился по чашкамъ, разговоръ оживился. Пріятно и тепло, и свѣтло было у насъ въ комнатахъ.

Скоро вѣтеръ разогналъ облака. Въ синевѣ поднялся мѣсяцъ—все засіяло. Свистнулъ соловей и залился дивной пѣснью; шумѣли фонтаны, цвѣли и лили ароматы розы.

Какъ хороши твои ночи, Таврида!

Передъ нашимъ выѣздомъ изъ Бахчисарая знакомые наши изъ христіанъ сдѣлали для насъ праздникъ въ рѣшетчатой залѣ гарема, пригласили изъ Севастополя моряковъ и нѣсколько дамъ, залу роскошно освѣтили, оркестръ музыкантовъ состоялъ изъ цыганъ; ихъ помѣстили въ рѣшетчатомъ входѣ въ залу. Зала наполнилась посѣтителями и посѣтительницами въ бальныхъ платьяхъ; хозяиномъ праздника были полиціймейстеръ Бахчисарая и его жена. Угощеніе великолѣпное,—танцевали до разсвѣта. Сквозь рѣшетчатую стѣну залы навѣвало ночной прохладой, яхонтовое небо, звѣзды и полный мѣсяцъ заглядывали въ залу. На нѣсколькихъ столахъ готовили ужинъ; вдали, на пылавшемъ кострѣ, молодой, высокій албанецъ, въ національной одеждѣ, засуча рукава, жарилъ на вертелѣ цѣлаго барана и подавалъ его на столъ, разсѣвши на части съ необыкновеннымъ искусствомъ. Прохладительные напитки изъ гра

нать, миндаля, лимоновъ и вина были опущены въ ледяную воду фонтаннаго бассейна. Розовое шампанское южнаго берега лилось за ужиномъ,—съ полными бокалами въ рукахъ всѣ пожелали намъ счастливаго пути.

На другой день Вадимъ верхомъ съ проводникомъ и товарищемъ отправился въ Тепекерменъ. Я осталась во дворцѣ съ дѣтьми ждать его возвращенія.

Вотъ сокращенно чтó говорить Вадимъ о Тепекерменѣ въ «Очеркахъ Россіи»:

«Съ предписаніемъ начальника губерніи и проводникомъ, который замѣняетъ подорожную, отправился я въ горы.

Отъ Бахчисарая до Тепекермена около пяти верстъ; путь идетъ по каменистому утесу. При поворотѣ къ Успенскому монастырю встрѣчается памятникъ Менгли-Гирея и остатки разрушеннаго зданія. Здѣсь, говорятъ, былъ дворецъ хана. Дорога вьется по холмамъ среди кустарниковъ, полныхъ птицъ и звѣрей. Выбравшись изъ кустарника, мы вѣхали на широкій уступъ, на немъ возвышается пирамидально Тепекерменъ. Въ глубинѣ горы изсѣчены пещеры, въ нихъ спускаются съ верха горы, какъ въ подполье. Другія пещеры высѣчены въ отвѣсномъ утесѣ въ два яруса.

Такия же пещеры въ большемъ размѣрѣ видны и въ Инкерменѣ. Всѣ онѣ формы круглой, овальной и четырехугольной. Въ иныхъ высѣчены скамьи, стулья, табуреты. Человѣкъ средняго роста можетъ пройти въ нихъ свободно.

Одни изъ писателей видятъ въ этихъ пещерахъ жилища первобытныхъ людей, другіе—укрѣпленія, а въ одинокихъ—ведеты. Мѣстные жители относятъ ихъ ко времени какого-то потопа, а о желѣзныхъ кольцахъ, вбитыхъ въ скалы, говорятъ, что къ нимъ привязывали корабли, пристававшіе къ берегу.

«Мнѣ кажется,—замѣчаетъ Вадимъ:—эти пещеры относятся къ первымъ вѣкамъ христіанства и изсѣчены греческими выходцами, а если и другимъ народомъ, то, во всякомъ случаѣ, по религіозной мысли. Въ нихъ видны признаки духовныхъ общинъ. Онѣ явно уцѣлѣли въ Инкерменѣ, Черкескерменѣ, Качи-Кальенѣ, на мѣстѣ нынѣшняго Успенскаго монастыря, въ Демерджи, Чатырдагѣ

и другихъ мѣстахъ и всѣ, вѣроятно, были въ связи между собою. Въ иныхъ уцѣлѣли остатки церквей, а Успенскій монастырь и до сихъ поръ сохранилъ свое религиозное значеніе».

Въ подтвержденіе этой мысли Вадимъ указываетъ на кресты, высѣченные на стѣнахъ пещеръ, на группу камней, на Демерджи, которую и теперь называютъ монахами, слѣды жилья въ пещерахъ: комнаты грубой работы, переходы, лѣстницы, стулья, столы и нигдѣ нѣтъ слѣдовъ укрѣпленій; въ Мангупѣ, Балажлавѣ и пр. явные остатки укрѣпленій, а пещеръ очень мало. Впослѣдствіи пещеры, быть-можетъ, служили убѣжищемъ притѣсненныхъ, загнанныхъ въ горы племенъ.

М а н г у п ь.

«День склонялся къ вечеру, когда мы пріѣхали въ Каралесъ. Утомленные верховой ѣздой и жаромъ, рады были отдохнуть. Подъѣзжая къ дому Адильбея, мечтали о мягкихъ диванахъ, шерbetъ и трубкахъ анатольскаго табаку. Адильбей былъ у себя и сидѣлъ во дворѣ подъ наметомъ на широкой лавкѣ, устланной коврами, поджавши ноги, пуская клубы дыма. Онъ служилъ въ военной службѣ, бился противъ французовъ, гналъ ихъ за границу, а теперь отдыхалъ въ своемъ живописномъ Каралесѣ. У него хорошій европейскій домъ, подъ окнами бьетъ и течетъ горный ручей, въ которомъ Адильбей ловить форелей и угощаетъ ими гостей. Не много дальше шумятъ мельничныя колеса. На удобренной землѣ онъ садитъ табакъ и сѣетъ хлѣбъ. Сквозь высокіе, стройные тополи, около которыхъ игралъ его сынъ, миловидный ребенокъ въ черкесскомъ платьѣ, видны долины, скалы, горы, куда обладатель ихъ ѣздитъ на охоту за лисицами, зайцами, волками, дикими козами. На взгорьѣ красуется мечеть, отъ которой нашъ поэтъ Жуковскій любовался окрестными видами. У Адильбея много деревень, кромѣ Каралеса, ему принадлежитъ и гора Мангупъ съ развалинами древнихъ укрѣпленій. Намъ приняли ласково, мы разговорились о житьѣ-бытьѣ, Каралесѣ, Мангупѣ и проч., выпили по стакану ключевой воды и отправились въ Черкескерменскія пещеры и ущелья.

Въ Черкесь-Керменѣ засталъ насъ поздній вечеръ. По улицамъ изъ сплошнаго камня бродили татары и скотъ; въ огромныхъ пещерахъ кочевали цыгане и горѣли огни.

Мы съ товарищемъ ѣхали молча, задумавшись, глухимъ ущельемъ, среди утесовъ, надъ которыми виднѣлась только узкая полоса неба. Иногда мелькала женщина, закутанная въ бѣломъ покрывалѣ, или верховой ѣздокъ въ буркѣ и черной мѣховой шапкѣ, то встрѣчались группы татаръ, то цыгане въ пещерахъ. Другая природа, другіе люди окружали насъ: какъ было не задуматься, особенно въ Черкесь-Керменѣ, гдѣ природа бѣдна и грозна, гдѣ каждый звукъ, каждый шагъ лошади разсыпается звонкимъ эхомъ по ущелью и пещерамъ, гдѣ памятники переступаютъ за грань исторіи и преданій.

Адильбей пригласилъ насъ ночевать у него, если не вздумаемъ остаться въ Черкесь-Керменѣ. Намъ отвели просторную гостиную, на мягкихъ диванахъ постлали прекрасныя одѣяла и мягкія подушки. Подали бѣлые прозрачныя соты, свѣжее масло, сыръ, сливки, трубки и даже чай. Не знаю, какъ я успѣлъ набросать замѣтки въ мою записную книжку, не помню, какъ заснулъ; знаю только, что едва занялся свѣтъ, нашъ проводникъ, Аметъ, тянетъ съ меня одѣяло: «Поѣдимъ, баяръ! Гайда!»

Кто не былъ въ горахъ съ разсвѣтомъ дня, тотъ пусть спѣшить полюбоваться въ нихъ и съ нихъ міромъ божіимъ.

Отъѣхавши версты три отъ Каралеса, мы вдались въ глубокій логъ, по которому шли табачныя плантаціи, выше ихъ сады и хлѣбныя посѣвы, огороженные плетнемъ, обвитымъ бѣлыми большими цвѣтами, похожими на колокольчики. На крутомъ мысѣ, у подножія Мангупа, бьетъ ключъ, и вода по жолобамъ струится въ деревню. Тутъ мы остановились передъ Мангуномъ.

Мангупъ, окруженный со всѣхъ сторонъ цѣпями горъ и холмовъ, стоитъ одиноко въ долинѣ. Вершина его, подобно Чатырдагу, образуетъ широкую площадь, увѣчанную отвѣсными скалами, поросшими бѣдными деревьями и зеленью. По скатамъ Мангупа темнѣютъ лѣса

и зеленѣютъ полянки. Три глубокіе лога врѣзались въ Мангупскую гору и образовали четыре мыса.

Въ срединѣ второго лога стѣна древней крѣпости, высокія башни и развалины. У подножія Мангупа—татарская деревня.

Въ деревнѣ мы взяли въ провожатые мальчика. Онъ шелъ впереди насъ такъ быстро, что лошади едва успѣвали слѣдовать за нимъ. Тропинка вела къ широкому логу до верха горы, среди лога полуразрушенная передовая стѣна крѣпости и обвалившіяся башни. Стѣна пещеры съ лѣстницами, дверями, окнами, отѣненные лозами винограда. За стѣною надгробные памятники караимовъ, на нихъ сохранились еще письмена. Съ вершины Мангупа открылись селенія, за 30 верстъ—Севастополь, море, надъ всѣмъ лазурное небо и легкія облака. На вершинѣ мы встрѣтили столѣтняго старика съ дочерью и малютой-внукомъ. Тамъ у него шалаашъ и огорождъ. Близъ шалааша ключъ воды и остатки башни. Недалеко оттуда слѣды еврейской церкви, обломки стѣнъ греческаго монастыря, внутри его слѣды живописи. На западѣ отъ церкви идутъ крѣпостныя стѣны съ шестью башнями. Вблизи стѣнъ широкія пещеры, въ одной бьетъ ключъ воды; тамъ мы отдохнули и отправились къ замку. Въ замокъ ведутъ ворота въ стѣнѣ изъ камня, толщиною въ три аршина. По огромнымъ окнамъ дома видно, что домъ былъ двухъ-этажный; косяки оконъ были украшены изображеніями въ готическомъ родѣ; другія стѣны въ развалинахъ, подъ ними входы, коридорцы, изъ нихъ выходъ на стѣну, примыкающую къ дому. Стѣна налѣво вдругъ обрывается надъ утесомъ, внизу котораго вершины горъ, долины, холмы, море и едва бѣлѣетъ Севастополь.

Въ этомъ домѣ татарскіе ханы заключали нашихъ посланниковъ.

Кому же принадлежала эта крѣпость? Какой народъ изсѣкалъ пещеры и цѣлыя зданія въ глубинѣ скалъ? Кто, спасая жизнь или оберегая страну, жилъ въ этой поднебесной пустынѣ?

Тутъ остались памятники разныхъ народовъ.

Кѣмъ же изъ этихъ народовъ основанъ Мангупъ-Кале? Конечно, не татарами. Татары вошли въ Крымъ около половины XIII столѣтія, а на караимскихъ надгробныхъ

памятникахъ отыскана надпись—еврейскими буквами—1274 года. Караймы никогда не были владѣльцами Крыма, въ ихъ преданіяхъ нѣтъ и намека, чтобы они основывали въ Крыму крѣпость. Можно предположить, что это былъ народъ, исповѣдующій законъ Моисея; а еврейскаго ли онъ племени или смѣшался съ другими племенами—трудно рѣшить. Извѣстно, что хазары были еврейскаго исповѣданія, вѣроятно, караймскаго, и живутъ въ своихъ потомкахъ въ Чуфутъ-Кале.

Крѣпость эта не могла быть и дѣломъ генуэзцевъ: она основана въ 1274 г., а первое генуэзское поселеніе въ Крыму—Феодосія—было въ 1266 г. Генуэзцамъ, народу торговому, надобны были гавани, а не крѣпости, до основанія которыхъ не допустили бы и татары, жалѣвшіе объ уступкѣ Феодосіи.

Готейя перешла въ руки генуэзцевъ въ концѣ XIV столѣтія уже съ готовыми городами и крѣпостями.

До XIII вѣка владѣли въ Крыму половцы, печенѣги, хазары, но крѣпостей не строили, устранялись городовъ и только брали дань со всего, чему оставляли жизнь.

Ранѣе этихъ народовъ господствовали въ Крыму угры, гунны, готы, а въ отдаленныя времена—кимеріане.

Во все это время, начиная за 500 лѣтъ до Р. Х., въ Крыму имѣли свои поселенія греки и удержали ихъ до позднѣйшихъ временъ».

По мнѣнію Вадима, греки основали въ приморскихъ мѣстахъ города: Пантикапею—нынѣшнюю Керчь, древній Херсонесъ или Севастополь, Феодосію или Кафу, Алушту, Символонъ, Юрзуфъ и другія, въ числѣ ихъ и Мангупъ. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что всѣ народы, жившіе въ горахъ Крыма, зависѣли отъ грековъ, а въ послѣдствіи греки платили дань со всѣхъ этихъ мѣстъ кочевымъ властителямъ Крыма.

«Большая часть писателей построеніе Мангупа приписываютъ готамъ, другіе относятъ къ временамъ чуть не баснословнымъ.

Кладка стѣнъ Мангупа и размѣръ плитъ почти тотъ же, что и въ древнемъ Херсонесѣ. Броневскій засталъ еще уцѣлѣвшими греческія надписи и много мрамора, а на стѣнахъ изображенія греческихъ царей.

Ходъ историческихъ происшествій, образъ жизни вла-

дѣвшихъ въ Крыму народовъ, остатки памятниковъ—все доказываетъ, что Мангушская крѣпость основана греками, которые съ своими союзниками готами составляли главную массу населенія Крыма до завоеванія его турками.

По многимъ памятникамъ видно, что въ одно время съ греками жили въ Крыму карaimы—народъ еврейскаго племени. Татары начали селиться въ XV столѣтїи и долго удовлетворялись данью съ греческихъ городовъ. Когда турки покорили Крымъ, Мангутъ палъ и запустѣлъ.

Теперь владѣлецъ Мангупа разбираетъ остатки развалинъ и перевозитъ ихъ для домашнихъ построекъ въ свой Каралесъ».

Байдари и Мердвень.

«Дорога изъ Мангупа круто сбѣгаетъ подъ нависшими утесами и съ каждымъ шагомъ становится грознѣе... Приближаясь къ Байдарамъ, едва спустишься съ одной горы, какъ поднимаешься на другую. Чтобы сократить путь, мы пробирались тропинками, съ нихъ на каждомъ шагу открывались: скалы, верхи горъ одни надъ другими и мрачная вершина Чатырдага. Чѣмъ ближе къ Байдарамъ, тѣмъ природа роскошнѣе, лѣса тѣнистѣе, и все до вершинъ обвито плетущимися травами. Спускъ въ долину удобенъ и не долѣе часа.

Байдарская долина открывается точно чаша среди под-облачныхъ горъ, полная лѣсовъ, садовъ, деревень, полей. По долинѣ вьется быстрый ручей, разсыпаны стада, мелькаютъ пѣшеходы, слышны лѣсни, веселый говоръ.

Дорога изъ Байдаръ къ Мердвеню незамѣтно поднимается на Яйлу. По пути бьютъ ключи и шумятъ фонтаны. Въ огромныхъ лѣсахъ—тѣнь и прїютъ, радъ ѣхать шагъ за шагомъ, спокойно колыхаясь въ мягкомъ сѣдлѣ. И вдругъ—Мердвень.

Рука невольно затянула поводья... лошадь стала... Вы на хребтѣ Яйлы; передъ вами въ разсѣлинѣ дорога на взморье. Сквозь зелень деревьевъ открываются виды все привлекательнѣе, все страннѣе. Еще шагъ впередъ... бросьте поводья, взойдите на камни, заваливающіе спускъ. Налѣво ряды скалъ выглядываютъ одна изъ-за

другой. По ихъ трещинамъ растеть кустарникъ. Направо скала, гладкая, какъ стѣна, а подѣ отвѣсомъ однакая приморская сосна простираеть свои бѣдныя вѣтви. Подѣ ногами небольшая площадка—это часть южнаго берега, зеленѣющаго садами, тамъ едва замѣтны среди раинъ двѣ дачи. Далѣе—безконечность моря, безконечность неба, корабли, облака...

И начинаешь спускаться въ этотъ садъ Армиды по страшной лѣстницѣ, которую прозвали Чортовой.

ГЛАВА XXXVIII.

Москва.

1839—1842.

Въ августѣ мы возвратились въ Харьковъ, наняли квартиру съ большимъ садомъ, немного устроились и поѣхали въ Спасское, гдѣ находилась матушка Екатерина Ивановна со всѣмъ семействомъ и братья Евгений и Леонидъ. По семейнымъ обстоятельствамъ матушка оставила Москву съ тѣмъ, чтобы постоянно жить зиму въ Харьковѣ, а лѣто въ Спасскомъ. Евгений и Леонидъ прибыли въ Украину, чтобы удобнѣе устроить семейство на новомъ мѣстѣ, и принялись за постройку большого дома въ имѣніи.

Пробывши нѣсколько дней въ деревнѣ, мы посѣщали въ городѣ, гдѣ въ скоромъ времени у насъ родилась дочь Катенька.

Въ концѣ сентября переѣхала въ городъ и матушка съ семействомъ и наняли квартиру рядомъ съ нами. Меньшіе братья вступили въ харьковскій университетъ.

Однажды вспомнила я о непріятности нашего семейства съ Сашей и просила одну изъ сестеръ: за что они разошлись (они не переписывались). Сестра посмотрѣла на меня съ изумленіемъ и отвѣчала, что они никогда не расходились съ Александромъ, а не переписываются изъ осторожности. Потомъ, немного поду-

мавши, сказала: «была небольшая размолвка у Луизы Ивановны съ Діомидомъ, изъ-за пустяковъ; Діомидъ погорчился, но это осталось безъ послѣдствій».

Повидимому, Александръ искалъ повода отдалиться отъ нашихъ.

Лѣтомъ 1839 года мы получили письмо отъ Егора Ивановича. Онъ увѣдомилъ насъ, «что годъ тому назадъ Александръ переведенъ во Владиміръ, гдѣ вскорѣ женился на Наташѣ, которую увезъ отъ княгини Хованской, и 20-го іюня 1839 года у нихъ родился сынъ Сапша». Далѣе описывалъ, какъ Наташу увозили и что было въ домѣ княгини послѣ ея побѣга.

«Возвратясь отъ обѣдни,—писалъ онъ,—княгиня легла на постель отдохнуть, спросила чаю и, не видя Наташи, приказала позвать ее къ себѣ.

Спусти нѣсколько минутъ, княгинѣ доложили, что Наталья Александровна нигдѣ нѣтъ. Княгиня тотчасъ поняла, въ чемъ дѣло, и до того была поражена этимъ, что всѣ въ домѣ перетревожились, немедленно послали за Иваномъ Алексѣвичемъ, сенаторомъ,—Львомъ Алексѣвичемъ, Д. П. Голохвастовымъ и за докторомъ, который тотчасъ же пустилъ княгинѣ кровь. Родные нашли княгиню въ постели совсѣмъ разстроенной и сами были сильно раздражены противъ молодыхъ людей. Сенаторъ, желая сколько-нибудь успокоить сестру, высказалъ предположеніе, что, быть-можетъ, Наташа и не убѣжала еще, а пошла помолиться къ Иверской.

— Помилуй, что за вздоръ,—возразила княгиня, окончательно разстроившись предположеніемъ, что изъ ея дома дѣвушка можетъ ходить одна по Москвѣ:—когда же Наташа бѣгала у меня одна по улицамъ?

Дмитрій Павловичъ, послѣ разныхъ совѣщаній, совѣтовалъ оставить молодыхъ людей въ покоѣ, выразивши имъ свое неудовольствіе, и беречь свое здоровье, не разстраивая себя тѣмъ, что неоправимо; княгиню совѣщанія не успокоили и не утѣшили, она чувствовала себя глубоко огорченной и оскорбленной, тѣмъ больше, что незадолго передъ этимъ Наташа считалась помолвленной невѣстой и все приданое ей было сдѣлано. Княгиня надѣялась, что дѣло это, несмотря на неспріятности, можетъ снова устроиться, такъ какъ молодой человекъ, бывший женихомъ Наташи, нравился ей прежде, нежели

она сблизилась съ Александромъ, и, по отъѣздѣ Александра въ Вятку, сдѣлала ей предложеніе чрезъ княгиню. Когда княгиня объявила о его предложеніи Наташѣ, Наташа отвѣтила ей: «онъ мнѣ не по душѣ»; княгиня удивилась, и, относя отвѣтъ ея къ дѣвической стыдливости, сказала: «тѣмъ лучше, браки по любви часто бываютъ несчастны; выйдешь замужъ—полюбишь; я совѣтую, это хорошій молодой человекъ, съ нимъ будешь счастлива». Наташа промолчала. Княгиня велѣла ей стать на колѣни передъ крестомъ съ образами и помолиться, затѣмъ благословила ее дорогимъ образомъ, поздравила невѣстой и сдѣлала нравственное наставленіе. На слѣдующій день компаніонка княгини, Марья Степановна, пометѣла въ ряды закупать приданое, соображаясь со вкусомъ невѣсты. Княгиня ничего не жалѣла; приданое сдѣлано было прекрасное. Сверхъ вещей, она давала за Наташей 20 тысячъ и подмосковную деревню. Женихъ сталъ ѣздить каждый день.

Наташа обращала на жениха очень мало вниманія и тайно переписывалась съ Сампеемъ. За нѣсколько дней до вѣнчанія, она писала ему: «Все готово къ браку, день назначенъ и подвѣнечное платье лежитъ въ моей комнатѣ». Александръ отвѣчалъ ей отчаяннымъ письмомъ—просьбой любви и клятвой въ вѣрности. Почти наканунѣ вѣнчанія, Наташа позвала къ себѣ въ комнату сестру жениха своего, сказала ей, что она не можетъ выйти замужъ за ея брата, потому что любить другого, показала ей письма и портретъ Александра, поручила передать все это брату и сказать ему, что она проситъ его отъ нея отказаться. Съ этого времени начались неприятности и кончились тѣмъ, что Наташа убѣждала. Мы были поражены. На мою долю выпало объявить объ его измѣнѣ той, которую онъ любилъ около двухъ лѣтъ и далъ слово на ней жениться. Она вѣрила въ него и долго не понимала меня, когда же поняла и повѣрила, мнѣ показалось, что жизнь отлетѣла отъ нея—такъ страшно она поблѣднѣла и умолкла. Въ комнатѣ распространилась мертвая тишина. Спустя четверть часа, она молча простилась со мной и ушла домой. Никто никогда не слышалъ отъ нея жалобы, никто не видалъ ея слезъ и никогда онъ не узналъ,

«Какое сердце разорвалъ...»

Въ началѣ этого лѣта у насъ умеръ нашъ маленькій Вадимъ. Страшно вспомнить, какъ все это было! Мы едва отдохнули въ юлѣ. Вадимъ поѣхалъ осмотрѣть нѣкоторые изъ уѣздовъ Харьковской губерніи, большей частью тѣ, гдѣ находилось много кургановъ и городищъ. Нѣкоторые курганы при немъ разрывали, въ иныхъ находили грубой работы жегъзанные вещи и простые глиняные сосуды.

Въ Ахтырку мы ѣздили вмѣстѣ, помолились тамъ образу Ахтырской Богоматери, образу которой была такъ предана двоюродная сестра покойнаго батюшки Василія Васильевича Пассека, графиня Анна Родіоновна Чернышева, сдѣлавшая себѣ печальную извѣстность странностями, возмутительнымъ произволомъ и жестокостями, несмотря на ея умъ и высокое общественное положеніе.

Усердіе ея къ образу Ахтырской Богоматери происходило отъ того, что она и сестра ея Елизавета Родіоновна—графиня Панина, въ малолѣтствѣ ихъ были поручены умирающей матерью—этому образу и, оставшись сиротами, назывались «Богородицынами дочками». Анна Родіоновна часто посѣщала Ахтырку, къ церкви пристроила для себя нѣсколько комнатъ; прѣзжая, тамъ останавливалась и изъ своихъ комнатъ слушала божественную службу. Умирая, она завѣщала украсить золотую ризу Ахтырской Богоматери ея брилліантовой, кавалерственной звѣздою и всѣми ея брилліантами. Онъ сіялъ драгоценными камнями, пожертвованными графиней Чернышевой.

Осенью мы съ Вадимомъ, съ дѣтьми и съ тремя прислугами уѣхали въ Москву. Въ Москвѣ нашли братьевъ Жоржа и Діомида, а изъ прежняго круга Вадима Н. Х. Кетчера и Ника уже женатымъ. Саша былъ еще во Владимірѣ; узнавши, что мы въ Москвѣ, онъ прислалъ намъ письмо отъ

4-го ноября 1839 года.

«Благословляю васъ подъ 55-ю градусами 45 минутами сѣверной широты; благословляю васъ подъ 55 градусами 11 минутами восточной долготы, благословляю васъ въ первопрестольномъ, многодорожномъ градѣ Москвѣ, стоящемъ при рѣкѣ Москвѣ, Неглинной и Яузѣ, съ 350.000 жителей, университетомъ etc. Такъ-то геогра-

фически-статистически поздравляю я съ прїѣздомъ историка и географа Вадима Пассека въ наши края, а выѣстъ съ нимъ и Таню.

Знаете ли вы, помните ли вы, что между тѣмъ временемъ, въ которое насыпали курганы, о которыхъ пишетъ Кепень и о которыхъ Кепень не пишетъ, и 1839 годомъ, есть одинъ историческій періодъ, часто занимающій меня,—это маленькій промежутокъ отъ 1825 до 1833 года. Правда, это время наполнено миеами, какъ царствованіе Тезея, но миеы такъ же изящны, какъ эти типическіе Медузы, Язоны. Я начинаю не вѣрить, что они были, то-есть, очью совершались, а люблю *passer et repasser* 1825 годъ и прїѣздъ Тани къ намъ. Все это юно, мило.—Путешествіе Бартелеми и Вертеровы страданія—читаются, Озерова трагедіи декламируются, и миеъ Г—нъ съ широкими мечтами, и миеъ Темира съ пылкими мечтами, съ описаніями Волги (а въ послѣдствіи и Волхова съ свинцовыми волнами)... кто не пророчилъ бы тогда обоимъ миеамъ и Вадиму *par dessus marche*—желтый домъ, но—увы,—явился міръ реальный—эта огромная Прокрустова кровать, на которую кладутъ всѣ идеи, всѣ миеы Г—на, Вадима, Тани, Мехметъ-Али, М. П. Погодина, Чумакова etc., чтобы подрубить имъ ноги или голову, смотря по надобности. И что же—изъ миеическихъ лицъ вышли люди, такъ-таки просто люди—чиновники особыхъ порученій, отцы семейства, матери семейства, путешествующіе, очерчивающіе Русь.—Гдѣ же миеы?—А гдѣ у бабочки куколка?—Гдѣ у лягушки образъ червячка, въ которомъ она родилась? Теперь лягушка пришла въ полное развитіе. Итакъ, поздравимъ другъ друга лягушками вполне развитыми, остается давать концерты *au rez-de-chaussée*, въ болотѣ.

Еще тутъ былъ миеъ и именно одѣтый въ Кіариньевскій костюмъ, въ бешметъ, шитый золотомъ, серебромъ, алмаантами и висономъ, и имя ему Діомидъ. Что онъ? Ежели миеическое существованіе продолжается, то онъ вѣрно еще ходитъ въ испанскомъ или татарскомъ, или мексиканскомъ костюмѣ. Если же и онъ побывалъ на Прокрустовой постелѣ, то, во-первыхъ, ходитъ *comme il faut*, во-вторыхъ, думаетъ *comme il n'en faut jamais*.

«Мечты, мечты, гдѣ ваша сладость!»

Право жаль, что мы сбились съ дороги и не попали въ сумасшедшій домъ. Прощай. Александръ.

Прошу отдать мой респектъ Алексѣю Петровичу (Кучину); вотъ онъ—самобытіе насъ, не измѣнилъ себя—все тотъ же практическій профессоръ теоріи вѣроятностей *)».

Въ концѣ осени Саша пріѣзжалъ не надолго въ Москву. При первомъ свиданіи съ нами, онъ былъ нѣсколько смущенъ и какъ бы затруднился; но мы такъ искренно обрадовались ему и Наталѣ, такъ были счастливы свиданіемъ съ ними, что онъ успокоился, сдѣлался веселъ, милъ и остеръ по-обычному. Спустя нѣсколько дней, онъ хотѣлъ что-то объяснить Вадиму, Вадимъ это объясненіе отклонилъ. Они остались въ прежнихъ товарищески-дружескихъ отношеніяхъ, но, несмотря на это, было чувствительно, что у Саши, какъ будто, камень на душѣ, который тяготитъ его, и онъ какъ бы уклоняется Вадима. Уклоненіе свое онъ относилъ къ сочувствію Вадима дѣлу славянъ, по его тогдашнему мнѣнію, противоположное его западнымъ стремленіямъ, и говорилъ, что они слишкомъ различно смотрятъ на нѣкоторые предметы для того, чтобы совпадать, что этого нельзя позабыть или найти интересъ въ самой противоположности. Но это было не такъ. Видались они и толковали попрежнему пріятельски. Въ Вадимѣ не было и тѣни перемѣны ни къ прежнимъ друзьямъ, ни въ прежнихъ убѣжденіяхъ, несмотря на его сочувствіе славянскому дѣлу и его любовь къ родинѣ, несмотря на его религіозное направленіе, и поэтому я была удивлена недавно, узнавши, что Саша, вспоминая о Вадимѣ, какъ о человѣкѣ умномъ, благородномъ и чистомъ, въ то же время говоритъ, что онъ отъ славянофильства дошелъ до ортодоктности и ненависти къ Западу, и такимъ образомъ ему пришлось отвергнуть все историческое развитіе человечества, всю науку, фило-

*) Братъ мой А. П. Кучинъ велъ въ Москвѣ большую игру въ карты, жилъ шумно и роскошно. Его обыграли, какъ былъ слугъ, наѣрное, бывшіе въ то время два извѣстные брата-игрока, и онъ остался безо всего. Надъ ними былъ сдѣланъ конкурсъ, по окончаніи котораго ему вѣрно было выѣхать изъ Москвы, по случаю ссоры и драки у кого-то во время игры, въ которыхъ онъ не участвовалъ, но находился въ томъ же домѣ.

софію, всю мысль нашего вѣка. Это огорчало меня не только потому, что въ Вадимѣ ничего и похожаго не было на такое отчужденіе; но оно утвердило меня въ грустномъ предположеніи, что Саша отдалялся отъ Вадима по причинамъ, въ которыхъ не хотѣлось самому себѣ сознаться.

Добрый, простосердечный, но избалованный средой, въ которой росъ, еще не знавшій ни отказа своимъ желаніямъ, ни горя настоящаго, Саша нерѣдко легко и небрежно относился къ тому, что близко другимъ, и, вѣроятно, безотчетно боясь нарушить стройное, пріятное состояніе духа, избѣгалъ анализа самого себя; къ несчастію, это не всю жизнь ему удавалось; приходилось много страдать отъ этой черты его характера. Сверхъ дѣйствительнаго горя онъ мучился еще тѣмъ, за чѣмъ ему больно, боль нравственно мѣшала ему жить — это еще счастливо, — а онъ зналъ жизнь и цѣну жизни.

Саша не только самъ, но также безотчетно отклонялъ и Ника; Никъ, подъ его вліяніемъ, отстранился до того, что когда Вадимъ, начавши изданіе «Очерковъ Россіи», попросилъ его, какъ одного изъ ближайшихъ товарищей, помочь ему небольшою суммой въ его изданіи, Никъ, утѣшаясь въ богатствѣ и роскоши — отказалъ. Впослѣдствіе онъ сильно укорялъ себя въ этомъ отказѣ и писалъ мнѣ, что не можетъ себѣ простить своего возмутительнаго поступка съ Вадимомъ.

Отчужденіе друзей огорчало Вадима чувствительнѣе отказа Ника въ деньгахъ.

Въ 1840 году Саша съ семействомъ совсѣмъ оставилъ Владимірѣ. Въ Москвѣ онъ пробылъ не долго; вскорѣ поступилъ на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ и уѣхалъ въ Петербургъ.

Въ короткое время пребыванія своего въ Москвѣ Саша встрѣтился съ Грановскимъ, только-что возвратившимся изъ чужихъ краевъ, чтобы занять въ московскомъ университетѣ кафедру исторіи, и увезъ въ Петербургъ предчувствіе найти въ немъ близкаго человека. Предчувствіе его не обмануло. Когда въ 1842 году онъ переѣхалъ изъ Новгорода на житье въ Москву, то такъ тѣсно сблизился съ Грановскимъ, что они стали видаться почти каждый день, просиживали вмѣстѣ ночи до разсвѣта, — и такъ до половины 1846 года. Въ этомъ

году вышли «Письма объ изученіи природы» и были первымъ поводомъ ихъ распаденія. Читая ихъ, Грановскій сказалъ:

— Ты въ этихъ письмахъ живо, рѣзко затрагиваешь вопросы, которые будятъ человѣка, толкаютъ впередъ, но во вся односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться, это теорія. Личное безсмертіе души мнѣ необходимо.

На это Саша замѣтилъ, что современное развитіе науки требуетъ принятія иныхъ истинъ независимо отъ того, хотѣть или нѣтъ, и указалъ на нѣкоторыя неопровержимыя теоріи.

— Все это мало обязательно мнѣ,—возразилъ, мѣняясь въ лицѣ, Грановскій.—Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа—въ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ это и не надобно, но я слишкомъ многихъ скоронилъ, чтобы поступиться этой вѣрой.

— Хорошо бы было жить на свѣтѣ, — сказалъ Саша:—если бы все то, что кому было бы надобно, то бы и было.

— Это своего рода бѣгство отъ несчастія,—добавилъ Никъ.

— Вы меня искренно обижаете,—сказалъ, блѣднѣя, Грановскій:—если никогда не будете говорить со мною объ этомъ. Есть много предметовъ гораздо полезнаго и пріятнаго, которые насъ занимаютъ.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ Саша.

Холодъ пробѣжалъ между ними. Они увидали между собою даль, которой и не предполагали.

Вопросъ о личномъ безсмертіи духа былъ предѣлъ ихъ близости. Переступая черезъ него, они стали посторонними; такъ какъ вся ихъ дѣятельность совершалась въ сферѣ мысленія и въ пропагандѣ ихъ убѣжденій,—то уступокъ никто не могъ дѣлать.

Повидимому, какъ бы ничто не измѣнилось, все шло попрежнему—но внутреннее распаденіе увеличивалось.

Они сблизились опять, когда Александръ былъ за границей—и сблизились черезъ письма.

Переселившись на службу въ Петербургъ, Саша сошелся тамъ съ Бѣлинскимъ. Обширный кругъ людей присоединился къ нимъ. Съ этого времени явился рядъ

критическихъ статей съ живымъ, оригинальнымъ сліяніемъ идей философскихъ съ религіозными; въ этихъ статьяхъ Бѣлинскій касался всѣхъ вопросовъ и возвышался иногда до поэтическаго вдохновенія, смѣло, послѣдовательно поражая авторитеты. Статьи Бѣлинскаго ожидались съ нетерпѣніемъ, читались задыхаясь.

Александрѣ, выросшему въ привольѣ родительскаго дома, въ спокойной, чисто-національной Москвѣ, пришлось не по душѣ форменная, дѣловая жизнь Петербурга. Службой онъ занимался мало, жилъ больше дома, небольшой кругъ знакомыхъ довольно часто собирался у него, но тѣхъ сердечныхъ увлеченій, которыми онъ наслаждался въ Москвѣ—не было. Онъ не успѣлъ еще сжиться въ этомъ новомъ для него мірѣ, какъ положеніе его неожиданно-негаданно измѣнилось. Ему чуть не пришлось ѣхать обратно въ Вятку. У Синяго моста будочникъ убилъ и ограбилъ прохожаго. Объ этомъ случаѣ говорилъ весь городъ,—Александръ написалъ отцу въ Москву,—за это его высылали изъ Петербурга.

Онъ былъ пораженъ и сталъ хлопотать объ отпѣнѣ такого приговора. Дубельтъ посовѣтовалъ ему обратиться къ министру внутреннихъ дѣлъ, графу Строганову, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ. Графъ къ нему былъ хорошо расположенъ и принялъ въ его дѣлѣ участіе. Въ непродолжительномъ времени Салтѣ объявили, что ему предоставлено право замѣнить Вятку любымъ губернскимъ городомъ, исключая столицъ. Онъ выбралъ Новгородъ, куда и былъ переведенъ совѣтникомъ губернскаго правленія.

Служба въ губернскомъ правленіи пришлась Александрѣ еще болѣе не по душѣ, чѣмъ служба въ Петербургѣ. Она утомляла, а порой и огорчала его. Онъ подалъ рапортъ о болѣзни, пересталъ ходить въ правленіе, затѣмъ подалъ прошеніе объ отставкѣ и получилъ ее—съ условіемъ не оставлять Новгородъ. Наконецъ, въ 1842 году, 1-го іюля, разрѣшили ему сопровождать въ Москву больную жену свою и съ нею остаться.

Съ этого времени начинается новый періодъ жизни Александра; онъ сталъ усиленно трудиться на литературномъ поприщѣ. Программа его литературныхъ трудовъ за описываемое мною время тогда только получить

настоящее значеніе, когда разсмотрится въ связи съ его жизнью и явится какъ результатъ этой жизни и опытности въ мірѣ дѣйствительномъ.

Все, къ чему онъ стремился, какъ человѣкъ, результаты, до которыхъ онъ достигалъ, какъ писатель и публицистъ, всё его дѣйствія, освѣщенные его жизнью, будутъ отраженіемъ того міра, въ которомъ онъ выросъ и обращался, и той эпохи, въ которой родился и жилъ.

Въ Москвѣ Вадимъ сблизился съ кругомъ Александра Ѳомича Вельмана; Саша, еще въ первый прїѣздъ въ Москву, такъ же какъ и Никъ примкнулъ къ кругу Станкевича. Въ немъ изучали философію, особенно Гегеля, и старались дойти до отчетливаго пониманія безсмертія души и личности духа, сознающаго себя черезъ міръ, а между тѣмъ имѣющаго собственное самосознаніе. Въ Новгородѣ онъ взялъ въ руки Фейербаха—и вступилъ на иной путь,—на путь, какъ онъ выражался, «людей свободныхъ». Подъ вліяніемъ этихъ идей онъ написалъ нѣсколько статей. Во второй прїѣздъ Саши въ Москву, новые друзья приняли его горячѣе, нежели два года тому назадъ. Всѣ они сильно занимались—кто участвовалъ въ журналахъ, кто разрабатывалъ русскую исторію, кто читалъ съ кафедръ въ университетѣ.

«Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ, чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ,—вспоминалъ о нихъ Саша:—ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго».

«Нашъ небольшой кружокъ,—говорилъ онъ:—собирался часто то у того, то у другого, чаще всего у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ и виномъ, шелъ самый дѣятельный, самый быстрый обмѣнъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное и узнанное, споры обобщали взглядъ и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попало бы кому-нибудь изъ насъ и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ».

Характеръ этихъ сходовъ понимали не всѣ—изъ-за ихъ застольныхъ бесѣдъ.

Въ этотъ-то періодъ времени Москва сильнѣе стала входить въ эпоху возбужденія умственныхъ интересовъ. Вопросы литературные стали вопросами жизни, за трудностью вопросовъ изъ всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности. Вся образованная часть общества бросилась въ міръ книжный, въ которомъ одномъ только и совершался дѣйствительный протестъ противъ застоя умственного, противъ лжи и двоедушія.

Мы дружески относились къ этому кругу, но часто видѣться не могли. Когда Саша пріѣхалъ изъ Новгорода, мы жили на дачѣ, — Вадимъ былъ боленъ, вскорѣ его не стало. Саша увлекся своей литературной дѣятельностью и семействомъ. Я жила только для дѣтей. Все опружавшее меня не возбуждало во мнѣ большого интереса. Сверхъ того, кругъ этотъ былъ мнѣ такъ привыченъ и казался такимъ обыкновеннымъ, что я не придавала ему особеннаго значенія, и только спустя много времени, ототупивши отъ него, поняла, что это были представители интеллигенціи сороковыхъ годовъ, которые, новинуюсь историческому движенію, образовали одинъ изъ наиболѣе пріемственныхъ кружковъ высшаго развитія умственныхъ силъ государства, и что отклоненія отъ этого тока, въ послѣднія десятилѣтія сильно охватившаго Россію, отзываются болѣзненно на всемъ организмѣ.

Товарищескій образъ жизни Александра, такъ же какъ и интимная жизнь его и Наташи въ этотъ періодъ времени, мнѣ была мало извѣстна. Я знаю объ ней больше изъ слышаннаго отъ нихъ и изъ нѣкоторыхъ записокъ.

«... Вскорѣ послѣ отъѣзда Александра въ Петербургъ, пріѣхалъ въ Москву Сатинъ и явился къ намъ, — говорится въ запискахъ Т. А. А.—вой. — Я думала встрѣтить человѣка положительнаго, въ лѣтахъ, по крайней мѣрѣ, какъ Ника, и удивилась, увидавши юношу съ поэтическою наружностью, съ ясными голубыми глазами, съ длинными, вьющимися бѣлокурыми волосами, съ гибкой таліей и изящными манерами. Онъ, какъ я узнала послѣ, въ то время былъ уже около двадцати пяти лѣтъ, но казался много моложе. Въ началѣ нашего знакомства Сатинъ былъ застѣнчивъ и ненаходчивъ, потому мы сошлись довольно коротко; онъ бывалъ у насъ часто, читалъ намъ свои стихи — я любила ихъ слу-

шать. Его «Умирающій художникъ» и «Три подруги» въ то время читались съ восторгомъ. Его переводъ съ англійскаго «Бури» Шекспира признанъ былъ отличнымъ и читался съ увлеченіемъ; даже посвященіе его этого перевода—друзьямъ очень цѣнилось; оно начинается такъ:

«Я отлученъ судьбою былъ отъ міра,
И тамъ, въ тиши, открылся предо мной
Волшебный міръ—волшебника Шекспира
Съ его живой, великой простотой...»

.

Въ концѣ:

«Друзья! Друзья! отъ горя и разлуки
Съ тѣхъ поръ и я судьбой освобожденъ...
Давайте мнѣ родныя ваши руки,
Онѣ теплы!... О, это ужъ не сонъ!»

Безъ сомнѣнія, въ Сатинѣ былъ зародышъ поэтическаго дара, но что-то помѣшало ему развиться вполне. Онъ писалъ много стиховъ и очень недурныхъ. Въ началѣ 40-хъ годовъ, возвратившись изъ-за границы, сталъ писать меньше. Къ его заграничнымъ стихотвореніямъ принадлежатъ: «Рейнъ», «Laura dell'Isola bella»; вотъ ея начало:

«Среди магнолій, мртъ и розъ,
Гигантскій лавръ главу вознесъ;
Кругомъ прозрачно и свѣтло;
Роскошно озеро легко;
Въ него глядятъ со всѣхъ сторонъ
Сады и виллы; небосклонъ
Скрытъ громадой чудныхъ горъ...» и проч.

Нѣкоторыя изъ стихотвореній Сатина помѣщались въ «Отечественныхъ Запискахъ» и въ «Современникѣ». Мало-по-малу онъ совсѣмъ пересталъ писать стихи и, наконецъ, сталъ стыдиться своихъ произведеній; не разъ, встрѣтивши въ какомъ-нибудь журналѣ свои стихи, выдиравъ ихъ и рвалъ на части. Никъ, другъ и товарищъ Сатина, шелъ, не останавливаясь, избраннымъ путемъ; его стихотворенія выступаютъ изъ ряда вонъ.

Какъ видно изъ писемъ Александра, первое время жизни своей въ Петербургѣ они устроились довольно хорошо. Онъ ходилъ въ департаментъ на службу, Наташа хохлила и росила маленькаго Шушку, кроила и шила на него. Она писала Т. А.:

«Намъ хорошо. Днемъ, когда Александра нѣтъ дома, я занимаюсь съ Сашей; вечерами читаю вмѣстѣ съ Александромъ, иногда гуляемъ, но не на Невскомъ проспектѣ, нѣтъ, я не могу видѣть эти разряженные лица, эту бессмысленную суету. Я люблю гулять, гдѣ потише, гдѣ можно гулять или думая, или разговаривая».

Александръ и въ Петербургѣ оставался все тѣмъ же живымъ, впечатлительнымъ, все также неспособнымъ къ домашней жизни; онъ не умѣлъ заботиться даже о себѣ — до такой степени, что, отправляясь на службу, всякій разъ приставалъ къ Наташѣ, чтобы она дала ему, что надобно, и осмотрѣла, все ли онъ взялъ съ собою, она должна была снаряжать его, — подать ему платокъ, перчатки и чуть ли не шляпу. Разъ случилось, что Наташѣ нельзя было отойти отъ больного ребенка, и Александръ долженъ былъ отыскать все самъ для себя. На Невскомъ проспектѣ онъ повстрѣчался съ профессоромъ А. Н. Савичемъ, разговорился съ нимъ, какъ и всегда, съ живыми движеніями, засунувъ руку въ карманъ за носовымъ платкомъ и вытащилъ скроенную дѣтскую рубашечку, изъ которой посыпались клинущки, рукавички, обшивки. Александръ, чуть ли не въ первый разъ въ жизни, до того растерялся, что покраснѣлъ, сталъ прощаться съ улыбавшимся профессоромъ и пустился въ обратный путь. Между тѣмъ Наташа искала свою работу и дивилась — куда могла запропасться скроенная ею рубашечка, которую она, свернувши, положила на свой рабочій столикъ, какъ явился Александръ въ такихъ попыхахъ, что Наташа испугалась, вообразивши, что съ нимъ случилась какая-нибудь непріятность по службѣ. Когда же онъ сталъ саркастически говорить о молодыхъ матеряхъ, воображающихъ, что дѣло дѣлаютъ, кроивши разныя тряпки для своихъ дѣтей, и что было бы гораздо проще поручить это бѣлошвейкамъ, тогда Наташа поняла въ чемъ дѣло и разразилась смѣхомъ чуть не до истерики.

— Такъ это ты унесъ мое шитье! Кто же велѣлъ тебѣ взять со стола рубашечку вмѣсто носового платка? Когда же ты, Александръ, справишься?

— А это еще была рубашечка! — воскликнулъ Александръ. — Помилуй, это позоръ! Что скажутъ тѣ, кото-

рые видѣли, какъ изъ моего кармана сыпались лоскутки, это мѣщанство!

— Мѣщанство, — тихо возразила Наташа: — стыдиться работы; неужели предосудительно, что жена твоя сама работаетъ на твоего ребенка, а не бросаетъ деньги швеямъ? Успокойся и подумай хорошенько, — увидишь, что этотъ случай только забавенъ.

Александръ одумался и самъ шутилъ надъ этимъ событіемъ въ послѣдствіи; но въ департаментъ въ этотъ день не пошелъ.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ по пріѣздѣ ихъ въ Петербургъ, надъ ними разразилась бѣда. Александра заподозрили въ распространеніи слуха, вреднаго полиціи, и присудили къ возвращенію въ Вятку. Участіе графа Строганова спасло его, — ему позволили замѣнить Вятку любымъ губернскимъ городомъ. Онъ выбралъ Новгородъ. Для Наташи эта исторія имѣла ужасныя послѣдствія. Она преждевременно разрѣшилась ребенкомъ, прожившимъ нѣсколько минутъ, и вынесла жестокую горячку. Нервы ея до того были потрясены, что она всю остальную жизнь уже не пользовалась полнымъ здоровьемъ.

Лѣтомъ они переѣхали въ Новгородъ; ихъ навѣстили тамъ, проѣздомъ изъ-за границы, Никъ вмѣстѣ съ Сатинымъ. Жена Ника осталась въ чужихъ краяхъ. Передъ отъѣздомъ за границу, она просила Ника дать ей вексель въ тридцать тысячъ рублей серебромъ, на случай его смерти, чтобы быть обезпеченной, а передъ выѣздомъ въ Россію взяла съ него обязательство выдавать ей ежегодно довольно значительную сумму на ея содержаніе. Сатинъ удержалъ Ника отъ дальнѣйшихъ расходовъ на жену и увезъ его въ Россію. Грустное извѣстіе о судьбѣ Ника подлило горя въ жизнь Александра и Наташи, уже отравленную петербургскою катастрофой. Испугъ и огорченіе Наташи отозвались на ея дѣтихъ. Въ Новгородѣ у нихъ была дочь, прожившая нѣсколько часовъ.

Въ февралѣ 1842 года опасно занемогъ мужъ Т. А. А.—вой; товарищи отнесли съ участіемъ къ его болѣзни. Наташа писала ей изъ Новгорода:

«Другъ мой! благодарю тебя за послѣднее письмо, —

теплая струя утѣшенія влилась твоимъ участіемъ. Если бы была возможность близкимъ сердцу искупать несчастія, я бы многимъ пожертвовала для тебя! Въ самое тяжелое время ты не выходила у меня изъ памяти—я трепетала, получая твое письмо. Въ первыя минуты 1842 года я думала о васъ, молилась о васъ, и душа исполнилась вѣрой, что будущее для насъ будетъ свѣтлѣе. Тяжело получать неполныя и невѣрныя извѣстія о милыхъ сердцу. Я напишу тебѣ весь сонъ мой, да, все, что было со мной—явилось, какъ сонъ, прошло, какъ сонъ, въ сердцѣ осталась новая могила, и удары заступы звучатъ еще въ ухахъ.

Мнѣ теперь хочется рассказать тебѣ все, и ты рада будешь узнать все—я знаю. Пусть на тебя навѣетъ мой рассказъ святую, тихую грусть, которой полна душа моя.

Ты знаешь, какъ я боялась, чтобы со мною не повторилось несчастіе, бывшее въ Петербургѣ,—а вмѣстѣ и надежда утѣшала. Весь декабрь я занималась приготовленіемъ елки для Сашы. Для него и для меня это было въ первый разъ: я болѣе его радовалась ожиданіемъ. Удивляюсь, какъ дѣтски я заботилась—и все это точно для того, чтобы чувствительнѣе былъ ударъ: 25-го декабря родилась дочь! Радости, восторга нашего не умѣю выказать. Казалось, ребенокъ прекрасный, здоровый; назвали Наташей. Радость Александра удваивала мою—намъ такъ хотѣлось дочери и Богъ ее послалъ. «Вотъ тебѣ и сестрица на елку»,—говорила я Сашѣ; кажется, и онъ радовался съ нами и все просилъ поглядѣть на нее, поцѣловать ее. Я была очень слаба и скоро стала замѣчать въ окружающихъ безпокойство и сомнѣніе, докторъ ѣздилъ часто, съ нимъ говорили тихонько отъ меня. Все это объясняло мнѣ ожидающее меня несчастіе. Наканунѣ праздника пронесли мимо меня елку для Сашы, а черезъ часъ принесли ее, мою дочку, чтобы благословить въ послѣдній разъ...

Нѣтъ, довольно, прощай, милый другъ! Господь съ вами. Пожми за меня крѣпко руку Николая, напавши скорѣе о его здоровьѣ. Твоя Н а т а ш а.

«Могу только прибавить, что я здоровъ и что, несмотря на полосу довольно черную, которую прожили—живы и не потеряли надежду на будущее.

Дай Богъ, чтобы эти строки застали Николая лучше.

Что Гол., сдѣлать ли что? Не теряйте и вы надежды—
право, можетъ, мы встрѣтимся радостно.

Александръ».

Въ февралѣ 1842 года мужа Т. А. А—вой не стало.

«Несчастіе мое,—говорить она:—вызвало такое родное участіе, которое навсегда оставило въ душѣ отрадную память. Александръ и Наташа писали мнѣ, просили беречь себя для ихъ дружбы, учили твердости своими несчастіями. Отрадѣе всего было слышать, какъ они всѣ говорили объ утратѣ Николая, съ какой любовью и уваженіемъ вспоминали о немъ. Александръ даже удивлялъ меня своими серьезными, полными участія письмами, до того, что я почувствовала къ нему симпатію, которая до тѣхъ поръ была какъ бы парализована его холодностью, проистекавшею, какъ мнѣ казалось, изъ его самолюбія, которому я никогда не потворствовала. Кромѣ нравственного сочувствія, Александръ, а также и Сатинъ, помогли мнѣ вышутаться изъ долга. На похороны моего мужа мы заняли, на срокъ, довольно значительную сумму у М. П. Погодина».

«На слѣдующее лѣто, по пріѣздѣ въ Москву изъ Новгорода,—продолжаетъ она:—Александръ съ семействомъ отправился въ подмосковное имѣніе своего отца, село Покровское, доставшееся ему послѣ смерти брата его, сенатора Льва Алексѣевича, умершаго скоропостижно въ исходѣ тридцатыхъ годовъ. Они пригласили къ себѣ меня вмѣстѣ съ братомъ моего мужа, Сергѣемъ Ивановичемъ. Выѣзжая изъ Москвы, мы не догадались захватить съ собой кое-какой провизіи. Наташа, увидя насъ, совсѣмъ растерялась, говорила, что не знаетъ, чѣмъ насъ кормить, что они сегодня отправляютъ за хлѣбомъ и мясомъ, а привезутъ только завтра. Такъ какъ ѣсть всѣмъ очень хотѣлось, то общимъ совѣтомъ рѣшено было сварить супъ изъ грибовъ, сдѣлать соусъ изъ грибовъ, зажарить грибы въ сметанѣ, затѣмъ гречневая каша—и остались всѣ довольны. Ночью гуляли по рошѣ и видѣли свѣтляковъ. На другой день одинъ изъ крестьянъ пригласилъ насъ къ себѣ на чай. Мы отправились къ нему. Въ чистой, новой горницѣ, съ новыми лавками, на новомъ сосновомъ столѣ, накрытомъ красной скатертью, стояло угощеніе, вина, пиво и медъ. Хо-

завить съ низкими поклонами просить насъ пить и ѣсть. Мы съ Наташей не могли отговориться отъ нихъ и прихлебнули изъ рюмки. Александръ пилъ всего, братъ мой не пилъ ничего; хозяинъ обидѣлся; наслу Александръ успокоилъ его, сказавши: «Баринъ этотъ далъ зарокъ не подносить рюмки ко рту. даже глядѣть на рюмки бояся»; долго мы смѣялись этой выдумкѣ. Послѣ чая, въ самый полдень, отправились мы домой, шумно и весело бесѣдуя.

Когда мы уѣхали изъ Покровскаго, у Александра утонулъ въ рѣкѣ нѣтъ человѣкъ, Матвѣй. Они очень любили его и дорожили имъ до того, что спускали слишкомъ многое. Неожиданная смерть Матвѣя очень огорчила ихъ, по моему же мнѣнію, она случилась для него въ самое время. Матвѣй въ началѣ былъ человѣкъ честный, усердный и преданный, но, избалованный ими, чѣмъ да-тѣе, тѣмъ болѣе сталъ—что называется—зазнаваться и началъ не только-что распоряжаться прислугою, но грубить и самимъ господамъ.

Несмотря на гѣто, проведенное въ деревнѣ, здоровье Наташи не поправилось. Она переехала въ Москву по прежнему слаба и болѣзненна. Чтобы спасти жизнь ожидаемаго ребенка, Александръ пригласилъ знаменитую акушерку Арифельдъ и доктора Брокъ; но ребенокъ родился съ нервными припадками, какъ и два предше-ствовавшіе ему.

О рожденіи этого ребенка тотчасъ мнѣ дали знать.

«Я нашла Наташу,—говорить она:—въ довольно хорошемъ состояніи. Ребенокъ лежалъ въ другой комнатѣ. Наташу утѣшали, что онъ здоровъ, но очень кричитъ—поэтому и удалили его. Мнѣ не понравилась ни Арифельдъ въ своемъ бархатномъ платьѣ, ни Брокъ, безъ толка суетившійся около больной. Когда они ушли, Наташа подозвала меня, пожала мнѣ руку и сказала: «Чувствую—еще могла»,—и заплакала. Я не имѣла духа утѣшать ее, только проговорила: «Видно, такъ надобно». Когда я вошла къ малюткѣ Ванѣ, съ нимъ былъ припадокъ. Этотъ крошка страдалъ до того ужасно, что ногами мнѣ долго слышался тотъ раздражающій душу крикъ и представлялось искаженное судорогами личико. Я возвратилась къ Наташѣ, она спросила меня: «Видѣла ты его?»—Видѣла.—«Онъ очень кричитъ? очень

страдаетъ? скажи правду». — Да, очень. — «Неправда ли, лучше умереть?» — Конечно, лучше. — «Видно, такъ надо», — сказала она: — пошли ко мнѣ Александра, что онъ? Скажи ему, что я на все готова, я знаю, онъ боится придти, боится измѣнить себѣ; и затѣмъ обманывать, тѣшить — смѣшно». — Сказавши это, она горько улыбулась.

— Быть-можетъ, Наташа, они и правы, — замѣтила я: — ты возмущаешься, а тебѣ это вредно.

— Нѣтъ, — возразила она: — лучше знать правду, ждать неизбежнаго горя, чѣмъ вдругъ услышать. Пошли же его ко мнѣ, пошли.

Я позвала Александра. Онъ былъ жалокъ, взволнованъ, то садился, то вставалъ, ходилъ туда и сюда, лицо его горѣло, въ глазахъ свѣтились слезы.

Когда я вошла, онъ бросился ко мнѣ и спросилъ: «Видѣли?» — Видѣла. — «Что она?» — Зовутъ къ себѣ вась. — «Какъ же идти, я не сумѣю скрыть». — И не надобно, лучше знать заранѣе, чѣмъ узнать вдругъ. Такіе сюрпризы убиваютъ. — «Да, это правда, но какъ сказать?» — Она все знаетъ, ступайте къ ней скорѣе.

Я ушла домой вечеромъ, измученная. На слѣдующій день новорожденный кончилъ жизнь. Его похоронили въ Дѣвичьемъ монастырѣ. Я иногда бываю тамъ, и какъ-то странно читать на памятникѣ малютки: «Г—нъ—здѣсь, въ Россіи, а они далеко, и я, конечно, не увижу ни его, ни ее».

«Когда Наташа стала поправляться, посѣщенія друзей возобновились. Наташа выѣзжала рѣдко, она была все какъ-то хвора и нервна. Наряды, необходимые при выѣздахъ, ей были противны. Только по просьбѣ Александра она дѣлала необходимые визиты и затѣмъ довольствовалась домашней жизнью, въ ней она находила все свое блаженство.

Спустя немного времени по пріѣздѣ Александра въ Москву, Н. Х. Кетчеръ сталъ собираться на службу въ Петербургъ. На проводахъ сошлись всѣ вмѣстѣ отобѣдать.

Обѣдъ былъ оживленъ, вино лилось.

Въ интимномъ кружкѣ Александра не пить считалось неприличнымъ. За тѣмъ, чтобы всѣ пили одинаково—

наблюдалось. Гдѣ бы друзья ни собрались, распорядителемъ былъ Николай Христофоровичъ. Онъ откупоривалъ бутылки, онъ наливалъ вино, онъ наблюдалъ чередъ. Голосъ его покрывалъ всѣ голоса. Въ экстазѣ онъ кричалъ: «Я, какъ докторъ—защищаю вино», на это Александръ замѣчалъ обыкновенно, что онъ не вѣритъ въ его медицинскія знанія, и если бы у него была любимая собака, то и ту не далъ бы ему лѣчить. Н. Х. не любилъ практики и не занимался ею. Если кто изъ нашего круга занемогалъ и обращался къ нему за совѣтомъ, онъ обыкновенно говорилъ: «Вы выдумываете себѣ болѣзни и любите пачкаться».

«Братъ мой, Сергѣй Ивановичъ, возставалъ противъ неумѣренности, совсѣмъ не пилъ вина и такъ энергически отказался разъ навсегда, что его оставили въ покоѣ. «Онъ младенецъ», — кричалъ Н. Х. «Онъ не умѣетъ жить и не живетъ», — говорили другіе. Бокалы наполнялись и выпивались въ честь спартака Сергѣя».

«Александръ и Никъ принимали участіе въ одномъ очень талантливомъ, бѣдномъ юношѣ Пѣшковѣ. Они помѣстили его къ намъ, — сказано у Т. А. А — ой, — съ тѣмъ, чтобы мужъ мой подготовилъ его въ университетъ. Будучи на второмъ курсѣ, Пѣшковъ получилъ извѣстіе, что отецъ его и мать умерли, остались малолѣтнія дѣти, которымъ онъ единственная опора. Съ горемъ пополамъ, молодой человѣкъ оставилъ университетъ, почти безъ гроша въ карманѣ поѣхалъ къ сиротамъ; ему удалось ихъ какъ-то устроить, и онъ возвратился въ Москву, чтобы вновь поступить въ университетъ. Снова онъ принять не былъ, это привело его въ отчаяніе. Въ кругу Александра узнали объ этомъ, и въ первый же вечеръ, какъ собрались, только и разговора было о томъ, какъ поступлено съ Пѣшковымъ въ университетѣ. Къ концу вечера, въ передней, на залавкѣ, стройнымъ рядомъ стояли опорожненные бутылки; Сергѣй Ивановичъ А — въ, взявши подъ одну руку Александра, подъ другую Н. Х., пригласилъ всю компанію въ переднюю; тамъ, указывая на строй бутылокъ, сказалъ: «Вотъ, господа, вы осуждаете попечителя университета, а если бы всѣ деньги, которыя употреблены на эти бутылки, вы отдали Пѣшкову, онъ, не прося никого, могъ бы поступить въ университетъ». Этотъ вызовъ не

остался безъ послѣдствій: Александръ оказалъ помощь Пѣшкову, но, къ сожалѣнію, было уже поздно; бѣдный юноша растерялся, получивши отказъ, куда-то уѣхалъ, гдѣ-то училъ и кончилъ жизнь въ сумасшедшемъ домѣ.

Такимъ образомъ, почти на виду и на слуху избраннаго общества погибла хорошая, даровитая личность.

Когда избранный кружокъ собирался вмѣстѣ, слушать ихъ, бесѣдовать съ ними было истиннымъ наслажденіемъ; но не рѣдко, чѣмъ ближе наступалъ вечеръ, тѣмъ больше опорожнялось бутылокъ и характеръ бесѣды мѣнялся, разговоръ переходилъ на предметы пустые, хотя забавные и остроумные, и какъ-то не хотѣлось бы видѣть такихъ талантливыхъ людей въ этихъ оргіяхъ.

Наташа долго поправлялась. Любовь къ двумъ Александрамъ и ихъ любовь къ ней лѣчили ея душевныя раны. Брокъ продолжалъ посѣщать ее и, между прочимъ, сказалъ ей, что онъ не отвѣчаетъ за ея жизнь, если у нея опять будетъ ребенокъ. Мало-по-малу Наташа стала забывать слова Брока и вспомнила только тогда, какъ почувствовала, что опять будетъ матерью. Она довѣрила слышанное отъ Брока Н. Х. Кетчеру, возвратившемуся изъ Петербурга. Н. Х. возмущился такой неосторожностью врача, передалъ это Александру—Александръ взбѣсился и на Брока, и на Армфельдъ, его рекомендовавшую. Вопросъ былъ, какъ помочь, какъ разувѣрить Наташу. Организмъ ея былъ до того потрясенъ, что неосторожное слово, крикъ—заставляли ее мѣняться въ лицѣ, иногда плакать навзрыдъ. Кетчеръ посоветовалъ пригласить А. А. Альфонскаго—умнаго, опытнаго врача. Альфонскій началъ ѣздить подъ предлогомъ для маленькаго Саши и всѣхъ расположилъ къ себѣ своимъ обращеніемъ. Александръ встрѣчалъ его, какъ спасителя жизни, Саша бѣжалъ навстрѣчу, Наташа становилась спокойнѣе при немъ. Альфонскій сумѣлъ вызвать Наташу на откровенность и разразился саркастическимъ смѣхомъ надъ предположеніемъ Брока.

— Жаль,—сказалъ онъ:—что я не зналъ васъ прежде, многого бы не случилось.

— Неужели мой ребенокъ былъ бы живъ?

— Ну, нѣтъ; я не Богъ. Ваша впечатлительная натура слишкомъ потрясена. Счастье, что отвѣтственность пала на дѣтей. Вы спасены.

— Вы жестоко судите, докторъ, — возразила Наташа:—я не хотѣла бы, чтобы мои бѣдныя дѣти искупали мнѣ жизнь.

— Вотъ какъ, — сказалъ Альфонскій: — а я думалъ, что вы любите и жалѣете больше вашего сына и мужа: вы имъ необходимы, какъ воздухъ.

— Ахъ!—сказала Наташа:—я и за нихъ боюсь; отчего судьбѣ не вырвать у меня и ихъ!»

Несмотря на то, Альфонскому удалось нѣсколько успокоить Наташу. Вотъ что Наташа однажды писала Т. А—нѣ:

«Мое сердце наболѣло, каждое прикосновеніе къ нему чувствительно, бываютъ минуты, что я спокойнѣе, бываютъ и такія, что я не знаю, что съ собой дѣлать. Безотвѣтная нелѣпость, отнявшая у меня троихъ дѣтей, пугаетъ меня. Смотрю на Сашу и думаю то же. То мнѣ кажется, что у меня чахотка; то думаю, что сама умру скоро... все это такъ нелѣпо, такъ несвязно и такъ странно, страшно!!! Если бы мнѣ можно было заплакаться досыта, а этого рѣшительно нельзя. Бѣдный Александръ, при немъ у меня навертываются слезы, я ихъ глотаю—это тяжело. Временами такое состояніе проходитъ, временами и имъ будто весело, какъ будто наслаждаются жизнью... Не отвѣчай мнѣ на это письмо ни слова, какъ показать Александру».

Изъ этого письма можно видѣть, въ какомъ состояніи духа находилась тогда Наташа. Такое состояніе тяжело дѣйствовало и на Александра. Когда она бывала разстроена или нездорова, Александръ становился невыносимо безпокоенъ. Начиналъ приставать къ ней, что съ нею? что она чувствуетъ? уговаривалъ лечь, лѣчиться, принять того или другого, послать за докторомъ, спрашивалъ, что она не говоритъ, лучше ли ей, терпѣлся до того, что не находилъ себѣ мѣста, кончалъ тѣмъ, что у него разбалчивалась голова, и Наташѣ приходилось забывать свое нездоровье и ухаживать за нимъ. Волненіе, испугъ, приставаанье Александра дѣлали то, что Наташа часто скрывала отъ него, если чувствовала себя нездоровой, и это много мѣшало ей поправиться.

Чѣмъ ближе становилась развязка, тѣмъ страшнѣе

было за Наташу. Она нѣтъ-нѣтъ да и заговорить: «ну, если четвертый... а тамъ еще... лучше умереть»,—и начинала рыдать.

Въ одно утро Александръ писалъ Т. А.: «У Наташи родился сынъ—Николай *), мать и дитя здоровы».

Новорожденного крестили Грановскій и мать Александра.



ГЛАВА XXXIX.

Утраты.

1840—1842.

«Дума мрачная проснулась
Въ грустномъ сердцѣ,—я душой
На бывшее оглянулась.
Вдаль смотрю и—предо мной
Жизни повѣсть развернулась
Тучей мрачной—громовой».

Въ туманную, сырую осень 1840 года, мы съ Вадимомъ и двумя нашими дѣтьми отправились въ Корчеву повидаться съ родными. Тамъ помѣстились въ покинутомъ домѣ своего отца, и, когда устроились, Вадимъ уѣхалъ въ Петербургъ, откуда, черезъ нѣсколько дней, писалъ мнѣ:

«Вотъ я и въ Петербургѣ, другъ мой, пріѣхалъ на разсвѣтъ. Видѣлъ Новгородъ, видѣлъ Волховъ, все стихло и стало русломъ великаго моря. Верстъ за сто отъ Петербурга—пустыня, лѣса, болота, деревень почти нѣтъ, одни ямскіе дворы; холодно, пасмурно, сыро, и—вдругъ громада зданій, прекрасныя улицы, каналы, корабли, паровозы, монументы, войско—все это помноженное само на себя—вотъ Петербургъ...

Прокатился по желѣзной дорогѣ въ Царское Село и Павловскъ. Сначала дико, потомъ дремалъ подъ вече-

*) Глухонѣмой—10-ти лѣтъ, онъ утонулъ вмѣстѣ съ матерью Александра, въ Средиземномъ морѣ, при переѣздѣ въ Ниццу.

рогъ. Удобствъ много. Теперь ты спокойна, я не поѣду больше, чтобы ты не тревожилась.

Быль у книгопродавцевъ. Съ министромъ надѣюсь видѣться завтра. В а д и м ъ».

Цѣль поѣздки Вадима въ Петербургъ была, кромѣ литературныхъ плановъ, представить министру внутреннихъ дѣлъ «Очерки Россіи» и черезъ Константина Ивановича Арсеньева напомнить въ томъ же министерствѣ, гдѣ онъ считался на службѣ, объ обѣщанномъ ему первомъ открывшемся штатномъ мѣстѣ чиновника особыхъ порученій при министрѣ.

«Вчера обѣдалъ у Александра, — писалъ мнѣ Вадимъ 11-го октября, — и условились повторять это каждый день. Онъ живетъ съ Сережей Львицкимъ, платитъ за квартиру 2.500 р., 100 р. за воду и почти столько же, чтобы носили имъ дрова на третій этажъ; но не думай, чтобы этотъ этажъ былъ слишкомъ высокъ; есть и четвертый, и пятый, и шестой. Комнаты высоки и такъ отдѣланы, какъ не много въ лучшихъ московскихъ домахъ. Былъ и у Алексѣя Николаевича Савича. Онъ здѣсь профессоромъ и все тотъ же, только еще больше отдѣлился отъ людей; была бы на небѣ одна звѣзда, да на землѣ на чемъ стоять, такъ для него и довольно.

В а д и м ъ».

Письмо это, повидимому, писано изъ квартиры Александра; въ концѣ прибавлено было имъ:

«Ну, вотъ, Вадимъ и въ Питерѣ, и мы съ нимъ по-прежнему толкуемъ да толкуемъ, и, между прочимъ, вспоминаемъ васъ и дѣтокъ. Что Корчева? Нѣкогда мы съ вами переписывались безпрестанно, и именно—когда еще, во времена допотопныя, вы жили дома, а я былъ полуребенкомъ и полулюбошей. Остальное, вѣроятно, все написалъ вамъ Вадимъ. Остается только обнять васъ и малютокъ, передать дружескій поцѣлуй отъ Наташи и подписаться—А л е к с а н д р ъ».

Въ Петербургѣ дѣла Вадима шли успѣшно. Былъ у Арсеньева, представлялся министру, вездѣ приняли хорошо. «Всѣ чаявшіе видѣть министра и говорить съ нимъ, — писалъ Вадимъ, — были со звѣздами, а я одинъ съ «Очерками Россіи». Министръ поручилъ Арсеньеву сдѣлать представленіе о Вадимѣ. Арсеньевъ немедленно съ участіемъ принялся за дѣло. Спустя недѣлю, Вадиму

мѣсто было обѣщано въ непродолжительномъ времени; сверхъ того, дано предписаніе завѣдывать составленіемъ статистическихъ свѣдѣній о Московской губерніи, казенная подорожная и награда за прежде представленныя имъ статистическія свѣдѣнія о Таврической губерніи *).

Съ извѣстными литераторами того времени онъ видался почти со всѣми. Гречъ предлагалъ ему участвовать въ журналѣ, который предполагалъ издавать съ новаго года вмѣстѣ съ Кукольниковъ, Полевымъ и другими; обѣщалъ всѣ статьи его принимать съ платою по 150 рублей за листъ ассигнаціями. Александръ уговаривалъ его писать въ «Отечественныя Записки». Съ Александромъ Вадимъ видался каждый день, ихъ прежнія интимныя отношенія возстановились; они вмѣстѣ проводили вечера, вмѣстѣ осматривали Эрмитажъ, вмѣстѣ въ театрѣ восхищались танцами Тальони и видались съ А. Н. Савичемъ и Бѣлинскимъ.

Въ ноябрѣ Вадимъ возвратился въ Корчеву, откуда черезъ нѣсколько дней, по зимнему пути, уѣхали мы въ Москву.

Въ продолженіе этой зимы Вадимъ окончательно сблизился съ кругомъ Александра Ѳомича Вельтмана, особенно же близко сошелся съ самимъ Вельтманомъ, человекомъ чрезвычайно симпатичнымъ, обладавшимъ оригинальнымъ талантомъ, исполненнымъ самой причудливой, поэтической фантазіи. Къ этому кругу принадлежали: Владиміръ Ивановичъ Даль, прославившійся въ литературѣ подъ именемъ Казака Луганскаго народными сказками и фізіологическими очерками, выразившими глубокое знаніе русскаго чело-вѣка и самобытный, сильный талантъ; Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ, производившій одно время всеобщій восторгъ своимъ «Юріемъ Милославскимъ»; художникъ академикъ Карлъ Ивановичъ Рабусъ, извѣстный талантливыми произведеніями живописи, особенно большого размѣра картиной, изображающей Московскій Кремль при лунномъ освѣщеніи; офицеръ глав-

*) Въ 1838 году Вадимъ Васильевичъ Пассекъ, по предписанію министра внутреннихъ дѣлъ, былъ въ Крыму для сбора статистическихъ свѣдѣній о Таврической губерніи.

наго штаба Неѣловъ, ботаникъ Максимовичъ, М. Н. Лихонинъ и другія болѣе или менѣе извѣстныя личности, болѣе или менѣе близкія къ этому кругу. На вечерахъ у Вельтмана мнѣ случалось видать людей замѣчательныхъ, пріѣзжавшихъ изъ Петербурга, съ Кавказа и другихъ мѣстностей; одни были изъ его сослуживцевъ, другіе—желавшіе познакомиться съ даровитымъ писателемъ, извѣстнымъ сверхъ того безукоризненнымъ благородствомъ и честнымъ направленіемъ, независимымъ отъ партій, возбуждавшихъ страсти.

На вечерахъ Рабуса, кромѣ людей науки, бывали и художники; чаще всѣхъ встрѣчала я тамъ скульптора Ромазанова и поэта Ѡ. И. Миллера. Вечера Рабуса всегда оживлялись пріятливымъ пріемомъ его высокообразованнаго семейства и простосердечной, игривой веселостью самого хозяина.

Понедѣльники были наши. Кромѣ упомянутыхъ личностей, у насъ бывали: Ѡедоръ Николаевичъ Глинка, профессоръ Ѡедоръ Лукичъ Моршкинъ, знаменитый романистъ того времени Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ,—когда пріѣзжалъ въ Москву; Михаилъ Николаевичъ Макаровъ—историко-археологъ круга Карамзина; де-Сангленъ—бывшій начальникъ тайной полиціи при императорѣ Александрѣ I-мъ въ 1802 году и, кажется, въ 12-мъ—генераль-полиціймейстеромъ при 1-й арміи. Положеніе это давало ему возможность знать пропасть событій и анекдотовъ того времени, которое хотя и нельзя назвать завиднымъ, но въ немъ виднѣется что-то благородное, что-то человѣчное, отражавшееся въ самомъ правительствѣ. Де-Сангленъ рассказывалъ энергично, рельефно,—живой, остроумный, съ огромной памятью, онъ представлялъ собою живую хронику. Временами посѣщала насъ дѣвица-кавалеристъ—Дурова. Она была уже въ пожилыхъ лѣтахъ, роста средняго, съ женскимъ, добродушнымъ кругловатымъ лицомъ, одѣвалась въ сюртукъ съ солдатскимъ Георгіемъ въ петлицѣ. Бывали также молодые люди статистическаго комитета, отдѣлъ котораго причислялся къ управленію московскаго губернатора, И. Г. Сеньявина, и находился подъ завѣдываніемъ Вадима. Въ числѣ статистиковъ былъ Зыковъ, получившій извѣстность тѣмъ, что поступилъ послушникомъ въ монастырь и убилъ кинжаломъ кня-

гину Голицыну, за что был сосланъ въ Сибирь. Въ началѣ 1841 года бывали у насъ вечерами Т. Н. Грановскій и П. Г. Рѣдкинъ, но, принадлежа къ другому кругу, мало-по-малу стали бывать рѣдко, хотя и относились къ намъ симпатично. Изъ прежнихъ товарищей Вадима въ Москвѣ находился только Н. Х. Кетчеръ; но и онъ, несмотря на прежнюю близость съ Вадимомъ, вѣроятно, по распавшимся взглядамъ на нѣкоторые предметы, посѣщалъ насъ не часто, и то лишь утрами. Никъ и Сатинъ въ 1841 году жили за границей, Александръ — въ Петербургѣ, потомъ въ Новгородѣ, Лахтинъ умиралъ въ чахоткѣ на Уралѣ. Иногда Вадимъ видался съ С. П. Шевыревымъ и М. П. Погодинымъ; послѣдняго онъ очень уважалъ и любилъ. Впослѣдствіи сблизился нѣсколько съ Н. М. Языковымъ и А. С. Хомяковымъ.

Средства наши въ то время были самыя стѣсненныя, несмотря на то, что квартиру мы занимали хорошую; домъ этотъ въ концѣ 40-хъ годовъ былъ мною купленъ, и мы прожили въ немъ до 70-хъ годовъ.

Недостаточность средствъ отзывалась и на нашихъ понедѣльникахъ. Кромѣ чая съ самыми простыми принадлежностями, ничего не подавалось, но, несмотря на это, на понедѣльники нерѣдко собиралось до двадцати пяти человекъ, а иногда и гораздо больше. Бѣдность обстановки искупалась искренностью приѣма и свободой. Входя къ намъ, каждый чувствовалъ себя какъ бы у себя, не стѣняясь высказывать свое мнѣніе, не раздражаясь выслушивать противоположное воззрѣніе. Вадимъ умѣлъ сообщить всѣмъ свою терпимость, свое чувство мѣры и симпатичность; рѣчь его была спокойна, ясна, проста, безъ преувеличенныхъ идей и чувствъ — и безъ пылкой заносчивости.

Бесѣды этого круга касались, большей частью, литературы, умственнаго движенія, общественныхъ новостей и политики. Часто темой служили жалобы на цензуру, доходившую временами до крайности. Иногда разговоры прерывались чтеніемъ еще не изданныхъ произведеній или только-что появившихся въ печати, и произносились надъ ними судъ. Вообще же бесѣды эти были проникнуты знаніемъ жизни и тономъ людей образованныхъ, — это былъ не заколдованный кружокъ, но сближеніе

людей, принадлежащих къ общественной интеллигенціи періода того времени, которые въ опредѣленные вечера собирались вмѣстѣ, чтобы подѣлиться идеями, впечатлѣніями, новостями, отдохнуть отъ трудовъ и остальное время недѣли имѣть свободнымъ для дѣла.

Въ началѣ зимы 1841 года Ивана Ивановича Лажечникова въ Москвѣ еще не было. Онъ жилъ въ своей деревнѣ «Коноплинѣ» и 14-го января писалъ намъ изъ деревни:

«Знаю, вы сѣтуете на меня, милые друзья мои, Вадимъ Васильевичъ и Татьяна Петровна, за неприсылку портрета. Посылаю его теперь, чтобы исполнить только дружеское желаніе ваше, но посылаю неохотно, да, неохотно, потому что портретъ нескоемъ съ оригиналомъ, потому что въ немъ нѣтъ души; весь характеръ вялый, болѣзненный, смятый, а я этого не люблю, и потому портретъ мнѣ противенъ.

При свиданіи съ Петромъ Ивановичемъ, разумѣется, первый вопросъ мой былъ о васъ. Онъ мнѣ сказывалъ, что вамъ въ Петербургѣ было хорошо, что вы исполнили свои надежды. А мои лучшія—видѣть васъ, пожить съ вами—не исполняются. Дороговизна московская меня пугаетъ; а если бы вы знали, какъ скучно, грустно жить зимой въ деревнѣ, подъ снѣжными сугробами, гдѣ, поневолѣ, разсѣиваешься уѣздными сплетнями и преферансомъ—какова эта жизнь!

Въ газетахъ читаю изумительную для меня новость, что мой «Колдунъ» конченъ и уже отпечатанъ, между тѣмъ, какъ онъ едва будетъ конченъ въ нынѣшнемъ году. Пишу его лѣниво, какъ будто поневолѣ. Знаете ли что? я пишу теперь трагедію, и удивитесь—стихами. Густавъ Ваза герой моей пьесы. Коцебу, говорятъ, написалъ драму подъ этимъ именемъ; любопытно ее прочесть. Планъ мой... слѣдовательно, она мнѣ не помѣшаетъ.

Сдѣлайте одолженіе, возьмите у Ширяева тотъ томъ сочиненій Коцебу, гдѣ она находится, и пришлите мнѣ съ первой почтой...

Пишите намъ, что вы дѣлаете? какія у васъ литературныя, художественныя вѣсти? Каково идетъ «Москвитянинъ»? А болѣе всего любите насъ попрежнему. Чесъ валъ И. Лажечниковъ».

23-го января Александръ увѣдомлялъ насъ изъ Петербурга, что *bongré malgré* поселяется въ Новгородъ совѣтникомъ губернскаго правленія.

«Любезнѣйшій Вадимъ,—писалъ онъ:—много и много прожито съ тѣхъ поръ, какъ ты отъ Серапина присылалъ кучера съ забытымъ бумажникомъ. Впрочемъ, все въ порядкѣ вещей. Вотъ Котошихина книга о XVII столѣтіи. Ничего не ново подъ луною! Умилительная книга, я думаю, ты плакалъ надъ нею—и я плачу.

Статья о Витберговомъ храмѣ готова, да хочется у себя оставить копію. Онъ въ ужасномъ положеніи, и въ дополненіе—нездоровъ *).

Бду въ Новгородъ. Зачѣмъ не тебя Богъ шлетъ въ этотъ городъ стертыхъ надписей, перестроенныхъ монастырей, ганзеатическихъ воспоминаній и православнаго либерализма. Ты ожилъ бы смертью его. Ты разобралъ бы надписи надъ архіереемъ Іосафомъ, лѣта 7115 почившимъ; а я, профанъ, буду съ досадою смотрѣть на туманное небо, на трескучіе морозы, и не вспомню, что отъ нихъ дрожали ганзеатическіе купцы. Переберусь въ Тверь черезъ годъ. Тверь лучше. И ты, Корчева—городъ моей древней исторіи—открой свои объятія.

Читала ли твоя жена, чтѣ объ ней писалъ кто-то въ XVIII-мъ № «Отечественныхъ Записокъ»? **).

Теперь отъ Львитскаго (С. Л. Левицкаго) порученіе:

1) Онъ проситъ вручить Вельтману рукопись для исправленія.

2) Такъ какъ онъ собирается ѣхать за границу, то проситъ васъ самихъ распорядиться о печати и о прочемъ. Онъ готовъ даже отступить отъ своихъ 500 р., лишь бы не платить вторыхъ. Я полагаю, вы должны принять такой патріотическій порывъ и прислать ему послѣ, по лавочной цѣнѣ, на 500 р. снова въ лѣтнюю ночь. Вѣдь дѣло-то въ томъ, что Сатинъ напечатаетъ, ежели уже не напечаталъ свой переводъ, и тогда пойдетъ конкуренція довольно опасная. Въ умилительной, патріархальной странѣ... Шекспира знаютъ 20 человѣкъ, въ

) Эта статья—тѣ самыя записки, которыя составлены со словъ А. А. Витберга Александромъ Г, помѣщены въ «Русск. Старинѣ», изд. 1872 г.

**) «Записки одного молодого человѣка».

томъ числѣ и блаженной памяти Сумароковъ переводилъ «Гамлета датскаго принца».

3) Должно-быть, № 3-й твой отвѣтъ.

Прощайте-съ, цѣлую вашихъ дѣтокъ.

А твоя жена не пишетъ никогда болѣе одной строчки. Богъ ей судья! Все отъ того, что о татарахъ думаетъ *) и о дивныхъ судьбахъ патріархальнаго племени. Ахъ, чортъ возьми! да она писала когда-то о свинцовыхъ водахъ Волхова, или объ оловянныхъ,—какъ бишь?

Наташа не очень здорова, вѣроятно, въ началѣ февраля Богъ дастъ намъ второй № Шушки.

Доставь приложенную записку Сатину. Вотъ умная догадка переписываться черезъ меня. Какъ не похвалить!

Картинки посылаются черезъ контору Т.: Африка ѣдетъ въ Корчеву.

Трубочки взяты офицеромъ. Александръ».

Въ продолженіе этого лѣта Вадимъ составилъ статистическое описаніе Московской губерніи. Зимой Иванъ Григорьевичъ Сенявинъ представилъ его въ статистическій комитетъ; оно было одобрено и признано образцовымъ. Сенявину дали за него въ награду 6.000 р. сер., изъ числа которыхъ онъ удѣлилъ Вадиму тысячу рублей.

Кромѣ этихъ занятій, Вадимъ составилъ «Путеводитель по Москвѣ и ея окрестностямъ» и хлопоталъ съ изданіемъ «Очерковъ Россіи». Изданіе становилось дорогимъ—средствъ не было никакихъ: что выручалось за напечатаніе одной книги, то уходило на изданіе другой. Служба Вадима считалась,—жалованья не давали. Временами гнетущая нужда тяготѣла надъ нами, но никогда не раздражала, не разъединяла насъ, напротивъ, какъ бы больше и больше сближала другъ съ другомъ. Погрустимъ, бывало, вмѣстѣ, да подумаемъ, какъ бы дѣлу помочь, и что-нибудь придумается,—мы довольствовались немногимъ. Внутренняя жизнь наша была такъ полна и давала столько счастья, что я даже боялась матеріальнаго улучшенія—это было бы слишкомъ. Ни горькаго слова, ни холоднаго взгляда не пало между нами въ продолженіе десяти лѣтъ нашей жизни вмѣстѣ.

*) Очерки Россіи: «Поѣздка въ Бахчисарай».

Однажды, весной 1842 года, пріѣхалъ къ намъ архимандритъ Симонова монастыря Мельхиседекъ и пробылъ довольно долго съ Вадимомъ въ залѣ; когда онъ уѣхалъ, Вадимъ позвалъ меня къ себѣ и сказалъ, что Мельхиседекъ предложилъ ему сдѣлать историческое описаніе Симонова монастыря за 300 рублей серебромъ.

— Ты знаешь,—продолжалъ онъ:—какъ я люблю эту обитель; понятно, что съ радостью принялъ предложеніе, только, вмѣсто платы деньгами, просилъ за мой трудъ отвести мѣсто на монастырскомъ кладбищѣ для погребенія всѣхъ насъ.

У меня болѣзненно сжалось сердце какъ бы предчувствіемъ.

— Зачѣмъ такое условіе, — сказала я: — можно не брать платы и безъ него. Не все ли равно, гдѣ бы ни пришлось лежать. Неизвѣстно, въ какомъ мѣстѣ кому изъ насъ придется умереть.

— Мнѣ показалось такъ лучше,—отвѣчалъ Вадимъ спокойно и даже весело.—Что же отъ этого можетъ случиться? Только мѣсто будетъ готово.

— Богъ знаетъ!—съ какой-то невольной тоской въ груди возразила я.

Мельхиседекъ привезъ матеріалы для исторіи Симоновой обители. Работа началась и скоро была кончена. Рабусъ сдѣлалъ къ описанію виды монастыря. Мельхиседекъ остался доволенъ. Изданіе быстро разошлось и доставило монастырю нѣкоторыя выгоды.

Въ 1843 году, въ XXXII т. «Современника» появилась объ этой книгѣ весьма одобрительная рецензія.

Въ маѣ мѣсяцѣ заболѣла наша трехлѣтняя дочь, Катенька. Близкій пріятель Вадима, Ѳеодоръ Ивановичъ Иноземцевъ, лѣчилъ ее и не помогъ. Когда дитя кончалось, случайно пріѣхалъ Мельхиседекъ и вошелъ въ дѣтскую, гдѣ мы, обливаясь слезами, стояли на коленяхъ у кровати умирающей. Мельхиседекъ прочиталъ молитву, благословилъ ее и, обращаясь къ Вадиму, сказалъ: «Что же, Вадимъ Васильевичъ, къ намъ, въ обитель, вашего ангела». Черезъ часъ малютка наша лежала въ залѣ на столѣ, въ бѣлой рубашечкѣ, розовыхъ лентахъ и цвѣтахъ, съ своей милой улыбкой, застывшей

съ послѣднимъ вздохомъ на ея ротикѣ. Какому видѣнію она улыбулась, отходя?

Въ раскрытыя окна вѣяло весной. Какія-то птички чирикали въ вѣткахъ акаціи, распускавшейся подъ окнами залы со двора. Солнце свѣтило весело, лучи его играли съ пламенемъ свѣчей, горѣвшихъ вокругъ умершей.

Рабусъ снималъ съ нея портретъ карандашомъ, Кампіони снялъ маску. Ночами Вадимъ плакалъ у гроба дочери. Черезъ три дня она первая легла на мѣстѣ, заработанномъ ея отцомъ, и—не послѣдняя.

Пусто стало въ домѣ.

— Что ты все плачешь?—часто говорилъ мнѣ Вадимъ, сдерживая слезы.

— Дѣти у меня не всѣ, холодно мнѣ, Вадимъ, холодно.

А тутъ ея платица, ея игрушки, въ карманѣ фартучка вырѣзанные изъ бумаги звѣрьки, цвѣточки.

Все это она сама передъ болѣзнію уложила въ свой ящичекъ, стоявшій въ дѣтской на полу.

Сколько горькихъ слезъ было пролито подлѣ этого ящичка!

На девятый день мы поѣхали къ нашей малюткѣ,—тихо подошли къ маленькому холмику—зеленѣетъ, юная жизнь вездѣ пробивается—въ листочки, въ бутоны, въ ландыши, въ душистые цвѣты черемухи, склоненной надъ холмикомъ. Мы прислонились къ черемухѣ. Тишина непробудная, солнечные лучи, пробираясь сквозь гибкія вѣтки деревьевъ, опушенные молодыми листочками, мелькаютъ по надгробнымъ памятникамъ. Постояли мы подлѣ маленькаго зеленаго холмика,—какъ-то странно, тихо; сказали почему-то нѣсколько словъ совсѣмъ о стороннемъ, да вдругъ я зарыдала и обняла землю, покрывавшую мое дитя—не отозвалась на мои слезы. Она была уже не наша. Оставалось, склонивъ колѣна, поклониться неизмѣняемому. Въ такія минуты человекъ ищетъ примиренія. Примиряетъ одна религія.

Я не предвидѣла, какое несчастье ожидало меня.

Въ іюнѣ 1842 г. мы переѣхали на дачу въ Красное Село; Вадимъ чувствовалъ себя не хорошо, похудѣлъ. Онъ простудился, а мы относили его «не по себѣ» къ разстройству нервовъ. Въ іюлѣ прибылъ изъ Новгорода

въ Москву Саша и тотчасъ посѣтилъ насъ на дачѣ. Онъ напелъ въ Вадимѣ большую перемѣну, но не сказалъ намъ ни слова, напротивъ, старался разнообразить разговоры. Между прочимъ, съ большимъ сожалѣніемъ говорилъ о кончинѣ Михаила Ѳеодоровича Орлова. Онъ бывалъ у Орлова еще студентомъ, любилъ его и всегда съ восторгомъ рассказывалъ о его мужественной, привлекательной наружности и его юношескомъ сочувствіи современности. Большая часть молодого поколѣнія того времени поклонялась ему, правительство смотрѣло на него какъ на либерала; либералы находили, что онъ слишкомъ легко наказанъ сравнительно съ другими декабристами. Онъ былъ возвращенъ, но не прощенъ. Энергичный и честолюбивый, М. Ѳ. Орловъ чувствовалъ необходимость дѣлать дѣло, выразить себя; искалъ занять высшія правительственныя должности—и принужденъ былъ ограничиваться общественной жизнью да устройствомъ своего дома и состоянія.

Въ Москвѣ Михаила Ѳеодоровича любили, цѣнили его возвышенную честность, его рыцарское благородство, и когда онъ заболѣлъ, то все, что только было достойнаго уваженія, выразило ему свое сочувствіе. Многочисленная толпа провожала его до послѣдняго пристанища.

Изъ числа небольшого интимнаго круга знакомыхъ Орлова, ближе всего къ нему и замѣчательнѣе былъ П. Я. Чаадаевъ. Умный и талантливый, онъ также тратилъ свои способности на разговоры, едва ли удовлетворяющіе его жажду дѣятельности.

Саша былъ счастливъ своимъ переселеніемъ въ Москву; еще изъ писемъ его къ роднымъ видно было, что служба, а потомъ и безъ службы жизнь въ Новгородѣ тяготитъ его. Онъ рвался въ столицу, къ людямъ, ему симпатичнымъ, къ жизни умственной и артистической, къ возможности употребить въ дѣло множество силъ своихъ. Только разъ, въ началѣ лѣта, онъ былъ оживленъ пріѣздомъ Ника и привезенными имъ, только что вышедшими тогда «Мертвыми душами» Гоголя. Александръ пришелъ отъ нихъ въ восторгъ и потомъ всегда говорилъ, что находитъ названіе этой поэмы чрезвычайно удачнымъ, не только потому, что Чичиковъ скучаетъ мертвыя души, но что и всѣ души, выступающія

на сцену—души мертвыя; одинъ человекъ живой—Чичиковъ,—да и тотъ—мошенникъ. «Утѣшеніе—въ будущемъ»,—добавлялъ онъ.

О «Мертвыхъ душахъ» говорили вездѣ. Кто бранилъ, кто восторгался ими.

Отца своего Александръ нашелъ состарившимся, со всѣмъ вдавшимся въ мелочи и дѣйствительно нездоровымъ, хотя преувеличенно, воображеніемъ. Возвращеніе его нарушило безмолвіе и однообразіе дома Ивана Алексѣевича. Онъ и семейство его проводили съ отцомъ по нѣсколько часовъ ежедневно; но сосредоточиться только на жизни семейной Саша не могъ. Вскорѣ по возвращеніи своемъ въ Москву онъ собралъ вокругъ себя прежній кругъ друзей, расширилъ его новыми личностями и горячо отдался товарищеской жизни и литературной дѣятельности.

25-го августа Вадимъ еще могъ быть у Наташи на именинахъ. Всѣ находившіеся у нихъ въ этотъ день отнесли къ нему съ глубокимъ сочувствіемъ, а Саша—съ прежнимъ юношескимъ чувствомъ любви, забывши, что они противоположно смотрятъ на нѣкоторые предметы, и, вѣроятно, не разошлись бы больше никогда: они понимали вполне другъ друга и ясно видѣли, что большая часть интересовъ этого круга составляли интересы и Вадима.

Въ исходѣ сентября силы Вадима стали упадать. Я видѣла это и не понимала—я далека была отъ истины; навѣщавшіе насъ понимали, но никто ничего не говорилъ мнѣ, а когда сказали... что было тогда—думала-было пережить еще разъ, и—не могла... лучше и не воспоминать.

25-го октября 1842 года, въ 8 часовъ утра, Вадимъ Васильевичъ Пассекъ кончилъ жизнь, отъ скоротечной чахотки, на 34-мъ году отъ рожденія, тихо, въ полномъ сознаніи, причастившись Святыхъ Таинъ, благословивши дѣтей своихъ. Погребенъ въ Симоновомъ монастырѣ рядомъ съ дочерью.

XL.

1842—1843.

Encore une étoile qui file, qui
file, file et disparaît.

Beranger.

На колѣняхъ передъ крестомъ молила себѣ смерти, при видѣ малютокъ сиротъ чувствовала—жить надобно. Третій просился въ жизнь. Кто же ихъ любить будетъ? холодно на свѣтѣ сиротамъ.

Долго не могла отчетливо сообразить совершившагося, порой точно удивлялась, спрашивала себя — что это, не сонъ ли,—какъ, зачѣмъ?

Многіе посѣщали насъ. Помню, всѣхъ встрѣчала спокойно. Горемъ своимъ ни съ кѣмъ дѣлиться не хотѣла. Траура не надѣвала, носила только тѣ платья, которыя онъ видѣлъ на мнѣ. Слезъ моихъ не видалъ никто, плакала я, оставаясь одна, да когда смотрѣла на дѣтей и видѣла, что они весело играютъ. Не разъ дѣти бросали игрушки и съ удивленіемъ смотрѣли на мои градомъ катившіяся слезы; не разъ, съ огорченіемъ въ дѣтскомъ личикѣ,тирали рученками мое мокрое отъ слезъ лицо.

Вечерами, уложивши дѣтей спать, я уходила въ пустую залу, садилась у окна, смотрѣла на безчисленныя звѣзды и думала, что же наша звѣздочка-земля среди этого океана звѣздъ, что же наше горе передъ вѣчностію—и какъ бы успокаивалась или, скорѣе, смирялась. Опускался взоръ на землю и снова встрѣчался съ своимъ безысходнымъ горемъ.

Средствъ къ жизни у насъ не осталось никакихъ, а остался долгъ въ пять тысячъ серебромъ, большею частью въ типографію и литографію, да сдѣланный въ болѣзнь Вадима и 1.700 руб. по поручительству за моего брата; оба послѣдніе долга—съ значительными процентами. Первое время послѣ нашей утраты мнѣ было ни до чего: передъ моимъ несчастьемъ все мнѣ казалось ничтожно. Какъ и чѣмъ намъ жить—меня не тревожило и не заботило. Сегодня есть—и прекрасно, а откуда—

мнѣ было все равно. Съ нами жилъ старшій братъ Вадима, Егоръ Васильевичъ; должно-быть, онъ заботился. Вадимъ любилъ его; думаю, умирая, надѣялся на него и его дружбѣ поручалъ сиротъ своихъ. Спустя нѣсколько недѣль по кончинѣ Вадима, братъ получилъ извѣстiе изъ Смоленской губерніи, что тетушка наша Наталья Ивановна Пассекъ *) больна при смерти, то немедленно бы ѣхалъ къ ней въ ея имѣніе Яковлевичи. Братъ немедленно уѣхалъ. Тетушка вскорѣ скончалась; половину имѣнія она оставила сводному брату своего покойнаго мужа, Михаилу Александровичу Салтыкову, а другую—Егору и Валерьяну Васильевичамъ Пассекъ. Братъ Егоръ Васильевичъ обо всемъ этомъ сообщилъ мнѣ; вмѣстѣ съ письмомъ прислалъ дѣтямъ вязанныя шерстяныя одѣяльца и нѣсколько столоваго серебра, отказаннаго намъ тетушкой; сверхъ того, обѣщалъ высылать дѣтямъ ежегодно вмѣстѣ съ Валерьяномъ 300 руб. сер. Столовое серебро я продала за 700 руб. и уплатила имъ часть долга въ типографію и литографію. Выплатить все за Вадима стало моею святою цѣлью. Когда литераторы издали въ память его сборникъ подъ названіемъ «Литературный вечеръ», то полученные за него деньги отданы были мною въ уплату этого долга. Всѣ экземпляры сборника были раскуплены мгновенно, не за достоинство его содержанія, а изъ желанія помочь сиротамъ челоуѣка, оставившаго по себѣ самую свѣтлую, самую прекрасную память.

1844 г. въ 35-мъ томѣ «Современника» появилась слѣдующая рецензія:

Литературный вечеръ.

«Преждевременная кончина Вадима Васильевича Пассека, литератора трудолюбиваго, образованнаго, благороднаго, который особенно извѣстенъ изданіемъ «Очерковъ Россіи», соединила его товарищей на пріятное дѣло благотворительности: они составили и напечатали въ пользу семейства покойнаго разсматриваемую здѣсь книгу. Участниками въ ней были: Н. Горчаковъ, Н. М. Снегиревъ, А. Вельтманъ, М. Н. Загоскинъ, г. Ригель-

*) Рожденная Оленина, жена П. Б. Пассекъ, побочнаго сына П. Б. Пассека.

манъ, М. Н. Макаровъ, Н. Огаревъ, С. П. Шевыревъ, Н. М. Языковъ, г-жи Павлова и Бакунина, гг. Сатинъ, Полонскій и Подолинскій, О. Н. Глинка, Нефловъ и И. Бороздна. Пріятное разнообразіе составляетъ отличный характеръ этого новаго сборника. Литераторы, сообщившіе въ него свои сочиненія, такъ уже извѣстны у насъ своими талантами, что никто не обманется въ надеждѣ, если, съ прекраснымъ побужденіемъ участвовать въ добромъ дѣлѣ, будетъ ожидать съ покупкою книги и занимательнаго для себя чтенія.

«Между пьесами поименованныхъ нами писателей, помѣщена небольшая статья покойнаго В. В. Пассека подъ названіемъ: «Странное желаніе». Есть еще не конченная имъ статья «Малороссійская свадьба». Последняя особенно любопытна, какъ подробное изображеніе всѣхъ обрядовъ у малороссіянъ при свадьбахъ. Это остатки сочиненій, которыя преимущественно любилъ обрабатывать В. В. Пассекъ и которымъ онъ умѣлъ сообщать истинное достоинство литературное и ученое. Посвятивъ свои занятія и любовь этимъ патриотическимъ трудамъ, не увлекаясь господствующею нынѣ гibelною для талантовъ модою переходить безпрестанно отъ одного рода сочиненій къ другому (болѣе прібыточному), В. В. Пассекъ представилъ собою образецъ литератора въ истинно-достойномъ его значеніи».

Сердечное сочувствіе къ нашему несчастію показала намъ Елизавета Григорьевна Черткова, рожденная графиня Чернышева, женщина исполненная чувства и благородства, съ которой Вадимъ и я дружески сблизились за два послѣдніе года его жизни, и графъ Александръ Никитичъ Панинъ. Александръ Никитичъ былъ очень расположенъ къ Вадиму и чувство этой привязанности перенесъ на его осиротѣлое семейство. Понимая безвыходность нашего положенія, онъ, съ врожденной ему деликатностью, помогалъ намъ: въ большіе праздники и именины дѣтей привозилъ имъ на игрушки по сто и по двѣсти руб. сер. Намъ ли было думать объ игрушкахъ!

1843 г. 25-го марта у меня родилась дочь; крестный отецъ ея, Александръ Дмитріевичъ Чертковъ, на другой день крестинъ подарилъ новорожденной серебряную вазу—и вазу продали, чтобы на это жить.

Несмотря на неутомимый труд мой надъ переводами въ разные изданія и отъ времени до времени помощь графа Панина, порой приходилось терпѣть такую крайность, что я дня по два ѣла только хлѣбъ съ водой, оставляя дѣтямъ лишнюю тарелку супа и лишній кусокъ мяса отъ нашего бѣднаго обѣда. Новорожденная сирота росла,—осенью ея не стало, должно-быть, молоко мое отравило—и ее положили на столъ въ бѣлой рубашечкѣ, розовыхъ лентахъ и цвѣтахъ, а черезъ три дня отвезли въ Симоновъ монастырь, къ отцу и сестрѣ, на заработанное мѣсто. Въ залѣ прибрали, колыбель вынесли,—чисто, вымыто, будто и не было ничего, только ладаномъ понахиваетъ, да что-то холодно въ груди, да какъ-то слишкомъ просторно въ домѣ. Робко смотрѣла я на двухъ оставшихся у меня сыновей. Сердце, напуганное утратами, дрожало и за нихъ. На нихъ сосредоточилась вся любовь моя, всѣ заботы мои. Оставляя на свою долю труды и лишенія, старалась сдѣлать жизнь ихъ по возможности такъ радостной, чтобы они, обращаясь къ своему дѣтству, встрѣчали только улыбающіеся дни и исполненные безконечной любви взоры матери; такимъ образомъ жизнь наша текла вмѣстѣ, но по двумъ параллельнымъ линіямъ.

Многіе изъ знакомыхъ посѣщали насъ, чаще всѣхъ бывали Елизавета Григорьевна Черткова, Луиза Ивановна и Сапа.

Жизнь Сапы, повидимому счастливая, сколько мнѣ было извѣстно и видно изъ его оставшихся записокъ, шла не совсѣмъ свѣтло. Наташа, кромѣ слабаго здоровья, постоянно находилась подъ гнетущимъ чувствомъ сомнѣнія въ любви къ ней мужа; это порой выражалось болѣзненными сценами, которыя Сапу мучили. Онъ относилъ ихъ то къ ея физическому разстройству, то къ воспитанію, къ характеру, къ привычкѣ сосредоточиваться на печальныхъ мысляхъ, то весь вредъ находилъ въ томъ, что она удаляется отъ общества, ведетъ отшельническую жизнь; обвинялъ себя, зачѣмъ часто оставлять ее одну по слишкомъ поглощающимъ его умственнымъ занятіямъ; зачѣмъ по безпечности не измѣнилъ ея душевнаго настроенія и не сумѣлъ достаточно счастливо обставить ея жизнь. Часто заставляя ее въ слезахъ—въ началѣ старался ее развлекать, успокаивать.

валъ, скрывалъ свое огорченіе, наконецъ, терялъ терпѣніе и то уходилъ изъ дома въ какомъ-то горячечномъ состояніи, то прибѣгалъ къ объясненіямъ,—объясненія эти рѣдко приводили къ желаемому результату. Наташа плакала, говорила, что она, всегда больная, страждущая, портитъ ему жизнь, что она ему не нужна и лучше бы было ему отъ нея избавиться, лучше бы ей умереть, что онъ, конечно, потосковалъ бы о ней, а потомъ—спокойствіе. Сапа увѣрялъ ее въ своей любви, говорилъ, что всѣ ея сомнѣнія—тѣни, призраки; Наташа, заливаясь слезами, признавалась, что эти сомнѣнія не оставляли ее съ первыхъ дней ихъ жизни вмѣстѣ, а она только скрывала ихъ отъ него; что они рождались въ ней съ ихъ первыхъ встрѣчъ и она тогда же поняла, что его натурѣ можетъ соотвѣтствовать натура болѣе энергичная, нежели ея. Когда Александру удавалось увѣрить Наташу въ противномъ и успокоить—она, рыдая, раскаивалась въ своихъ сомнѣніяхъ, просила простить ее, затѣмъ слѣдовали ясные дни, но не надолго. Какъ ни старался Сапа улаживать ихъ семейное счастье, какъ ни устраивалъ—опять все рушилось. Внутренній голосъ подсказывалъ Наташѣ мрачныя вещи.

Такое тяжелое состояніе еще больше увеличилось по прїѣздѣ ихъ изъ Новгорода.

При блестящемъ умѣ и рѣдко-добромъ сердцѣ, Сапа по распущенности и съ дѣтства вкоренившейся привычкѣ, не долго думая, дѣлать все, что захотѣлось, не заботясь, какъ оно отзовется другимъ—и даже самому себѣ, выпадалъ иногда въ такіе промахи и ошибки, которые разрушительно отзывались не только лично на немъ, но и на его семействѣ. Вслѣдствіе этой черты его характера, въ Москвѣ онъ—увлекся... не по сердечному чувству... раскаивался, жалѣлъ, надѣялся, что все сойдетъ съ рукъ даромъ, но оно не сошло, а сдѣлалось источникомъ долгихъ душевныхъ страданій.

Наташа хотѣла простить, забыть и—не могла.

Этого онъ не ждалъ. Она была огорчена—оскорблена. Огорченіе ея стало принимать все болѣе и болѣе широкіе размѣры,—Александръ терлся передъ ея горемъ, передъ ея слезами, чувствуя себя виноватымъ, просилъ, умолялъ, говорилъ ей: «Я сохранилъ къ тебѣ любовь во всей ея свѣтлости».

«Обвиняя себя,—писалъ, мысленно обращаясь къ Наташѣ,—я поднимаюсь, а рубцы-то, нанесенные мной? Безконечная любовь носить въ себѣ и безконечное чувство самодостойнства. Она плачетъ не о фактѣ, а объ утраченномъ счастьи».

«Этотъ пятый годъ моей женитьбы раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія; людямъ нравится во мнѣ широкій взглядъ, человѣческія симпатіи, теплая дружба, добродушіе — и не видятъ, что fond всему слабый характеръ. Во мнѣ нѣтъ твердой, хранительной силы. Мечты, мечты мои! гдѣ вы? Послѣдніе листы облетѣли—и призваніе общее, и призваніе частное,—все оказалось призракомъ, одни сомнѣнія царятъ въ душѣ, и слезы о вѣкѣ, о страхѣ, о дружбѣ, о себѣ, о ней—grace, grace, pour soi même!»

Измученный, онъ обращался къ друзьямъ за сочувствіемъ, за совѣтомъ, и находилъ въ сочувствіи—судъ, въ совѣтахъ—предложенія не сообразныя ни съ его характеромъ, ни съ больнымъ состояніемъ его духа, и упреки, если имъ не слѣдовало.

Странно и оскорбительно бываетъ участіе большей части людей, даже и любящихъ насъ.

Да, жизнь учить насъ мученьями, годами и событіями.

Когда тишина и свѣтлые дни возвращались, Саша отдыхалъ и ловилъ эти минуты, чтобы жить и жить. Время смягчило рѣзкій періодъ нравственной боли. Полное возстановленіе семейнаго спокойствія онъ возлагалъ на путешествіе въ теплый край, на море, на жизнь только съ своей семьей. Черезъ посредство графа С. Г. Строганова, хорошо расположеннаго къ нему, онъ просился за границу, ему — отказали. Въ то время рѣдко кого отнуждали.

Потерявши надежду выѣхать изъ Россіи и попортивши себѣ семейную жизнь, Саша еще съ большимъ жаромъ отдался кругу своихъ друзей, ученымъ занятіямъ, чтенію и литературнымъ трудамъ. Нѣсколько статей его, помѣщенныхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», приняты были съ восторгомъ—и вліяніе ихъ на общество убѣдило Александра, что призваніе его—литература. «Жребій брошенъ,—говорилъ онъ,—призванію моему я жертвую всѣмъ,—иначе не могу. Въ послѣднее время я

окрѣтъ, возмужалъ, мнѣ нуженъ досугъ. Теперь больше чѣмъ когда-нибудь я надѣюсь на силу души».

Изъ записокъ Саши видно, что въ продолженіе постоянной жизни его въ Москвѣ отъ 40-го до 46-го года—онъ прочиталъ, кромѣ Гегеля, философій котораго увлекался и которую изучалъ во всей ея обширности: Декарта, Бекона, Якова Бема, Спинозу, Шеллинга, Фихте, Гердера, Шлоссера, Лессинга, Монтескьё, Лукреція, лучшихъ энциклопедистовъ, лучшихъ русскихъ писателей. Перечиталъ Гёте, Байрона, Шиллера. Сравнивая *Esthetische Erziehung der Menschheit* Шиллера съ разсужденіями Лессинга о воспитаніи человѣчества, находилъ, что оно многими предупредило свое время, что это произведение — пророческое. О лекціяхъ Виллемена писалъ, что въ нихъ оживаетъ XVIII вѣкъ, и онъ переноситъ во времена великихъ именъ. Съ большимъ интересомъ читалъ онъ и дѣлалъ извлеченія изъ *Dix ans* Луи Блана; изъ *Revolution d'Angleterre*—Гизо; *Contre revolution en Angleterre* Карреля,—писемъ Форстера о коммунистахъ въ Швейцаріи, Прудона о социализмѣ. Сверхъ всего получалъ лучшіе журналы и жарко слѣдилъ за научнымъ и политическимъ движеніемъ тѣхъ годовъ.

Кромѣ обширнаго чтенія онъ слушалъ лекціи анатоміи и физиологіи въ университетѣ и намѣревался начать какой-то продолжительный трудъ. Готовился участвовать въ журналѣ, о разрѣшеніи котораго просилъ Грановскій. Изданіе журнала Грановскому не разрѣшили.

Интимный кругъ Александра былъ извѣстенъ подъ названіемъ «круга западниковъ». Западники вскорѣ вступили въ борьбу съ кругомъ, извѣстнымъ тогда подъ названіемъ славянофиловъ. Они встрѣчались на вечерахъ у Елагиныхъ и Свербѣевыхъ съ Киреевскими, Аксаковыми, Самаринимъ и другими. Несмотря на противоположность воззрѣній, корифеи западниковъ относились съ большимъ уваженіемъ къ нѣкоторымъ личностямъ изъ славянофиловъ. Они высоко ставили братьевъ Аксаковыхъ; Петра Васильевича Киреевскаго уважали за широту и искренность принятаго убѣжденія; въ Иванѣ Васильевичѣ Киреевскомъ находили даровитую, сильно экзальтированную натуру; въ Хомяковѣ увлекались блескомъ ума, логикой и объемистымъ пониманіемъ. Бе-


сѣды и споры обѣихъ партій послужили къ уясненію нѣкоторыхъ вопросовъ, и взаимно сдѣланы были уступки. Западники соглашались, что противники ихъ не безъ основанія вѣрили въ великую будущность славянъ, и что призваніе этого племени соотвѣтствуетъ логически-историческому вопросу, выработанному Европой.

Москва въ то время дѣлилась на много партій, связанныхъ однимъ убѣжденіемъ, что настоящее тяжело. Выходъ изъ такого состоянія каждый видѣлъ на свой образецъ.

Къ числу западниковъ принадлежали: Чаадаевъ, Свербѣевъ, Н. Н. Боборыкинъ, Сологубъ, А. А. Тучковъ. Впослѣдствіи къ нимъ присоединился Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Прелестные рассказы его о своихъ прошлыхъ годахъ, исполненные своего рода ироніей, послужили предметомъ къ одной изъ интересныхъ повѣстей Александра.

Лѣто 1843 года я съ дѣтьми прожила въ Москвѣ; Александръ съ семействомъ уѣхалъ въ Покровское, откуда писалъ мнѣ, какія чувства эти мѣста и совершенная ими поѣздка въ Васильевское — воскресили въ душѣ его.

«Цѣлый рядъ картинъ, — писалъ онъ, — мелькнулъ передо мной между 27-мъ и 38-мъ годами. Съ Покровскимъ, съ Васильевскимъ, съ ихъ лѣсами, горами, рѣкою — связано мое дѣтство, мое отрочество, время — когда вѣрилось въ зарю счастья, когда увлекали древнія республиканскія идеи и идеалы Шиллера. Тутъ, лежа подъ деревомъ, читался Плутархъ; тамъ билось свѣжее отроческое сердце; въ 1837 году жизнь раскрывалась всѣмъ блаженствомъ своимъ; лежала впереди всею прелестью своею, и проч., и вотъ, — кончалъ онъ, — измученный, разочарованный, у тѣхъ же полей ищу участія....»



XII.

Тимоей Николаевичъ Грановскій.

Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человечества—далека была отъ его наукообразнаго взгляда; онъ вездѣ покорялся объективному значенію событий и стремился только раскрыть смыслъ ихъ.

1843 года 23-го ноября начались публичныя чтенія Тимоея Николаевича Грановскаго. Блестящая, многочисленная аудиторія окружила кафедру молодого доцента, обѣщавшаго ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка,—этихъ каменныхъ представителей замкнутой въ себѣ и оконченной эпохи. Благороднѣйшіе представители московскаго общества сѣли на скамьяхъ студентовъ.

Когда объявлены были публичныя лекціи Грановскаго, весь кругъ Александра пришелъ въ сильную агитацію—какъ примутъ? что будетъ? Всеобщій интересъ, всѣ разговоры сосредоточивались на лекціяхъ, всѣ отрѣшились самихъ себя. Лекціи начались. Всѣ мало-мальски знакомые съ университетскимъ образованіемъ какъ бы стыдились не бывать на чтеніяхъ Грановскаго. Во время чтенія аудиторія бывала биткомъ набита. Дамы всѣхъ возрастовъ считались десятками, не только тѣ, которыя принадлежали къ ученому кругу, но и не заявившія никакихъ претензій на ученость. Профессора, студенты, статскіе, военные—наполняли аудиторію.

Всѣ слушали внимательно, съ интересомъ. Всѣ лица были одушевлены, ни на одномъ не было ни тѣни скуки, ни утомленія. Появленіе Грановскаго на кафедрѣ встрѣчалось шумно, рукоплесканіямъ не было конца. Грановскій, впечатлительный и нѣжный, растрогивался, смущаясь, раскланивался; одной рукой вынималъ изъ кармана платокъ, другой имъ утирался, прокашливался; снова вынималъ платокъ. Когда онъ приходилъ въ себя—

все умолкало; всѣ взоры устремлялись на молодого доцента, — онъ тихо, плавно начиналъ читать и чѣмъ далѣе читалъ, тѣмъ рѣчь его становилась сильнѣе, интереснѣе, — наконецъ совсѣмъ поглощала вниманіе слушателей. Слушали, задыхаясь отъ восторга. Конецъ лекціи бывалъ еще шумнѣе начала. Поднимался крикъ, стукъ, гамъ такой, что стекла дребезжали въ окнахъ.

Послѣ лекціи Грановскій уходилъ въ профессорскую комнату до того взволнованнымъ, что почти не могъ говорить, на глазахъ у него навертывались слезы, — онъ садился, вставалъ, улыбался, снова садился — онъ былъ счастливъ.

Не многимъ выпадаетъ на долю переживать такіа минуты.

Александръ написалъ статью о первой лекціи, отвезъ ее графу С. Г. Строганову и просилъ помѣстить въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Графъ принялъ статью, съ условіемъ, чтобы въ ней не было рѣчи о Гегелѣ, и приказалъ напечатать въ 142 № «Московскихъ Вѣдомостей» 1843 г.

Публичныя чтенія Т. Н. Грановскаго.

(Письмо въ Петербургъ).

«Новаго въ нашемъ литературно-ученомъ мірѣ не много. Предвижу вашу улыбку при этомъ словѣ. «Въ Москвѣ лѣнятся, въ Москвѣ отдыхаютъ передъ трудомъ». Такъ — и нѣтъ. Правда, въ Москвѣ говорятъ больше, нежели пишутъ, думаютъ больше, нежели работаютъ, въ Москвѣ иногда лучше любятъ ничего не дѣлать, нежели дѣлать ничего. Правда и то, что иной разъ сквозь видимую апатію прорывается вдругъ какое-нибудь явленіе прекрасное и глубоко-знаменательное, трудъ разумный и отчетливый, не механическій продуктъ фабрично-искусственной дѣятельности, а дѣяніе поэтическое и свободное. Къ такимъ явленіямъ отношу я публичный курсъ исторіи среднихъ вѣковъ г. Грановскаго. Въ самомъ событіи этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: въ то время, когда трудный вопросъ объ истинномъ отношеніи западной цивилизаціи

къ нашему историческому развитію занимаетъ всѣхъ мыслящихъ и разрѣшается противоположно, является одинъ изъ молодыхъ преподавателей нашего университета на кафедрѣ, чтобъ передать живымъ словомъ исторію того оконченнаго отдѣла судебъ міра германо-католическаго, котораго самобытно развивающаяся Россія не имѣла. Г. Грановскій, года три тому назадъ оставившій скамьи лучшихъ германскихъ университетовъ, посвятившій жизнь свою глубокому изученію европейской исторіи, выходитъ передъ московскимъ обществомъ не какъ адвокатъ среднихъ вѣковъ, а какъ заявитель великаго ряда событій, въ ихъ органической связи съ судьбами всего человѣчества; его чтенія не могутъ быть разрѣшеніемъ вопроса, не должны внести въ него новыя данныя; онъ въ правѣ требовать, чтобъ, желая осуждать и отталкивать цѣлую фазу жизни человѣчества—выслушали по крайней мѣрѣ симпатическій рассказъ о ней. Благородную симпатію къ своему предмету мы видѣли, глубоко тронутые, въ первыхъ прекрасныхъ словахъ, которыми открылъ г. Грановскій курсъ свой. Эта симпатія—великое дѣло: въ наше время глубокое уваженіе къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрятъ на европейское какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловѣческомъ утратить русское. Генезисъ такого воззрѣнія понятенъ,—но и неправда его очевидна. Человѣкъ, любящій другого, не перестаетъ быть самимъ собою, а расширяется всѣмъ бытіемъ другого; человѣкъ, уважающій и признающій права ближняго, не лишается своихъ правъ, а незыблемо укрѣпляетъ ихъ. Мы должны уважить и оцѣнить скорбное и трудное развитіе Европы, которая такъ много даетъ намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство, которое раскрывается въ мнимомъ врагѣ—брата, въ расторгненіи—миръ: одно сознаніе этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный потомъ и кровью—Западомъ; это сознаніе съ нашей стороны есть вмѣстѣ мысль и любовь—оттого оно такъ легко; логика и симпатія всего менѣе тѣснятъ человѣка: человѣкъ созданъ, чтобъ думать и любить. Первые слова Грановскаго, проникнутыя любовью, проникнутыя мыслью, заставили меня ожидать многого отъ его чтеній!—И какою блестящею

аудиторию окружила Москва человека, обещавшаго ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка,—этих каменных представителей замкнутой в себя и оконченной эпохи. Да, московское общество самым лестным образом оценило приглашение доцента: благороднейшие представители этого общества (мы говорим о дамах образованнейшаго круга) сели на скамьях студентов и слушали—и слушали в самом деле, мы видели это. И после этого говорите, что всеобщие интересы не имеют глубоких корней в публике: она с необыкновенным тактом сознает всю современность живой, всемирной речи об истории. В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное pytanie прошедшаго, чѣм яснѣе видать, что бывшее пророческуетъ, что, устремляя взглядъ назадъ—мы, какъ Янусъ, смотримъ впередъ. Духъ, понимая свое достоинство, хочетъ оправдать свою біографію, освѣтить ее восходящимъ солнцемъ мысли, освободить отъ могильнаго тѣна безсмертную душу прошедшаго, какъ то нѣслѣдіе его, которое не точится молью. История, если не страшный судъ человечества, то—страшное оправданіе, всѣхъ—скорбящее прощенье его; история—чистилище, въ которомъ мало-помалу временное и случайное воскресаетъ вѣчнымъ и необходимымъ, тѣло смертное преобразуется въ тѣло безсмертное. Память человека есть память человечества, есть память поэта и мыслителя, въ которой прошедшее живетъ, какъ художественное произведеніе. Но что же новаго скажетъ г. Грановскій? Развѣ мало писано объ исторіи среднихъ вѣковъ, начиная съ французовъ XVIII столѣтія, не понимавшихъ прошедшаго, и до Лео, который не понимаетъ настоящаго? Человѣчество въ разныхъ эпохи, въ разныхъ странахъ, оглядываясь назадъ, видитъ прошедшее, но самымъ образомъ восприниманія и отраженія его раскрываетъ само себя. Чтобы привести первый примѣръ, попавшійся въ голову, вспомните, какимъ рядомъ метемпсихозъ гомерическіе и софокловскіе герои перешли сквозь душу Сенеки, Расина, Альфиери, Гёте. Самъ Грановскій сказалъ, что ни въ чемъ такъ ярко не выражается характеръ народа, какъ въ пониманіи исторіи; я совершенно согласенъ съ нимъ и

потому именно придаю такое значеніе его чтеніямъ. Для насъ вѣка готическіе не имѣютъ того смысла, какъ для западнаго европейца: архитектура огивы не напоминаетъ намъ ни отчаго дома, ни храма божія; рыцарскія поэмы и западныя легенды не похожи на наши колыбельныя пѣсни; для насъ средніе вѣка имѣютъ иной интересъ, чисто-человѣческій, безкорыстный, отрѣщенный отъ всякой непосредственности. Мы породнились съ Европой, когда феодализмъ, послѣдовательный и неутомимый въ консеквентности, своими ногами сталъ себѣ на грудь, своимъ языкомъ громогласно отрекся отъ своихъ родителей и, забывъ свое сердце, положилъ краеугольнымъ камнемъ новаго зданія свою голову, послѣднюю отъ мысли. Мы сначала узнали новую Европу, а потомъ справились о ея происхожденіи. Оттого нашъ взглядъ на прошедшее Европы не можетъ быть взглядомъ старшихъ—европейцевъ. Западно-европейскій историкъ—судья и тяжущійся вмѣстѣ, въ немъ не умерли семейныя ненависти и распри, онъ человѣкъ какой-нибудь стороны—иначе онъ апатическій эгоистъ, онъ слишкомъ вросъ въ послѣднюю страницу исторіи европейской, чтобъ не имѣть непосредственнаго сочувствія съ первою страницей и со всѣми остальными. Нѣтъ положенія объективнаго относительно западной исторіи, какъ положеніе русскаго. Насколько Грановскій въ своихъ чтеніяхъ удовлетворить тѣмъ ожиданіямъ, которыя я представляю—увидимъ впослѣдствіи; но первая лекція—ключъ къ курсу; онъ благородно и прямо указалъ на основанія, на которыхъ будетъ читать: они широки, современны и проникнуты любовью.

Первая лекція была посвящена изложенію развитія науки исторіи; г. Грановскій остановился, кажется, на Фихте. Два частныя замѣчанія я сдѣлалъ бы ему: онъ слишкомъ скудно опредѣлялъ вліяніе Канта на исторію и все еще по старой привычкѣ слишкомъ много приписываетъ Гердеру. Гердеръ былъ прекрасное явленіе въ германской беллетристикѣ, симпатическій человѣкъ, открытый всѣмъ интересамъ искусства и науки, всему сочувствовавшій и ничего не знавшій основательно; окруженный толпою нѣмецкихъ педантовъ и цеховыхъ ученыхъ того времени, онъ могъ сосредоточить на себѣ любовь современниковъ и даже заставить ихъ повѣрять

въ свое глубокомысліе, но онъ мыслить фантазіей, онъ былъ поэтъ и диллетантъ въ науку—и оттого не былъ двигателемъ. Что же касается до Канта, то дѣло совсѣмъ не въ томъ, что онъ писалъ объ исторіи, но какой онъ далъ мощный толчокъ всему разумѣнію человѣческому; кантіанизмъ отразился во всѣхъ сферахъ мысли—и во всѣхъ сдѣлалъ переворотъ. Исторія не могла быть изъята и, дѣйствительно, Шиллеръ пошелъ отъ кантіанизма—и развилъ его до своихъ «Писемъ объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества». А эта диссертація въ письмахъ—колоссальный шагъ въ развитіи идеи исторіи.

Но на сей разъ довольно. Если что-нибудь не воспрепятствуетъ, я доставлю вамъ общій обзоръ лекцій и нѣсколько частныхъ замѣчаній. Надѣюсь, что г. Грановскій не подастъ на меня въ судъ челобитную, какъ Шеллингъ на Паулуса. Мы, русскіе, какъ-то не привыкли свою мысль, свое слово считать товаромъ, личной собственностью. Грановскій читаетъ довольно тихо, органъ его бѣденъ, но какъ богато искупается этотъ физическій недостатокъ прекраснымъ языкомъ, огнемъ, связующимъ его рѣчь, полнотою мысли и полнотою любви, которая очевидна не только въ словахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. Въ слабомъ голосѣ его есть нѣчто проникающее въ душу, вызывающее вниманіе. Въ его рѣчи много поэзій и ни малѣйшей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ лицѣ видна внутренняя добросовѣстная работа. Вотъ все, что я могу вамъ сообщить.

Рама, назначенная г. Грановскимъ, обширна: онъ хочетъ прочесть исторію среднихъ вѣковъ до конца, т. е. до того времени, какъ католицизмъ развился въ Лютера, феодальная раздробленность въ самодержавную централизацию, и Европа стала до того тѣсна вновь развивающемуся міру, что великій генуэзецъ отправился искать Новый Свѣтъ.

Прощайте! Жду извѣстія о вашихъ университетскихъ и литературныхъ событіяхъ. А—ръ».

Въ первой лекціи Грановскій изложилъ развитіе науки исторіи. Во второй говорилъ о философіи исторіи, защищая философію. Главный характеръ его чтеній было развитіе человѣчности, сочувствіе всему живому, поэтическому—любовь къ возникающему и отходящему.

Изложеніе его было смѣло, откровенно, языкъ благороденъ, рѣчь, исполненная ясности и теплоты, порой восходила до вдохновенія.

Публика увлекалась до восторга.

Когда Грановскій пришелъ на слѣдующую лекцію, толпа была такъ велика, что онъ съ трудомъ пробирался до кафедръ; когда онъ поровнялся съ Александромъ, тотъ всталъ съ своего мѣста и, почтительно поклонившись ему, сказалъ: «дальше пройти нельзя—все занято». Находившіеся вблизи засмѣялись, Грановскій, улыбаясь и конфузясь, остановился на минуту, сказалъ нѣсколько словъ съ Александромъ и сталъ пробираться дальше. Толпа, тѣсясь, разступалась, и молодой доцентъ взшелъ на кафедру. Его встрѣтилъ громъ рукоплесканій. Онъ ждалъ и не вдругъ пришелъ въ нормальное состояніе.

Въ «Москвитининѣ» сдѣлано было замѣчаніе Грановскому, почему онъ, читая о среднихъ вѣкахъ Европы, ничего не сказалъ о Россіи? стоитъ со стороны западной науки и слышно, что намѣренъ держаться Гегеля?

Замѣчаніе «Москвитинина» заставило опасаться закрытія публичныхъ лекцій Грановскаго, тѣмъ больше, что увлеченіе публики росло. Желая предупредить это и оправдаться, на первой же лекціи, послѣ сдѣланнаго ему замѣчанія, Грановскій, обратясь къ слушателямъ, сказалъ: «Считаю необходимымъ оправдаться передъ вами: меня обвиняютъ въ пристрастіи къ Западу; я взялся читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нѣтъ права не любить ея. Если бы я взялся читать нашу исторію—и въ нее принесъ бы ту же любовь. Меня обвиняютъ въ пристрастіи къ системамъ—я имѣю свои ученые убѣжденія и только во имя ихъ явился на этой кафедрѣ. Разсказывать рядъ событій и анекдотовъ—не входило въ мой планъ, проникнуть ихъ мыслью...» Рукоплесканія не дали ему кончить рѣчь и проводили изъ аудиторіи. Грановскій въ своихъ лекціяхъ касался вопросовъ, волнующихъ душу. Когда онъ говорилъ о славянскомъ мірѣ, трепетъ пробѣгалъ по аудиторіи, слезы блесгли на глазахъ. Грановскій, сильно тронутый, благодарилъ просто, замолкалъ, когда

рѣчь его прерывалась рукоплесканіями, и кланялся. Крики, шумъ, аплодисменты, торжественный беспорядокъ, доценту жали руки—онъ вышелъ въ лихораджѣ.

Публика вкусила упоеніе всенародной, энергической рѣчи. Друзья сдѣлали Грановскому обѣдъ. Весело, шумно, пьяно окончился этотъ день.

Александръ написалъ вторую статью о лекціяхъ Грановскаго—и также просилъ графа Строганова напечатать ее въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»—графъ отказалъ. Тогда Александръ помѣстилъ ее въ «Москвитинѣ». Она вышла въ 4-мъ номерѣ 1844 года, 22-го іюля.

О публичныхъ чтеніяхъ г. Грановскаго.

(Письмо второе).

«Публичныя чтенія Грановскаго кончились: въ ушахъ моихъ еще раздастся дрожащій отъ внутреннего волненія, глубоко потрясенный отъ сильнаго чувства, голосъ, которымъ онъ благодарилъ слушателей, и дружный, громкій, продолжительный отвѣтъ, которымъ аудитория прогремѣла ему свою благодарность. «Благодарю еще разъ, благодарю тѣхъ, которые, сочувствуя мнѣ, раздѣлили добросовѣстность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность!» Этими прекрасными словами заключилъ Грановскій свой курсъ. Вы помните, что послѣ перваго чтенія я рѣшился назвать событіемъ замѣчательнымъ этотъ курсъ,—теперь я имѣю нѣкоторое право сказать, что не ошибся. Участіе къ чтеніямъ г. Грановскаго непрерывно возрастало, его кафедра была постоянно окружена тройнымъ вѣнкомъ дамъ, и замѣтьте, доцентъ читалъ свой предметъ со всею важною наукой, не разсыпая ненужныхъ цвѣтовъ, не жертвуя глубиною для пріятной легкости. Мнѣ кажется, ничѣмъ не могъ онъ болѣе выразить своего уваженія и благодарности слушательницамъ, посѣщавшимъ его чтенія,—и онъ были ему признательны. Слава Богу, проходитъ время того оскорбительнаго вниманія къ женщинамъ, когда для нея, рядомъ съ дѣльнымъ изложеніемъ

науки, излагали предметъ намѣренно-искаженнымъ образомъ, считая одинъ мужескій умъ способнымъ къ глубокомыслию.

Московское общество узнало, сидя на университетскихъ скамьяхъ, новое увлекательное и сильно-занимающее наслаждение, преподавателямъ открылась очевидная возможность новаго дѣйствованія и указанъ путь, по которому достигается сочувствіе. Я увѣренъ, что съ легкой руки Грановскаго начнутся въ нашемъ университетѣ публичныя чтенія о предметахъ, равно исполненныхъ общаго интереса—новое сближеніе города съ университетомъ. У насъ не можетъ быть науки разъединенной съ жизнью: это противно нашему характеру; потому всякое сближеніе университета съ обществомъ имѣетъ значеніе и важно для обоихъ. Преподаваніе, для пріобрѣтенія сочувствія, должно очиститься отъ школьнаго формализма, оно должно изъ холодной замкнутости сухихъ односторонностей выйти въ жизнь дѣятельности, взволноваться ея вопросами, устремиться къ ея стремленіямъ. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться въ среду общихъ интересовъ для того, чтобы слушать преподаваніе. Оно готово это сдѣлать. Такъ общества вѣренъ: все живое и сочувствующее ему находитъ въ немъ неминуемое признаніе: курсъ Грановскаго—лучшее доказательство. У насъ публичныя чтенія въ такомъ родѣ—новость. Весьма можетъ быть, что часть публики сначала явилась полуслушателями, ради новости; но послѣ первыхъ трехъ-четырехъ чтеній аудиторія была совершенно симпатично настроена, вниманіе дѣятельное, напряженное видѣлось на всѣхъ лицахъ; это сочувствіе сильно отразилось на преподаваніи. Между слушателями и преподавателемъ (если въ самомъ дѣлѣ одни слушаютъ, а другой преподаетъ) образуется необходимо магнитическая связь, съ общихъ сторонъ дѣятельная; сначала они будто чужіе другъ другу; но мало-по-малу между ними устанавливается уровень, и когда онъ приходитъ въ сознаніе обоихъ, тогда взаимодѣйствіе растетъ быстро, слова увлекаютъ слушателей и аудиторія, срастающаяся въ одно нравственное лицо, увлекаетъ говорящаго. Скажу прямо, и знаю, что Грановскій не обидится этимъ: онъ видимо развивался читая, онъ росъ, крѣпнулъ на кафедрѣ. Слушатели не отстали

отъ него: аудиторія и доцентъ разстались друзьями, глубоко-тронутые, глубоко-уважающіе другъ друга, они разстались со слезами на глазахъ.

Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ; онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ,—но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества—далека была отъ его наукообразнаго взгляда; онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣхъ вѣкахъ, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть сквозь туманныя испаренія временнаго просвѣщиваніе вѣчнаго начала, т.-е. вѣчной цѣли—великое дѣло для историка. Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго, живо представлялся мнѣ Горацио, съ стѣсненнымъ сердцемъ повѣствующій повѣсть о Гамлетѣ, возлѣ помоста, на которомъ покоится тѣло его. Въ Горацио и мысли нѣтъ воскресить принца; смерть Гамлета для него событіе, онъ самъ сквозь слезы указываетъ на юнаго Фортинбраса, которому завѣщана кровавая порфира, но онъ не можетъ отказать въ грусти падшему; такъ и въ сочувствіи Грановскаго къ среднимъ вѣкамъ не было ничего вспять текущаго, обращающагося назадъ. Любовь и сочувствіе къ побѣжденному—верхъ побѣды. Неподвижныя тѣни, забытыя отшедшимъ міромъ на почвѣ новаго, всего менѣе могутъ устоять противъ теплаго дыханія любви: онъ распускаются въ свѣтлую влагу, отдавая себя на утоленіе жажды новыхъ поколѣній. Но эта любовь не легко достигается. Русскій историкъ стоитъ на почвѣ, которая ему чрезвычайно облегчаетъ объективное симпатическое воззрѣніе на западъ.

ную исторію. Незакупленная мысль наша можетъ, освѣщающая средневѣковыя событія, сохранить высокій характеръ кротости и милосердія, явиться примиряющею и вселюбящею: мы были чужды феодальной жизни Европы, мы ни наслѣдій не стяжали отъ этого времени, ни родовыхъ болѣзней. Мы цѣловальники, взятые изъ другого края, у которыхъ не можетъ быть личностей ни противъ кого, ни за кого. Не такъ для германца: онъ въ борьбѣ съ своимъ воспоминаніемъ, онъ чувствуетъ родственную любовь и родственную ненависть къ нему, онъ или падетъ подъ бременемъ богатаго наслѣдія, или долженъ отречься отъ отца съ матерью. Былое Европы для него еще живо: онъ, выходя на арену, не можетъ сохранить спокойствіе судьи; вмѣсто благотворной теплоты, въ душѣ его является пристрастіе или пожирающій пламень критики — безпощадный и неотступный. Ошибаться не надобно: этотъ гнѣвъ, эта критика — тоже любовь, но любовь, доведенная до крайности, ревнивая, карающая, оскорбленная. Страстная односторонность въ исторіи Запада простибельна западному человѣку и была бы странна въ русскомъ. Откуда взять увлеченному въ омутъ событий, въ самый круговоротъ ихъ, равное и мудрое безпристрастіе зрителя; не будетъ ли это ниже или выше достоинства человѣческаго, не надобно ли для этого сдѣлаться Талейраномъ или Гете. — *Sine ira et studio!* неужели вы вѣрите, что Тацитъ писалъ *sine ira*? — Повторяю сказанное въ первомъ письмѣ: нѣтъ положенія объективнѣе относительно прошедшаго Европы, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобъ воспользоваться имъ, недостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть общечеловѣческаго развитія, надобно именно не быть исключительно русскимъ, т.е. понимать себя не противоположнымъ западной Европѣ, а братственнымъ. Понятіе братства не поглощаетъ самобытности братій, но и самобытность ихъ, какъ лицъ, не противопоставляетъ ихъ другъ другу врагами, что уничтожило бы братство. Отталкивающее противоположеніе себя чему-нибудь не можетъ достигнуть объяснительной точки; вражда въ основѣ своей субъективна; быть въ противоположности значить отказаться отъ пониманья противоположнаго, потому что пониманье есть именно снятіе противоположности. Доколѣ мысль ревниво отталкиваетъ противо-

ложное, она ограничена имъ, какъ чуждымъ, и это чуждое дѣлается камнемъ преткновенія, брошеннымъ на всѣхъ путяхъ ея. Въ Уложеніи сказано: «А буде который судья истцу будетъ недругъ, а отвѣтчику другъ, и тѣхъ истца и отвѣтчика тому судья не судить». Намъ чрезвычайно легко достигнуть этой юридической состоятельности: стѣдить хотѣть и умѣть воспользоваться нашимъ положеніемъ. Прошедшее Европы не тревожить насъ ни какъ утрата, ни какъ угрызеніе совѣсти: оно имѣетъ для насъ иной великій интересъ.

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Грановскій (несмотря на упреки, дѣланные ему въ началѣ курса) прекрасно понялъ, каковъ долженъ быть русскій языкъ о западномъ дѣлѣ. Онъ ни разу не внесъ на катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, ни одного намека изъ сегодняшнихъ споровъ ихъ наслѣдниковъ; не для того взята была имъ въ руки запыленная хартія среднихъ вѣковъ, чтобы въ ней сыскать опору себѣ, своему образу мыслей: ему не нужна средне-вѣковая инвентитура, онъ стоитъ на иной почвѣ. Отъ этого его преподаваніе получило тотъ характеръ искренности и добросовѣстности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая такъ рѣдко встрѣчается въ исторіи; событія, не сгнетаемыя ни какой личной теоріей, являлись въ его разсказѣ совершенно ожившими. Мнѣ случалось много разъ слышать нелѣпые вопросы, почему онъ не высказывается яснѣе, что онъ хочетъ доказать, какая цѣль его? Онъ и любитъ феодализмъ, и радъ его паденію—и пр. Всѣ эти вопросы, впрочемъ, послѣдовательнѣе, нежели думаютъ: все живое чрезвычайно трудно уловимо, именно потому, что въ немъ склѣпилось безчисленное множество элементовъ и сторонъ въ одинъ движущійся процессъ; живое приводится въ сознаніе только спекуляціей или созерцаніемъ, а благо-разумная разсудочность видитъ въ немъ одинъ безпорядокъ, жизнь ускользаетъ отъ ея грубыхъ рукъ. Многосторонность живого наводитъ страхъ и уныніе на одностороннихъ людей, они требуютъ du positif! Такъ полипы, лишеныя собственнаго движенія, липнуть всю жизнь

на одной сторонѣ камня и гложутъ мохъ, его покрывающій. Этимъ безпозвоночнымъ умамъ легче было бы въ десять разъ понять исторію, подтасованную съ какой бы то ни было точки зрѣнія; но Грановскій слишкомъ историкъ въ душѣ, чтобы впасть въ ненужную односторонность и не воспользоваться прекраснымъ положеніемъ. Исторія очень легко дѣлается орудіемъ партіи. Событія были нѣмы и темны; люди настоящаго освѣщаютъ ихъ, какъ хотятъ; прошедшее, чтобъ получить гласность, переходитъ черезъ гортань настоящаго поколѣнія, а оно часто хочетъ быть не просто органомъ чужой рѣчи, а суфлеромъ; оно заставляетъ прошедшее лжесвидѣтельствовать въ пользу своихъ интересовъ. Такое вызываніе прошедшаго изъ могилы унижительно, — но есть возможность извинить эти чернокнижныя попытки при извѣстныхъ обстоятельствахъ: феодализмъ, папская власть, аристократія, среднее состояніе и проч. не просто предметы изученія и науки для Запада, а знамена партій, вопросы на жизнь и смерть. Умершій порядокъ дѣлъ имѣетъ въ Европѣ своихъ повѣренныхъ, продолжающихъ тяжбу; но къ этой тяжбѣ мы менѣе, гораздо менѣе прикосновенны, нежели даже Сѣверо-Американскіе Штаты. Это не наши споры и не наша вражда; мы вступаемъ въ общеніе съ Европой не во имя ея частныхъ и прошедшихъ интересовъ, а во имя великой общечеловѣческой среды, къ которой стремится она и мы; наше сочувствіе есть собственно предчувствіе грядущаго, которое равно распустилъ въ себѣ все исключительное — романо-германское ли или славянское оно.

Грановскій миновалъ другой подводный камень, опаснѣйшій, нежели пристрастіе въ воззрѣніи на феодальныя событія. Знакомый съ писаніями великихъ германскихъ мыслителей, онъ остался независимъ. Онъ прекрасно опредѣлилъ современное состояніе философіи исторіи во 2-мъ чтеніи, но не подчинилъ живого развитія никакой оцѣняющей формулѣ; Грановскій смотритъ на современное состояніе жизни, какъ на великій историческій моментъ, котораго не знать, котораго миновать безнаказанно нельзя, такъ какъ нельзя и остаться въ немъ на вѣки не окоченѣвши. Чтобъ очевидно указать глубокой историческій смыслъ нашего доцента, до-

статочню сказать, что, принимая исторію за правильно-развивающійся организмъ, онъ нигдѣ не подчинилъ событий формальному закону необходимости и искусственнымъ гранямъ. Необходимость являлась въ его разсказѣ какою-то сокровенной мыслью эпохи; она ощущалась издали, какъ нѣкій *Deus implicitus*, предоставляющій полную волю и полный разгулъ жизни. Величайшіе мыслители Германіи не миновали соблазна насильственного построения исторіи, основаннаго на недостаточныхъ документахъ и одностороннихъ теоріяхъ—это понятно: сторона спекулятивнаго мышленія была ближе ихъ душѣ, нежели живое историческое воззрѣніе. Ихъ теоретическая и тягостная необходимость явилась доведенною до нелѣпости въ сочиненіяхъ нѣкогда очень извѣстнаго Кузена. Въ Кузенѣ я вижу Немезиду, мстящую нѣмцамъ за ихъ любовь къ отвлеченности, къ сухому формализму. Нѣмцы должны были сами расхохотаться, читая, куда они завели добраго и безхитростнаго галла, ввѣрившагося имъ. Онъ такимъ вѣшнимъ образомъ понималъ необходимость, что чуть не выводилъ изъ общей формулы развитія человѣчества кривую шею Александра Македонскаго. Это была реакція Вольтеровскому воззрѣнію, которое, наоборотъ, приводило судьбы міра въ зависимость отъ очертанія носа у Клеопатры.

Грановскій обѣщаетъ напечатать свои чтенія; тогда, посылая вамъ книгу, я попытаюсь разобрать самый курсъ, поговорить объ немъ подробно. Теперь позвольте кончить — надѣюсь, что вы противъ этого ничего не имѣете. А—ръ».

Когда Грановскій по окончаніи перваго курса благодарилъ публику, восторгъ былъ неслыханный. Всѣ встали. Многіе бросились къ кафедрѣ, жали ему руку, дамы махали платками, молодые люди кричали браво! Грановскій былъ блѣденъ,—выйти не было возможности,—хотѣлъ сказать нѣсколько словъ и не могъ. Шумъ, трескъ, рукоплесканія и крики браво,—восторгъ удвоился. Публика шумѣла въ аудиторіи, студенты построились на лѣстницѣ. Измученный отъ волненій Грановскій вошелъ въ правленіе—тамъ ожидали его друзья.

Въ тотъ періодъ времени Грановскій былъ изъ лучшихъ, но не единственный изъ числа молодыхъ профес-

соровъ добросовѣстной учености, сильно двинувшихъ впередъ московскій университетъ.

«Исторія ихъ не забудеть»,—вспоминая о нихъ, сказалъ Сапша.

Въ іюнѣ 1844 года, Александръ съ своимъ семействомъ уѣхалъ въ Покровское. Лѣто этого года стояло дождливое, пасмурное, грозное. Онъ писалъ изъ Покровскаго:

«Дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и, странное дѣло! я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнуть... Выйдешь подъ-вечеръ на балконъ, ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму—и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе, какая-то благочестивая тишина кругомъ успокаиваетъ, примиряетъ... Кажется, годы не выѣхалъ бы отсюда...»

Почти этими словами онъ началъ писать въ Покровскомъ рядъ писемъ объ изученіи природы, обращенный къ друзьямъ.

Несмотря на дурную погоду и непроѣздня дороги въ экипажѣ въ сорока верстахъ отъ Москвы, друзья навѣщали ихъ. Разъ ночью, въ страшную грозу, пріѣхалъ къ нимъ Коршъ съ женой и ребенкомъ; вслѣдъ за ними явились и еще почитители и провели у нихъ нѣсколько дней весьма оживленно.

По возвращеніи Сапши въ Москву, Иванъ Алексѣевичъ сталъ совѣтоваться съ нимъ насчетъ духовнаго завѣщанія. Весь капиталъ свой и два дома въ Москвѣ, со всѣмъ, что въ нихъ находится, онъ оставлялъ Александру, его матери и Егору Ивановичу. Сверхъ того, Александру—саратовское имѣніе. Подмосковное село Покровское, доставшееся Ивану Алексѣевичу послѣ брата его, Льва Алексѣевича, назначалъ родному племяннику своему по сестрѣ, Дмитрію Павловичу Голохвастову, съ условіемъ выплатить значительную сумму: Александру, дѣтямъ Льва Алексѣевича и разныя мелкія награды, въ числѣ которыхъ назначено было мнѣ три тысячи.

Всѣ эти выдачи вмѣстѣ чуть не равнялись стоимости самого имѣнія, главная цѣнность котораго, какъ я слыхала, состояла въ лѣсѣ.

жизни отдать дочери Льва Алексѣевича—Софьѣ Львовнѣ, бывшей замужемъ за инженернымъ полковникомъ А. В. Полѣновымъ; Васильевское съ деревнями продано было Николаю Павловичу Голохвастову. Новоселье съ Уходовымъ давно было продано Гурьеву, сколько помню, за сумму между 500 и 800 тысячъ руб. ассигнаціями.

Весь капиталъ, полученный за проданныя родовыя имѣнія, Иванъ Алексѣевичъ, по духовному завѣщанію, передалъ дѣтямъ своимъ: Егору Ивановичу 150.000 руб. сер., Александру—300.000 руб. сер., матери его—200.000 руб. серебромъ.

Устроивши дѣла по наслѣдству, Александръ уѣхалъ въ Соколово. Тамъ же по сосѣдству наняли себѣ помѣщенія нѣкоторые изъ друзей его—и каждый день всѣ собирались вмѣстѣ. Я была у Александра одинъ разъ въ Соколовѣ и видѣла весь ихъ кругъ въ сборѣ. Несмотря на кратковременность моего тамъ пребыванія, я замѣтила, что въ ихъ кругъ забралась недоразумѣнія, мелкая обидчивость, вслѣдствіе которыхъ начиналось внутреннее распаденіе.

Съ славянофилами въ это время они совсѣмъ разошлись. Стихи Языкова едва не повели къ дуэли Петра Васильевича Киреевскаго съ Грановскимъ,—послѣ чего разстаться сдѣлалось неизбежно.

Они и разстались, но со взаимнымъ уваженіемъ.

Въ 1845 году, 25-го февраля, Т. Н. Грановскій защищалъ свою диссертацию на степень магистра. Я не была на диспутъ, но слышала, что его встрѣтили оваціями, возражали съ ожесточеніемъ, а онъ отвѣчалъ кротко, съ полнымъ обладаніемъ своимъ предметомъ.

По окончаніи диспута, графъ Строгановъ поздравилъ Грановскаго, раздалися рукоплесканія, на лѣстницѣ новыя аплодисменты. Передъ университетомъ ожидала толпа студентовъ; едва уговорили ее разойтись.

Слышно было, что на первую лекцію Грановскаго готовится сильная демонстрація. Инспекторъ, узнавши объ этомъ, просилъ его предупредить, чтобы никакихъ демонстрацій не было.

Войдя на кафедру, Тимоѣей Николаевичъ, стоя, обращаясь къ студентамъ, сказалъ:

«Милостивые государи! позвольте поблагодарить васъ а 21-е февраля. Этотъ день скрѣпилъ наши отношенія

неразрывно. Я получилъ отъ васъ самую прекрасную награду, какую только можетъ получить преподаватель въ университетѣ; вполне чувствую ее и еще съ большей ревностью посвящу жизнь мою московскому университету. Позвольте мнѣ обратиться къ вамъ съ просьбою. Я осмѣливаюсь просить васъ, милостивые государи, не изъяслять больше наружнымъ образомъ вашего сочувствія. Мы слишкомъ близки другъ другу, чтобы надобны были такія доказательства. Я прошу васъ объ этомъ не потому, чтобы считалъ опасными для васъ или для себя такія изъясненія вашей симпатіи. Она останется на всю жизнь моимъ лучшимъ воспоминаніемъ. Зачѣмъ наружныя знаки? Вы и я принадлежимъ къ молодому поколѣнію. У насъ общее прекрасное дѣло, посвятивъ наши занятія серьезному изученію, служенію Россіи, вышедшей изъ рукъ Петра I-го, удаляясь равно и отъ пристрастныхъ клеветъ нинземцевъ, и отъ старческаго, дряхлаго желанія возстановить древнюю Русь во всей ея односторонности».

Студенты не аллодировали. Они слушали въ благоговѣйномъ молчаніи.

Все, что дѣлалъ Грановскій, было исполнено благородства и такта, указывавшаго ему границы, въ которыхъ надобно держаться.

Въ продолженіе этого періода времени Александръ приобрѣлъ извѣстность въ литературѣ. О немъ сказано было въ отдѣлѣ критики одного изъ журналовъ: «Какъ чудно авторъ умѣлъ довести умъ до поэзіи! какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрно, ничего лишняго, ничего недосказаннаго, какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства... Если это залогъ цѣлаго ряда такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ приобретеніемъ необыкновеннаго таланта, совершенно въ новомъ родѣ».

Не взирая на мою близость съ домомъ Александра, жизнь его—этого времени—мнѣ была извѣстна, можно сказать, односторонне, частью изъ того, что онъ самъ мнѣ довѣрялъ, частью изъ рассказовъ его матери и изъ записокъ близкихъ къ нимъ людей.

Изъ всего этого видно, что Сапа желалъ ввести жену свою въ кругъ тогдашнихъ дамъ ученыхъ, гдѣ;

подъ предсѣдательствомъ А—ой и А. П. Е—ной, собирались славянофилы и западники, литераторы и ученые. Изъ числа извѣстныхъ дамъ тамъ бывали: Ховрины, баронесса Карлсгофъ (впослѣдствіи выпешдая за профессора Драшусова), К. К. Павлова (ученица Баратынскаго), Васильчиковы, Новосильцевы (ученицы Грановскаго) и другія.

Наташа отказалась отъ этихъ вечеровъ. Она любила тишину домашняго круга и бесѣду друзей Александра, порой серьезную, порой шутивую, всегда задухновенную; но, несмотря на то, что она почти нигдѣ не бывала, многія изъ дамъ ученаго круга, различной среды и различныхъ взглядовъ, бывали у нея; она относилась къ посѣщенію къ желанію сдѣлать пріятное Александру и не сближалась съ ними. Сверхъ того, ея разстроенное здоровье мѣшало этому.

Вслѣдствіе нездоровья она не могла бывать и на лекціяхъ Тимоеева Николаевича, на которыхъ тогда исклю-чительно былъ сосредоточенъ всеобщій интересъ. Какъ ни старался Александръ объяснять ей содержаніе этихъ чтеній, все было не то, что слушать самой; тогда Грановскій предложилъ прочитатъ нѣсколько лекцій изъ сред-ней исторіи у нихъ на дому. Онъ читалъ въ кабинетѣ Наташи; слушали, кромѣ его товарищей, Т—на А—на, Наташа, Марья Каспаровна Эрнѣ, она же и записывала эти лекціи, и Марья Федоровна Коршъ. Не стѣснен-ный ни цензурой, ни публикой, Грановскій читалъ сер-ьезно, сильно, полно поэзіи и до того увлекательно, что присутствующіе превращались въ слухъ и наслажденіе; нерѣдко по лицу иныхъ скатывались слезы. Кончивши чтеніе, Грановскій, растроганный всеобщимъ восторгомъ и сочувствіемъ, спѣшилъ уйти.

Кто только зналъ Грановскаго, тотъ не могъ не любить его. Это былъ человѣкъ не только замѣчательно умный, но и въ высшей степени чистый, благородный, симпатичный и съ такимъ сердечнымъ тактомъ, что никогда не коснулся неловко до дружескихъ отношеній. Кроткій, спокойный, снисходительный, онъ былъ центромъ примиряющимъ и соединяющимъ готовыхъ разойтись. Его благотворное вліяніе на дружескій кругъ, университетъ и вообще на молодое поколѣніе того времени—пережило его самого.

Изъ записокъ Т. А. А—ой видно, какъ почти дѣтски былъ безкорыстенъ Тимошей Николаевичъ. «Безкорыстіе его,—сказано у нея,—я испытала на себѣ и видѣла на другихъ. По смерти отца своего Грановскій получилъ небольшое наслѣдство (кажется, въ концѣ 1847 года); когда понабралось у него около 2.000 рублей, онъ началъ навязывать деньги своимъ друзьямъ, въ томъ числѣ и моему брату, Сергѣю Ивановичу,—это было при мнѣ.

— Не надобно ли вамъ, батюшка,—говорилъ онъ:—денегъ? возьмите, пожалуйста, у меня сколько требуется, я получилъ наслѣдство.

— Благодарю васъ, Тимошей Николаевичъ,—отвѣчалъ братъ:—мнѣ денегъ не надобно теперь.

— Полноте, вздоръ какой,—возразилъ Грановскій:—деньги всегда надобны; возьмите-ка, возьмите.

— Да право же не надобно,—говорилъ Сергѣй Ивановичъ:—поберегите лучше себѣ, Тимошей Николаевичъ.

— Мнѣ беречь деньги,—сказалъ Грановскій:—Богъ съ вами! да и на что онѣ мнѣ? пожалуйста, возьмите, а то, какъ вамъ понадобятся, у меня тогда, пожалуй, и не будетъ. Не люблю и не умѣю беречь деньги; какъ камень на душѣ, когда ихъ много.

Братъ принужденъ былъ взять у него 150 р., и когда въ послѣдствіи сталъ отдавать ихъ, Грановскій удивился: онъ позабылъ, что давалъ. Деньги—оселокъ внутренняго достоинства человѣка, не многіе понимаютъ это такъ, какъ понималъ Грановскій.

Если можно въ чемъ упрекнуть Грановскаго, такъ это въ лѣни и страсти къ картамъ. Иногда онъ проигрывалъ напролетъ ночи, не вставая съ мѣста, все забывая, ни о чемъ, кромѣ картъ, не думая. Страсть къ игрѣ развилась въ немъ съ удвоенной силою, когда Александръ уѣхалъ за границу, и дружескій кругъ ихъ сталъ распадаться».

Весь этотъ товарищескій кругъ собирался большею частью у Александра и не рѣдко у Лабади; тамъ, на полной свободѣ, они оставались далеко за полночь. Иногда съѣзжались у Грановскаго или у Е. Корша.

Въ числѣ товарищей Саши одно изъ первыхъ пріятныхъ впечатлѣній производилъ И. П. Галаховъ—ари-

стократичной изящностью манеръ, милой простотой и остроуміемъ, безъ притязаній и оскорбительной желчи, страшно разсѣянный; страстно отыскивая истины, приложимыя къ жизни—онъ всюду бросался и волновался, что она ускользала изъ рукъ.

Такое же хорошее воспоминаніе оставилъ по себѣ Крюковъ. Всегда серьезный, какъ бы сосредоточенный только на наукѣ, въ обществѣ онъ былъ чрезвычайно оживленъ, интересенъ, несмотря на то, что на немъ уже лежала печаль смерти. На одномъ вечерѣ у Александра вздумали сдѣлать жженку. Въ залѣ приготовили серебряную вазу, зажгли въ ней спиртъ и загасили свѣчи. Крюковъ взялся варить жженку. Всѣ присутствующіе размѣстились кругомъ стѣнъ. Крюковъ сѣлъ посреди залы. Освѣщенный синеватымъ огнемъ, серьезно помѣшивая серебрянымъ ковшомъ кипящую влагу, онъ походилъ на прорицателя. Всѣ сидѣли молча, не спуская взоровъ съ Крюкова. Подлѣ Наташи сидѣла Т. А. А—ва; наклонясь къ ней, Наташа сказала вполголоса: «Мнѣ кажется, не жилецъ на свѣтѣ Крюковъ, въ немъ отражается что-то неземное, не наше». Слова ея скоро сбылись.

Игривыя, блестящія остроты Е. Корша были роскошью на ихъ дружескихъ бесѣдахъ.

Къ числу частыхъ посѣтителей этого круга принадлежалъ нашъ знаменитый артистъ—Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Изрѣдка бывалъ и Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, но держался больше какъ-то въ сторонѣ. Говорили, что его «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» списанъ съ этого кружка.

Александра посѣщали иногда: Свербѣевъ, Чаадаевъ и Сологубъ. Последняго Александръ принималъ всегда въ своемъ кабинетѣ, тамъ они и ужинали. Т. А. А—ва, прямодушная и безпристрастная, вспоминая о семействѣ Александра—всегда съ любовью, въ то же время не останавливаясь указываетъ и на ихъ недостатки. Такъ, она рассказываетъ одинъ случай, въ которомъ, по ея мнѣнію, очертилось, до какой крайности Александръ дорожилъ взглядомъ на его положеніе людей изъ извѣстнаго круга общества.

«Однажды,—сказано въ ея запискахъ,—Александръ пригласилъ къ себѣ обѣдать Чаадаева и Боборыкина;

для этого обѣда онъ купилъ два серебряные канделябра, каждый съ четырьмя или пятью подсвѣчниками. Мы посѣялись такому пышному приготовленію къ ихъ приему; несмотря на это, Александръ простеръ измѣненіе въ ихъ обычномъ образѣ жизни еще далѣе. Столъ къ обѣду былъ накрытъ посреди залы, на восемь человѣкъ, а въ простѣнкахъ между двухъ оконъ накрыли на четыре прибора столъ ломберный. За большимъ столомъ обѣдали, кромѣ Александра, Чаадаева и Боборыкина, Коршъ, Грановскій, Кетчеръ, Сатинъ, Астраховъ. За ломбернымъ—мать Александра, жена его, я и Марья Каспаровна Эрнъ. Отдѣленные—мы не могли участвовать и не участвовали въ разговорахъ, происходившихъ за большимъ столомъ.

«Когда обѣдъ кончился, всѣ разошлись по разнымъ комнатамъ. Мы съ Сатинымъ помѣстились въ Наташиномъ кабинетѣ и разговорились о ея характерѣ. Онъ находилъ, что у нея характеръ слабый, и живетъ она умомъ мужа. Я же утверждала, что она уступаетъ ему не изъ слабости характера, а не затѣвать же войну. Чтѣ же ей въ немъ не нравится—она выказываетъ прямо и старается его сдерживать. Вотъ, напримѣръ, сегодня она очень недовольна измѣненіями въ порядкѣ ихъ жизни ради Чаадаева и Боборыкина. Она при мнѣ говорила ему: «я не понимаю твоихъ поступковъ, Александръ; къ чему эти исключенія и перемѣны? развѣ до сихъ поръ у насъ было не такъ, какъ надобно—не хорошо? Я бы такъ не сдѣлала; впрочемъ, если тебѣ это нравится, какъ знаешь». Наташа не дѣлала различія въ приемѣ знакомыхъ и обращеніи съ ними. Эта рѣдкая черта деликатности и сердечнаго такта была въ Никѣ—и только,—даже въ Грановскомъ только слегка проявлялась.

«Александръ, при рѣдкомъ умѣ, былъ до крайности добръ и простодушенъ; но вмѣстѣ съ этимъ до того самолюбивъ, что не могъ выносить ни противорѣчій, ни замѣчаній, не могъ представить себѣ, чтобы кто-нибудь могъ замѣтить въ немъ что-нибудь не такъ. Лестью можно было покорить его себѣ совершенно. Въ этомъ особенно ловко упражнялась одна изъ часто посѣщавшихъ ихъ дамъ: улыбкой, взглядомъ, фразой, сказанной съ извѣстнымъ акцентомъ: «ахъ, Г—нъ!» или: «ахъ! ахъ! Александръ Ивановичъ!»

«Я,—продолжаетъ Т. А—ва,—не выносила его самолюбія, никогда не потворствовала ему и не могла держаться, чтобы не ловить его на словѣ и дѣлѣ, и всегда указывала, встрѣчая разладъ его пера съ его дѣйствительною жизнью. Поэтому мы съ нимъ были хороши, но не дружны».

Пока былъ живъ Иванъ Алексѣевичъ, Саша съ семействомъ помѣщался въ домѣ Тучкова, весной ѣздить въ Покровское или въ Соколово—имѣніе Дивова. Въ Соколовѣ онъ занималъ барскій домъ въ обширномъ паркѣ, спускавшемся къ рѣкѣ, изъ-за которой виднѣлись поля и нивы.

Послѣ 1843 года жизнь Александра потекла спокойно, болѣзненное настроеніе стало ослабѣвать, здоровье Наташи поправлялось; повидимому, самое лучшее задушевное время ихъ круга было въ 1845 году. Весной этого года въ Соколовѣ жилъ вмѣстѣ съ Александромъ Кетчеръ; неподалеку—нанималъ дачу М. С. Щепкинъ; каждую недѣлю, дня на два, на три пріѣзжали Грановскій и Коршъ. Всѣ они много работали, много гуляли, купались, и одушевленіе было общее.

Только иногда, сидя всѣ вмѣстѣ подъ развѣсистой липой, жалѣли, что съ ними не было Ника. Онъ вмѣстѣ съ Сатинымъ находился за границей.

Иногда съ Коршемъ и Грановскимъ пріѣзжалъ въ Соколово П. В. Анненковъ, издатель Пушкина. Всѣ любили и уважали его—онъ этого и стоилъ. Однажды при Анненковѣ всѣ друзья отправились полежать на берегу рѣки подъ деревьями, велѣли принести себѣ туда шампанскаго. Подъ горой, на которой они расположились, текла рѣка, а за рѣкой виднѣлись поля, на которыхъ золотились рожь и овесъ. Жара была страшная. Въ полѣ работали крестьяне. Анненковъ, держа въ рукахъ бокалъ шампанскаго и указывая на работающихъ, шутя сказалъ: «а, право, пріятно лежать подъ деревьями, попивать шампанское и глядѣть, какъ въ полѣ идутъ работы; жарко имъ, должно-быть! ну, да за то намъ хорошо».—«Право отлично»,—подтвердили другіе, захохотали, да вдругъ и стихли. Всѣ почувствовали себя неловко. Грановскій бросилъ бокалъ и отвернулся.

— Ну, братецъ,—сказалъ Е. О. Коршъ, обращаясь къ Анненкову:—отравилъ ты намъ жизнь.

Эти шутя сказанныя слова развеселили всѣхъ, и они принялись разсуждать о томъ, какъ бы устроить дѣла такъ, чтобы всѣмъ жилось такъ же хорошо, какъ хорошо живется имъ.

Въ 1846 году пріѣхалъ и Никъ. Онъ прожилъ четыре года въ чужихъ краяхъ и нисколько не измѣнился.

Весной Никъ вмѣстѣ съ Александромъ поѣхалъ въ Соколово. Тамъ онъ помѣстился съ Н. Х. Кетчеромъ въ небольшомъ флигелѣ въ концѣ парка. Грановскій, Коршъ и Щепкины также заняли дачи около Соколова.

Въ этомъ году дружескій кругъ этотъ сталъ внутренно распадаться; несмотря на то, что попрежнему собирались вмѣстѣ и попрежнему шла чаша круговая, чувствовалось, что при этомъ царила уже не веселость, а какая-то строптивость. Въ бесѣды ихъ закрались недо-разумѣнія, легкая щекотливость, обидчивость, ошибки.

Наташу это огорчало.

Между тѣмъ новое горе постигло ее. Разъ Грановскій, лежа на полу и играя съ своимъ крестникомъ, Колей, поднесъ ему къ уху часы и удивился, что ребенокъ оставался равнодушнымъ къ ихъ бою. Онъ пробовалъ нѣсколько разъ подносить ему часы къ уху и убѣдился, что Коля глухъ. Грановскій испугался, позвалъ Александра, и они вдвоемъ начали дѣлать разные опыты, стучали, звенѣли и убѣдились, что Коля ничего не слышитъ. Александръ растерялся и долго не говорилъ Наташѣ; наконецъ, надобно было ей сказать. Ей сказали. Это повліяло на ея здоровье и расположе-ніе духа.

Вскорѣ по кончинѣ Ивана Алексѣевича Т. А. А—вой привелось, по домашнимъ обстоятельствамъ, переѣхать къ Наташѣ, гдѣ и прожила она около трехъ недѣль. Вотъ чтò говорить Т. А. объ этомъ времени въ своихъ воспоминаніяхъ: «Въ продолженіе того времени, чтò я прожила у Наташи, я убѣдилась, что Александру надобна была жена не такая, какъ она. Ему надобна была женщина, которая блестяла бы въ обществѣ и умомъ, и тѣмъ, что она жена Г—на. А Наташа и съ перемѣною ихъ состоянія осталась при своемъ скромномъ образѣ жизни, что нерѣдко служило поводомъ къ раз-

молвкамъ. Живши у нихъ, я видѣла, что жизнь Наташи не красива. Кромѣ здоровья, разстроеннаго петербургскими событіями, она страдала столько же и нравственно. Ее утѣшало и примиряло съ мужемъ только роскошное проявленіе его умственныхъ и общественныхъ достоинствъ».

«Въ концѣ 1846 года,—продолжаетъ она,—заболѣла ихъ маленькая дочь Лиза и, несмотря на лѣченіе и увѣреніе Альфонскаго, умерла. Александръ прислалъ мнѣ записку, что Лизы нѣтъ. Я поспѣшила къ нимъ. Наташа сидѣла подлѣ ребенка, она была тверда, холодна, избѣгала разговора и походила на статую. Лизу похоронили въ Дѣвичьемъ монастырѣ подлѣ Вани. Когда возвратились домой и всѣ разлѣхались, Наташа попросила меня и Александра также куда-нибудь съѣздить, вздохнуть чистымъ воздухомъ. Мы поѣхали въ саняхъ П. Ѳ. Рѣдкина къ Коршамъ. П. Ѳ. усѣлся кучеромъ и всю дорогу смѣялся и шутилъ съ Александромъ. Меня бѣсило, что Александръ въ такую минуту могъ потѣшаться вздоромъ. Завернувшись въ шубу, я старалась не обращать на нихъ вниманія и грустно думала, какъ онъ всегда увлекается и поддается впечатлѣнію настоящей минуты. Часа черезъ три мы возвратились. «Тоска давитъ»,—сказала Наташа, встрѣчая насъ, показавши намъ руки:—дѣти спать, пусто, тяжело». Александръ, по обыкновенію, растерялся, сталъ приставать къ ней съ разспросами. Мы уговорили ее лечь и сѣли около нея.

Послѣ жизни въ Петербургѣ и Новгородѣ, Наташа не воскресала болѣе. Утрата троихъ дѣтей, глухота и пѣмота сына, открывшаяся ей невѣрность мужа и, наконецъ, смерть дочери изнурили ея силы.

Въ дополненіе, она увидала, что многіе изъ дорогихъ ей людей — не то, чѣмъ она воображала ихъ, и что тѣ, которыхъ она болѣе любила, первые отклонились отъ нея.

Послѣднее лѣто, проведенное Наташей въ Соколовѣ, было для нея пыткой. Я часто бывала у нея и всегда заставляла больной, измученной, въ слезахъ. На мои вопросы, что съ нею, она отвѣчала: «Пора намъ, другъ мой, уѣхать! все распалось, все рухнуло, отдохнуть надобно. Видишь ли, всѣ какъ-то не взлюбили насъ, за

что? не знаю. Может, и за дѣло, но никто не высказывается искренно. Одинъ честный, благородный Грановскій сказалъ, что его возмущаетъ себялюбіе Александра. Может, онъ и правъ; но, несмотря на это, тяжело хоронить свои привязанности,—и зарыдала. Что могла я сказать ей въ утѣшеніе? Успокоившись, она продолжала: «Зачѣмъ плакать, что люди не таковы, какъ намъ хочется ихъ видѣть. Будемъ любить ихъ за хорошее, чего въ другихъ нѣтъ; а что мы имъ не нравимся, не плакать же объ этомъ; насильно милъ не будешь». При этомъ она рассказала одинъ случай, бывшій у нихъ въ Соколовѣ.

— На дняхъ,—говорила Наташа:—собрались всѣ у насъ; какъ и всегда, разсуждали и пили; къ чему-то Александръ сказалъ: «теперь я имѣю безбѣдное состояніе и прошу васъ всѣхъ, друзей моихъ, твердо рассчитывать на мою помощь. Каждый изъ васъ найдетъ у меня для себя 500 рублей, но не больше».

Грановскій вспыхнулъ и выразился оскорбительно.

Всѣ были поражены.

Общими силами успѣли перевести разговоръ на другой предметъ, даже шутили, смѣялись; но были не въ своей тарелкѣ».

Разсказавши это, Наташа добавила печально: «Такого горькаго, тяжелаго дня мы, кажется, не переживали никогда. Александръ сказалъ необдуманно, я признаю это, но и только».

Мы молча легли спать. На утро Александръ сказалъ: «Да, пора ѣхать и ѣхать».

Что до меня касается, я давно думала объ этомъ, давно все клонилось къ разрыву».

Какъ ни старались всѣ маскироваться въ восторгъ дружелюбія, какъ ни старались пить крутовую чашу и веселиться, во всемъ проглядывала натяжка, каждое слово, каждый шагъ рассчитывался; каждую кажущуюся неловкость Александра относили къ влиянію на него жены; вина ея была только въ томъ, что она не жаловалась и старалась извинять его.

Наташа, заранѣе подготовленная отзывами Александра о Кетчерѣ, какъ о личности замѣчательно честной, доброй и благородной, и благодарная за его помощь при ихъ женитьбѣ, за его участіе во время болѣзни ея дѣ-

тей, говорили, любила и уважала его до того, что самыя рѣзкія замѣчанія его принимала кротко и покорно, и даже за нѣсколько дней до смерти своей писала Т. А. А—ой: «для меня воспоминаніе о васъ, друзья моего счастья, свято; несмотря ни на что, люблю Кетчера—и порой смотрю на его соломенную шляпу... Я берегу ее, какъ воспоминаніе о прошломъ!»

1848 годъ она не жила для себя, душа ея была растерзана,—какъ видно изъ ея писемъ изъ Парижа.

Такимъ образомъ, событія въ средѣ дружескаго кружка Александра рѣшили его отъѣздъ за границу. Предстоящая разлука съ Наташей была тяжела и горька. Т. А. Она утѣшала ее скорымъ свиданіемъ. Александръ располагалъ черезъ годъ возвратиться. «Поѣздка наша,—говорили они какъ намъ, такъ и друзьямъ нашимъ,—принесетъ много пользы. Мы отдохнемъ, освѣжимся, они одумаются, больше оцѣнятъ насъ и простятъ наши невольные проступки».

Когда рѣшено было, что Александръ съ семействомъ ѣдетъ въ чужіе края, и онъ объявилъ это какъ дѣло неизмѣнное, всѣ какъ бы встрепенулись и почувствовали, что съ отъѣздомъ его измѣняется и общая жизнь этого кружка.

ГЛАВА XLII.

За границей.

Я отпущенъ въ страны чужія,
Да это, полно ли, не сонъ?

Лѣтомъ 1858 года просила я о выдачѣ заграничнаго паспорта мнѣ и старшему сыну моему Александру, за годъ передъ тѣмъ окончившему, кандидатомъ, курсъ юридическихъ наукъ въ московскомъ университетѣ. Выѣстъ съ просьбой о паспортѣ, подала я прошеніе московскому военному генералъ-губернатору, графу Арсенію Андреевичу Закревскому объ исходатайствованіи Высочайшаго разрѣшенія для выѣзда съ нами за границу меньшему сыну моему Владимиру и десятилѣтнему моему племяннику и крестнику Ипполиту Пашеву. Зная, что

разрѣшенія выѣзда за границу несовершеннолѣтнимъ придется ждать довольно долго, мы прожили до конца лѣта въ подмосковной деревнѣ и только въ первыхъ числахъ сентября возвратились въ Москву.

Не получая официально извѣщенія ни о выдачѣ намъ паспорта, ни о разрѣшеніи выѣзда изъ Россіи несовершеннолѣтнимъ, старшій сынъ мой поѣхалъ въ канцелярію генералъ-губернатора, чтобы обо всемъ этомъ справиться. Когда, возвратясь оттуда, онъ вошелъ ко мнѣ, взглянувши на него, я испугалась блѣдности и разстроеннаго его вида.

— Что съ тобою, Саша?—спросила я его встревоженнымъ голосомъ.

— Пожалуйста, не беспокойся, мама, и не огорчись,—отвѣчалъ онъ, видимо сдерживая волненіе:—бѣда небольшая, хотя непріятно, должно-быть, недоразумѣніе...

— Въ чемъ недоразумѣніе?—прервала его я:—что случилось? если есть что непріятное, надобно же узнать?

— Насъ не пускаютъ за границу, — тихо сказала Саша.

— Не можетъ быть!—возразила я, чувствуя, что сердце у меня замираетъ.—Всѣмъ дадутъ заграничные паспорта безъ затрудненія, отчего же намъ не давать? Вѣроятно, тебѣ не такъ передали—ошибка...

— Нѣтъ, мама, ошибки нѣтъ, намъ отказано. Это вѣрно. Когда я пришелъ въ канцелярію, спросилъ о нашемъ паспортѣ и о разрѣшеніи братьямъ ѣхать за границу, мнѣ отвѣчали, что дѣло объ насъ находится въ секретномъ отдѣленіи, и я освѣдомился бы тамъ. Отправляюсь въ секретное отдѣленіе, спрашиваю, чиновникъ начинаетъ рыться въ бумагахъ съ видимымъ неудовольствіемъ, наконецъ, говоритъ: «Вашему семейству выѣздъ за границу запрещенъ».—Какъ запрещенъ? за что?—«По неизвѣстнымъ причинамъ».—Я былъ пораженъ.—Если вы знаете, обратился я къ чиновнику, скажите, пожалуйста, въ чемъ дѣло?...—«Ну, ужъ извините,—отвѣчалъ онъ нетерпѣливо,—не могу вамъ объяснить, сказано: по неизвѣстнымъ причинамъ...»—Какъ же намъ оправдаться, не зная, въ чемъ обвинены?—«Право, не знаю—дѣлайте, какъ хотите; отнесите къ генералъ-губернатору».

Я написала коротенькое письмо къ графу Закревскому,

въ которомъ просила сообщить мнѣ, почему намъ отказываютъ въ выѣздѣ изъ Россіи. Графъ отвѣчалъ, что причина отказа извѣстна только шефу жандармовъ, князю Василию Андреевичу Долгорукому.

Мѣра, принятая противъ насъ, вскорѣ сдѣлалась извѣстною въ московскихъ кружкахъ и возбудила всеобщее недоумѣніе. Безупречная жизнь наша была извѣстна.

Я обратилась за совѣтомъ къ Алексѣю Петровичу Ермолову.

— Вѣроятно, всю эту кашу заварилъ Закревскій, — сказалъ Ермоловъ: — и, конечно, изъ пустяковъ, да навелъ на нее и Долгорукаго. Какъ жаль, что я не зналъ прежде. Долгорукій былъ здѣсь недавно; мы съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, переговоры бы, и васъ отпустили бы съ Богомъ на всѣ четыре стороны. Я напишу князю, напишите и вы; надѣюсь, все уладится какъ нельзя лучше.

Поговоривши о Закревскомъ и Долгорукомъ, Ермоловъ сталъ разспрашивать меня о дядѣ моемъ, Александрѣ Ивановичѣ Кучинѣ, вспоминалъ объ ихъ молодости, дружбѣ, службѣ, бранилъ его, зачѣмъ онъ не ѣдетъ поглядѣться съ нимъ.

— На-дняхъ былъ у меня его приказчикъ Петръ Семеновичъ, видѣли ли вы его? — спросилъ Алексѣй Петровичъ.

— Онъ у насъ останавливался и пробылъ довольно долго: хлопоталъ по дѣламъ дяди.

— Я былъ очень радъ старику, пилъ съ нимъ вмѣстѣ чай и разспрашивалъ, какъ они съ бариномъ живутъ, какъ хозяйничаютъ: говорить, баринъ ни ногой изъ деревни. «Ну, братъ, — замѣтилъ я, — баринъ твой дрался, какъ чортъ, и засѣлъ въ Чертовой» *).

По совѣту Алексѣя Петровича, я написала князю Долгорукому, просила его прежде всего сообщить мнѣ, за какую вину насъ осудили и наказали лишеніемъ того права, которое всѣмъ предоставлено, такъ что и голоса нашего было не слышно.

Недѣли черезъ двѣ, однимъ утромъ, пили мы въ залѣ

*) Тульское имѣніе дяди.

чай, какъ слышалось въ передней бряканье шпоръ, затѣмъ въ дверяхъ показался жандармъ и подаль мнѣ письмо отъ Долгорукаго; князь пишетъ, что отвѣтъ на мое письмо мнѣ сообщить графъ Закревскій.

Кажется, чего бы проще отвѣтить самому.

Письмо князя я немедленно отправила къ Закревскому и просила объ отвѣтѣ. Графъ поступилъ послужнѣе Долгорукаго. Онъ написалъ, что отвѣтъ князя сообщить мнѣ черезъ нѣсколько дней. Дни эти протянулись мѣсяцы. Наконецъ, 12-го января, въ мои именины, Закревскій, должно-быть, въ видѣ подарка, увѣдомилъ, что мнѣ разрѣшается ѣхать за границу вмѣстѣ съ меньшимъ сыномъ и больнымъ племянникомъ; старшій же сынъ удерживается въ Россіи.

Подарокъ оказался неудачнымъ.

Такого рода разрѣшеніе—равнялось запрещенію...

При видѣ печали Саши стало тяжелѣе и грустнѣе прежняго.

— Саша,—сказала я:—никто изъ насъ не воспользуется тѣмъ правомъ, котораго лишаютъ тебя. Для тебя же по преимуществу и поѣздка эта предпринимается.

Въ это время «Русскій Вѣстникъ» вступилъ въ самый блестящій періодъ своего существованія. Многие изъ московской интеллигенціи собирались по четвергамъ на вечера къ редактору «Вѣстника»—Михаилу Никифоровичу Каткову. Нерѣдко и пріѣзжіе изъ другихъ мѣстностей, особенно изъ круга людей науки, сѣвшили познакомиться съ редакторомъ журнала, пользовавшимся большимъ уваженіемъ. Я была довольно близка съ домомъ Михаила Никифоровича и особенно съ его умной, доброй, образованной невѣсткой, княжной Наталіей Петровной Шаликовой. Какъ Михаилъ Никифоровичъ, такъ почти и всѣ, посѣщавшіе ихъ, отнеслись съ участіемъ къ нашему дѣлу и совѣтовали повторить просьбу князю Долгорукому. Жандармскій полковникъ и литераторъ, С. С. Громека, часто бывавшій у Катковыхъ, посоветовалъ мнѣ обратиться къ Александру Егоровичу Тимашеву, о которомъ отзывался, какъ о человѣкѣ всегда готовомъ на доброе дѣло, и предложилъ лично доставить ему мое письмо. Я написала Александру Егоровичу тепло и откровенно, какъ понимала это дѣло;

онъ отвѣчалъ, что постарается исполнить мою просьбу, насколько это будетъ зависѣть отъ него.

Несмотря на желаніе многихъ быть намъ полезными, дѣло наше оставалось до весны все въ одномъ и томъ же положеніи.

Въ половинѣ марта 1859 года я рѣшилась ѣхать съ дѣтьми въ Петербургъ и лично хлопотать о разрѣшеніи намъ выѣзда въ чужіе края.

Чѣмъ ближе подъѣзжали мы къ Петербургу, тѣмъ болѣе тоской и какъ бы страхомъ обдавало душу. Природа, что шагъ, то становилась бѣднѣе и бѣднѣе; бесплодные пажити, болота, бѣдные деревни, болѣзненные искривленные деревья на сырой тощей почвѣ увеличивали тяжелое настроеніе духа.

Въ Петербургѣ все намъ было чуждо.

Мы остановились въ гостиницѣ. Мрачныя облака покрывали небо; дождь, пополамъ со снѣгомъ, заливалъ окна; комнаты казались непривѣтливы; чувство одиночества, безпомощности сжимало грудь. Вся надежда наша основывалась на рекомендательномъ письмѣ къ фрейлинѣ императрицы — Дарьѣ Ѳеодоровнѣ Тютчевой, данномъ мнѣ московскими знакомыми.

Отдохнувши дня два, поѣхала я въ Зимній дворецъ. Съ признательностью вспоминаю, какъ радушно приняла меня Дарья Ѳеодоровна. Выслушавши съ участіемъ все дѣло, она сказала, что лучше всего обратиться къ государынѣ, но для этого надобно, чтобы представилась благопріятная минута, и просила увѣдомить ее, какъ пойдетъ дѣло съ княземъ Долгорукимъ.

Съ княземъ дѣло не шло никакъ: я писала къ нему, сынъ мой былъ у него, но ничего яснаго, опредѣленнаго добиться не могли; отвѣты были уклончивы, изъ фразъ безъ содержанія. Мы томились въ неизвѣстности и проживались въ гостиницѣ. Наконецъ, видя, что все бесполезно, рѣшились уѣхать въ подмосковную деревню и предоставить наше дѣло на волю Божию.

Дня за три до нашего отъѣзда я получила отъ Дарьи Ѳеодоровны письмо... вскорѣ выѣздъ за границу Сашѣ былъ разрѣшенъ.

Да будетъ благословеніе Бога надъ государыней и Высочайшимъ семействомъ ея. Чувства глубокой благо-

дарности и преданности къ ея величеству живы въ душѣ моей, и я позволяю себѣ запечатлѣть ихъ въ моихъ воспоминаніяхъ.

Причина же, по которой намъ отказывали въ выѣздѣ, такъ и осталась въ неизвѣстности. Быть-можетъ, Алексѣй Петровичъ былъ правъ, предполагая, что чье-нибудь непріязненное чувство косвенно отразилось на насъ, и по справкамъ мы оказались невинными.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля пріѣхала въ Петербургъ княжна Наталья Петровна Шаликова съ молодой дѣвушкой, дочерью подрули своей юности, Варварой Алексѣевной Кащеевой *), и остановилась въ одной гостиницѣ съ нами. Мы видались почти каждый день. Однажды княжна собралась ѣхать къ графинѣ Толстой, супругѣ вице-президента академіи художествъ, знаменитаго медальера, гр. Федора Петровича Толстого, и предложила мнѣ ѣхать вмѣстѣ съ нею.

— Какъ же это, княжна, — сказала я: — быть-можетъ, они и понятія не имѣютъ обо мнѣ, а если и имѣютъ, то еще желаютъ ли моего знакомства?

Княжна увѣрила меня, что Толстые объ насъ знаютъ и рады будутъ видѣть у себя.

— Не лучше ли переговорить предварительно? — замѣтила я.

— Съ такими людьми, какъ Толстые, въ этомъ нѣтъ надобности, — возразила княжна: — они выше мелкихъ общественныхъ условій.

И осыпала ихъ похвалами.

Я рѣшилась и вмѣстѣ съ княжной отправилась на Васильевскій островъ въ академію художествъ, гдѣ жило въ то время семейство графа Толстого. Утро было прекрасное, лучи солнца ярко освѣщали великолѣпныя зданія Невскаго проспекта, пестрыя толпы гуляющихъ, памятникъ Петра Великаго, дворецъ, голубую Неву, неподвижную, какъ зеркало, и, кажется, проникали въ мою душу: такъ легко, свѣтло и весело я давно себя не чувствовала; или это было предвозвѣстіе встрѣчи съ людьми, съ которыми суждено было мнѣ сблизиться дружески на всю мою жизнь. Семейство графа зани-

*) Въ настоящее время супруга Алексѣя Алексѣевича Гатцука, издателя «Крестнаго календаря» и «Газеты Гатцука».

мало квартиру въ нижнемъ этажѣ дома. Мы вошли безъ всякихъ предварительныхъ церемоній. Въ свѣтлыхъ, высокихъ комнатахъ была глубокая тишина, и со всѣхъ сторонъ охватывала изящная, художественная жизнь. Въ большой залѣ, убранной въ античномъ вкусѣ, на двухъ противоположныхъ стѣнахъ во всю ихъ длину стояли узкіе диваны, съ небольшими спинками въ греческомъ вкусѣ, по сторонамъ которыхъ на четырехугольныхъ пьедесталахъ были поставлены большія античныя статуи: на одномъ Венера, на другомъ Аполлонъ, на третьемъ Меркурій, на четвертомъ еще Венера. Между огромныхъ оконъ, по сторонамъ большого зеркала, на низкихъ пьедесталахъ стояли также античной формы бюсты Гомера и Софокла, а на двухъ высокихъ печахъ, на одной—превосходный, колоссальный бюстъ Юпитера, на другой—Минервы. На стѣнахъ висѣли картины съ живописными видами, группами, портретами.

Въ диванной мы увидѣли даму среднихъ лѣтъ, съ самой симпатичной наружностью, одѣтую очень скромно. Она сидѣла на диванѣ рядомъ съ молодымъ человѣкомъ, брюнетомъ, небольшого роста, черты лица котораго выражали умъ, добродушную иронию и наклонность увлекаться. Передъ ними на столѣ лежалъ раскрытый альбомъ великолѣпныхъ рисунковъ большого формата, которые они внимательно рассматривали. На этой комнатѣ лежала та же печать художественности, какъ и на залѣ. По стѣнамъ видѣлись картины, на окнахъ цвѣты; въ нишѣ окна, прямо противъ двери изъ залы, среди растений, на пьедесталѣ стояла въ ростъ человѣческой статуя. Она изображала полуобнаженную нимфу, колѣномъ правой ноги нимфа опиралась на невысокую скалу, лѣвую опускала въ большую раковину, въ которую лила воду изъ античнаго кувшина, поддерживая его надъ правымъ плечомъ обѣими руками. Статуя эта, работы графа Ѳ. П. Толстого, сдѣлана была имъ въ 1845 году и предложена въ совѣтъ академіи художествъ, гдѣ заслужила всеобщую похвалу какъ по идеѣ и граціозности нимфы, такъ и по правильности рисунка всей фигуры.

Графъ представилъ эту нимфу его величеству Николаю Павловичу. Государь долго ее рассматривалъ, называя прекрасной, приказалъ выстѣчь ее изъ мрамора,

также произвести гальванопластическимъ способомъ мѣдную для фонтана и поставить въ нижнемъ саду Петергофа, внутри мраморной колоннады (она и теперь тамъ находится). По случаю возникшей войны съ французами и англичанами, государь приказалъ на время остановить работы нимфы изъ мрамора, а такъ какъ приказанія возстановить производство ея изъ мрамора больше не было, то она и осталась въ гипсовомъ слѣпкѣ.

При входѣ моемъ и княжны въ диванную комнату, дама, сидѣвшая на диванѣ, встала и встрѣтила насъ такъ искренно, тепло, такъ сердечно, что я почувствовала себя между своими. Это была графиня Анастасія Ивановна Толстая. Она представила намъ сидѣвшаго съ нею молодого человѣка, говоря: «Николай Ѳедоровичъ Щербина».

Щербина сказалъ мнѣ, что онъ очень хорошо знаетъ Вадима Васильевича, напомнилъ, какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы видались съ нимъ въ домѣ А. Ѳ. Вельтмана, когда онъ только-что пріѣхалъ изъ Таганрога и придумывалъ, какую бы избрать себѣ карьеру.

Ему было тогда не болѣе шестнадцати лѣтъ. Вельтманъ и Вадимъ полюбили его, одѣлили его расцвѣтавшій талантъ и приняли въ немъ участіе.

Мы дружески пожали другъ другу руки.

Спустя часа два, всѣ мы были между собой какъ бы давно и близко знакомые. Насъ пригласили отобѣдать. Незадолго до обѣда графъ оставилъ свой кабинетъ, гдѣ съ утра занимался работой, и вошелъ къ намъ.

Съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія смотрѣла я на геніальнаго старца-художника.

Не взирая на преклонныя лѣта, онъ былъ еще свѣжъ, бодръ и сохранилъ остатки прекраснаго лица. Въ глазахъ его, прикрытыхъ зеленымъ зонтикомъ, свѣтился умъ и юность души. Роста графъ былъ высокаго, держался прямо, несмотря на свои лѣта и неутомимые труды. Въ его обращеніи, въ приемахъ была простота, благородство, и на всемъ на немъ лежалъ типъ породистости того слоя общества, къ которому онъ принадлежалъ по рожденію, воспитанію и возвышенной натурѣ своей. Вслѣдъ за графомъ вошли двѣ миловидныя дѣвочки, въ коротенькихъ платьицахъ, — дочери графа. Одной изъ нихъ казалось около тринадцати, другой

около десяти лѣтъ. Видно было, что на этихъ дѣтяхъ сосредоточивалась вся забота, вся любовь, вся радость просвѣщенныхъ родителей. Столько счастья, столько жизни свѣтилось въ ихъ дѣтскихъ взорахъ, столько простоты, свободы въ граціозныхъ движеніяхъ.

Въ небольшомъ кабинетѣ графини остановили мое вниманіе висѣвшіе по стѣнѣ надъ диваномъ четыре барельефа изъ поэмы Гомера «Одиссея», работы графа, вылепленные имъ изъ воска въ 1816 году. Первый барельефъ изображалъ пиршество искателей руки Пенелопы, во время отсутствія Одиссея на троянской войнѣ, а въ сторонѣ Минерва, въ видѣ Ментора, совѣтуетъ Телемаку отыскивать отца. Второй—какъ Телемакъ въ гостяхъ у Менелая, слушая рассказъ Елены о троянской войнѣ и подвигахъ Улисса, заплакалъ и былъ узнавъ. На третьемъ—Улиссъ въ видѣ нищаго является въ свой дворецъ во время пиршества жениховъ Пенелопы. Телемакъ объявляетъ, что тотъ получить руку его матери, кто натянетъ лукъ Одиссея и пропуститъ стрѣлу сквозь кольцо, повѣшенное въ залѣ. Ни одинъ изъ жениховъ не въ силахъ натянуть лука. Нищій выражаетъ желаніе участвовать въ состязаніи, Телемакъ велитъ передать ему лукъ; онъ легко натягиваетъ его, пропускаетъ стрѣлу сквозь кольцо, второй стрѣлой убиваетъ главнаго преслѣдователя Пенелопы, а потомъ съ помощью Телемака и одного пастуха убиваетъ всѣхъ пировавшихъ, кромѣ пѣвца Феміуса. На четвертомъ—Меркурій отводитъ въ адъ прозрачную группу летящихъ тѣней—жениховъ Пенелопы. У входа въ адъ ихъ встречаютъ тѣни Агамемнона и Ахилла, удивленные одновременной смертью столькохъ юношей, и узнаютъ о происшедшемъ на островѣ Итакѣ.

Съ изумленіемъ и восторгомъ всматривалась я въ вѣрную картину древняго быта, въ грацію лицъ, одежды, обстановки, въ сочетаніе группъ, въ красоту и точность работы.

Графъ первый изъ русскихъ художниковъ сталъ лепить изъ воска барельефы изъ древней, средней и русской исторіи, изъ греческой мифологіи и изъ преданій гомерическихъ вѣковъ... Онъ изучалъ для этого археологію, читалъ множество описаній образа жизни и утвари въ разные вѣка, имѣлъ большое собраніе костюмовъ

какъ древнихъ, такъ и среднихъ вѣковъ всѣхъ странъ и народовъ, и въ работахъ своихъ во всемъ держался самой строгой вѣрности.

Съ четырехъ барельефовъ изъ «Одиссеи» онъ вырѣзалъ въ составной, крѣпкой мѣди формы для выливанія въ нихъ гипсовыхъ слѣпковъ.

На другой стѣнѣ кабинета находилась коллекція осмиугольныхъ медальоновъ, также съ дивнымъ искусствомъ выгнанныхъ графомъ изъ воска. Они изображали отечественную войну 12-го года и войны 13-го и 14-го годовъ.

Графиня объяснила мнѣ содержаніе каждаго медальона и обратила мое вниманіе на мраморный бюстъ работы графа, представляющій дремлющаго Морфея въ густомъ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ породы лилій, которымъ древніе греки приписывали усыпляющее свойство, и на грудное изображеніе Спасителя, изсѣченное такъ же, какъ и бюстъ Морфея, изъ мрамора, въ естественную величину.

Изъ трехъ картинъ, написанныхъ графомъ масляными красками, вниманіе мое остановила картина семейная и въ ней особенно замѣчательная перспектива комнатъ.

Весь этотъ день мы провели съ большимъ наслажденіемъ; съ этого времени стали часто видаться съ Толстыми и все больше и больше сближалась съ ними.

Образованность, теплота души графини, умъ, доброта, многостороннія знанія, юность и свѣжесть духа графа и радушный пріемъ привлекали въ ихъ домъ избранное общество: литераторовъ, артистовъ, художниковъ, образованныхъ людей. Въ кругу графа возбуждены были интересы какъ отечественнаго просвѣщенія, такъ и общественнаго благоустройства, политики, поэзіи, литературы, науки; всему онъ сочувствовалъ, все ему было близко, все имъ изучено и ставило его высоко, какъ художника и какъ просвѣщеннаго человѣка. Несмотря на все это, онъ былъ такъ простъ, непритязателенъ и исполненъ только стремленіемъ къ пользѣ общей, что передъ авторитетомъ его, котораго онъ не давалъ и замѣтить, рождалась не робость, не чувство своего ничтожества, но порывы къ прекрасному, бодрость духа и желаніе дѣятельности.

Въ домѣ Толстыхъ чаще всѣхъ встрѣчала я, кромѣ

нѣкоторыхъ художниковъ, поэта Щербину, Федора Николаевича Глинку, друга молодыхъ лѣтъ графа, только-что возвратившагося изъ ученаго путешествія на Сырь-Дарю, орнитолога Николая Алексѣевича Сѣверцова, замѣчательнаго какъ обширнымъ знаніемъ своего предмета и образованіемъ, такъ и поразительною разсѣянностью; случалось, что, входя куда-нибудь въ домъ, если какой-нибудь предметъ возбуждалъ въ немъ любопытство, то онъ, никого не замѣчая, направлялся прямо къ нему; когда же въ глаза ему бросалась книга, онъ шелъ прямо къ ней, раскрывалъ ее, начиналъ читать и забывалъ, что не у себя въ кабинетѣ. Почти ежедневно бывалъ у Толстыхъ малороссійскій поэтъ Тарасъ Григорьевичъ Шевченко.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, какъ извѣстно, родился въ крѣпостномъ состояніи у одного изъ малороссійскихъ помѣщиковъ. Умный, даровитый, страстный любитель поэзіи и живописи, онъ имѣлъ случай приобрести нѣкоторыя свѣдѣнія, способствовавшія его развитію, но крѣпостное состояніе тяготѣло надъ нимъ; по счастью, о немъ узналъ Василій Андреевичъ Жуковский; онъ исходатайствовалъ ему у помѣщика увольненіе и въ 1844 году опредѣлилъ въ академію художествъ, а въ 1848 г. Шевченко получилъ званіе свободнаго художника и уѣхалъ на родину. Тамъ онъ написалъ сатиру, за которую былъ разжалованъ въ солдаты въ Оренбургскій край и назначенъ въ арестантскія роты въ крѣпостныя работы Новопетровской крѣпости. Изъ этого несчастнаго положенія онъ былъ извлеченъ участіемъ графа и графини Толстыхъ, по преимуществу графини, какъ это видно изъ слѣдующихъ писемъ къ ней Тараса Григорьевича.

«22-го апрѣля 1856 г.

«Христосъ воскресъ. Благородное письмо ваше, отъ 20-го февраля, получено мною 15-го апрѣля, и получено такъ кстати, какъ я еще никогда не получалъ (въ день Свѣтлага Христова Воскресенія) такого искренняго, сердечнаго письма въ такой день.

Страстная недѣля была проведена мною въ самомъ тревожномъ, въ самомъ тяжкомъ ожиданіи. И въ продолженіе Великаго поста, и въ особенности на Страстной недѣлѣ, когда у насъ открылось водное сообще-

ніе, я ждалъ изъ Оренбурга почты, которая должна была привезти мнѣ прощеніе, вслѣдствіе высочайшаго манифеста, обнародованнаго по случаю восшествія на престолъ государя императора. Оказалось что же? что я не былъ представленъ къ этой высочайшей милости. Что я не вычеркнутъ изъ реестра мучениковъ. Что я забытъ. Горько, да и какъ еще горько получить такое извѣстіе и въ такой великій день. Это страшная насмѣшка меня карающей судьбы! О, не приведи Господи никому такъ встрѣтить этотъ радостный, торжественный день, какъ я его теперь встрѣтилъ. Вообще эти великіе праздники внѣ семейства и родины встрѣчаются, не весело, каково же я его встрѣтилъ? Я близко былъ къ отчаянію, такъ меня ошеломило это безнадежное извѣстіе. Грустно, невыразимо грустно встрѣтилъ и проводилъ я первый день праздника. На другой день ротный командиръ объявилъ мнѣ, что получено страховое письмо на мое имя, и приказалъ отдать его мнѣ. Это было письмо ваше, ваше искреннее, великодушное посланіе.

Награди васъ Господи и близкихъ вамъ безконечной радостью и невозмутимымъ счастьемъ и спокойствіемъ! Я ожилъ, я воскресъ! И остальные дни праздника я провожу какъ бы въ родномъ семействѣ между васъ и Николая Осиповича, мои милые, мои добрые, мои великодушные друзья! Я такъ обрадованъ, такъ осчастливленъ вашимъ ласковымъ привѣтомъ, что забываю гнетущее меня девятилѣтнее испытаніе. Да, уже девять лѣтъ какъ казнюся я за грѣшное увлеченіе моей безтолковой молодости. Преступленіе мое велико—я это сознаю въ душѣ, но и наказаніе безгранично, и я не могу понять, что это значитъ. Конфирмованъ я съ выслугою, служу какъ истинный солдатъ; одинъ мой недостатокъ, что я не могу дѣлать ружьемъ, какъ бравый ефрейторъ, но мнѣ уже 50 лѣтъ.

Мнѣ запрещено писать стихи, я знаю за что и перепишу наказаніе безропотно. Но за что мнѣ запрещено рисовать? Свидѣтельствуюсь сердцевѣдцемъ Богомъ—не знаю. Да и судьи мои столько же знаютъ, а наказаніе страшное! Вся жизнь моя была посвящена божественному искусству. И что же? не говорю уже о матеріальной пыткѣ, о нуждѣ, охлаждающей сердце. Но какова пытка нравственная? О, не приведи Господи никому на

свѣтъ испытать ее. Хотя съ великимъ трудомъ, я, однако-жъ, отказалъ себѣ въ самомъ необходимомъ. Довольствуюсь тѣмъ, что царь даетъ солдату. Но какъ отказаться отъ мысли, чувства, отъ этой неугасимой любви къ прекрасному искусству. О, спасите меня, или еще одинъ годъ—и я погибъ. Какъ мое будущее? Что у меня на горизонтѣ? Слава Богу, если богадѣльня и можетъ быть... О, да не возмутится сердце ваше. Мнѣ снится иногда бѣдный ученикъ Мартоса и первый учитель покойника Витали. Малодушное, недостойное пророчество! Но вода на камень падаетъ и камень пробивается.

Простите мнѣ, я возмущаю ваше доброе сердце своими безконечными жалобами. Что же дѣлать? У кого что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ.

Я не знаю, писалъ ли обо мнѣ графъ Ѳеодоръ Петровичъ оренбургскому генералъ-губернатору? Если нѣтъ, то именемъ Божиимъ молитесь его—пускай напишетъ; безъ него нельзя для меня ничего сдѣлать. Коронація государя императора предѣлъ моей единственной надежды.

Какъ въ Бога милосердаго, такъ я вѣрую въ ваше милосердіе, и во имя этой святой вѣры подайте отъ себя прошеніе обо мнѣ ея высочеству нашему августѣйшему президенту. Во имя человеколюбія, принесите эту жертву. Подобныя жертвы приносятся матерями и сестрами; но у меня ни сестры, ни матери, никого нѣтъ. Заменяйте же мнѣ и ту и другую, заменяйте мнѣ единственного друга!

Прощайте, мой искренній, мой великодушный анонимъ. Не оставляйте меня и дѣлайте, что вамъ укажетъ ваше доброе сердце и что можетъ сдѣлать; а чего нельзя—предоставимъ всемогущему человеколюбію!

Въ отношеніи книгъ я не прошу у васъ О. З. за прошлый годъ, а полагаюсь совершенно на вашу борьбу. Не забудьте кисть и плитку сепи, пускай хоть полюбуюсь на эти предметы, сердцу дорогіе.

Прощайте, не оставляйте безпредѣльно преданнаго вамъ Т. Шевченка».

Адресъ: Оренбургской губерніи, Новопетровское укрѣпленіе, его в—родію Ираклію Александровичу Ускову.

«1857. Генваря 9. Новопетровское укрѣпленіе *).

«Драгоценное письмо ваше, отъ 8 октября минувшаго года. Получено въ укрѣпленіи 26. Декабря, а мнѣ передано распечатанное 1. Генваря, какъ подарокъ на новый годъ. Какое мѣлкое материальное понятіе о подаркѣ и о праздникѣ! Дѣтское понятіе. есть люди дожившіе до сѣдыхъ волосъ, и все таки дѣти. Иные тихіе и кроткіе, другіе буйные и шаловливые дѣти. Дѣти не наученные опытомъ понимать самые простые вещи. Какъ на примѣръ, не говорю уже о десятилѣтнемъ моемъ чистилицѣ. Довольно и шестимѣсячнаго, трепетнаго, душу гнѣтущаго ожиданія. И что же? Онѣ, разумѣется безсознательно, крадутъ изъ моей мученической жизни, самые свѣтлые самые драгоценные четыре дня. Къ шестимѣсячной пыткѣ прибавляютъ еще четыре дня. Дикое преступленіе! А между тѣмъ безсознательное. Слѣдовательно только Вандализмъ а не преступленіе. И я съ умиленіемъ сердца повторилъ слова распятаго человѣколюбца. Прости имъ не вѣдятъ бо что творять.

Друзе мой благородный лично незнаемый! Сестро моя Богу милая никогда мною невидѣнная! Чѣмъ воздамъ, чѣмъ заплачу тебѣ за радость, за счастье которымъ ты обаяла восхитила мою бѣдную тоскующую душу? Слезы! Слезы безпредѣльной благодарности приношу въ твое возвышенное благородное сердце. Радуйся несравненная благороднѣйшая заступница моя! Радуйся сестро моя сердечная! Радуйся какъ я теперь радуюсь друзе мой душевный! Радуйся ты вывела изъ бездны отчаянія мою малую, мою бѣдную душу! Ты помолилася тому кто кромѣ добра ничего не дѣлалъ, ты помолилася ему молитвою безплотныхъ ангеловъ. И радость твоя какъ моя благодарность безпредѣльны.

Шатобрианъ сказалъ. въ замогильныхъ запискахъ — Что истинное счастье не дорого стоитъ. и что дорогое счастье плохое счастье. — Что онъ разумѣлъ подъ этимъ простымъ словомъ? Счастье Лукула, или Фамусова? Не думаю. Римскому и московскому барину не дешево обходилась трехчасовая ѣда которая въ продолженіи трехъ сутокъ въ желудкѣ не варилась. Слѣдовательно обжора не можетъ похвалиться даже счастьемъ скота, и выходить,

*) Печатается съ соблюденіемъ правописанія подлинника.

что знаменитый туристъ, эмигрантъ, дипломатъ, и наконецъ авторъ Атталы не имѣлъ никакого понятія о настоящемъ щастіи, а на такого щастливца какъ напримѣръ я теперь, гордый аристократъ-педантъ и взглянуть не хотѣлъ; не только завести рѣчь о щастіи со смердомъ. Бѣдный! Малодушный вы Шевалье де Шатобріанъ де Комбуръ! Флорентинскій изгнанникъ выдралъ бы васъ за уши какъ болтуна школьника за такую чепуху.

Дантъ Альгьери былъ только изгнанъ изъ отечества, но ему не запрещали писать свой адъ и свою Беатриче... А я... Я былъ несчастіе флорентинскаго изгнанника, за то теперь щастливѣе щастливѣйшаго изъ людей. И выходитъ что истинное щастье не такъ дешево какъ думаетъ Шевалье де Шатобріанъ. Теперь, и только теперь я вполне увѣровалъ въ слово.—Любя наказую вы.—Теперь только молюся я и благодарю его за безконечную любовь ко мнѣ за ниспосланное испытаніе. Оно очистило исцелило мое бѣдное больное сердце. Оно отвело призму отъ глазъ моихъ сквозь которую я смотрѣлъ на людей и на самого себя. Оно научило меня какъ любить враговъ и ненавидящихъ насъ. А этому не научить никакая школа кромѣ тяжелой школы испытанія, и продолжительной бесѣды съ самимъ собою. Я теперь чувствую себя, если не совершеннымъ, то по крайней мѣрѣ безукоризненнымъ христіаниномъ. Какъ золото изъ огня, какъ младенецъ изъ купели, я выхожу теперь изъ мрачнаго чистилища чтобы начать новый благороднѣйшій путь жизни. И это я называю истиннымъ настоящимъ щастіемъ, щастіемъ какого Шатобріанамъ и во снѣ не увидѣть.

Пока я могъ взяться за перо чтобы написать вамъ хоть что-нибудь непохожее на настоящую чепуху. Я бродилъ нѣсколько дней вокругъ укрѣпленія. и не съ однимъ письмомъ вашимъ неоцененнымъ, а съ вами самими, сестро моя Богу милая! И очомъ я не говорилъ съ вами? чего не перасказалъ, чего не повѣрилъ я душѣ вашей восприимчивой! все, и мрачное минувшее, и свѣтлое будущее, все съ самаго малѣйшими подробностями. И если, какъ вы питаете надежду на личное свиданіе наше. Если повторится эта сердечная исповѣдь, то боюсь что это будетъ повтореніе слабое и безцвѣтное.

Я до того дошелъ въ своихъ предположеніяхъ что вообразилъ себя на Васильевскомъ островѣ въ какой нибудь отдаленной линіи, въ скромной художнической кельи ободномъ окнѣ работающимъ надъ мѣдною доскою (я исключительно намѣренъ заняться гравированіемъ аква-тента. Живописцемъ я себя уже и вообразить не могу). Далѣе воображаю себя уже искуснымъ граверомъ дѣлаю нѣсколько рисунковъ сепіей съ знаменитыхъ произведеній въ Академіи и въ Эрмитажѣ, и съ такимъ запасомъ отправляюсь въ мою милую Малоросію и на хуторѣ у одного изъ друзей моихъ скромныхъ поклонниковъ музъ и грацій. воспроизвожу въ гравюрѣ знаменитыя произведенія обожаемаго искусства. Какая сладкая, какая отрадная мечта! Какое полное безмятежное счастье! и я вѣрую я осязаю мое сладкое будущее. Я посвящаю мои будущіе эстампы вашему драгоценному имени, какъ единственной моей радости, какъ единственной причинѣ моего безмятежнаго счастья.

Многое и многое хотѣлбы я сказать и рассказать вамъ. Но во мнѣ теперь такой безпорядокъ, хуже всякаго ералаша. Дождусь ли я того того тихого-сладкого счастья, когда вамъ лично стройно, спокойно, съ умѣренностью перерожденнаго христіанина, расскажу вамъ какъ сонъ мое грустное минувшее. А теперь все что я пишу вамъ примите за самую безалаберную хотя и искреннюю, импровизацію. Примите и простите мнѣ дружбе мой единый эту быть можетъ грубую искренность..... *) существуетъ на свѣтѣ?

Всѣмъ сердцемъ моимъ целую Графа Ѳедора Петровича, васъ, дѣтей вашихъ и всѣхъ кто близокъ и дорогъ благородному сердцу вашему. До свиданія!

Гдѣ Осиповъ? что съ нимъ? Съ Іюня мѣсяца я жду отъ его посланія и плитку сепіи, и вѣрно не дождусь. Не попалъ ли и онъ въ число друзей моихъ которымъ было запрещено всякое сообщеніе со мною. Храни его Господь».

*) Три строки въ подлинникѣ зачеркнуты.

«12-го ноября 1857 г. Нижний-Новгородъ.

«Мой друже милый, мой единый! моя благородная, моя святая заступница! Богъ сердцевѣдецъ наградить васъ за ваше дружески родственное участіе въ моемъ безвыходномъ положеніи. Вы такъ искренно, съ такою теплою любовью указываете путь, которымъ я могу достигнуть моей возлюбленной академіи. Благодарю васъ, мой друже милый, мой единый! Завтра же пишу графу Федору Петровичу письмо и въ ожиданіи благихъ послѣдствій молюсь и уповаю.

Со дня отбытія моего (со 2-го августа) изъ Новопетровскаго укрѣпленія я совершенно счастливъ и въ особенности сегодня. По прибытіи въ Нижний-Новгородъ, неутомимая полиція разрушила мое блаженство, и то на нѣсколько дней. Вскорѣ я пришелъ въ себя отъ этого неожиданнаго щелчка, и какъ человѣкъ, испытанный подобными щелчками, сказалъ самъ себѣ:—все къ лучшему. Я совершенно вѣрую въ это старое изреченіе, и на сей разъ увѣренность моя вполне оправдалась; мнѣ необходимъ былъ промежутокъ между Сѣверной Пальмирой и Киргизской пустыней, а иначе я явился бы къ вамъ настоящимъ киргизомъ. А теперь, съ помощію добрыхъ людей, я понемногу дѣлаюсь похожимъ на человѣка. Дѣло въ томъ, что я въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ, кромѣ «Русскаго Инвалида», ничего не читалъ. Такъ можете себѣ вообразить, какимъ бы я чудачкомъ безграмотнымъ явился въ обществѣ грамотныхъ людей. Теперь же я, благодаря моихъ здѣшнихъ друзей, заваленъ книгами и запоемъ читаю, или, правильнѣе, отчитываюсь, а осенняя грязь мнѣ удивительно какъ много помогла въ этомъ сладкомъ дѣлѣ. Я прочиталъ уже все, что появилось замѣчательнаго въ нашей литературѣ въ продолженіе этого времени. Теперь остались мнѣ одни журналы за нынѣшній годъ, и я наслаждаюсь ими, какъ самымъ утонченнымъ лакомствомъ, и выходитъ, что все къ лучшему, что нѣтъ худа безъ добра. Пока позволяла погода, я сдѣлалъ нѣсколько рисунковъ съ здѣшнихъ старинныхъ церквей. Оригинальная и даже изящная архитектура, а теперь, во время слякоти и грязи, дѣлаю изрѣдка портреты карандашомъ, а въ остальные часы дня и ночи читаю.

Вотъ и всѣ мои теперешнія занятія, которыми я безконечно доволенъ.

Вчера, получивши ваше дорогое, неоцѣненное письмо, отправился я къ В. И. Далю, но не нашелъ его дома. Сегодня отнесу на почту письмо и пойду опять къ Владимиру Ивановичу.

Прощайте,—не прощайте,—до свиданія, мой милый, мой единый друже! Скоро два часа, и мнѣ не хочется упустить сегодняшнюю почту. Завтра пишу графу Федору Петровичу, а пока цѣлую его чудотворящую, святую руку и молю милосердаго Господа освѣтить васъ и все семейство ваше своимъ святымъ нетлѣннымъ кровомъ. До свиданія, моя сестра, Богу милая! Вѣчно искренній и благодарный Т. Шевченко.

«Не спрашивая знаю, откуда и какія мои деньги у васъ, только прошу васъ, сохраните эту великую, чистую жертву у себя до нашего свиданія. Я теперь, слава Богу, кое-какъ пріудѣлся и въ деньгахъ нужды не имѣю».

«2-го января 1858 г.

«Простите ли вы меня, моя святая заступница, за мое долгое молчаніе? Навѣрно простите, когда я вамъ расскажу причину этой грубой невѣжливости. 23-го декабря получилъ я ваше драгоценное письмо, а 24-го пріѣхалъ ко мнѣ изъ Москвы гость. И кто бы, вы думали—былъ этотъ дорогой гость, который не далъ мнѣ написать вамъ ни одной строчки? Это былъ—ни больше, ни меньше—какъ нашъ великій старецъ Михайло Семеновичъ Щепкинъ. Каковъ старецъ? за четыреста верстъ пріѣхалъ навѣстить давно невиданнаго друга. Вотъ что называется другъ. И я безконечно счастливъ, имѣя такого искренняго друга. Онъ гостилъ у меня по 30-е декабря; подарилъ нижегородцамъ три спектакля, привелъ ихъ въ трепетный восторгъ, а меня—меня вознесъ не на седьмое, а на семидесятое небо! Какая живая, свѣжая, поэтическая натура! Великій артистъ и великій человекъ, и—съ гордостью говорю—самый нѣжный, самый искренній мой другъ! Я безконечно счастливъ!

Проводивъ Михайла Семеновича, я долго не могъ придти въ себя отъ этого переполненнаго счастья, и

только сегодня, и то съ горемъ пополамъ, могъ взяться за перо, чтобы благодарить васъ за драгоценное письмо ваше и написать вамъ о моемъ безпредѣльномъ счастьи. Простите меня великодушно, моя святая заступница, что я вамъ пишу мало. Ей Богу—не могу. Поздравляю васъ, графа Федора Петровича и милыхъ дѣтей вашихъ съ новымъ годомъ и желаю вамъ на всю жизнь такой радости, такого счастья, какимъ я теперь наслаждаюсь. Простите и не забывайте меня, искреннѣйшаго и счастливейшаго вашего благодарнаго друга Т. Шевченко».

«Р. С. На-дняхъ явится къ вамъ П. А. Овсянниковъ, мой здѣшній добрый пріятель и товарищъ по квартирѣ. Онъ вамъ сообщитъ всѣ подробности о мнѣ и о моемъ дорогомъ, незабвенномъ гостѣ. Благодарю васъ за адресъ Осипова, сегодня и ему пишу, и разумѣется о М. С. Щепкинѣ. Я теперь не въ силахъ ни о чемъ больше ни писать, ни думать».

«5-го марта 1853 г.

«Моя святая заступница! Свиданіе наше такъ близко, такъ близко, что я едва владѣю собою отъ ожиданія. 2-го марта я получилъ ваше сердечное, святое письмо и не зналъ, что съ собою дѣлать въ ожиданіи официальной бумаги. Наконецъ, эта всемогущая бумага сегодня получена въ губернаторской канцеляріи и завтра будетъ передана полиціи-мейстеру. Послѣзавтра я получу отъ него пропускъ и послѣзавтра же, т.-е. 7-го марта, въ 9 часовъ вечера, я оставляю гостепріимный Нижній-Новгородъ. Въ Москвѣ останусь нѣсколько часовъ, для того только, чтобы поцѣловать моего искренняго друга, знаменитаго старца М. С. Щепкина. Говорилъ ли вамъ Лазаревскій, что этотъ бессмертный старецъ сдѣлалъ мнѣ четырехсотверстный визитъ о рождественскихъ святкахъ? Каковъ старикъ? самый юный, самый сердечный старикъ! и мнѣ было бы непростительно-грѣшно не посвятить ему нѣсколько часовъ въ Москвѣ.

Во имя всѣхъ святыхъ, простите мнѣ великодушно мой лаконизмъ. Я въ эти долгіе дни буквально не владѣю собою. Не только писать—читать не могу. На-дняхъ

получилъ я отъ Сергѣя Тимофѣевича Аксакова его новую книгу: «Дѣтство Багрова». И она у меня такъ и лежитъ не разрѣзанною. Несносно томительное состояніе.

До скорого свиданія, моя великодушная, святая заступница. Всѣмъ сердцемъ моимъ цѣлую васъ, графа Федора Петровича и все родное и близкое вашему нѣжному, благородному сердцу. Сердечно благодарный вамъ Тарасъ Шевченко».

Можно смѣло сказать, что графиня Анастасія Ивановна Толстая спасла Малороссію великаго поэта.

Нерѣдко, чтобы помочь ближнему, Толстые забывали свои интересы. Это забвеніе себя для другихъ меня особенно изумляло и трогало въ графинѣ во время ея жестокихъ несчастій и глубокаго горя, когда людямъ бываетъ ни до кого и ни до чего.

Зимой я съ семьей своей поселилась въ Дрезденѣ. Въ это время жила въ Дрезденѣ съ своимъ семействомъ Марья Каспаровна Рейхель, рожденная Эрнъ, прѣхавшая въ чужіе края съ семействомъ Александра; мужъ ея занималъ мѣсто профессора музыки и пѣнія въ дрезденской консерваторіи. Узнавши о нашемъ прѣздѣ, она немедленно насъ навѣстила; отъ нея я узнала нѣкоторыя подробности о жизни Александра и его семейства съ ихъ отъѣзда изъ Россіи.

Въ одномъ изъ писемъ Маши къ Александру я написала ему нѣсколько словъ, между строчекъ ея письма; спустя дней десять, Мама получила отъ него отвѣтъ, въ концѣ котораго была слѣдующая приписка:

«Читаю между строчекъ, и что за странность! Мнѣ двѣнадцать лѣтъ, а Татѣ *) четырнадцать. Зачѣмъ же между строкъ? пишите прямо. Богъ знаетъ, какъ радъ. Нельзя ли намъ увидаться. Можно устроить свиданіе на берегу моря. Хочется васъ видѣть, обнять».

Вслѣдъ за письмомъ я получила отъ него ящикъ книгъ и печатный листокъ.

По желанію Александра, я послала ему фотографическіе портреты моихъ дѣтей; онъ отвѣчалъ:

«Безконечно благодаренъ: я здѣсь не избалованъ вниманіемъ. Славныя лица, настоящіе русскіе юноши; при-

*) Старшая дочь Александра—Наталя Александровна.

соединимъ къ моей коллекціи. А знаютъ ли твои дѣти, что у нихъ дѣдушка пономарь?»

Въ одномъ изъ писемъ онъ предлагалъ намъ слѣдующее лѣто провести на островѣ Вайтъ, куда и самъ съ дѣтьми намѣренъ былъ переѣхать.

«Воздухъ на островѣ здоровый, прекрасный,—писалъ онъ:—мы заранее вамъ все устроимъ и вблизи насъ раскинемъ палатку вашу».

На островъ Вайтъ мы не поѣхали; не была я и на берегу моря, чтобъ повидаться съ другомъ моей молодости.

Въ Дрезденѣ мы видѣлись съ Михайломъ Никифоровичемъ Катковымъ и его женою; они пріѣхали изъ Лондона и, узнавши, что мы въ Дрезденѣ, вечеромъ въ день своего пріѣзда навѣстили насъ; мы встрѣтили ихъ съ крикомъ удивленія и радости. Только-что расположились пить чай и начались взаимные рассказы и расспросы, какъ дверь быстро растворилась и въ комнату торопливо вошла Каролина Карловна Павлова, известная нѣкоторыми талантливыми произведеніями въ нашей литературѣ; она узнала изъ газетъ о пріѣздѣ Катковыхъ, отыскала ихъ у насъ и тутъ же пригласила всѣхъ къ себѣ пить чай, куда мы и отправились. Послѣ чая она прочитала намъ только-что написанный ею рассказъ «За чайнымъ столомъ» и предложила Михайлу Никифоровичу купить его для «Русскаго Вѣстника». Рассказъ этотъ былъ напечатанъ въ «Вѣстникѣ», кажется, въ декабрѣ того же года.

Михаилъ Никифоровичъ сказывалъ мнѣ, что видѣлся съ Александромъ, и сожалѣлъ, что вслѣдствіе недоразумѣнія они разстались съ взаимнымъ неудовольствіемъ.

Мнѣ это было очень непріятно; по рассказу Михаила Никифоровича, я видѣла въ ихъ разладѣ недоразумѣніе и, чтобы разъяснить его, написала Александру, что онъ превратно понялъ отношенія къ нему Михаила Никифоровича. Онъ отвѣчалъ мнѣ: «Тебѣ Богъ попрыскалъ очи такой водой, что ты розы видишь, а шиповъ не можешь видѣть никогда». Такъ стараніе мое и пропало даромъ.

Остальную часть осени и зиму мы провели въ Гейдельбергѣ; пріѣхали прямо къ юбилею Шиллера. Юбилей праздновался торжественно; бюстъ поэта, увѣнчанный

цвѣтами, стоялъ на возвышеніи, окруженный молодыми дѣвушками въ вѣнкахъ, съ гирляндами изъ живыхъ цвѣтовъ въ рукахъ; говорились рѣчи, пѣлись хоры, портреты поэта продавались на каждомъ шагѣ; вечеромъ весь университетъ и толпы народа, съ пылающими факелами и музыкой, обходили всѣ улицы города.

Сколько народовъ благословляли въ этотъ день великаго поэта за святые минуты, за слезы, пролитыя на его поэмы, на его чистыя пѣсни; какой памятникъ сравнится съ тѣмъ, который онъ воздвигнулъ себѣ въ человѣчествѣ! Какой пламенникъ можетъ горѣть ярче его горячей любви къ людямъ!

Въ Гейдельбергѣ мы устроились довольно удобно; нѣкоторые изъ русскихъ молодыхъ профессоровъ, слушавшихъ тамъ лекціи, познакомились съ нами; чаще всѣхъ у насъ бывалъ Иванъ Михайловичъ Сѣченовъ, Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ и покойный профессоръ Ешевскій.

Весной мы отправились въ Швейцарію.

Въ Бернѣ остановились на нѣсколько дней въ гостиницѣ «Au Faucou» и тотчасъ же послали записку къ сыну Александра, который кончалъ курсъ медицинскихъ наукъ въ бернскомъ университетѣ и жилъ въ семействѣ всѣми уважаемаго профессора Фогта. Спустя нѣсколько минутъ, онъ къ намъ явился; это былъ юноша съ длинными бѣлокурыми волосами, добродушнымъ, пріятнымъ лицомъ, съ синими глазами, напоминавшими его мать; онъ выѣхалъ изъ Россіи семилѣтнимъ ребенкомъ, но насъ не забылъ, обрадовался намъ и съ перваго же дня такъ подружился съ нами, что съ простодушіемъ и пылкостью юности довѣрилъ свою любовь къ тринадцатилѣтней внучкѣ Фогта, Эммѣ; говорилъ, что просилъ у отца позволенія сдѣлать ей формальное предложеніе и женихомъ ждать ея совершеннолѣтія, но отецъ не соглашается, недоволенъ его ранней любовью и поспѣшностью завестись семействомъ. «Я напомнилъ отцу, — говорилъ онъ: — что онъ былъ немного старше меня, когда любилъ и женился; это ему не понравилось, и теперь у насъ идетъ тяжелая переписка».

— Почему же твой отецъ такъ противъ твоей любви? — сказала я. — Семейство Фогтовъ почтенное, онъ ува-

жасть его и друженъ съ ихъ сыномъ, знаменитымъ натуралистомъ Карломъ Фогтомъ.

— Ну, вотъ подите, запала у него мысль, чтобы я женился на русской, жилъ для Россіи, любилъ Россію. Какъ это любить то, чего не знаешь. Я едва помню Россію, она мнѣ чужда, и что могу для нея сдѣлать? и какой я политическій дѣятель! Я человѣкъ мирный, былъ бы у меня свой уголокъ земли въ Швейцаріи, Эмма, да книги,—мнѣ и достаточно.

— Знаютъ ли Фогты о твоей любви къ Эммѣ и какъ на это смотрять?

— Знаютъ и очень недовольны,—тѣмъ затруднительнѣе мое положеніе.

Мы прожили въ Бернѣ около двухъ недѣль; сынъ Александра проводилъ у насъ цѣлые дни; черезъ него познакомились мы и съ Фогтами; они принимали насъ, какъ старыхъ друзей, и часто удерживали обѣдать. Обѣдали мы у нихъ за знаменитымъ круглымъ семейнымъ столомъ, за которымъ обходились безъ прислуги нѣсколько поколѣній Фогтовъ и Фолленовъ, изъ рода которыхъ была умная, веселая старушка, жена самого профессора. Столъ этотъ занималъ большое пространство въ столовой и былъ неподвижно прикрѣпленъ къ полу; внутренняя часть его двигалась на оси; на эту часть стола ставили все, что надо было для обѣда: вино, воду, хлѣбъ, горчицу, соль, тарелки, и каждый могъ привертывать къ себѣ, что ему надобно.

Послѣ обѣда, сидя въ комнатѣ старушки Фогтъ, подъ окнами которой находился ихъ садъ съ парникомъ и огородомъ, я видала, какъ два сына ея, снявши съ себя куртки, съ заступами въ рукахъ, копали гряды и накрывали парники тяжелыми стеклянными рамами. Въ этомъ семействѣ всѣ, по возможности, справляли дѣла сами, не столько по необходимости, сколько изъ демократическаго принципа; единственная служанка исполняла должность кухарки, чистила сапоги и убирала комнату—только старушки-матери. Жизнь этого семейства текла тихо, мирно, однообразно, какъ большей части швейцарскихъ семействъ. Они не соображали число дѣтей съ приходо-расходной книгой, и многочисленныя поколѣнія смѣнялись одни другими, поочередно оставляя родимый кровъ. Дочери шли замужъ, сыновья-студенты,

кончая курсъ, шли жить, какъ знаютъ, и трудиться; изъ нихъ-то выходили извѣстные ученые и литераторы; такъ, изъ семейства Фогта вышелъ талантливый натуралистъ-зоологъ Карлъ Фогтъ. Онъ при насъ пріѣзжалъ повидаться съ родными, и мы познакомились. Это былъ человѣкъ реальный, свѣтлаго ума и самаго счастливаго характера. Онъ не разѣдалъ себя тоской по несбывшимся мечтамъ; страстно любилъ природу, въ наукѣ видѣлъ не трудъ, а наслажденіе, и не требовалъ ни отъ природы, ни отъ людей больше того, что они могутъ давать.

Когда Карлъ Фогтъ жилъ въ Ниццѣ, дѣлая наблюденія надъ зоофитами, наполняющими теплые заливы Средиземнаго моря, то познакомился и сблизился съ жившимъ тамъ Александромъ; въслѣдствіи Александръ рассказывалъ намъ, какъ проводилъ время свое Карлъ Фогтъ въ Ниццѣ. Рано утромъ онъ былъ уже за работою, съ микроскопомъ въ рукахъ, наблюдалъ, писалъ, рисовалъ, читалъ; передъ обѣдомъ купался въ морѣ вмѣстѣ съ Александромъ и приходилъ къ нему обѣдать, всегда веселый, всегда готовый какъ на ученый споръ, такъ и на забавныя пѣсни, и на сказки дѣтямъ, которыя они слушали, не отрываясь.

Въ Бернѣ сынъ Александра познакомилъ насъ съ Эммой. Съ разрѣшенія ея бабушки, онъ привезъ ее изъ Цюриха, гдѣ она воспитывалась въ пансіонѣ. Это была дѣвочка, почти дитя, свѣженькая, румяная, съ веселыми голубыми глазами, еще хризалида, какъ выразился о ней Александръ.

Пробывши около двухъ недѣль въ Бернѣ, мы уѣхали въ Женеву; тамъ наняли въ Паки отдѣльный небольшой домъ съ садомъ, полнымъ розановъ; изъ оконъ видѣлось Женевское озеро, голубое, какъ улыбка младенца; аллея каштановъ съ ихъ блѣдно-розовыми пирамидальными цвѣтами; вдали Салевскія горы, а изъ-за нихъ, въ ясное утро и въ тихій вечеръ, какъ бы начерченная на небѣ, бѣлѣла дѣвственнымъ снѣгомъ вершина Мон-блана. Волшебная красота природы, мягкій, кроткій воздухъ спасительно вліяли на мою въ то время больную душу; мнѣ надобно было отдохнуть отъ новой душевной тревоги, отъ грозившаго новаго семейнаго несчастья.

Вскорѣ пріѣхалъ къ намъ въ Женеву нашъ юный другъ изъ Берна и сообщилъ, что сдѣлалъ формаль-

ное предложеніе Эммѣ, объявилъ объ этомъ ея бабушкѣ и дѣду, получилъ ихъ согласіе и въ качествѣ жениха, вмѣстѣ съ своей невѣстой, былъ съ визитами у всѣхъ ея родныхъ и знакомыхъ. Все это онъ устроилъ безъ вѣдома отца, просилъ меня извѣстить его о своемъ подвигѣ и постараться, чтобы дѣло обошлось мирно. Такъ оно и обошлось—наружно; внутренно же Александръ думалъ какъ бы устроенное разстроить; но, несмотря на это, когда сынъ пріѣхалъ къ нему въ Лондонъ съ своей невѣстой, въ сопровожденіи ея тетки, чтобы познакомиться съ своимъ семействомъ, отецъ, предварительно увѣдомленный, выѣхалъ къ нимъ навстрѣчу на вокзалъ желѣзной дороги въ коляскѣ, въ которую посадилъ съ собой невѣсту-дтиа и повезъ къ себѣ на квартиру; тамъ все было приготовлено къ ея приему, какъ невѣсты сына, и во все время ея пребыванія у него она была окружена вниманіемъ и нѣжностью; но этимъ все и ограничилось.

Когда въ Лондонъ пріѣхали родители Эммы, Александръ принялъ ихъ довольно холодно и посовѣтовалъ до совершеннолѣтія невѣсты взять ее съ собою въ ихъ мѣсто жительства—Южную Америку, куда они вскорѣ и уѣхали. Сына же своего на это время отправилъ въ ученое путешествіе, предпринятое Карломъ Фогтомъ, кажется, къ берегамъ Норвегіи и Исландіи. Въ продолженіе этой разлуки молодые люди переписывались; письма изъ Америки не всегда доходили по назначенію; переписка становилась все рѣже и рѣже, наконецъ, совсѣмъ прекратилась; прекратились и отношенія молодыхъ людей.

Эмма, какъ я слышала, вышла замужъ за богатаго банкира въ Южной Америкѣ; сынъ Александра поселился въ Италіи, впослѣдствіи женился, имѣетъ девять человѣкъ прелестныхъ дѣтей, купилъ подъ Флоренціей виллу, занимается хозяйствомъ и естественными науками и приобрѣлъ извѣстность, какъ ученый писатель. Мечты двадцатилѣтняго юноши осуществились.

Въ концѣ лѣта мы отправились въ Мюнхенъ, озерами Женевскимъ, Четырехъ-Кантоновъ и Констанскимъ; пробыли тамъ около мѣсяца и уѣхали во Францію. Однимъ вечеромъ широкое зарево возвѣстило намъ близость Парижа. Какое-то лихорадочное чувство охватываетъ при

въѣздѣ въ эту столицу, исполненную чарующихъ воспоминаній.

Лѣтомъ прибыло въ Парижъ семейство графа Ө. П. Толстого; они наняли квартиру недалеко отъ насъ, и мы стали видаться довольно часто; вмѣстѣ осматривали Парижъ и его окрестности, вмѣстѣ слушали лекціи Жоффруа-Сентъ-Илера, которыя онъ читалъ рабочикамъ, и вмѣстѣ проводили по нѣсколько дней въ Версаль, осматривали дворецъ, полный трагическихъ воспоминаній, частью превращенный въ картинную галерею, его семирамидины сады, его игру фонтановъ и романтический Трианонъ.

Въ одинъ изъ нашихъ пріѣздовъ въ Версаль, мы подали съ почты записку, въ которой было сказано:

«Өедоръ Агеевъ отъ тятеньки изъ Корчевы пріѣхалъ за приказаніями».

Когда я училась вмѣстѣ съ Александромъ и жила у нихъ, то отецъ мой нерѣдко присылалъ изъ Корчевы въ Москву кондитера нашего Өедора Агеева за покупками, и онъ всегда являлся ко мнѣ узнать, не будетъ ли какихъ приказаній. Насъ это чрезвычайно забавляло въ то время.

За нѣсколько дней передъ нашей поѣздкой въ Версаль, Александръ писалъ, что собирается въ Парижъ. Чтобы не навлечь непріятностей на дѣтей моихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не оскорбить Александра, я немедленно обратилась къ совѣтнику нашего посольства, Толстому, съ которымъ иногда видалась въ домѣ графа Ө. П. Толстого; показала ему письмо Александра, гдѣ онъ увѣдомлялъ меня о своемъ пріѣздѣ, и спросила, могу ли открыто видѣться съ нимъ, не навлекая на насъ подозрѣній и непріятностей; если же не могу, то сообщу это ему и уѣду изъ Парижа; онъ все пойметъ и не обвинитъ меня, а останется тутъ и не видаться съ нимъ мнѣ невозможно. Толстой отвѣчалъ, что уѣзжать мнѣ изъ Парижа нѣтъ никакой надобности и видаться съ Александромъ могу сколько угодно; что образъ жизни нашей отклоняетъ отъ насъ всякое подозрѣніе.

— Напротивъ,—продолжалъ Толстой:—мы надѣемся, что ваше вліяніе, можетъ, благотворно повліяетъ на Александра Ивановича и возвратитъ его отечеству.

— Едва ли,—отвѣчала я.—Оставляя то, что онъ неиз-

мѣримо выше меня по уму и многостороннему развитію, онъ такъ твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ, что если ангелъ съ неба прилетитъ и станетъ разувѣрять его—и тотъ ничего не сдѣлаетъ; развѣ только факты заставятъ его измѣнить свой взглядъ.

Вмѣстѣ съ этимъ я показала Толстому остальные письма ко мнѣ Александра; въ нихъ рѣчь шла большею частію о семейныхъ дѣлахъ и мѣстами перемѣшивалась безвредными остротами; Толстой взглянулъ на письма, но читать ихъ не сталъ.

По полученіи трогательно-шутливой записки въ Версаль, напомнившей мнѣ наше отрочество, я поѣхала въ Парижъ съ меньшимъ сыномъ Владиміромъ и Ипполитомъ; старшій сынъ находился тогда въ Итали. Въ квартирѣ нашей насъ ждали двѣ дочери Александра съ гувернанткой и однимъ нашимъ родственникомъ. Около половины вечера на лѣстницѣ послышались шаги Салли; я вышла къ нему навстрѣчу, и мы обнялись. Онъ былъ въ возбужденномъ состояніи, гдѣ-то обѣдалъ и пилъ много шампанскаго; войдя въ залу, тотчасъ спросилъ сельтерской воды и, выпивая стаканъ за стаканомъ, сталъ съ живостью рассказывать о бывшемъ обѣдѣ, кого видѣлъ, что слышалъ, перебрасываясь отъ предмета къ предмету, перемѣшивалъ рассказы то остротами, то воспоминаніями; онъ говорилъ почти одинъ, всѣ слушали молча. Я всматривалась въ него отчасти съ удивленіемъ, отчасти съ грустью, отыскивая знакомыя, близкія мнѣ черты. Передо мной былъ тотъ же Александръ—да не тотъ; самая наружность его много измѣнилась: онъ очень пополнѣлъ, въ волосахъ серебрилась сѣдина, въ приемахъ была самоувѣренность, во взглядѣ, въ голосѣ—привычка къ авторитету; минутами въ лицѣ его выступала знакомая мнѣ черта добродушія, а когда обращался ко мнѣ, мелькала его полудѣтская улыбка. Я чувствовала, что между нами протѣснилась пропасть лицъ, событий, страстныхъ интересовъ, понятій мнѣ чуждыхъ и нежеланныхъ. Рѣчь Александра лилась, какъ водопадъ; сначала она увлекала меня, потомъ утомляла до того, что, какъ бы сквозь водяную пыль, мнѣ стали чудиться то Лондонъ и Римъ, то уютный кабинетъ съ полками книгъ, и звѣздочка свѣтитъ въ окно; имена Фази, Гарибальди смѣняли Никъ, Грановскій; изъ-за *circolo*

Romano и tribune de peuples—выступало Васильевское, рѣка съ плотиною, и лѣсъ шумить, и отрокъ съ робкимъ взоромъ и восторженною рѣчью... «Нѣтъ,—говорила я сама себѣ, какъ бы пробуждаясь отъ сна:—между былымъ и настоящимъ святая связь не порвалась».

Къ концу вечера Саша сталъ спокойнѣе и сдержаннѣе. Когда мы остались одни, разговоръ между нами вязался плохо: онъ, видимо, чѣмъ-то затруднялся; наконецъ, какъ бы вырвавшись изъ этого состоянія, сказалъ съ упрекомъ въ голосъ:

— До меня доходятъ слухи, что ты не одобряешь нѣкоторыхъ статей моего изданія?

Кто-то, по прїѣздѣ его въ Парижъ, поторопился сообщить ему объ этомъ.

— Что же изъ этого,—отвѣчала я:—нельзя же, чтобы весь міръ во всемъ соглашался съ тобою, и что ты ни скажешь—всѣ находили бы прекраснымъ.

— Затѣмъ весь міръ,—возразилъ онъ:—но съ тобою мы когда-то понимали другъ друга во всемъ.

— Дѣтьми, юными, мало ли что!

— А теперь? Идемъ различными путями?

— Должно-быть, ты далеко ушелъ впередъ.

— А ты? ты остановилась? Нѣтъ, это не такъ.

Затѣмъ рѣчь его излилась въ упрекахъ. Я молча слушала, чувствовала себя обиженной и, когда онъ кончилъ, сказала, стараясь казаться спокойной:

— Ты ничего не теряешь.

Подумавши немного, онъ сталъ говорить о любви своей къ родинѣ, о грусти по ней, объ общечеловѣческихъ интересахъ, и закончилъ словами:

— Ну, да года черезъ три или четыре вы увидите насъ въ Россіи.

Я посмотрѣла на него съ удивленіемъ и спросила:

— Какимъ же это образомъ?

Тогда онъ туманно, или это мнѣ такъ показалось, оттого что я была слишкомъ взволнована, сталъ объяснять, какъ это возможно; я долго слушала, не возражая, и, когда онъ умолкнулъ, сказала печально:

— Мнѣ кажется, Саша, ты ошибаешься.





Графъ Федоръ Петровичъ Толстой,
Вице-Президентъ Императорской Академіи Художествъ
(род. 1783, ум. 1873 г.)

ГЛАВА XLIII.

Графъ Федоръ Петровичъ Толстой.

1860.

На другой день Александръ рано утромъ пріѣхалъ къ намъ совсѣмъ въ другомъ настроеніи духа; онъ тихо, ласково взялъ меня за обѣ руки и просилъ простить его за вчерашній вечеръ, за вырвавшіеся у него упреки и позабыть, что онъ наговорилъ; сваливалъ вину на шампанское и на свой неисправимый характеръ. Я была тронута, но, несмотря на наружное сближеніе, въ глубинѣ души чувствовала еще какую-то чуждость, чувствовала, что намъ надобно ознакомиться снова для восстановленія прежнихъ отношеній, всмотрѣться другъ въ друга, чтобы найти точки соприкосновенія. На это необходимо было время.

Такъ оно и сдѣлалось.

Осмотрѣвшись, мы увидали, что внутренне не измѣнились, но близки только въ прошедшемъ; на этомъ и остановились, отклонивши всякое требованіе, все постороннее нашему прошедшему.

Дня черезъ два по пріѣздѣ своемъ въ Парижъ, Александръ пригласилъ насъ и другое родственное ему семейство на обѣдъ, который заказалъ въ ресторанѣ «Petit moulin rouge.» Обѣдъ былъ роскошенъ, всѣмъ хотѣлось одушевить его, но, несмотря на всевозможныя усилія, чувствовалось, что чего-то недостаетъ—недоставало общей гармоніи: за внѣшнимъ весельемъ таилась въ душѣ что-то чуждое веселости, таилась даже грусть.

Около вечера мы отправились въ Булонскій лѣсъ. Я ѣхала въ коляскѣ съ Сашей. Тихая, лунная ночь, лѣсъ—возбуждали въ немъ воспоминаніе объ ароматныхъ, быстро наступающихъ ночахъ Италіи; о Васильевскомъ, съ нашей вечерней зарей, сливающейся съ зарею утренней, съ ночными соловьями, съ мелькающей зарни-

цей. Почти на такія же темы шель разговоръ во все время этой прогулки.

Въ продолженіе мѣсяца, прожитаго Александромъ въ Парижѣ, мы видались часто, вмѣстѣ бывали за городомъ, въ театрѣ, въ Jardin des plantes. Однажды онъ пригласилъ насъ въ картинную галерею Лувра; тамъ, останавливаясь передъ картинами, обращавшими на себя его особенное вниманіе, громко дѣлалъ такія оригинально-острыя замѣчанія, что мало-по-малу около насъ стала собираться толпа, среди которой слышались то восклицанія одобренія, то мелькали улыбки; толпа постепенно росла, слѣдомъ ходила за нами съ видимымъ ожиданіемъ еще большаго удовольствія и, наконецъ, такъ увеличилась, что мы принуждены были удалиться изъ Лувра.

Когда мнѣ случалось идти съ нимъ по Парижу, и мы попадали на мѣсто, замѣчательное какии-нибудь событіемъ изъ революціи 1848 года, онъ останавливался и съ жаромъ рассказывалъ, что тутъ происходило.

Однимъ яснымъ утромъ, проходя вмѣстѣ съ Сашей по Пале-Роялю, увидала я впереди насъ медленно идущаго старика, просто, но хорошо одѣтаго. Его благородная наружность и что-то печально-задумчивое въ лицѣ остановило на немъ мое вниманіе.

— Знаешь ли ты, кто это?—спросилъ меня Саша.

— Не знаю,—отвѣчала я:—скажи, кто?

— Одинъ изъ участниковъ 14-го декабря, князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій, возвращенный изъ ссылки.

Въ памяти моей освѣтился трогательный рядъ женщинъ-аристократокъ—онѣ бросаютъ родныхъ, роскошь, блескъ общественнаго положенія и идутъ за мужьями въ глубину Сибири; представился грустно-поэтический вечеръ, который княгиня М. Н. Волконская, отъѣзжая въ ссылку къ мужу, проводить у своей невѣстки—умной, талантливой писательницы, княгини З. А. Волконской,—окруженной самыми замѣчательными личностями литературнаго міра того періода времени.

Печально смотрѣла я на шедшаго впереди насъ слабыми шагами старца.

— Хочешь познакомиться съ княземъ? — сказалъ Саша.

— Конечно, хочу,—отвѣчала я.

Мы ускорили шаги и нагнали князя. Онъ быстро обернулся къ намъ. Узнавши Александра, съ которымъ былъ знакомъ, привѣтливо улыбнулся и подалъ ему руку. Саша, почтительно кланяясь, сказалъ:

— Здравствуйте, князь, какъ ваше здоровье? прогуливаетесь, и прекрасно, утро великолѣпное.

Затѣмъ онъ представилъ насъ другъ другу, и мы всѣ вмѣстѣ отправились дальше. Разговаривая, князь Сергѣй Григорьевичъ нѣсколько разъ жаловался на свои ноги. Обойдя часть Пале-Рояля, мы зашли отдохнуть на квартиру къ Александру.

Знакомство наше съ княземъ Волконскимъ продолжалось—и онъ нерѣдко посѣщалъ насъ въ Парижѣ.

У Александра я познакомилась еще съ княземъ Петромъ Владиміровичемъ Д—мъ; онъ какъ-то хорошо расположился къ намъ, бывалъ у насъ вечерами, и иногда вмѣстѣ съ Сашей, который всегда осыпалъ его островами, особенно когда князь читалъ отрывки изъ своихъ «Записокъ».

Кромѣ упомянутыхъ личностей, въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, прожитыхъ нами въ Парижѣ, мы часто видались съ княжной Натальей Петровной Шаликовой, съ семействомъ нашего уважаемаго протоіерея Васильева, молодыми княземъ и княгиней Кудашевыми и съ авторомъ писемъ изъ Испаніи Василиемъ Петровичемъ Боткинымъ. Раза три въ недѣлю проводила у насъ цѣлые дни десятилѣтняя дочь Александра — Оленька, прелестный, рѣзвый ребенокъ. Она жила большею частью въ Парижѣ съ своей гувернанткой, воздухъ Франціи находили необходимымъ для ея здоровья. Мы любили и баловали ее,—меньшой сынъ мой училъ ее русской грамотѣ, которой она не знала, несмотря на то, что не душно говорила по-русски.

Незамѣтно наступило время отъѣзда Александра изъ Парижа. Однимъ раннимъ утромъ провожали мы его на желѣзную дорогу. Старшая дочь его съ гувернанткой, сыномъ моимъ и однимъ родственникомъ ѣхали въ каретѣ, я съ Сашей въ коляскѣ, меньшую дочь свою онъ посадилъ у насъ къ кучеру на козлы. Грустно шелъ между нами разговоръ о близкихъ намъ предметахъ и мало-по-малу принялъ такое болѣзненное направленіе,

что онъ раздражился, а я расплакалась; въ такомъ состояніи духа мы и разстались.

Спустя нѣсколько дней, я получила отъ него изъ Лондона письмо и только-что вышедшую книгу его сочиненія, съ надписью: «Ну, полноте сердиться»; вмѣстѣ съ книгой онъ прислалъ мнѣ фотографическую карточку, на которой онъ былъ изображенъ сидящимъ, а подлѣ него Никъ въ стоячемъ положеніи; на оборотѣ была надпись: «съ подлинникомъ въ рю». И точно, на этой карточкѣ они оба очень похожи. Вскорѣ вслѣдъ за Александромъ оставили Парижъ и Толстые. Съ ихъ отъѣздомъ прекратились и вечера, въ которые мы собирались то у нихъ, то у насъ, то у С. Л. Львицкаго и Кологривовыхъ. Вечера эти оставили по себѣ хорошее воспоминаніе, особенно тѣ, которые мы проводили у графа Ѳедора Петровича. Тамъ собирались не только близкіе знакомые, но и многіе изъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ и любителей искусствъ. Молодые люди танцовали, а между нетанцующими шли интересные разговоры, особенно касавшіеся искусствъ. Вечера эти оживлялъ оригинальнымъ остроуміемъ Н. Ѳ. Щербина. Онъ привезъ съ собою большую тетрадь русскихъ пѣсень, для фортепьяно; знающіе музыку и пѣніе ихъ играли и пѣли; родные напѣвы отзывались сочувственно въ душѣ каждого и не разъ погружали въ безотчетныя думы.

Еще лучшее воспоминаніе оставило во мнѣ то время, которое я проводила съ Толстыми одна, въ задушевной бесѣдѣ или слушая рассказы графа Ѳедора Петровича о его прошедшей жизни и чтеніе изъ его воспоминаній и путевыхъ записокъ. Онъ писалъ ихъ постоянно и въ Петербургѣ, и за границей, и продолжалъ до послѣднихъ дней своей жизни.

Чрезвычайно увлекательны были его рассказы и записки о масонскихъ ложахъ, ланкастерскихъ школахъ, о его путешествіяхъ, особенно о его пребываніи въ Италіи и о времени вступленія на престолъ императора Николая Павловича.

Слушать это мнѣ было тѣмъ интереснѣе, что этотъ періодъ времени былъ мнѣ отчасти близокъ и знакомъ. Конечно, по своей юности я не могла дѣлать оцѣнки совершавшагося передо мною, хотя нѣкоторыя, болѣе

рельефныя стороны той жизни и обращали на себя мое незрѣлое еще вниманіе. Когда же дѣятели того времени сошли со сцены и декораціи измѣнились, то картина протекшаго, освѣтившись разсказами и историческими результатами, опредѣленнѣе представилась въ моей памяти.

Отступя отъ этого періода времени, ясно становится, какъ въ первую четверть настоящаго столѣтія, несмотря на то, что образованность и нравственные понятія начинали довольно сильно развиваться въ средѣ дворянскаго сословія, особенно между молодыми людьми, масса общества еще чуждалась серьезной дѣятельности и интересовалась больше забавами, сплетнями и скандалами. Роскошные наряды, остроты, блескъ положенія и свѣтскость нерѣдко прикрывали внутреннюю испорченность. Низшее сословіе отъ высшаго и средняго отдѣляла простота.

Напоръ новыхъ идей съ Запада, распространяясь, будилъ стремленіе къ улучшенію нравственной и политической жизни. Стремленіе это проникало и въ общество, и въ кабинеты государственныхъ людей.

Новая жизнь возникала повсюду.

Понятіе о самодостоинствѣ, равенствѣ правъ и справедливости ярче всего проявлялось тамъ, гдѣ представлялось больше обезпеченія, больше досуга, стало-быть, и возможности получить болѣе правильное развитіе; тамъ оно и пробудилось сильнѣе, нежели гдѣ-нибудь, и изъ знатныхъ, богатыхъ домовъ, изъ пышныхъ гостиныхъ выступили блестящіе юноши съ протестомъ противъ невѣжества и неправды.

Графъ Ө. П. разсказывалъ, что многіе изъ этихъ молодыхъ людей, видя невѣжество народныхъ массъ и злоупотребленія лицъ, занимавшихъ правительственные должности, вздумали образовать тайное общество, посредствомъ котораго создавалось бы карающее общественное мнѣніе, которое обнаруживало бы низкія, порочныя и несправедливыя дѣйствія какъ служащихъ, такъ и не служащихъ во всѣхъ сословіяхъ, обличало ихъ передъ правительствомъ и обществомъ и такимъ образомъ способствовало къ ихъ уничтоженію.

Это центральное общество образовалось подъ названіемъ «Зеленой книги»; оно состояло изъ неболь-

шого числа членовъ, изъ которыхъ избирался одинъ первенствующій и назывался «главою». Чтобы имѣть возможность образовать общественное мнѣніе, общество «Зеленой книги» установило слѣдующую организацію: каждый изъ центральныхъ членовъ обязанъ былъ, отдѣльно отъ своего общества, составить особый кругъ на томъ же основаніи, какъ и центральное, члены котораго знали бы только своихъ членовъ и своего главу и не знали бы ничего объ обществѣ основномъ. Члены этихъ новыхъ обществъ обязаны были, въ свою очередь, составить такіе же круги, какъ и первые, и на тѣхъ же самыхъ условіяхъ, и также основать изъ себя точно такія же общества, какъ и предшествовавшія, и также не знать никакихъ другихъ членовъ, кромѣ своего круга. Выбирались люди съ осмотрительностью, извѣстные развитіемъ, умомъ, честностью и благородными понятіями.

Такимъ образомъ думали составить со временемъ огромное право-исправительное общество, двигателемъ котораго было бы центральное.

Такъ какъ главная цѣль первенствующаго общества состояла въ обязанности узнавать вездѣ происходившія несправедливости, вредныя дѣйствія чиновниковъ, даже управляющихъ высшими должностями, и вообще противонравственные поступки, то всѣ члены его отдѣленій, узнавши о какомъ-нибудь безнравственномъ или незаконномъ дѣйствіи или поступкѣ, должны были объявить объ этомъ своему главѣ; такимъ образомъ, сообщенное, переходя отъ одного центра къ другому, доходило до первенствующаго, которое, убѣдившись въ истинѣ доставленныхъ свѣдѣній, поручало всѣмъ членамъ, черезъ ихъ главныхъ, сообщенное распространять между всѣми своими знакомыми и повсюду, гдѣ можно, говорить о совершенномъ дурномъ или вредномъ поступкѣ, — о немъ начинали тотчасъ толковать во всемъ городѣ, осуждали его, и мало-по-малу онъ доходилъ до правительства, которое могло принять мѣры для его уничтоженія.

Графъ былъ приглашенъ въ число членовъ общества «Зеленой книги». Оно состояло тогда изъ князя Долгорукова, трехъ братьевъ Муравьевыхъ, двухъ братьевъ Игнатьевыхъ — офицеровъ гвардіи, и Федора Николаевича Глинки. Графъ принялъ пред-

ложене и вскорѣ по вступленіи своемъ въ центральное общество былъ выбранъ главою. Дѣйствія графа нѣсколько времени продолжались съ большимъ успѣхомъ; когда же онъ замѣтилъ, что въ ихъ обществѣ стали заниматься политикой больше, чѣмъ исправленіемъ нравовъ, что составляло прямую цѣль этого, хотя и тайнаго, но полезнаго правительству общества, то и предложилъ членамъ—ихъ общество лучше закрыть, нежели вводить въ него идеи, несоотвѣтствующія его уставу. Всѣ съ этимъ согласились. Графъ сжегъ находившіяся у него книги и бумаги общества и съ этихъ поръ рѣдко видался съ бывшими его членами.

Отдалившись отъ общества «Зеленой книги», графъ вступилъ въ лучшую масонскую ложу, извѣстную подъ названіемъ «Петра къ истинѣ».

Правительство смотрѣло тогда на масонство снисходительно и даже утвердило главную директоріальную ложу «св. Владиміра къ порядку», и дало ей правила, которыхъ она должна была держаться.

Духъ братства, содержащійся въ масонствѣ, сильно привлекалъ въ ложи множество членовъ изъ лицъ, занимавшихъ значительныя должности въ государствѣ, и изъ молодыхъ людей лучшаго круга общества, получившихъ блестящее образованіе, и изъ личностей извѣстныхъ своимъ умомъ и талантами, въ числѣ которыхъ находилось и нѣсколько декабристовъ.

Директоріальная ложа распалась на двѣ главныя ложи, «Астрею» и «Провинціальную». Отъ каждой изъ нихъ, какъ бы лучи, отбрасывались ложи второстепенныя, которымъ первыя служили образцами, и были обязаны исполнять съ точностью постановленныя въ нихъ правила.

Въ ложѣ «Петра къ истинѣ» находилось наполовину русскихъ, изъ которыхъ многіе плохо говорили по-нѣмецки, а такъ какъ работы въ ней производились на нѣмецкомъ языкѣ, то съ разрѣшенія Великой ложи «Астреи» нѣкоторые изъ членовъ, въ томъ числѣ и графъ, отдѣлились отъ нея и составили особую ложу, подъ названіемъ: «Избраннаго Михаила», гдѣ масонскія работы должны были происходить только на русскомъ языкѣ.

Въ этой ложѣ мастеромъ стула былъ избранъ графъ; намѣстнымъ мастеромъ—полковникъ главнаго штаба Да-

нилевскій; ораторомъ—полковникъ Феодоръ Николаевичъ Глинка, адъютантъ военнаго генералъ-губернатора Милорадовича; секретаремъ—Николай Ивановичъ Гречъ, издатель журнала «Сынъ Отечества»; казначеемъ—Николай Ивановичъ Кусовъ, первой гильдіи купецъ; церемоніймейстеромъ—Александръ Ивановичъ Уваровъ; первымъ надзирателемъ—Алексѣй Ивановичъ Кусовъ; вторымъ надзирателемъ—купецъ Толченовъ.

Квартира этой ложи находилась въ бель-этажѣ въ угловомъ домѣ Адмиралтейской площади и Невскаго проспекта, противъ трактира Лондонъ.

Внутреннее устройство ложи принялъ на себя графъ. Огромная зала, избранная для ложи, изображала Іоанническаго ордена колоннаду въ саду съ антаблементомъ; колоннада и антаблементъ по стѣнамъ залы были деревянные, а стѣны между столбовъ расписаны садомъ и воздухомъ; къ столбамъ, выше половины, золочеными розетками прикрѣплена была кругомъ всей залы спускавшаяся до самаго пола голубого цвѣта драпировка изъ тонкой шерстяной матеріи, обшитая золотымъ галуномъ и бахромой; по всей залѣ, по драпировкѣ, повѣшенъ былъ толстый золотой шнурокъ, фестонами, съ кафинскимъ узломъ посрединѣ. На полу между столбовъ, ступенькой выше, стояли скамейки съ подушками, покрытыя также голубой матеріей, съ золотымъ галуномъ и бахромой, на которыхъ во время работы ложъ сидѣли братья.

Потолокъ залы, изображавшій небо, выкрашенъ былъ голубымъ колеромъ, сливавшимся съ воздухомъ, написаннымъ по стѣнамъ; на небѣ изображались всѣ созвѣздія сѣвернаго небеснаго полушарія, видимыя въ ночи надъ Петербургомъ въ «Ивановъ день»—большой праздникъ массоновъ.

На поперечной стѣнѣ, противъ входной двери въ ложу, между двухъ среднихъ столбовъ выступала отъ стѣны параллелограмная площадка, на три ступени отъ пола; на ней стояли большія рѣзные позолоченныя кресла, для мастера стула ложи, обитыя голубымъ бархатомъ; надъ довольно высокой спинкою креселъ стеклянный шаръ изображалъ солнце, ярко освѣщенное изъ

нутри, а отъ него, по голубой драпировкѣ, во всѣ стороны, шли деревянные рѣзные позолоченные лучи.

Передъ креслами стоялъ столъ, на углахъ котораго въ высокихъ бронзовыхъ шандалахъ горѣло по три восковые свѣчи. Столъ былъ обтянутъ голубымъ бархатомъ, въ родѣ налож, и обитъ по всѣмъ сторонамъ золотымъ галуномъ съ бахромой.

Посреди стола лежали въ богатомъ переплетѣ большое евангеліе и мечъ ложи съ золоченой рукояткой, въ голубыхъ бархатныхъ ножнахъ, съ бронзовыми золочеными украшеніями, молотокъ управленія мастера ложи, бѣлой слоновой кости съ рукояткой изъ чернаго дерева, бѣлая бумага и бронзовая чернильница.

Между двухъ крайнихъ столбовъ, по правой сторонѣ креселъ мастера стула, на возвышеніи одной ступени находились кресла другихъ должностныхъ лицъ. Полъ и всѣ ступени были обиты зеленымъ сукномъ.

У трехъ ступеней площади стояли, на небольшихъ пьедесталахъ, два мужскіе скелета, державшіе бронзовые небольшие канделябры о трехъ восковыхъ свѣчахъ. Передъ столомъ мастера лежалъ на полу, по длинѣ комнаты, параллелограмной формы масонскій небольшой коверъ, на немъ масляными красками изображались клены или аллегоріи масонскаго ритуала.

Наружные обряды работъ масоновъ основаны были на аллегоріи сооруженія Соломонова храма. Храмъ этотъ образецъ чистой нравственности всего человѣчества, стало-быть, и совершеннаго счастья, для достиженія чего братство масоновъ должно непрерывно трудиться, обогащая себя нравственными добродѣтелями, а умъ знаніями, возвышающими душу и сердце, чтобы помогать человѣчеству соорудить въ мірѣ Соломоновъ храмъ.

Ложа «Избраннаго Михаила», несмотря на свои небольшія финансовыя средства, устроила изъ своихъ членовъ комитетъ, обязанность котораго состояла въ томъ, чтобы помогать нуждающимся, которые по своему положенію не могутъ протягивать руки за милостынею, а терпятъ крайнюю нужду. Члены обязаны были отыскивать таковыхъ и, освѣдомясь подробно о ихъ нравственности, положеніи и нуждахъ, представлять объ нихъ ложѣ, которая, подѣ председательствомъ мастера, рас-

поряжалась, кому какое дѣлать пособіе: кто получалъ квартиру, кто небольшое мѣсячное содержаніе, кто единовременное пособіе дровами, съѣстными припасами и т. п.

Ланкастерскія школы.

Многіе изъ братьевъ этой лжи вознаградились составить общество распространенія ланкастерскихъ школъ въ Россіи. Написали уставъ статута общества и чрезъ министра народнаго просвѣщенія представили его величеству на утвержденіе.

По полученіи высочайшаго разрѣшенія избрали предсѣдателемъ общества графа Ѳ. П. Толстого, въ помощники ему Греча и Глинку, казначеемъ общества избранъ былъ Николай Кусовъ.

Главная цѣль общества состояла въ быстрѣйшемъ распространеніи грамотности въ простомъ народѣ. Первую примѣрную школу положено было открыть въ Петербургѣ, на виду всѣхъ. Каждый членъ платилъ ежегодно на устройство и содержаніе школы по 30 рублей.

Школа шла такъ успѣшно, что каждыя полгода выпускалось изъ нея болѣе 50-ти молодыхъ людей, дѣтей самыхъ бѣдныхъ крестьянъ, мѣщанъ и ремесленниковъ, такъ хорошо приготовленныхъ, что по выпускѣ ихъ охотно принимали писарями въ главный штабъ,—но это общество, несмотря на то, что приносило явную пользу, распространяя грамотность между крестьянами и вообще между всѣмъ такъ-называемымъ низшимъ классомъ людей—рушилось. Князь Голицынъ, министр народнаго образованія, заподозрилъ въ этомъ обществѣ участіе западныхъ либераловъ и довелъ до свѣдѣнія государя. Какъ оно было принято государемъ—неизвѣстно. Предполагали, что князь Голицынъ дѣйствовалъ такъ не столько по своему убѣжденію, сколько по вліянію мистиковъ и мартинистовъ: имъ казалось непонятнымъ, какимъ образомъ общество распространенія ланкастерскихъ школъ въ Россіи, начиная съ предсѣдателя, состоя почти все изъ бѣдныхъ людей, существующихъ своими трудами или жалованьемъ за службу отечеству, одними своими ничтожными средствами содержать такую большую школу, выпускающую ежегодно столько дѣ-

тей самыхъ бѣдныхъ родителей изъ простаго класса. Несправедливое обвиненіе оскорбило и огорчило все общество, особенно же графа, какъ предсѣдателя, и даже обратило на него вниманіе полиціи, но сколько ни слѣдила за нимъ полиція, ничего не нашла въ его образѣ жизни, кромѣ того, что онъ рисуетъ, лѣпить изъ воска, рѣжетъ штемпеля или занимается своимъ образованіемъ, да съ женой и съ своими пріятелями толкуетъ о театрѣ, литературѣ и городскихъ новостяхъ.

Вслѣдствіе всего этого графъ въ полномъ составѣ общества, отдавъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ за все время существованія общества и поблагодаривъ за честь, сдѣланную избраніемъ его въ предсѣдателя, и за постоянную довѣренность, объявилъ, что, къ крайнему сожалѣнію, долженъ просить уволить его отъ предсѣдательства и по статуту, утвержденному его величествомъ, немедленно избрать изъ среды себя новаго предсѣдателя. На другой день по отреченіи его, на его мѣсто назначенъ былъ предсѣдателемъ флигель-адъютантъ, мистикъ, князь Андрей Борисовичъ Голицынъ.

Вслѣдъ за опредѣленіемъ новаго предсѣдателя, члены общества распространенія въ Россіи ланкастерскихъ шюль всѣ до одного отказались быть его членами. Что стало съ предсѣдателемъ несуществующаго общества—никто изъ нихъ не интересовался и знать. Такимъ образомъ общество распространенія грамотности въ простомъ народѣ рушилось. Князь А. Н. Голицынъ по общему мнѣнію былъ человекъ умный и благонамѣренный, но не приготовленный съ пользою занимать то мѣсто, на которое былъ поставленъ; сверхъ всего еще отуманенъ наплывшею въ Петербургъ съ Запада мистикою. Испугавшись либеральныхъ идей, явившихся во Франціи, Швейцаріи и Италіи, онъ во всемъ видѣлъ опасность, вслѣдствіе чего такимъ образомъ и отнесся къ обществу распространенія грамотности.

Заводя и устраивая эту школу не для тщеславія, а для настоящей пользы, которую грамотность простаго класса людей должна принести государству, члены его, соображаясь съ средствами, для школы нанимали въ отдаленной улицѣ Коломны домъ деревянный, снаружи невзрачный, но просторный и удобный для устройства въ немъ школы и квартиры учителя. Этимъ оканчива-

лись денежные расходы на содержаніе школы; остальное все исполняли сами члены, какъ-то: должность помощниковъ постоянного учителя, блюстителей тишины и порядка во время классныхъ часовъ, надзоръ за прилежаніемъ учениковъ, ученіе первыхъ четырехъ правилъ ариметики, краткое свѣдѣніе о географіи и русской исторіи, наблюденіе за нравственностью мальчиковъ,— для чего ежедневно, во все время классовъ и пребыванія въ школѣ учениковъ, дежурили каждый день по очереди по четыре члена.

Въ то время, какъ графъ отдавался художествамъ, устройству ланкастерскихъ школъ и масонству, бывшіе его товарищи по «Зеленой книгѣ» увлеклись дѣятельностью политической. Перевороты, происходившіе въ Европѣ, образованіе конституціи въ нѣкоторыхъ европейскихъ государствахъ мало-по-малу сдѣлались предметомъ всеобщихъ разговоровъ; даже на балахъ образовывались группы, въ которыхъ слышались толки о преобразованіяхъ.

Всѣ болѣе или менѣе считали себя какъ бы обязанными судить о теоріяхъ государственнаго строя, уничтоженіи злоупотребленій, просвѣщеніи народныхъ массъ и возбужденіи въ нихъ чувства самодостоинства. Всѣми овладѣвало стремленіе къ политическому вліянію и желаніе служить общественному благу.

Движеніе это имѣло особенную силу между образованными молодыми людьми изъ среды аристократовъ, преимущественно военнаго сословія. Подъ вліяніемъ духа времени и нравовъ Европы, лучшіе изъ офицеровъ гвардейскаго корпуса, возвратившись изъ Франціи, вознамѣрились ввести въ Россіи установленія Запада, не соразмѣряя глубину бездны, отдѣлявшей степень русской образованности отъ западной. Зная, что самъ императоръ Александръ Павловичъ думалъ о введеніи новой формы правленія въ Россіи, въ началѣ они полагали, дѣйствуя для достиженія этой цѣли пріуготовительными мѣрами, совпадать съ духомъ правительства.

Между тѣмъ либеральныя движенія въ Европѣ остановили государя въ развитіи своей идеи,—и молодые реформаторы оказались въ прямомъ противорѣчій съ господствовавшей системой. Они стали дѣйствовать тайно. Реакція росла и раскинулась по Россіи обширнымъ за-

говоромъ противъ существовавшаго порядка вещей. Со вступленіемъ на престолъ императора Николая Павловича, 14-го декабря 1825 года, заговоръ разразился возстаніемъ.

Графъ Ѳеодоръ Петровичъ Толстой по близкимъ отношеніямъ своимъ съ нѣкоторыми изъ декабристовъ былъ призываемъ передъ верховный судъ. Вотъ что сказано объ этомъ въ его «Запискахъ»:

1825 года 14-го декабря собраны были въ академической церкви: правленіе академіи, совѣтъ и всѣ профессора, академики, ученики, чиновники конторы и всѣ служившіе при академіи для принесенія присяги восшедшему на всероссійскій престолъ императору Николаю Павловичу; по окончаніи присяги разнесся слухъ, что передъ сенатомъ на Исаакіевской площади стоитъ батальонъ московскаго полка, требуютъ Конституціи. Гулъ этого крика былъ слышенъ даже въ академіи. Графъ, любопытствуя узнать, что это за возмущеніе, поспѣшилъ на Исаакіевскую площадь, скоро перешелъ Неву, на которой стояло до тысячи человекъ разнаго званія мужчинъ и женщинъ, и остановился на Исаакіевской площади у сената. Гауптвахта стояла во фронтъ съ ружьями на плечѣ; между ними и монументомъ Петра Великаго стоялъ батальонъ московскаго полка, составя правильное каре; внутри каре онъ неясно видѣлъ нѣсколько фигуръ, которыя, проходя очень скоро по лѣвой сторонѣ этого каре, кричали въ одинъ голосъ—кто имя Константина Павловича, кто конституція и еще какія-то слова, которыхъ въ этой массѣ слившихся голосовъ разслышать было невозможно. Проходя монументомъ къ забору строившейся Исаакіевской церкви, гдѣ было меньше народа, графъ увидѣлъ стоящаго на Адмиралтейскомъ бульварѣ, лицомъ къ сенату, молодого, только-что вступившаго на тронъ императора, окруженнаго главнымъ штабомъ, генералъ- и флигель-адъютантами, а возлѣ него Карамзина. Государь былъ очень блѣденъ.

Графъ избралъ себѣ у забора мѣсто, откуда могъ видѣть и государя, и каре солдатъ. Влѣво отъ сената, у манежа, виденъ былъ эскадронъ или взводъ конной гвардіи.

«Неужели это бунтъ,—думалъ графъ,—возмущеніе

противъ царя и правительства? Зачѣмъ пришла эта крошечная горсточка войска къ сенату, построилась въ каре и стоя, сложа руки, оглушающими криками требуетъ того, о чемъ сама, навѣрное, не имѣетъ понятія? Неужели заговорщики этого явнаго возстанія могли думать объ успѣхѣ, не будучи увѣрены, что имѣютъ на своей сторонѣ главную силу: массу простого народа и сочувствіе большей части всѣхъ другихъ сословій?»

Сочувствія этого, повидимому, не было: собравшаяся огромная толпа народа всѣхъ сословій спокойно стояла, какъ видно, привлеченная туда безъ всякой цѣли, а просто изъ любопытства.

Съ того мѣста, гдѣ графъ стоялъ, онъ видѣлъ, что какая-то фигура, которую по дальности разстоянія рассмотреть не могъ, отдѣляясь отъ каре, подходила къ государю и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась къ солдатамъ.

Мимо графа проскакала конная батарея и пронеслась къ сенату; графъ понялъ, что участь несчастнаго батальона рѣшена; ясно было, что безъ стрѣльбы не обойдется, и солдаты разбѣгутся, большая часть побѣжитъ черезъ Неву на Островъ... Такъ какъ графъ жилъ въ то время въ одноэтажномъ домѣ академіи по 3-й линіи, то, опасаясь, чтобы бѣглецы съ отчаянія не перепугали бы его домашнихъ, поспѣшилъ къ себѣ. Отъ дома Лавалья онъ скоро перебѣжалъ Неву, прямо къ зданію академіи, и, пришедъ домой, приказалъ запирать ставни. Никто изъ сторожей не рѣшался идти запирать ихъ; графъ самъ былъ принужденъ это сдѣлать. Едва онъ успѣлъ закрыть ставни, какъ раздалось нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ. Двѣ картечи попали въ ворота и заборъ академіи. Дома онъ нашелъ всѣхъ спокойными и рассказалъ, что видѣлъ и слышалъ. Едва они сѣли обѣдать, какъ къ нимъ въ кухню вошли три солдата и просили оставить ихъ у себя; графъ отправилъ ихъ за ворота. Когда стало смеркаться, пришли въ ихъ сѣни два унтеръ-офицера, одинъ молодой привелъ другого, уже въ лѣтахъ, съ тремя нашивками на рукавѣ, раненаго картечью въ ногу, облитого кровью; графъ велѣлъ отвести его въ смежную съ кухней комнату, гдѣ, положивъ на стулья доски съ постланнымъ на нихъ тюфякомъ, положили раненаго, и въ ожиданіи доктора велѣлъ при-

кладывать къ ранѣ мокрые салфеточные компрессы и далъ знать графу Бенкендорфу, что у него находится раненый унтеръ-офицеръ московскаго полка. На предложеніе раненому и его товарищу—не хотятъ ли закусить или выпить горячаго чаю, они отказались.

Черезъ полчаса пріѣхалъ адъютантъ Бенкендорфа, осмотрѣлъ больного и сказалъ, что сейчасъ пришлютъ сани, чтобы отвезти его въ лазаретъ финляндскаго полка. Къ чаю пришелъ братъ жены графа, офицеръ волонтернаго корпуса, и рассказалъ, что изъ стоявшихъ на Невѣ противъ Исаакіевской площади разнаго званія и возраста людей, привлеченныхъ любопытствомъ, очень много убитыхъ и раненыхъ.

Сухожанетъ, начальникъ гвардейской артиллеріи, отдалъ приказъ пустить изъ орудій картечью по Невѣ по нѣсколькимъ десяткамъ возмущившихся солдатъ, бросившихся бѣжать прямо на Васильевскій островъ, и рикошетомъ ядро въ длину Галерной улицы, наполненной не одною сотней разнаго званія и пола зрителей. Пущенное Сухожанетомъ ядро, не задѣвъ ни одного изъ преступныхъ, было виною смерти не одного невиннаго, и многіе пострадали отъ ранъ.

Часу въ 11-мъ утра, за раненымъ и его спутникомъ пришелъ офицеръ съ нѣсколькими солдатами и ломовымъ извозчикомъ съ его санями, безъ всякой подстилки, какъ они возятъ дрова и всякую тяжесть, даже клочка сѣна на нихъ не было; господинъ офицеръ распоряжался положить раненаго на эти голыя сани и такъ везти его почти съ версту до лазарета. Графъ приказалъ своимъ людямъ положить на голыя дровни два тюфяка, одинъ на другой, и подушку, чему г. офицеръ не препятствовалъ, окуталъ его тулупомъ и одѣяломъ и, пожелавъ выздоровленія, простился, и его увезли.

На другой день въ городѣ все было тихо, спокойно; на улицахъ все шло своимъ обычнымъ чередомъ, какъ будто ничего и не случилось; а въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ Исаакіевской и Дворцовой площади большая часть жителей и не знали о случившемся 14-го декабря. Въ центральныхъ же частяхъ города только и рѣчей было, что объ этомъ событіи, хотя никто ничего основательно знать не могъ. Графъ былъ ужасно пораженъ, когда узналъ, что въ числѣ главныхъ вождей этого заговора

были молодые люди, съ которыми онъ былъ коротко знакомъ и уважалъ ихъ за прекрасную нравственность, благородныя чувства, умъ и блестящее образованіе, какъ-то: обоихъ братьевъ Александра и Никиту Муравьевыхъ, Сергѣя Муравьева-Апостола, Долгорукова и многихъ другихъ молодыхъ людей.

«Какая жестокая участь ждетъ теперь ихъ,—думалъ графъ:—безъ этого несчастнаго заговора они могли бы замѣнить собою многихъ безполезныхъ людей самыми дѣльными, просвѣщенными сынами отечества».

Недѣли двѣ съ половиною или болѣе послѣ событія передъ сенатомъ, графъ въ одно утро былъ предувѣдомленъ Ѳ. Н. Глинкою, что въ тотъ же день вечеромъ будутъ за нимъ изъ крѣпости. Въ первомъ часу ночи пріѣхалъ военный полковникъ, вѣроятно, плацъ-майоръ крѣпости, съ бумагой, въ которой повелѣвалось графу явиться въ комиссію суда. (Когда докладывали государю отъ комиссіи о необходимости сдѣлать графу допросъ, государь разрѣшилъ пригласить его къ допросу, но сдѣлалъ собственною рукою слѣдующую приписку: «какъ можно осторожнѣе, чтобы не огорчить его»). Надѣвъ вицъ-мундиръ, графъ немедленно отправился съ плацъ-майоромъ въ его каретѣ въ крѣпость. Остановясь у комендантскаго дома, плацъ-майоръ ввелъ его въ пустую комнату, предложилъ сѣсть и дожидаться, пока его позовутъ, а самъ ушелъ, затворивъ за собою дверь. Графъ прождалъ болѣе получаса, наконецъ, его повели въ комнату присутствія членовъ суда, идучи въ которую онъ встрѣтилъ флигель-адъютанта графа В. Ѳ. Адлерберга. Когда графъ вошелъ въ присутствіе, дверь за нимъ затворили, и онъ увидѣлъ себя въ большой, обитой черной матеріей комнатѣ, въ которой посрединѣ стоялъ столъ, покрытый темнымъ сукномъ. За этимъ столомъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, противъ двери, въ которую онъ вошелъ, предсѣдатель комиссіи суда, почтенный воинъ 1812, 1813 и 1814 гг., военный министръ Татищевъ; полѣвѣ его—князь А. Голицынъ, министръ народнаго просвѣщенія, за нимъ генералъ Чернышевъ, налѣво возлѣ него генералъ Левашевъ, а по правую сторону предсѣдателя суда сидѣлъ его высочество Михаилъ Павловичъ, съ лицомъ, совершенно за-

крытымъ листомъ бумаги, которую онъ держалъ передъ собою все время. Возлѣ его высочества сидѣлъ И. И. Дибичъ, за нимъ слѣдовалъ генераль-адъютантъ П. В. Голенищевъ-Кутузовъ, путешествовавшій съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ въ чужихъ краяхъ, а за Дибичемъ стояли пустыя кресла, вѣроятно, генераль-адъютанта графа Бенкендорфа, котораго тутъ не было, хотя онъ и состоялъ членомъ этой комиссіи.

Изъ членовъ, составлявшихъ комиссію, графъ зналъ князя А. Н. Голицына по дому графа П. А. Толстого. Съ Дибичемъ онъ былъ хорошо знакомъ, когда тотъ былъ еще прапорщикомъ Семеновскаго полка въ ротѣ старшаго брата графа; Кутузова зналъ по дому дяди своего графа Петра Александровича. Вошедъ въ залу, графъ подошелъ къ столу и остановился противъ почетнаго предсѣдателя, извѣстнаго по своимъ заслугамъ отечеству, котораго онъ видѣлъ въ первый разъ, всѣхъ же другихъ хорошо зналъ и въ лицо, и ихъ качества по общему мнѣнію публики объ ихъ достоинствахъ и свойствахъ. Послѣ нѣсколькихъ секундъ глубокаго молчанія, генераль Чернышевъ обратился къ графу и грозно началъ говорить:

— Какъ могли вы быть такъ дерзки, чтобъ бунтовать противъ царя!

Удивленный, а не испуганный, какъ того, повидному, хотѣлось Чернышеву, этимъ прямымъ обвиненіемъ въ ужасномъ преступленіи, безъ всякаго предварительнаго объясненія, графъ равнодушно отвѣчалъ ему, что справедливость требуетъ прежде доказать вину чловѣка, а тамъ ужъ обвинять; онъ же никогда не только не былъ бунтовщикомъ, но никогда ничего подобнаго не приходило ему и на мысли.

— Но вы были членомъ тайнаго общества «Зеленой книги».

— Да, но оно не было возмутительнымъ актомъ противъ правительства, а еще менѣе противъ государя.

Тутъ стали его спрашивать, кто были членами этого общества; онъ назвалъ князя Долгорукова, офицера главнаго штаба полковника Пестеля, Александра и Никиту братьевъ Муравьевыхъ—офицеровъ того же главнаго штаба, поручика или капитана Се-

меновскаго полка Сергѣя Муравьева-Апостола, гвардіи офицера—князя Трубецкаго, полковника Глинку и двухъ братьевъ, офицеровъ Измайловскаго полка, которыхъ фамиліи никакъ не могъ вспомнить. Тогда великій князь Михайлъ Павловичъ, положивъ бумагу, которую держалъ передъ лицомъ, обернулся къ графу и сказалъ:

— Графъ, это два брата Кавелины.

За такое вниманіе графъ поблагодарилъ его сердечнымъ поклономъ. Тогда потребовали отъ него, чтобы онъ назвалъ имена другихъ членовъ этого общества; графъ отвѣчалъ, что, кромѣ тѣхъ, кого назвалъ, не знаетъ никого. Князь Голицынъ на это возразилъ:

— Быть не можетъ, чтобы вы, принадлежа къ какому бы то ни было обществу, не знали всѣхъ его членовъ!

— Ваше сіятельство, — отвѣчалъ графъ: — вы сами принадлежали къ нѣкоторымъ мистическимъ обществамъ, а еще менѣе меня знаете членовъ этихъ обществъ.

Князь замолчалъ, а Чернышевъ началъ неudelккатно дѣлать свои допросы о названныхъ имъ членахъ, о его съ ними сношеніяхъ и какъ, и когда съ ними познакомился, и съ кѣмъ былъ болѣе въ близкихъ сношеніяхъ; графъ отвѣчалъ, что съ Ѳ. Н. Глинкою, съ которымъ познакомился тотчасъ по выпускѣ изъ корпуса, по литературѣ, что съ тѣхъ поръ они самые короткіе пріатели и рѣдкій день не видятся. Изъ другихъ короче всего онъ былъ знакомъ съ Муравьевыми, которыхъ всегда уважалъ за чистую нравственность, умъ и отличную образованность, и съ княземъ Трубецкимъ; съ другими былъ знакомъ только по обществу «Зеленой книги», а Пестеля только видалъ, нисколько не симпатизировалъ ему и ни разу съ нимъ не говорилъ.

Такъ какъ графъ ничего не зналъ, даже никогда и не слышалъ о существованіи заговора, открывшагося 14-го декабря, то на этомъ только и кончились всѣ допросы.

Наконецъ, предсѣдатель комиссіи сказалъ:

— Допросъ вашъ конченъ, можете отправиться къ себѣ, но напередъ должны здѣсь же дать письменные отвѣты на письменные вопросы, которые будутъ вамъ предложены.

Поклонясь предсѣдателю и его высочеству в. к. Михаилу Павловичу, графъ вышелъ, Адлербергъ про-

велъ его во вторую комнату, гдѣ передалъ какому-то чиновнику, тотъ вручилъ ему письменные вопросы, посадилъ за письменный столъ, чтобъ онъ на нихъ отвѣтилъ, и ушелъ изъ комнаты, затворивъ за собою дверь. Вопросы эти были повтореніе того, о чемъ допрашивали въ комиссіи.

Минуть черезъ 45 графъ былъ готовъ, подписалъ свое имя и фамилію; пришелъ чиновникъ, вручившій вопросы, взялъ ихъ обратно съ отвѣтами; графа вывели изъ комнаты, вмѣстѣ съ плацъ-майоромъ проводили до кареты, посадили въ нее и пречтливо распростались.

На другой день къ графу пріѣхалъ Ѳ. Н. Глинка и сказалъ, что послѣ него допрашивали и его. Затѣмъ графъ не былъ тревожимъ и даже мало слышалъ о судѣ до его окончанія, совершившагося спустя долгое время послѣ его допроса.

Онъ попрежнему продолжалъ заниматься художествами по медальерной части, лѣпить изъ воску, глины и рисовать; посѣщалъ публичныя лекціи разныхъ наукъ, литературныя и ученыя общества, въ которыхъ былъ членомъ, а по воскреснымъ вечерамъ проводилъ время въ кругу обычныхъ посѣтителей его вечеровъ, между которыми находились почти всѣ молодыя знаменитости, замѣчательные поэты и литераторы, какъ-то: Крыловъ, Пушкинъ, Гнѣдичъ, Батюшковъ, Плетневъ, Дельвигъ, Баратынскій и другіе молодые образованные люди. Но не было уже ни Ѳ. Н. Глинки, ни Муравьева-Апостола, ни князя Трубецкого, ни обоихъ братьевъ Бестужевыхъ, ни братьевъ Муравьевыхъ и многихъ другихъ.

ГЛАВА XLIV.

Въ Римѣ въ 1845 г.

Въ 1845 году графъ Ѳедоръ Петровичъ Толстой сильно заболѣлъ ревматизмомъ; когда онъ сталъ поправляться, то чувствовалъ себя до того ослабѣвшимъ отъ лѣкарствъ, что медики совѣтовали ему ѣхать за гра-

ницу и въ продолженіе шести недѣль пользоваться грязями и водами Франценсбада, потомъ путешествовать по Европѣ.

Графъ получилъ отпускъ на годъ. Выѣстъ съ отпускомъ ему дано было порученіе отъ правительства относительно папскаго мозаического заведенія и находившихся въ Римѣ пансіонеровъ нашей академіи художествъ, о которыхъ ихъ начальникъ, генераль-майоръ Киль, до того дурно отзывался министру двора, князю Петру Михайловичу Волконскому, находившемуся въ то время въ Римѣ, по болѣзни, что тотъ не только-что не хотѣлъ, но даже и опасался ихъ видѣть.

Графъ отправился за границу вмѣстѣ съ своей супругою. Окончивши курсъ лѣченія на водахъ, они объѣхали Германію, Францію, Швейцарію и осенью прибыли въ Римъ.

Въ продолженіе этого путешествія графъ постоянно велъ «Путевыя записки». Въ этихъ интересныхъ запискахъ, кромѣ ежедневныхъ событій жизни своей, онъ говоритъ, какъ просвѣщенный художникъ, вполне обладающій своимъ предметомъ, о примѣчательныхъ зданіяхъ, картинахъ, статуяхъ, съ ихъ исторіей и цивилизаціей того періода времени, къ которому они принадлежатъ. Протекшіе вѣка возстановляются передъ нимъ по аркамъ, колоннамъ, разбитому барельефу.

Изъ этихъ путевыхъ записокъ и изъ рассказовъ графа я многое узнала о жизни его въ Италіи. Разговоры же замѣчательныхъ лицъ сохранены у меня въ точности, — какъ переданы графомъ въ его «Путевыхъ запискахъ».

Въ Римѣ графъ запиской извѣстилъ Рамазанова о своемъ пріѣздѣ. Онъ особенно любилъ Рамазанова за умъ и талантливость и нерѣдко журилъ за пылкость и вѣтренность.

Вечеромъ пришли къ Ѳедору Петровичу пансіонеры: Эльсонъ и Кракау, а на утро и Рамазановъ.

Въ этотъ пріѣздъ графъ и графиня были въ Римѣ только нѣсколько дней; несмотря на это, видѣлись со всѣми воспитанниками академіи и осмотрѣли нѣкоторые примѣчательныя мѣста; они спѣшили побывать въ Неаполѣ до прибытія въ Римъ императора Николая Павловича, котораго тамъ ожидали изъ Палермо.

Художники Рамазановъ, Эльсонъ, Скотти,

Солнцевъ и Макрицкій *) проводили ихъ въ контору дилижансовъ.

За заставою Рима графа увлекають картины развалинъ, зубчатая линія акведукровъ, пропадающая въ опаловой дали, пустыня съ синѣющими горами на горизонтѣ, съ бурными полями, на которыхъ встрѣчаются то стадо барановъ съ пастухомъ въ бараньей шкурѣ, мѣхомъ наружу, то выюный осель со звонкомъ на шеѣ, поселенка въ яркомъ нарядѣ, съ кувшиномъ на головѣ, двухколесная крестьянская телѣжка, и—на всемъ какая-то широкая дума, какая-то величественная печаль. Графъ *Θ. П.*, миновавъ окрестности Рима съ ихъ водопроводами и пустынные окрестности *Понтинскихъ* болотъ съ ихъ изнурительными лихорадками, въ *Альбано* и *Велетри* былъ пораженъ граціей и красотой жителей. Дикая, унылая полоса прекращается за *Террачиной*; за *Террачиной* шумитъ Средиземное море и высится одинокая скала; тамъ въ народѣ ходятъ легенды о знаменитомъ кондотьерѣ, жившемъ на ея вершинѣ, и слухи, что *Цампы* и *Фрадыяволы*, съ своими поэтическими драмами и печальными концами, не перевелись еще въ тѣхъ мѣстахъ. Какъ бы въ подтвержденіе истины этихъ слуховъ, ночью, не доѣзжая *Террачины*, графъ былъ разбуженъ шумомъ, происходившимъ около ихъ дилижанса. Онъ взглянулъ въ окно и увидалъ человекъ двадцать мужчинъ, вооруженныхъ ружьями, пистолетами и палками, окружившихъ ихъ экипажъ. На нѣкоторыхъ были накинута короткіе плащи, а на головахъ надѣты остроконечныя шляпы съ широкими полями. Ночь была ясная, при свѣтѣ луны можно было видѣть, какъ эти люди съ угрожающими жестами громко говорили съ кондукторомъ. Главный изъ нихъ стоялъ впереди, облокотясь на ружье; онъ иногда грозилъ кулакомъ и повелительно говорилъ «*Sortate*». Кондукторъ, не вставая съ своего мѣста, возражалъ ему словами: «*Signori conti russo*» и, повидимому, объяснялъ, что, обобравши ихъ, получаютъ не много, а если что случится съ дилижансомъ, то

*) Макрицкаго графъ нашелъ въ крайности, несмотря на его скромную жизнь и неутомимое трудолюбіе. Въ распоряженіи графа находилась небольшая сумма для вспомошествованія нуждающимся художникамъ, по его усмотрѣнію. Изъ этой суммы графъ выдалъ Макрицкому 1.000 франковъ.

розыски будутъ строгіе, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время въ Италиі находится русскій императоръ, и его ждутъ изъ Палермо въ Неаполь и Римъ. Послѣ этихъ толковъ, говорившій съ кондукторомъ махнулъ рукою, въ минуту стоявшіе на землѣ почтальоны вскочили на лошадей и гнали ихъ безъ отдыха около получаса. Въ 11 часовъ ночи они прибыли въ Террачину.

За Террачино ихъ встрѣтила смѣющаяся природа, игривые, оживленные взоры женщинъ, подвижные, шутливые, подобострастные приемы простого народа; въ Неаполь—улицы, кипящія народомъ, звуки разныхъ инструментовъ, шутки, пѣсни, пляска, цвѣты, раскрытыя окна, растворенные балконы, упоительный воздухъ...

«Тутъ-то бы, кажется, и развивался человѣчеству,—замѣтилъ одинъ извѣстный русскій писатель, говоря о Неаполѣ:—такъ нѣтъ, судьба этому краю выпала самая жалкая. Неаполь лишенъ даже тѣхъ блестящихъ воспоминаній, которыми себя утѣшали другіе города Италіи во времена невзгодъ. Неаполь имѣлъ эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имѣлъ. Старый Римъ бѣжалъ умирать въ его объятія и, разлагаясь въ его упоительномъ воздухѣ, онъ заразилъ, онъ развратилъ весь этотъ берегъ».

Въ Неаполѣ графъ увидался съ пансіонерами: Михайловымъ и Орловымъ. Въ Палермо находились наши художники Воробьевъ и Серебряковъ, къ которымъ императоръ былъ очень милостиво расположенъ, въ особенности въ Воробьеву.

Съ Михайловымъ графъ и графиня осмотрѣли Неаполь, его окрестности, Помпею, Геркуланумъ, лазоревый гротъ и всходили на Везувій. Въ выступившихъ изъ-подъ земли городахъ графъ весь проникался ихъ жизнію, утекшею въ вѣчность. Тамъ все говорило понятнымъ ему языкомъ.

Ночью они восхищались рдѣющимъ дымомъ Везувія, днемъ—темно-синимъ заливомъ Средиземнаго моря, съ разсыпанными по немъ островами, съ обнимающей его горой, застроенной домами.

Графъ снялъ нѣсколько видовъ Неаполя и его окрестностей—карандашомъ, сепіей и водяными красками, съ самыхъ живописныхъ точекъ зрѣнія; нѣкоторые изъ нихъ приложены къ его «Путевымъ запискамъ».

Насколько Неаполь произвелъ на графа поэтическое, свѣтлое впечатлѣніе, настолько правительство и народъ—противоположное. Онъ съ негодованіемъ рассказываетъ, какъ въ Неаполѣ, ожидая императора Николая Павловича, къ пріѣзду его чистили, красили, поправляли школы, казармы и прочія общественныя мѣста, до того запущенныя, что для приведенія ихъ въ порядокъ,—замѣчаетъ онъ,—сверхъ поправокъ, надобно другое правительство, другое правленіе и другой народъ. Чтобы скрыть отъ нашего государя нищенство и бѣдность народа, правительство предписало полиціи забрать всѣхъ нищенствующихъ въ городѣ и запереть въ отдаленномъ, скрытомъ зданіи; тамъ они, биткомъ набитые, полугодные, валялись вмѣстѣ — мужчины, женщины и дѣти. Бѣдняки взбунтовались и, чтобы освободиться, стали ломать двери и окна. Полиція взяла свои мѣры, и ихъ усмирили.

— Жаль,—добавляетъ графъ:—что неаполитанскому правительству не пришло въ голову болѣе глубоко-мысленное средство: чтобы скрыть отъ высокаго посѣтителя народную нищету—перетопить бы всѣхъ бѣдняковъ,—и кончаетъ восклицаніями:—какъ грустно, что въ такомъ волшебномъ краѣ, въ такомъ восхитительномъ климатѣ—такое безпутное правительство и такой жалкій народъ!

— И какъ было не образоваться подобному народу,—говаривалъ мнѣ Саша о народѣ Неаполя:—это помѣсь всѣхъ рабствъ, низшій слой всего побитого, осадокъ десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся.

Изъ «Путевыхъ записокъ» графа Ѳ. П. видно, что императоръ своимъ посѣщеніемъ всполошилъ весь Неаполь.

«Король уже въ городѣ,—пишетъ графъ:—я его еще не видалъ и никакой охоты нѣтъ видѣть. Неаполь принялъ видъ военнаго города; по улицамъ то и дѣло проходятъ полки съ барабаннымъ боемъ и музыкой. Къ пріѣзду государя собрано до 25.000 войска для маневровъ».

29-го ноября 1845 г. Толстые возвратились въ Римъ. Отдохнувши, они отправились посмотреть пріисканную имъ квартиру, а оттуда обѣдать къ Лепри, гдѣ спросили себѣ отдѣльную комнату. Когда они кончали обѣдъ, къ нимъ вошло около 25-ти человекъ русскихъ художни-

ковъ, съ бокалами шампанскаго въ рукахъ, и поздравили графа и графиню съ прїѣздомъ. Графъ, въ свою очередь, спросилъ шампанскаго и поблагодарилъ ихъ. Когда графиня уѣхала отъ Лепри, художники попросили графа въ комнату, известную подъ названіемъ: «комната русскихъ художниковъ». Тамъ собрались всѣ бывшіе налицо пансіонеры академіи времени вице-президента графа. Онъ любилъ ихъ, какъ отецъ; въ домѣ его они приняты были, какъ дѣти. Усѣвшись кругомъ стола, въ изліяніяхъ радости свиданія и взаимныхъ чувствъ, въ воспоминаніяхъ прошедшаго и разказахъ житія-бытія настоящаго—забывали, что они на чужбинѣ, и забывали время въ задушевной бесѣдѣ, среди разговоровъ, шутокъ и пѣсенъ. Когда разыгрались чувства, кровь юношей зажглась—зазвенѣли рюмки, зашипѣло, заискрилось звѣздочками клико со звѣздочкой, и пошли тосты и желанія, пили даже въ честь медальерныхъ и скульптурныхъ произведеній графа.

«Этотъ импровизированный пріемъ, — записано у Оедора Петровича, —сдѣланный для меня нашими пансіонерами, я никогда не забуду. Онъ доставилъ мнѣ столько счастья, сколько никакія почести, никакія награды доставить не могутъ».

Ораторами выраженія чувствъ были Рамазановъ и Горданъ. Послѣ тостовъ, смѣхъ, пѣсни, разговоры стали еще горячѣе. Пѣсни пѣлись большею частію народныя русскія и итальянскія. Пирושка кончилась далеко за полночь. Молодые люди на рукахъ донесли графа до кареты, хотѣли-было донести до квартиры, но графъ кое-какъ уговорилъ ихъ оставить его ѣхать въ экипажѣ. Они согласились, но толпа отправилась провожать его. Такъ какъ въ каретѣ не помѣщалось больше четырехъ человѣкъ, то одни засѣли съ кучеромъ, другіе на лошадей, кто на запятки, кто на имперіаль, которымъ не удалось нигдѣ пристроиться—тѣ шли пѣшкомъ, и почти всѣ съ горѣвшими факелами въ рукахъ и съ криками «ура!» Сидя въ каретѣ, графъ думалъ: «будь это въ Петербургѣ, не доѣхать бы мнѣ до дома, а здѣсь никто не обращаетъ и вниманія».

Пансіонеры проводили графа не только-что до его квартиры, но даже и до его комнаты, гдѣ онъ простился съ ними совсѣмъ растроганный.

На слѣдующій день графъ Ѳ. П. посѣтилъ князя П. М. Волконскаго. Князь принялъ его чрезвычайно привѣтливо, говорилъ, что познакомился съ нашими пансіонерами, посѣщаетъ ихъ мастерскія и принимаетъ ихъ у себя; хвалилъ картину Иванова и добавилъ: «да когда же она кончится?» При этомъ пожаловался, что наши воспитанники вообще, сравнительно съ другими художниками, сдѣлали очень мало. На это графъ сказалъ, что пансіонеры наши пріѣзжаютъ въ Италію учиться и на короткое время, поэтому и работы ихъ нельзя сравнивать съ работами художниковъ, живущихъ въ Римѣ по десяти-двадцати лѣтъ, какъ Тенерани, Біонъ-Эме и другіе, и что если они сдѣлаютъ по одной хорошей картинѣ или статуѣ, то и достаточно.

Между прочими разговорами, князь сказалъ, что не можетъ понять—съ чего составилось дурное мнѣніе о нашихъ пансіонерахъ, между тѣмъ какъ онъ, узнавши ихъ, нашелъ очень милыми и благовоспитанными.

Графъ объяснилъ ему, что виною этого ихъ директоръ, генералъ Киль, человѣкъ недоброжелательный и не понимающій ни своего значенія, ни молодыхъ людей, надъ которыми поставленъ начальникомъ *). Сверхъ всего—ненавидящій все русское. Онъ не познакомился ни съ однимъ изъ пансіонеровъ, не былъ ни въ одной студіи и трактовалъ ихъ, какъ шюльниковъ. Такія безтактныя, возмутительныя отношенія возбудили въ воспитанникахъ справедливое негодованіе, которое и выражалось при всякомъ удобномъ случаѣ. Это Киль раздражало—изъ мести онъ не только что распространялъ о нихъ дурную славу, но, желая уронить ихъ, къ пріѣзду государя затѣялъ выставку изъ обрывшей, оставшихся у нихъ отъ посланныхъ ими работъ въ академію. Неоконченныя же ихъ работы и этюды готовилъ выставить въ большой залъ palazzo Fagnone, превосходно расписанной. Сверхъ того, письменно разослалъ предложенія итальянскимъ и иностраннымъ художникамъ—выставить свои работы въ локалъ обыкновенныхъ выста-

*) Киль былъ лишень мѣста начальника пансіонеровъ и вскорѣ уѣхалъ изъ Рима. Секретарь его забралъ у банкира 70.000 казенныхъ денегъ да всю серебряную посуду своего дяди и бѣжалъ неизвестно куда,—полагали, что въ Америку; его нигдѣ не отыскали. Пут. зам. гр. Ѳ. П. Толстого.

вокъ, гдѣ свѣтъ и стѣны приспособлены. «Все это,— говорилъ графъ,— не показываетъ ли явное желаніе вредить?»

Князь Волконскій согласился съ доводами графа и хотѣлъ переговорить съ Килемъ, но Киль уже водворилъ двуглаваго орла на palazzo Farnesi, съ надписью: «выставка русскихъ пансіонеровъ», и приставилъ къ дверямъ швейцара съ русскою кокардой. Онъ понималъ, какое впечатлѣніе должны были произвести работы воспитанниковъ, сопоставленныя съ прославленными мастерами.

1-го декабря, въ 4 часа утра, пріѣхалъ въ Римъ императоръ Николай Павловичъ, остановился въ домѣ русскаго посланника Бутенева, гдѣ, переодѣвшись, поѣхалъ съ визитомъ къ папѣ; отъ папы посѣтилъ принца Ольденбургскаго, а отъ него пріѣхалъ въ Ватиканъ, прямо въ церковь святого Петра, куда тотчасъ отправился и графъ Толстой, предварительно сказавъ пансіонерамъ, чтобы и они тамъ находились. Въ церкви Ѳедоръ Петровичъ узналъ, что государь уже тамъ, у гроба св. Петра, передъ которымъ, говорили, онъ положилъ три земные поклона. Графъ взялъ на себя право представить императору пансіонеровъ академіи. Поставивши ихъ всѣхъ вмѣстѣ въ сторонѣ, самъ сталъ противъ лѣстницы, по которой государь долженъ былъ выходить въ церковь. Вошедъ наверхъ, государь тотчасъ увидалъ графа; остановился и, протянувъ обѣ руки впередъ, сказалъ:

— Какъ! и ты здѣсь, Толстой, какими судьбами, никакъ не ожидалъ тебя видѣть,—потомъ подошелъ къ графу и крѣпко пожалъ ему руку, говоря:—какъ я радъ, что съ тобой здѣсь встрѣтился.

Графъ попросилъ у государя позволенія представить ему нашихъ пансіонеровъ. Государь подошелъ къ нимъ и, ласково привѣтствуя, сказалъ: «а, это наши? радъ васъ видѣть» и, обратясь къ графу, смѣясь, замѣтилъ: «надѣюсь, не лѣнятся?» Графъ отвѣчалъ, что всѣ трудятся прилежно. «Хорошо,—сказалъ государь:—увидимъ и опредѣлимъ», — потомъ, взявши графа черезъ плечо, пошелъ съ нимъ осматривать церковь, говоря: «я радъ, очень радъ, что тебя вижу; у меня тебѣ будетъ много работы».

Съ другой стороны государя шелъ приставленный къ нему папою ученый антикварій Висконти. Дордогой государь повторялъ графу, какъ онъ радъ, что видитъ его въ Римѣ, и спрашивалъ: былъ ли онъ въ Парижѣ? На утвердительный отвѣтъ сказалъ:

— Тебѣ надобно видѣть еще многое, поѣзжай въ Палермо и непременно осмотри тамъ все, особливо Monte-Reale: тамъ пропасть прекраснаго.

Затѣмъ разсказалъ графу, что онъ былъ въ монастырѣ св. Мартына, видѣлъ Эспаньолетто, съ котораго копируетъ Михайловъ, и что эту картину онъ находитъ лучше всего видѣннаго имъ тамъ.

Ходя по церкви и разсматривая капеллы, императоръ заказывалъ копии съ образовъ и вещей, которыя ему нравились; обращался къ мѣняю графа и былъ къ нему безконечно милостивъ и привѣтливъ.

Въ свитѣ государя находился и Киль, но онъ не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Осмотрѣвши все внутри базилики, государь раскланялся со всѣми и уѣхалъ съ посланникомъ въ его коляскѣ.

Государь осматривалъ церковь въ партикулярномъ скрутокѣ и, выходя, надѣлъ сѣроватое пальто.

Графъ изъ церкви поѣхалъ къ П. Н. Жеребцовой; зная ея участіе въ нашихъ пансіонерахъ, онъ разсказалъ ей о своей встрѣчѣ съ государемъ. Отъ нея же узналъ, что государь былъ у папы въ полной казацкой формѣ и въ лентѣ, и когда входилъ въ комнату, въ которой должно было происходить ихъ свиданіе, то папа вышелъ изъ своего кабинета, и они сошлись по серединѣ комнаты; государь подошелъ къ папѣ, чтобы поцѣловать его руку, но тотъ не допустилъ—они обнялись и поцѣловались. Папа спросилъ государя черезъ переводчика, что, вѣроятно, онъ усталъ отъ дороги? Государь отвѣчалъ:

— Нисколько.

Затѣмъ папа выразилъ сожалѣніе, что его величество ѣхалъ въ ночь и не видалъ прелестныхъ видовъ, находящихся по этой дорогѣ.

Это замѣчаніе папы осталось безъ отвѣта. Кардиналъ, служившій переводчикомъ, не передалъ царю словъ папы, а простоялъ молча, опушта глаза въ землю. Папа

пригласилъ государя къ себѣ въ кабинетъ, куда за нимъ вошелъ только одинъ посланникъ Бутеневъ. Въ кабинетѣ присутствовало шесть кардиналовъ, кромѣ кардинала, главнаго начальника Ватикана, а у дверей стоялъ маркизь или герцогъ *), начальникъ папской гвардіи.

Въ воскресенье государь слушалъ обѣдню въ посольской церкви; съ нимъ были князь Волконскій, графъ Орловъ, В. Θ. Адлербергъ и посланникъ. Какъ государь, такъ и вся свита его были въ мундирахъ. Графъ Толстой также находился въ церкви. Къ нему подошла Софья Петровна Апраксина и когда съ нимъ разговаривала, вошелъ государь; подойдя къ Апраксиной, онъ взялъ ее за руку, спросилъ о здоровьѣ и поздоровался съ нѣкоторыми изъ другихъ дамъ; болѣе всѣхъ говорилъ съ княгиней Трубецкой и ея дочерью, Столыпиной. Послѣ обѣдни со всѣми раслазаялся и пошелъ въ свои покои, пригласивши туда и дамъ. Графу сказано было, чтобы онъ тотчасъ ѣхалъ въ Ватиканъ и дожидался царя на крыльцѣ Ватикана, куда онъ, переодѣвшись, прибудетъ. На площади, на лѣтницѣ базилики, въ самой церкви и на крыльцѣ было такое огромное стеченіе народа, что когда пріѣхалъ государь, то трудно было до него добраться. Гвардія въ своихъ костюмахъ, вполне гармонировавшихъ со стариннымъ зданіемъ церкви, и карабинеры, не привыкшіе распорядиться большимъ стеченіемъ публики, не могли удержать напора толпы. Проводникомъ при царѣ былъ тотъ же Висконти; онъ повелъ государя прямо на крышу базилики. Кромѣ свиты, за императоромъ пошли князь Волконскій, его сынъ, посланникъ, графъ А. Θ. Орловъ, секретарь посольства, графъ Θ. П. Толстой и съ нимъ три пансіонера—Ивановъ, Моллеръ и Сверчковъ; графъ хотѣлъ провести и другихъ туда же, но, кромѣ этихъ трехъ, вблизи никого изъ воспитанниковъ не оказалось. Передъ входомъ на крышу, царя встрѣтилъ кардиналъ, начальникъ Ватикана, и сопровождалъ его во все время осмотра. Съ государемъ вошло на крышу до 20-ти человекъ. Съ крыши онъ любовался открывшимися видами и со всѣми замѣчаніями обращался къ графу Θ. П., который долженъ былъ находиться по-

*) Въ рукописи фамилія не обозначено.

стоянно подлѣ него. По удобнымъ каменнымъ лѣстницамъ они вошли на галерею, съ которой ихъ повели по внутренней лѣстницѣ на самый верхъ купола въ стоящій на немъ фонарикъ, внутри котораго идетъ также кругомъ галерея. Графъ О. П. послѣдовалъ за царемъ на эту галерею, такую узенькую, что два человѣка едва могутъ разойтись на ней. Съ этой высоты ничего нельзя было различить внизу,—виднѣлись только движущіяся точки. На верхъ фонарика за царемъ вошли: графъ, посланникъ и одинъ изъ адъютантовъ. Государь съ Висконти поднялся въ яблоко, написалъ тамъ свое имя и тотчасъ же возвратился; графъ едва успѣлъ взглянуть во внутрь огромнаго шара и прочесть его подпись. Возвратясь, государь сказалъ, что, подписываясь подъ начертанными тамъ именами, онъ случайно подписался подъ именемъ наслѣдника цесаревича. Въ галлерей купола государь увидалъ Моллера, который носилъ огромные усы и бакенбарды, и спросилъ:

— Что это за усачъ?

Графъ отвѣчалъ: это нашъ художникъ Моллеръ.

Тогда царь подошелъ къ Моллеру и, между прочимъ, сказалъ:

— А ты худо сдѣлалъ, что бросилъ батальную живопись; я ее люблю, и она очень нужна: у насъ есть довольно того, что можно передать потомству—подвиги на Кавказѣ и много другого, а съ тѣхъ поръ, какъ не стало нашего Зауервейда, некому этого поручить; Коцебу не можетъ, а другому нельзя, надобно быть военному, чтобы умѣть писать эти сюжеты.

Сошедъ на кровлю, государь много шутилъ надъ тѣми, которые были не въ состояніи подняться выше. На крышѣ онъ сказалъ графу:

— Я всегда бранюсь съ нашими молодыми архитекторами, что они худо кладутъ кирпичи, не связываютъ ихъ плотно и оставляютъ слишкомъ большіе швы; вотъ тебѣ доказательство, что я правъ: посмотри, какъ здѣсь положенъ кирпичъ.

Графъ отвѣчалъ, что твердость этихъ зданій зависитъ не отъ кирпичей и не отъ кладки, а отъ здѣшняго цемента и климата; что съ здѣшнимъ цементомъ и плашмя поставленный кирпичъ къ кирпичу, высохнувши, будутъ крѣпко держаться.

Государь съ этимъ не согласился.

На крышѣ начальникъ Ватикана пригласилъ государя и всѣхъ бывшихъ съ нимъ въ домикъ или, скорѣе, бесѣдку, временно устроенную, къ приготовленному тамъ завтраку. Домикъ этотъ состоялъ изъ двухъ отдѣленій. Въ одномъ, за столомъ, довольно роскошно убранномъ, завтракалъ государь съ начальникомъ Ватикана Висконти и двумя приглашенными учеными. Въ другомъ отдѣленіи, за столомъ, также роскошно убранномъ, сидѣли кн. Волконскій, принцъ Ольденбургскій, графъ Орловъ, посланникъ, графъ Ө. П. Толстой, В. Ө. Адлербергъ и остальные.

Завтракъ состоялъ изъ бульона въ чашкахъ, съ маленькими пирожками, маіонеза изъ рыбы, превосходно приготовленнаго, и множества всякаго рода сладкихъ пирожныхъ, фруктовъ, конфетъ, вареній, разныхъ винъ и шампанскаго.

Съ крыши они отправились въ античныя галлерей Ватикана—въ эти пышныя палаты, украшенныя картинами и статуями гениальныхъ художниковъ, куда люди со всего міра стекаются на поклоненіе изящнымъ произведеніямъ, передъ которыми останавливаются съ благоговѣніемъ и отъ которыхъ отходятъ тронутыми, восхищенными. Государь обошелъ всѣ галлерей и былъ въ восторгѣ отъ находившихся тамъ картинъ и статуй; онъ поручилъ графу заказать съ нѣкоторыхъ статуй формы для нашей академіи и скопировать нѣсколько картинъ.

Осмотрѣвши все, государь откланялся и уѣхалъ съ посланникомъ.

Когда они были еще на крышѣ, Орловъ сказалъ графу, что государь приглашаетъ его къ своему обѣду. Въ пять часовъ Өедоръ Петровичъ отправился во дворецъ; тамъ уже находились князь П. М. Волконскій, графъ Орловъ, Адлербергъ и нѣкоторые изъ свиты. Когда вошелъ въ залу государь, графъ подалъ ему небольшой «Путеводитель по Риму», сдѣланный для него нашими архитекторами, съ видами церквей и особенно примѣчательныхъ памятниковъ, съ яснымъ, краткимъ текстомъ. Государь принялъ благосклонно, благодарилъ, внимательно разсмотрѣлъ и сказалъ:

— Подарокъ этотъ очень милъ, я его передамъ женѣ.

— Для ея величества они готовятъ другой, — сказалъ графъ.

— Нѣтъ, — возразилъ государь: — я отдамъ ей этотъ.

Вскорѣ пріѣхалъ неаполитанскій посланникъ; императоръ былъ съ нимъ чрезвычайно ласковъ и внимателенъ. За столомъ посадилъ его на первое мѣсто, самъ сѣлъ по лѣвую сторону, подлѣ него князь П. М. Волконскій, затѣмъ графъ Орловъ и другіе; по правую руку посланника сѣдѣлъ В. О. Адлербергъ, подлѣ него графъ Толстой, вождѣ Толстого флигель-адъютантъ Астафьевъ, далѣе князь Ливенъ, нѣкоторые изъ свиты его величества и докторъ Енохинъ, сопровождавшій государя въ его путешествіи. Тутъ же находился и Киль. Всѣ были въ шюртукахъ.

За столомъ императоръ больше всѣхъ говорилъ съ посланникомъ, — рассказывалъ, какъ онъ пріятно провелъ время въ Палермо и Неаполѣ и какъ доволенъ пріемомъ ихъ короля; упоминалъ о прелестныхъ видахъ Неаполя и его окрестностей, о Помпеѣ и Геркуланумѣ, объ устроенныхъ для него маневрахъ, похваливъ ихъ; восхищался Ватиканомъ и хвалилъ его, разумѣется, искреннѣе, нежели маневры. Когда посланникъ замѣтилъ, что, вѣроятно, его величество утомился отъ прогулки въ Ватиканѣ, государь отвѣчалъ:

— Совсѣмъ нѣтъ, я готовъ сейчасъ же повторить этотъ походъ, только немного клонить ко сну.

Послѣ обѣда, напившись кофе, посидѣвши въ гостиной и поговоривши съ полчаса, государь раскланялся и ушелъ во внутренніе покои. Всѣ разошлись по домамъ.

3-го декабря 1845 г., въ 9 часовъ утра, графъ О. П. отправился во дворецъ посланника, гдѣ остановился императоръ, чтобы сопровождать его въ Palazzo Farnese, гдѣ Киль сдѣлалъ выставку изъ обрѣшечныхъ картинъ и этюдовъ нашихъ пансіонеровъ. Въ 10 часовъ утра государь выѣхалъ въ коляскѣ съ Висконти; графъ поѣхалъ за нимъ, ожидая большого нагона за эту выставку, но государь, осматривая ее, не сказалъ ничего, только отвѣщая не душно о картинѣ Раева, изображавшей Римъ *); говорилъ, что она ему нравится больше дру-

*) Картина Раева «Римъ» нынѣ находится въ превосходномъ собраніи картинъ русской школы Николая Дмитриевича Быхова.

тихъ работъ его, которыя онъ видалъ прежде, да оставился на картинахъ Орлова, состоявшихъ изъ небольшихъ поясныхъ фигуръ, и спросилъ про одну обнаженную женскую фигуру:

— Они такъ съ голыхъ и пишутъ ихъ?

Остальное осмотрѣли молча.

Изъ Palazzo Fagnese поѣхали опять въ Ватиканъ смотрѣть Рафаэлевы ложи и его комнаты. Государь очень сожалѣлъ, что ложи почти совсѣмъ пропали. Кто-то заговорилъ, что теперь онъ находятся въ Петербургѣ *). На это государь сказалъ:

— Лучше, если бы онъ остались здѣсь.

Въ комнатахъ Рафаэля онъ отмѣтилъ списать нѣкоторыя фигуры потолка, а въ картинной галлерей—стоящія тамъ три картины Рафаэля.

— Когда Бруни окончить работы Исаакиевской церкви,—сказалъ государь:—то пусть скопируетъ мнѣ ихъ.

Въ другихъ залахъ его величество также повелѣлъ скопировать нѣкоторыя картины и опять всѣмъ восхищался, особенно же работою Микель-Анжело, въ Сикстинской капеллѣ. Когда государь выходилъ изъ Сикстинской капеллы, какой-то художникъ съ картиной въ рукѣ остановилъ его и предложилъ ее купить. Государь замѣтилъ ему, что его картина не окончена. «Если вашему величеству угодно купить, я ее кончу». Государь серьезно посмотрѣлъ на него и молча отошелъ прочь.

Императору показывали все, что только стоило видѣть въ Ватиканѣ, водили по заламъ, которыя никогда никому не отрывали даже и по билетамъ. Проходили залу ковровъ, галлерей географическихъ картъ, сводъ которой украшенъ съ такимъ вкусомъ, что государь велѣлъ срисовать его нашимъ архитекторамъ; кромѣ того, любовался собраніемъ этрусскихъ вазъ и египетскихъ древностей. Изъ залы географическихъ картъ перешли въ бібліотеку—одну изъ значительнѣйшихъ въ свѣтѣ. Кромѣ книгъ и рукописей, въ ней ви-

*) «Благодаря Великой Екатеринѣ, — говоритъ графъ Ө. П., — у насъ тоже будутъ существовать ложи Рафаэля. Она приказала ихъ скопировать для Эрмитажа. Еще часть Рафаэлевыхъ ложъ превосходно скопирована масляными красками, по заказу графа Александра Сергѣевича Строганова».

дѣли старинные образа съ греческими и славянскими надписями.

Изъ библіотеки снова обошли всѣ кашеллы церкви св. Петра. Графъ Ѳеодоръ Петровичъ не могъ отлучиться ни на минуту отъ государя, который постоянно обращался къ нему съ вопросами и распоряженіями. Когда они подошли къ бронзовому baldachin надъ главнымъ алтаремъ, государь сказалъ ему:

— Я нахожу, что эта вещь здѣсь неумѣстна и вредитъ величію церкви, такъ же какъ и стекло надъ алтаремъ, съ прозрачнымъ изображеніемъ св. Духа. Оно неприлично такой базиликѣ, какъ базилика св. Петра.

«Его величество былъ совершенно правъ», замѣчаетъ Толстой.

Когда графъ сказалъ государю, что этотъ бронзовый baldachinъ одной величины съ Зимнимъ дворцомъ, то онъ не хотѣлъ вѣрить. Висconti подтвердилъ слова Ѳеодора Петровича.

Изъ Ватикана всѣ отправились во дворецъ Цезарей; государь долго разсматривалъ со вниманіемъ богатые, величественные остатки дворцовъ римскихъ императоровъ и сдѣлалъ вторичные заказы.

Изъ дворца Цезарей государь поѣхалъ къ себѣ. Графу сказали, что онъ будетъ еще что-то осматривать, поэтому онъ остался въ пріемной комнатѣ, которой императору надобно было проходить. Киль находился тутъ же. Вскорѣ государь вошелъ и мимоходомъ сказалъ Килю очень серьезно:

— *L'exposition est mauvaise, c'est une horreur!*

Съ этими словами выпалъ и поѣхалъ одинъ прогуляться.

4-го декабря, въ 10 часовъ утра, императоръ поѣхалъ съ графомъ Ѳеодоромъ Петровичемъ въ мастерскую художника Иванова (живописца). Студія Иванова была обширна, хороша и съ прекраснымъ освѣщеніемъ. Онъ писалъ тогда свою огромную картину, изображающую Іоанна Крестителя въ пустынѣ, проповѣдующаго толпѣ народа «жизнь новую»; фигуры, на первомъ планѣ, въ ростъ человѣческой, Іоанна и окружающая его группа фигуръ, въ томъ числѣ двѣ совсѣмъ обнаженные, подвигались къ окончанію; многое было въ подмалевкахъ, остальное еще въ контурахъ.

Вся картина очень умно и хорошо скомпонована,—говорить въ «Путевыхъ запискахъ» графъ,—рисунокъ въ картинѣ превосходный, особенно въ фигурѣ Іоанна. Пейзажъ, прекрасный, былъ уже много подвинутъ впередъ. По стѣнамъ мастерской было развѣшено множество этюдовъ—съ изображеніями: деревьевъ, кустарниковъ, камней, снятыхъ имъ въ разныхъ мѣстахъ Италіи для пейзажа его картины, также и этюды головъ. Государь былъ очень доволенъ картиною Иванова, разсматривалъ его этюды и обошелся съ нимъ чрезвычайно мило. Кто-то изъ присутствовавшихъ замѣтилъ, что тутъ слишкомъ много надѣлано этюдовъ, государь на это сказалъ:

— Иначе и нельзя, чтобы написать хорошо картину.

Выходя изъ мастерской, государь сказалъ Иванову:

— Оканчивай,—картина будетъ славная.

Молодымъ человѣкомъ принялся Ивановъ за свою картину «Іоаннъ Предтеча» и состарѣлся съ нею; кисть, взятая юношеской рукой, ослабѣла на томъ же полотнѣ, цѣлая жизнь была употреблена на созерцаніе, обдумываніе, изученіе своего предмета,—и при какихъ условіяхъ. «Нищета его,—писалъ одинъ изъ друзей его,—была такова, что онъ по суткамъ довольствовался стаканомъ кофе и черствой булкой или чашкой чечевицы, сваренной изъ экономіи имъ самимъ въ той студіи, гдѣ работалъ, и на водѣ, за которою художникъ ходилъ самъ къ ближайшему фонтану». И въ этой борьбѣ шли годы и годы. Въ продолженіе двадцати лѣтъ онъ получилъ десять тысячъ руб. изъ кассы цесаревича Александра Николаевича, который, будучи въ Римѣ, сказалъ Иванову, что онъ его картину считаетъ своей.

Когда онъ выставилъ свою картину въ Римѣ, общество художниковъ всѣхъ странъ осыпало ее похвалами, это были единственные сладкія минуты Иванова.

За два мѣсяца передъ кончиной пріѣхалъ онъ въ Петербургъ. Полный надеждъ и думъ, онъ мечталъ, что для него легко откроется новая дѣятельность. Онъ мечталъ о своихъ давно задуманныхъ эскизахъ изъ жизни Христа, думалъ съѣздить въ Іерусалимъ, ему хотѣлось распространять больше и больше великую художественную традицію живописи—молодому поколѣнію. Какъ дѣйствительный художникъ, онъ съ грустью смотрѣлъ съ

одной стороны на легкую, эффектную манеру, съ другой—на растлѣніе вкуса иконописью.

Петербургскую жизнь Ивановъ совѣтъ не зналъ или зналъ смутно, по слухамъ. Простой, отвыкшій отъ людей, онъ какимъ-то чуждымъ явился съ своей картиной—передъ толпою.

Начались маленькія аваніи, которыхъ онъ не умѣлъ переносить,—все огорчало, все мучило его. Ему дали во дворцѣ бѣлую залу съ дурнымъ освѣщеніемъ для картины. Государь, разсѣянный торжествомъ освященія Исаакиевскаго собора, только взглянулъ на нее.

Второстепенные живописцы пожимали плечами, придворнымъ было не до Иванова...

Денегъ у него не было, онъ жилъ у одного пріятеля.

29-го іюня президентъ академіи художествъ, великая княгиня Марія Николаевна, потребовала Иванова и объявила ему, что ему опредѣляется 10.000 руб. вознагражденія и назначается 2.000 руб. пенсія, и желала знать, доволенъ ли онъ. Несмотря на свою застѣнчивость, Ивановъ не стѣсняясь принять предложеніе и просилъ его обдумать.

На другой день, 30-го іюня, курьеръ снова требуетъ Иванова. Къ нему въ пріемную комнату вышелъ графъ Строгановъ и объявилъ ему, чтобы онъ за окончательнымъ отвѣтомъ обратился къ Адлербергу.

Ивановъ къ графу Адлербергу не пошелъ. Разстроенный, огорченный, онъ пошелъ къ одному знакомому, вечеромъ почувствовалъ себя дурно, съ полуночи явились первые признаки холеры, ночью съ 2-го на 3-е іюля его не стало.

На утро явился курьеръ съ пакетомъ, возвѣщавшимъ художнику, что ему жалуются 15.000 р. и владимірскій крестъ въ петлицу.

Въ 1847 году, въ Римѣ съ ивановымъ познакомился Саша. При первомъ свиданіи они чуть не поссорились. Разговоръ зашелъ о «Перепискѣ» Гоголя, Ивановъ страстно любилъ автора, Саша считалъ эту книгу преступленіемъ. Вліяніе этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Насталъ громовый 1848 годъ, Саша жилъ на площади, Ивановъ плотнѣе запирался въ своей студіи, сердился на шумъ исторіи, не понималъ его, Саша сердился на него за это. Къ тому же онъ

былъ тогда подъ вліяніемъ восторженнаго мистицизма и своего рода эстетическаго христіанства. Тѣмъ не менѣе иногда вечеромъ Ивановъ приходилъ къ Сашѣ изъ своей студіи, всякій разъ наивно улыбаясь, и заводилъ рѣчь именно о тѣхъ предметахъ, въ которыхъ они совершенно расходились.

Въ Парижѣ была провозглашена республика, престолъ папы покачнулся, вся Европа волновалась, Саша забылъ Иванова и поскакалъ въ Парижъ.

Десять лѣтъ между ними не было никакихъ сношеній.

Спустя десять лѣтъ Саша получилъ отъ него письмо, а выѣзжая изъ Рима, Ивановъ послалъ ему свою фотографію, она залежалась въ Парижѣ и пришла къ Сашѣ вмѣстѣ съ вѣстью о кончинѣ художника.

Отъ Иванова государь поѣхалъ въ студію художника Ставассера и пришелъ въ восхищеніе отъ вытѣпленной имъ статуи Нимфы съ сатиромъ, и спросилъ его:

Неужели у тебя натурщица такъ хороша и граціозна?

Разсматривая долго эту статую, онъ обратился къ стоявшему тутъ флигель-адъютанту Васильчикову и, закрывъ ему рукою глаза, проговорилъ:

— Тебѣ не надобно на нее смотрѣть, это опасно.

Затѣмъ императоръ разсматривалъ и хвалилъ Русалку, которую тогда Ставассеръ рубилъ въ мраморъ, также и эскизы, и всѣмъ остался доволенъ. Уходя, онъ еще остановился противъ Нимфы, долго любовался ею и, обратясь къ Ставассеру, сказалъ:

— Прекрасно! сдѣлай мнѣ ее изъ мрамора.

Прежде, нежели заѣхать къ Ставассеру, императоръ посѣтилъ выставку иностранныхъ художниковъ. На эту выставку, изъ работъ трехсотъ художниковъ разныхъ націй, жившихъ въ то время въ Римѣ, выбрано было только сто лучшихъ картинъ. Киль это затѣялъ съ намѣреніемъ поставить произведенія иностранныхъ художниковъ въ параллель съ работами нашихъ пансіонеровъ и тѣмъ уронить послѣднихъ въ глазахъ царя. Онъ зналъ, что ихъ лучшія произведенія отосланы были въ Петербургъ, оставались неоконченныя работы и этюды. Государь выбралъ себѣ нѣсколько картинъ и акварелей. «Выборъ ихъ былъ не совсѣмъ удаченъ»,—замѣчаетъ графъ.

Отъ Ставассера проѣхали въ мастерскую Клименко. Государь остался доволенъ выѣвленнымъ имъ изъ глины и отлитымъ въ гипсъ Нарцисомъ, котораго онъ рубилъ въ мраморѣ.

Видѣли у Клименко еще эскизъ небольшой статуи—вакханки съ кистью винограда.

По пути отъ Клименко, проѣзжая мимо Капитолія, остановились и любовались этимъ величественнымъ зданіемъ; потомъ, объѣхавши кругомъ Forum-Romano, выбрались за городъ, гдѣ осмотрѣли церковь St. Paulo, строившуюся каторжными въ цѣпяхъ; одинъ изъ нихъ, опустясь на колѣни, подавъ прошеніе государю; этого несчастнаго мгновенно схватили, и онъ исчезъ. Прошеніе государь принялъ и передалъ гр. В. Ѳ. Адлербергу. Каждый выѣздъ царя подавали ему просьбы, даже бросали въ коляску.

Затѣмъ заѣхали они въ церковь St. Giovanni Laterano и осмотрѣли находящійся въ Латеранскомъ дворцѣ музей; далѣе осмотрѣли базилику Maria Maggiori. Проѣзжая Колизей, императоръ и всѣ бывшіе съ нимъ вышли изъ коляски—взглянуть на эти великолѣбныя развалины. Въ базиликѣ Колизея царя встрѣтилъ кардиналъ (имя его графъ позабылъ) со всѣми священниками, показалъ ему церковь и все, что тамъ есть примѣчательнаго. Императоръ поручилъ графу Толстому сдѣлать нѣкоторые заказы.

Изъ Колизея государь хотѣлъ посѣтить мастерскія иностранныхъ художниковъ, а у Рамазанова быть послѣ обѣда. Это сообщилъ графу князь Петръ Михайловичъ Волконскій, при этомъ попросилъ устроить такъ, чтобы у Рамазанова находилась и модель, съ которой онъ лѣпитъ свою статую (находившаяся у него натурщица считалась лучшею въ Римѣ). Волконскій еще съ утра говорилъ, что государю хочется видѣть, какъ работаютъ скульпторы съ модели, о чемъ графъ тогда же сообщилъ Рамазанову. Услыхавши, что государь располагаетъ быть въ студіи Рамазанова вечеромъ, графъ встревожился и говорилъ, что какъ ни освѣти мастерскую, все не будетъ возможности видѣть красоту модели, стало-быть, и освѣтить работы художника. Мастерская Рамазанова была не далеко, графъ послалъ сказать ему, чтобы онъ не отлучался изъ студіи и не отпускалъ на

турщицы, а самъ попросилъ князя Волконскаго доложить государю, что лучше ѣхать днемъ въ студию Рамазанова.

— Какъ же это сдѣлать,—отвѣчалъ князь:—государю хочется видѣть и модель?

— Модель тамъ, но при свѣтѣ огня нельзя хорошо осмотрѣть ни скульптурнаго произведенія, ни вѣрно сличить его съ моделью.

— Ну, дѣлай, какъ знаешь,—сказалъ Петръ Михайловичъ:—а я говорить государю не буду; я усталъ и ѣду домой,—и тотчасъ же уѣхалъ.

Графъ просилъ Адлерберга, потомъ Бутенева доложить царю о его предложеніи ѣхать къ Рамазанову и объяснилъ, почему онъ этого желаетъ. Оба отвѣчали, что не смѣютъ докладывать объ этомъ государю, что онъ усталъ и самъ назначилъ ѣхать къ иностраннымъ скульпторамъ. Отказъ ихъ взбѣсилъ графа; онъ отвѣчалъ:

— Если вы не смѣете, то я смѣю,—и отправился къ государю, шедшему впереди съ Висконти къ своей коляскѣ. Графъ догналъ его, остановилъ за руку, попросилъ прощенія въ этой дерзости и сказалъ:

— Ваше величество, Рамазановъ одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ пансіонеровъ; вы не были еще въ его мастерской, а такъ какъ при свѣтѣ лампъ скульптурная работа много теряетъ, особливо въ глинѣ, то лучше теперь, при дневномъ свѣтѣ, пожаловать въ его студию.

— Хорошо,—отвѣчалъ государь:—да не далеко ли его мастерская, я очень усталъ.

— Очень близко,—отвѣтилъ графъ.

— Ну, такъ пойдемъ къ нему.

Подѣхавши къ мастерской, императоръ сказалъ, чтобы, кромѣ его и графа, никого не впускать въ студию,—вся свита осталась за дверями. Когда они вошли въ комнату, Рамазановъ заперъ дверь на замокъ. Прежде всего государь обратилъ все вниманіе на работу Рамазанова и ни малѣйшаго—на натурщицу, стоявшую въ позѣ нимфы, которая ловить у себя на плечѣ бабочку. Разсматривая работу художника, онъ очень хвалилъ и мысль, и позу, и отдѣлку. Фигуру нашелъ граціозной, голову прелестной, потомъ сталъ сравнивать работу съ

оригиналомъ и нашелъ, что натура не такъ хороша, какъ ее представилъ скульпторъ; «ты ее украсилъ и облагородилъ,—замѣтилъ онъ:—слѣды ногъ, кажется, надобно сдѣлать попомянѣе».

Натурщицу государь нашелъ хорошо сложенной, только немного толстоватой и недостаточно рослой. «Что и дѣйствительно было такъ,—сказано въ «Запискахъ» графа.—Личико же у нея,—говоритъ онъ:—было прекрасно, глаза большіе, черные, взоръ выразительный, черты лица правильныя, но Рамазановъ въ своей статуѣ сдѣлалъ голову въ другомъ родѣ: онъ далъ ей красоту болѣе нѣжную и болѣе античную и для самой фигуры бралъ не чисто натуру, а смотря по красотѣ и правильности формъ частей тѣла. Государь, подойдя къ натурщицѣ и посмотрѣвши на нее, велѣлъ Рамазанову передать ей, что онъ находитъ ее прекрасной, потомъ, снова сравнивши статую съ натурою, пошелъ разсматривать эскизы; онъ обратилъ особенное вниманіе на группу нимфы и сатира, просящаго у нея поцѣлуя, похвалилъ эту группу и замѣтилъ: «она у тебя ужъ слишкомъ выразительна, ты ее смягчи, а то мнѣ нельзя будетъ поставить въ моихъ комнатахъ», и приказалъ произвести ее въ мраморѣ; подойдя опять къ натурщицѣ, которая во все время продолжала стоять въ позѣ статуи, изображающей нимфу, ловящую у себя на плечѣ бабочку, приказалъ Рамазанову повторить ей, что находитъ ее прекрасной, велѣлъ ей выдать 30 скудій и заказалъ ему произвести ее въ мраморѣ; затѣмъ, низко поклонившись модели, пошелъ къ дверямъ мастерской, повелѣвъ, прежде нежели отворять дверь, подать ей закрыться, что Рамазановъ тотчасъ и исполнилъ.

Изъ мастерской Рамазанова государь проѣхалъ въ студию скульптора Вольфа. Отъ него къ скульптору *Bien-aimé*.

Потомъ посѣтили студию нашего пансіонера, скульптора Иванова; государь остался очень доволенъ его мраморною статуей «Ломоносовъ въ молодости», находилъ, что въ юномъ лицѣ статуи много сходства съ портретомъ Ломоносова въ старости. Онъ изображенъ въ русской рубашкѣ, сидящимъ съ книгою въ рукѣ.

Отъ Иванова государь заѣхалъ въ другую студию Те-

нерани, а оттуда къ себѣ, купивши у иностранныхъ художниковъ нѣсколько произведеній.

Вечеромъ, въ 8 часовъ, приготовили для государя освѣщеніе въ галлерей статуй въ Ватиканѣ.

На вопросъ, сдѣланный императору еще съ утра начальникомъ Ватикана, монсеньоромъ Люциди—допускать ли въ Ватиканъ во время его тамъ присутствія постороннихъ, императоръ отвѣчалъ:

— Я бы желалъ, чтобы только русскихъ.

Графъ вмѣстѣ съ графинею, вечеромъ, поѣхали въ Ватиканъ. Государь приказалъ привести туда всѣхъ нашихъ пансіонеровъ; нѣкоторые изъ нихъ пріѣхали вмѣстѣ съ графомъ. Толпа была такъ велика, что они только при помощи директора скульптурнаго музея Ватикана, Фабриса, и монсеньора Люциди добрались до первыхъ галлерей, гдѣ должны были дожидаться прибытія государя. При караульномъ офицерѣ графъ оставилъ художника Монигетти, чтобы онъ указывалъ ему нашихъ пансіонеровъ и художниковъ, которые будутъ подходить, и пропускалъ бы ихъ. Вмѣстѣ съ графомъ и графинею прошелъ съ большимъ трудомъ нашъ камерьеръ гр. Нессельроде съ своимъ семействомъ. Въ галлерей набралось довольно дамъ и мужчинъ, изъ которыхъ нѣкоторые были во фракахъ. Вскорѣ прибылъ и государь съ своею свитой; по обѣ стороны шли съ факелами люди, назначенные освѣщать галерею, одѣтые въ средневѣковой костюмъ—малиновые полукуртки съ откинутыми назадъ длинными рукавами. Всѣ коридоры галлерей освѣщались высокими восковыми свѣчами. Когда пришли въ галерею античныхъ статуй, то каждую статую стали освѣщать порознь приготовленными свѣтильниками изъ восковыхъ свѣчей съ полированными сзади жестяными реверберами. Графъ находилъ это освѣщеніе неудовлетворительнымъ и говорилъ, что газомъ было бы лучше; сверхъ того, дѣйствию освѣщенія сильно мѣшала набившаяся толпа посѣтителей. Комната египетскаго музея, въ глубинѣ которой стоитъ вырубленная изъ красноватаго порфира статуя Изиды, освѣщена была эффектиѣе всѣхъ остальныхъ комнатъ. Налюбовавшись этимъ зрѣлищемъ, стали разѣзжаться. Государь уѣхалъ первымъ, за нимъ и остальные.

5-го декабря архитекторы и граверы положили свои работы въ кабинетъ Его Величества, для разсмотрѣнія ихъ.

По утру государь, въ казачьемъ мундирѣ, ѣздилъ прощаться съ папой.

Въ этотъ день графъ *Θ. П.* отправился въ приемную императора, гдѣ находились и архитекторы. Вернувшись отъ папы, императоръ переодѣлся въ сюртукъ, призвалъ архитекторовъ къ себѣ въ кабинетъ, расхвалилъ ихъ дѣйствительно превосходныя работы и высказалъ имъ столько привѣтствій, что они были внѣ себя отъ радости.

Переговоривши съ архитекторами, императоръ поѣхалъ въ Пантеонъ, въ сопровожденіи Висconti, графа Толстого и двухъ нашихъ молодыхъ архитекторовъ, *Резанова* и *Бенуа*. Пантеонъ государю чрезвычайно понравился, несмотря на то, что величественное древнее зданіе испорчено фанатиками-папами. Обратясь къ графу *Θ. П.*, государь сказалъ:

— Не правда ли, что что ни дѣлай съ зданіемъ, построеннымъ въ хорошихъ пропорціяхъ, оно всегда останется прекраснымъ?

Отъ Пантеона проѣхали къ термамъ *Каракаллы*. Осматривая огромныя развалины его дворца и бань, государь снова началъ говорить о прочности строеній и что у насъ не умѣютъ класть кирпичи, что спайка очень толста, и что онъ всегда бранится за это съ нашими архитекторами, и спросилъ графа, нѣтъ ли съ нимъ кого-нибудь изъ нашихъ молодыхъ архитекторовъ. Графъ вызвалъ *Н. А. Бенуа*, смѣлаго, образованнаго молодого человѣка, отлично знавшаго свое дѣло. *Бенуа* свободно, основательно, прекрасно сталъ опровергать обвиненія государя, на стѣнахъ развалинъ доказалъ, какъ наружность обманчива, и что кладка въ нихъ не систематическая, а совершенно произвольная, но что превосходная матерія связки и климатъ даютъ эту крѣпость зданіямъ. Потомъ подвелъ государя къ одной развалившейся аркѣ, большая половина которой висѣла на воздухѣ, и показалъ, что въ этомъ сводѣ нѣтъ никакой кладки, ни камней, ни кирпичей, а они просто приставлены другъ къ другу, смазаны дивною здѣшнею смазкою, называемою *rozolano*, въ доказа-

тельство ея крѣпости взобрался на висящій на воздухѣ конецъ арки, сталъ на немъ прыгать, и ни одинъ камень не отвалился отъ свода. Съ своей стороны Резановъ такъ дѣльно и хорошо объяснялъ все царю, что онъ остановился спорить и сталъ внимательно слушать его доказательства. Потомъ замѣтилъ, что у насъ ваяются зданія, потому что архитекторы сдѣлались подрядчиками. Графъ сильно защищалъ нашихъ академиковъ-архитекторовъ отъ стачки съ подрядчиками, въ особенности же молодыхъ художниковъ.

Императоръ говорилъ съ Резановымъ и Бенуа долго и милостиво, внимательно ихъ выслушивалъ. Они объясняли ему всѣ подробности этихъ развалинъ со временъ Каракаллы, по остаткамъ, представляли, какое расположеніе было этихъ термъ и бань, и что частію соотвѣственно вкусу духа времени, частію по образцу другихъ зданій того же историческаго періода можно было довольно вѣрно опредѣлить самыя фасады этихъ зданій. Объясняя постройку термъ Каракаллы, они говорили и вообще о древнихъ остаткахъ Рима такъ основательно и хорошо, что показали себя не только знающими свое дѣло, но и вполне образованными людьми. Нѣкоторые изъ молодыхъ флигель-адъютантовъ обступили юныхъ художниковъ съ вопросами; они отвѣчали дѣльно, не только о термахъ, въ которыхъ находились, но и о древнемъ состояніи самой Римской имперіи, ея столицѣ, Неаполѣ и другихъ городахъ Италіи, примѣчательныхъ памятниками исторіи, археологій и искусствъ.

Графъ слушалъ ихъ съ восторгомъ.

Выходя изъ термъ, государь, повидимому, еще занятый заступничествомъ графа за нашихъ архитекторовъ, обратился къ нему, сказалъ:

— А все-таки я утверждаю, что наши архитекторы входятъ въ стачки съ подрядчиками.

Сказавши это, онъ сѣлъ въ коляску, и всѣ, кромѣ молодыхъ архитекторовъ, отправились къ весьма плохому скульптору Фабрису, по милости папы—директору скульптурнаго музеума Ватикана. Они оба были изъ одной деревни, учились вмѣстѣ въ одной школѣ и остались пріятелями. По заказу папы Фабрисъ работалъ колоссальную статую Милона Кротонскаго, назначенную быть поставленной на горѣ Пинчіо, надъ

аркадами величественной лѣстницы, спускающейся въ piazza di poroli; но статуя эта такъ плоха, говорилъ графъ, что едва ли ее тамъ помѣстятъ.

Послѣ студіи Фабриса осмотрѣли студію скульптора Финелли.

Отъ Финелли проѣхали въ монастырь и церковь St. Maria di angele, построенную извѣстнымъ Буанароти на остаткахъ термъ Діоклитіана. Государь любовался, кромѣ живописи въ церкви, обширнымъ четырехугольнымъ дворомъ въ стѣнахъ строеній, по которымъ идутъ галлерей изъ продолговатыхъ арокъ различныхъ прекрасныхъ формъ; тутъ находился монастырскій огородъ съ фонтаномъ посреди параллелограмнаго бассейна изъ бѣлаго мрамора, по угламъ котораго растутъ четыре огромные кипариса, посаженные Микель-Анжеломъ.

Изъ монастыря проѣхали въ прелестную виллу Albano—богатую древними произведеніями въ мраморѣ.

Изъ Альбано, по площади Monte cavallo, въѣхали во дворъ палскаго лѣтняго дворца, Квиринала, куда никто не имѣетъ права въѣзжать въ экипажѣ, кромѣ папы, а ихъ въѣхало за государемъ больше пяти колясокъ. Шагомъ обогнувши кругомъ двора, государь уѣхалъ къ себѣ; графъ же отправился прокатиться на monte Pinicio. Спустя немного времени пріѣхалъ туда и государь, въ коляскѣ, съ посланникомъ; проѣхавъ palazzo Borgese, они исчезли изъ вида.

Государь каждый день дѣлалъ эту прогулку передъ обѣдомъ.

5-го декабря, въ часъ ночи, императоръ Николай Павловичъ выѣхалъ изъ Рима. Наши художники пришли къ крыльцу посланникова дома, чтобы поклониться государю и пожелать ему счастливаго пути, но имъ сказали, что онъ желаетъ уѣхать тайно, и они удалились.

Повсюду, гдѣ графъ Толстой сопровождалъ государя по Риму, кромѣ экипажей съ его свитой, онъ замѣчалъ слѣдующую за ними коляску, съ четырьмя одними и тѣми лицами итальянскаго типа, никому изъ сопровождавшихъ царя неизвѣстными. Вездѣ, гдѣ останавливался государь, останавливались и они, тотчасъ выскакивали изъ коляски и не вдалекѣ отъ него помѣщались передъ толпившимся народомъ. Гдѣ бы

ни былъ царь — и они были тутъ же. Поступки эти возбудили въ графѣ любопытство, и онъ узналъ, что это были переодѣтые въ штатское платье лучшіе и надежнѣйшіе офицеры изъ карабинеровъ, назначенные отъ правительства повсюду слѣдовать за царемъ и охранять его; а такъ какъ правительству всегда было заранѣе извѣстно, когда, куда и въ какое время государь поѣдетъ, то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ какой день государь долженъ былъ быть, тамъ, между столпившимся народомъ, размѣщены были переодѣтые въ разные костюмы карабинеры, которые, въ случаѣ надобности, должны были исполнять приказанія сопровождавшихъ государя офицеровъ.

Былъ слухъ, что правительство замѣтило злостныя намѣренія, и самъ папа боялся за царя; говорили даже, будто бы открытъ какой-то заговоръ, и что государь, узнавши объ этомъ, былъ очень огорченъ.

Какъ по дорогѣ изъ Неаполя въ Римъ, такъ и изъ Рима во Флоренцію и Болонью, во время проѣзда императора по всѣмъ дорогамъ были размѣщены карабинеры.

Вообще въ Италіи въ то время было неспокойно.

Спустя нѣсколько времени по отъѣздѣ императора изъ Рима, графъ Ѳеодоръ Петровичъ Толстой отправилъ въ Петербургъ президенту академіи, герцогу Лейхтенбергскому, опроверженіе ложныхъ доносовъ Килля на пансіонеровъ и письмо къ конференцъ-секретарю В. И. Григоровичу, въ которомъ сообщалъ ему о пріѣздѣ въ Римъ государя и какъ онъ представлялъ ему воспитанниковъ академіи.

Письмо это, какъ значительный матеріалъ для біографіи графа и для исторіи академіи художествъ, дружески передано было мнѣ Николаемъ Дмитриевичемъ Быковымъ, для пополненія моихъ воспоминаній о графѣ. Оно будетъ помѣщено въ pripravляющуюся біографію графа Ѳеодора Петровича Толстого.

~~~~~

## ГЛАВА XLV.

### По отъѣздѣ императора Николая Павловича.

1845—1846 гг.

Во время пребыванія императора Николая Павловича въ Римѣ погода стояла ясная; со дня же его отъѣзда полилъ дождь, сдѣлалась слякоть, холодъ. Несмотря на это, нѣкоторые изъ художниковъ отпраздновали день тезоименитства императора за городомъ. Вечеромъ художники рассказали графу, что они выпили только по бокалу шампанскаго за здоровье государя, пѣли «Боже, Царя храни» и церковныя кантаты, затѣмъ съ факелами и пѣніемъ прошли по сосѣднимъ горамъ.

На другой день именинъ императора, утромъ, къ графу пріѣхалъ князь Григорій Петровичъ Волконскій съ секретаремъ Килія—Сомовымъ, чтобы свѣрить и привести въ порядокъ списокъ заказовъ, сдѣланныхъ государемъ. Графу было до крайности непріятно это вмѣшательство въ дѣло, касавшееся единственно его.

Художники наши продолжали попрежнему собираться у графа Толстого и сообщили ему, что дали между собою слово не пировать, а работать какъ можно усерднѣе: такъ благотворно отразилось на нихъ милостивое отношеніе къ нимъ государя. Кромѣ разговоровъ, у него вечерами происходили и чтенія; на одномъ изъ вечеровъ Рамазановъ читалъ написанную имъ сказку «Красота и искусство»; онъ развивалъ въ ней довольно вѣрно идею, какъ отъ дѣйствія красоты вызвалось къ жизни искусство; мысль эта, замѣчаетъ графъ, не новая: ее проводили и древніе греки, какъ живописцы, такъ и скульпторы—въ образѣ юнаго грека, очерчивающаго профиль лица любимой женщины по тѣни, отбрасываемой луною на стволъ дерева.

Посѣщая знакомыхъ, Ѳедоръ Петровичъ бывалъ и у антикварія Висконти; однажды Висконти сказалъ графу, что онъ получилъ въ подарокъ прекрасную бронзовую медаль, по его мнѣнію, сдѣланную въ Парижѣ, и чрезвычайно хвалилъ ее. Показывая медаль, сталъ объ-

яснить, что она изображаетъ. Графъ тотчасъ узналъ въ ней одну изъ своихъ бронзовыхъ медалей, изображающую освобожденіе Москвы. Висконти былъ чрезвычайно изумленъ и даже выразилъ нѣкоторое сомнѣніе, чтобы эта медаль была сдѣлана въ Россіи. Когда же графъ сказалъ ему, что медаль эта одна изъ коллекціи, состоящей изъ двадцати такихъ же медалей, сочиненныхъ и рѣзанныхъ имъ по случаю войны 1812—1814 годовъ, то Висконти разсыпался въ восторженныхъ привѣтствіяхъ. При этомъ графъ показалъ ему слѣпки съ своихъ барельефовъ изъ Одиссеи Гомера; онъ долго разсматривалъ ихъ и сказалъ, что ему извѣстно все выходившее въ этомъ родѣ, но подобнаго не встрѣчалось какъ по идеѣ, вѣрности рисунка, вполне античнаго стиля, такъ и по красотѣ и искусству въ выполненіи. Съ восторгомъ и изумленіемъ онъ разсматривалъ выгравированные рисунки «Душеньки», осыпалъ похвалами рисунковъ всѣхъ фигуръ, вкусъ, съ какимъ все трактовано, драпировку, мебель, вазы и прочіе аксессуары, дивился обширному знанію графа древняго греческаго міра и съ этого времени измѣнилъ свой взглядъ на искусства въ Россіи. Вскорѣ послѣ того Висконти привелъ къ графу лучшаго рѣзчика на твердыхъ камняхъ въ Римѣ, итальянца Бонтинчіо Боканино, чтобы показать ему вырѣзанные графомъ въ мѣди барельефы Одиссеи. Его поразили барельефы графа, какъ сочиненіемъ и рѣзбой въ металлѣ, такъ и отлитые съ нихъ въ мѣди слѣпки гальванопластическимъ способомъ. Онъ долго спрашивалъ графа объ этомъ искусствѣ и никакъ не предполагалъ, чтобы было возможно гальванопластикой дѣлать такіе сложные барельефы, со множествомъ фигуръ, греческихъ зданій, внутреннихъ украшеній, съ драпировками, вазами, канделябрами и другими украшеніями, вырѣзанными на барельефахъ графа. Они еще не знали гальваническаго способа осаждать изъ раствора синяго купороса мѣдь въ мѣдныя формы. Графъ показалъ ему, какъ онъ дѣлаетъ свои слѣпки простымъ способомъ въ стеаринѣ, воскѣ и глинѣ, покрытой графитомъ, но не открылъ, какъ это дѣлаютъ въ мѣдныя формы, оставляя имъ самимъ догадаться. Итальянскій медальеръ не хотѣлъ вѣрить, когда графъ сказалъ ему, что у насъ этимъ способомъ отливаютъ большія античныя статуи.

Въ день Рождества Христова всѣ наши пансіонеры пригласили графа и графиню Толстыхъ съ ними отобѣдать. Обѣдъ былъ устроенъ въ квартирѣ Рамазанова. Всѣхъ было 22 человѣка, считая въ томъ числѣ и четырехъ не пансіонеровъ: Бецкаго, Розенберга, Сокольскаго и Моллера; первые два даже и не художники. Когда графъ и графиня вошли въ комнату, ихъ встрѣтили съ пѣніемъ подъ фортепіано написанныхъ на этотъ случай Рамазановымъ стиховъ.

Встрѣча такимъ привѣтствіемъ сильно тронула графа. Затѣмъ сѣли всѣ за столъ—обѣдъ былъ простъ, но хорошо приготовленъ, вино—римскихъ виноградниковъ. Графу было пріятно, что они ради его не вошли въ лишнія издержки. Устраивая этотъ пиръ, они держались сдѣланнаго ими условія избѣгать всякаго рода роскоши и излишествъ. Единственная роскошь этого обѣда состояла во множествѣ прекрасныхъ, у насъ очень дорогихъ цвѣтовъ, только-что нарванныхъ съ грядъ. Надъ каминомъ была развѣшана гирлянда изъ миртъ, цвѣтовъ и зелени, а надъ ней изъ розъ и лилей сплетенныя буквы *Ө. Т.* Въ это время цвѣты въ Римѣ стоили бездѣлицу. Тамъ, гдѣ было защищено отъ вѣтра *Montano*, цвѣты распускались на воздухѣ, и при свѣтѣ солнца можно было сидѣть у раствореннаго окна.

Въ срединѣ обѣда Резановъ всталъ и прочелъ сочиненные имъ стихи.

Когда Резановъ сѣлъ на свое мѣсто, послѣ общаго громкаго «ура», всталъ Бецкій и экспромптомъ сказалъ:

Намъ Богдановичъ милую поэму написать,  
Но Пушкина стихи ее убили;  
Къ ней графъ Толстой рисунки начерталъ,  
И «Душеньку» рисунки воскресили.

Въ концѣ обѣда пили за здоровье графа, графини и ихъ дѣтей, оставшихся въ Россіи. Когда встали изъ-за стола, художники подошли къ фортепіано и хоромъ пропѣли графу «многая лѣта». Послѣ обѣда подъ фортепіано повторили стихи Рамазанова и поднесли графу огромный лавровый вѣнокъ. Затѣмъ, пропѣвши еще разъ стихи Рамазанова, затянули «чарочки по столику похаживаютъ». Бецкій взялъ перо, тутъ же написалъ и прочиталъ:

Пойте, братцы, веселитесь,  
Пришла славная пора,  
Вы Толстому поклонитесь,  
Гряньте дружное «ура!»  
Академя воспитала  
Русскихъ добрую семью,  
Хоть меня она не знала,  
Въ вашемъ не былъ я раю,  
Но я чувствовать умѣю  
И привѣты вамъ даю;  
Предъ талантомъ я кѣмѣю,  
А художниковъ люблю.  
Пойте, братцы, веселитесь,  
Пришла вамъ на то пора,  
Всѣ—Толстому поклонитесь,  
Гряньте гению «ура!»

Многократное усердное «ура» раскатилось по комнатамъ, гдѣ было все полно искренности и теплоты души собесѣдниковъ.

Послѣ обѣда пѣли русскія и итальянскія народныя пѣсни и такъ же, какъ бывало въ домѣ у графа въ Петербургѣ, начались разныя затѣи, переодѣванья въ различные костюмы, танцевали національные танцы, разыгрывались каррикатурныя представленія; въ нихъ особенно были прелестны Монигетти и Вени, и смѣшили всѣхъ до слезъ. Толстые пробыли на этомъ праздникѣ до десяти часовъ вечера. Художники всей толпой проводили ихъ на улицу съ зажженными свѣчами и фонарями, а когда они спустились съ лѣстницы, то, по образцу карнавала, осыпали ихъ множествомъ розъ и другихъ цвѣтовъ.

Посѣщая студіи художниковъ, графъ въ мастерской Бенуа и Резанова не могъ налюбоваться прелестными произведеніями этихъ молодыхъ талантливыхъ архитекторовъ. Ими сдѣлано было множество превосходныхъ рисунковъ, акварелью, всѣхъ деталей церкви Орвіетскаго собора, какъ его внутренности, такъ и наружности, и мастерски нарисованный видъ главнаго фасада какъ Орвіетскаго собора, такъ и многихъ другихъ древнихъ церквей.

Резановъ, Бенуа и Эпингеръ прожили въ Орвіетѣ почти три года втроемъ. Начальство монастыря поручило имъ реставрировать въ церкви мѣста, пострадавшія отъ времени. Они исполнили это съ такимъ успѣ-



хомъ, что заслужили всеобщую благодарность и расположение. Въ память сдѣланнаго ими, начальствомъ города вырѣзана была медаль, и каждому изъ нихъ поднесено по медали.

Въ студіи Шурупова вниманіе графа обращала имъ сочиненная и вытѣпленная ванна съ прекрасными скульптурными украшеніями; она была до половины вырублена изъ мрамора. Чаще всѣхъ графъ посѣщалъ студіи Ставассера, Иванова и Рамазанова.

Въ студіи Макрицкаго, между прочимъ, графа заинтересовали этюды Штернберга, доставшіеся Макрицкому по смерти его товарища, и графъ очень жалѣлъ, что онъ не успѣлъ окончить начатой имъ большой картины, изображающей «рынокъ въ Неаполѣ».

Мастерская Солнцева привлекала графа множествомъ прелестныхъ этюдовъ—пейзажей съ натуры, костюмовъ, чертежей и проч. Въ эскизахъ Ломтева, различнаго содержанія, графъ находилъ дарованіе, умъ и воображеніе въ композиціи.

Изъ иностранныхъ художниковъ, гр. Ѳеодоръ Петровичъ посѣщалъ иногда знаменитаго акварелиста Вернера. Онъ не могъ насмотрѣться на его превосходную картину, изображающую внутренность палаццо мавританской постройки, находящагося въ двухъ миляхъ отъ Палермо. Солнечный лучъ, проникающій въ окно, освѣщаетъ яркимъ лучомъ фигуры въ средневѣковой одеждѣ. Въ студіи вѣнскаго живописца Амерлинга, лучшаго портретиста того времени, графу больше всего нравилась картина, представляющая въ настоящую величину двухъ спящихъ прелестныхъ дѣтей, дѣвочку и мальчика. Сонъ ихъ такъ натураленъ, говоритъ графъ, что боишься громко говорить, чтобы не разбудить ихъ и не нарушить сладкаго покоя, въ который они погружены.

У живописца Ридели его заинтересовала одна картина, содержаніе которой взято было изъ индійской поэмы «*Loconda*». Изображена пустыня, гдѣ юношѣ-отшельнику является нимфа подъ вуалемъ, сіяющимъ лучами солнца, даннымъ ей Вишну. Вѣтеръ распахнулъ вуаль, отшельникъ плѣняется нимфой, вслѣдствіе чего является на свѣтъ ребенокъ, котораго мать отдаетъ на воспитаніе орлу, называемому *Loconda*.

Довольно часто графъ и графиня посѣщали театръ.

Видѣли въ балетѣ Фанни Эльслеръ и Тальони, слушали въ оперѣ нашего пѣвца И в а н о в а, знавшаго хорошо музыку и обладавшаго прелестною методою въ пѣніи. Игра драматической артистки Ристори восхищала графа—любителя и знатока сценическаго искусства, граціей и изумительной правдой въ игрѣ. Она не играетъ роль, она въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ, она чувствуетъ, она вся жизнь и благородство; простота игры, всѣ ея движенія, всѣ позы прелестны, сложена она дивно хорошо, въ миломъ лицѣ доброта и самодостойнство.

Здоровье князя Волконскаго не поправлялось, болѣзненное состояніе отражалось въ характерѣ—нерѣшительностію и крайней робостію, доходившими до того, что, говоря въ одинъ день одно и согласившись на предъявленное ему предложеніе, на другой день говорилъ совсѣмъ противное. Самъ ни на что не рѣшался, не давалъ и графу Толстому формальнаго права дѣйствовать по его убѣжденію, что навлекало графу пропасть хлопотъ и непріятностей.

Однажды князь Волконскій сообщилъ графу, что секретарь Килы скрылся. Когда у него отобрали всѣ бумаги по дѣламъ директорства, онъ уѣхалъ въ Тиволи. Какъ-то понадобилось послать почему-то на его квартиру—къ удивленію, она оказалась пустою, все до послѣдней мебели изъ нея было вывезено; это нашли страннымъ, но по безопасности оставили безъ вниманія. Когда же для понадобившихся справокъ послали къ Сомову въ Тиволи, то его тамъ уже не было, и куда онъ скрылся—никто не зналъ. Вскорѣ открылось, что директорство Килы задолжало банкиру Торлони около 50 тысячъ рублей серебромъ. О Килѣ составилось общее мнѣніе, что онъ не способенъ занимать мѣсто директора русскихъ художниковъ. Постъ этотъ, оставшись свободнымъ, сдѣлался предметомъ происковъ и интригъ. Между искаателями этого мѣста находился первый секретарь русскаго посольства Устиновъ и даже Григорій Петровичъ Волконскій. Увидавшись съ Григоріемъ Петровичемъ, графъ высказалъ, что, по его мнѣнію, въ Римѣ никакихъ директоровъ воспитанникамъ академій не надобно, тѣмъ болѣе, что нерѣдко на такія мѣста назначаются люди, которые не имѣютъ никакого понятія ни объ искусствахъ, ни о нуждахъ художниковъ и заботятся не

о пользѣ нашихъ пансіонеровъ, а только о своихъ удовольствіяхъ, между тѣмъ правительству становятся чрезвычайно дорого. Князь сказалъ, что онъ вполне раздѣляетъ это мнѣніе.

11-го января 1846 г., графъ съ первымъ курьеромъ отправилъ герцогу Лейхтенбергскому заранѣе приготовленный имъ рапортъ, въ которомъ сдѣлалъ подробное описаніе образа жизни и поведенія нашихъ пансіонеровъ въ Римѣ и всѣхъ поступковъ съ ними и клеветъ на нихъ бывшаго ихъ директора и его секретаря. Къ рапорту своему онъ приложилъ поступавшія къ нему просьбы воспитанниковъ нашей академіи, находившихся въ Римѣ.

1-го февраля, верховые въ курткахъ малиноваго цвѣта, обшитыхъ желтымъ басономъ, играя на трубахъ, объявили на всѣхъ площадяхъ и перекресткахъ и передъ всѣми палаццами вельможъ о началіи карнавала. Семь вершниковъ, по числу дней карнавала, везли на длинныхъ значкахъ большіе куски матерій, назначенные для призовъ за тѣхъ лошадей, которые останутся на скачкѣ побѣдителями. Скачками начинался каждый день карнавала. Издержки по карнавалу возложены были на евреевъ. Въ старину несчастные евреи были жестоко угнетены и унижены въ Римѣ и во время карнавала служили безчеловѣчной забавой римской черни: изъ среды евреевъ избиралось нѣсколько чловѣкъ, которыхъ по горло завязывали въ мѣшки изъ грубой наусины и заставляли бѣжать въ перемежку по Корсо отъ piazza del popolo до Капитолія; тѣхъ же, которые отставали, жестоко били палками. Наконецъ, евреи за огромную сумму откупились отъ этого безчеловѣчнаго униженія. Бѣгъ евреевъ по Корсо замѣнили бѣгомъ лошадей. «Несмотря на нравы, смягченные цивилизаціей,—говоритъ графъ Федоръ Петровичъ,—звѣрская кровь римскаго народа и въ христіанствѣ не перемѣнилась въ болѣе благородную; они и теперь готовы гонять несчастныхъ евреевъ въ мѣшкахъ по Корсо. Но такъ какъ впоследствии уже нельзя было всенародно оскорблять націю, ни въ чемъ не виноватую, то они допустили жестокое оскорбленіе въ Капитоліи. Наканунѣ карнавала, въ полномъ присутствіи сенаторовъ, евреи обязаны приносить, согласно постановленію, по

случаю праздника, подарки папѣ и разнымъ начальственнымъ лицамъ. Въ присутствіи всего сената евреи церемоніально приносили подарки и, преклонивши колѣна, вручали ихъ старшему изъ сенаторовъ. Сенаторъ, принявши подарки, представителю евреевъ ставилъ на голову ногу, въ знакъ ихъ покорности и униженія, и этотъ обрядъ совершался въ XIX вѣкѣ, по постановленію папы, главы католическаго христіанства! И это дѣлалось передъ огромнымъ стеченіемъ народа, въ виду всей Европы!» Когда въ Римѣ былъ графъ Толстой, то при депутаціи евреевъ президентъ-сенаторъ уже не ставилъ ноги на голову представителю евреевъ Рима. Онъ ожидалъ депутацію сидя на тронѣ, окруженный свитою и пажимами. Глава евреевъ, въ черномъ фракѣ, войдя въ залу аудіенціи, низко кланялся, давалъ клятву исполнять вѣрно постановленія по договору и просилъ позволенія евреямъ остаться еще на годъ въ Римѣ. Президентъ далъ разрѣшеніе, начертанное на мѣдной дощечкѣ,—тѣмъ и кончилась вся церемонія; приношенія и подарки доставлены были заранее.

Затѣмъ открывается карнавалъ.

Улица Корсо—преображается. Дома, окна, балконы драпируются розовыми, бѣлыми, пурпуровыми, голубыми, оранжевыми матеріями съ серебряными и золотыми бахромами, шнурами, кистями, убираются дорогими коврами, цвѣтами; въ устроенныхъ для карнавала ложахъ прелестныя женщины—въ домино и безъ домино—въ легкихъ полумаскахъ и съ открытыми лицами. Веселыя группы масокъ затопляютъ широкую улицу—музыка, пѣсни, жизнь,—слышатся шутки, остроуы,—сыплются мука, цвѣты, маколетѣ.

Чтобы узнать, чтобы оцѣнить Римъ—надобно въ него вжиться. Чѣмъ дольше остаешься въ немъ, тѣмъ больше сосредоточиваешься на его природѣ, на хранящихся въ немъ великихъ художественныхъ произведеніяхъ, на протекшей по немъ жизни. Многія неудобства новаго Рима становятся все незамѣтнѣе, величественныя стороны Рима древняго—все яснѣе. Поражаешься царственнымъ отпечаткомъ, лежащимъ на его каменныхъ остаткахъ,—что за фантазія, что за размахъ, что за широта жизни, такъ цѣльно, такъ полно выразившей

все свое содержимое. Полустертый слѣдъ міра языческаго еще могущественно выдвигается изъ-за міра христіанскаго, внесшаго въ жизнь обновляющее начало, совершенно противоположное всему древнему порядку вещей.

«Древній міръ,—говоритъ одинъ изъ нашихъ писателей, сравнивая міръ языческій съ міромъ христіанскимъ,—чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью, съ юношескою улыбкой, вездѣ пробивался къ мысли и нигдѣ не умѣлъ идти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его художество было—религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно-задавленной каріатидой невольничества; его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей. Онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, но не человѣческую личность его\*); юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонутъ въ колодежахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декораціи, ограничивавшія горизонтъ древняго міра, исчезли, открылась безконечная даль, которой и не подозрѣвалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы его показались мелки въ этомъ безбрежьи, а лицо человѣка, потерянное въ гражданскихъ отношеніяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосигаемой высоты, искупленное словомъ Божиимъ. Непосредственные и гражданскія опредѣленія оказались второстепенными; личность христіанина стала выше сборной личности города; ей раскрылось все безконечное достоинство ея. Евангеліе торжественно огласило права человѣка, и люди впервые услышали, что они такое.

Какъ было не измѣниться всему!

---

\*) Изъ числа мыслителей, перешедшихъ предѣлы древняго воззрѣнія о нравственности, Сенека стоитъ на самомъ краю древняго міра.

Христіанство запечатлѣло себя въ Римѣ пролитію кровью мучениковъ, храмами, базиликою святого Петра, великими художественными произведеніями; но стѣсняемое жесткой, сухой схоластикой, волнуемое борьбой съ отходящимъ духомъ древности, нашедшимъ средство пробраться въ станъ побѣдителей,—не могло раскрыться во всей широтѣ своей и стало развиваться въ народахъ новыхъ—въ формахъ болѣе свободныхъ, болѣе соотвѣтственныхъ своему внутреннему содержанию».

Великіе памятники, оставленные въ Римѣ протекшими по немъ вѣками, безчисленныя произведенія искусствъ, художинческій образъ жизни все больше и больше привлекали, привязывали графа Ө. П. къ Риму. Все было ему тамъ понятно, всему онъ сочувствовалъ. Самая природа возбуждала въ немъ поэтическое настроеніе, смѣшанное съ картинами протекшей жизни, какъ это видно изъ его многихъ очерковъ природы и изъ сравненія Италіи съ Швейцаріей. «Итальянскими видами любуюсь,—говоритъ графъ, оканчивая картину природы Италіи,—съ чувствомъ чего-то величественнаго, но земнаго, въ нихъ главную роль играютъ памятники древности, а природа—второстепенную. Память представляетъ воображенію дѣйствія людей міра древняго и ослабляетъ впечатлѣніе природы. Въ природѣ же Швейцаріи, съ ея мирными долинами, съ горами, покрытыми вѣчнымъ снѣгомъ, съ морями льдовъ, съ скалами, какъ бы упирающимися въ небо, съ низвергающимися въ бездны потоками водъ, съ отвѣсными утесами, на вершинахъ которыхъ, какъ бы подъ облаками, виднѣются развалины мрачныхъ, страшныхъ средневѣковыхъ рыцарскихъ замковъ,—природа преобладаетъ; развалины замковъ, крѣпостей, разсыпанныхъ по горамъ Швейцаріи—аксесуары, они теряются за красотою, за величіемъ природы—смотришь на нихъ и забываешь все земное.

Мнѣ вспомнилось, какъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, спускались мы съ Сентъ-Готарда. Ночь была ясная. Альпы, покрытыя снѣгами, подъ лучами полнаго мѣсяца сіяли алмазами, отбрасывая рѣзкія тѣни. Кругомъ—скалы, пропасти, лѣсъ, водопады, рѣка рвется черезъ громады камней. Съ каждымъ шагомъ внизъ

виды мѣняются, то ѣдешь краемъ пропасти, то подъ арками скалъ, тамъ—подъ ногами тихая долина и та же рѣка мирно журчитъ по камешкамъ, и новая цѣпь горъ открывается, на высотѣ алѣетъ альпійская роза; еще шагъ ниже—селенье, группы кленовъ и тополей, что ниже—то природа нынѣшнѣй, роскошнѣй; вотъ повѣяло тепломъ, влагой—и передъ нами Лаго-Маджоре—неподвижное какъ зеркало, обрамленное восхитительными виллами, потонувшими въ группахъ акацій, въ розахъ, миртахъ—въ нашихъ оранжерейныхъ растеніяхъ. Что за утро зазолотилось надъ озеромъ! Что за темно-синее небо! что за упоительный воздухъ! Такіе виды, такое утро наполняютъ сердце счастьемъ, душою—небомъ и любовью!»

---

#### XLVI.

#### Въ Англіи.

1861.

1861 года, въ первыхъ числахъ августа, поѣхала я въ Англію съ сыномъ моимъ Владиміромъ и товарищемъ моихъ дѣтей, офицеромъ генеральнаго штаба Сергѣемъ Михайловичемъ Мезенцевымъ. Мы выѣхали изъ Парижа утромъ въ Булонь, а вечеромъ вошли на англійскій пароходъ. Ночь была темная, небо покрыто облаками; свистѣлъ порывистый вѣтеръ, волновалъ море и колебалъ пароходъ. Матросы, готовясь къ отплытію, торопливо ходили по палубѣ; капитанъ отдавалъ приказанія. Слышался языкъ только англійскій и изрѣдка французскія слова. Я спустилась въ дамскую каюту,—тамъ прислуга дѣлала приготовленія, предвѣщавшія качку. Раздались слова команды, пароходъ шумно тронулся съ мѣста и подъ сильнымъ вѣтромъ съ проливнымъ дождемъ пошелъ при жестокой боковой качкѣ. Въ нашей каютѣ почти всѣ заболѣли и развѣстались по койкамъ. Казалось, пароходъ то катится съ горы, то взбирается на гору, ложится на одинъ бокъ, на дру-

гой и снова летить въ бездну. Я страшно страдала и дошла до галлюцинацій,—мнѣ ярко представлялось, будто я въ Парижѣ, въ нашей диванной, на раскрытыхъ окнахъ цвѣты, изъ-за нихъ выглядываетъ неизвѣстное мнѣ лицо, лицо это то вытягивается выше окна, то сжимается ниже цвѣтовъ, таетъ, таетъ, вотъ, думаю, пропадетъ, а оно снова тянется къ верху. Вижу дѣтей, домашнихъ, слышу ихъ голоса—вдругъ страшный толчокъ, трескъ, и все куда-то проваливается. Я въ лихорадкѣ открываю глаза—тѣсная каюта, тускло свѣтятъ свѣчи, свиститъ вѣтеръ, трещитъ пароходъ, крикъ команды, суетливый топотъ матросовъ, стоны больныхъ. Я опять впадаю въ горячее забытье, и грезится мнѣ родная сторона; вотъ они близкія, знакомыя лица, а это шумитъ роща... Кто-то поетъ вдалекѣ... пѣсня русская... Мнѣ грустно, тяжелая плита давитъ грудь... Страшныя страданія будятъ изъ волшебнаго міра—и такъ вся ночь.

Рано утромъ я почувствовала себя свѣжѣе, нѣсколько образумилась, осмотрѣлась, но приподняться не смѣла.

Качки какъ будто не было. Однѣ изъ находившихся въ каютѣ еще лежали на койкахъ, другія умывались и одѣвались. Въ дверь къ намъ тихонько постучали, спрашивая позволенія войти. «Войдите»,—отвѣчали изъ каюты. Вошелъ мой сынъ. Онъ былъ еще блѣденъ, но очень веселъ.

— Что ты не встаешь, мама,—сказалъ онъ:—утро дивное, качки нѣтъ—мы вошли въ Темзу.

— Думаю,—отвѣчала я:—мнѣ не устоять на ногахъ, такъ я измучилась. Боюсь приподняться.

— Полно,—возразилъ онъ:—это тебѣ со страха кажется. Ты здорова, слабость на воздухѣ сейчасъ пройдетъ.

Я попробовала спуститься на полъ и, къ удивленію своему, могла довольно твердо ходить.

Умывшись и одѣвшись, я пошла на палубу, но едва ступила на нее, и остановилась внѣ себя отъ восторга. Мнѣ открылось безграничное пространство воды, слившееся съ голубымъ пространствомъ неба, изъ глубины котораго вдалекѣ поднималось солнце, рассыпая огненные лучи по лазури, неподвижной какъ зеркало. Слуга принесъ на палубу столъ и стулья, накрылъ ихъ чи-



стой скатертью и подаль чай, лимоны, бѣлый хлѣбъ, красное вино. Свѣжій утренній воздухъ и горячій чай съ виномъ совершенно возстановили мои силы.

Я придвинула стулъ къ периламъ, какъ очарованная смотрѣла на величественную картину и отыскивала взорами Англію. Спустя немного времени на горизонтѣ вырѣзалась узенькая темная черточка—«Англія!» сказали мнѣ, указывая на нее. Черточка мало-по-малу превращалась въ берега, въ полувоздушныя очертанія коттеджей, въ селенія съ красивыми домиками, потонувшими въ зелени, въ церкви, группы деревьевъ, въ ярко зеленые луга... Живописные, большей частью однообразные пейзажи выступали одни за другими. Берега обѣихъ сторонъ рѣки вырѣзывались яснѣй и яснѣй, сближались все тѣснѣе; суда встрѣчались чаще; пароходы, точно ласточки, искрещивали рѣку во всѣхъ направленіяхъ. Вотъ показался Гренвичъ, арсеналь Вульвичъ, лѣсъ мачтъ, съ флагами всѣхъ націй, сжатый въ широкомъ каналѣ, и развернулся необъятный Лондонъ. Сквозь распростиранный надъ нимъ паръ, какъ бы сквозь наброшенную дымку, видѣлись зданія, перекинутые черезъ рѣку мосты, доки, церкви, монументальные трубы фабрикъ. Вся эта поражающая смѣсь картинъ и ощущеній волновала душу и подавляла громадностію, сравнительно съ которой Парижъ представлялся въ памяти блестящей игрушкой.

Пароходъ остановился у пристани, и мы вышли на берегъ Лондона. Это было воскресенье. Насъ встрѣтила тишина и малолюдство. Такая же тишина и малолюдство были и на улицахъ, по которымъ мы ѣхали до Реджентъ-Стритъ, гдѣ и остановились въ одномъ изъ пансіоновъ, рекомендованныхъ намъ еще въ Парижѣ. Мы заняли двѣ просторныя комнаты, комфортабельно убранныя, съ чистыми постелями. Н. М. Мезенцевъ взялъ себѣ отдѣльную комнату. Сверхъ того, въ общемъ распоряженіи постояльцевъ находилась прекрасная гостиная съ балкономъ на улицу. Устроившись у себя, я вышла на балконъ. Какая-то влажная теплота и запахъ каменнаго угля охватили меня. Сквозь тонкій паръ видѣлось блѣдно-голубое небо, нѣжное, палевое солнце, широкая улица, чуть не въ полъ-улицы тротуары и темнаго цвѣта дома. Темный колоритъ одно-

образно покрываетъ все предметы въ Лондонѣ; это не тотъ мрачный цвѣтъ, который время набрасываетъ на зданія древнихъ и новыхъ вѣковъ, а точно какая-то неосязаемая свинцовая пыль, которая ко всему прилипаетъ, все проникаетъ, отъ которой нѣтъ спасенья.

Молодой слуга, съ приличными манерами образованнаго человѣка, накрылъ въ нашей комнатѣ столъ передъ диваномъ скатертью блестящей бѣлизны и поставилъ на него на большомъ серебряномъ подносѣ чайникъ съ чаемъ, другой съ кипяткомъ, сливки, масло, душистый прозрачный медъ, яйца въ смятку, сыръ, ломтики поджареннаго свиного сала и бѣлый хлѣбъ.

Такъ какъ онъ хорошо говорилъ не только по англійски, но по-французски и по-нѣмецки, то мы заинтересовались имъ и узнали отъ него, что онъ изъ Берлина, сынъ пастора, слушалъ лекціи въ университетѣ, по особымъ обстоятельствамъ не могъ окончить курса, терпѣлъ нужду и вздумалъ поискать счастья въ Лондонѣ, гдѣ въ ожиданіи лучшаго доволенъ занимаемой имъ должностью.

Насколько былъ хорошъ завтракъ, настолько обѣдъ неудовлетворителенъ, а, можетъ, мы находили его такимъ отъ непривычки къ англійскимъ блюдамъ. Супъ—какая-то жидкость изъ пряностей—палилъ ротъ. Полусырого окровавленнаго ростбифа я не могла проглотить куска и питалась больше картофелемъ и сыромъ. Иногда къ этому тепу прибавлялся тяжелый мучной пудингъ. Все блюда подавались подъ жестянымъ колпакомъ, чтобы не остыли, и хозяйка, приподнимая колпакъ, бросала на всехъ восхищенную улыбку.

Сапа и Никъ жили тогда въ Лондонѣ вмѣстѣ. На другой день нашего пріѣзда сынъ мой поѣхалъ къ нимъ.

Его встрѣтилъ находившійся у нихъ въ услуженіи старый гарибальдіецъ, который объявилъ ему, что Сапа съ семействомъ переехалъ на дачу въ Торквэй, а Никъ на охотѣ и возвратится не прежде двухъ или трехъ дней.

Мы рѣшили эти три дня употребить на осмотръ Лондона.

Съ гидомъ въ рукахъ мы вышли изъ дома, раздумывая, съ чего начать путешествіе.

Вниманіе наше обратили широкіе, удобные тротуары, широкія улицы, политыя чуть не до грязи. По улицамъ неслись блестящіе экипажи, запряженные великолѣпными лошадьми. Кучера не кричали, слышался только топотъ лошадей и стукъ колесъ. На тротуарахъ не толкались, не было ни крика, ни давки. Виднѣлось уваженіе къ общественному спокойствію и къ приличію.

Прочныя желѣзныя рѣшетки строгаго стиля передъ окнами нижнихъ этажей отдѣляли пѣшеходовъ отъ домашняго очага. Намъ сказали, что въ нижнихъ этажахъ находятся: кухня, людскія и хозяйственныя принадлежности. Такъ какъ большая часть домовъ не имѣетъ ни двора, ни воротъ, то черезъ окна нижняго этажа передается провизія и хозяйственные запасы. Много было домовъ двухъ- и трехъ-этажные съ двумя и тремя окнами на улицу. Входная дверь выкрашена подъ дубъ и на ней мѣдная дощечка съ именемъ хозяина дома или жильца. Архитектура домовъ лордовъ и людей богатыхъ грандіозна, со множествомъ колоннъ, фронтоновъ, съ гербами владѣльцевъ.

Мы взяли экипажъ и поѣхали въ Реджентъ-паркъ. Изъ Реджентъ-парка Лондонъ представляется безконечнымъ собраніемъ городовъ, раздѣленныхъ парками. Осмотрѣвши въ паркѣ виллу и пасущееся стадо барановъ, прошли въ зоологическій садъ, гдѣ видѣли рѣдкіе экземпляры животныхъ.

Въ слѣдующіе дни мы посѣтили церковь св. Павла и Вестминстерское аббатство. Колоссальные размѣры этого величественнаго памятника былого, тѣсно связаннаго съ настоящимъ, его стрѣльчатые окна съ цвѣтными стеклами, мѣстами полумракъ и бѣлыя мраморныя статуи великихъ людей въ нишахъ производили сильное впечатлѣніе. Въ отдѣлѣ погребовъ—остановились передъ памятниками Шекспира, Мильтона; въ капеллѣ Генриха VII у гробницы малютки Ричарда и Эдуарда и Маріи Стюартъ.

Изъ Вестминстерскаго аббатства мы перешли въ парламентъ; отсюда въ Британскій музей съ колоссальнымъ собраніемъ древностей и мраморовъ. Видѣли небогатую картинную галерею, роскошные кабинеты естественныхъ произведеній и публичную библіотеку.

На четвертый день нашего пребыванія въ Лондонѣ,

утромъ рано прѣхалъ къ намъ Никъ. Мы обнялись въ слезахъ,—какія это были слезы—радости или грусти—Богъ ихъ знаетъ. Мы плакали. Никъ только-что возвратился съ охоты и, узнавши, что мы въ Лондонѣ, не отдохнувши, поспѣшилъ видѣться съ нами. Онъ сказалъ намъ, что Саша въ Торквѣѣ, нездоровъ и, вѣроятно, прѣхать въ Лондонъ не можетъ, а будетъ звать насъ къ себѣ и хотѣлъ тотчасъ писать ему о нашемъ прѣздѣ въ Англію. Уходя, Никъ пригласилъ насъ къ себѣ вечеромъ.

Какъ только стемнѣло, мы съ Володей отправились къ Нику. Насъ встрѣтилъ у экипажа гарибальдиецъ съ привѣтливой улыбкой стараго пріятеля. Помогая мнѣ выйти изъ коляски, онъ восторженно говорилъ:

*Allons! la voila! c'est la chère cousine! que je la connais, que je la connais! Et nous vous attendions, comme nous vous attendions!*

Бережно поддерживая, онъ ввелъ меня на невысокое крыльцо. Въ передней насъ встрѣтилъ Никъ. Мы вошли въ гостиную, освѣщенную лампами. Это была довольно большая, продолговатая комната въ три окна, съ которыхъ спускались до пола тяжелыя занавѣси. Хорошая мебель была разставлена въ артистическомъ безпорядкѣ. Налѣво вела дверь въ кабинетъ Саши. Никъ предложилъ намъ посмотрѣть его. Я вошла въ кабинетъ съ безотчетно-грустнымъ чувствомъ. Кабинетъ освѣщала одна лампа. Онъ былъ просторенъ и простъ, сколько помнится, въ два окна съ одной стороны и въ два—съ другой, съ опущенными на нихъ занавѣсами. Почти посреди комнаты, ближе къ двери, стоялъ большой письменный столъ, на немъ лежало много бумагъ, книги и листки газеты, издаваемой Сашей и Никомъ. У стѣны диванъ, нѣсколько креселъ, кресло передъ письменнымъ столомъ, шкафъ съ книгами—и никакихъ украшеній. Никъ обратилъ наше вниманіе на висѣвшую на стѣнѣ, около двери, большую картину, писанную масляными красками, содержанія, видимо, аллегорическаго, напомнившего мнѣ «Die Gloke» Шиллера. Никъ объяснилъ идею картины, она была многосложна, и сказалъ, что ее прислали Сашѣ изъ Россіи. Въ этомъ кабинетѣ въ памяти моей оживалъ другой кабинетъ,—маленькая комнатка въ Москвѣ,—учеб-

ный пріютъ нашихъ раннихъ лѣтъ; днемъ освѣщаетъ его полуденное солнце, вечеромъ въ единственное окно тихо свѣтитъ звѣздочка, ее замѣняетъ муромская сальная свѣча—покупки Шкуна. Муромскія сальные свѣчи освѣщаютъ и длинную амфиладу комнатъ, открывающуюся изъ растворенныхъ дверей маленькаго кабинета; раскинутый ломберный столъ передъ турецкимъ диваномъ играетъ роль письменнаго стола; надъ диваномъ два гравированные портрета: Байронъ и Пушкинъ; у окна—лимоннаго цвѣта столикъ, изрѣзанный перочиннымъ ножичкомъ, точно гіероглифами; шкапъ съ книгами; два плетеные стула и электрическая машина—любимая забава отрока—съ раскинутымъ воротникомъ рубашки;—и передо мной на чужбинѣ оживаетъ рядъ лицъ и картинъ «изъ дальнихъ лѣтъ».

Кромѣ насъ Никъ пригласилъ къ себѣ на вечеръ нѣсколько близкихъ имъ людей. Мало-по-малу посѣтители собрались, большей частью тѣмъ или другимъ образомъ участники литературной дѣятельности Саши. Никъ всѣхъ представлялъ мнѣ,—все имѣли обо мнѣ понятіе и отнеслись къ намъ чрезвычайно симпатично. Мнѣ какъ-то странно казалось видѣть себя въ этомъ кругу, гдѣ, не выдавши меня никогда, меня уже знали и желали видѣть, а между тѣмъ общаго между нами почти ничего не было.

Я стѣснялась—и только присмотрѣвшись ко всему, сдѣлалась нѣсколько свободнѣе и стала принимать участіе въ общемъ разговорѣ. Иногда ко мнѣ обращались съ разспросами о дѣтствѣ и юности Саши, большей же частью разговоръ касался предметовъ мнѣ мало извѣстныхъ и чуждыхъ.

Никъ, какъ и въ прежнее время, тихій, скромный оставался больше въ сторонѣ, слушалъ, молчалъ и задумывался. Въ сторонѣ отъ гостиной находилась столовая, Никъ пригласилъ всѣхъ туда, самъ разливалъ чай, угощалъ десертомъ и въ первомъ часу ужиномъ со множествомъ дорогихъ винъ. Предметы разговоровъ были до крайности разнообразны и живы, а послѣ ужина—перешли въ душевные. Мы уѣхали почти на разсвѣтѣ.

Нѣкоторые изъ бывшихъ у Ника просили позволе-

ніа на слѣдующій день быть у насъ вечеромъ, такъ какъ днемъ мы хотѣли еще посмотрѣть Лондонъ. Двое изъ самыхъ близкихъ Саши предложили сопровождать насъ. Мы приняли съ благодарностію. Осматривая магазины, мы останавливались въ изумленіи передъ грудами великолѣпныхъ тканей, фарфора, хрустала, бронзы, серебра, драгоценныхъ камней. Богатство, роскошь, вкусъ поражали и даже подавляли воображеніе.

Въ лавкахъ съ съѣстными припасами меня удивляло страшное количество и разнообразіе сортовъ круговъ сыра, чудовищной величины. Лавки ими были завалены. Смотри на изобиліе во всемъ, на роскошь, невольно думалось, отъ чего бы быть дороговизнѣ въ Лондонѣ; а между тѣмъ жизнь въ Лондонѣ чрезвычайно дорога.

При выходѣ изъ магазина стальныхъ вещей, мнѣ показалось, что что-то въ родѣ стѣны загородило свѣтъ. Противъ дверей стоялъ князь Г—нъ и такъ радостно смотрѣлъ на насъ, какъ будто увидалъ старыхъ друзей; онъ тотчасъ отрекомендовался намъ, называя меня корчевской кузиной, другомъ дѣтскихъ лѣтъ Александра, и вмѣстѣ съ нами двинулся на дальнѣйшій обзоръ Лондона.

Вечеромъ всѣ бывшіе у Ника пили у насъ чай. Человѣка два-три изъ нихъ до того сошлись съ нами, что рассказали не только настоящую жизнь свою, но и прошедшую, свои надежды, радости, свое горе, и до того расположились къ намъ, что пожелали проводить насъ на пароходѣ, въ день отъѣзда нашего изъ Лондона.

Никъ привезъ мнѣ письмо отъ Саши; онъ писалъ, что нездоровъ, звалъ къ себѣ въ Торквэй, говорилъ, что ждетъ нетерпѣливо.

Утромъ Никъ проводилъ меня на желѣзную дорогу (Володя съ Сергѣемъ Михайловичемъ остались въ Лондонѣ), усадилъ покойно въ вагонъ и поручилъ ѣхавшимъ вмѣстѣ со мною какой-то дамѣ и ея мужу.

Поездъ шелъ чрезвычайно быстро. Замелькали милые селенія, улыбающіеся луга и рощи. Чѣмъ ближе къ Торквэю, тѣмъ мѣстность гористѣй. Желѣзная дорога пошла берегомъ моря у самой воды, прерываемая туннелями.

Едва поѣздъ выбѣжитъ изъ туннеля, съ лѣвой стороны сверкнетъ море, позлащенное лучами солнца, съ правой—живописный ландшафтъ, какъ снова скрывается въ туннель, и снова выбѣгаетъ къ морю—и такъ туннель да море чуть не до Торквэя.

#### Торквэй и его окрестности.

Внутри сѣвернаго мыса небольшой, голубой бухты Торбэ, обрамленной горами, двѣ глубокія долины обнимаютъ городокъ Торквэй. Округлые холмы, покрытые изумрудной муравою, богатые поля и пажити, по которымъ пасется скотъ по колѣно въ травѣ, отвѣсно спускаются къ морю. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ утесистой набережной зеленѣютъ парки и фруктовые сады; ряды высокихъ вязовъ, склоняя вѣтви къ водяной окраинѣ, раздѣляютъ ихъ въ родѣ изгороди; тишина воздуха нарушается только морскими приливами. Волны, проникнутыя солнечнымъ свѣтомъ, орошаютъ алмазными брызгами всю растительность, которая едва знаетъ, что такое снѣгъ и морозы, и цвѣты осени встрѣчаются съ цвѣтами весны.

Мягкій воздухъ, почва, вода привлекаютъ въ Торквэй все больше и больше жителей, и, вѣроятно, въ не продолжительномъ времени этотъ городокъ охватитъ всѣ окрестныя селенія,—и теперь уже новыя зданія мѣшаются съ стариннымъ Торквэйскимъ аббатствомъ, основаннымъ въ 1196 году. А давно ли на мѣстѣ, гдѣ теперь цвѣтущій городъ, было только нѣсколько рыбацкихъ хижинъ, съ неустроенной пристанью, къ которой причаливали рыбаки и вытаскивали на берегъ свои лодки. Еще есть въ живыхъ люди, которые помнятъ тѣ времена.

По другой сторонѣ Торбэ бѣлѣютъ дома Бриксама и виднѣтся замокъ сэра Гемфри, адмирала временъ Елисаветы.

Въ полумилѣ отъ Торквэя къ сѣверу мѣстечко Ковъ почти сливается съ мѣстечкомъ Крессентъ, а надъ ними простирается долина Доддэ-з-Холъ, обвивая плочемъ ближайшіе утесы.

Противоположно Кову, среди лѣсистой мѣстности, деревня Баббикомъ окружаетъ берегъ другой предѣльной бухты, соединяясь съ Торквэемъ перешейкомъ.

Мирты, алоэ, лимоны, фукціи, олеандры и другія экзотическія растенія цвѣтутъ, не заботясь ни объ уходѣ, ни о защитѣ отъ непогоды, и свѣжій плющъ вьется надъ увядающей розой.

Роскошь цвѣтовъ и лѣса раскидывается до окраинъ океана, между ними виднѣются сельскіе домики, и мѣстами сквозятъ сѣрыя скалы.

Разнообразіе видовъ характеризуется оттѣнками листвы. Мѣстами она какъ бы исчезаетъ—открывается море и снова скрывается за листвою.

По мѣрѣ приближенія къ Долишу утесы сѣраго цвѣта смѣняются алыми и принимаютъ самыя причудливыя формы. Долишъ расположенъ въ центрѣ двухъ долинъ; отъ него во всѣ стороны до самаго моря рассыпаются прелестныя виллы. Пологій песчаный морской берегъ дѣлаетъ это мѣсто чрезвычайно удобнымъ для купанья.

Одинъ изъ медиковъ Девоншира написалъ поэтическое посланіе къ Долишу.

«Долишъ!—говоритъ онъ,—твоимъ чистымъ, нѣжно-объемлющимъ волнамъ я буду ввѣрять и робкую дѣву, и больную мать съ слабымъ ребенкомъ, ты возродишь ихъ въ жизнь новую—здоровую и счастливую».

Внутри Торбѣ, на южномъ мысу его, расположенъ Бриксамъ, укрытый отъ югозападныхъ морскихъ вѣтровъ мѣстечкомъ Беррѣ-Хедъ. Бриксамъ считается однимъ изъ важныхъ рыболовныхъ мѣстъ Англіи. По прибытіи судовъ съ удачнымъ ловомъ открывается аукціонъ на рыбу, купленная рыба тотчасъ укладывается и отправляется во внутренніе рынки мѣстными агентами.

Изъ Беррѣ-Хедъ взоръ далеко обнимаетъ широкое, голубое пространство водъ, и корабли, покойно стоящіе у его глубокихъ, утесистыхъ береговъ, защищены отъ яростныхъ бурь Атлантическаго океана. Беррѣ-Хедъ видѣлъ и слышалъ, какъ Наполеонъ, стоя на шканцахъ Беллерофона, воскликнулъ, окидывая взоромъ Торбѣ: «какая прекрасная страна! какъ она похожа на Порто-Ферраіо!»

Саппа ожидалъ меня на станціи желѣзной дороги, и мы вмѣстѣ поѣхали къ нему на дачу. Разстояніе было небольшое. У крыльца насъ встрѣтили двѣ дочери Але-



ксандра: Наташа и Оленька, въ комнатахъ Н. А. — жена Ника съ двухлѣтней дочерью—Лизой. Мы поднялись на лѣстницу въ приготовленную мнѣ комнату, — тамъ во всемъ замѣтна была дружеская заботливость. Пока я умывалась и перемѣняла платье, Александръ нѣсколько разъ освѣдомился у двери, можно ли войти. Войдя, онъ обнялъ меня и сказалъ: «ну вотъ, наконецъ ты у меня, я радъ сердечно, благодарю, что пріѣхала — будь же какъ у себя». Мы вдругъ почувствовали, что стали другъ къ другу ближе, какая-то свѣжесть, какая-то радость охватила насъ и, Богъ знаетъ, изъ какой-то дали — прихлынула юность, все озарила, на всемъ и на всѣхъ отразилась. Мы съ жаромъ вспоминали бывшее, говорили, перебивая другъ друга, торопились высказываться, — я забывала усталость. Затѣмъ Саша предложилъ осмотрѣть его жилище; «а завтра, — добавилъ онъ, — я покажу тебѣ здѣшнія прелестныя мѣста». Мы пошли осматривать его помѣщеніе. Изъ коридора противъ двери въ мою комнату была дверь въ довольно просторную комнату Александра. Въ концѣ коридора — комната Наташи и Оленьки — все самое простое. Изъ оконъ ихъ комнаты видѣлось море, оно было такъ близко, что онѣ купались въ немъ въ день раза по два. Эта близость моря и низкій, песчаный берегъ — удобный для купанья, заставляютъ меня предполагать, что дача Саши находилась въ окрестности Долиша.

Въ нижнемъ этажѣ расположеніе комнатъ было такое же, какъ и на верху. Прямо изъ коридора небольшая комната, въ которой стоялъ рояль Наташи. Налѣво кабинетъ Александра, въ немъ посрединѣ большой письменный столъ, заваленный бумагами и книгами, диванъ, небольшое кресло и, кажется, шкафъ или этажерка. Противоположная дверь вела въ гостиную, она же была и столовой; посреди стоялъ продолговатый обѣденный столъ. Стеклянная дверь отворялась въ садъ, съ ярко-зеленой лужайкой передъ домомъ. Дальше кусты миртъ, олеандровъ и другихъ нѣжныхъ растений. Вокругъ родъ аллеи изъ молодыхъ деревьевъ. Вдали море. Мнѣ сказали, что здѣсь растенія теплаго климата зимуютъ не укрытыя, и зима бываетъ едва замѣтна, такъ какъ вода въ морѣ, безпрестанно притекая къ

берегамъ Африки, возвращается оттуда согрѣтою, что и поддерживаетъ въ этой мѣстности ровную, теплую температуру.

Вечеръ былъ тихій, прекрасный. Въ открытую дверь въ садъ свѣтилъ полный мѣсяцъ и доносился запахъ цвѣтовъ. Мы помѣщались кругомъ стола. Въ верхнемъ концѣ сидѣлъ Сапа, съ правой руки отъ него — я, слѣва—Наташа, и такъ далѣе. Малютка Лиза уже спала. Засвѣтили лампу и подали кипящій русскій самоваръ, — съ принадлежностями по-англійски, между которыми находился бурачокъ зернистой икры. Н. А. разливала чай. — «Видишь, — сказалъ Сапа, обращаясь ко мнѣ, — мы живемъ совсѣмъ по-русски, говоримъ и ѣдимъ по-русски, каждый день получаемъ письма изъ Россіи—даже и излишнія». Говоря это, онъ взялъ лежавшія подлѣ него на столѣ только-что поданныя ему письма, пробѣжалъ ихъ глазами, передалъ мнѣ довольно интересное содержаніе одного изъ этихъ писемъ, жалуюсь, что часто получаетъ невѣрные свѣдѣнія, и добавилъ: что за недобросовѣстность! и зачѣмъ!

Угощая меня икрой, онъ сказалъ, «икра у меня не переводится,—друзья, зная, что я икру люблю, постоянно доставляютъ мнѣ ее изъ Россіи».

Задушевная бесѣда, большею частію о Россіи, продолжалась за полночь. Сапа съ жаромъ говорилъ о своей любви къ родной сторонѣ, о своемъ страстномъ влеченіи къ ней. «Хотѣлось бы взглянуть еще на ея поля, на ея рощи, подышать роднымъ воздухомъ»,—говорилъ онъ.

Мы разошлись поздно. Наташа проводила меня въ мою комнату, сама раскрыла мнѣ постель; когда я легла, она помѣстилась у меня въ ногахъ на кровати, и я еще нѣсколько времени поговорила съ этой милой, исполненной благородства шестнадцатилѣтней дѣвушкой.

Сапа умѣлъ цѣнить нравственные достоинства Наташи и смотрѣлъ на нее, какъ на друга—способнаго понимать его.

Оленька большей частію жила розно съ семействомъ. Находили, что для нея климатъ Англіи вреденъ, поэтому она оставалась съ своей гувернанткой то во Франціи, то въ Италіи.

Двадцатилѣтній сынъ Саши — Александръ въ это время слушалъ лекціи въ бернскомъ университетѣ и жилъ въ домѣ профессора Фохта—отца извѣстнаго натуралиста Карла Фохта.

Проснувшись рано утромъ, я едва вѣрила сама себѣ, что нахожусь въ Девонширѣ и у Саши. Накинувши на себя блузу, я прошла въ комнату дѣтей; они были уже вставши и приготовленной водою подавали одна другой умываться,—дали умыться и мнѣ. Наташа помогла Оленькѣ одѣться, причесала ей волосы и предложила мнѣ идти съ нею купаться въ море, указывая изъ окна, какъ это близко,—и у песчанаго берега совсѣмъ мелко. Я отказалась и осталась съ Олинькою, которая занялась уборкой вещей и постели. Горничной я не видала въ глаза. Все, что только возможно, онѣ дѣлали сами.

Саша рано утромъ уѣзжалъ въ городъ, гдѣ отправилъ Нику въ Лондонъ бумаги и письмо, взять полученные на его имя журналы и возвратился на дачу, когда мы уже отпили чай; дѣти сидѣли на лужайкѣ противъ двери и играли съ маленькою Лизой, валявшейся по травѣ, а мы съ Н. А. ходили по аллеѣ и говорили о многомъ, но самый близкій для нея предметъ былъ обойденъ, хотя, повидимому, она и желала подѣлиться имъ со мною. Я поняла это впоследствии, но въ то время, не зная ничего,—не догадывалась и смотрѣла на все такъ, какъ этого желали.

Кромѣ писемъ и журналовъ, Саша привезъ Лизѣ игрушку—кудрявую собачку. Такъ артистически сдѣланныхъ игрушекъ, какъ въ Лондонѣ, я нигдѣ не видала. При видѣ этихъ изящныхъ игрушекъ, мнѣ вспомнились игрушки моего дѣтства, каменная утка, похожая на козла, и вообще звѣрки и птицы, походившіе на невѣдомыхъ животныхъ; а привезенная Сашей собака чуть не лаяла. Онъ издала показалъ ее Лизѣ, и ребенокъ, смотря на нее, пришелъ, повидимому, въ такой же восторгъ, какой производили во мнѣ каменная утка со свистулькой и змѣй трудовъ Володьки.

Послѣ завтрака Саша пригласилъ меня въ свой кабинетъ пить кофе. Тамъ онъ прочиталъ мнѣ нѣсколько статей, приготовленныхъ для его періодическаго изда-

ніа, и довольно обширную философскую статью—для отправки въ Россію.

Затѣмъ разговоръ, переходя отъ предмета къ предмету, коснулся предполагаемаго мною изданія для отроческаго возраста, программа котораго была одобрена Грановскимъ, а по прїѣздѣ нашемъ въ чужіе края—послана была и Сашѣ.

— Планъ вашего изданія широкъ,—сказалъ Саша:—программѣ вашей я сочувствую вполне. Это систематическая, живописная энциклопедія, цѣлое міровоззрѣніе; но есть ли у васъ сотрудники, подобные Даламбертамъ и Дидеротамъ?

— Мы такъ высоко не заносимся, Саша,—отвѣчала я.—Зачѣмъ такіа великіа имена! готоваго матеріала роскошь, надобно умѣть только воспользоваться имъ соотвѣтственно плану изданія. При этомъ два-три участника специалиста по входящимъ въ программу предметамъ наудъ—и достаточно.

— Я отъ всей души желаю обширнаго успѣха твоему изданію и готовъ, сколько будетъ возможно мнѣ, въ немъ участвовать. Если выдержишь обѣщаемое въ программѣ, это будетъ полное зданіе, выражающее одну мысль.

Затѣмъ разговоръ перешелъ къ главной цѣли нашей поѣздки въ Англію.

Кромѣ интереса, возбуждаемаго самой страной, мнѣ надобно было видѣться съ Александромъ по нашему личному дѣлу.

Вскорѣ послѣ нашего выѣзда за границу, братъ Василій Васильевичъ Пассекъ, завѣдывавшій нашимъ имѣніемъ въ Малороссіи—вмѣстѣ со своимъ,—помѣшался. Помѣшательство его развивалось постепенно, жилъ онъ вдалекѣ отъ родныхъ, въ своей деревнѣ, окруженный только прислугой, которая не замѣчала его положенія, а можетъ, и замѣчала, но находила выгоды въ этомъ молчать. Въ началѣ помѣшательства онъ продалъ шерсть своихъ и нашихъ овецъ, ягнятъ, сѣно, пшеницу и прочій хлѣбъ и получилъ значительныя деньги. Когда же родные узнали о его болѣзненномъ состояніи, то приняли въ немъ участіе, но не нашли у него въ домѣ ни денегъ, ни бывшихъ у него цѣнныхъ вещей.

Вмѣсто ожидаемыхъ денегъ мы получили письмо, въ которомъ все это намъ сообщали и совѣтовали ѣхать въ деревню, чтобы не допустить имѣніе до полного упадка, тѣмъ болѣе, что наше дѣло сошлось съ освобожденіемъ крестьянъ. Не получивши изъ имѣнія денегъ, мы не имѣли возможности и выѣхать. Видя въ этомъ необходимость, я написала Сашѣ и просила его дать намъ взаймы до весны 700 р. сер. Онъ отвѣчалъ, что желалъ бы повидаться со мною, и если мнѣ можно, то пріѣхала бы въ Лондонъ.

Переходя въ разговоръ къ главной цѣли моего пріѣзда въ Англію, Саша сказалъ:

— Ты писала мнѣ, что имѣешь надобность въ 700 р.; по какому это случаю? и скоро ли надобно? Не подумай, что я отказываюсь,—но желалъ бы знать, что такое случилось.

Я рассказала ему о помѣшателствѣ брата. Онъ также нашелъ, что ѣхать намъ въ Россію слѣдуетъ, и, не выходя изъ кабинета, далъ мнѣ записку на домъ Ротшильда въ Парижъ на получение 700 р. При этомъ сказалъ: «ты писала, что уплатишь мнѣ весной,—этого ненадобно,—100 рублей прошу тебя дать изъ нихъ Вѣрѣ Артамоновѣ, а остальные могутъ идти въ уплату нашего тебѣ долга. Вѣдь мы еще не сочли за уступленную тобою твою часть въ Васильевскомъ, ради нашей пользы, втрое ниже стоимости. Остальное до свиданья въ Россіи».

Я молча вздохнула.

— Что-жъ ты грустна?

— Богъ знаетъ, увидимся ли? Благодарю, Саша, я была увѣрена, что не откажешь. Зачѣмъ же ты звалъ меня въ Лондонъ—и даже дальше?

— А ты сожалѣешь?

— Нѣтъ. Я такъ спросила.

Послѣ обѣда Саша поѣхалъ со мной и дѣтьми, показать мнѣ нѣкоторыя красивыя окрестности и свое избранное мѣсто. Это была глубокая, зеленая долина, мѣстами поросшая кустарникомъ и деревьями, съ которой видѣлось море. Оставивши коляску въ тѣни, мы пошли къ берегу и остановились на самой высокой окраинѣ. Подъ ногами у насъ громоздились скалы надъ скалами, а передъ нами синѣлъ Атлантическій океанъ.

Изъ-подъ горизонта выплывалъ корабль. Вечеръ былъ восхитительный.

— Помнишь ли ты,—сказалъ Саша:—Васильевское, голубую ленту Москвы рѣки, ея живописные берега, тихія, ясныя сумереки, и какъ находишь этотъ видъ?

— Тѣ виды сжились съ моей душой, тамъ я чувствую себя у себя; эта величественная картина прекрасна, но она почти угнетаетъ меня,—отвѣчала я.

Опершись на обломленное дерево, Саша задумавшись смотрѣлъ на океанъ. Выраженіе лица его было печально.

Вблизи меня сидѣла Наташа. Оленька рѣзвилась у какого-то развѣсистаго дерева и громко смѣялась.

Мы возвратились домой поздно.

Я пробыла у Александра четыре дня. Рано утромъ онъ самъ отвезъ меня на вокзалъ желѣзной дороги. У вокзала къ намъ подошелъ какой-то пожилой чело-вѣкъ. Саша отрекомендовалъ меня ему: «А, такъ вотъ она, кузина Корчевская»,—сказалъ онъ по-англійски и широкой рукой крѣпко пожалъ мнѣ руку. Мальчикъ предложилъ намъ купить виды Торквэя и его окрестностей,—Саша купилъ и отдалъ ихъ мнѣ, говоря: «вотъ тебѣ на память обо мнѣ». Виды Торквэя я сохраняю, они напоминаютъ мнѣ его. Это было наше послѣднее свиданье.

Обнявши меня, Александръ сказалъ сквозь слезы: «прощай, увидимся ли еще! половина жизни прошла въ боли и борьбѣ, вторая врядъ ли будетъ радостнѣй. Поймешь ли, оцѣнить ли грядущее поколѣніе всю трагическую сторону нашего существованія; между тѣмъ какъ наше страданіе—зерно, изъ котораго разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли, отчего въ минуты восторга не забывали мы тоски? вѣра въ будущее спасаетъ насъ отъ отчаянія, а любовь влечетъ выразиться благими дѣлами. Пусть же они остановятся съ мыслью и грустью передъ тѣми камнями, подъ которыми мы уснемъ. Мы заслужили ихъ грусть!»

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ II-го ТОМА.

| ГЛАВА |                                                        | Стр. |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| —     | XXV. Qual suor tradisti . . . . .                      | 5    |
| —     | XXVI. Арестъ и симпатія . . . . .                      | 25   |
| —     | XXVII. Вятка . . . . .                                 | 44   |
| —     | XXVIII. Домъ Ивана Алексѣевича Яковлева . . . . .      | 51   |
| —     | XXIX. Реклама . . . . .                                | 78   |
| —     | XXX. Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ . . . . .       | 106  |
| —     | XXXI. Переписка . . . . .                              | 126  |
| —     | XXXII. Украина . . . . .                               | 162  |
| —     | XXXIII. Вадимъ Васильевичъ Пассекъ . . . . .           | 178  |
| —     | XXXIV. Въ Харьковѣ . . . . .                           | 199  |
| —     | XXXV. Въ селѣ Спасскомъ . . . . .                      | 221  |
| —     | XXXVI. Одесса . . . . .                                | 233  |
| —     | XXXVII. Таврида . . . . .                              | 248  |
| —     | XXXVIII. Москва . . . . .                              | 266  |
| —     | XXXIX. Утраты . . . . .                                | 287  |
| —     | XL. 1842—1843 г. . . . .                               | 299  |
| —     | XLI. Тимофей Николаевичъ Грановскій . . . . .          | 307  |
| —     | XLII. За границей . . . . .                            | 333  |
| —     | XLIII. Графъ Федоръ Петровичъ Толстой . . . . .        | 361  |
| —     | XLIV. Въ Римѣ въ 1845 г. . . . .                       | 379  |
| —     | XLV. По отъѣздѣ императора Николая Павловича . . . . . | 405  |
| —     | XLVI. Въ Англіи . . . . .                              | 415  |





БИБЛИОТЕКА ИМПАТОРА